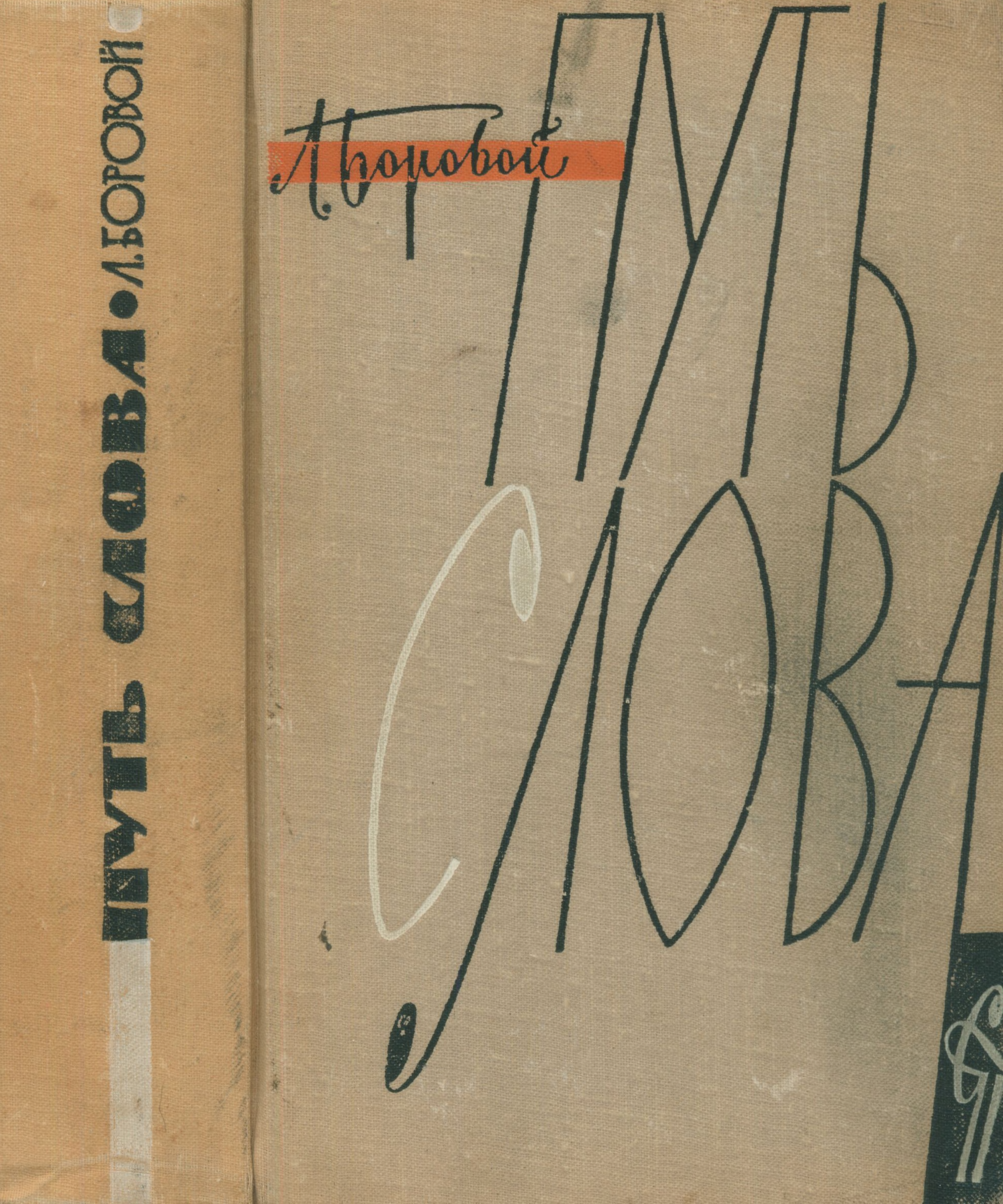
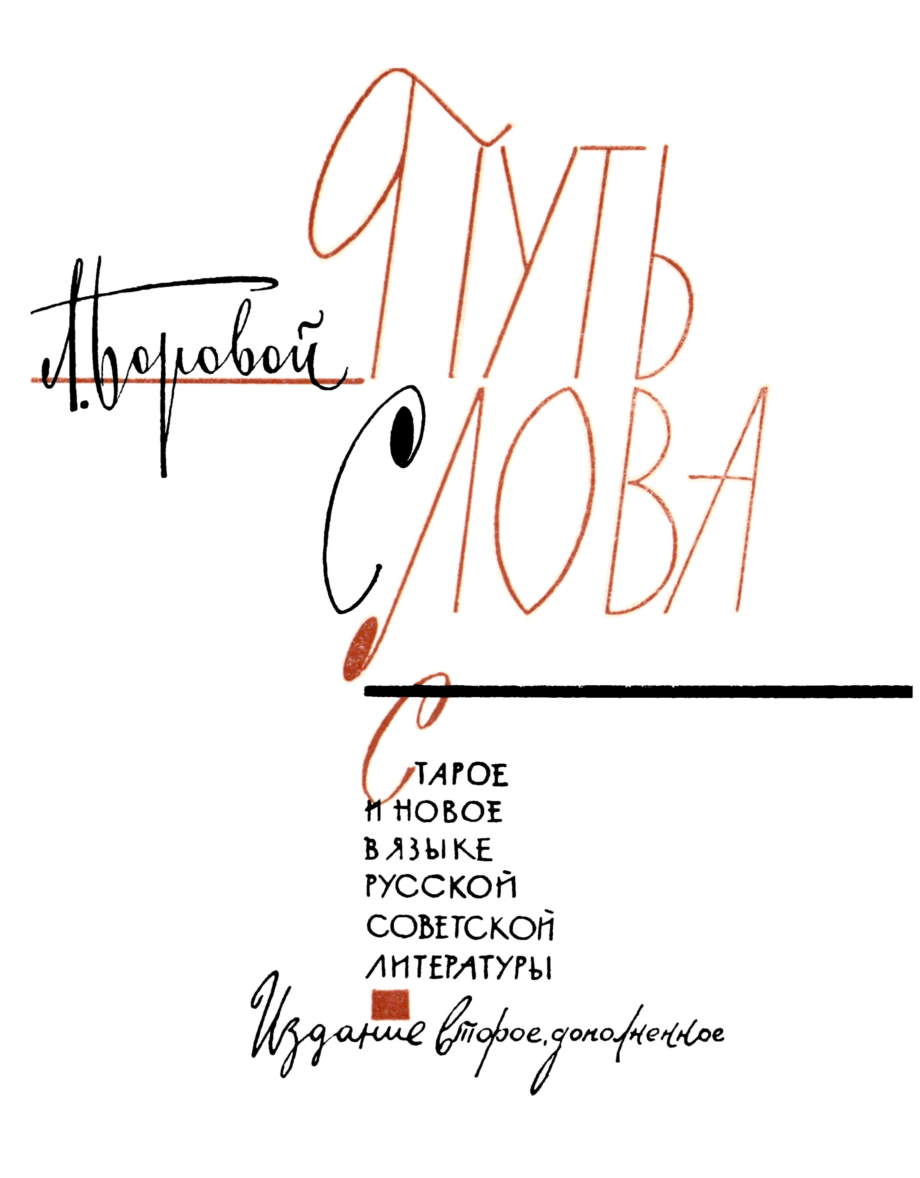


ПУТЬ СЛОВА • Л. БОРОВОЙ
Л. Боровой
Путь слова




СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1963

8 Р2
Б 83

Книга Л. Борового рассказывает о смысловых превращениях слов-понятий в период грандиозных сдвигов и перемен, вызванных социалистической революцией.

Жизнь языка предстает перед читателем во всей сложности и диалектической взаимосвязанности ее явлений. Здесь и рождение новых слов, и необычайно быстрый процесс обрусения иноязычных терминов, и шлифовка, уточнение старых понятий. Вся книга состоит из ряда небольших новелл или этюдов, раскрывающих жизнь слова — его рождение, развитие, непрерывную борьбу различных социальных сил вокруг тех или иных понятий. Яркий, лаконичный язык, лингвистическая чуткость автора, его темперамент рассказчика, увлеченность своей темой — все это принадлежит к несомненным достоинствам книги. Первое ее издание было с интересом встречено читателями и вызвало положительные отклики в печати.



# К ЧИТАТЕЛЮ

## 1

**В** первые годы после Октября многие ученые и писатели старшего поколения горячо убеждали себя и других, что происходит даже не «коренная ломка», а полное крушение великого русского языка.

Самые злые архаисты особенно охотно рассуждали тогда о «советском» языке. Это, мол, уже совсем другой язык, или, точнее, жаргон, а не русский язык советской эпохи. Во имя высшей «научной объективности» они готовы были изучать со всем усердием и этот жаргон. Изучались ведь офенские языки, всевозможные «закрытые» говоры и даже «блатная музыка» уголовных на страницах официального «Журнала министерства народного просвещения»!

Уже скоро стали появляться в печати очень ехидные коллекции «новых слов»; уже скоро появились и, так сказать, обобщающие работы этого рода. Вся «философия» этих книжек сводилась к тому, что пришли, мол, люди снизу и, естественно, снизили, унизили весь язык по своему подобию. А задают тон в языке, говорили такие «философы», недавние эмигранты. Они давно оторвались от русской почвы и уже попросту не умеют говорить и писать по-русски.

Так «объясняли» причины крушения языка эти исследователи; самый факт крушения не подлежал для них никакому сомнению.

А белоэмигранты совершенно серьезно считали, что вместе с ними уехал в изгнание весь настоящий русский язык. Они пристально наблюдали из-за границы новые движения в русском языке и находили, что состояние его теперь «сумасшественное», а начертание «умалишенное» (К. Бальмонт в парижских «Современных записках» в 1924 году и др.). Кто-то из эмигрантских писателей предложил даже записать на пленку, пока не поздно, самый обыкновенный разговор которого-нибудь из последних образцовых держателей русского языка, — например, князя С. М. Волконского, признанного в свое время учителя золотой русской речи. Это предложение поддержали «все» в эмигрантском мирке, и князь подчинился, исполнил свой долг перед историей и родиной.

Белые эмигранты искали и находили в этой мысли о гибели русского языка утешение и забвение; некоторые внутренние эмигранты вполне сознательно инсинуировали и лгали даже самим себе...

Но гораздо чаще все эти рассуждения были непроизвольным выражением полной растерянности и очень искренней в своем роде паники.

Профессор И. М. Гревс писал в 1927 году, через десять лет после Октября:

— Один «рецензент» выразил сожаление, что я пишу на старый лад. Трудно старому помолодеть, особенно когда в своей старине он находил превосходные образцы, на которых долго учился... Но нынче русский язык пребывает в состоянии еще хаотического брожения к неизвестному новому; переучиваться пока не у кого, а подражать еще бесформенному вышло бы неестественно и бесцельно. Пусть же мне будет позволено писать как умею... (Предисловие к «Истории одной любви», Тургенев — Виардо)

И он писал на старый лад.

Естественно, что эта паника в лагере архаистов чрезвычайно развеселила самых лихих «новаторов». Они поспешили принять вызов: сейчас же согласились, что рождается новый, «советский язык», но призывали идти дальше — к всеобщему и окончательному «вырыву корней».

Вслед за ними, чтобы «не отстать от века», устремлялись иногда и весьма авторитетные лица. Так, в преди-

словии к нашумевшим в свое время «Комсомольским рассказам» Марка Колосова президент ГАХН П. С. Коган писал, что книга эта, конечно, свидетельствует о полном распаде литературного языка, но *именно поэтому* ее надо всячески приветствовать.

И другие передовые старики иногда бурно приветствовали новое «славное варварство» молодых. Архаисты в ответ обзывали их «тушинцами», «перелётами», а то и попросту «изменниками».

Итак, еще одна столь знакомая из истории нашего и других языков «война архаистов с новаторами»?

Но все эти «проклятые», как казалось современникам, вопросы были уже давно поставлены и в общей форме решены в трудах классиков марксизма. Большевики встретили эти споры, вспыхнувшие с новой силой после Октября, во всеоружии великой теории.

Еще до Революции партия упорно и страстно отстаивала строгую нормативность в языке. Большевики, самые смелые новаторы во всех областях жизни, выступали за самое смелое развитие языка — на его старой основе. В первые же годы Революции были опубликованы важнейшие партийные документы по вопросам языка, особенно языка печати. Ленин пристально и строго рассматривал каждое из новых слов, многие из них признавал «уродливыми» и поэтому отметал. Ленин не позволил узаконить написание «большевицкий» вместо «большевистский», хотя именно так народ произносил это важнейшее слово и многим из ближайших товарищей Ленина очень хотелось утвердить эту народную и гораздо более русскую форму.

Неустанно боролись за высокую нормативность в языке и М. Калинин, и А. Луначарский, и М. Горький (знаменитая полемика о языке 1934 года). Советская литература под могучим влиянием Горького непрерывно поэтически уточняла и по-новому развивала все тот же старый, великий язык.

Прошло немного лет, и многие серьезные ученые уже впали в другую крайность. С чувством большого душевного облегчения они стали теперь доказывать, что в языке вообще ничего серьезного не случилось после Революции, — во всяком случае, ничего непоправимого. Не-

которое общее засорение языка, совершенно неизбежное в первые бурные годы Революции, знаменитые «сокращения» и еще кое-какие уродливые новые слова. «Все это» уже не раз бывало и всегда проходило бесследно, пройдет с божьей помощью и на этот раз!.. И вот уже, видите, проходит!

Теперь мы уже все знаем, что и это совершенно не соответствует действительности.

Складывались, входили в силу, закреплялись новые словообразования, неологизмы; возвращались из далекого прошлого, начинали новую (вторую, третью или четвертую) жизнь архаизмы, а многие неологизмы становились, уже на нашей памяти, безнадежными архаизмами; выдвигались в общенародный литературный язык многие областные, профессиональные или временные жаргонные слова и словечки.

Но самые важные перемены совершались в «тех же» старых словах, которые широко применялись и до Революции.

Теперь это хорошо увидели и самые мудрые из тех русских людей, которые не жили с нами «в нашей буче, боевой, кипучей», а пристально и ревниво наблюдали новое развитие русского языка из-за границы.

Поразительный диалог Алексей Ремизов — Иван Бунин.

Ремизов писал Бунину о «безнадежной порче русского языка при Советах».

А Бунин отвечал Ремизову:

— Это не порча, а упорядочение, очищение, окончательное установление. (В книге Н. Кодрянской «А. Ремизов», Париж, 1960)

Так оно и есть. Но только не окончательное, никогда не окончательное.

Наш язык в его историческом развитии до наших дней обнаруживает несравненную устойчивость своей основы. «Те же» старые, а то и древние слова-понятия, заново «обтесанные и обломанные», оказываются способными «обнять мир» (Ленин), уже совершенно преобразившийся.

Обработка старых слов-понятий происходит в языке непрерывно. В эпоху Революции этот процесс получает новый смысл и новые, невиданные размеры и формы.

«Фиск («казна») и превращение этого понятия в социалистической революции» — так определил для себя, в конспекте, Ленин в январе 1918 года *одну из самых назревших* «тем для разработки» (36—423).

Это — крутые, полные смысла и, можно сказать, исторического юмора превращения!

Совершенно очевидно, что только пристальное изучение этих превращений может открыть перед нами устойчивость нашего языка во всем ее реальном великолепии. Чего бы стоила всякая другая «устойчивость»!

**2**

Смысловые превращения слов-понятий изучает семантика (или семасиология).

В 20-е годы на Западе сложилась так называемая «семантическая философия». Политический смысл этой буржуазной философии давно разъяснен до конца в нашей общей и специальной печати. Сейчас уже можно к этому не возвращаться.

Но, как всегда в таких случаях, в пылу борьбы с этой реакционной и бесчестной «философией» уже и самое слово «семантика», как бы аннексированное противником, начинало казаться нам подозрительным и опасным.

Однако сама по себе семантика, конечно, очень плодотворное понятие, которое, как и все другие «хорошие слова», никак нельзя отдать противнику.

Мало того: очень стоит присмотреться к тем материалам, которые накопили «семантики» и западные писатели, выступавшие по вопросам языка.

Они рассказывают много интересного о судьбе важнейших слов-понятий в больших языках мира, о «повстанческом движении» в словоупотреблении простых людей.

Они же давно усердно изучают новые движения в русском языке, совершенно справедливо полагая, что эти движения представляют большой интерес для всех, для всего мира.

Из года в год во всех больших капиталистических странах выходят книги и статьи на старую, хорошо знакомую тему: *куда идет наш язык?* И ответ неизменно гласит: язык опускается, падает, он разъеден всевозможными болезнями, он стал шизофреником (даже буквально!).

— Поскольку человеческая природа есть именно то, что она есть, — писал английский ученый, профессор Эрнест Уикли, — мы уже не удивляемся, что хорошие или хотя бы только нейтральные слова неизбежно превращаются в слова неприятные и непристойные. Вот, например, слово «суггестивный». Еще недавно оно означало: что-то внушающий, что-то подсказывающий, наводящий на какие-то размышления. «Что-то», но необязательно плохое и неприличное; «какие-то», но необязательно неприятные размышления. Это было дразнящее и даже творческое слово! Но посмотрите, что́ отмечает теперь против этого слова любой современный американский толковый словарь: «то, что вызывает нечистые мысли», «то, что оскорбляет скромность и пристойность». Вот что подсказывает теперь это хорошее слово... («Слова старые и новые», 1948)

— Вполне естественно, — писал недавно Айвор Броун, известный английский драматург и режиссер и автор целой серии книг по вопросам языка, — что слова, как девушки, довольно часто сбиваются с пути.

— Как пораздумаешь, — писал Р. Гамилтон, — приходит в голову мысль, что очень стоило бы воздвигнуть памятник павшим словам, таким, как *цензура, циник* (киник), *метресс, джентельмен,* и напомнить молодому поколению, что́ означали некогда эти слова, прежде чем наступили для них дурные времена и прежде чем они попали в грязные уста. («Теория театра»)

Не случайно, конечно, что особый интерес к д р а м е с л о в а проявляют люди театра.

Известный английский театральный критик Ашли Дюкс уже много лет собирает материалы по теме: как в самом деле говорят люди?

В самом деле, а не в прилизанных и причесанных пьесах!

В результате многолетних исследований А. Дюкс пришел к выводу, что разговорный язык в США становится все более *софистикейтед.*

Это в сегодняшнем английском языке значит: «хорошо испорченный» и циничный, ничего всерьез не принимающий.

— Великий друг Шекспира Бен Джонсон, — писал А. Дюкс, — делил людей на «понимающих» и «непонимающих». Это было тогда смело и ново. Но с некоторых

пор все стали «понимающими», то есть все уже знают, что нет на земле ни правды, ни чести.

Черты такого бессовестного «понимания» видит А. Дюкс во всем современном словоупотреблении: в необыкновенном цинизме разговорной лексики, в установившихся новых «законах» полнейшего разгильдяйства в языке; наконец, как он говорит, в новом символизме языка.

Это мрачный, «блатной», по красочному описанию самого Дюкса, символизм.

Все очень легко оказывается «роковым» только потому, что люди очень несчастны и не верят в будущее. Этот язык дышит тайным злорадством: ни одно слово не смеет быть высоким и недосягаемым!

Ашли Дюкс говорит о *разговорном языке* как он есть. А один из основоположников «интеллектуального романа», высоколобый Олдос Хаксли, философ и публицист, писал совсем недавно о современном *высоком* и особенно *политическом* языке:

— Только тем открывается настоящая мудрость, кто научился принимать язык не более всерьез, чем он того заслуживает. Язык, как единственный творец цивилизации и даже человечества в нашем понимании, вполне заслуживает того, чтобы его принимали очень всерьез. Очень всерьез его надо принимать и тогда, когда он служит инструментом (если применять этот инструмент с должной осторожностью) для размышления о взаимосвязях между явлениями. Но язык никогда не следует принимать всерьез, если он выступает, как в древних теистических религиях и *в их современных политических трансформациях,* в качестве эквивалента непосредственного опыта или как средство познания природы вещей. («Адонис и азбука», 1956, стр. 187—188)

Итак, грязный и злорадный разговорный язык — и высокий религиозно-политический язык, который не сто́ит и опасно принимать всерьез.

Есть и такая книга по языку, Д. Огдена и Д. Ричардса, которая называется «Значение значения» («The meaning of meaning»). Это «философская» книга: в ней разбирается именно то «гносеологически очищенное словоупотребление», о котором не раз упоминал, очень презрительно, Ленин в своих «Философских тетрадях». Нет необходимости говорить об этой книге подробно; отме-

тим только, что уже стала возможной и доходчивой самая эта игра словами в заглавии — «значение значения», — потому что совершенно *расшатано* и великое слово «значение»!

Э. Уикли, А. Дюкс, Олдос Хаксли и другие совершают только *одну* ошибку.

В мещанском или люмпен-пролетарском обиходном словоупотреблении все хорошие слова *в самом деле* безнадежно пали и даже «провоняли», как очень точно предсказал еще в свое время наш Щедрин; в этой речи устанавливается в самом деле то позорное взаимопонимание на основе всеобщего нигилизма, которое так ярко описал А. Дюкс.

В «общепринятой» политической речи буржуазии, в языке ее прессы многие важнейшие слова уже давно и *в самом деле* мошенники, которые имеют единственным своим назначением искажение природы вещей и непосредственного опыта. В «высокой» философской речи это «метафизические кокотки», как называл их еще Поль Лафарг.

Но в языке честных искателей истины происходят совсем другие процессы...

Иоганнес Бехер незадолго до смерти вспоминал о своем «донкихотстве 1915 года», когда он

— предпринимал сумасбродную попытку произвольно изменить грамматику и взорвать строй языка, создать гротесковый строй фраз с какими-то шизофреническими иероглифами. *Эта отвага была основана на ложном предположении, будто новое нельзя выразить языком, который обслуживал старый мир и которым этот старый мир так бесстыдно злоупотреблял.* («Мое время»)

В наши дни общий смысл этого процесса очень хорошо определил французский публицист Жан Канапá.

— В настоящее время, — писал он, — только пролетариат со своими союзниками употребляют слова в их подлинном смысле.

— Первый долг писателя в наши дни, — писал Джон Говард Лоусон, передовой американский кинодраматург, — это: *верность словам* (и слову)... («Верность слову»)

Мы никогда не поймем всей трагедии простых людей

в странах капитализма, если не научимся видеть ясно главный смысл великой борьбы за *те же* слова. Изо дня в день об этом говорит вся прогрессивная, большая и растущая литература Запада.

В разговорной речи простых людей, как не раз отмечали те же семантики и некоторые писатели (например, Дж. Б. Пристли), уже редкая фраза обходится без умоляющего «I mean»: я хочу сказать, я имею в виду именно то, что *должно* означать, а не то, что значит, чаще всего, это слово.

Уикли, Дюкс и другие без всякого основания «обобщают». И в странах капитализма главным хозяином языка всегда был и остается народ, простые люди, которые употребляют слова в их подлинном смысле.

Эти же исследователи очень рано — гораздо раньше, чем мы, — начали изучать русский язык советской эпохи. Они обнаружили в нем раньше всего новую и огромную страсть к *обобщениям.*

— Все горе современного искусства, — писал хорошо известный уже и у нас экономист и философ-семантик Стюарт Чейз, — в том, что оно слишком обобщает явления, *по примеру русских,* и создает призраки общих понятий... Если мы отбросим эти общие призраки и вернемся к частным случаям, то вернем жизнь и всему современному искусству на Западе, которое становится все более бесплодным.

А все потому, что и оно, западное искусство, по примеру русских, увлекается абстрактными и неживыми обобщениями, тогда как частные случаи — это «сама жизнь», «теплая жизнь». Не надо обобщать, надо брать факты теплыми из жизни. («Тирания слов» и др.)

Речь идет, таким образом, уже не только о языке, но и о художественном мировоззрении, об определенной поэтике, и вот мы уже оказались в некотором смысле родоначальниками абстракционизма...

Но обратимся к «примеру русских».

Ст. Чейз приводил кое-какие образцы весьма глупого обобщательства из нового русского словоупотребления. А мы могли бы к этому добавить еще более курьезные «обобщения» и «самообобщения», давно осмеянные нашей сатирой.

Стёпа — кирпич какого-то здания.

(Маяковский)

И стакан социального зла
выпил с единого маху.

(Исаковский)

— Управдомы нашли, что... автору не мешает еще более углубить свое мировоззрение. Автор обещал слету управдомов мировоззрение подвинтить в декадный срок.

(Ильф—Петров)

«На кукурузе», «на картошке» —
*как говорят еще в стране...*

(Твардовский)

Но мы могли бы также показать, какими точными, реальными и «теплыми» стали уже многие наши, и притом самые высокие, решающие, обобщения; как вошел в живую речь доподлинный «мировой масштаб» — и даже масштаб космический; как в нашем языке «общая мысль воедино созвеньена» (Маяковский); какие новые формы получает в нашем языке вечная борьба за поэтическую точность.

3

— Разве это жизнь? Старые книги сделали свое дело, люди рвутся вперед, ищут улучшить себя, очистить понятия, прогнать туман, условиться поопределительнее в общественных вопросах, в правах, наконец, привести в порядок и общественное хозяйство.

Так говорил Райский в «Обрыве» Гончарова. В его тираде особенно замечательны слова:

— условиться поопределительнее.

*Условиться* — стало быть, не от бога, и не от века, и не навсегда установились те или иные представления и понятия. Люди уславливаются между собой о значении слов, и вот уже необходимо условиться наново.

А *определительность* была тогда еще более боевым словом.

— Борьба (страстная) за определительность пред-

ставлений и ощущений против мистиков и эстетов... (Щедрин о «Ролла» Мюссе)

Мистики и эстеты утверждали очень патетически, иногда вдохновенно, что некоторые области человеческой жизни как раз и не терпят определительности, должны навсегда оставаться неизъяснимыми, неназванными, раньше всего — душа с ее «молниями и отблесками». А не то вы убьете поэзию!

Чернышевский ворвался с определительным термином и в эту заповедную и как бы неприкасаемую область (душа!):

— Психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, *чтобы выразиться определительным термином...* (Знаменитая статья о молодом Льве Толстом)

Ворвался — и сам подчеркнул это важнейшее обстоятельство: «чтобы выразиться определительным термином».

— Политические, социальные убеждения Белинского, — писал Тургенев, — были очень сильны и определительно резки.

И т. д. и т. д.

Райский совсем не по адресу и как бы небрежно бросает эти новые, боевые слова: «условиться поопределительнее».

Он, как известно, считал себя человеком новым, хотя и не новейшим (как, например, Волохов), не вполне разделял взгляды этих людей, но считал, что владеет не хуже других новой, революционной манерой выражаться.

*Новые люди* — это понятие возникало в истории русского общественного движения много раз; оно имеет свою большую и очень драматическую историю.

Все бесконечно различные «новые люди» пытались раньше всего «условиться поопределительнее в общественных вопросах». Они критиковали «общепринятое» словоупотребление, даже произношение и написание, создавали свои новые слова-программы. Эти слова означали важные успехи мышления, но вошли они только в различные «истории общественной мысли», а не в живой, общенародный язык, потому что не находили сколько-нибудь серьезного воплощения в действительности. Можно было бы привести очень длинный мартиролог таких трагических слов.

После победы Революции начинается всеобщая критика языка и его исправление. Это *первое дело*, потому что язык — основное «орудие борьбы и развития» и это орудие должно быть раньше всего приведено в состояние полной готовности.

Теперь надо было окончательно прогнать туман и «условиться поопределительнее» с миллионами людей, со всем народом.

Начинается неумолимое уточнение всех важнейших слов-понятий.

Процессы, учреждения, новые общественные институты получают *названия-программы*. Они еще не вполне соответствуют сегодняшней действительности («забегание вперед»), но непременно оправдаются, станут совершенно точными; они соответствуют «действительности будущего», по выражению Горького.

Твердо ставятся на место побочные смыслы, чтобы они не заслоняли центральный — тот, который *должен стать* отныне центральным.

Ленин неустанно разоблачает «изысканный обман языка» (выражение Фейербаха), разглядывает слова, их связи и тяготения, их внутренние противоречия, двойные значения особенно, и применяет по-новому, очень полемически, старые слова.

— «Путаница», разруха, по прекрасному русскому выражению, вызвана войной... — писал Ленин в статье 1918 года «Пророческие слова» (27—458).

Разруха, *по прекрасному русскому выражению...*

Противник предпочитал называть «все это» путаницей или еще хаосом — и знал, что делал. Это были «слова-мошенники», они должны были обессмыслить все, что происходило.

Слова противника Ленин заключает в кавычки. Это — чужая и неверная речь. «Путаница» очень важное слово, но здесь оно незаконно.

Ленин вспомнил и привел в действие другое слово — «разруха».

Ленин рассматривает это слово, узнаёт его наново и хвалит за ясность и точность. И очень важно, что оно старое, что у него совсем другие были в прошлом связи и прикрепления («разрухой» назывался, как известно, и определенный период в нашей истории XVII века).

У Ленина оно выпросталось из этого прикрепления, получило на той же основе огромное новое применение.

Оно тяжелое, страшное, но понятное до конца; оно снимает всякую загадочность с «мнимого хаоса» Революции. Разруха вызвана войной.

Здесь нет того, что мы называем *резким* семантическим сдвигом!

*«Расправа»* — это было в XVIII веке «судебное место», в котором, по мысли законодателя, утверждалась законность и пресекался произвол; сейчас значение этого слова прямо противоположное. *«Опасная грамота»* была некогда грамота, ограждающая от опасностей (ср. «опас» в народных заклинаниях), — «охранная грамота», как сказали бы мы теперь. Ср. еще *умная молитва* (то есть в уме, без слов, про себя); *«Наказание богатым»* (XI век) — не наказание, а только советы и поучение; *отгонять страхования,* которые находят иногда и на подвижников (Нил Сорский); калумнии и *поносы* (то есть доносы); «Тебе Россия должна всю толь *дивную и славную измену свою...»* (Феофан Прокопович, «Слово похвальное Петру»); *«Самый мелкий подвиг* (то есть побуждение) *ведет его во всякое преступление»* (Фонвизин, «Недоросль»); *телятинка* — пергамент; *руда* — кровь; *denованье* — лекарство; *спорный* — согласный; *месячники* — лунатики; *помешательство* — препятствие; *художество* — убожество, нищета и т. д. и т. д.

Это — резкие сдвиги, перевороты.

Но «разруха» означала и в 1918 году в общем то же самое, что она означала и когда-то очень давно.

### 4

В таких словах, как «расправа», «балованье» и др., о т б о р а значений уже нет. Старый смысл мертв и забыт; новый смысл стал единственным. И только слабые писатели, главным образом посредственные исторические романисты, играют на *таких* превращениях слова, пытаются таким приемом поразить воображение читателя.

У большого поэта в и с п о л н е н и и я з ы к а (по чудесному выражению Гончарова) хорошо слышен не

только новый, открытый им смысл, но и смысл оттесненный, побежденный. Сила поэтического переноса именно в том, что новое значение у нас на глазах побороло все другие, еще живые и даже весьма важные в своем роде значения.

Поэт обычно даже не может скрыть своей радости по поводу такого события; это в самом деле каждый раз событие!

В «бушующем жизнью слове» идет непрерывный спор значений.

В каждую эпоху, в определенной общественной среде то или иное значение слова выдвигается, становится главным и центральным, но не единственным. Возникают непрерывные поединки из-за слова, из-за того его значения, которое должно стать центральным (аристократы и чернь; подлый народ; порядок и беспорядки; благородный; патриотизм; педанты; «новые люди»; нигилизм; безбожник и т. д. и т. д.).

Эти поединки разворачиваются перед нами очень наглядно и в словарях: в определениях, толкованиях, в той или иной очередности значений многозначного слова, которую предлагает составитель. Что *раньше всего* означает или *должно означать* слово?

Эти же поединки получают свою высшую, самую драматическую и всегда своеобразную форму в языке писателя: он утверждает свое значение слова в споре с обычным, общепринятым и не в последнюю очередь — с другими писателями, с теми, кто, «туда же», приходят с этим же словом, даже в *этом же* значении.

В лучших произведениях советской литературы (у Горького и у Маяковского в особенности) происходит почти непрерывное *рассматривание* слова, его истории, его строения и тех приемов мастерства, которые применил народ, когда создавал или составлял, складывал это слово.

В своих вечных поисках точного слова писатель как бы вторично проходит весь язык.

— Национальное искусство именно в этом, в запахах родной земли, в родном языке, в котором слова имеют двойной художественный смысл — и сегодняшний и тот, впитанный с детских лет эмоциональный, в словах, которые на вкус, на взгляд и на запах родные. Они-то и рождают подлинное искусство, — писал Ал. Толстой.

Это бесконечно плодотворное новое узнавание бывалого слова могло стать, и становилось не раз, формальным, техническим приемом.

Простое сопоставление первоначального, потом испорченного и затем вновь восстановленного «первоначального смысла» открывало перед писателем огромные, дух захватывающие возможности. Многие писатели первых лет Революции очень широко пользовались, как мы еще увидим, этим почти готовым и необычайно драматическим по самой своей природе материалом.

Иногда возобновлялась даже старинная словесная «игра в мячик», по выражению известного писателя-водевилиста начала XIX века Н. Хмельницкого.

Эта игра имела очень важное значение в то время, когда еще только разминался, укладывался и обживался новый русский литературный язык.

Через сто лет формалисты подхватили лозунг Хмельницкого и объявили «игру в мячик» основным и вечным законом искусства. Это, конечно, совсем несерьезно. Важно отметить, однако, что эта игра и в наше время, независимо от намерений игроков, приносила иногда драгоценные результаты: писатели подбрасывали, как мячик, много пережившие, очень содержательные народные слова, и они, эти слова, прекрасно иногда поворачивались и раскрывались, обнаруживали новые грани смысла. Это работали *сами слова,* почти без затрат со стороны писателя.

Но в этой игре легко было сделать и следующий, уже роковой, шаг. Тогда оказывалось, что слово, очень гибкое по самой своей природе, позволяет будто бы поворачивать себя как угодно, что оно идет на любое дело, что оно совершенно безответно и даже *бессловесно,* как очень парадоксально выражались уже давно некоторые западные «философы языка» и «металингвисты».

Утверждалась относительность и неокончательность старого и нового, восстановленного смысла в равной мере.

Эта игра продолжается иногда и сейчас. Но слова упрямая вещь, и все более ярко проступает основная и решающая тенденция: центральным смыслом слова становится «первоначальный», самый честный и плодотворный.

Это утверждение первоначального и нового значения

проходит по всему фронту языка, оно совершается в самых различных формах. Но непременно в споре, в полемике.

Есть спор в народных этимологиях.

Народная этимология — это, как известно, переосмысление или как бы присмысление еще незнакомого и трудного слова путем сближения его с хорошо знакомыми понятиями и словами. Народные этимологии обычно весьма содержательны, а часто талантливы. Естественно, что они всегда чрезвычайно привлекали писателей.

Еще в «Матери» Горького, первом большом произведении социалистического реализма, замечательно ярко переосмыслена по-русски важнейшая социальная категория — буржуа: «Французы удачно называют их буржуа. Запомните, мамаша, — буржуа. Жуют они нас, жуют и высасывают» (1—23). Ср. к*о*питал, *к*рестол, *о*стрология, *х*илософия, с*к*удент, *о*зарт, *о*куратный, м*и*родер и т. д.

Исходное слово еще не понято полностью, но смысл его более или менее верно угадан, и в народной этимологии даны уже и оценка слова и утверждение самого важного его смысла. Оценка, конечно, в противоположных лагерях противоположна.

Страстные политические и философские поединки разворачивались в народных этимологиях!

Но *эти* народные этимологии уходили по мере того, как народ все успешнее овладевал большим языком и самыми трудными словами.

Тогда в речи людей из бывших «низов» совершается уже другая, сознательная обработка хорошо понятого слова. Это уже другие народные этимологии, другое освоение трудного слова. Так, некогда рабочие-металлурги называли мартены *«мартынами»,* и это была народная этимология. Уже давно рабочие, и старые и молодые, называют мартены мартенами. Но иногда называют их и «мартынами», и это уже не народная этимология, а каламбур или лукавое напоминание о том, как мы, вишь ты, говорили еще недавно.

Ср. *«лавулировать», «маятонно», «въядрять», «разоблатчать», «чурбанизм»* (урбанизм в архитектуре), *«торчер»* (вм. торшер) и т. д.

Ср. еще «окурат» — эта форма, «окурат», нравилась

и Пушкину. «Окурат» с круглым и округляющим, аккуратным «о» в начале, конечно, гораздо интереснее и точнее, чем «аккуратный».

Есть утверждение слова при помощи кавычек.

Формалисты писали в свое время, что кавычки берут слово под подозрение. Это прямо противоположно истине!

Кавычки берут слово под свою защиту, они лишают противника *права* на это слово, они утверждают слово-понятие, которое пытается унизить или обессмыслить противник.

Революция отбивала у противника при помощи кавычек все важные и плодотворные слова. Не «путаница», как они говорят, а разруха.

Сама по себе путаница без кавычек — очень важное и верное слово, но в других случаях и в других устах!

Есть утверждение слова в поэтической тавтологии.

Уже плохо слышный или испорченный первоначальный смысл восстанавливается и усиливается при помощи эпитета от того же корня или «перевода» этого слова, тут же, другим словом того же значения или при помощи так называемых модальных слов: впрямь, поистине, просто, так-таки, именно, не иначе как и т. д. и т. д., а особенно столь важного в языке нашей эпохи — в самом деле. Ср.: *«Называй мечту мечтой»* (Жуковский); *«чувства, вечные, как вечность»* (Лермонтов); *«согласованное согласие всех частей»* (в драме) (Гоголь); *«для меня дело — в деле»* (Белинский); *«самая сущная его суть...»* (Тургенев); *«судить судьбу...»* (песня раскольников) и т. д.

В советской литературе полемичность такого утверждения слова особенно наглядна и страстна.

Наряду с поэтической тавтологией очень важную роль в утверждении слова приобретает в наше время троп, как будто прямо противоположный по своему основному приему: эпитеты и метафоры, противоречивые в самом прямом смысле, «невозможные» логически, оксюмо-

роны. Ср.: *«Нас, безрадостно-блаженных, Парки строгие щадят»* (Жуковский, «Жалоба Цереры»); *«В них горькое находит наслажденье»* (Пушкин, «Желанье»); *город Тьфуславль* (Гоголь, «Мертвые души», т. II, вар.); «С того *блаженно-рокового дня»* (Тютчев); *«новый ветхий человек»* (Щедрин); *«чистая грязь народной жизни»* (Чернышевский); «несомненная вера в *возможность невозможного счастья»* (Л. Толстой); *«Германский мировой вопрос»* (Достоевский); *«трезвый пафос фактов»* (Г. Успенский) и т. д.

Такие слова, встретившись, начинают рычать друг на друга, по замечательному французскому выражению, которое очень любил Ленин.

Но важнее всего то, что происходит, когда они уже столкнулись и порычали друг на друга. У больших поэтов, как можно видеть хотя бы из приведенных примеров, это столкновение раскрывает с новой силой важное и неприступное значение каждого из этих слов.

Советская литература, как и вся наша речь, чувствует особое пристрастие к этому самому трудному, опасному, но и окончательному утверждению драгоценных слов в их прямом столкновении лицом к лицу — в оксюмороне. *Торжественно-траурное собрание* в день смерти Ленина; *«Россия заразила уже своим здоровьем человечество»* (Блок); *великий маленький человек*; *«обыкновенное необыкновенное»; фантазия-факт; «Мама!! Ваш сын прекрасно болен»* (Маяковский); *«Святой и грешный* русский чудо-человек» (Твардовский) и т. д.

Есть постоянный спор и борьба за утверждение первоначального смысла во всем нашем новом метафоризме, новом поэтическом переносе смысла.

Новое утверждение «первоначального» смысла слова совершается в самых различных формах, но непременно в споре, в полемике.

## 5

Русская советская литература получила в наследство чудесный, много и бурно живший язык.

Она приняла и *встретила* слова, которые прошли уже огромный исторический путь: слова возвышались и снижались, унижались, даже растаптывались; переходили

из своей узкой сферы в общенародный литературный язык или становились опять очень узкими и специальными; смелые в свое время метафоры превращались в обиходные речевые формулы и клише и уже никого не задерживали, а затем разными средствами воскрешались или опять становились привычными оборотами речи; простодушные некогда слова потом совсем «отлукавились», испортились, пали, а затем опять возвышались, обнаруживали новые, иногда немыслимые, претензии и т. д. и т. д.

В этой книге сделана попытка проследить поэтические превращения некоторых слов в нашу эпоху.

Слово или речевой оборот, стилистическое сращение показано в той или иной образной системе, а не в его совершенно нереальном словарном одиночестве. Так, по ходу дела, читатель должен увидеть, как мастерили свой индивидуальный язык по внутренним законам языка общенародного большие писатели.

Пока речь шла о том, в каком состоянии и виде приняла и встретила Революция то или иное слово, я мог широко пользоваться многими прекрасными работами старых и современных исследователей, в первую очередь И. Срезневского, В. Даля, Ф. Буслаева, А. Орлова, С. Обнорского, В. Виноградова, С. Булаховского, Н. Гудзия, Б. Ларина, И. Будовница, незабвенного Г. Винокура.

Но изучение истории слов-понятий в работах современных исследователей обрывается чаще всего на предреволюционной эпохе, то есть там, где только и начинается самое интересное: *превращение понятия в социалистической революции*. В этой второй части уже приходилось полагаться главным образом на собственные наблюдения. Новейшая литературная история слов нашего языка еще очень мало изучена.

Слова сгруппированы здесь по циклам. Это очень условное деление!

Трудно было разграничить даже архаизмы и неологизмы. Почти все новые словообразования, как увидим, уже когда-то существовали; они по тем или иным причинам не укрепились — и вот снова сложились, по встретившейся новой надобности, по тем же внутренним законам языка.

Но самые важные новые слова — не новые словообразования, а очень старые слова, которые «только» со-

вершенно преобразились. Достаточно напомнить одно такое слово: Совет!

Так и во всем новом назывании, в новой направленности глаголов, в новом великом недосказывании и спрямлении всего строя речи, во всем метафоризме — «всё вместе», все переплетается. **Hard and fast lines** (жесткие разграничительные линии), писал Энгельс, несовместимы с теорией развития.

И все же слова в этой книге сгруппированы по нескольким, очень условным циклам. Слова каждого из этих циклов могли, как мне казалось, быть хорошими представителями определенного хода в поэтическом переносе смысла, определенного типа превращений.

Эта книга не ученое исследование; она не может служить и справочным пособием. Читатель найдет здесь биографии бывалых слов — тех слов, которые имели уже к началу Революции свою большую и значительную историю, а в нашу эпоху пережили особенно важные и поучительные поэтические превращения. Примеры различного исполнения слова отделены один от другого знаком тире, как прямая речь в разговоре; ссылки на источник даются в круглых скобках; сокращения допускаются только в тех случаях, когда они, сокращения, легко читаются: Л. Толстой, «ВиМ»; Герцен, «БиД» и т. д., поэтому нет необходимости особо их оговаривать.

Хочу надеяться, что этот опыт поможет хоть в какой-то мере понять и оценить по достоинству успехи народного мышления, новые внутренние движения в нашем поэтическом языке, «рост русского языка» (Горький) и его преображение в эпоху величайшей Революции.

Моя книга в первом ее издании вызвала много откликов в печати и в письмах читателей. В этих очень благожелательных отзывах я находил чрезвычайно ценные для меня замечания, советы и пожелания, особенно в отзывах академика М. П. Алексеева, В. С. Алексеева-Попова, И. Андроникова, Н. С. и М. Г. Ашукиных, академика А. И. Белецкого, профессора С. М. Бонди, академика Н. К. Гудзия, Власа М. Кожевникова, Н. Кожевниковой, С. А. Колдунова, Г. Ленобля, Я. С. Лурье, В. Перцова, Л. Славина, академика Л. И. Тимофеева, Л. М. Фридкеса, Эр. Ханпира, А. Храбровицкого, Корнея Чуковского,

Г. К. Попова (София), Андре Мазона (Париж). Всем читателям и критикам, которые сообщили издательству или лично мне свои соображения по поводу моей книги, приношу здесь глубокую и искреннюю благодарность.

Во втором издании впервые печатаются очерки: «Бог» (цикл «Вторая жизнь слова»); «Лёт, летчик, летун» (цикл «Новые слова-понятия»); «Большая буква» (цикл «Возвышение слова»); «Гутарить», «Елань» (цикл «Областные»); «Ширять — плавать — парить», «Настроение» (цикл «Кипение вперед»); «Тоска», «Лирика» (цикл «Истинная жизнь слова»).

В тексте книги сделаны многочисленные уточнения, дополнения.

Не вовсе себя порабощай однако ж употреблению, если в народе слово испорчено, но старайся оное исправить...

*Ломоносов*

Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным значит не знать языка.

*Пушкин*

Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.

*Пушкин*

Шишков не понимал, что, кроме духа и постоянных правил, у языка есть еще и прихоти, которым смешно противиться... Большую роль играет упрямство, каприз употребления.

*Белинский*

Язык, лишь только он обособляется, конечно, тотчас же становится фразой.

*Маркс*

Слово по-болгарски — «дума».

Творись,
просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

*Маяковский*

Чтобы непреложнее были слова, возвеличивающие человека.

*Маяковский*

## ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СЛОВА

Еще в 1919—1920 годах в РСФСР выходили «Литературный музеум», «Куранты», «Бирючи», «Временники», «Изборники» и т. д. — журналы с демонстративно архаическими, уже очень давно не действовавшими словами в заглавии.

Издавали эти журналы воинствующие *архаисты,* и был в этом утверждении старых слов вызов всему новому. А в белой эмиграции, за рубежом, как сообщают некоторые мемуаристы, прямо-таки дрались из-за каждого хорошего, еще не захватанного архаизма, который можно было сделать названием-девизом журнала или альманаха. Так, например, существовало несколько белых журналов под особо многозначительным названием «Град Китеж»: грядущий град, который, мол, кому виден, а кому не виден.

Но «град Китеж» и «биричи» («бирючи») и др. очень привлекали и *новаторов.* Возвращение таких слов из прошлого означало, что воплотилась древняя мечта народа, что *внуки подают руку дедам через головы отцов* (Ю. Тынянов). Казалось, что только такие, уже торжественные, слова и способны выразить величие нового времени и запечатлеть его неразрывную связь со всей национальной исторической и поэтической традицией.

Народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский утверждал тогда в статье «О Горьком и его статье «Как я учился писать» «романтический извод реализма». Бирич, глашатай, герольд Новогородского веча, и был одним из таких изводов (тоже демонстративно утверж-

даемый архаизм!). И град Китеж тоже вполне соответствовал художественно-политической программе Луначарского в то время.

Архаизмы торжественно утверждались и архаистами и новаторами — по прямо противоположным, конечно, побуждениям.

Архаизмы старославянские, языческие вместе с церковными, играли важную роль в поэтике «крестьянских», мужиковствующих писателей: «ярило» и «осиянная днесь».

Архаизмы мистические, божественные вступали в удивительные сочетания с новыми железными словами у «кузнецов»: «отроки из железного храма», «бог труда», алтари, стяги и *руги* (в «Словах слав» Ивана Филипченко, где неточно пояснилось, что *руги,* слово совершенно забытое, означало некогда одежду бедняка). У Велемира (а «в миру» Владимира) Хлебникова, пламенного архаиста в самом дерзком своем новаторстве, древние славянизмы должны были раскрыться и явить единственно достойную современности правду: «и нам сказало небо: взы!»; «объять простор в твои *кова!»;* «посолонь на немь» и т. д.

Очень важную, но совершенно особую роль играли архаизмы в поэтике Маяковского.

Он выводил на арену самые л у ч ш и е из архаизмов и сталкивал их с новыми словами-понятиями.

Днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь...

Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая...

Сами
со святыми своих упокоим...

(«Революция»)

И тогда оказывалось, что даже они, лучшие, великолепно и торжественно н е п р и г о д н ы для выражения

нового. Но прекрасно работали у него архаизмы в сатирической речи.

По женской линии
тоже вам не райские скинии...

(«Любовь»)

Это были очень различные по внутренним мотивам и по результатам попытки подняться на плечах старых слов до великой современности.

Уже давно отшумели бои архаистов с новаторами из-за архаизмов самого различного назначения. Но и сейчас еще делаются иногда попытки утвердить заведомо отжившие слова в новой литературной речи — для того, мол, чтобы уберечь ее от оскудения и отрыва от корней, поскольку «океан народного языка един на протяжении веков и периодов». На этом основании предлагалось ввести в современный язык такие прекрасные сами по себе, но уже вполне мертвые обороты, как «я не враг тебе иду, я не змея тебе плыву» или «бьючися с коровой не моло-ко». На этом же основании предлагалось сочетать в исторической прозе реалии древнейших времен со словами новейшими, а иногда и полужаргонными.

Все эти попытки ввести в новую речь давно конченые слова или «встретить» их с новыми словами вызывали дружный отпор. Сопротивлялись раньше всего сами эти слова.

Но точно так же сами и очень властно возвращались в язык, по особой необходимости, многие давно уже не действовавшие слова.

В годы Великой Отечественной войны только эти слова и оказались достойными ратных подвигов воинов, жертв народа на алтарь родины, булатной крепости народного духа.

Тогда возвратилась ко многим словам и *большая буква* (об этом ниже), потребовалась во многих случаях и старинная *инверсия*.

После освобождения Новгорода, «областного центра на северо-западе», как сказано было в сводке, Кукрыниксы написали картину, которая называлась: «Великий Новгород в 1944 году». Это было очень верно сказано.

Мы встретим ниже и старые хорошие слова, которые были уже архаизмами, но «сами» возвратились в язык, начали новую жизнь, и новые слова, которые уже в нашу эпоху стали архаизмами, и сознательно подброшенные противником в язык мертвые и злые слова, — увидим уходы и возвращения слов и бурные поединки из-за архаизмов.

## ЛУКОМОРЬЕ

Это очень древнее слово: «а поганого Кобяка из луку моря, от железных великих пълков половецкыих яро вихрь выторже» («Слово о полку Игореве»); «в лоукомории горы, и высота их до небес...» (Переяславская летопись); «в луце моря...» (Ипатьевская летопись); «идем по них и луку моря, где же не ходили ни деди наши» (Лаврентьевская летопись) и т. д. и т. д.

Но запомнилось оно всем и каждому «из Пушкина» и уже неразрывно срослось со знаменитой пушкинской строчкой.

Даль в своем словаре живого великорусского языка (первое издание — 1863—1866) спрятал это слово в гнезде «Лука» с толкованием:

— ср. морской берег, морская лу́ка; поминается в сказке: *«У лукоморья дуб зеленый»* (Пушкин).

И все. Нет обычных у Даля и важнейших для него указаний, где оно еще бытует в живом языке. Это слово, по Далю, уже нигде не бытовало, только «поминалось в сказках».

Почти одновременно с Далем (1863) вышел «Настольный словарь для справок по всем отраслям знания», под редакцией петрашевца Ф. Толля, «при деятельном сотрудничестве В. Волленса».

«Толль» пропагандирует точное знание, научное мировоззрение, борется со всякой мифологией. Он нашел, однако, место и для «лукоморья» в своем «Настольном словаре», но только для того, чтобы целиком передать его в область баснословия вместе с другими глупыми сказками о плохо еще изученном тогда Севере России:

— Лукоморье, древнерусск. назв. морского излучистого берега, имеющего вид дуги. Весь Север России был для Москвы даже до XV века предметом баснословия, и потому о *Л.*, т. е. о севернорусск. прибрежье, долго ходи-

ло много баснословных рассказов, как о стране, содержащей всяких чудовищ, напр. людей с звериной шерстью, человекоподобных рыб и т. п.

Серьезным людям, как бы говорил «Толль», нечего делать с этим архаизмом.

Позднее в очень популярном и тоже передовом для своего времени словаре Флорентия Павленкова:

— Лукоморье — баснословная страна, населенная людьми необыкновенной честности и разными чудовищами.

Необыкновенная честность — в баснословной стране, вместе с разными чудовищами.

И Павленков умудрился сказать нечто для него очень важное в двух строчках словарной справки.

Так «лукоморье» как будто жило только в баснословии, в сказке, в политической притче и в золотой пушкинской строчке.

Эта строчка получала все новые и замечательные лирические применения.

— Маша. У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... Златая цепь на дубе том... (*Плаксиво.*) Ну, зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра...

Кулыгин. Тринадцать за столом? (Чехов, «Три сестры», 1)

Привязалось полное для Маши огромного смысла «лукоморье». Москва стала для Маши «лукоморьем». Эта «фраза» — Машина «тарарабумбия».

Надолго привязалось это слово и к Бунину.

И снилось мне, что мы, как в сказке,
Шли вдоль пустынных берегов,
Над диким синим лукоморьем,
В глухом бору, среди песков.

(«Сказка»)

Бунин увидел, узнал «лукоморье» — в Италии.

— Чтобы представить себе Капри, надо прежде всего вообразить себя в Неаполе, посреди лукоморья, полукруга огромного Неаполитанского залива. («Остров сирен»)

Другие поэты «вскрывали» это слово по-символистски,

сближали его с многими далекими словами того же замечательного корня, который означает не только гнуть, выгибать, но и счастливо гнуть, попадать в цель (лукать, лучить, улучить и т. д.).

Очень часто, и всегда многозначительно, «лукоморье» выступало в качестве эпиграфа. Оно уже становилось как бы словом-эпиграфом (ср. у Блока и др.).

В начале века А. Р. Кугель писал в «Листьях с дерева»:

— Мейерхольдовский театр был пышно назван «Лукоморье», которое, собственно, неизвестно что должно означать.

Это было, конечно, злое притворство у Кугеля, убежденного противника Мейерхольда, как и МХАТа, как и чеховской драматургии, как и вообще нового театра. Хорошо известно было, что́ это должно означать: мейерхольдовский театр — условный, а не натуралистический. И все желавшие понимать прекрасно это понимали.

В Академическом словаре, выпуск 1906—1907 года, под «Лукоморьем» был такой, и единственный, пример применения этого слова в современной живой речи:

У лукоморья дуб зеленый,
и вензель есть на дубе том
(его чертил кадет влюбленный)...

И ссылка на фельетон Борея в газете «Слово» (1900). Замечательный в своем роде пример вторжения современности в Академический словарь!

В те же годы и вплоть до Революции выходил нововременский «богато иллюстрированный» журнал под названием «Лукоморье». В передовой публицистике непрерывно ругали это грязное «Лукоморье» на Эртелевом переулке» (там помещалось суворинское издательство). И не раз отмечали, что название этого журнала не выражает ничего, кроме огромного желания не иметь ничего общего с действительностью. Печататься в этом «Лукоморье» — значило изменить идеалам передовой русской общественности, пасть до суворинского «Лукоморья».

После победы Революции совсем остервеневшее «Лукоморье» еще некоторое время издавалось теми же «суворинымн детьми» где-то за границей.

Саша Черный в эмиграции, когда он подводил свои

грустные итоги, обращался к тому же пушкинскому лукоморью:

Никогда у лукоморья
Не кружись, толстяк, вкруг дуба, —
Эти сказки и баллады
До добра не доведут...

(«Ночные ламентации», 1931)

В советской литературе это слово до самого последнего времени почти не встречалось, даже в тех произведениях, в которых демонстративно воскрешался «исконный, многонапевный, от самой повольщины не тронутый говор» (А. Малышкин) или старый книжный язык с лунной навью, стогнами, веждами, осиянностью, згой и мгой и пр.

Надолго уходит «лукоморье». Но вот в 1944 году (27/IX) в «Правде» был напечатан очерк об «Азовстали» — «Строители» покойного А. Колосова, большого мастера языка. В этом очерке:

— У лукоморья — костер...

Здесь интереснее всего интонация. Слово сказано среди прочего, будто ничего не произошло, будто оно никуда и не уходило. «Лукоморье» поставлено в строго деловую связь, — красивое, но прозрачное и точное, оно не должно останавливать...

Но оно, конечно, останавливало и придавало всему отрывку и всему очерку оттенок особой, очень трезвой сказочности. Речь шла о том, что возрождение «Азовстали» совершилось, еще в ходе войны, сказочными темпами.

На праздновании 90-летия О. Л. Книппер, первой Маши в «Трех сестрах» Художественного театра, артисты в костюмах офицеров из этой пьесы обратились к Ольге Леонардовне с юмористическим приветствием.

— Она поблагодарила и вдруг, — рассказывает Б. Ливанов, — прочитала одну лишь фразу из роли Маши: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...» Эти слова прозвучали так проникновенно, так красиво, что после молчания зал разразился бурной овацией в честь Ольги Леонардовны.

Что-то очень важное и, кажется, итоговое нашла для себя О. Л. Книппер в этом «лукоморье».

А у Леонида Мартынова «лукоморье» создает основ-

ной мотив одной из его лучших поэм: «Замечали — по городу ходит прохожий?..» Она помечена: «1935—1945», — мотив этот привязался, стало быть, к поэту на целое десятилетие.

Прохожий разучил на своей волшебной флейте только одну песню: «В Лукоморье далеком чертог есть чудесен!» Он звал людей туда,

... где горят изумруды,
Где лежат под землей драгоценные руды,
Где шары янтаря тяжелеют у моря!
Собирайтесь со мною туда, в Лукоморье!

Простые, душевные люди верили Прохожему без дальних расспросов, потому что и сами всегда мечтали о каком-нибудь лукоморье. Но другие, «слишком сознательные», допрашивали его с пристрастьем.

«Некий строитель» допрашивал: «Где чертог? Каковы очертанья чертога?» «Истории некий учитель» все пытал: «Лукоморья кто был покоритель?» Плановик утверждал, «что не так велики уж ресурсы Луккрая, чтобы петь о них песни, на флейте играя». «Старец хохлатый, непосредственно связанный с Книжной палатой», говорил: «Лукоморье? Изволите звать в Лукоморье! Лукоморье отыщете только в фольклоре!» «Бездельник в своей полосатой пижамке»: «Вы воздушные строите замки!»

Дети с огромным увлечением слушали Прохожего и «делали луки». Но мамаши отбирали у них луки и говорили:

— Ваши сказки, а дети-то все-таки наши!
Вот сначала своих воспитать вы сумейте,
А потом в Лукоморье зовите на флейте!

Только эти мамаши и еще, пожалуй, плановик в самом деле сбили Прохожего и оставили его ни с чем; остальные, по логике поэмы, ничего не понимают, если они не понимают, что́ такое для души народной «лукоморье».

А кончается поэма вопросом:

Где оно, Лукоморье, твое Лукоморье?

(У А. Колосова, как мы видели, был и на это свой очень трезвый и поэтический ответ.)

Сергей Смирнов, пародируя эту поэму Л. Мартынова, писал:

Я маститых собратьев зову в Лукоморье,
а они прозябают
          среди Мухоморья
и терзают меня возмутительной речью:
— Нам неплохо живется и в Замоскворечье! —
Я послал их к чертям и расстроился даже,
а волшебную флейту назначил к продаже,
но услышал коварный ответ антиквара:
— Дорогой,
          нам не нужно такого товара... —
На лирическом складе покоится флейта,
Все пути к Лукоморью затеряны гдей-то.
Я на это
          уже наложил свое вето
и лечу в бесконечность со скоростью света.

(«Лукоморье—Мухоморье»)

Так «Лукоморье» стало и в наши дни большим идейным комплексом, ареной нешуточных боев.

Но вот что говорит Л. Мартынов о судьбе самого слова «лукоморье»:

Исчезло, ушло лукоморье.
Хранить вы его не умели!

Местные обыватели (но только они!) уже не знают и не понимают этого слова, искажают его на разные лады:

— Лукоморье?
— Мукомолье?
— Какое еще Мухоморье?
— Да о чем вы толкуете? Что за исторья?
— Рукомойня? В исправности.

Сами по себе народные этимологии, даже обывательские, пошлые и криводушные, обычно не отменяют исходного слова, а только его утверждают, как мы не раз еще увидим. А «лукоморье» исчезло, ушло из живой речи — и,

по-видимому, совсем недавно (Даль был неправ!). Л. Мартынов обращался к живым людям, которые не сумели сохранить «лукоморье»!

Известно, что на Севере и сегодня еще хорошо живут многие старые слова и обороты речи, которые уже давно ушли из общенародного живого языка. Еще совсем недавно у поморов действовало в живой речи и это старое слово «лукоморье».

У Л. Мартынова есть особое и глубокое пристрастие не к архаизмам, а к возвратившимся словам, даже к самому слову «возвращение». Он замечательно ярко исполняет такие слова; лучшие его стихотворения — это, собственно, рассказы «золотых от зрелости слов». И очень строго звучит у него это его обращение к людям, которые не сумели сохранить «лукоморье» в самую лучшую его пору, когда пришла уже полная зрелость. «Лукоморье» на сегодняшнем, советском Севере России! Даже суровый «Толль» говорил бы уже о нем по-другому!

Прекрасный поэт Л. Мартынов иногда защищает уже безвозвратно отжившие слова; в этом случае он боролся за слово, которое еще может и должно жить — не только в сказке и не только как эпиграф.

## БЛИЖНИЙ

Снижение, даже оскорбление этого высокого слова идет по всему фронту обличительной литературы с давних времен. Оно как бы особенно ненавистно передовым людям, потому что призвано было, обещало быть священным, но вот позорно пало, обмануло, получило мелкие и корыстные применения.

В духовной литературе была твердо установленная *лествица степеней ближнего:* сначала — все человечество, потом теснее, конкретнее и по этапам — отечество, общество, родные, добрые люди и, наконец, уже не «добрые» (то есть зажиточные), а все прочие.

Так и в мирской иерархии «ближний» имел свои многие, но всегда строгие терминологические значения (ближний боярин — «комнатный», что ныне «камер», как толковал впоследствии Даль, и т. д. и т. д.).

И уже очень рано это высокое слово получает очень земные, иногда боевые применения.

В «Истории Тверского княжества», в начале XV века:

— Мы не только не полагаем душа своя за ближнего, но из ближнего извлачим ю [её], хотяще взяти ю оружием заколения.

В «Пчеле» XVII века, сборнике полезных притч и советов на все случаи жизни, вот какое саркастическое наставление:

— Испытай себя больма, нежели ближьних, тем бо себе пользуеши, а онем ближьним... (Проверяй больше себя, чем ближних, ибо этим ты себе пользу принесешь, а тем — ближним...)

«Польза» здесь — моральное совершенствование. Вот и начинай моральное совершенствование с себя, а не с ближнего! Составитель «Пчелы», по всем признакам, не верит тем, кто будто бы очень старается добыть блаженство ближним, а не себе в первую очередь.

А Феофан Прокопович уже совсем по-писательски сталкивает далеко разошедшиеся к тому времени значения этого слова, замечательно его исполняет:

— Однакож гордыня не родит зависти к дальним, но к ближним: к ближним, глаголю, или по чину, или по делу воинскому, купеческому, художескому или по крови и племени, или по державе верховной и прочая. («Слово похвальное... Петру Великому»)

Он подчеркивает и повторяет это слово («к ближним, глаголю»), которому он дал в этой тираде новое, полемическое и даже кощунственное применение. Зависть не к дальним (если бы так!), а к ближним по чину, по делу и к тем, кто ближе к трону, то есть источнику совсем не духовного блаженства.

Потом всё новые и «рычащие» сопоставления исходного, высокого, и современного, реального смысла слова.

— Добрый поляк умеет сострадать ясновельможному ближнему... (Грибоедов и Вяземский, «Где брат, где сестра», оперетта-водевиль)

Знает, какому ближнему стоит сострадать.

У Пушкина:

За Клима духовник наш адом,
Девице бедной, мне грозит;
Но ближних он любить велит,
А Клим — живет со мною рядом.

(«Вяземскому»)

Очень ближний Клим!

Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить.

(«Медный всадник», 3)

Отличная политическая экономия... И тесно с этим связанное:

Мы рождены, сказал Сенека,
Для пользы ближних и своей
(Нельзя быть проще и ясней)...

(Варианты к главе восьмой «Евгения Онегина»)

Свободное и непочтительное обращение с этим священным словом как в живой речи, как в народном разговоре (ср. старинную поговорку: «Ближняя родня — на одном солнце онучи сушили»). А «польза» звучит здесь уже почти как интерес, выгода, рост, то есть проценты. Опять выместить на ближнем.

Пушкин не включил этот грандиозный сарказм в окончательный текст «Евгения Онегина» — вероятно, потому, что это был прямой вызов церкви.

«Ближний» все ниже падает.

А. Никитенко записывает в стиле, можно сказать, Шопенгауэра:

— Кажется, следующее определение человека будет недурно: человек есть существо физическое, разумное и гадящее своему ближнему. («Дневник»)

У М. И. Михайлова:

— Вот дама, очень хорошая и бывалая дама, мадам Дергачова... сестра исправника. Единственная слабость ее — любовь к ближнему. Нет ни одного столь незначительного происшествия в городе, которое не возбудило бы ее участия... и т. д. («Адам Адамович», 8)

Дамская любовь к ближнему.

У Щедрина:

— Здесь дело идет совсем не об том, чтоб оказать

услугу ближнему, а о том, чтоб испоместить свою собственную чувствительность...

Еще:

— Сходить в карман своего ближнего... («Признаки времени»)

Герцен:

— Они напоминали монахов, которые из любви к ближнему доходили до ненависти ко всему человеческому... («Лишние люди и желчевики»).

Афоризм Козьмы Пруткова:

— Люби ближнего, но не давайся в обман...

— Кулигин. А те [приказные] им, за малую благостыню, злостные кляузы строчат на ближних... (Островский, «Гроза», 1—3)

Но это еще сравнительно «наивные» приказные, которые довольствуются малой благостыней!

У Сухово-Кобылина:

— Муромский. Это, стало, по правилу: возлюби ближнего, как самого себя?

Тарелкин. Именно — всё наполовину. («Смерть Тарелкина»)

Это уже, кажется, самое «последнее» и окончательное оскорбление обманутого слова-понятия во всей русской дооктябрьской литературе.

«Возлюби ближнего, как самого себя» — основной догмат христианского вероучения. В этом качестве он получает самые содержательные «применения».

Бестужев говорил о Рылееве на следственной комиссии по делу декабристов:

— Он веровал, что если человек действует не для себя, а на пользу ближних и убежден в правоте своего дела, то значит само Провидение им руководит. («Восстание декабристов», сборник материалов, I)

Бестужев возвращает противнику его же слова: вы-то ведь только и говорите, что о любви к ближнему. Особого рода, и благороднейший, «шантаж» словом «ближний».

В казенной, церковной и светской, терминологии это слово уже так обесчещено, что есть особая радость в том, чтобы его поднять и возвысить.

У Некрасова:

Когда мой ближний утопал
В волнах существенного горя,
То гром небес, то ярость моря
Я добродушно воспевал.

(«Поэт и гражданин»)

И наряду с этим у Некрасова же:

Но ты знаешь, кто ближнего любит
Больше собственной славы своей,
Тот и славу сознательно губит.

(«На смерть Писарева»)

Писарев любил ближнего... Писарев — «нигилист», «ругатель», «поджигатель» — в самом деле любил ближнего. Только он и любил, а не вы! Это — поднятая перчатка!

Служи не славе, не искусству —
Для блага ближнего живи.

(«Русскому писателю»)

Здесь «перчатка» не только «ближний», но и вообще почти каждое слово: служить, слава, искусство. Через много лет Маяковский так же горячо утверждал слово «служить»: да, да, служить, если речь идет о Революции.

Известно, что Тургенев-редактор даже не поверил, что так могло быть написано: «не славе, не искусству»; он исправил: «но искусству» (замечательные подробности см. у К. Чуковского, «Мастерство Некрасова»). А «благо ближнего» Тургенев оставил.

У «Толля» под этим слoвом только уже известные нам терминологические значения, но с одним характерным добавлением:

— Ближняя канцелярия, прежде то же, что ныне собственная канц. его [с малой буквы] Вел. [по необходимости с большой]. Занятия ее состояли в тех делах, какие царь на нее возлагал.

Попутное, но очень серьезное разъяснение: ничтожная в общем, по своей лакейской роли, «ближняя канцелярия его Вел.».

А других значений слова «ближний» «Толль» не хочет знать.

В «Войне и мире» князь Андрей говорит Пьеру:

— А другие, ближние, le prochain, как вы с княжной Марьей называете, это главный источник заблуждения и зла. Le prochain — это те твои киевские мужики, которым ты хочешь сделать добро.

И он посмотрел на Пьера насмешливо-вызывающим взглядом. *Он, видимо, вызывал Пьера.* (Л. Толстой, «ВиМ», 2, 2—11)

Вызывал — словом «ближний».

А в эпилоге «Войны и мира» этот спор получил характернейшее завершение. Та же княжна Марья говорила мужу своему, Николаю Ростову, исходя по-прежнему из указаний самого бога:

— Пьер говорит, что наш долг — помочь ближним. Разумеется, он прав... но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми. (Эпилог, 1—15)

Ближе ближнего.

Сарказмы Достоевского:

— [Опискин] особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. («Село Степанчиково»)

В исповеди Ивана Карамазова:

— Я тебе должен сделать одно признание: я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. (Гл. «Бунт»)

И дальше вдохновенное разъяснение, почему любовь к ближнему есть всегда ложь, надрыв лжи, даже у таких святых, как Иоанн Милостивый.

В литературе конца века иногда мелькает «любовь к дальнему». Это ницшеанство противопоставляло «рабьей христианской морали» с ее любовью к ближнему «любовь к дальнему», которая, однако, у Ницше ничего серьезного не означала.

В 1895 году Владимир Соловьев, единственный в своем роде философ-мистик, который был одновременно

очень остроумным человеком и пародистом по натуре, писал своему другу, раввину Ф. Гецу, то есть духовному лицу и тоже философу:

— Я на бога не ропщу, — за исключением, впрочем, тех случаев, когда приходится путаться в чужие личные дела. Тут я поступаю не столько по-евангельски, сколько по-кантовски (согласно толкованию Шиллера): помогаю ближним с отвращением...

Затем, в последнее десятилетие перед Октябрем, еще новые, очень характерные для того времени снижения и возвышения «ближнего»:

Ты сам свой бог, ты сам свой ближний,
о, будь же собственным творцом, —
будь бездной верхней, бездной нижней,
своим началом и концом.

(«Двойная бездна»)

Это — Мережковский. Ближний, будь бездной. Само по себе это было тогда не очень оригинально, но Мережковский ушел от шаблона при помощи «двойной» — верхней и нижней — бездны.

У Саши Черного «искатель» решил наконец выяснить у специалистов, почему его одолевает все время безысходная меланхолия. Врач-невропатолог оказался бессилен что-либо объяснить и направил его к философу. Философ встретил его в халате и сказал искателю:

«Здесь бессилен сам Сократ!
Вы — профан. Ищите ближних».
— «Очень рад».
В переулке я поймал
Человека с ясным взглядом.
Я пошел тихонько рядом:
«Здравствуй, ближний...» — «Вы нахал!»
— «Извините...»

(«Искатель. Из дневника современника»)

Человек с ясным взглядом обиделся, когда его обозвали «ближним».

М. Шагинян в 1912 году:

Он дан творцом, чтоб мы понять могли,
Неизгладимей, пламенней, постижней, —

как должен быть безмерно дорог ближний,
как может быть любима персть земли.

Это, как мы еще увидим, очень важный мотив в творчестве М. Шагинян того периода.

Судьба этого слова после Октября весьма замечательна.

Революция восстановила почти все старые «хорошие слова», но это слово сыграло поистине грандиозную роль — от обратного — при новом уточнении всех важнейших понятий.

Ленин писал в «Великом почине» по поводу нового коммунистического субботника:

— Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота *рядовых рабочих* об увеличении производительности труда, об охране *каждого пуда хлеба, угля, железа* и других продуктов, достающихся не работающим лично и не их «ближним», а «дальним», т. е. всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей, объединенных сначала в одно социалистическое государство, потом в Союз Советских республик. (29—394)

Это — программа Революции, основа всей новой этики. Одно из самых замечательных «превращений понятия в социалистической революции».

Ленинские ближние и дальние стали главным мотивом поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин»:

Переходило
от близких к ближним,
От ближних
дальним взрывало сердца.

Архаизм «ближний» — и «близкий» в самом громком тогда политическом значении этого слова («близкий» нам или далекий, чуждый). И еще — самый близкий товарищ в строю, в ряду бойцов.

Яростные схватки слов!

В 1926 году Горький пишет писателю И. Касаткину:

— Основной же неисчерпаемой темой нам, навеки, дан человек в его противопоставлении внешнему миру —

природе, «ближнему» — человек в борьбе, в несогласии, в жажде роста и т. д.

В «Климе Самгине» Елена говорила о Харламове:

— Талантливый! Вчера читал мне что-то вроде оперетки —очень смешно! Там хор благочестивых банкиров уморительно поет:

О, какая благодать
кости ближнего глодать!

— В эти дни едва ли уместно балаганить, — сказал Самгин...

...Речь Диомидова обильно украшалась словами молитв, стихами псалмов, цитатами из церковной литературы, но не редко и чуждо в ней звучали фразы светских проповедников церковной философии: «Разум, убийца любви к ближнему». (IV)

«Эти дни» — начало первой мировой войны, а писал Горький четвертый том «Клима Самгина» уже в начале 30-х годов, когда эти слова имели свою новую историю.

— Любовь Адриановна... остановилась, глядя потемневшими глазами на мертвого мужа... Кто он был? А это был все тот же — единственный и самый нужный, живущий в каждом человеке и всегда упускаемый, размениваемый, предаваемый, невозвратно теряемый — ближний. (М. Шагинян, «Единственный», 1919)

Мы уже встретили этот мотив в дореволюционном творчестве М. Шагинян. Когда в 1958 году М. Шагинян подготовляла к печати новое собрание своих сочинений, она многое, как сказано в предисловии, отвергла как отжившее или изменила.

Но этот «ближний» в финале рассказа 1919 года был оставлен в неприкосновенности. В самом деле — это очень содержательный эпизод из истории советского общества.

Осторожно, застенчиво, непременно опираясь на что-нибудь, поэты вновь произносят вслух эти слова.

Хочу концы земли измерить,
Доверясь призрачной звезде,
И в счастье ближнего поверить
В звенящей рожью борозде.

(Есенин, «Пойду в скуфье...»)

После «в счастье ближнего поверить» сразу же «звенящая рожью борозда», то есть нечто очень земное, страшно близкое поэту. Только так и не стыдно сказать это «наивное» слово: «счастье ближнего».

Через много лет в поэме Ярослава Смелякова «Мама»:

Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних оберегая
своей лучистою добротой.

«Слов хороших, нежных, искренних, любовных теперь стесняются, чураются. Для «смягчения» прекрасной их человечности их произносят лишь с улыбкой извинения», — писал Л. Леонов в 1926 году, после самоубийства Есенина, в заметке, которую мы еще не раз вспомним.

А теперь уже можно было сказать впрямую, без улыбки извинения, одно из таких слов: ближний.

И одновременно оно становится веселым и лукавым словом разговорной речи.

— Понимаю, — сказал Пронякин. — Третья заповедь. «Не пей сам, пои ближнего». (Г. Владимов, «Большая руда»)

Один из «прогрессивных, проникнутых высокой гуманностью лозунгов», выдвинутых «Ученым советом Литературного музея» (из юмористического отдела «Литературной газеты»):

— Переведи ближнего, как самого себя.

«Ближний» остается и очень *полемическим* словом у нас и за границей.

В новой трагедии Ильи Сельвинского «Человек выше своей судьбы» есть такой диалог, спор не на жизнь, а на смерть, между Лениным и некоей Крыловой:

— Ленин. ...А коммунизм — любовь к человеку!
Крылова. Ах, любовь к ближнему? Я не Христос.
К дальнему — вот что во мне родилось!
Ленин. Привет вам от Ницше.
Крылова. К тридцатому веку!

К тому благородному, чистому духом,
лишенному гнусных и мелких страстей,
где ясность души в общеньи друг с другом
не сменится дракой из-за костей.

Ленин. А вы полагаете, будто вы
уже и сегодня вот этот дальний?

Крылова. Ну, что вы...

Ленин (*резко*). Все мы не таковы!
Все мы, все мы в огромной мере
дети общества и среды.
И надо отнюдь не мечтать о химере,
а так построить свои ряды,
чтоб изменить это общество в корне!
Тогда и правнук породы горней
в реальной действительности заживет.
Дальний растет из ближнего! Вот!

(Картина I)

Крылова, *«седая женщина с волевым подбородком и сужающимся кверху лбом фанатика»,* не может этого понять и никогда не поймет.

Это и есть главный и прекрасный мотив трагедии И. Сельвинского, начатой, как гласит авторская ремарка, в 1949-м, а законченной и дописанной в 1961 году.

А два года назад наши газеты приводили речь д-ра Герстенмейера, видного деятеля так называемого Христианско-демократического союза, партии Аденауэра, то есть современного светского проповедника той же приблизительно церковной философии, которая звучала в словах горьковского Диомидова.

Д-р Герстенмейер сказал, что всякие материальные требования рабочих и служащих следует рассматривать как «покушение на собственность ближнего». А после таких покушений, говорил он, д-р Герстенмейер, «уже начинается непременно коммунизм и вообще бог знает что...»

Он был в своем роде очень прав.

«Ближний» — сегодня не только нежное и веселое, но и очень боевое слово.

## АНГЕЛ

Огромный путь этого слова остроумно и почти точно оценил М. Светлов:

Мы, признаться, хитрые немного —
Умудряемся в последний час,
Абсолютно отрицая бога,
Ангелов оставить про запас...

(«Возвращение»)

Это в самом деле веселое и торжественное возвращение в язык слова, которое святоши, торгаши, глупцы и мещане так и не смогли опошлить и погубить непоправимо.

Нет никакой возможности проследить здесь сколько-нибудь подробно все превращения этого необычайно важного в поэтическом языке слова. Отметим только те повороты смысла, которые получили как бы прямое развитие и преображение в современном литературном языке и в языке советской литературы.

Не выразил бы чувств моих в сей миг
Ни ангельский, ни демонский язык!..

(Лермонтов, «Джюлио»)

И эти же слова — *«ангельский и демонский язык»* — повторяются в «Измаил-бее». Они, видимо, чрезвычайно важны для Лермонтова.

Как и Пушкин, Лермонтов неустанно издевается над каноническим церковным, сентиментальным и тривиальным «французским» применением этого слова в речи дворянской верхушки («ангел-хранитель», «ангел во плоти», «ангел нравом и душою», «мон анж»; ср.: «Снова пленялся каким-нибудь ангелом, ибо всякая томная прелестница, которая брала на себя труд уверить его в любви своей, обыкновенно казалась ему существом небесным» (Карамзин, «Чувствительный и холодный») и т. д.).

Но это же очень опустившееся и надоевшее, почти глупое слово стоит в центре самых высоких и смелых лирических стихов Лермонтова. И «ангельский язык» побеждает, в конечном счете, «демонский язык», как он ни соблазнителен для Лермонтова.

Через всю нашу литературу проходит в бесконечно различных формах поединок этих двух условных языков — «ангельского» и «демонского».

«Ангел» шествует со своей обязательной, канонической свитой уже привычных и стершихся речевых формул. «Ангел» становится словом-комплиментом или деловым термином, обозначением определенного товара.

Литература то и дело останавливает эти готовые формы, разглядывает их заново, и тогда открывается грандиозное несоответствие слова его первоначальному смыслу.

Самое резкое, «невозможное» уже сегодня, противопоставление этого слова той «вещи», которая им обозначается, восходит к XIV веку:

— Ангельский имея на себе образ, а блядней нрав, святительский имея на себе сан, а обычаем похабен... («Слово Даниила Заточника»)

Потом уже без этого, ставшего непечатным слова, но тоже очень круто в самых различных применениях:

— По их понятиям: самый лучший ангел-хранитель бурсацкого спасения — это фискал, наушник, доносчик, сикофанта и предатель... (Помяловский, «Очерки бурсы», 4)

— Несчастливцев (*Буланову*). Ты выменяй образ моего ангела и молись утром и вечером, чтоб нам не встретиться. (Островский, «Лес»)

«Выменяй» вместо «купи» — характернейший эвфемизм. Нельзя же покупать святого! Но слово «ангел» имеет здесь и свой особый смысл, в этом разговоре с очень грешным мальчишкой Булановым.

— Так как об детях понимаешь? Ангельские это душки или нет? (Островский, «Пучина», 2—1)

«Ангелочек» — детская, еще не грешившая душа.

Но вот уже разговор между вполне взрослыми грешниками:

— Вы звали меня «ангельской душкой»... (Островский, «Бедные невесты», 1—8)

Здесь продаются и покупаются невинные «ангельские душки» — невесты.

«В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана» — название водевиля Д. Ленского, по ходячему в то время

афоризму. У Щедрина в «Невинных рассказах» это же двустишие уже без кавычек, как всегда у него в самых серьезных случаях.

Позднее у Щедрина:

— Итак, с одной стороны, социально-демократическая пропаганда, а с другой — поздравления с ангелом... («За рубежом»)

Щедринское резюме всего новейшего политического развития в Европе.

Аполлон Майков далек от всей этой литературно-политической «суеты». Но ему, эллину, не импонирует «ангел» — символ христианского смирения. Он предпочитает демона:

Господень ангел тих и ясен,
Его живит смиренья луч.
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч.

(«Ангел и демон»)

У Лескова «ангел» сохраняет свои древние, церковные и даже канонические смыслы и ассоциации, и на этой основе «ангел» становится у него огромным философским обобщением: мотив «Запечатленного ангела» проходит через все его творчество.

И он же не раз играет на лукавом созвучии: ангельский и áнглийский, то есть, раньше всего, торговый, просвещенный и купеческий («просвещенные мореплаватели»).

Слово опускается в мещанскую речь, особенно ангелы «падшие». Только о таких ангелах и поет с надрывом «жестокий романс».

И страстно играет этим словом Достоевский: он беспредельно возвышает именно это «жестокое» его применение.

— А знаете что, ангел-барышня, — вдруг протянула Грушенька самым уже нежным и слащавейшим голоском, — знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую. («Братья Карамазовы», 3—9)

— И выбить, наконец, из вертепа на свет душу высокую, страдальческое создание, *возродить ангела,* воскресить героя. (Там же)

Даль во второй трети XIX века, подводя итоги развитию этого слова, регистрирует сравнительно немногие его значения. Но, как всегда, чрезвычайно выразительны некоторые из отобранных им применений.

— *Нельзя быть ангелом, оправдание; ответ: да не надо быть и диаволом.* ...По злоупотреблению ангелом во плоти называют не только человека кроткого, благого жития, но и вообще кого любят... кому льстят.

Маленькая проповедь, предика в толковании слова «ангел»!

У его противника «Толля»:

— Ангелы (греч., знач. Вестник) разумные дух. существа, созданные богом при начале мира; разделяются на добрых и злых. Ангел-хранитель, по учению христ. веры (Мф., 18, 10), дается каждому челов. на время всей его жизни для сохранения от грехов и просвещения истинным светом.

«Толль» сумел и здесь сказать хоть что-нибудь о разуме. А своего «ангела-хранителя» он разъяснил так, что получается: для сохранения от грехов и *от* просвещения истинным светом, светом разума.

У Михельсона в его «крылатых словах» только обычные речевые формулы. Но весьма интересен пример — конечно, из Пьера Бобо́[рыкина]:

— Вы «ангел во плоти». Так и выразился. («Ранние выводки»)

Так и выразился! Это уже старомодно и наивно. Так уже не говорят «люди» — люди его круга!

В словаре Академии 1891 года главный пример из литературной истории этого слова:

Утоли печаль мою, ангел-утешитель.

**(Жуковский)**

Более новых нет.

Символисты придают этому слову новое, современное, иногда боевое, но непременно мистическое значение:

Осени меня, ангел вечера,
Светом внутреннейшим, неземным крылом.

**(Ал-др Добролюбов, «Выденьки мои...»)**

Народу Русскому: Я — скорбный ангел мщенья!
Я в раны черные, в распаханную новь,
Кидаю семена. Прошли века терпенья...

**(Макс Волошин, «Ангел мщенья», 1906, Париж)**

Так же, как в «Пепле» Белого и у раннего Брюсова, эти «вестники» предвещают Мщение или даже Революцию, но — мистическую. Это грозные ангелы. Эпиграф чаще всего из Пушкина, из «Подражания корану» (III):

Но дважды ангел вострубит,
На землю гром небесный грянет;
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет...

В советской литературе идет замечательное новое узнавание и преображение этого слова.

Лариса Рейснер рассказывает о Беренсе, который командовал всеми морскими силами («наморси») республики в 1918 году:

— Он принял ее [новую власть] взволнованный, со всей вежливостью куртуазного XVIII века, стареющего дворянина и вольтерьянца, сильно пожившего, утомленного жизнью, а на склоне лет еще раз побежденного страстью: последней, нежнейшей любовью к жизни, молодости и творчеству, к *жестокому и прекрасному ангелу, обрызганному кровью и слезами целого народа и пришедшему наконец судить мир.* («Астрахань», V)

Революция — ангел. Это уже было, как мы видели (Белый, Волошин), но теперь это впервые очень серьезно. И, помимо всего прочего, это ответ Л. Рейснер поэтам-символистам, которых она так хорошо знала.

В воспоминаниях Ю. Либединского:

— Коммунисты после собрания поют «Интернационал». Об этом в «Неделе» было сказано: «Эта песня красным карающим ангелом летит над городом».

Художнику, оформлявшему первое издание «Недели», так понравился этот ангел, что он поместил его, багрово-красного, с факелом в руке, на обложке книги, после чего я совсем убрал его из текста... («Современники»)

«Ангел» играет выдающуюся роль во всей поэтике Горького.

— По образу их [птиц — чистейших существ на земле] человек, отец красоты земной, создал в утешение себе эльфов, херувимов, серафимов и весь ангельский чин... («В людях», 7)

Это как бы историческая справка: как и почему возникли ангелы.

Весьма замечательно здесь и разглядывание слова «чин». Это было некогда большое слово-понятие, оно означало порядок, строение, — конечно, божественное, но мировое; чин — так переводили в старину и греческое слово космос... Оно страшно сузилось затем, применилось сначала в церковной сфере (чин ангельский, то есть третья степень монашества), потом в гражданской бюрократической иерархии (ранг, звание).

Горький заставляет эти слова рассказать о своем прошлом, чтобы с новым, огромным основанием утвердить человека, который некогда должен был утешаться ангелами и пр., но всегда был отцом всей красоты земной.

— Она была похожа на ангела с царских дверей [в церкви]... (Там же)

И вот самое выразительное, тесно связанное с основной темой всего горьковского творчества:

— А в углу рычал мрачный октавист:

— Что понимаете в пении сего безобразного ангела [Клещова] вы, черви, вы, плесень... (Там же)

Шорник Клещов был «человек мятый, жеваный, в клочьях рыжих волос; носишко у него блестел, точно у покойника...» Но он был ангел, потому что был очень талантлив: «он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской». А талантливая «дума о жизни» — это и есть искусство. И это чувствует мрачный октавист, профессионал искусства, у которого только и есть что его октава; в эту минуту и он талантлив.

«Безобразный ангел» развернулся в огромное, истинно великое обобщение.

В «Климе Самгине»:

— Господа! Мы все — падшие ангелы, сосланные на поселение во вселенную.

— Плохо! Долой! (Т. IV)

Плохо, надоели, не играют уже эти бесчисленные «падшие ангелы», чаще всего политические ренегаты.

После Революции у Горького диалог Мелания — Рябинин в «Достигаев и другие»:

— Рябинин. Вам приказано защищать власть торгашей, ростовщиков, да вы и сама из этой шайки.

Мелания. На мне — чин ангельский, дура-ак. Шайка!

Ремарка Горького, когда он впервые выводит на сцену большевика Рябинина, гласит: «говорит с юмором»; это для Горького решающая характеристика нового, настоящего человека.

Мелания пытается напомнить *этому* человеку о чине ангельском. Происходит поистине историческое крушение: новый юмор уничтожил и Меланию, и ее ангельский чин, и весь мировой «чин» бесчестия и неправды. И разыгралось это огромное представление на чине ангельском.

В интересующей нас здесь связи важно отметить, что если бы «ангельский чин» был совершенно мертвым архаизмом, самые эти слова не сохраняли еще остатков своей былой силы, то все это чрезвычайно серьезное столкновение превратилось бы в довольно обычную игру на словах высоких и тут же, рядом, очень низких («шайка», «дурак»). Так оно и бывает иногда в нашем театре. Но у Горького «ангельский чин», как мы уже видели, очень драматическое само по себе понятие.

Горький писал во вступительной статье к собранию сочинений Михаила Пришвина:

— Разумеется, я очень хорошо вижу, что он [русский человек] и после Революции все еще не ангел, но мне и не хочется, чтобы он был ангелом, я хотел бы только видеть его работником, влюбленным в свою работу и понимающим ее огромное значение.

Но человек этот, по Горькому, пожалуй, ангел... Отец земной красоты, чудотворец, который уже не ищет утешений, а влюблен в свою работу и понимает ее огромное значение. Это — продолжение того же главного разговора, который проходит через все творчество Горького.

Это очень серьезное выяснение отношений — и с самим Пришвиным.

Некогда Пришвин говорил о «свободном овладении материала», и «свободное» означало у него — стихийное, бессознательное. Потом Пришвин чудесно рассказывал о новой работе, совершенно преобразившей природу,

но это было, по Пришвину, только «возвращение к детскому богатству народной души» — детскому, то есть тоже бессознательному, хотя всегда и непременно, по Пришвину, лукавому. Так или иначе, человек у него как раз и не понимал огромного значения своей работы, и *в этом* была для Пришвина вся прелесть его работы. А Горький не без лукавства и при помощи «ангелов» разъяснил Пришвину это недоразумение.

В поэзии Блока, как у Лермонтова, непрерывно переплетаются и борются «демонский и ангельский язык».

«Ангел» — постоянный спутник его поэзии. «Ангел» Блока пережил, конечно, от первых его стихов до «Возмездия» огромные, можно сказать — исторические, превращения; но дело обстояло вовсе не так, что мистический и символистский вначале «ангел» постепенно трезвел, обмирщался и стал, наконец, как ему полагается, только языковой метафорой. И в самых *окончательных* блоковских применениях «Ангел» поистине двуязычен, он говорит и как ангел и как демон.

В ранних стихах:

Я буду верить: не растает
До утра нежный облик твой.
То некий Ангел расстилает
Ночные перлы предо мной.

(«Звезда полночная скатилась...», 1900)

Меч*та та*ет... Этот мотив повторяется затем много раз; но есть здесь и другое — замечательное внутреннее движение и решение.

На разукрашенную елку
И на играющих детей
Сусальный ангел смотрит в щелку
Закрытых наглухо дверей.

А няня топит печку в детской,
Огонь трещит, горит светло...
Но ангел тает. Он — немецкий.
Ему не больно и тепло.

Но и эта немецкая игрушка фабричного, штамповочного производства для русской елки — *подлинная* и

высокая мечта для девочки-души; мечта, которая, однако, непременно растает, оставив после себя только лужицу. И раз так, ничего не стоит эта мечта!

Ломайтесь, тайте и умрите,
Созданья хрупкие мечты,
Под ярким пламенем событий,
Под гул житейской суеты!

Так! Погибайте! Что в вас толку?
Пускай лишь раз, былым дыша,
О вас поплачет втихомолку
Шалунья девочка — душа...

(«Сусальный ангел», 1909)

«Тающий сусальный ангел» был в те годы ходовым поэтическим образом. Вот и другие стихи о тающем сусальном ангеле, написанные почти одновременно с блоковскими:

Ангел светлый, милый, мне напомнил ты
Все, что в детстве было, а теперь — мечты...
Я стою печальный. Ты — другой в окне,
Ты теперь сусальный, — таешь на огне...

(Ашукин, «Ангел»)

Похоже; нет только блоковского «ломайтесь», «тайте».

В те же годы у Блока:

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук!

(«Унижение», 1911)

Необычайная прелесть этих стихов возникала в поединке с противником, со всей его пошлостью таинственной, в бесстрашном утверждении таких слов, в которых пошляки непременно должны были узнать свое, знакомое и понятное, даже «слишком понятное». Наперекор всем и всему, Блок отстоял и «острый французский каблук» и «ангела». Вчерашний его ангел был самый *настоящий* ангел.

В 1906 году диалог Блока с Ангелом:

Люблю Тебя, Ангел-хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле...
За то, что не можем согласно мы жить,
За то, что хочу и не смею убить —
Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!

(«Ангел-хранитель»)

Это дума о Родине, о Руси — в форме свободной и естественной для поэта: в форме диалога с его личным Ангелом-хранителем.

Блок раньше всех других больших людей своего круга полюбил Революцию, и именно Революцию большевиков, а не какую-нибудь иную, потому что это было для него осуществление его всегдашней мечты — мечты не хрупкой, не сусальной, такой, которая не растает.

Он писал в «Возмездии» о недавнем прошлом:

Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И Ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас.

Это в той первой главе поэмы Блока, где сама *жизнь* была взята в кавычки. Теперь мечта шла впереди священной брани за братство, как ее Ангел-хранитель. Сбылась его мечта, торжествовал его ангел.

Поистине засияло заново у Блока это слово, которое было необходимо ему в с е г д а.

У Есенина:

Тихий сумрак, ангел теплый,
Напоен нездешним светом.

(«Даль подернулась туманом...»)

Нежно под трепетом ангельских крыл
Звóнят кресты безымянных могил.

(«Синее небо...»)

Это не метафоры; это в самом деле. Попробуйте отнять у этой природы «ангелов», и мало что от нее останется. Есенин воюет с теми, кто не видит этого света и не

слышит этого звона, и только с ними он и воюет. Когда он писал, уже прямо полемически: «Отдам всю душу Октябрю и Маю, но только лиры милой не отдам», — он защищал именно этих, совершенно необходимых ему «ангелов». И когда он писал стихи, которые считались имажинистскими, весь «имажинизм» был только прикрытием, только «пропуском», который позволял ему выйти к этой главной своей лирической теме.

А самая серьезная эпитафия Есенина самому себе звучала так:

Но коль черти в душе гнездились —
Значит ангелы жили в ней.

(«Мне осталась одна забава...»)

«Ангелы» оказывались совершенно необходимы Есенину при этом окончательном подведении всех итогов.

У Маяковского «ангел» — арена страстной литературно-политической полемики.

В ранних, дореволюционных стихах:

Перья линяющих ангелов бросим любимым
на шляпы...

Все старые и самые высшие духовные «ценности», все ангелы прошлого вылиняли, но выбрасывать их нет смысла. Они найдут себе в новом, умном мире хорошее и серьезное применение — любимым на шляпы. А слово «любимые» нисколько не полиняло!

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз...

(«Облако в штанах»)

*Тоже* — бесконечно важное в поэтике «тоже»! Сколько их было, сусальных ангелов и сахарных барашков, в поэзии, у «бездельников-лириков»! «Ангел», уже совсем залитературенный «ангел», был совершенно необходим Маяковскому при генеральном размежевании со старой поэзией. И вот чистосердечное признание: «Я был им...»

В «Человеке»:

Заглядываю —
ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Чудесное «важно»! Это слово имеет свою особую, чрезвычайно содержательную историю; у Маяковского все его значения теснятся в этом веселом, ироническом применении.

— Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте...

(«Шесть монахинь»)

Новое словообразование — ангелицы, — которое кажется, однако, естественным и стародавним. И после этого: попросту...

Маяковский почти непрерывно снижает это слово (ср. «орангутангел», «это вам не Врангель-ангел»), но таким образом, что только проясняется и умнеет его первоначальный смысл. Слово не вылиняло.

— Не из шайки ли Ангела? (Ал. Толстой, «Ибикус»)

Это была подлинная фамилия одного из бандитских атаманов на Украине. Но чаще «Ангелы» были прозванием и девизом. В годы гражданской войны среди бандитских батек много было «Ангелов», и многие офицерские белогвардейские отряды назывались «Ангелами смерти». Это была попытка создать белую «романтику», это отвечало чьим-то демоническим вкусам. ЧОНы, отряды красноармейцев и комсомольцев, без каких-либо пышных названий вели жестокие и упорные бои с этими «ангелами».

*«Ангел»* живет и сегодня новой, очень многогранной жизнью.

— Беси-то везде кишат... из одного ада-то... а ангели и везде плачут...

Так говорила некогда, очень давно, бабушка Анна (в «Вольнице» Ф. Гладкова), и теперь уже необычайно

привлекательна для писателя наивная, но несмешная торжественность этих слов.

Старый большевик тов. Зилинский вспоминал к 41-й годовщине Октября:

— Фарфоровый завод Корнилова на Выборгской стороне называли в народе «*фабрикой ангелов*»: юные фарфорщики умирали здесь десятками. («Звезда», 1958, № 11)

Ср.: ангельские, то есть еще не грешившие, души, которые отзывает к себе бог.

Вот еще ангелы, *фабриканты ангелов:*

Впрочем, и ныне в городе, к слову,
Ангелы водились... И пошли далеко,
Ангелы кожевенные — Ивановы,
Ангелы скобяные — Золотаревы,
Ангелы мукомольные — Синицын и К°...

(П. Васильев, «Синицын и К°»)

А так как у ней собственный ангел в сердце
(Тата звала его просто «Анжелло»),
она и просила: «Анжелик, не сердься», —
и ангел кое-что делал.
Вот и сейчас сквозь все это лихо
в слезках ее появился хранитель.
— Анжелик, сделай, чтоб все было тихо .
или чтоб я жила за границей.

(Сельвинский, «Улялаевщина»)

«Ангел» — речевая метафора, которая во всех удачных применениях обязательно открывает и свой первоначальный смысл, весь пучок своих старых и новых значений.

Что суетные мысли и слова,
Как сердцу тосковать и ненавидеть,
Когда прозрачность неба такова,
Что можно ангела увидеть!

(В. Инбер, «Горькая услада», 1912)

— Опрокинуть небо — громадное пространство, осторожно тронутое ангельской рябью облаков. (В. Катаев, «На полях романа»)

—Тысячи влюбленных крылий трепещут в синем и золотом... и небо ими полно, как ангелами... (Л. Рейснер, «Афганистан», I)

— Было так тихо, что стук весла о борт разносился по морю далеко и гулко, как в комнате. Такие рассветы рыбаки называют «ангельскими». (Паустовский, «Беспокойная юность»)

Не метафоры, не гиперболы; просто — лучше не скажешь. И особенно радостно, когда это же слово уже получило и специальное, терминологическое значение (такие рассветы рыбаки называют «ангельскими»); остается только еще раз поэтически открыть и утвердить этот перенос.

В современном фантастическом, но по-особому достоверном романе:

— Веда очнулась от мыслей на станции, но снова вернулась к ним в вагоне Дороги.

Вестники неба, космоса, так можно назвать и Эрга Ноора, и Мвена Маса, и Дар Ветра. Особенно Дар Ветра, когда он будет в ближнем, земном небе, на стройке спутника... — Веда улыбнулась шаловливо. — Но тогда духи пучин — это мы, историки... Да, так, ангелы неба и духи пучин! (И. Ефремов, «Туманность Андромеды», XIII — «Ангелы неба»)

— Мне кажется, — читали мы в «Литературных дневниках» Юрия Олеши, — что «Ангел Рафаэля так созерцает Божество» — это об ангелах, которые, подперев подбородки, созерцают Сикстинскую. Пушкин, не бывавший за границей, знал, разумеется, эту картину по копиям. Там оптическое чудо. Ангелы, облокотившись о что-то земное, смотрят вперед и, хотя она идет позади них, убеждены, что они ее видят. (1955)

Пушкинская строчка — в придаточном предложении, а затем бесконечно трезвое разъяснение «оптического чуда».

Но все это сказано, собственно, только для того, чтобы еще раз обосновать пушкинскую строчку и получить право заново восхититься ее несравненной красотой.

У Л. Мартынова:

На миг
Все успокоилось в природе,

Как будто тихий ангел на порог,
Как говорили некогда в народе,
Вступил...

(«Ночные звуки»)

Некогда? И сейчас, конечно, хорошо живет в нашей речи эта речевая метафора. Л. Мартынов «только» разглядел и применил ее заново.

Вера Панова, которая настойчиво и подчас очень удачно реабилитирует и поднимает «падшие» слова и отыгранные метафоры, вложила в уста своего героя Данилова, комиссара санитарного поезда во время войны, такие слова:

— Мы должны быть ангелы, херувимы и серафимы, да. Мы — братья и сестры милосердия. («Спутники»)

Это было очень естественное для этого героя, но и вообще уже довольно естественное применение «ангела», как и слова «святой» и др., когда речь идет о высшей самоотверженности и преданности очень реальному и трезвому общественному делу.

Это большое слово, с которым, собственно, опасно шутить; именно поэтому оно совершенно необходимо сатирикам.

В 1932 году Ильф и Петров писали почти пророчески:

— Эта картина, по всей вероятности, уже готова, и мы скоро увидим на экране сверхположительного героя, которому не хватает только крыльев, чтобы стать заправским ангелом... («Рождение ангела»)

И уже вскоре «ангелы» этого рода снова очень понадобились в литературной полемике. В прозе и в стихах и даже в драме (как это ни чудовищно) исчезали иногда какие бы то ни было реальные конфликты между людьми. Оставалась только «борьба» хороших с еще лучшими, и это называлось конфликтом «ангелов с архангелами».

В театральном жаргоне оба эти слова — «ангелы» и «архангелы» — стали почти терминами; было уже нечто вроде *амплуа* ангелов и архангелов...

Очень активно живет в нашу эпоху этот архаизм; он даже не в запасе, как уверял М. Светлов, а в действующей армии слов...

## БОГ

— Хорошая у нас в России революция, ей-богу! (Ленин, 1905, 34—311)

— Торопите с этим все техники, ради бога!! (Ленин, 34—271).

— Ну как дела, товарищ Буденный?

Я смутился и, сам того не желая, выпалил:

— Слава богу, Владимир Ильич!

— Это выходит по-русски — хорошо. Это очень хорошо, — проговорил Ильич. — Значит, слава богу, — повторил он и рассмеялся, звонко и заразительно («Литературная газета», 11/IV 1957 г.)

Очень любил Ленин эти присловия и с особым удовольствием применял их, как видим — даже в самых серьезных случаях, в устной речи и в статьях.

С особым удовольствием потому, что одновременно Ленин неумолимо преследовал и травил «бога» и «боженьку» во всех его перелицовках, во всех его «переводах» на научный язык, во всех его поэтических преображениях.

Известно, что некоторые из этих преображений порой очень соблазняли даже ближайших его соратников, товарищей по партии. «Богосозерцающие», «богопотакающие», «богостроители» и т. д. — ленинские ответные, уничтожающие слова.

— [В Америке, Швейцарии и др.] народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеей чистенького, духовного, построяемого боженьки (35—89).

— Старый проклятый завет, что всякий за себя, один бог за всех (30—216).

— Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый чорт отличается от чорта синего. (Ленин — Горькому, 35—89; 1913)

В полемике о боге Ленин особенно охотно применял тот метод, который он сам определял французской пословицей: **à corsaire corsaire et demi**, то есть бил противника его же оружием, но с большей, полуторной силой.

— Бог... бог у нас совсем на втором месте. Зато вот начальство — это другое дело. (1—244)

Если на то пошло, — где у вас бог, лицемеры? На втором месте, после начальства.

Бог для Ленина — классическое «слово-мошенник». Но хорошая у нас революция, ей-богу! И все слава богу.

После Октября, впервые в истории, пропаганда научного атеизма становится одной из открыто провозглашенных задач государственной власти.

В этой работе антирелигиозники могли ссылаться на самый язык, на речь и словесные жесты народа.

Еще Герцен писал о «глубокой атеистичности русского народа», которая получила ярчайшее выражение в его самых интимных раздумьях, песнях и бесчисленных афоризмах.

Но на язык и на народное творчество могли ссылаться и противники. Сохранились, конечно, в народном языке и в народном творчестве и следы самой искренней и жаркой религиозности.

В первые годы Революции на многочисленных диспутах о боге противники перебрасывались, главным образом, теми или иными, а иногда одними и теми же народными афоризмами о боге. Почти каждый из них можно было толковать надвое. В самых как будто истовых и набожных можно расслышать и разочарование, и горечь, и иронию, и юмор.

Пушкин выписывал из сборника Киреевского наиболее понравившиеся ему старинные пословицы и поговорки. Среди них была такая притча:

— Бог даст день, бог даст и пищи. Этой пословицей бедняк утешал однажды голодную жену.

Да, — отвечала она, — пищи́, пищи́, да с голоду и умри.

Народ имел уже свои ответы на все религиозные обольщения.

Когда вышло знаменитое собрание пословиц Даля, рецензент, академик-протоиерей И. Кочетов, писал в своем заключении:

— «Жив, жив курилка, не умер: жив бог, жива душа их». Какое кощунственное соединение побасёнки народной со священной клятвой! С огорчением благочестивый христианин будет читать в книге г. Даля и следующие слова: «Бога зови, и черта не гневи; Богу угождай, а черту не перечь; Бог дал путь, а черт крюк; Бог свое, а черт свое...»

И так почти всюду в этом богатейшем собрании: бог, а рядом черт, который чаще всего сильнее бога. Почти всюду главный мотив: мы всё это уже слышали, вы уже больше не обманете нас словами.

В конце концов И. Кочетов только и мог прийти к совершенно безнадежному выводу, который и появляется во всем своем блеске в финале его рецензии:

— Народ глуп и болтает всякий вздор.

Он в своем роде подтверждал вывод Герцена и Белинского:

— Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. (Письмо Гоголю, X — 214)

Так и Ф. Буслаев в своей «Исторической грамматике русского языка» отмечал:

— От слова бог (в смысле языческого божества) происходят: божье — род падучей болезни (*тульск.*); божья — вообще страшная болезнь, эпидемия (*казанск.*); божья милость — буря, гроза (*новг., арханг., вологодск.*); божье — радуга (*арх.*).

Оговорка «в смысле языческого божества», если она даже не вынужденная, ничего не меняет. Достаточно и того, что одно и то же слово означает и языческое божество и христианское, имя которого, собственно, даже не полагается произносить вслух.

Это — кощунство или беспредметное богохульство, в котором человек только отводит душу. Но сколько есть очень содержательных, а иногда поистине революционных применений этого понятия в народных поговорках и пословицах!

— Истинник [то есть чистоган) не бог, а тоже чудотворец.

— Рубль не бог, а тоже милует.

Тоже!

— Денежка не бог, а полбога есть (пословица).

— У нас бог без добра [то есть без буквы Д—добро].

— Все Боги теща прошла... («У Спаса к обедне звонят» — в «Сборнике древнерусских стих-ий» Кирши Данилова).

«Боги» с большой буквы, но в совершенно безбожном множественном числе. Ср. еще: «Всем богам по сапогам, а матери божьей полусапожки».

А вот разоблачение всей божьей политической тактики:

— Раздружи, боже, народ, накорми воевод...

В рифму сказаны самые непоправимые для бога слова!

Это целая программа, и притом революционная. Но есть большая разрушительная сила и в сравнительно невинных с виду народных присловиях — таких, как, например, «бог с ним».

— Девицу из числа тех, о которых говорят, что они «бог с ними». (Тургенев, «Дневник лишнего человека»)

Такую никто и не возьмет замуж. Ср.: «На тебе, боже, что нам негоже». Здесь «боже» вместо «небоже» (то есть убогий бедняк); но как выразительна самая эта подмена понятий!

Особенно интересны применения этого слова к умным, с одной стороны, и к простым, или попросту дуракам, — с другой:

— Простым бог простит.

— Бог дурака поваля кормит.

И, наконец, гениальное:

— В дураке и бог не волён.

В этом последнем случае «применение» можно толковать и в лестном для бога смысле. Но самое соседство этих понятий, конечно, говорит о многом.

Безбожные поговорки, присловия, афоризмы даже количественно преобладают. Но главное: они — самые яркие, самые талантливые, они побивали все другие. Это прекрасные р е п л и к и в непрерывном народном диалоге о боге.

Поэтому антирелигиозники с бо́льшим успехом, чем их противники, могли ссылаться на самый язык, — а «язык есть исповедь народа», по старому, очень верному изречению.

Народ — богоискатель и правдоискатель.

Эти старые слова-понятия писатели и публицисты правого лагеря всегда и с огромным усердием сливали, объявляли синонимами.

В нашу эпоху они далеко разошлись, «размежевались» и восстали одно против другого.

Блестящий размен реплик по этому вопросу в «Любови Яровой» Тренева:

— Закатов. Народ-богоискатель жадно ищет правду божью...

Елисатов. У меня семь раз искали. Полы ломали. Все взяли на богостроительство. (IV)

Закатов — протоиерей, вероятно, академик, но он раньше всего профессионал. Закатов оскорблен в лучших своих чувствах и иронизирует, как умеет, насчет народного богоискательства и самого себя.

А интеллигент Елисатов — «деятель тыла», попросту говоря, дипломированный спекулянт. Но после всего, что́ произошло, уже елисатовы ударились в богоискательство.

Возникает новое, уже очень полемическое «богоискательство».

Заперлись дома
интеллигентчики,
достали свечки,
ладан курят — богоискатели...

(Маяковский, «Владимир Ильич Ленин»)

Теперь присвоили себе это слово «интеллигентчики» — богоискатели поневоле.

Это, раньше всего, «ответ комсомольцам».

В комсомольском жаргоне тех лет — сплошное и самое лихое богохульство.

— «Крой, Ванька, бога нет». (Ив. Катаев. «Ленинградский проспект»)

Уж потом, в комсомоле, в рабфаках, в вузах, они взялись за науку. Да и все ли взялись? У многих так и осталось: «Крой, бога нет!» (Б. Горбатов, «Мое поколение»)

Но этот лозунг мог только очень обрадовать богоискателей-интеллигентчиков и чрезвычайно возвысить их в собственном мнении: «А мы что говорили! Совершенно по Достоевскому: если нет бога, все позволено!»

Вот почему очень интересно заявление Демьяна Бедного:

Настроенный, так сказать, «богохульно».

(«Новый завет...» Демьяна Бедного, 14)

«Богохульно» в кавычках; так сказать, «богохульно».

Противник мог считать, что это еще одно богохуль-

ство, каких много-много было в истории, он мог ответить, как отвечал народ на всевозможные религиозные обольщения: «Все это мы уже слышали, и притом в гораздо более интересной форме». Но вот Демьян Бедный сам называет это слово, которого он, по мысли своих противников, должен больше всего бояться, и заключает его в кавычки. Ничего вы не понимаете, если думаете, что это всего только еще одно богохульство!

Надо, впрочем, отметить, что хоть Демьян Бедный и смело поднимал перчатку, его «Новый завет», грубый и неубедительный, чаще всего бил мимо цели.

•

В эти же годы совершается столь же полемическое и столь же неубедительное обоготворение самых важных новых слов-понятий. «Бог» получает неслыханные новые «применения».

Мириады кружатся на празднике бога Труда.

(И. Филипченко, «Слова слав»)

Бог — с малой, Труд — с большой буквы.

Но и эта большая буква над новыми важнейшими словами-понятиями, и этот бог в новых «применениях» — все это было такое же упрощение серьезных вещей, как богохульство и как «Крой, Ванька, бога нет».

Другой разговор о боге идет в народе и получает яркое отражение в языке и литературе.

— Сколько тут было частей — радостно все открыли «огонь по богу». (Фурманов, «Чапаев», 3)

Но там же, в «Чапаеве»:

— [Чапаев] неоднократно подводил разговор к теме о религии, о так называемом боге.

Это была, по-видимому, очень занимавшая его, во время самых жестоких боев с противником, тема, хотя «бог» и «так называемый».

Тема эта не исчерпана, и вся эта группа слов — бог, боги, «божеское и человеческое», «твое—мое—богово» и т. д. — очень активно живет в языке.

И не только как присловие или форма речевого усиления!

— Мать. Воевать придется — все о боге вспомните! (Афиногенов, «Малиновое варенье», 1)

Она пытается запугать этим словом. Она верит в силу этого слова.

Но это еще сравнительно простой случай. Л. Сейфуллина отметила более значительный и интересный поворот темы:

— Сектанты пели на песенный голос державинскую оду «Бог»:

«Я царь — я раб, я червь — я бог».

(«Перегной»)

Вот какое применение получила эта великолепная ода в первые годы революции!

В свое время слова Державина были очень дерзкими. С сердечной простотой он объявлял и себя самого богом (хотя и с малой буквы), то есть применял к себе слово, которое верующий не смеет произносить вслух и полностью.

Пушкин сделал эти державинские строчки эпиграфом к главе второй своей, тоже очень дерзкой поэмы «Египетские ночи», причем характернейшим образом изменил, упростил пунктуацию:

Я царь, я раб, я червь, я бог.

Без смелых, подчеркивающих дерзость перехода и применения тире, которые говорили по крайней мере о том, что поэт решается на нечто очень серьезное. Просто: «я бог».

Пушкин приводил эти же державинские слова в своей ранней «вольтеровской» поэме «Тень Фонвизина».

И ты судьбой Невтону равен,
ты бог — ты червь, ты свет — ты ночь.

И здесь пунктуация весьма выразительна. А вершина всей этой пирамиды понятий — Невтон, наука.

Державинская ода имеет, вообще говоря, свою большую историю... Но вот теперь сектанты пели эти дерзкие слова как молитву, на песенный лад. Они верили в силу этих слов, ни для кого не безразличных, и во внутреннюю песню этой оды.

Спор продолжается, принимает всё новые формы.

Уходит наивное богохульство и такое же наивное обоготворение новых боевых слов-понятий, которые должны занять место «бога». Начинается, как всегда, новое выяснение отношений с этим словом. У Горького:

— Земский начальник вернулся к своей теме: богат — значит, богатырь, человек, награжденный богом особой силой ума, духа, тела. («Орел»)

Он ссылается на доказательства, которые дает сам язык. «Богат», «богатство» — от «бога». Об этом говорит *само слово.* Он, как почти все самые интересные герои Горького, разглядывает слова, этимологизирует и извлекает из самого слова все, что ему нужно.

Так рассуждает земский начальник, пореформенный защитник законного порядка. Это его тема; он к ней «вернулся» уже в который раз.

Богатство — от бога; богатый все же раб божий и, стало быть, не виноват в том, что он богат, и т. д.

Этот очень древний мотив звучит и сегодня во всех самых «научных» оправданиях социального неравенства.

А вот другой бог.

— Бог с ними! Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божье, как бабушка. («Детство»)

— Она стояла на коленях, сердечно беседуя с богом. (Там же)

Ср: «с сердечной простотой беседовал о боге» — у Державина. Бог — собеседник и утешитель темной честной женщины.

Есть свой «бог» у всех удачливых героев Горького. Они избраны богом за свой хотя бы деловой талант, за ум и умение. Иногда за свое окаянство; они большие грешники, но б о л ь ш и е, и поэтому они непременно еще придут к богу. У каждого из них свой особый разговор и договор с богом. Это бог преступников, то есть людей, которые как-никак нашли в себе силу преступить закон, незаурядные люди, которые всегда и по-особому интересовали Горького.

После революции у этих удачливых еще недавно людей, у этих д о с т и г а е в ы х, уже главная надежда только на «бога», то есть раньше всего на силу этого слова.

— П р о п о т е й (*Достигаеву*). Люди, говорит, глупы,

к ним на боге подъезжать надобно, да понепонятнее, пострашней (2 д.).

Он с Достигаевым говорит не о боге, а о людях. Верно ли, что, как говорят, люди глупы, можно ли еще подъехать к ним на боге? Пропотей, профессионал, уже в этом не уверен.

— Поп шлепает губой, пыхтит: бог, а уже не токмо не слыхать, даже и нет интереса слушать. («Рассказ о героях»)

Слово слабо и неинтересно звучит.

Напомним еще, что, когда Горький создавал «Библиотеку поэта» (1933), очень серьезные споры возникли из-за той же державинской оды «Бог», о которой речь была выше. Некоторые идеологи того времени не позволяли включить это гениальное произведение в антологию классической русской поэзии, считали недопустимым «тратить на нее советскую бумагу». Горький с большим трудом одолел все препятствия и включил «Бога» в антологию.

У Блока:

В страну, неведомую ныне,
Введешь меня — я вдаль взгляну
И вскрикну: — Бог! Конец пустыне!

(«Неведомому богу», 1899)

С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

(«Заклятие огнем и мраком»)

В ранних стихах Блока есть и очень романтическое, «грешное» и вполне пиетическое влечение к богу, даже церковному православному богу.

Есть в этих ранних и более поздних стихах такое же горячее влечение к богу языческому, к старорусским языческим богам.

— В русском народе, особенно по захолустьям... заботливо берегутся обломки верований в веселых старорусских богов (Мельников-Печерский).

Известно, что символисты усердно возрождали эти верования, которые уже утрачивали свою власть над сердцами людей даже по захолустьям. Блок отдал дань и

этому увлечению своих товарищей-символистов. Он писал замечательные стихи о Веснянке, Перуне и других веселых старорусских богах.

> В вышине чью-то душу пронес
> Молодой народившийся бог.
>
> («Дышит утро»)

А это уже эллинский и вообще общечеловеческий «молодой бог», который уже много раз выступал в высоких образцах нашей лирики и прозы.

— Громады дворцов, церквей стоят, легки и чудесны, как стройный сон молодого бога. (Тургенев, «Накануне», 33)

Но к тому времени, когда писал эти стихи Блок, «молодой бог» уже звучал по преимуществу несерьезно, игриво, а иногда и непристойно. Тем более он привлекал Блока (ср. «ангел вчерашний»).

После Революции Блок создает «Двенадцать». В финале — образ Христа, бога или по крайней мере богочеловека. Сколько было сделано попыток «оправдать» это, а то и придать точный социальный смысл и «адрес» Христу в финале «Двенадцати»!

Точно так же церковники некогда вполне благополучно находили высокий и благочестивый смысл в таких священных, входящих в священное писание, но совершенно «невозможных» памятниках древней поэзии, как чрезвычайно эротическая «Песнь песней» или безысходно скептический Екклезиаст!

В. Л. Юренева рассказывала:

— Я как-то прочла ему [товарищу Могилевскому, работнику ВЧК, в характере которого было что-то «наивное и ребяческое»] «Двенадцать» Блока. Он слушал с интересом, затем сказал: «Хорошо, но при чем тут Христос? А вы замените: впереди сам Маркс идет». («Записки актрисы»)

Времена таких замен, подстановок и «применений» давно прошли; остались «Двенадцать» — одна из вершин русской послереволюционной поэзии. Эта поэма несомненно славит большевистскую революцию. Но бог оказался необходим Блоку и в этом самом важном для него случае.

— Бога нельзя обходить молчанием, — писал Маяковский.

Это слово играет очень большую роль в его поэзии и в его поэтике.

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.

(«Облако в штанах», 4)

Бог отвергается, раньше всего, по причине разительного несоответствия масштабов. Он до смешного мал по сравнению с человеческими делами и страданиями. Два суффикса еще больше раздвигают это расхождение.

Сделали картинку,
назвали «бог»
и ждут, чтоб этот бог помог.

(«Гуляем»)

Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у бога.

(Трагедия «Маяковский»)

Речь идет уже не о боге, а о людях. Слово, получив наконец настоящее применение, очень хорошо работает в сравнении и снижении — и в гиперболе. Более смелой гиперболы в языке нет.

Люди родятся,
настоящие люди,
бога самого милосердней и лучше.

(«Война и мир»)

Нам
до бога
дело какое?!
Сами
со святыми своих упокоим

(«Революция»)

«Со святыми» — отбито у противника большое слово, и таким же большим словом должен быть здесь «бог».

А то какая была бы честь в разрыве с каким-нибудь божиком!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

(«Облако в штанах»)

Слово божественно даже по канонической традиции: «в начале бе слово, слово бе к богу и бог бе слово» И сколько уже было в русской поэзии прекрасных стихов о божественном слове! И сколько раз уже применялись эти слова как готовое клише, которое только кое-как освежалось и обыгрывалось!

Уже после Революции Андрей Белый писал:

Ты в слове Слова — богослов.

(«Первое свидание»)

А Маяковский после всего утверждает «слово, величием равное богу» — по-пушкински и по-тютчевски.

Равное богу, — а «бог» с малой буквы, как того требует общеобязательный орфографический кодекс. Но в этих чудесных строчках «бог» требует прописной буквы, и он, можно сказать, на глазах у нас побеждает свою строчную. Это очень увлекательное зрелище.

Есенин писал:

Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.

(«О Русь!..»)

До и после признания об этой своей тайне он неистово богохульствовал в разных стилях.

В имажинистском:

По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой бог.

(«Инония»)

В «народном», мужицком:

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В бога и царя.

(«Мой путь»)

Бранились в бога, — но растоптать в брани стоит только большое и страшное слово. Таким оно и оставалось всегда у Есенина.

У Сельвинского:

Ужели материя так убога,
что я да ты только раз удались?
Даже помимо понятия «бога»
здесь очевидный идеализм.

(«Алиса», 1951)

Кавычки и малая буква весело напоминают о той «очень большой» букве, которая венчала это слово «в идеализме». Снова самое написание слова «бог» дает целое представление.

В современной разговорной речи «бог» выступает очень активно в таких сочетаниях и сложениях, в которых церковное или философское значение этого слова или осмеяно, или расплылось.

— Неизвестно, как перешли мы по лисьему мостику: бог перенес. (М. Пришвин, «Аромат фиалок»)

«Чур, меня не подводить! —
Молвил, глядя на гнедого. —
Вам за конюха такого
Бога надобно молить».

(А. Яшин)

— Атаджанов, поэт талантливый и оригинальный, так сказать, поэт «божьей милостью». Но где-то на пути к «богу» он остановился. А надо не бояться... (М. Светлов)

— Сказал — и готово, как у бога. (Разг.)

— Черти не нашего бога. (Разг.)

Как эвфемизм — вместо грубого слова:

— Чего ж ты, бог тебя люби. (В. Шишков)

Или как грубое слово:

— Он теперь его будет крыть от души до бога и от бога обратно. (Н. Погодин, «Мой друг»)

— Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны. (А. Н. Толстой, «Русский характер»)

— Иди, бог войны, думай о мире! (П. Павленко, «Счастье»)

— Раза три начинали стрелять немецкие пулеметы, но это была... обычная стрельба «на бога». (Э. Казакевич, «Звезда»).

И т. д.

Но вот у Фадеева:

— Дочь моя! Да благословит тебя бог! — сказала Марья Андреевна, всю жизнь и в школе и вне школы занимавшаяся антирелигиозным просвещением. — Да благословит тебя бог! — сказала она и заплакала.

Это не только привычный речевой оборот. И это не минутная слабость, не капитуляция Марии Андреевны. Есть очень большая сила в утверждении заведомо «не тех», но некогда важных для людей слов. Только с большой высоты можно было опять сказать эти слова.

В письме другу самого Саши (Фадеева):

— Но зато — это бывает в награду от бога — навсегда осталась в сердце эта нежность к вам. (1949)

Из новой прозы:

— А вы, батюшка, сами верите в бога?

О. Дементий опрокинул стопку и отечески добросердечно сказал своей спасительнице [врачу]:

— Ефимовна! Давайте *о работе* говорить не будем! (В. Боков, «Над рекой Истермой»)

В советскую эпоху слово «бог», как видим, живет интереснейшей новой жизнью.

Оно сохранилось не только как служебная речевая формула. Несравненная по своему драматизму история

этого слова и огромная его внутренняя панорама, самая радость победы над понятием, которое так долго властвовало даже над сильными умами, — все это создает замечательные новые применения, исполнения, преображения. Это слово незаменимо.

## БОГИНЯ

В русской традиции это было высокое, но не священное, не особо оберегаемое слово. Для церкви оно как бы не существовало: «языческое или баснословное божество, божок женского пола», по Далю.

Но и это поэтическое слово было ареной страстных схваток.

Придворные поэты называли императриц Елисавету и особенно Екатерину богинями (ср.: «Страны полночной героиня... Надежда, радость и богиня» — Ломоносов и др.)

Н. И. Новиков в своих журналах не раз очень иронически высказывался о такой манере выражаться. И в ответ ему пригрозили *«богиней полицией»*.

Богиня — муза поэта, богиня — высший образец женской красоты и грации — это почти непременный аксессуар классицистской и романтической поэзии, почти штамп.

Но эта же «богиня» создавала и непреходящие поэтические образцы.

И над внимавшими лежала,
Богинь присутствием полна,
Как над могилой, тишина.

(Жуковский, «Ивиковы журавли»)

Не спорю с питомцами
Разборчивой мудрости,
Учеными, строгими;
Но свежей гирляндою
Венчаю веселую,
Крылатую, милую,
Всегда разновидную,
Всегда животворную,

Любимицу Зевсову
Богиню-Фантазию.

(Жуковский, «Моя богиня»)

Уже самое утверждение языческой и пантеистической «богини» в качестве высшего нравственного и эстетического идеала и высшей истины носило отчетливо полемический и антицерковный смысл.

Ср. в «Правилах соединенных славян», то есть устава одного из ранних преддекабристских обществ:

— Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим, и удовольствия с любовью водворятся в доме твоем. (Седьмое правило.)

Пушкин применяет это слово и очень нежно, и очень трезво, и богохульственно, и по мелким полемическим поводам, и в самом «важном» смысле.

И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений...

(«Руслан и Людмила»)

Богини мира, вновь
Явились музы мне...

(«Послание Чаадаеву»)

Мои богини! Что вы? где вы!

(«Евгений Онегин»)

Неприступною богиней
Роскошной царственной Невы.

(Там же)

И наряду с этими прекрасными «богинями»:

И, жертвуя богине скуки,
С воксала в маскерад лететь.

(«К Маше»)

Вралих Петрополя богиня...

(«Тень Фонвизина»)

Но при таком потрясающем возвышении вралихи (речь идет о поэтессе А. Буниной) само слово «богиня» становится еще более высоким и недосягаемым.

А вот «богиня» в самом важном смысле:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая...

(«Андрей Шенье»)

«Богиня» имеет и предметное, даже номенклатурное значение.

— На широкой соборной площади Владимир поставил вывезенные из Херсонеса бронзовую квадригу и статуи античных богинь; может быть, по ним площадь стали называть «бабиным торжком». (И. Воронин, «Древнерусские города»)

Торжок и его «вывеска» — богини.

Надгробное изваяние «богини» — обычная принадлежность христианского кладбища.

— Так и стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку, над могилой Тихона Ивановича... (Тургенев, «Конец Чертопханова»)

Как всегда, сопоставление этого маленького делового смысла с большим исходным, эта полемика значений дает слову новое внутреннее движение, новую трогательность.

Аполлон Майков о том же в самом широком обобщении:

Возвышенная мысль достойной хочет брони;
Богиня строгая — ей нужен пьедестал,
И храм, и жертвенник, и лира, и кимвал,
И песни сладкие, и волны благовоний...

(«Возвышенная мысль»)

Это, конечно, целая программа поэтики, выраженная в очень поэтических стихах.

И вот ответ Писарева, то есть одного из тех, кого раньше всего имел в виду Аполлон Майков в этих очень поэтических, но и явственно полемических стихах...

В 1859 году был открыт памятник Николаю I работы барона Н. Клодта. В подножии статуи Николая по углам

стояли четыре богини: Вера, Мудрость, Правосудие и Сила.

Это был хороший памятник, но — памятник Николаю и *его* мудрости и правосудию.

Писарев откликнулся «Одой», которая ходила, конечно, только в списках:

...а в углах четыре девы —
из всего потомства Евы
русских набрано княгинь —
посадили за богинь...

(Опубликовано впервые в журн. «Русская литература», 1960, VI)

Не смеют княгини, с которых лепил своих дев Клодт, сидеть на памятнике как богини (хотя эти слова и прекрасно рифмуются)! Писарев, «нигилист» и ненавистник всяких «эстетик», защищает богинь и самое это слово.

Даль, как мы уже видели, отмахивается от этого слова. «Толль» дает, очень снисходительно, подробную справку только о классических, мифологических значениях «богини». М. Михельсон приводит только одно иносказательное значение: «обожаемый, страстно любимый человек» и ссылку на Пушкина («Евгений Онегин»): «*Я богиня*! (?) Что вы, где вы?» (ср. выше).

Слово утратило свою былую спокойную поэтическую силу. Оно выступает, главным образом, в неожиданных, вопиющих и рычащих сопоставлениях и сочетаниях.

У Бунина:

— На площади, у городского колодца, *богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу...* («Лика»)

И у Бунина же как бы эпилог всему развитию этого слова до Революции:

— *Всякие там богини* никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, а ведь она [блудница и мученица Анна] сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть и т. д. («Святые»)

«Богиня», прекрасно сложенное слово уже как бы потеряло свою осанку. В. Хлебников выпрямляет и выгибает это слово:

Я негиня, я богиня
В звонкой радости полей...

(«Любавец»)

То богиня, то бегиня...

(«Грезирой из камня немой...»)

Подъемля медовые хоботы,
Ждут ножку богинины чоботы...

(«Словарь цветов»)

«Так и называется в народе этот цветок!» — отмечает в сноске Хлебников.

Открылась чудесная скульптурность, лепкость этого слова, которое народ давно оценил по достоинству.

Без точной простоты нет Истины Великой,
богини радостной, победной, светлоликой.

(Демьян Бедный, «О соловье»)

«Богиня» с малой буквы, тогда как «Истина» — с большой. Но Истина — богиня!

Демьян Бедный, конечно, очень полемически утверждает красоту Истины (с большой буквы), объявляет действительность богиней — в споре с теми, кто искал прекрасное над действительностью или «за» нею.

Эти стихи, как видим, целая программа: богиня — да, да, богиня! — участвует в очень важной декларации о смысле и назначении политической лирики.

В рассказе Ивана Новикова 1926 года:

— И когда Маланья наконец расправила стан и выпрямилась, округляя вокруг бронзовой шеи загорелые полные руки свои, воистину была она, среди скудости и убожества повседневного бытия этих людей, как богиня, пусть не из пены морской, а из грязи Смоленского рынка возникшая, но она была идеал и средоточие и устремление апофеоза... («Жертва»)

Это было необычное и даже сомнительное слово в литературе тех лет. Была своя полемичность и в этом новиковском утверждении «богини» — русской женщины, когда «среди скуки и убожества повседневного бытия» расправляет она свой стан и выпрямляется.

Потом уже не приходится «утверждать» богиню. В новом, центральном своем значении предела совершенства,

идеала «богиня» широко входит в наш современный поэтический язык без каких-либо специальных оправданий и обоснований.

Вот новейшее политическое применение этого слова по чрезвычайно серьезному поводу:

— Есть сказка о человеке, который мечтал овладеть богиней силы. Как только он ее обнял, в его руках оказалась всего лишь кучка пыли...

Так писала одна наша газета, когда стало известно, что боннская армия получает атомное вооружение.

Вот веселая и нежная полемика со старым значением слова и его классическими ассоциациями у С. Я. Маршака в переводе шекспировского сонета:

Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

(Сонет 99)

Ср. знаменитое классическое: «Incessu patuit dea», то есть: видна богиня по походке.

Вот умная и светлая шутка Алексея Толстого — о Галине Улановой:

— Ничего особенного: обыкновенная богиня!

Вот из новой нашей лирики:

И девушки с черешнями
И вишнями в охапке —
Как греческие, грешные
Богини и вакханки.

(А. Вознесенский, «В горах»)

И вот еще одна, совсем недавняя, схватка из-за «богини».

Иван Франко в сонете о Сикстинской мадонне писал:

Кто смел сказать, что не богиня ты?

Максим Рыльский отвечает Ивану Франку, или, как он думает, разъясняет мысль самого Франка:

— О, хто сказав, що не людина ти!

И далее:

— Мне кажется, что Франко, пользуясь условным тер-

мином «богиня», имел в виду именно человеческое величие матери, которая держит на руках сына и предчувствует его страдания. (М. Рыльский, «Классики и современность», русский перевод)

Позволительно думать, что Франко никак не согласился бы с заменой «богини» — «людиною». Человеческое величие матери очень хорошо передается *условным термином* «богиня».

В мемуарах Вс. Рождественского:

— ...одинокий прохожий, в мягкой шляпе, в пальто с поднятым воротником... останавливается у статуи безносой, когда-то прекрасной богини и снимает шляпу... Это Иннокентий Анненский, последний поэт русского романтизма... («Страницы жизни»)

Отношение к этому архаизму становится все более бережным и любовным. Все чаще и наши поэты снимают шляпу перед «богиней».

## КИКИМОРА

У Державина:

В те дни людского просвещенья,
Как нет кикиморов явленья,
Как ты лишь всем чудотворишь:
Девиц и дам магнизируешь,
Из камней золото варишь...

(«На счастье»)

Державин смеется над «кикиморами»... Дикое слово, смешное по самому своему звучанию, поставлено в один ряд со словами тогда новейшими и важными: «явление» — новое слово Тредиаковского; «магнизировать» — недавнее, еще свежее и модное в высшем кругу заимствование; «из камней золото варишь» — как-никак алхимия, сверхнаучное чудо. К тому же «кикимора» — в мужском роде, иронически возвышена до мужского рода.

Державин с высоты своего просвещенного века взирает вниз на дикого уродца из сказок и народных по-

верий. Теперь другие «явления», а кикиморе место только в сказке.

Вот леший — скоморох мохнатый,
Кикимор пляска и игра...
Здесь все в глубоком сне,
И сам Кикимора в дремоте...

(Вяземский, «Зимняя прогулка»)

«Сам», хозяин сказочного царства, не только в мужском роде, но и с большой буквы, в отличие от рядовых кикимор (с малой).

У Лермонтова:

— Народ дал ей прозвище Чортова логовища, и суеверные предания населили ее страшными кикиморами и рогатыми лешими... («Вадим»)

Пугачевцы загнали в это Чортово логовище, к кикиморам, барина-крепостника. Народ верит этим преданиям, но действует вполне трезво.

В народных поговорках и присловиях отношение к этому слову большей частью ироническое; уже самое его звучание говорит о том, что оно *все-таки* не страшное.

— Кикимора, общего рода, — записывал Даль, — род домового, который по ночам прядет; он днем сидит невидимкою за печью, а проказит по ночам, с веретеном, прялкой, воробами и вьюшкою.

Далее — примеры; все они иронические:

— *Спи, девушка, кикимора за тебя спрядет, а мать вытчет. — От кикиморы не дождешься рубахи, хотя он и прядет.*

И особое наставление:

— Чтобы кикимора кур не воровал, вешают над насестью, на лыке, отшибенное горло кувшина либо камень с природною сквозною дырою...

Нет ссылки на ту или иную губернию, где оно бытует по преимуществу; слово общенародное. И одно только переносное значение: домосед, нелюдим. Нет даже в последующих изданиях уже обычных в разговорной речи и литературе применений: урод, особенно — некрасивая и дурно одевающаяся женщина.

Это — в словаре. А в «Новых картинах русского быта» у Даля есть важное уточнение:

— Не родительская речь это... и недобром она зву-

чит; знать, *злой кикимора раздора* вытеснил твоего исконного *сдружливого домового* и поселился за изразцовой печью.

Кикимора раздора и сдружливый домовой.

У «Толля» в этом случае нет столь характерного для него разоблачения устаревшего и вредного понятия:

— Кикимора, род домового, который по ночам прядет; он днем сидит невидимкою за печью, а проказит по ночам с веретеном, прялкою, воробами и вьюшкою. В Сиб. есть и лесная *К*. лешачиха, лопаста.

А затем то же наставление, что и у Даля, и теми же словами («Чтобы *К*. кур не воровал» и т. д.), но преподанное с особой и комической серьезностью.

Иногда «кикимора» сближается, а то и совсем сливается с «шишиморой» — другим, но близким по смыслу и звучанию, очень древним русским словом:

— К самому хану Крымскому — деревенской шишиморе. («Под Конотопом под городом». «Др. русск. стих-я», сб. Кирши Данилова)

Ср. у Лескова в «Юдоли»:

— Люди говорили о нем, что он «шишимора».

В кавычках. Это словечко, в котором объединились и спорят многие значения обоих слов, в том числе и древнее значение: заедатель, кровосос. (Ср. еще карамора, караморок...)

В живой речи это уже, однако, стершаяся метафора, нестрашная и без особого значения.

«Со значением» применяется это слово только в стилизованных «народных сказах», в лубочной литературе, а затем — в декадентских обработках фольклора и лубка.

В произведениях символистов и декадентов в конце прошлого и начале нового века «кикимора» занимает важное место в иерархии нечистиков, особенно у А. Ремизова, который очень подробно изучил и разработал эту иерархию. И всегда это — открытый вызов науке, которая, мол, еще меньше может объяснить что-либо в жизни, чем «кикимора», наивная и поэтическая.

Впоследствии, уже в эмиграции, Ремизов сам признавал, что в нем всегда жили силы «кикиморные», что от них, кикимор, «идет моя путаница и неразбериха, от них же мои шутки и безобразия». (По книге Н. Кодрянской «Алексей Ремизов», Париж. 1960)

Естественно, что «кикимора» и становится для передовых людей эмблемой, опознавательным знаком символизма.

Горький вспоминал:

— Д-р Полканов, хватаясь за голову и вытаращив детски умные глаза свои, с эдакой янтарной искоркой в зрачке, кричал тогда:

— Д-да ведь это же си-имволич-ческая кикимора, п-по-слушай! (Письмо С. Сергееву-Ценскому)

Речь шла о рассказе Горького «Проводник», который давал не много оснований для такого отзыва. Но все, что напоминало символистскую поэтику, было уже для таких людей, как этот передовой доктор, сплошной *кикиморой.*

Февраль 1917 года. Царских министров заточили в какой-то павильон. Толпы журналистов осаждают этот павильон, но караульные неумолимы:

— Отходите, отходите! Тут вам не *кикиматограф.* (У М. Козакова, «Крушение»)

Отличная народная этимология. Кинема-кикима...

Первая книжка Всеволода Иванова, которую он сам набрал и напечатал в Сибири в 1919 году, называлась «Рогульки». Молодому Иванову нравилось такое название, нравился такой ход мыслей и чувств: от чрезвычайно реальных и трагических фактов — к «рогулькам», почти той же си-имволич-ческой кикиморе.

Горький горячо поддержал безвестного еще тогда Иванова, но название книжки резко осудил в почти полкановских выражениях.

В начале 30-х годов вышла замечательная книга Всеволода Лебедева «Вятские записки». Он рассказывал о преданиях этого еще недавно темного и как бы «игрушечного» края. В этой книге Вс. Лебедева «кикиморы» всякого рода играют чрезвычайно важную роль.

Затем Вс. Лебедев очень строго заявляет: нужно объяснить, что такое кикимора.

— Печник, если ему поднесли в доме не довольно вина и пирогом обидели, закладывал в печь аптекарскую склянку, куда наливал ртуть и засыпал иголок. Когда в избе протопилась печь, ртуть в склянке начинала елозить и иголки — царапать стенки. Этот визг и шум хозяйка приписывает кикиморе. («Вятские записки»)

На этом же техническом принципе работают, как из-

вестно, многие технические игрушки. Невидимка за печкой окончательно разоблачен. От слова осталось, собственно, одно звучание...

Но, как всегда, особую выразительность этому веселому слову придает то обстоятельство, что некогда оно в самом деле пугало людей или, еще недавно, казалось многозначительным и высоколитературным. Этот внутренний юмор делает древнюю *«кикимору»* словом в своем роде незаменимым, и оно, вероятно, никогда не уйдет из нашего поэтического языка.

## НАДОЛБ, НАДОЛБА

— Ставили поторчины дубовые, колотили надолбы железные... (Былина «Царь Саул Леванидович», сборник Кирши Данилова).

— За надолбами отбился... (Псковская летопись, I, 1562).

Значение надолба, или надолбы, в обороне от противника на протяжении многих веков было огромно. Но сама по себе надолба, без человека, ничего не стоит. В народных поговорках издавна очень ярко и живописно подчеркивалось это обстоятельство.

— Стоит, как приворотная надолба, как болван; надолбу объезжают, а человек сам сторонится; он глупее надолбы приворотной и т. д. (Даль)

Но в этом же ряду есть и другой, поразительный народный афоризм.

— *И надолба добрый человек.*

Уже не оправдались надежды на «добрых людей»; только глупая и бессловесная надолба никогда не подводила, всегда делала свое дело. Иногда она сто́ит больше, чем так называемый добрый человек.

Все же в большинстве поговорок остается в силе основной тезис: главное — человек; «надолбу не поставишь и в повытчики»:

— Свой круг дан всякому: где государь указал быть месту, там нужен и человек: надолбу не поставишь и в повытчики. (Даль, «Мичман Поцелуев»)

В дальнейшем надолба утрачивает свое военное значение; при новой военной технике это уже архаизм.

Забыта и «надолба», которая была повытчиком.

— Ушли большие слободы, отделенные от Москвы надолбами, чтобы не допустить привоза в Москву неявленных товаров и корчемных питий и выезжать из нее мимо застав. Надолбы имели вид редкого, в рост человека, частокола. (И. Кондратьев, «Седая старина Москвы»)

Но широко бытует и развивается второе, переносное значение этого слова, преимущественно в женском роде и преимущественно в применении к женщине:

—Надолба, пожилая девица, за которую не сватаются женихи (ср. вековуха и др.). *Не хотела смолоду идти замуж, а теперь век свекуй в надолбах...* Надолба, обоего рода, пустомеля. Надолбень (-бня) — болван, дубина, пень, дурак. (Даль)

Это теперь единственное живое значение слова. Самое его звучание вызывает именно такие ассоциации. Заговорил громче, чем прежде, когда «надолб» был по преимуществу *термином* военного дела, необычайно выразительный корень этого слова.

В годы Революции этот корень начал действовать очень активно. Крутое, резкое и прозрачное «долбать» и «раздолбить» и «раздолб» заняли видное место в разговорном и литературном языке, особенно в литературно-политической полемике.

Живет и старая надолба — болван, дура.

— Замолола, дура надолба, дай-кось ключ от чулана... (Артем Веселый, «Страна родная»)

И др.

А в *военном* своем значении надолба уже как будто архаизм: и слово и самое это сооружение безнадежно устарели.

Кружит дороги накат,
Петлями режет высоты,
Снова стоят, снова стоят
Надолбы, башни, доты.
...Вот почему не страшны
Эти молчащие доты,
И никому не нужны
Надолбы старой работы.

(Тихонов, «В Хайберском проходе»)

Это английские надолбы на знаменитом Хайберском перевале — воротах из России в Индию, на Хайберском

перевале, который был «кошмаром» для англичан, когда они еще владели Индией (ср. у Киплинга и др.).

Надоели («снова стоят, снова стоят») и смешны эти надолбы, которые должны были «закрыть» Индию...

Но *это же* слово и в *военном* своем значении опять вошло в силу именно тогда, когда бронесилы, панцири (вот еще возродившиеся архаизмы!) стали основным оружием в новой войне моторов.

В 1938 году военный специалист С. Михайлов писал:

— Артиллерия должна сделать проходы для танков в минных полях и в *так называемых «надолбах»*. («Правда», 6/II 1938 г.)

«Надолбы» еще *так называемые* и в кавычках: слово еще только входило в язык.

Через несколько лет оно стало по необходимости всем известным словом и отбросило кавычки.

— Они подошли к высоте, окруженной паутиной колючей проволоки, рядами надолб... Надолбы походили на гранитные арктические торосы... Какой танк мог осилить этакую брошенную на землю челюсть с зубьями надолб? (Ю. Корольков, «Тайны войны» — финская кампания)

У Леонова:

— В Деевском депо... сваривались особо замысловатые, безотказного действия рожны против танков. («Русский лес», XI)

Эти «рожны» уже назывались тогда «надолбами». Но Леонову, видимо, нравилось вспомнить другое старое слово, которое уже давно жило только в присловии («против рожна не попрешь»), а теперь получило снова прямой и очень серьезный смысл.

В годы Великой Отечественной войны вышел новый перевод «Слова о полку Игореве», исполненный А. Юговым.

— Надолбы — и те самые! — упоминаются в Псковской I, — писал А. Югов в своем предисловии от переводчика.

В «Слове» «надолбы» не упоминаются, но они тогда уже существовали, и если вспомнить, что в былине назывались не только поторчины дубовые, но и надолбы железные, то следует признать, что они в самом деле почти те самые.

А. Югов с особым чувством отмечал возвращение в язык многих древних слов, и в частности этого — «надолбы».

В литературе об Отечественной войне «надолбы» стали, не могли не стать большим поэтическим образом.

У Вадима Шефнера бойцы в поисках материала для надолб свезли с ближайшего кладбища могильные плиты и каменные колонны памятников с именами и датами рождений и смертей. И они, эти надолбы, теперь

Не памятники смерти,
А памятники стойкости и славы.

(«Надолбы»)

После войны вышел исторический роман Степана Злобина «Остров Буян». Среди прочего упоминаются в нем, в рассказе о событиях XVI века:

— надолбы и тараны перед стенами города...

Это обычные в историческом романе реалии. Так назывались немудрые защитные сооружения в ту эпоху.

Но в романе, вышедшем после войны, уже, конечно, очень патетически звучали эти только недавно *опять* так тяжко выстраданные слова.

Уже открылась новая историческая перспектива тех самых «надолб».

## ДОВЛЕТЬ

В Евангелии (от Матфея, 6) в древнеславянском тексте было:

— Не пецытеся убо на утрей, утрений бо собой печется: довлеет дневи злоба его.

По указу Александра I Святейшему Синоду от 23 февраля 1816 года было признано «соответственно с обстоятельствами, чтобы и для российского народа, под смотрением духовных лиц, сделано было преложение Нового Завета с древнего Славянского на новое российское наречие».

Было сделано преложение и для российского народа (как уже это было давно сделано в других христианских странах), и в нем интересующие нас слова были переданы так: «довольно каждому дню своей заботы». Там же подстрочное замечание: «злоба — забота».

Слово в начале XIX века уже требовало перевода, и на «новом российском наречии» оно означало: довольно, достаточно.

Но издавна это же слово в русском языке имело и другое, хотя и тесно с ним связанное, значение: пристало, прилично, должно.

Есть старинная загадка:

— Жал молодец с девицей; навстречу им барин на тройке: «Молодец! Тебе не довлеет с девицей жать поздно вечером». (По сборнику Д. Садовникова)

Барин заботится, конечно, о приличиях.

В этом значении не раз применял это слово Аввакум, который, как известно, писал по-русски, а не по-древнеславянски, и горячо подчеркивал это обстоятельство.

А когда боярин Ртищев позволил себе неодобрительно отозваться об Аввакуме, то жестоко был оборван знаменитою боярыней Феодосьей Морозовой:

— Аввакум — истинный ученик Христов... и его ради хотящим богу довлеет учения его послушати.

Пристало, должно.

И совсем уже явственно это значение слова «довлеть» позднее, в литературно-общественной полемике XVII—XVIII веков.

— Кривосудов. Прошу пожаловать.
Атуев. *Нет, вам вперед довлеет. Вы глава.*

(Капнист, «Ябеда», 5—2)

Или подобиться во бранных действах нам
в пустынях ужасно воющим зверям,
которы никакой пощады не имеют?
*Не их примеры нам во брани брать довлеет.*

(Сумароков, «Хорев»)

Это — в высоком штиле.

А вот у мещанина, коммерсанта и «реалиста» Ф. Эмина:

— Ныне милость покровителей и любовь сограждан *покупать довлеет.* (В «Адской почте»)

Принято и считается пристойным и приличным. Некогда высокое, но уже очень опустившееся слово.

У Фонвизина в иронически стилизованной речи:

— *Не довлеет пренебрегать* такие благознаменитые случаи... («Письмо надворного советника А. Вяткина»)

У Радищева в «Вольности»:

Но не пристрастию державну,
Опытностью лишь старцу славну
Его *довлеет подарить.*

У Ф. Глинки:

*Ему принесть иные дани*
*Довлеет нам, довлеет нам...*

Во всех этих примерах, как и во многих других, *довлеет* — слово русского языка, и означает оно — должно, подобает, а не довольно, достаточно.

Необычайно выразительно сопоставление и объединение обоих этих значений у Щедрина:

— Природа сама себе довлеет, и в этом ее преимущество. («Христова ночь»)

Ей достаточно самой себя, она не зависит от властей и цензуры, и в этом ее преимущество, главное и «личное» достоинство.

И еще одно весьма замечательное применение этого слова у Щедрина:

— [Пенкосниматели] кружились и играли, как мошки на солнце, и, кружась и играя, *довлели сами себе, как выражалась критика 40-ых годов...* («Дневник провинциала в Петербурге», 7)

Щедрин разбил, разложил и сатирически возвратил к истокам новое важное философское понятие *самодовлеющий,* сблизил его почти с однозвучным «самодовольный» — в применении к пенкоснимателям, которые, туда же, самодовлеют...

Но само по себе это новое русское слово было точным и плодотворным, удачным переводом философского термина «имманентный». В нем объединились о б а значения русского слова «довлеть»: предмет, заключающий в себе все необходимое и присущее ему, положенное и приличествующее. Ср. в церковной письменности: «Бог — существо вечное, независимое... *самодовольное*».

Так и Сухово-Кобылин, в своем стиле, объединяет оба значения и даже оба звучания, старое и новое.

— Если сцены эти доставят ей [Публике] несколько

минут простого, веселого смеха и тем дадут случай на время забыть ту Злобу, которая, по словам Писания, каждому дневи *довлеет*, то я сочту себя вполне *удовлетворенным*. (К читателю — перед «Смертью Тарелкина»).

Вот почему нельзя было согласиться с Ф. Гладковым, когда он писал:

— Этого слова нет в русском языке: оно употреблялось только в церковнославянском...

И далее:

— Н. Лесков, превосходный знаток и русского живого и старославянского мертвого языков, глагол «довлеть» употребляет правильно в стилизации поповской речи, — например, в «Соборянах»: «Довлеет тебе, как вороне, знать свое «кра», а не в свои дела не мешаться», т. е. довольно тебе, как вороне, знать свое «кра» и т. д. Там же: «Может быть, довлело бы мне (т. е. довольно было бы мне) взять вервие и выгнать им вон торгующих...» («Письмо в редакцию». «ЛГ», 11/XI 1951 г.)

Но разве не очевидно, что и в первом, и во втором примере «довлело бы» у Лескова значит: полагалось, подобало, должно было, а не «довольно было бы мне»?

Перевод Ф. Гладкова неубедителен.

И разве не очевидно, что Лесков, как и Сухово-Кобылин, играет на двойном — русском и старославянском — значениях и звучаниях этого слова!

У А. К. Толстого в «Иоанне Грозном» было:

И почести, которые его
Пресветлому довлеют маестату...

По этому именно случаю Словарь ИАН издания 1891 года указывал категорически: «Употребление гл. довлеет в смысле подобает ошибочно». Так полагал и Тредиаковский, который в своей полемике с Сумароковым писал: «довлеет значит только довольно есть, а не должно есть». Но эту «ошибку» совершали, как видим, и Фонвизин, и Радищев, и Лесков, и А. К. Толстой, и Сухово-Кобылин. Позднее, в начале века, Вячеслав Иванов прямо сталкивал о б а значения этого русского слова:

Венец венцов тебе довлеет —
Счастия легкий венец: «Довольно».

(«Довольно»)

Довлеет — подобает по заслугам и довлеет — довольно, достаточно.

«Довлеть» имело свою историю и в русском языке.

«Довлеть» получило очень характерное развитие в русском языке советской эпохи.

Снова, но уже как бы другой Вячеслав Иванов. Он писал в первые годы Революции:

Охапку дров свалив у камелька,
Вари пшено, — и час тебе довлеет.
Потом усни, как все дремой коснеет...
Ах, вечности могила глубока...

(Зимние сонеты» — в «Художественном слове», органе литотдела НКПроса, М., 1920)

Теперь Вяч. Иванов не хочет знать второго значения этого слова. Довлеет — довольно, и больше ничего.

Дрова и пшено — и достаточно, довлеет в этот горький час для мудреца, чтобы уснуть, чтобы ничего не видеть и не слышать. Очень многозначительное и угрожающее «довлеет»!

У Горького в «Детстве», то есть в книге о далеком прошлом:

— А ты сегодня «довлеет» пропустил! Надо: «но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты не сказал «довлеет». (Глава 7)

Это — эпитафия мертвому, давно мертвому слову. Он пропустил «довлеет», и никто, кроме одного, очень пристрастного наблюдателя, этого не заметил. Вполне достаточно было (довлело!) общего темного, но торжественного звучания других таких же мертвых и непонятных слов.

У Б. Шергина в «Архангельских новеллах»:

— Любимое чадо! Грабисся ты за науку. А в силах ли побои терпеть? Без плюхи учение не довлеет. («Шиш приходит учиться»)

Разговорное, диалектное «грабисся», такое же просторечное «плюха» — и тут же высокие «чадо» и «довлеет».

Замечательное передразнивание древней, мертвой формы!

Но вот у Н. Асеева в «Терцине другу»:

Стиху довлеет царское убранство...

Очень удачное, мне кажется, применение «довлеет» — в старой традиции и в новом, высоком стиле. Н. Асеев в этом прекрасном афоризме счастливо повторил «ошибку» Фонвизина, Радищева, Лескова и А. К. Толстого.

Но это случай едва ли не единственный в нашей литературе...

Зато очень широко и сейчас применяется, даже в печати и в художественной прозе, форма «довлеть над чем-нибудь» в смысле «тяготеть», «преобладать», «одолевать» и т. д. — неграмотная форма, контаминация по созвучию двух слов различного происхождения: довлеть и давить.

Ф. Гладков в цитированном выше письме, а также Н. Е. Прянишников («О слове «довлеть». «ЛГ», 1/III 1938 г.) и многие другие уже приводили очень выразительные и поистине возмутительные примеры такого словоупотребления. Можно привести еще несколько совсем свежих, потому что это безобразие не прекращается.

— Казалось, что историческая необходимость не довлела над ним, а являлась его внутренней потребностью. (Коновалов, «Университет»)

— Яковлев говорит о темных суевериях, которые довлели над крестьянским сознанием... (Лидин, предисловие к А. Яковлеву, 1957)

— Такой «эпос», где «эпическая» форма перевешивает, довлеет над содержанием. (К. Зелинский, «На великом рубеже»)

И т. д. и т. д.

Еще более поразительно такое применение «довлеет» *в переводах.*

«Ветер с Востока продолжает довлеть над ветром с Запада». (Телеграмма из Пекина)

Это — перевод; переводчик *добровольно избрал* именно эту форму из всех возможных в русском языке. И в таком виде перепечатали этот документ все наши газеты.

Такое применение слова «довлеть» уже много раз вызывало самый гневный протест в печати. Но, в отличие

от очень многих отвратительных неправильностей, которые удалось изгнать из литературного языка, эта форма еще довольно часто встречается в наших газетах, журналах и книгах.

## ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Английский путешественник Герберт Барри писал в 1870 году:

— Несколько лет назад тот англичанин, который заключил концессию на севастопольскую линию по цене свыше 100 тыс. руб. за версту, предпочел пожертвовать свой залог, чем продолжать это предприятие. Но сейчас уже многие предприниматели были бы рады получить такие концессии хотя бы по вдвое меньшей цене... («Россия в 1870 году»)

Сейчас, то есть в пореформенной России, подряды на постройку железной дороги стали средством необыкновенно быстрого обогащения, гораздо более «интересным» и современным по стилю, чем «постройка» гнилых сапог для армии или откупа. Это было то же, что Голконда, Бразилия, Трансвааль, копи царя Соломона... Неслыханно обогащались и те высокопоставленные взяточники, в том числе великие князья и министры, от которых зависело предоставление этих подрядов.

Предприниматели новейшего типа, строители железных дорог, назывались *железнодорожниками.*

«Отечественные» железнодорожники довольно успешно оттесняли иностранных концессионеров-европейцев (см. выше у Барри). Но сами они старались быть «европейцами» по всей форме.

Железнодорожники стали важной общественной фигурой.

— В последнее время, — писал Щедрин, — русское общество выделяло из себя нечто на манер буржуазии, т. е. новый культурный строй, состоящий из кабатчиков, процентщиков, железнодорожников, банковых дельцов и прочих казнокрадов и мироедов. («Убежище Монрепо»)

При помощи «и прочих казнокрадов и мироедов» Щедрин кончает с этими современными героями.

В другом месте у Щедрина:

— кроме чиновников и адвокатов, встречаются в это время на Невском еще железнодорожники и кокотки.

Но *культурный строй* — эти слова Щедрин, как почти всегда в таких случаях (в отличие, например, от Глеба Успенского!), *не* заключает в кавычки. Железнодорожники и были в своем роде культурны, они покровительствовали искусствам, назывались «джентльменами»!

Облонский рассказал про прелесть охоты у Мальтуса. Мальтус был известный железнодорожный богач.

— Не понимаю тебя, — сказал Левин... — Все эти люди, как прежде... откупщики, наживают деньги так, что при наживе заслуживают презрение людей, пренебрегают этим презрением, а потом бесчестно нажитым откупаются от прежнего презрения. (Л. Толстой, «Анна Каренина», VI—11)

Такие же джентльмены, как и откупщики.

Достоевский писал в «Дневнике писателя» по этому поводу:

— Железнодорожник и богач стали силою, и он [такие люди, как Стива] немедленно с ними затеял сношения и дружбу. (1877 г.)

Стива, как известно, получил место «члена от комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и банковских учреждений».

Достоевский в «Братьях Карамазовых»:

— Калганов даже озлился.

— Это совсем вчерашняя песня, — заметил он вслух, — и кто это им сочиняет! Недостает, чтобы железнодорожник аль жид проехали и девушек пытали: эти всех бы победили... (Достоевский, «Братья Карамазовы», VIII—8)

(«Вчерашняя песня» гласила: «Купчина девушек пытал, девки любят аль нет?»)

Даже купчина честнее железнодорожника.

— Она знала трех из этих дам, могла назвать и по фамилиям. Вот жена железнодорожника — в рытом бархате, с толстой, красной шеей. (П. Боборыкин, «Китай-город», IV—19)

«Она» — купчиха, которая как-никак сама ведет дела в своем «амбаре», работает, знает очень серьезные коммерческие тревоги и волнения и не лезет в «дамы», а эта — жена железнодорожника, паразитка.

У Тургенева в «Корреспонденте» два приятеля беседуют. За окном толпа. Кого-то избивают.

— Не вора? Так кассира, железнодорожника, воен-

ного поставщика, российского мецената, адвоката, благонамеренного редактора, общественного жертвователя? («Стихотворения в прозе»)

«Железнодорожники» поставлены в тот же ряд, что и у Щедрина.

По смыслу этого стихотворения Тургенева, даже «железнодорожника» и ему подобных стоит спасти от самосуда толпы; другое дело — корреспондент! Есть только одна категория «общественных деятелей», которая для Тургенева стоит ниже этих меценатов: «растленные корреспонденты» некоторых газет того времени (1878), которые, по многим причинам, были особенно ненавистны Тургеневу.

И подлость этих «корреспондентов» проявляется ярче всего в том, что они, продажные люди, без стеснения воспевают гражданские добродетели «железнодорожников и прочих»!

Чехов пишет в 1887 году писательнице М. Киселевой:

— Что бы вы сказали, если бы корреспондент из чувства брезгливости описывал бы одних только честных городских голов, возвышенных барынь и добродетельных железнодорожников?

Добродетельные железнодорожники — саркастическое, «невозможное» сочетание слов! Оксюморон!

В 1902 году появился газетный фельетон А. Серафимовича о только что появившихся тогда специальных вагонах для новобрачных.

За купе в таких вагонах взималась плата по особому тарифу. «Железнодорожники» фактически создали дома свиданий на колесах и очень на этом наживались...

В то же время на ж.-д. станциях скапливались, как писал в том же фельетоне Серафимович, огромные хлебные залежи, а также «рабочие залежи» — тысячные толпы рабочих, которые не могли выехать на заработки.

— А публика только и знает, что на все корки ругает железнодорожников... («Брачные вагоны»)

Центральное значение этого неологизма «железнодорожник» в то время — бесчестный аферист, скоробогач, более или менее *блестящий* казнокрад и заедатель.

Очень любопытно толкование этого слова у Даля в первых изданиях его «Словаря»:

— Железнодорожник — строитель железной дороги, служащий на железной дороге. *Ср. мироед.*

Даль идет от этимологии слова и отмечает как возможное, *потенциальное* его значение: «служащий на железной дороге»; но тут же уверенно называет синоним: мироед. Он опустил бы, вероятно, «служащего», если бы дожил до эпохи Витте и капиталистического «зиждительства», грюндерства в конце века.

В Словаре ИАН издания 1867 г. «железнодорожника» еще нет (есть только «железная дорога»: «дорога, устроенная для езды в *паровозах*»). В издании 1891 года он уже появился, а последовательность значений такая: «лицо, принадлежащее к обществу, содержащему какую-нибудь железную дорогу; концессионер по проведению и устройству железных дорог; вообще — служащий на железных дорогах». И пример: *на днях один железнодорожник встретился в театре* (А. Писемский, «Финансовый гений»). Это и есть современный финансовый гений, и хорошо известно, из чего делается эта «гениальность».

В 1903 году Ленин писал в статье «По поводу государственной росписи»:

— воспевая «культурную роль» железных дорог, вы [Витте] скромно умалчиваете о чисто русском и совсем некультурном обычае *грабить казну* при постройке железных дорог (не говоря уже о безобразной эксплуатации жел.-дор. подрядчиками рабочих и голодающих крестьян!). (5—305)

В статье «Всероссийская политическая стачка» Ленин писал:

— Делегация железнодорожных рабочих не пожелала дожидаться «мещанской управы»... Министр-клоун говорил, — по меткому выражению самих железнодорожных рабочих, — «как настоящий чинодрал». (9—362, 363)

Всюду у Ленина в то же время точное различение: «железнодорожные подрядчики» и «железнодорожные рабочие».

В ходе этой всероссийской политической стачки и революции 1905 года возникает «Железнодорожный союз», который играл важную роль в деятельности Петербургского Совета рабочих депутатов. В этот союз входили не только рабочие, но и высшие служащие — уполномоченные «железнодорожников».

В декабре того же 1905 года в Москве начинает выходить нелегальная большевистская газета рабочих Московско-Казанской ж. д. — «Железнодорожник». Редакция устанавливает связь с петербургскими железнодорожниками. Прежние «железнодорожники» здесь уже, конечно, ни при чем. Руководит газетой Ленин (ср. воспоминания Л. Ханина — «Валериана». «Звезда», 1956, № 4) и др.

Слово еще применяется по-разному в противоположных лагерях, но оно должно иметь только один смысл.

Вскоре после Ленского расстрела в листовках РСДРП(б):

— Товарищи железнодорожники...

...очень важна роль транспорта, как во всякой войне.. Но и водники и железнодорожники — сейчас далеко не передовые полки... (По С. Спасскому, «Перед порогом», 2—6)

В первые месяцы революции 1917 года огромную роль в развитии событий играл, как известно, Викжель, то есть, собственно, Исполнительный Комитет Всероссийского союза железнодорожных рабочих и служащих. «Викжель» — уже новое слово, которое имело свою особую судьбу. В Викжеле долгое время господами положения были меньшевики и эсеры, которые либо открыто выступали против большевиков, либо «викжеляли», по словечку тех лет.

— 15 (2) ноября ЦИК назначил на 1 декабря (18 ноября) съезд железнодорожников, Викжель немедленно назначил свой особый съезд железнодорожников двумя неделями позже. (Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир»)

Затем «Викжель» исчезает; сейчас это уже почти забытое слово. Утверждается слово *железнодорожник* в том его потенциальном значении, которое еще только угадывал в нем Даль: работник железнодорожного транспорта, солдат многомиллионной армии нашей великой железнодорожной державы.

Ф. Э. Дзержинский говорил в речи «О задачах промышленности и транспорта» о недавнем прошлом:

— Мы вышли из состояния гражданской войны, когда в среде железнодорожников оказалась расслойка

между специалистами, коммунистами и рабочими. Эта расслойка была последствием гражданской войны и находила себе опору в бедности нашей страны... (1924)

Тогда, в «недавнем прошлом», было опубликовано в газете железнодорожников «Гудок» обращение Наркомпути Ф. Э. Дзержинского, которое гласило:

— Граждане! Железнодорожники! Бедствия, причиняемые этим злом [взяткой] на ж.-д. транспорте государству, неисчислимы и кошмарны по своим последствиям.

Дзержинский обращается ко всем гражданам, но особенно к железнодорожникам и не называет их «товарищами». Еще шла расслойка, и не все железнодорожники были товарищами. В, как всегда, прямой и страстной речи Дзержинского чувствуется настороженное отношение к самому этому слову «железнодорожник».

В годы разрухи и в первые годы восстановительного периода слово «железнодорожник» звучит еще довольно сбивчиво.

Вспомним о мешочничестве; вспомним, что «ездить» в обиходной речи значило тогда почти то же, что спекулировать («Чем занимается ваша сестра?» — «Она ездит»... И т. д. и т. д.).

— Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. (И. Бабель, «Соль»)

Но не всегда «железнодорожники» принимали с благодарностью помощь бойцов, восстанавливавших их поруганную власть.

В романе В. Зазубрина «Два мира» (1918) спекулянт Востриков говорит:

— Японцам — дай. Семеновцам — дай. Железнодорожникам до стрелочника включительно — дай. Не дашь — не поедешь. (Гл. 4)

Затем восстанавливается это слово «железнодорожник» в своем основном, честном смысле. И очень много для его восстановления сделал Ф. Э. Дзержинский, который и вообще, как мы это увидим еще не раз, с особым увлечением поднимал многие грозившие обвалом слова.

Возникают многочисленные *новые* профессии на железнодорожном транспорте, и «железнодорожник» становится уже очень широким обобщением. Новая, очень конкретная «расслойка» этого понятия, как всегда, еще более расширяет и уточняет смысл этого обобщения.

Л. Мартынов писал в своих очерках «Грубый корм» (1930, Турксиб):

— Итак, железнодорожники распределяли капиталовложения в дорожное строительство ближайших лет...

Железнодорожники, то есть представители транспорта. Строго и важно!

Горький писал в те же годы «Клима Самгина».

— Кутузов одет в шведскую тужурку, похож на железнодорожного рабочего. (IV)

В 1912 году Кутузов был похож не на «железнодорожника», а на железнодорожного рабочего.

Старое значение слова «железнодорожник» почти забыто.

В советских изданиях Щедрина, в том отрывке из «Убежища Монрепо», который приведен в начале этого очерка, уже приходится разъяснять, «по словарю М. С. Ольминского», что́ значило некогда это словечко.

Оказалось, что это было только временное и жаргонное словечко.

Новый «железнодорожник» — это не переосмысление старого, не возвращение архаизма! Вновь сложилось, по встретившейся надобности, по тем же древним внутренним законам языка, новое слово *железнодорожник* от многострадального слова «железная дорога». А старое словечко можно уже было презреть, оно уже не мешало.

«Железнодорожник» значит теперь то, что должно значить это слово.

Приведем еще из современной пьесы, «Европейской хроники» А. Арбузова, очень характерный диалог по поводу другого, но близкого к «железнодорожнику» по своей общественной функции, слова *судостроитель:*

— Лунд. Я судостроитель.

Хоб. Обычно так именуют себя владельцы верфей.

Лунд. Они не имеют на это права. Корабли строим мы, плотники, механики, инженеры...

Другие не имеют права на это слово, как и на слово «железнодорожник».

## ТРАНСВА(А)ЛЬ

— Под звуки «Трансвааля» мы попадаем в большое село при станции Андриановка, где происходит формирование частей Забайкальского фронта... (О. Лазо, А. Фадеев, «На клич Лазо», сценарий)

— Шпак... завел «Трансвааль» — песню, которую в эти страдные дни певали не только во всех отрядах, но даже и на вечёрках, даже малые ребята...

Возникает, растет песня:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Ревут баяны, разливается неизвестный хор. (Фадеев, «Последний из удэге», 1—212)

Сам Фадеев так разъяснял там же, откуда взялось у партизан это особое влечение к словам необыкновенным, далеким, звучным и странным:

— ...везде повторялось одно и то же: они пели, ели, спали, собирали митинги, говорили иностранные революционные слова. Мартемьянов говорил их потому, что распиравшие его большие чувства, казалось, только и могли быть выражены такими необыкновенными словами... (Там же)

Эту песню о Трансвале певали тогда и в «каменных котлах города»:

А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
«Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне!»

(Маяковский, «Хорошо!», 11)

А ты ковыляешь по желтым дворам,
и слушает песни твои детвора

про то, как Трансваль догорает в огне,
про гибель «Варяга» в холодной волне.

(Е. Полонская, «Песня»)

В 1926 году вышел «Трансвааль» К. Федина. Это слово стало названием-лейтмотивом всего сборника повестей и рассказов о торжествующем, как казалось тогда К. Федину, кулаке.

Герой повести, Вильям Сваакер, захватил, вопреки всем, даже капиталистическим, законам, мельницу и назвал ее «Трансвааль».

Это было издевательство вдвойне!

Сваакер, голландец по происхождению или по крайней мере по имени, издевался над бурами, тоже голландцами по происхождению, над их борьбой за независимость, которая некогда произвела такое сильное впечатление на весь мир.

Но Сваакер издевался и над попавшими под его власть крестьянами, для которых «Трансвааль» был еще живым воспоминанием о гражданской войне, о любимой песне тех лет, о борьбе за свободу и землю и *свои* мельницы. Вот, получили ваш «Трансвааль»! — как бы говорил им этот новый герой.

Известно, что существовал и реальный прототип Вильяма Сваакера — Юлиус Андресович Саареск, который в годы нэпа снабжал целую округу жерновами своего производства и в самом деле назвал свой завод «Трансвааль-жернов». Федин далеко увел своего героя от этого прототипа, но взял и сделал даже лейтмотивом повести это очень хорошо придуманное Саареском *оскорбление* всем честным людям.

Характерно и то, что «Трансвааль» был теперь для Сваакера и др. девизом предпринимателя новейшего *европейского* типа; южноафриканские буры уже, собственно, во всем этом не участвовали.

Слово имело свою, большую и очень драматическую историю. Оно, можно сказать, «само» разыгрывало целое представление. Разные смыслы необыкновенно отчетливо дрались в нем за центральное место.

Действительность уже скоро оттеснила сваакерский смысл этого слова на задний и дальний план.

Через четверть века после гражданской войны, в первые, трудные годы Великой Отечественной войны, Ми-

хаил Исаковский написал поэму «Песня о родине» и посвятил ее Фадееву.

В этой поэме был рефрен:

Трансваль, Трансваль!..
Я много знал
других прекрасных слов.
Но эту песню вспоминал,
как первую любовь.

К этому замечательному рефрену тянулась вся «Песня о родине» Исаковского; этот припев создавал ее важнейший внутренний мотив. А слово «Трансваль» поэт называл одним из самых прекрасных слов, какие он когда-либо знал.

Ср. у А. Суркова:

Ведь снег чернеет пятнами,
и за спиной Москва...
И стали вновь приятными
старинные слова.
Сечет струя упрямая
по снежной целине.
«Трансваль, Трансваль, страна моя,
ты вся горишь в огне».

(«Песня о слепом баянисте», 1942)

Исаковский перепечатал поэму «Песня о родине» в послевоенном сборнике своих стихов с посвящением Фадееву, который, казалось, как никто, мог оценить этот ее рефрен.

И Фадеев тотчас же откликнулся в «Правде».

— Может быть, слабее других в этом сборнике поэма «Песня о родине» с рефреном из старинной песни «Трансвааль». Поэма написана искусно, как всегда работает М. Исаковский. Но советского читателя-патриота, прошедшего великое горнило Отечественной войны и социалистического труда, уже не может вдохновить *невольно возникающая параллель* между его собственными героическими делами и делами буров из песни «Трансвааль». (3/VIII 1949 г.)

Если на то пошло, если бы мы стали вспоминать дела буров и все, что было связано со словом «Трансвааль» в

свое время, то к тираде А. Фадеева можно было бы добавить очень многое.

«Трансвааль» в середине прошлого века звучало почти как «Голконда», «Эльдорадо», «Бразилия» (см. «Железнодорожник»). Главная ассоциация — золото и алмазы, сказочные богатства.

Война буров против Англии в первый год нового века вызвала, как известно, единственное в своем роде всемирное движение в защиту маленького отважного народа, который весь как один поднялся на борьбу с могущественной и хищной Британской империей.

Но уже очень скоро буры не оправдали надежд лучших людей всего мира, в том числе и англичан и не в последнюю очередь тех довольно многих русских, которые уходили в Южную Африку сражаться за свободу всех народов. Один из главных героев этой национально-освободительной войны, Смэтс, стал английским фельдмаршалом и необыкновенно последовательным, по-ренегатски последовательным и безжалостным деятелем и даже «теоретиком» английского империализма. Уже задолго до Гитлера в Южно-Африканском Союзе, в частности в Трансваале, расизм был чуть ли не официальной государственной доктриной.

В наши дни официальные представители ЮАР, «Трансвааля», выступают в ООН только как самые последовательные защитники расизма, дискриминации и сегрегации, как самые «принципиальные» пропагандисты холодной войны «до конца».

И если в современных однотомных и даже многотомных энциклопедиях под словом «Трансвааль» отмечаются только основные географические данные и сразу же: «Залежи золота и алмазов», *без упоминания о 1900 годе,* то это совершенно правильно. «Залежи золота и алмазов» — это и есть теперь опять самое главное, что надо успеть сообщить о «Трансваале» в сжатом словаре.

...И все же А. Фадеев был всячески неправ, когда в 1949 году отклонил рефрен «Песни о родине» Исаковского вместе с посвящением ему лично. Сам он в свое время хорошо объяснил, почему наши партизаны в тайге так полюбили эту песню и слово «Трансвааль». Пели они, конечно, на слова «Трансвааля» свою собственную песню, революционную песню нашей гражданской войны.

К началу войны с Гитлером и песня и слово «Транс-

вааль» уже почти совсем забылись, стали архаизмами. И тогда оно вспомнилось М. Исаковскому, как «первая любовь». «Невольно возникающая параллель» между задумчивым буром, который сидел под деревцем развесистым и размышлял о судьбе своих девяти сыновей, нашими сибирскими партизанами, которые врывались под звуки «Трансвааля» в большое село при станции Андриановка, и нашими бойцами, которые в то время отражали чудовищный натиск немецких бронетанковых частей, — эта *параллель* и была самым естественным и бесконечно плодотворным источником вдохновения для поэта.

Это новое узнавание бывалого слова-понятия, то есть основной «ход» в творчестве поэта.

Совсем недавно Д. Кабалевский ввел песню «Трансвааль» вместе с другими старыми революционными песнями — «Варшавянкой» и «Смело, товарищи, в ногу!» — в свою оперу «Никита Вершинин» (по «Бронепоезду 14-69» Всеволода Иванова).

И снова прекрасно отозвалась в сердцах слушателей, уже в совершенно иной исторической обстановке, эта очень законная параллель.

## ДЕЙСТВО

11 мая 1919 года в Петрограде на бывшей Дворцовой площади состоялось массовое празднество при участии 30 тысяч красноармейцев, под общим руководством С. Радлова: «Действо о III Интернационале».

Такие же «действа», в меньших масштабах и по другим сценариям («Взятие Бастилии» и др.), ставились в те годы во многих городах РСФСР. В Воронеже, на площади «Смерть гидре», шло массовое действо, которое называлось прямо и просто: «Восхваление Революции».

«Действо» — этот архаизм («Пещное действо» и «Артаксерксово действо», «Действо об Алексее, человеке Божьем»; действо — торжественное богослужение в Кремле, в Успенском соборе, и т. д.) в первые годы Революции утверждался принципиально и полемически.

То, что «действо» первоначально было связано с богослужебной и нравоучительной школьной драмой, то, что затем оно же не раз превращалось в «мятежное бесовское действо, глумление и скоморощество со всякими

бесовскими играми», которое вызывало гнев и страх у светских властей и у князей церкви, то, что Петр, вполне оценив значение действа именно в этом его качестве, широко применял его для пропаганды своих новых дел, — все это особенно привлекало и, можно сказать, веселило деятелей нового, «массового», «площадного» театра. Они еще раз применяли это полузабытое слово в новых, неслыханных условиях.

«Драма родилась на площади» — эти слова Пушкина не раз служили девизом или эпиграфом к массовым действам. Но в пушкинской заметке о драме действо не упоминается.

«Действо» в пушкинские времена уже было архаизмом.

Декабристы в своем кругу называли «действом» акт цареубийства. Это было «применение» к новым обстоятельствам архаизма «железное действо», что значило в старину — хирургия. Политическая хирургия.

А вот сатирическое возвышение самых прозаических вещей при помощи «действа»:

Известен весь народ
О действе оных вод...

(Богданович, «Душенька»)

Здесь и «оные», то есть одно из тех слов, которые были как бы гербом архаистов, и такое же архаическое «действо». А действо оных вод скорее всего слабительное.

«Действо» затем либо сохраняет конкретно-исторический смысл, либо получает смысл полемический...

У Даля:

— Встарь торжественная служба в Кремле... и [в настоящее время] *областное, псковское* и *тверское:* действо — шалость.

У его постоянного антагониста «Толля» совсем нет этого бесполезного слова.

Во всех позднейших словарях оно зарегистрировано, но с пометкой «арх.» или «устар.».

П. О. Морозов в 1889 году так оценивал роль и назначение *действ* эпохи Петра:

— От Московской академии Петр требовал, чтобы сочиняемые в ней действа были, так сказать, лицевыми

ведомостями о тех баталиях и викториях, которыми создавалось могущество новой империи. («История русского театра»)

«Действо» при Петре — орудие государственной политической пропаганды. «Действо» в допетровском своем качестве почти забыто.

Но вот оно опять очень понадобилось некоторым группам изверившейся и тоскующей интеллигенции в последнее десятилетие перед Октябрем.

Бесполезное, по мнению «Толля», слово опять и бурно взыграло.

— Георгий Чулков и Вячеслав Иванов вкупе соорудили вавилонскую башню «соборного действа» и стали развлекать публику туманными картинами всенародной камаринской во славу Диониса...

— Разберитесь-ка в теперешних писаниях — в этих «героических симфониях», в «творимых легендах», в «бесовских действах» и в прочей ослепительной шелухе. (Ан. Бурнакин, «Трагические антитезы», 1910)

— В театрах-модерн давали «Бесовское действо над неким мужем». В театрах, ничего общего не имевших с искусством-модерн и более занятых искусством добывать полный сбор, хотя бы Шерлоком Холмсом, — восстановляли «Царя Навуходоносора». (А. Измайлов, «Помрачение божков и новые кумиры», гл. «Лавочка антиквария», 1910)

У Сергея Боброва:

...нам с явною улыбкой говорит,
благословив метафорные хлебы:
— Лирическое действо предстоит.

Написано это было в 1913 году, но перепечатано, очень многозначительно, в сборнике «Лира лир» («Центрифуга»), после Революции, в 1917 году. Слово уже в самом деле опять звучало очень торжественно!

Блок, по записям К. Зелинского, говорил в первые годы Революции:

— Революция — это и есть сама поэзия. Именно поэзия, превратившаяся в народное действо... Пусть день далек — у нас все те же советы юношам и девам. («На великом рубеже»)

Отныне «действо» не только в литературе и театре: всюду, во всем новая, торжественная жизнь.

У В. Вересаева, одного из самых горячих пропагандистов новой обрядности (и большого знатока античной литературы), старое русское «действо» означало и языческую древнегреческую трагедию.

— И нужно... чтобы было известное драматическое «действо» типа древнеэллинской трагедии, с перекличкою хоров, с монологами корифеев... («Об обрядах новых и старых», 1925)

Вересаев предлагал, чтобы такие «действа» заменили крестные ходы, престольные праздники, поминки, семейные торжества и т. д.

В противоположном лагере «тоже» очень расширяли смысл этого слова, «применяли» его к новой жизни.

— Глушь садилась рядом с человеком у костра ночью, она же будила его утром первым криком птицы, она врывалась в его уши днем, во время неторопливого празднования ежедневного трущобного действа. (Н. Тихонов, «Бирюзовый полковник»)

Вся жизнь теперь для таких людей, как бирюзовый полковник, — непонятное и страшное «действо».

А в театре «действо» уже скоро теряет свою былую привлекательность. В 1924 году Луначарский отмечает:

— Очень жаль, что в некоторой степени приостановилось движение театра в сторону массовых действий... («Театр и революция»)

Уже «действие», а не «действо», как непременно эти массовые праздники назывались совсем недавно.

Маяковский страстно борется за новый, левый театр, борется и с Луначарским. Но так же, как Луначарский, он уже не принимает в свой язык архаизм «действо».

И Мейерхольд в борьбе за свой «Театральный Октябрь» игнорировал «действо», он шел другими путями.

Игорь Ильинский вспоминает:

— Зритель неохотно шел в игру. Решили попробовать опыт подобного действия с красноармейцами. Тут дело пошло удачнее. Красноармейцы, под командой комиссара Махалова, аплодировали, когда надо, кричали и шумели, поддерживали хор в оркестре, а потом даже вышли на сцену, и спектакль продолжался и вылился в настоящий, завершивший спектакль митинг, в котором

выступали и Махалов, и Мейерхольд... («Сам о себе»)

*Даже* вышли на сцену... Но в «д е й с т в е» еще недавно «народ» непременно участвовал в самом спектакле. Теперь он должен был стать только более активным зрителем и привлекался к д е й с т в и ю — именно в этом качестве.

«Действо» отшумело; и, вполне естественно, теперь снова «действо» и все, что с ним некогда было связано, приобретает особую привлекательность для людей, которые хотели построить не «левый» и не реалистический, а другой театр.

У А. Дикого в его «Повести о театральной юности»:

— Сначала я относился к теософским заскокам товарищей [МХАТ-II, конец 20-х годов] с ироническим безразличием. Но поскольку я начал сознавать, что... «действа» не могут быть частным делом труппы, что это расшатывает жизнь театра, накладывает на его искусство мистическую печать...

«Действо» — уже опять чужая речь, в кавычках.

В 30-х годах уже *вспоминают* о «действиях» первых лет революции как о чем-то в своем роде трогательном, но несерьезном, а то и опасном.

— Он был тогда Буревой, товарищ Буревой, руководитель художественной студии «Зодчие пролеткультуры», автор массового действа «Бунт эпох».

...Помните грандиозное, организованное нами в местечке Бобовке шествие «внеэпоховых рабов»?

...А организованная нами мистерия-действо «Суд над Коперником», сцена сожжения которого стоила трех выгоревших «обывательских» кварталов... (Валерия Герасимова, «День, идущий мимо»)

«Мистерия-действо» и тому подобное уже звучит несерьезно, хотя еще недавно ни в чем не повинные «обыватели», то есть вполне реальные люди, должны были так дорого расплачиваться за все эти глупости. Изменилась стилистическая мера, и уже удивительно, что еще недавно другие люди, которые считали себя передовыми, так выражались и не боялись быть смешными.

В «Цементе» Гладкова (1930) есть замечательное место:

— Торжественное революционное действо отошло в историю... *Не действо, а действие.* Надо переключить себя на иные токи. (15—1)

Наступало другое время, пришли «будни», как думал тогда этот герой Гладкова и многие другие.

«Не действо, а действие» — очень трудная, но исчерпывающая и самая точная для людей этого призыва *формула перехода.*

Давно отшумели бои из-за этого слова.

В начале 30-х годов передовые люди, во имя «дня, идущего впереди», с огромной страстью (и болью!) распинали это слово, очень торопились сделать его архаизмом, наивным и смешным.

Сегодня «действо» уже снова архаизм.

Недавно Н. В. Петров, один из виднейших организаторов массовых действ первых лет Революции (вместе с К. Марджановым, С. Радловым, В. Соловьевым, А. Кугелем, К. Державиным и Н. Евреиновым), опубликовал весьма интересные воспоминания о своей театральной юности. Заканчивалась эта статья такими словами:

— Тридцать лет прошло со дня этой массовой постановки, и сейчас, вспоминая ее, вспоминая силу ее воздействия на десятки тысяч зрителей, становится как-то обидно, что мы не продолжали этой интересной работы. Очень жаль, что никто не подхватил мысли Кирова о том, что пантомимы — это представления нашей эпохи. («Театр», 1957, № 8)

Следовало бы продолжить это славное дело... Но, как ни странно, в статье Н. В. Петрова самое это слово «действо» ни разу не встречается. Будто так это никогда не называлось? Или не пристало нам сейчас так это называть?

Но вот З. Кедрина писала недавно:

— «Большой Кирилл» — спектакль романтический, с элементами массового действа. Мы едва ли уже не забыли об огромной эмоциональной силе массовых действ. А между тем это одно из первых достижений послереволюционного искусства. «Массовое действо», «театр на площади» не могли и не должны были, разумеется, заменить собой все иные сценические формы, но они не заслуживают того, чтобы их снять с вооружения нашего искусства. («ЛГ»)

Слово названо и полемически утверждается.

В романе Вадима Кожевникова любовно, но и не без некоторого высокомерия описывается постановка народной феерии под названием «Взятие Бастилии» (а эта по-

становка называлась «массовым действом» и никак иначе).

— На крепостной стене, — рассказывает В. Кожевников, — стояли с застенчивыми лицами красногвардейцы... когда по сигналу Косначева духовой оркестр стал играть «Марсельезу», красногвардейцы с красными бантами бросились на красногвардейцев с синими картонками на шапках, и началась свалка. Потом на башню... взобрался Косначев и, приказав красногвардейцам в синих картонках уступить место на крепости красногвардейцам с красными бантами, произнес очень красивую речь. («Заре навстречу»)

И у красногвардейцев, надо думать, лица стали, должны были стать, еще более застенчивыми.

Так по-разному вспоминаем мы сегодня и даже вводим в действие этот архаизм, высокий, романтический и живой, живой отголосок целого периода в истории советского общества.

## НОВЫЕ СЛОВА-ПОНЯТИЯ

В 1908 году проф. И. А. Бодуэн де Куртенэ писал в своем предисловии к последнему дооктябрьскому изданию Даля:

— Если и в обыкновенное мирное время значение слова постоянно меняется и разнообразится, смотря по принадлежности индивидов не только к той или другой местности, но даже к тому или другому сословию, классу общества и даже «партии», то тем необходимее далеко идущее изменение значений слов в только что пережитое [1905 год] и еще до сих пор переживаемое «революционное», «контрреволюционное» и вообще крайне анархическое время [!]. У различных враждующих между собой «партий» одни и те же слова получают различные, иногда диаметрально противоположные значения и вызывают различные настроения...

После Октября «изменение значений слов» приобрело, конечно, невиданно широкие и бурные формы и зашло дальше, чем когда-либо в истории русского языка. Но теперь слова не только получали «различные, иногда диаметрально противоположные значения», — неуклонно утверждался в качестве главного и первого, как мы попытаемся показать во всей этой книге, самый плодотворный смысл старых хороших слов.

Исследователи языка в первые годы Революции не видели, да и не могли видеть, это *главное* движение в языке.

В 1927 году вышла книга покойного проф. А. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над рус-

ским языком последних лет (1917—1926)» — весьма значительная для своего времени работа. Новое развитие языка рассматривалось в ней не только без довольно обычного в то время у языковедов старой школы злопыхательства, а вполне научно и даже сочувственно...

Но глава «Изменения значений слов» занимает в этой книге всего 6 страниц из 226...

У Селищева речь идет, по преимуществу, о новых словообразованиях и «сокращениях» и о хлынувших в общенародный язык «низких» словах. И главное — Селищев и другие исследователи не видели тогда решающих особенностей этих новых словообразований, новых русских неологизмов.

Новые русские слова Революции резко отличаются от прежних неологизмов и по своему происхождению, и по своему строению, и по всему своему внутреннему движению.

Вплоть до Революции *самые плодотворные и прогрессивные* неологизмы были заимствования или переводы иностранных слов — политических и технических. Остальные неологизмы были только вялые, чисто литературные переименования старых чувств и понятий во имя «освежения» поэтического языка.

Теперь положение изменилось кардинально.

Самые активные новые слова — не переводы и заимствования, а новые русские слова (ср. строительство, смычка, скоростник, хозяйственник, встречник, затейник, охват, сдвиг, ударник, отличник, безотрывник, водитель, обезличка, уравниловка, летун, двурушник, соглашатель, уклон, загиб, перегиб, шкурник, лишенец, склочник, заумь, изыск, «броня», «узкое место», облучение, вещание, ви́дение, заземление, завихрение, прилунение, самолет и самолетовылет, слет, звездолет, слежение, болтанка, коротковолновик и т. д. и т. д.).

Среди этих слов очень много (из перечисленных больше половины) таких, которые уже существовали и действовали когда-то в языке.

Уже не раз отмечалось, что наши новые слова подчас удивительно напоминают изобретения самых старых русских писателей, в частности — протопопа Аввакума. «Заплутаи» или «замотаи» Аввакума звучат как слова современного разговорного языка, почти как «загибщики», «заливалы» или «аллилуйщики»; его «зима еретическая

на дворе» — очень близкая нам по своему основному приему и *по стилю* форма метафоры. Так и его обращение с глаголами иногда очень напоминает наше новое «кипение вперед», новые формы переходности наших глаголов.

Развернулись во всю ширь некоторые очень старые, но заглохшие было внутренние движения в языке.

И надо ли говорить о том, что многие русские политические термины, даже иностранные по своему происхождению, стали уже для всего мира русскими! Они впервые *оправдались* и сбылись у нас, и теперь все международное рабочее и социалистическое движение вооружается этими русскими словами.

Хорошо известно также, что в международную техническую терминологию все чаще входят технические слова русские или греко-латинские, но впервые составленные, по встретившейся надобности, в России.

Многие исследователи языка первых лет Революции были глубоко убеждены, что новые словообразования в большинстве своем прямые, резкие, грубые, что они отражают в первую очередь всеобщее убыстрение, новые, бешеные темпы жизни. Отсюда рубка слов и знаменитые «сокращения».

Сейчас уже совершенно очевидно, что и это не соответствует действительности.

Среди новых слов были и характернейшие смягчения, новые эвфемизмы. Но главное — на каждом шагу мы видим переводы тривиальных выражений в высший, научный класс. Это особого рода, неподражаемая научная вежливость (социально запущенные, деклассированные, морально дефективные люди; фекальные установки, ассенизаторы, санузел и т. д. и т. д.).

Новое движение, создавшее эту новую лексику и новую манеру выражаться, никак не сводится к «убыстрению». Есть наряду с этим и особое разглядывание «старых слов», есть постоянное стремление уточнить, что к чему, а это значит, что по всему языку проходит, наряду с «сокращениями», великое ленинское договаривание.

Так и «сокращения», о которых речь еще будет впереди, либо стали полноценными словами, которые уже никак не ощущаются как сокращения (колхоз!), либо

развернулись в полную свою форму, либо ушли безвозвратно из общенародного языка.

Идет непрерывное обновление языка: старые слова обрабатываются, заостряются и окрыляются при помощи несравненного русского аппарата приставок и суффиксов. Это всегда не только новое выгибание или разминание, но и новая смысловая отработка, уточнение старых слов, и в этом их особая полемическая сила.

Так и стилистическое новаторство советской литературы раскрывается главным образом в новом исполнении старого языка, в *новом остроумии,* то есть, как определял Пушкин важнейшее значение этого слова, «остроумие», в новом *«сближении понятий»*.

Пушкин, как известно, создал наш литературный язык, прекрасно действующий и сегодня, почти совсем не изобретая новых слов. То, что противники Пушкина, архаисты, называли его «неудачными нововведениями», были большей частью, как объяснял им Пушкин, «коренные русские слова», которым он дал новое движение.

Так бывало не раз и впоследствии: архаисты очень часто не пускали в язык возвращающиеся коренные русские слова!

Собственные новые словообразования Пушкина немногочисленны, и, как правило, они-то и не утвердились в общенародном языке (ср. «бесцель», «вокнижить», «преоборот», «разыскательный лорнет», «самое нельзя прелести» и др.)! Но навечно остались в языке, в мышлении и душе народа пушкинские сближения, его «применения» (то есть приноровления к современным ему обстоятельствам, аллюзии, намеки, обиняки), его исполнения старых слов, его остроумие.

Не утвердились в языке и многие, иногда очень яркие, новые словообразования других великих (Лермонтов!) или больших писателей.

Но как горячо они отстаивали иногда свое авторство в *исполнении* тех или иных старых слов!

Вяземский пишет Пушкину:

— Важные поступки где-то, кажется, о Пугачеве, у тебя сказано. Гоголь может быть в претензии.

«Важные поступки» принадлежат Гоголю.

Слово «нигилисты» Н. Надеждин еще в 1829 году в «Вестнике Европы» употреблял как один из неологизмов

Французской революции, как слово уже всем понятное и знакомое в его кругу.

Пушкин вкладывает это слово в уста Ванюши, то есть того же Надеждина: «Ванюша показывал ему язык, бегал за ним и изо всей силы кричал: «Пьяница, урод, развратник! Зубоскал, писака. Безбожник, нигилист!» («Детская книжка»)

Слово уже существовало и работало. Но Тургенев позднее, в другую эпоху, так применил его в своем, тургеневском (очень сложном) значении, что оно по справедливости должно считаться его собственностью.

Тургенев писал Л. Толстому в 1857 году:

— Везде «перспективы» (*это слово Боткин у меня украл*).

«Перспективы», конечно, старое слово и в русском языке. Но «перспективы» в особенном, общественно-политическом значении и во множественном числе Тургенев считал своим словом и не отдавал его своему другу Боткину.

Достоевский в «Дневнике писателя» писал:

— Вот тут-то на квартире у Белинского, в 1845 году и было употреблено мной в первый раз слово «стушеваться», столь потом распространившееся.

Между тем Никитенко в своем «Дневнике» писал еще в 1826 году:

— Честолюбие, сопровождаемое успехом, с каждым шагом вперед умаляет в глазах честолюбца предметы, остающиеся у него позади, и так до тех пор, *пока они совсем стушуются.*

Слово было уже в ходу, особенно среди студентов технических институтов, к числу которых принадлежал и Достоевский; это был довольно обычный перенос технического термина в более широкую сферу.

Но Достоевский считал, что он пустил это слово, и очень горячо отстаивал свое право собственности на это слово.

Так и в нашу, советскую эпоху новые словообразования, изобретенные нашими писателями, только в очень немногих случаях, как увидим ниже, входили в общенародный язык. Не вошло в общенародное употребление ни одно из слов Хлебникова, Белого, Сергея Боброва, Дм. Петровского и других писателей, которые особенно

усердно и принципиально занимались «словостроем» В. Каменский).

Но на каждом шагу мы, не вспоминая об авторе, применяем по-новому кем-то удачно исполненные, заигравшие новым остроумием сочетания старых слов.

Вот несколько историй новых слов Революции, которые покажут, может быть, с разных сторон это новое движение в языке.

## СОВЕТ, СОВЕТЫ, СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Это старое, доброе и мудрое, «советное» слово (любовь да совет молодым!; жить в совете; с советом все твори; принимаем в совет и дружбу; советный друг; посоветую со знающим и т. д. и т. д.) издавна применялось и в качестве политического термина.

Они и в войске и в совете,
На воеводстве и в ответе
Служили доблестно царям.

(Пушкин, «Родословная моего героя»)

В совете — то есть в Думе, в роли советников царя, и в ответе — то есть в посольстве, дипломатии.

В сентябре 1612 г. «Пожарский с товарищи» призывает всех земских людей избрать

— Совет всей земли.

«Совет», кажется, впервые означает здесь всероссийское правительство. И это, по мысли князя Пожарского и его товарищей, уже должен быть не Земский собор, а правительство, основанное на гораздо более широкой социальной основе (см. у Платонова, Любомирова и др.).

В документах эпохи первых больших крестьянских движений (по Щапову):

— *Утвердить совет,* как бы всем нам, православным крестьянам, не погибнуть от врагов православного крестьянства.

Не впервые, видимо, «совет» применяется здесь в политическом смысле. Это продолжение старого народного разговора. Решено утвердить «совет» по-настоящему, а не так, как *уже бывало,* и ясно указана цель: совет — орган самозащиты от врагов всего православного крестьянства. Все горе в бессоветии (старинное слово).

— Клянусь заменить Ивана Борецкого в *народных советах*... (Карамзин, «Марфа Посадница»)

— Местное вечевое самоуправление, *земскосоветие*...

— Во всех областях открылось местное *народосоветие*... (Документы Смутного времени)

«Земскосоветие», «народосоветие» — высокие слова аристократической верхушки Новгорода и Пскова; они в начале XVII века уже очень далеко ушли от своего первоначального, честного смысла и в устах людей из этой верхушки только прикрывали и украшали очень определенные интересы и тенденции.

А Щапов («Великорусские области в Смутное время») в середине прошлого века модернизует эти слова-понятия, придает им, в соответствии со своими политическими идеалами, новый и обобщенный смысл, исполняет их по-своему.

— Я готов умереть, — писал Щапов, — за эту мучащую меня мысль об общинном народосоветии, о земском — областном и народном народосоветии... (Письмо П. П. Вяземскому)

Общинное, областное и, наконец, народное народосоветие — вот его программа, его конституция освобожденной России.

Когда Булавин поднял казачество на «встань», Петр писал:

— ...Дабы того вора Булавина поимать и злый их *воровский совет* раззорить. (1708)

Петр не принижал своего противника и его штаб, не обзывал их как-нибудь, а называл этот штаб народного возмущения злым, конечно, и воровским (то есть антигосударственным), но советом.

Это же слово в других сочетаниях выдвигали затем в качестве политического термина и сторонники разумной и справедливой монархии или аристократического самовластия.

Ив. Посошков напоминал, настойчиво советовал Петру:

— Без *многосоветия* и вольного голоса быть царю невозможно...

Речь идет о добровольном самоограничении монарха — в его же интересах.

«Затейка» верховников:

— *Верховный совет* назначил заседание, на которое

были приглашены *«о государственном установлении советовать»* Синод, сенат, генералитет до бригадирского чина, президенты коллегий и гражданские чиновники первых четырех классов...

Верховный совет не имел почти никакой власти, он уже не был нисколько советом. Речь шла о том, чтобы дать первоначальный смысл и вообще смысл этим уже несерьезным словам: совет, советовать.

Кабинет министров был переименован в совет министров, затем снова кабинет, потом опять совет министров (до самой Революции).

Даже эти переименования должны были обозначать некоторые видоизменения в высшем правительственном аппарате, приноровление его хотя бы к современной политической терминологии.

Но это были, конечно, только переименования.

«Совет» как политический термин становится очень условным и почти бессодержательным словом.

У Даля в большом и ярком описании живых применений этого народного слова и его производных очень немного политических, но очень характерные к ним толкования.

— Совет, совещанье, сход и съезд людей в условное время, для совместного обсуждения дел; сойм, сейм, сонм (!), собрание, особое установленье для Совета. *Государственный Совет,* высшее у нас совещательное, правительственное место. *Совет министров.* Совет или сужденье, *вятск.:* сгонка, сходка, мир на сходе...

У «Толля», конечно, совсем другие толкования и другие примеры:

— Совет, назв. собраний и учреждений, рассуждающих о предоставленных им предметах. Во Франции, и по образцу ее во всей Зап. Европе, были королевские *С.,* академические, университетские, коммерческие, земледельческие, окружные и др. В Афинах был *С.* Десяти, учрежд. после изгнания 30 тиранов. *Они управляли с такой же несправедливостью и были вскоре изгнаны...* В Венеции был *С.* Десяти... Они управляли самовластно жизнью и имением граждан, суд и казнь производились втайне... *Каждое правление учреждало С.* В России кроме Государств. *С.* (см. это сл.), есть *С.* министр.,

почти по всем ведомствам; круг действий их *не определен положительно*...

Смотри «Государственный Совет». Там:

— Г. Совет состоит из членов, назначаемых Высоч. властью... Все мнения или положения Г. Совета получают законную силу только с Высоч. утверждения...

Бурно сокращая слова, славный «Толль» успел и сумел сказать и об афинском Совете Десяти, который был не лучше тиранов и потому тоже был изгнан; о самовластии венецианского Совета Десяти и, главное, о «неопределенном» круге действий Государственного Совета в России, в отличие от других государств Европы.

...Но о самом слове «совет», в политическом его применении, «Толль» и даже в начале XX века, после 1905 года, его идейный преемник Павленков в своем словаре могут сказать только немногое. А о будущей, уже близкой судьбе этого великого слова они еще и не подозревают.

В других случаях и Даль прекрасно раскрывал потенциальное, возможное значение слова, его внутренние готовности. В этом случае он ни о чем не догадывался.

— Если бы народное творчество революционных классов не создало Советов, — писал Ленин, — то пролетарская революция была бы в России делом безнадежным... (26—80)

В 1905 году возникают Советы рабочих (в единичных случаях и солдатских) депутатов в Петербурге, Москве, Иваново-Вознесенске, Екатеринославе, Харькове, Луганске, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Красноярске, Чите и др. — почти во всех крупных промышленных центрах и железнодорожных узлах.

Во второй половине сентября 1905 года в Петербурге развернулось широкое стачечное движение, в октябре оно вылилось во всеобщую политическую стачку. Возникли Советы рабочих депутатов по отдельным отраслям производства.

В обращении Московского комитета большевиков говорилось:

— Пусть депутаты всех фабрик и заводов объединяются в общий Совет депутатов всей Москвы. Он придаст ему ту сплоченность и организованность, которые ему

нужны для борьбы со всеми его врагами — как с самодержавием, так и с буржуазией.

— 22 ноября (5 декабря) 1905 года мы, депутаты Московского Совета рабочих депутатов, собрались на первое заседание Совета. Пленум состоялся в доме Гирша, в зале студии Станиславского. Участники заседания выразили свою признательность Петербургскому Совету. Они избрали Исполнительный Комитет Совета и приняли воззвание... («Воспоминания А. Киселева. «Правда», 5/XII 1955 г.)

Совет — новое, ленинское слово, которое, как мы видели, уже давно существовало и в политическом языке. В 1905 году оно «только» получило новое и великое воплощение. На этой основе сложилось и еще никогда не слыханное ранее словосочетание: советская власть.

Ленин заменил этим словосочетанием — советская власть, Республика Советов — одно из старых положений марксизма:

— Не парламентарная республика, — возвращение к ней от С.Р.Д. было бы шагом назад, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху... (24—5)

В 1917 году, после Февраля, это еще только слово-программа. В действительности большинство в Советах принадлежит меньшевикам и эсерам. Открывается великое противоречие между тем, что́ должно и может значить это слово, и тем, что́ оно означает сегодня практически.

И тогда большевики снимают на время *свой* уже выстраданный в героических боях 1905 года лозунг: «Вся власть Советам!».

Это несравненный по своему драматизму эпизод в истории слова-понятия «Советы», как и вообще в истории всех слов-понятий нашего языка!

В июле 1917 года, в шалаше на Разливе, Ленин говорил Зиновьеву:

— Вдруг кто-то сказал: надо позвать казаков. И Советы облегченно вздохнули и позвали казаков... Вот они что, ваши, нынешние Советы!

— Мои Советы, — слабо усмехнулся Зиновьев.

— Для меня в итоге июльских событий стало ясно одно: власть должна быть взята революционным пролетариатом самостоятельно, тогда снова появятся Советы,

но не эти, не теперешние, не предавшие революцию, не старые Советы, а обновленные, закаленные, пересозданные опытом борьбы. (Э. Казакевич, «Синяя тетрадь», 4)

— Слишком часто бывало, — писал Ленин в середине июля 1917 года, — что, когда история делает крутой поворот, даже передовые партии более или менее долгое время не могут освоиться с новым положением, повторяют лозунги, бывшие правильными вчера, но потерявшие всякий смысл сегодня, потерявшие смысл «внезапно» настолько же, насколько «внезапен» был крутой поворот истории... ...По всей видимости, не все сторонники лозунга: «переход всей власти к Советам» достаточно вдумались в то, что это был лозунг мирного развития революции вперед... Но теперь эта борьба, борьба за своевременный переход власти к Советам, окончилась. Мирный путь развития сделан невозможным... (25—164—166)

28 (15) сентября 1917 года орган ЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «Известия» писали:

— Мы сами являемся могильщиками своей организации... Когда пало самодержавие и с ним весь бюрократический порядок, мы построили Советы депутатов как временные бараки, в которых могла найти приют вся демократия. Теперь на место бараков строится постоянное каменное здание нового строя, и, естественно, люди постепенно уходят из бараков в более удобные помещения по мере того, как отстраивается этаж за этажом.

Одновременно идет непрерывная борьба за большинство в самих этих «бараках», приюте всей демократии, за то, чтобы Советы стали в самом деле Советами. Надо брать Советы.

А. Коллонтай писала («Василиса Малыгина») в начале 20-х годов:

— Знает еще с 17-го года. Вместе «Советы брали».

«Советы брали» — в кавычках; это еще свежо и полемично.

Михаил Кольцов в 1927 году приводил рассказ очевидца о том же — то есть о том, как рабочие *брали Советы* в 1917 году:

— Вся власть Советам!.. До сих пор стоит у меня в глазах этот санкюлот на трибуне «белого зала», в самозабвении потрясающий винтовкой перед лицом враждебных «вождей демократии». («Великое нетерпение»)

Через десять лет, когда Советы уже давно победили и белых и четырнадцать держав вместе с ними, когда почти все эти державы уже должны были «признать» новое, советское государство, Мих. Кольцов с особым удовольствием приводит этот рассказ очевидца о том, как санкюлот брал Советы.

Слово-программа уже воплощено, стало реальностью, непрерывно растет.

— Товарищи трудящиеся! Помните, что *вы сами* теперь управляете государством... *Ваши* Советы отныне — органы государственной власти, полномочные, решающие органы...

Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин). Петроград, 5—XI 1917.

Джон Рид разъяснял себе и другим значение этого слова:

— Наиболее важные организации. 1. Совет. Это слово в русском языке существует давно и соответствует английскому слову «council». При царе, напр., существовал Государственный Совет. Однако со времени революции слово «Совет» стали связывать с определенным типом представительства, избираемого трудящимися, членами производственных коллективов, — Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. *Поэтому слово «совет» я употребляю только по отношению к этим органам.* («Десять дней...», 18)

Новый центральный смысл старого слова.

Возникают самые различные и, конечно, прямо противоположные по своему смыслу сближения и сопряжения этого слова с другими, оно притягивает новые рифмы и созвучия.

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это!

Совет — и «это»; огромное «это», уже всем известное, не требующее уточнений: это, за которое стоит умереть.

Свободной земли новоселы
идут во Всемирный Совет.

(Тихонов, «Комсомольская ода»)

«Это» уточнено: оно — всемирное.

Гуляй, Маша, воля наша!
Ах ты, воля, воля-свет,
Уж не дума, а Совет.

(У М. Борецкой, «Пир народный»)

Свет — совет.

— Сергей. Работайте по-советски.

Директор. Это как же?

Князев. Это значит по совести, гражданин.

Шметцгер. Это по чьей же совести? (К. Тренев, «На берегу Невы»)

По-советски — по совести. Отличный ответ Князева! Но, как всегда у Тренева, и противник не оглуплен. Очень резонная в своем роде реплика Шметцгера, украинского землевладельца-«хлебороба» из немцев: это по чьей же совести?

В 1920 году В. Хлебников написал поэму, которая называлась первоначально «Ночь перед Рождеством».

Это было еще довольно обычное в то время переосмысление старого образа и термина со всеми его священными ассоциациями («сотворение мира», «Новое мироздание», «Вершина времен» и др.). Но затем Хлебников переправил это заглавие на «Ночь перед Советами».

Открылась новая глагольность этого имени существительного. Советы — событие, событие времен, подержавински.

У Н. Асеева тогда же (1920):

Совет ветвей, совет ветров,
Совет весенних комиссаров
В земное черное нутро
Ударил огненным кресалом.

Советы — ветви, ветра, весна; это сопряжение слов встречается и у многих других поэтов. У Асеева это же слово «Совет» тянется, по неодолимой внутренней склон-

ности, к еще более родственным ему словам: вещий, вещать, вещь (см. об этом ниже).

У Есенина:

Говорила божья матерь сыну
Советы,
Ты не плачь, мой лебеденочек,
Не сетуй.

(«То не тучи...»)

Советы — не сетуй.

А вот другое *благословение* Советам:

— Смейтесь в лицо всем кулакам и не допускайте их к тому с в я т о м у м е с т у, которое зовется Советом...

Так писал в своих «Известиях» Весьегонский (Тверской губ.) уисполком в 1918 году (у А. Тодорского, «Год с винтовкой и плугом»).

— Правда, земельки ныне прибавилось, как господа, покинув в селе Подъяремном поместье, тайком укатили куда-то, слышно, что за границу, а над подъездом их дома повесили вывеску: «Волостной Подъяремный совет». (Ив. Новиков, «Жертва»)

Встретились, столкнулись и поистине зарычали друг на друга слова «подъяремный» и «совет»!

Писатели старшего поколения с особой охотой демонстрировали тогда образцы непонимания важнейших слов-понятий (даже коренных русских) и самые незаконные, иногда почти невероятные, связи между словами в речи «темных людей». Но хорошо в своем роде звучит и этот оксюморон! Встретились и столкнулись знакомые, выстраданные слова.

Митька-гармонист взял его в семейство С о в е т с к о в ы х. Это была их уличная фамилия. Митревна объясняла:

— Носовы они, по рождению Носовы. А это их прозвали за то — при белых в тюрьме старик с девкой сидели. А сейчас, как что не по их, сейчас: «не по-советскому, дескать, понимаете», али «мы — советские граж-

дане», ну их и зовут «Советсковы». (Л. Сейфуллина, «Выхваль»)

Советсковы — и фамилия, и кличка, и лозунг.

Народ говорил: совецкий. Сейфуллина не раз так и записывала из уст народа, принципиально и демонстративно. Ср., например, в «Путниках»:

— Рука об руку на защиту совецкой власти...

Такое написание слова «по-народному» одно время пытались узаконить не только некоторые писатели, сторонники полной свободы для языка, но и некоторые видные политические деятели (например, Лепешинский).

Эти предложения не были приняты. Непозволительно затемнять корень этого старого слова, нельзя отрывать слово от его прошлого, нельзя плестись в хвосте за «произношением» (ср. большевицкий), хотя бы и народным.

Это было одно из очень ярких отражений постоянной ленинской борьбы за строгую нормативность в языке.

Ни одно, конечно, слово не вызывало такого ужаса в противоположном лагере, такого яростного и самозабвенного противодействия, как это — «совет».

— Катя боялась некоторых слов; например, совдеп казался ей свирепым словом, ревком — страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя (было такое происшествие в детстве). (Ал. Толстой, «1918 год»)

Это было тогда страшное слово для Кати, особенно страшное в его сокращенной форме, в сложениях *сов-*, — как уже нечто всем известное, само собой подразумеваемое и естественное.

У Колчака его совет министров назывался даже в официальных документах «совмином»: «Совмин принял к сведению», «Совмин постановил» и т. д.

Сокращенно, на советский лад! Это должно было, по-видимому, означать, что они, колчаковцы, уже не боятся ни этого, ни других советских слов и применяют даже советские сокращения (а над ними как только не издевались белые публицисты и внутренние эмигранты!), потому что они тоже деловые и трезвые люди. Колчаковцы, можно сказать, поднимали перчатку. Так было в период наибольших успехов Колчака, когда он был на Волге.

Л. Любимов рассказывает в своих воспоминаниях, что младороссы, то есть русские фашисты, выдвигали лозунг: царь и Советы. Слово уже показало свою силу, и противник, как всегда, пытается его аннексировать.

Это не удалось, победа Советов стала *сов-ерш*-ившимся фактом, как писал один русский зарубежный юморист, и теперь противник уже пытается только сломать, унизить, оскорбить или хотя бы только передразнить это страшное слово. Возникают бесчисленные, страшно ехидные «народные этимологии».

Пытались передразнить и осмеять это слово не только прямые противники и обыватели, но и сторонники полной «революции формы в языке и искусстве» (это, как известно, продолжается и сейчас за рубежом) и некоторые идеологи Пролеткульта.

— Или, когда улягутся вздыбленные революцией стихии, вы будете в праздники с цепочками на жилетах выходить на площадки перед вашими районными Советами и чинно играть в крикет? — писала «Газета футуристов». (15/III 1918 г.)

— Не надо думать, что тип «советской» организации открывает нам какие-либо новые горизонты для раскрытия пролетарской культуры, — писал в 1919 году в статье «О тенденциях пролетарской культуры» один из идеологов Пролеткульта.

«Советская» даже в кавычках. Ср., в том же кругу, «советовластие» и др.

Известно, что пролеткультовцы добивались «независимости» от советской власти, считали себя более «пролетарскими», чем государственные деятели советского государства. Известно, как отвечал им Ленин.

В речи обывателя и противника сов-(советский) вступает в самые невероятные и ехидные сочетания. Но невозможные сочетания с сов- возникают и в страстных, полемических оксюморонах Ленина!

— В Москве надо добиться образцовой (или хотя *сносной*, для начала) чистоты, ибо большего безобразия, чем «советская» грязь в «первых» советских домах, и представить себе нельзя... (35—450)

— Уменьшать неуклонно самое число «совбуров». (32—108)

Ср. у Гладкова в «Цементе»:

— На словах вы все богатыри, а на деле метите, как бы сесть поудобнее и превратиться в совбуров. (3—3)

В кавычках и без кавычек.

Довольно!
В совмещанском партере
Леф
не раскидает свои якоря.

(«Не все то золото...»)

В партере уселись поудобнее совмещане (они же и совмеценаты «нового искусства»!), и Маяковский бросает им в лоб самые отточенные и отборные ругательства, чаще всего в форме именно таких убийственных сложений сов- с очень нехорошими словами.

В сатире — совбарышни, соваристократы, совснобы или даже совграфы. Они разговаривают на своем жаргоне и даже самоутверждаются и самообобщаются. Но в хорошей сатире они делают это так искренне, убежденно и законченно, что оказываются в конце концов непременно совдураками.

Одна из самых злых диверсий противника в языке — это утверждение понятия «советский язык».

Подлец Яропегов у Горького («Сомов и другие») методически «*совал* голые слова» (голо*совал*) в *«советский язык»*.

У Гладкова в «Цементе»:

— Предисполком? Это по-каковски?

— А по-таковски — по-русски...

— Врешь. Русский язык не такой. Этот ваш жаргон — не то жидовский, не то воровской.

—У нас, в Советской России, воры не плодятся... Мы беспощадно стреляем их... (8—2)

Это — диалог Даши с бандитским полковником. Но исподволь и в разговорной речи и в иных ученых трудах внушалась, как мы уже отмечали, та же весьма ядовитая идея, что и язык, то есть самая душа народа, у советских людей уже другой, не имеющий ничего общего с его прошлым, его законами и традициями.

— Великое, необозримое сотрудничество возможно. Не только возможно оно, но даже заповедано под древними дубами, на *исконных советах славянских*.

Так писал в годы Отечественной войны Н. К. Рерих, русский художник, который доживал тогда свой век на чужбине, в далекой Индии. Это было политическое выступление, призыв к сотрудничеству и примирению всех патриотов в тяжелое для Родины время (так называемый пакт Рериха), а написано это было по-рериховски, в стиле этого влюбленного в русскую старину художника, с очень характерными для него мифологическими «реалиями».

Но таков в самом деле исторический путь этого древнего слова...

В резолюции ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года впервые вводится понятие «*советский писатель*». С точки зрения пролеткультовцев, рапповцев и других «теоретиков» недавнего прошлого, такая терминология была слишком общей, даже как бы «внеклассовой».

Но это знаменовало уже совершившееся расширение и уточнение (одновременно) очень важного понятия. Партия утвердила новое словосочетание, которое она же в ходе всей своей работы сделала сначала возможным, затем реальным, соответствующим действительности.

Значение этого слова неуклонно растет.

— Вступление нашей страны в период развернутого строительства коммунистического общества, — говорил Н. С. Хрущев на встрече с избирателями Калининского округа г. Москвы, — ведет к всемерному усилению деятельности Советов. Намеченный XXI съездом партии курс на постепенный переход ряда функций органов государственного аппарата к общественным организациям, и в том числе к самым массовым и авторитетным из них — Советам депутатов трудящихся, — подготовлен самой жизнью, всем ходом развития Советского социалистического государства. (1959)

Бушует новой жизнью это старое слово, которое открыло новую эру в истории человечества. Оно пронизывает весь современный русский язык, оно слышно и там, где оно совсем не названо. «Это»! Во всех историях слов мы еще встретим его так или иначе.

В марте 1920 года, менее чем через три года после Октябрьского переворота, Ленин отмечал:

— Наше русское слово «совет» — одно из самых распространенных, оно даже не переводится на другие языки, а везде произносится по-русски... (25—72)

— Сколько бились мы, — вспоминает акад. Н. Конрад, — пытаясь перевести на китайский язык слово «совет»... Ни одно китайское слово не в состоянии было передать в точности то, что́ вложил русский народ в понятие «Совет», «Советский»... Пока мы спорили и искали, китайские рабочие и красноармейцы решили этот вопрос без нас. Они просто включили это слово в свою речь... «Совета»! — воскликнул Поливанов в пекинском произношении. — Прекрасное китайское слово. Точнее не скажешь. («Новый мир», 1959, № 4)

Оно перешло все рубежи. Soviets partout! Все человечество знает теперь это слово.

«Soviet» — *первый* из советизмов.

### ОСМЫСЛИВАТЬ, ОСМЫСЛИВАНИЕ

Это слово, одно из самых важных в языке, по нашему сегодняшнему ощущению, занимает очень небольшое место в словаре Даля. Толкование Даля: «придать чему-нибудь смысл, толк; оживить мыслящим духом».

И у Даля же совершенно замечательный образец применения этого слова в живом великорусском языке: *«Он раскрыл связь событий и тем осмыслил самую скучную и запутанную пору жизни государства».*

Раскрыл связь событий — это звучит совсем по-современному. Но в результате этого раскрытия только придается какой-то смысл без того скучной и запутанной поре в жизни государства.

И в последующих изданиях Даля остается только это толкование.

Слово «осмысливать», однако, имело уже во времена Даля и другое, более глубокое значение.

Белинский — Достоевскому:

— Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами эту страшную правду?.. (В воспоминаниях Достоевского о Белинском)

Достоевский осмыслил по-своему:

— Алеше ясно было, что он уже все понял, осмыслил весь факт... («Братья Карамазовы»)

— Принял я тогда в душу семя слова Божия осмысленно... (Там же)

— Вдруг вполне осмыслил причину своей тоски... («Бедный муж»)

И т. д.

Понял, осмыслил и принял — вот триада Достоевского.

У Щедрина:

— Ибо, в сущности, что означает это выражение «проникнуть», которое переполняет тоской все сердца? Означает ли оно взлом, насилие, бунт? — Нет, оно означает стремление осветить и осмыслить жизнь. («За рубежом», 3)

Щедрин о «Могучей кучке»:

— Блестящая плеяда молодых композиторов, ее стремления осмыслить мир звуков, приспособить его к точному выражению разнообразнейших жизненных функций... («Недоконченные беседы»)

Проникнуть, чтобы н а й т и, а не только придать смысл; осмыслить, чтобы п р и с п о с о б и т ь к точному выражению жизни.

«Осмысливание» — одно и другое. Но во всех случаях это слово новое, вызывающее, жгучее.

У Тютчева:

Иной, ты скажешь, просто лает,
А он свершает высший долг —
Он, осмысляя, развивает
Утиный и гусиный толк.

(«В деревне»)

Саркастическое передразнивание боевых, определительных слов новых людей. «Осмысляя» в неудобопроизносимой, какофонической деепричастной форме (не без «осла»). Здесь же очень комически звучит по контексту другое, важное для новых людей слово «развивает». А все вместе — бесплодный и глупый гусиный *толк*.

А К. Победоносцев тогда же принимает на вооружение это осмеянное Тютчевым слово:

— Они [то есть славянофилы] первые помогли обществу осмыслить и несравненное достоинство православ-

ной церкви, и жизненное значение ее для народа. (Некролог И. Аксакову, 1859)

Он пытается пристроить к своему делу это боевое слово людей противоположного лагеря.

У Гарина-Михайловского словами именно этих новых людей:

— Ты беллетрист, конечно... Это человек, который, так сказать, разобрался уже в сумбуре жизни.., осмыслил себе все и стал выше толпы. *Этой толпе он осмысливает ее собственные действия* в художественных образах... Скажи, Тёмка, что ты или я можем осмыслить другим? («Студенты»)

Продолжение этого же спора в «Инженерах»:

— А по-моему, сознание является постфактум, всякое решение для действующих лиц всегда является бессознательным. *Осмысливают его уже потом историки, ученые, филологи...* (6)

Легко видеть, что это очень боевой и *сегодня* спор.

В «Климе Самгине» Горького:

— А Лев Шестов говорит так: «Личная трагедия есть единственный путь к субъективной осмысленности существования». (Т. IV)

Лев Шестов — автор «Апофеоза беспочвенности», участник ренегатского сборника «Вехи», воинствующий идеалист. «Путь» хотя бы к субъективному осмыслению жизни лежит, по Шестову, через личную трагедию.

У Белого в «Котике Летаеве»:

— Архитектоника ритмов осмыслилась и отряхнула былые мне смыслы. (Гл. 13)

Целая революция: опрокинулись все былые смыслы. Но все дело в архитектонике ритмов, а не в чем ином.

И вся прелесть в том, что «архитектоника» осмыслилась *сама,* непонятным для героя образом.

Слово уже бурно жило и воевало до Революции. Но в советскую эпоху оно получило такое новое и широкое развитие, что по справедливости может считаться новым словом.

Все начинается с осмысления.

— Не развалины вокруг, но новая жизнь, вызванная

этим не просто стихийным, но *человечески осмысленным землетрясением,* буйно прорывается повсюду. (Луначарский, «О новом типе писателя», 1925)

У Гладкова:

— Вы говорите, что все ясно без рассуждений, — но мы *привыкли всегда осмысливать свое положение.* Эта привычка не так плоха. («Головоногий человек», 1928)

Так говорит фальшивый человек, человек, который меньше всего имеет право на это слово! Он очень своекорыстно жонглирует большими словами. Но так оно и есть: это уже психологическая привычка.

Перепутанные реплики, важные слова «не у того» человека — самый действенный прием в большой общественной полемике. Так проверяется прочность слов. И «осмысливать» уже выдерживает это испытание.

— Я лично приехал сюда, — усмехнулся, хмыкнув носом, собственный корреспондент Узелков, — чтобы в художественной форме осмысливать наиболее свежие и по возможности увлекательные факты. (П. Нилин, «Жестокость»)

Узелков говорит готовыми, чужими словами; осмысливать в его устах — уже профессиональное, почти жаргонное слово газетчиков. И он говорит о свежих фактах!

Опять не тот человек «осмысливает», но слово само по себе хорошее и важное, что бы ни говорили Головоногий и Узелков.

А вот эти же слова у человека, для которого они органичны:

— Чем вы будете жить? — спрашивала я придирчиво и строго. *Неосмысленным, не включенным в какую-то орбиту* — он не мог жить и действовать. *Осмысливание началось с проверки данных.* (А. Караваева, «Рассказ, предваряющий бытие»)

Маяковский проходит через тропики:

Но прежде, чем
осмыслил лес,
и бред,
и жар,
и день я...

(«Тропики»)

Осмыслить самый бред... Веселое утверждение побе-

дившего слова, для которого уже ничто не страшно, — при «иронической помощи» оксюморона.

— Надо, наконец, осмысливать этот гулятельно-созидательный процесс, который некоторыми вульгаризаторами опошляется названием прогулки. (Ильф и Петров, «Веселящаяся единица»)

Еще одно утверждение важного и победившего слова — сатирическое *утверждение.* Опять перепутанные реплики: говорит вульгаризатор — о «вульгаризаторах»!

—Достигнуты иные скорости — *осмысливается земля. Осмысливаются дни и недели месяца,* потому что только сейчас фазы Луны и положения Земли нужны для космических полетов... (В. Шкловский, «О деянии»)

— Маленькая точечка несла в себе такой заряд жизни, что *первозданная пустыня показалась осмысленной, пристроенной к делу.* (Н. Михайлов, «Иду по меридиану»)

— Та удобная теснота, когда *нет ни одной лишней вещи — каждая осмыслена.* (Там же)

Это, пожалуй, наиболее зрелое и современное применение слова «осмысливать» — по самому высокому классу научной точности, в новом, очень прямом и строгом, значении.

И звучит это тем выразительнее, что рядом простые, даже тривиальные слова: пристроить к делу.

Большое слово победило, поистине засияло заново, и вот — курьезный эпизод из литературной хроники последних лет, связанный с этим словом и, как на смех, с Белинским...

В Пушкинском Доме в Ленинграде обсуждался вопрос, какими должны быть комментарии к Белинскому.

—...Дирекция разрешила спор, приняв более чем странное решение: предусмотреть в комментариях лишь «минимальные возможности осмыслительного характера», поскольку «осмысление бывает временным и преходящим»...

Один из участников этого спора назвал отказ от подлинного комментария «хорошей общественной осторожностью».

— Но если это называется «общественной осторожностью», — писала совершенно справедливо по этому

поводу «Литературная газета» (7/IX 1950 г.), — то что же называется тогда откровенной перестраховкой?

Самая эта попытка уберечься от окончательного «осмысления» очень хорошо говорит о силе этого слова.

«Осмысление» — боевое слово, одно из новых слов, образованных при помощи замечательной приставки «о», «об», которая как бы для того и служит, чтобы обнять и осмыслить весь мир.

## ОБЩЕСТВЕННИК, -ИЦА

— Братья, имевшие хорошее дело в Петербурге, не желали, однако, терять крестьянства, разыскали бродягу... и уговорили уехать в деревню. Природный сильный ум помог ему определить свое будущее: общество не сделает его общественником, не даст ему права голоса на сходках, но землю на имя братьев даст, и он все-таки будет «жить»... (Г. Успенский, «Взбрело в башку»)

Слово *общественник* в этом специальном смысле Глеб Успенский не заключил в кавычки, как обычно, когда он придавал иное или особое значение общепринятому слову или отвергал общепринятое название как непригодное (ср. здесь же ярчайшее «жить» в кавычках). «Общественник» имело в крестьянском мире только одно значение: член общества, мира.

Так и у Даля: «к обществу, общине принадлежащий, общник, член, собрат по сословию»; и не указано, как довольно часто у Даля, потенциальное, другое возможное и естественное значение.

Так и в Словаре ИАН 1847—1867 гг.

— Вслед за этими... потекли из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручнями люди в таких же одеждах. Это были ссыльные. *Потом шли общественники.* (Л. Толстой, «Воскресение», 2—34 и в др. местах)

Термин — технический. Так назывались бывшие каторжники, уже отбывшие наказание и получившие право опять работать на земле «обществом», но в строго определенных местах. Сегодня уже требуется комментарий к этой исторической реалии.

У Федина в «Первых радостях» один из героев говорит:

— Толстой какой нашелся. Обчественник.

Разговор происходит в 1910 году. Для этого героя «обчественник» слово несерьезное, но передразнивающее каких-то людей, которые уже применяют это слово совершенно всерьез.

Так и впоследствии, после Революции, яростно снижал это слово противник, и у Федина оно было на слуху в его старом и новом значениях, когда он писал этот роман о прошлом уже в советское время.

Очень выразительна, конечно, эта встреча: уже тогда пытались растоптать это слово, хотя оно еще так мало значило.

Во время первой мировой войны слово «общественник» получило еще одно применение: так назывались люди, которые помогали беженцам из польских губерний Российской империи, и те беженцы, которые проявляли самодеятельность, сами пытались облегчить как-нибудь свою участь и многих тысяч других обездоленных, «активисты» (ср., например, «Голос жизни», 1915, № 20).

После Революции слово это стало одним из самых активных в языке, и оно по справедливости считается новым. Опять сложилось по встретившейся необходимости слово, которое так же звучит, как прежнее, но уже совсем другое по смыслу и объему своего значения.

Теперь очень заманчиво применить это слово к людям и фактам далекого прошлого.

— Юсов [«Доходное место» Островского] по-своему «общественник» приказного мира и оттого лишен острых углов, нервической непоследовательности и раздражительности Жадова. (А. Кугель, «Русские драматурги»)

Остроумно, но не без некоторого ехидства. Юсов — общественник!

Очень важное слово Революции, оно, как всегда, подвергается всевозможным унижениям в противоположном лагере.

Сатира отбивает это слово у противника и обывателя.

— А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником? Джентельменом? (Ильф — Петров, «Золотой теленок»)

— Жена часто пишет? — Нет, не очень. — Отчего

же? — Времени мало: общественница. (С. Колдунов, «Солнце незакатное»)

И т. д. и т. д.

Появляются слова «обчественник» и пр., уже без ссылки на Толстого, но в устах приблизительно того же героя.

Слово широко пошло́ и уже скоро стерлось, обветшало и расплылось. Сегодня оно звучит уже слишком общо. Настоящий общественник и общественница уже давно имеют ту или иную специальность в общественной жизни и по этой специальности себя и называют. Уже приходится вспоминать и напоминать, что некогда, то есть в начале Революции, оно имело точный смысл: те, что уже участвуют в новой общественной жизни, в отличие от тех, которые отказываются участвовать или, в лучшем случае, только «сочувствуют» (уже тоже архаизм).

В послевоенных стихах «Иван да Марья» К. Симонов говорит о том, что́ «люди зовут общественницей»:

...вы были
Не полковничьею женою,
Просто так — при нем путешественницей,
А то другом их, то судьею,
Тем, что люди зовут общественницей.

Слово это как будто скромное,
Вроде даже — чуточку детское,
А как вдумаешься — огромное,
Ростом в целую власть советскую.

Оно огромное, но только если вдуматься, если вспомнить то, что знают уже только из книг люди новых поколений.

С этой поэмой К. Симонова связан курьезный и весьма выразительный эпизод нашей литературной хроники.

Супруга военнослужащего Нина Платоновна Ш., как сообщала одна наша газета, почувствовала необходимость *дописать* эту поэму, чтобы сделать стихи Симонова, как она сообщала поэту, «более общими и в то же время более конкретными на сегодняшний день». Она любезно предлагала К. Симонову поставить под новой, дополненной и уточненной редакцией поэмы, которую она

назвала «*Будь женой-общественницей!*», две подписи — свою и симоновскую. Но К. Симонов почему-то отказался...

Очень характерно, конечно, что слово «общественница» показалось Нине Платоновне, молодой, по-видимому, женщине, недостаточно конкретным «на сегодняшний день».

Замечателен и этот естественный и привычный для нее оборот: «сделать более общими и в то же время более конкретными...»

Какая трогательная простота в обращении с очень трудной философской формулой!

## ДОСТИЖЕНИЯ

Герцен писал:

— В боязливом упорстве массы, в тупом отстаивании старого, в консервативной цепкости ее есть своего рода темное воспоминание, что виселица, смертная казнь, страх власти, уголовная палата были некогда огромные шаги вперед, огромные ступени вверх, великие Errungenschaften.

Errungenschaften — достижения в самом точном, современном смысле этого слова, и образовано оно так же, как наши «достижения»: отглагольное существительное во множественном числе.

Такое слово уже было необходимо, но его еще не было в русском языке!

Белинский:

— Но в одном... еще нет окончательного достижения до развития всех сторон, долженствующих составлять полноту и целость жизни великого народа... («Мысли и заметки о русской литературе», 1846)

«Достижения» здесь еще не стало самостоятельным словом, оно еще непременно требовало дополнения.

Так и у Даля в толковании слов «достижность» или «достижимость»:

— (ж) возможность или сбыточность достиженья чего-либо.

«Достигать» применялось иногда и без дополнений, но только потому, что эти дополнения легко, слишком легко подразумевались.

— Удав и Дыба удостоверяют: вот помяните мое сло-

во, что ежели только «достигнет» — он вам покажет, где раки зимуют. (Щедрин, «За рубежом»)

— Но вот, поди-кось, — достиг! Своим умом добился! Года три пройдет, отец-то мужиком останется, а он — эва! — дворянин. (А. Эртель, «Гарденины», 1—3)

Младший Верховенский говорит на своем особом жаргоне:

— Единственно, что в России есть натурального и достигнутого... (Достоевский, «Бесы»)

Он, как всегда, ёрничает: подхватив новое слово, пародирует самую эту новую манеру выражаться. Но он образовал понятие «достигнутое» по всем правилам большого обобщения, в важном среднем роде.

Говорит Голушкин:

— Я сам на медные гроши учен, но понимаю, потому достиг! (Тургенев, «Новь»).

Ничего он не достиг, этот карикатурный Голушкин, но он повторяет важные новые слова тех новых людей, к которым он тянется.

А вот программное заявление Тургенева, уже от своего имени, в письме И. Н. Крамскому:

— Тенденция в художестве, в поэзии и т. д. уже самым именем выдает себя: она не есть достижение... (1882)

Замечательная *игра* на этимологиях двух слов — в борьбе Тургенева с *тенденцией,* новым боевым словом его противников. *Тенденция* — «направленье, стремленье, тягота к чему-либо», по, тоже пристрастному, толкованию Даля, — самым именем себя выдает! И тут же, в противовес, еще только потенциальное тогда слово *«достижение»,* которое теперь очень понадобилось Тургеневу.

Во всей дореволюционной истории этого слова «достижение» это самый драматический э́пизод. И как это похоже на сегодняшнюю, самоновейшую аргументацию всех противников тенденциозного, то есть партийного, искусства!

У Бунина в начале века:

— Светлая ночь... крепла, достигала *своей* высокой красоты и силы...

Достигала своей же красоты и силы. Очень мудрое и поэтическое дальнейшее развитие глагола «достигать»! Такое развитие необыкновенно созвучно грядущей Революции. Речь идет именно о том, чтобы освобожденные

люди достигли наконец *своей же,* очень большой, красоты и силы.

В 1916 году у Маяковского:

— Мне дорог пример из Хлебникова (железовут) не как достижение, а как дорога... («Война и язык»)

Достижение — еще новое слово, которое, однако, у Маяковского получает вполне прозрачный и плодотворный смысл. А вот в те же годы другое, будто бы высокое и дразнящее применение этого слова:

— Одно желание заглушало все остальные и являлось уже самоцелью, томившей и заставлявшей вздрагивать все тело упрямой жаждой достижения. (Л. Гумилевский, «В пользу раненых»)

В первые годы Революции:

Слушай! Слушай! Слушай!
Твое достиженье — победа,
Хозяином мира быть!

(В. Александровский, «Борьба», 1919)

Всемирное Errungenschaft.

— Счастье в том, чтобы достигать...

— Это верно, — согласился Алеша, — да не только в том, чтобы достигать, а и в том, *чего* достигать. (Фадеев, «Последний из удэге», II).

Алеша не терпел неясностей, он всегда «договаривал»: чего?

Но, кроме того, он страстно боролся против какого бы то ни было комчванства. А многие товарищи слишком скоро убедили себя, что они будто бы достигли.

Алеша знал, что есть и очень самодовольное, несерьезное и плохое «достиг», «достигать».

— Ага-а, — понимающе и чуть-чуть глумливо протянул Петр в нос. — Та-ак. Зарок ломаешь, Ваня? Достиг? (Малышкин, «Песня»)

Загордился, стал принимать себя слишком всерьез, «забурел».

Алеша знал, что в воздухе висит еще и другое, уже совсем лихое, размашистое, хулиганское «достигать»:

— Я их, тарарам иху мать, достигну... (Артем Веселый, «Страна родная»).

...Вот почему беспощадный к себе и другим Алеша Маленький требовал уточнений и дополнений.

Но в деловом общенародном разговоре уточнения и дополнения уже излишни. Известно, *чего* надо достигать.

— Пойди с ним завтра по дворам и присмотрись, какими способами он достигает, — продолжал Давыдов, — в этом, ей-богу, нет ничего обидного для тебя... (Шолохов, «Поднятая целина»)

Как всегда, большое и важное слово опускается и в подынтеллигентский язык, применяется в этом языке либо не к месту, либо очень понимающе, ёрнически и лукаво.

— Скажем, в театре можно было свободно не раздеваться. Сиди в чем пришел. Это было достижение. (Зощенко, «Прелести культуры»)

У Горького вся историческая драма глагола *«достигать»* чудесно разыгрывается в самой фамилии одного из героев двух его пьес — Достигаева.

Достигаев прекрасно достигал, то есть зарабатывал, в недавнем прошлом, особенно во время войны 1914—1917 годов. А теперь, после Революции, *сама фамилия* издевается над Достигаевым.

Это очень важный внутренний мотив пьесы «Достигаев и другие». И у Горького же новое слово *«достижение»* становится очень активным и боевым.

— Я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимович... (Маяковский, «Баня»)

Это слово гремело в 20-е годы. Специальный журнал Горького регистрировал «наши достижения», в каждом номере газет мелькало на каждом шагу это слово.

Оно становилось штампом.

— Ну, девочка, — весело сказал начальник строительства, — скажи нам, что ты думаешь о Восточной магистрали?

Не удивительно было бы, если бы девочка внезапно топнула ножкой и начала: «Товарищи! Позвольте мне подвести итог тем достижениям, кои...» И так далее. Однако пионерка Гремящего Ключа своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и своим смешным голосом закричала:

— Да здравствует пятилетка! (Ильф — Петров, «Золотой теленок»)

В последние годы это слово встречается уже гораздо

реже. Сказалось, конечно, и то, что его слишком затрепали. Но оно уже и слишком слабо и наивно звучит, когда речь идет, например, о спутнике, о первом полете советского человека в космос. Оно утратило свою полемичность.

### ВЫДВИЖЕНЕЦ

-енец — издавна этот суффикс очень активно участвовал в общественно-политической полемике. Он почти всегда снижает, иронически или печально «обрабатывает» исходное слово.

Два ложных *объявленца*—о Лжедимитриях; «Бойтесь счастья *возведенцев*» — о вельможах «в случае» у Державина; *назначенцы* — о никем не избранных должностных лицах, а впоследствии особенно о профессорах, которые назначены в нарушение «университетской автономии»; *переселенцы* (по Глебу Успенскому, «курские») — жертвы казенного переселения; *выскоченцы* — словечко 70-х годов (главным образом в полемике с мракобесом Аскоченским); *непротивленцы* — о последователях моральной философии Л. Толстого (сами толстовцы, конечно, никогда себя так не называли) и т. д. и т. д.

В эпоху Революции этот снижающий суффикс, естественно, очень активен в борьбе со всеми негодными и вредными понятиями: тот же непротивленец, но уже в очень широком смысле; иждивенец, пораженец, разложенец, перерожденец, задвиженец, невозвращенец, разведенец; деревенец в литературной полемике — о тех, кто воинствует в своей крестьянской ограниченности; восхищенец (ср. бодрячок); точная и строгая категория — лишенец и поверх всего и раньше всего — приспособленец.

Но при помощи этого же суффикса было образовано и важное слово *«выдвиженец»*...

Как все новые слова Революции, оно вызывает очень острые столкновения, утверждается и унижается. Но особенно удачно *унижается:* сам суффикс со всеми его смысловыми тяготениями делает это слово необычайно соблазнительным и благодарным для противника.

Это было особенно наглядно в переводах на иностранные языки нового слова «выдвиженец», которое уже

очень часто встречалось в официальных документах и в печати. Противник за рубежом переводил это слово так, что оно звучало совершенно как назначенец, новобранец, а то и как державинский возведенец.

Оно подвергалось, конечно, всевозможным «надсмешкам» и лукавым обработкам внутри страны.

М. Рыбникова записала «новую пословицу»:

— Рад бы в выдвиженцы, да родители лишенцы.

В определенном кругу это была, по-видимому, в самом деле пословица.

У Файко в пьесе «Неблагодарная роль» Андроныч, принадлежащий к тому же кругу, говорит:

— А мы тут соображали, ваше выдвиженство, не вернешься. В Москве заседаешь.

Выдвиженство — почти как преосвященство.

У Ильфа в «Записных книжках»:

— Выдвиженщина.

Лукавое, но нежное сближение разных слов. Участвует еще и другой очень боевой суффикс — -щина, который применялся так же лихо в общественно-политической полемике.

Самая серьезная опасность угрожала этому слову, можно думать, тогда, когда рапповцы объявили призыв ударников в литературу или даже прямо — выдвижение в писатели. Одно время настойчиво утверждалась именно эта дикая формула.

И, несмотря на все, это новое слово устояло, заставило не только считаться с собой, но и себя уважать. «Выдвиженец» — название многих заводов, клубов, пароходов и т. д.

Но уже давно это победившее слово почти бездействует. Сегодня оно уже сравнительно редко встречается в печати. Закончились кампании специально объявленного выдвижения. Люди сами выдвигаются, и называются они в таких случаях уже не выдвиженцами: это было бы обидно.

«Выдвиженцы» участвуют по преимуществу в шутливой речи. Есть особая прелесть в том, чтобы применять слово с таким большим прошлым по другим, «не тем» поводам.

История этого слова по-особому интересна и поучительна.

Оно сложилось *неправильно,* вопреки внутренним за-

конам языка. Потому-то оно так легко и как бы охотно снижалось в устах противника.

Назло противнику, оно утверждалось и победило, преодолело всю силу своего нехорошего суффикса.

Но затем оно уже перестало соответствовать действительности и было задвинуто, как выражался в таких случаях Герцен, другими, лучшими словами.

Язык, можно сказать, освободился от этого несвойственного ему и незаконного слова.

## ВСТРЕЧНИК, ВСТРЕЧНЫЙ

Эти новые, очень активные в современной речи слова-понятия уже существовали ранее в нашем языке и в свое время были также очень важными — в иных значениях и связях.

— Отец Василия был добр и до людей ласков; он любил встречу, возражение против себя... А нынешний государь не таков: людей мало жалует, упрям, встречи против себя не любит и раздражается на тех, кто ему встречу говорит.

Так говорил Иван Никитич Берсень-Беклемишев, думный человек, который был в оппозиции к великому князю Василию.

Берсень («колючее прозвище», как пишет Ключевский: берсень — крыжовник) был жестоко наказан за это свое «высокоумие».

При Иване Грозном знаменитым «встречником» считался поп Сильвестр.

«Встречники» в противоположность «потаковникам», «потакальщикам» (вот еще прекрасные, но полузабытые слова!) были основными терминами в политической публицистике XVI—XVII веков. Они жили еще много позднее и в спорах раскола с официальной церковью и церковной иерархией, уже измельчавшие и специализированные, но сохранившие все же и политический оттенок. Ср. у Мельникова-Печерского в «В лесах» (III—205):

— Заметив, что не жалует он потаковников, а любит с умным, знающим встречником поспорить, охотно пускался с ним в споры...

Но уже очень давно совершилось печальное превращение хорошего слова «встреча». В «Ябеде» В. Капниста:

— Кривосудов. Люблю я эдаку согласну мыслей встречу...

(V—2)

Это — после того, как Кривосудов вместе с Атуевым, Разбыком, Бульбулькиным и Поролькиным уже вполне единомысленно «раздели» честного и благородного человека Богдана Прямикова. «Встреча» получает здесь значение, прямо противоположное тому, которое она имела еще очень недавно.

И нет у В. Капниста ощутимого переноса смысла, нет игры на этом слове; видимо, прежнее боевое значение «встречи» уже забыто. Дружно встретились и объединились *бесчестные* мысли. Это почти тот же ход, что и в позднейшей формуле Щедрина:

— Теория встречного подкупа...

Да и по обстоятельствам речь идет о той же механике бесчестного самообогащения на «законном» основании, о той же всеобщей взятке.

«Встреча» получает затем в литературе многообразное и замечательное развитие: она звучит и романтически, и мистически, и даже иногда политически... Но уже не участвует сколько-нибудь ощутимо тот политический смысл, который имело это слово в XVI—XVII веках.

Даль в живом языке его времени не обнаруживал никаких следов старого, полемического значения слова «встреча». Но есть у него «встречник»: поперечник, противник, супротивник, вопречник, спорщик или враг. Стар. служитель для встречи гостей. *Не люби потаковщика, потакальщика, потакалы, т. е. льстеца, люби встречника.*

Так и в Словаре ИАН 1847—1867 годов:

— Встреча — сближение идущих с противных сторон... и выход для принятия пришедшего...; Встречник. *Стар.* дворцовый служащий.

И даже «Толль», который всегда так радовался, когда находил в русском прошлом следы самостоятельного политического мышления, «встречи» отмечает под словом «встречник» только:

— В старинном русск. дипломатическом языке наз. чиновник, высылаемый для встречи и приема иностранных послов.

«Начальник протокольной части», как сказали бы мы сегодня; а старое значение забыто.

У Достоевского в «Дневнике писателя» (1876):

— Французы такие любители встречных и ответных речей.

«Встречные» в одном ряду с ответными; но совершенно очевидно, что это не ответы-возражения, споры, а парадные, пустые «ответы» только красноречием на красноречие. Несерьезное, очень сниженное слово.

В начале века в поэзии и прозе символистов «встреча» и «встречный» должны звучать очень высоко, в мистическом смысле: это, собственно, уже не встреча, а *сретенье* с сверхчувственными силами, которые иногда «являются» в действительности или над ней.

Уже скоро и такая «встреча» очень затрепалась, стала банальностью.

Иннокентий Анненский в посвящении Бальмонту:

Тому, кто зиждет архитрав
Над гулкой залой новой речи,
Поэту «Придорожных трав»
*Никто* — взамен банальной встречи.

(Никто — Утис, греч. — псевдоним Инн. Анненского.
У Игоря Северянина:

В быстротемпном упоении,
В ало-встречном устремлении...

(«Июльский полдень»)

Есть здесь важное слово «устремление» и даже «встречное устремление» — очень серьезное понятие, которое уже скоро получит огромное новое развитие... Но темпы и ритмы этих стихов сами по себе так несерьезны, встречное устремление получило такой «красивый», но пустой эпитет (ало-встречное), что никакого смысла не осталось.

После Октября широко вошло в язык новое и важное, невозможное прежде понятие «встречного», то есть содействующего и соревнующегося в одном и том же направлении, *спорного* в старом смысле этого слова усилия. Возникают новые «встречи»:

Встреча ученых с красноармейцами...

Встреча с иностранными гостями...

Встреча писателей с читателями...

Это уже почти термин, который очень хорошо отражает новую строгость и научность, научную торжественность языка. Он, как всегда, и полемичен: раньше *таких* встреч и не было; то, что более или менее это напоминает, могло бы называться собеседованием, приемом, но эти слова, конечно, не годятся для таких встреч.

«Урожаю — образцовую встречу!» — заголовок передовой в «Правде»: вот самое естественное и важное сегодня применение слова «встреча».

А в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (Москва) было до недавнего времени «Кафе встреч». Неловкое и курьезное, но также характерное название: нельзя же было назвать его «Кафе свиданий»!

Огромное значение получает понятие «встречного» в новых связях:

Встречный пилотаж...

Встречный план...

«Песня о встречном» Б. Корнилова — Д. Д. Шостаковича.

«Встречный» со строчной буквы, без каких-либо дополнений — всем знакомое, обиходное и одновременно «важное» слово-понятие, которое несет на своих крыльях песню.

— Голоса. Дать встречную информацию! (А. Файко, «Неблагодарная роль»)

Это — из бытовой, самой нестрогой речи; но и здесь есть большой успех мышления. Даже информация может быть встречной, одной информации можно противопоставить другую.

Почти все старые значения этих слов по-новому вспоминаются и применяются. У К. Тренева в дореволюционном рассказе «Владыка»:

— Уже видит уповающий взор сквозь грустную дымку радостную встречу в лучшем мире.

Словами самого владыки, в его стиле, но очень строго и серьезно.

В прощальных стихах Есенина («До свиданья...»):

Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди...

Известно, какая «встреча».

— Городецкий пытался встретить стихи с русской песнью. (В. Шкловский, «О Маяковском»)

И это — старинная, активная форма: встретить (сретить). Она, однако, не привилась; не вышла из узколитературной сферы.

Сам собой вновь сложился на основе «встречного плана» — «встречник».

— По существу, это будет не борьба «встречников» и «хозпланщиков», а схватка между ним, Болеевым, и Стрижевским. (Ф. Гладков, «Энергия»)

В кавычках. Но уже давно это слово вышло из кавычек. Всем известное, боевое слово.

Ярко раскрылась диалектичность этих слов: встречный соревнуется в одном и том же направлении, но одновременно и спорит, противопоставляет, сталкивает и объединяет.

— Для работы художника непреложен закон встречного движения: от идеи к факту, от факта — к идее. Это и создает целостность изображения с помощью света и тени. (Федин. «Правда», 16/VI 1957 г.)

«Встречное движение», «встречный» — основные понятия философии искусства.

А старое замечательное и плодотворнейшее значение «встречника» (и — потакальщик) в нашей публицистике и в живой речи уже почти не слышно. Об этом стоит пожалеть.

## ЛЕТЧИК, ЛЕТУН

### ЛЁТ

*Лёт* — это древнее народное слово любил Пушкин.

Заржал конь ретивый; скок лётом на холм...

(«Сраженный рыцарь»)

И где веселья быстрый день?
Промчался лётом сновиденья...

(«Итак, я счастлив был...»)

И др.

«Лёт» — одно из тех слов с открытым, незастроенным корнем, которые Пушкин демонстративно вводил в новый литературный язык (ср. знаменитую заметку о «топ, хлоп, молвь»).

Затем по-древнему и по-пушкински:

...Наблюдать
Судьбу веков, их вещий крик и лёт.

(Языков)

В окно слежу я
Метели лёт.

(Баратынский)

— Кроме пения да лёта беззаботных птиц, ничего не видать по сторонам. (Левитов, «Степная дорога. День»)

Лесков играет с этим словом, окрыляет его по-своему:

— Лётком лётя из вагона экстренного поезда... (Письмо, 1886)

«Лёт» исстари живет в профессиональной речи охотников, но главным образом в выражениях «влёт» и «с лёту».

У Даля:

— Убить птицу в-лёт. Сокол с лету хватает, а ворона и сидячего не поймает.

И здесь же, у Даля, терминологическое значение:

— Лёт ядра *подлежит вычислению.*

Какая яркая встреча свободного «лёт» с застроенными тусклыми «подлежит» и «вычисление»!

Но «лёт» у Даля выступает только в этих сращениях или как термин. Самостоятельного слова «лёт» Даль в живом языке своего времени не обнаружил:

— Летанье, летенье, ср. длит. лёт, м. — обозначение действия по значению глагола...

Это, стало быть, только возможное, но неупотребительное в живой речи слово.

В Словаре ИАН 1867 года:

— *Лёт.* То же, что *летение,* употребляется только с с предлогом на. Застрелить птицу на лету, т. е. на полете.

Так и в других словарях и в новых изданиях Даля...

«Лёт» является довольно часто в предреволюционной поэзии.

Равнодушно я раскалывал
Снега перечеткие лёты...

(С. Бобров, «Смурая хмурость жеста»)

...Совершаем над быстрым льдом
Этот лёт мы — одни...

(С. Бобров, «Лира лир»)

Но это уже только хорошо известное нам искусственное освежение усталого «языка современных людей».

В языке нашей эпохи есть отчетливое и естественное влечение к таким словам, как «лёт». С великим пристрастием отбрасываются те позднейшие пристройки, которые задерживали слово, как бы спускали его на тормозах, если попросту не превращали его в нечто казенное и бюрократическое (сколько хороших слов погибло в этих застройках!).

В основе этого движения — огромное желание очистить слово, приблизиться к корню вещей и слов. Это, в новых условиях, то же пушкинское стремление к прозрачности и одновременно «важности» языка.

Такие открытые, с прямым доступом к корню, слова образовали важнейшие понятия новой политической речи (охват, строй, крепить, ширить, сдвиг и т. д. и т. д.).

Так и «лёт» должен был стать и стал, после Октября, большим и важным словом поэтического языка.

Программа Асеева:

— Опыт словесного лёта и будущее.

Самое это слово, крылатое, свободное, взмывающее, уже определяло лучше всего эту программу.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням...

(Маяковский, «Наш марш»)

Вон лечь челнов,
Лёт тел.

(Хлебников, «Разин»)

Кочегар
То замедлит, то торопит
Лёт летящих в скачу пар.

(Хлебников, «Песнь колес паровоза»)

— Солнце... похоже, что толчками опускалось на край земли. И... Варя словно почувствовала ее округлость и стремительный лёт в пространстве. (Ю. Либединский, «Комиссары»)

— Отклик так прекрасен, так стеклянно ломок, тонок и чист, что все вперебой, как стрелы из натянутого лука, начинают лётко пускать свои голоса. (В. Юрезанский, «Ржи цветут»)

Вот уже и наречие от «лёт» — лётко (ср. у Лескова). У Даля не было этого наречия даже в качестве возможного или «областного».

Слово уже достаточно прочно, чтобы оно могло образовать свои производные.

### ЛЕТЧИК

В 1912 году в новом издании Даля есть уже «авиатор». А «летчика» еще нет.

В том же 1912 году стихотворение Блока:

...Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?
...Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?

Называется это потрясающее стихотворение «Авиатор», а герой его — летун. Это последнее слово — несерьезное и одновременно роковое.

Почти тогда же нововременец Борис Садовский писал в своем памфлете «Футуризм и Русь»:

— Те самые дедовские иконы, что похваляются побросать в воду столичные авиаторы и шофферы. (1913)

«Авиаторы» и «шофферы» в одном ряду — новые, «автомобильные» слова футуристов, столь же глубоко

враждебные, мол, всей традиции Руси, как и сами футуристы.

Но именно футуристы выступают против «авиатора» и «авиации», за русские слова для этих понятий!

Полк стоит, глаза потупив,
Тень от летчиков в пыли.

(В. Хлебников, «Тризна», 1914—1915)

Хлебников образовал тогда по своей системе это слово, и он, кажется, впервые предъявил его.

— Авиация — воздухоплавание. Почему иностранные?

— Читать — чтец, чтица. Летать — льтец, льтица.

Повторяю. Я предлагаю эти слова не как единственное решение задачи (глаголы «читать» и «летать» разнятся — они разны по залогам), а как путь словотворчества. (Маяковский, «Война и язык», 1914)

Маяковский, как и Хлебников, предлагал русские слова для обозначения летающего человека. Маяковское «льтец» не утвердилось. А «летчик» во время первой мировой войны уже существовал, но только как самодельное, разговорное слово — слово солдат. У Софьи Федорченко очень интересная запись из уст народа:

Раскипелся самолет
пуще самоварища,
как наш летческий народ
никаки товарищи.
Высоко летчик летает,
никаких забот не знает,
самолет по небу вьется,
над пехотою смеется.
Приспособим летчика,
хорошего молодчика,
по солдатским по планам
потрудиться еропланом.
По всем заграницам
полетит он птицей,
там перебратается
да до нас вертается.

(«Народ на войне»)

Очень многозначительное упоминание о «солдатских планах», к которым хорошо бы приспособить летчика, раз он может летать по всем заграницам. Это второй том «Народа на войне» — канун революции.

«Летчик» — слово солдатское, солдаты сами очень хорошо его сложили. Но так уже называют запросто друг друга и авиаторы в своем кругу.

— А вы чего смотрели? Разве не видели наших знаков на машинах? Разве неприятельские летчики станут летать так низко? (Л. Войтоловский, «В солдатской шинели»)

Уже к концу первой мировой войны это нестрогое и внутреннее слово «летчик» оттеснило и почти совсем закрыло «авиатора». «Авиатор» уже главным образом научный термин. В живой речи, а потом и в официальных документах утверждается самодельное, прозрачное, легкое слово, которое в свое время «вывел» Хлебников, а пустили, независимо от Хлебникова, солдаты, народ на войне.

«Авиатор» звучит уже так высоко и архаично, что это слово призывается только в особо торжественных случаях.

Приказ Ставки 20 августа 1944 года:

— салютовать нашим доблестным авиаторам 20-тью артиллерийскими залпами из 224 орудий.

«Доблестным авиаторам» — два почти в равной мере высоких и необычных слова.

В пьесе Н. Шундика «Двенадцать спутников»:

— Олешко. Они же погибли! Алеша Самарин, Григорий Кузьменко, такие авиаторы! Я же с ними всю войну фашистов бомбил. (1956)

Они были такие же, как он, летчики, но теперь они герои — авиаторы.

14 апреля 1961 года в ознаменование первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике Президиум Верховного Совета СССР постановил учредить звание «Летчик-космонавт СССР». Это звание было присвоено гражданину Советского Союза, летчику майору Гагарину Юрию Алексеевичу.

В этом потрясающем случае уже совсем не потребовалось «авиатор», как и вообще какие-либо возвышения и стилизации.

Летун

«Летун седой» — обычная речевая фигура в поэзии XVIII века. Более или менее пародийно или иронически «летун седой» выступает и в поэзии XIX века.

Взгляните: свежестью младой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает...

(Баратынский, «Женщине пожилой, но все еще прекрасной»)

Года мелькнут... летун седой
Укажет вечную разлуку...

(Лермонтов, «Опасение»)

Этот «летун» иногда сближается с Летой — рекой забвения из греческой мифологии. Случайная, но интересная «встреча».

Затем «летун седой», литературный штамп определенной эпохи, уходит окончательно.

Есть «летун» в профессиональной речи: летун — челнок у ткачей, ср. челнок-летунок у М. Коченева в его сказах о современных ивановских текстилях.

Но в общенародной живой речи нет «летуна».

У Даля:

— Летун м., летунья ж., кто летает, кто шибко ходит. Летун, летучий, рассыпучий, злой воздушный дух, огненный змей.

И никаких примеров. Слово возможное, но малоупотребительное.

В Словаре ИАН издания 1867 года:

— Летун* — 1) Охотник летать, 2) человек, скорый в ходьбе.

Звездочка при «летун» означает в этом словаре: простонародное. Некогда высокое литературное слово стало «простонародным» или просторечным, неприличным в хорошей компании.

Я уже говорил об «Авиаторе» Блока:

Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои...

Обычное в то время обозначение человека этой новой и дерзкой специальности — авиатор. Блок так и называет его авиатором, но тут же переводит это иностранное слово русским, сниженным и опять трагическим.

Они и сами считают себя еще людьми роковыми и подвержены всяческим суевериям.

— Надо сказать, что у большинства летунов есть свои талисманы, фетиши и амулеты. (Куприн, «Сашка и Яшка»)

Эти люди с талисманами, отчаянные и окаянные, любят называть себя трагически — летунами.

У С. Боброва:

Тогда начинается, ломается явная пытка —
И лёты нервических летунов
Оборвут искрометы,
Землеломы, подводники
С отлично устроенным ревом.

(«Судьбы жесты», 1914)

Тогда же появилось стихотворение Игоря Северянина «На летуне». Известный ученый-славист Р. Ф. Брандт писал тогда по этому поводу:

— Комфортабельный летун — это аэроплан у Игоря Северянина, тогда как летун есть летатель, летчик.

Это слово уже имеет, или должно иметь, свое точное прикрепление.

После Революции у Ларисы Рейснер:

— Неизвестный летун... Сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь внушает эту безрассудность, ни с чем не сравнимую прямоту его полету? («Фронт»)

По Блоку; может быть, и прямая реминисценция — Л. Рейснер очень хорошо знала и запоминала Блока. Но здесь же «сердца царей», «кровь героев», «несравненная прямота» — романтическая поэтика писателей этого призыва.

И прямая противоположность «нервическим летунам» Боброва.

В политической публицистике тех лет довольно часто вспоминаются «перелеты». Так назывались, как известно, перебежчики в Тушинский лагерь в Смутное время.

Они назывались и «летунами». Это политические перебежчики, меняющие «платформы», или прямые предатели, невозвращенцы и т. д.

А в конце 30-х годов появляются «летуны» и «летунство» в новых, очень важных в своем роде применениях.

— До бегов оставалось часа два, а из дальнейшей деревни явился еще один летун, старик крестьянин Иван Лось.

— ...Какое положение, а? — кричал Лось. — Рабочую скотину в лёт не пущают.

— Пойми: би-тюг! — растолковывал Полоныч. — Понял: тя-же-ло-воз... (Вит. Федорович, сб. «Огрехи» — «Бунтарь»)

Летун — участник конских соревнований, лёта (вот еще одно интересное народное применение этого старого слова).

Летун — так прозвали и летающих с места на место рабочих и инженеров.

— Вы летун, инженер Талмудовский! Вы разрушаете производство. (Ильф—Петров, «Золотой теленок», 23)

Говорит «не тот» человек, но тем более это серьезно. Он хорошо знает все важные слова и только ими и «работает».

Есть еще отцы-летуны, то есть отцы, убегающие от своих детей, чтобы не платить алименты.

— Порхающий прохвост! Так называют в народе отцов-летунов. [С. тоже летун.] Но летун с претензиями... («Правда», 9/IX 1956 г., фельетон С. Нариньяни)

Этот С. выделяется из многообразной и уже обширной категории летунов.

Лёт, летчик, летун — слова с большим прошлым. В нашу эпоху они получили новые, очень содержательные применения и стали новыми словами.

## (РАДИО)ВЕЩАНИЕ

Высокие слова того же корня, что и Совет, «вещать», «вещание» издавна получали очень полемические применения и в литературно-политической борьбе.

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,

Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой...

(Баратынский, «Приметы»)

Это был ответ Баратынского Ломоносову, весьма полемическое «приложение» его программных стихов:

О вы, которых вещий зрак
Пронзает в книгу вечных прав;
Которым малый вещи знак
Являет вещества устав.

Ломоносов демонстративно ставил в один ряд «вещий», «вечный», «вещь» — и «вещество», новое слово, научный неологизм, который только что, и с боями, вошел в язык. Он объединял устав науки и поэзии. Наука — вещая, даже божественная, она и есть самая высокая поэзия. Музы означало у Ломоносова науки.

А Баратынский ему отвечал: поэзия кончается, когда утрачивается детское восприятие вещаний и знамений природы. Мера убивает веру, а с ней и все вещее.

Этот спор пройдет потом через всю историю нашей поэзии.

У Жуковского:

Что Кассандре дар вещанья!

(«Кассандра»)

Роковой дар.

Карамзин:

Ветр унылый, тихо вея,
Нам вещает: нет его.

Очень выразительная аллитерация: ветр, вея, вещает.

Грибоедов задумал написать пролог в двух актах «Юность вещего». Этот замысел остался неосуществленным; мы знаем все же, что Грибоедов в этом прологе очень полемически называл *вещим* Ломоносова и в те годы, когда поэзия Ломоносова подвергалась самой резкой критике (особенно у Пушкина) и противопоставлялась новой, настоящей поэзии, которая еще только должна родиться.

У Пушкина вся эта группа слов в их уже многих и противоречивых применениях чудесно преображается и *объединяется.* Отметим здесь только одно из этих превращений.

Но в начале трапезы, о други,
Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи.
(«Чистый лоснится пол...», из Ксенофана Колофонского)

«Благовещенье», как почти все слова, составные с *благо-,* слово церковное и ханжеское. Пушкин придает ему новое движение. Это у Пушкина новое слово, хотя по форме оно старое, только слегка преобразованное. Несколько значений объединились: и радость доброй вести, и мудрость предсказания и предвидения, и, не в последнюю очередь, прелесть хорошего звучания, звона, оркестровки.

Молодой Тютчев писал в послании к Пушкину по поводу его «Оды на вольность»:

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!

Только об этом — по всему смыслу послания — и сто́ит вещать.

Но уже скоро «вещание», «вещать» становятся по преимуществу аксессуаром стилизованной исторической прозы и поэзии и отнюдь не тираноборческой, а славянофильской публицистики, даже официальных документов самих тиранов...

У Даля *вещать:* сказывать, говорить, объявлять, поведать, проповедовать, поучать... *Вещание:* длительное действие по глаголу.

Фразеологических примеров из живой речи у Даля нет; слово книжное и только возможное (длительное действие по глаголу).

В Словаре ИАН 1867 года оба слова, «вещание» и «вещать», с пометой «*церк.*», и примеры только из священного писания.

У «Толля» нет и самого вещания: это, по его оценке, уже бесполезное в настольном словаре и архаическое слово.

Именно поэтому оно потом воскресает и настойчиво утверждается в поэзии символистов и декадентов. Они-то как раз и «обнаруживают» тайные связи этого слова не только с «вестью» и «вещью» и «веществом», но и со многими другими, иногда совершенно непричастными к нему, словами.

В мире — вещанье,
Капель жужжанье,
Резвое ржанье,
Хохот и стон.

(Бальмонт, «Агни»)

Бальмонт не постеснялся срифмовать вещанье с ржаньем.

В эти же годы Блок создает один из своих шедевров — «Гамаюн, птица вещая»:

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

Началось с картины Васнецова, одной из картин в серии стилизованных полотен этого художника по мотивам старых сказок. Началось с Гамаюна, — а уже сколько раз к тому времени современники и соседи Блока в литературе пытались с помощью этого слова придать вещий смысл своим неинтересным словам! «Гамаюн» был и девизом, торговой маркой очень известного в то время издательства. Это было уже, собственно говоря, захватанное, надоевшее слово, литературная принадлежность. К тому еще у Блока были здесь и «смятенные крылья», тоже почти готовый образ, почти клише в современной ему литературе.

Блок, как всегда, идет совершенно бесстрашно на плечах противника. Слова «вещий», «вещать» возвращаются у него к далекому прошлому и к Пушкину, точно никаких символистов не было и нет; возникает не стилизация прошлого, а пророчество, предвестие уже недалекого будущего. Можно сказать без натяжки, что тот же

самый прекрасный лик, который горит любовью и несет вещую правду в устах, запекшихся кровью, он уже скоро увидит и услышит в «Двенадцати», в «Скифах».

В казачьих частях царской армии в 1916 году служил необыкновенный хорунжий Бунчук.

— Хорунжий Бунчук сейчас начнет вещать по социал-демократическому соннику... (Шолохов, «Тихий Дон», IV—2).

Верные престолу-отечеству, его сослуживцы офицеры уже хорошо знали его особую манеру «вещать», но до поры до времени не принимали всерьез ни его самого, ни эту его манеру разговаривать. Ироническое, очень высокое «вещать», которое тут же разбивается в прах убийственным продолжением — по социал-демократическому соннику.

Впоследствии эти офицеры не раз вспоминали Бунчука и его манеру разговаривать.

Там же, в «Тихом Доне», Ильинишна говорит о Григории Мелихове:

— Сердце мое не вещует — значит, живой он, мой родимый... (8—1)

Обычный оборот народной речи. Важно только отметить, что «вещует» без всяких дополнений подразумевало непременно: вещует нечто дурное, мрачное, роковое.

Это слово было уже роковым. Ср. пословицу: «В жизни хорошее *случается,* а худое *сбывается»;* ср. «суггестивный» в рассуждениях Дж. Уикли.

После Октября все старые слова этой группы пережили необычайные превращения. И снова писатели с особым увлечением сближают «вещий» и «вещь». Возникают новые слова-лозунги литературной полемики: «вещность», «вещевое действие» (или даже «действо»), и эти девизы оправданы внутренней связью с понятиями «вещий», «вещание» и т. д.

— Ну, так вот, молодой человек! Сделайте из этого гнездышка вещь...

— По-моему — мрачно, тяжело!

Туркин кивнул:

— Как и все в конструктивизме — вещно! (Г. Шторм, «Вещие вещи», 1927).

Еще недавно «вещность поэзии» утверждали акмеисты, затем уже другую вещность — лефовцы и в борьбе

с ними — конструктивисты. А Гастев («Пачка ордеров») воевал и с лефовцами и вообще со всеми на свете и утверждал свои особые «вещевые события»:

— Идет грузовое действие, и «пачка» дается слушателю как либретто в е щ е в ы х с о б ы т и й. («Пачка ордеров», 1926)

Замечательное новое движение получает и старое слово «вещественность».

А. Югов борется за вещественность языка:

— Падалица, самосейка. А если прибегнуть к пояснению, то сколь длинно получится: это — зерна, особенно хлебные, которые выпали на ниве и взошли на другой год. И так во всем, во всем, если писатель будет чуждаться языка трудовых масс — всегда мыслеёмкого, точного и вещественного. («Известия», 3/X 1954 г.)

У Югова «вещественность» имеет сравнительно узкий смысл: речь идет о точности в первую очередь терминологической, которая уже сама по себе дает большую ёмкость.

М. Пришвин дает этому слову другое, гораздо более широкое, даже слишком широкое значение:

— ...Реализм — это значит вещественность, и если это относится к слову, то, значит, у реалиста слово не пустое, а наполнено веществом правды. Писатель-реалист — это значит правдивый писатель. («Дорога к другу», 1952)

«Вещественность» у Пришвина стала снова, как в начале XIX века, основным признаком реализма (ср. слово «действительность»).

Бесконечно различны новые применения слов этой группы (не здесь место говорить об этом подробно), но все они в высшей степени полемичны.

И на этой же древней основе возникает в начале 20-х годов чудесный новый технический термин: радиовещание и вещание просто.

Оно называлось первоначально *широковещанием* (от английского broadcasting) и встретилось в языке с другим однозвучным, но плохим словом — «широковеща-

тельный». Вероятно, поэтому «широковещание» не привилось.

Затем оно стало называться «радиовещанием». Но вот уже скоро и *«радио»* — в сложении с «вещанием» — в живой речи отброшено как лишнее. Известно, какое вещание.

Это новое «вещание» принесло с собой огромные, все еще не оцененные по достоинству, мне кажется, перемены в отношениях между литературным языком и разговорной речью, в самый устав поэзии.

Радио должно вещать для всех, популярно и доходчиво. Но каким бы разговорным языком ни говорило радио, его слово откуда-то доносится, и уже потому оно всегда немного условно и торжественно, как литературная речь.

Иннокентий Анненский когда-то писал:

— Литературная русская речь как бы висит в воздухе между журнальным волапюком и говореньем, то есть зыбкой беспредельностью великорусских наречий и поднаречий.

Сейчас литературная речь уже висит в воздухе буквально, и колоссально увеличились ее «тиражи». Есть и в наше время, в той или иной степени, журнальный волапюк; есть и беспредельность говорения. Радио становится учителем литературной речи. Как бы плохо еще оно ни выполняло эту роль, но роль эта неопровержимо перешла к диктору, к тому, кто вещает по радио.

Были некогда чудаки, — например, И. Л. Смоленский («О логическом ударении», Одесса, 1907), — которые мечтали о том, чтобы в самой книге обозначались так или иначе логические ударения — по образцу той ритмической и мелодической пунктуации, которая применялась, например, в церковных книгах или в древней письменности многих народов (у нас — «звоны», «голоса» и др.).

В первые годы Революции почти такие же проекты выдвигали наши речевики; почти такие же требования выдвигались в теориях ритмизованной прозы (например, у Андрея Белого).

Д. Н. Ушаков, который был членом Государственной комиссии по реформе правописания, заявил в свое время по поводу всех этих проектов:

— Многое предстоит сделать и в области пунктуа-

ции. Разумеется, стремление сделать из знаков препинания ноты для чтения — утопия. («ЛГ», 10/X 1939 г.)

Это, конечно, совершенно справедливо. Мало того: в наших книгах пунктуация будет, вероятно, все более упрощаться (частично это уже узаконено и сейчас); мы будем приобретать все больше самостоятельности в выборе интонаций, логических и эмоциональных ударений, в *исполнении языка*.

Но радио, «вещание», получило *право* первого исполнения. В самых важных для всего народа случаях, в «последних известиях», в незабываемых «важных сообщениях» в годы Отечественной войны, оно первое расставляло свои ударения.

Невозможно переоценить значение этой высочайшей прерогативы вещания в жизни языка!

То обстоятельство, что вещание может повседневно учить народ правильной речи и даже первым расставлять свои ударения, логические и обыкновенные, необычайно взволновало пуристов. Они сейчас же, так сказать, «пришли на запах».

На Западе бесчисленные общества по «исправлению языка» уже не раз пытались установить свой контроль над вещанием.

Некогда Жюль Леметр говорил:

— Не вздумайте воображать, что с XVII века кто-нибудь писал по-французски!

В XVII веке, задолго до Великой французской революции, уже все, мол, кончилось даже в очень консервативном французском языке.

Теперь последователи Ж. Леметра совершенно серьезно призывали вернуться, при помощи вещания, к настоящему французскому языку XVII века.

Но и сторонники «неограниченной свободы языка» в свою очередь уже не раз пытались окончательно раскрепостить язык при помощи вещания.

Вот два характерных документа этой борьбы.

В США вышла в 1926 году и выдержала с тех пор много изданий книга Л. Эйхлер «Чистый английский язык» (буквально: «Благовоспитанный английский язык» — «Well-bred English»). Л. Эйхлер, обращаясь по преимуществу к недавним иммигрантам, убеждала их, что хорошая, правильная речь — залог успеха в жизни, самый верный способ выдвинуться и оттеснить других

недавних иммигрантов в жизненной борьбе (в этом, собственно говоря, весь пафос ее книжки). Вещание должно прийти на помощь этим людям; радио должно говорить «с тем консерватизмом, рассудительностью и вкусом, которые отличают речь благовоспитанных людей».

А Баррет Кларк в брошюре «Говорите, как говорят люди» («Speak the speech») бурно восставал против той нивелировки, которую вещание вносит в речевое многообразие языка в Америке. «Почти в каждом штате кто-нибудь собирает фольклорные материалы, записывает местные обороты речи. Но с каждым годом все труднее услышать по радио что-либо «местное». Дикторы имеют очень большое влияние на развитие языка; однако они говорят, пожалуй, хуже и бесцветнее, чем кто-либо в стране... Что до меня, то я хотел бы видеть разумно организованную систему поощрения провинциализмов. А сейчас происходит синдицирование нашей речи».

Легко видеть, что у Л. Эйхлер и Б. Кларка прямо противоположные идеалы и, главное, практические задачи, но и та и другой надеются добиться своей цели при помощи «вещания».

Это вполне основательно.

Борьба за (и против) нормативность в языке, за все новую поэтическую точность речи и против языкового анархизма и разгильдяйства в наше время разворачивается уже в первую очередь вокруг вещания.

Вещание создало возможность массовой интимности. Оно говорит миллионам одновременно, но каждому в отдельности, в его комнате, в его ухо.

И под воздействием вещания мысленное озвучение текста становится постепенно органической привычкой каждого человека. В сфере литературного языка это означает необычайно возросшую чувствительность к звучанию слова, к оркестровке литературного произведения. Это — возвращение поэзии к ее истокам.

То, что занимало когда-то только специалистов литературы, стало практически важным. Опыты Белого, Хлебникова, Маяковского, Асеева, Брика, Сельвинского, особенно Ю. Тынянова («Эквиваленты поэтического текста») приобрели серьезное значение. Давно отшумевшие споры филологов, казавшиеся схоластическими (они и были в то время схоластическими), получили новый и очень трезвый смысл.

Вот хотя бы один характерный пример.

В специальной литературе шел некогда спор о так называемой диссимиляции: в тех случаях, когда сходятся два звука одного и того же качества — два плавных или два шипящих и т. д., язык как бы сам меняет один из этих звуков на звук другого качества. Это Тредиаковский называл вполне точно — «затруднение от неразности литер». Язык «сам» устраняет это затруднение при помощи «диссимиляции»...

Знаменитый немецкий филолог Бругманн объяснял это его (языка) «ужасом перед одинаковостью» (horror aequi или horror aequivoci). Наш академик А. Соболевский вполне основательно высмеял этот «ужас». Он объяснял явление диссимиляции нормальным эстетическим чувством народа, который хочет выражаться благозвучно, а не как-нибудь иначе («Благозвучие в жизни языка», 1912).

Однако тогда, когда шел этот спор, многое писалось только для того, чтобы быть прочитанным глазами, и благозвучие не играло такой роли, как сейчас; не было современной почти всеобщей «установки на произнесение слова» — в вещании. А радио *обязано* вещать «благовещие речи», по Пушкину.

У радиодиктора есть своя роспись настоящих и ненастоящих книг, то есть таких, которые можно и приятно читать вслух, и таких, которые просто невозможно или стыдно вещать, потому что они очень плохо, то есть неискренне, фальшиво, звучат. Вещание неумолимо открывает эти достоинства и разоблачает эти пороки.

Вещание, новое всеуслышание, оказывает огромное влияние на весь наш литературный язык и повседневно проверяет литературу.

В 1940 году у Н. Асеева («Маяковский начинается»):

Ведь: слово «весть»
и слово — «вещь»
близки и родственны корнями, —
они одни — в веках —
и есть
людского пламени орнамент?!
Смотрите ж, не забудьте обещанья:
отныне — об одних больших вещах
вещанье.

И в новых стихах Асеева тот же мотив:

Прошумело столетий чудо,
отозвалось эхом в веках,
было — вестью древнего люда,
стало — вещью в наших руках.

(«Микула»)

Это продолжение очень старого и великого спора, еще одно «переложение» стихов Ломоносова.

Слова эти — «весть», «обещание», «вещание», «вещий» — уже очень давно и далеко разошлись; они имели каждое свою большую судьбу; они и писались различно («вещь», впрочем, тоже долго писалась через ять!). Словари уже давно развели эти слова по своим местам, иногда отмечали с вопросительным знаком и в скобках (как у Даля), что они некогда были близки, но чаще — и притом именно *передовые* словари — не отмечали этой гипотезы. Все было близко когда-то, все начиналось с единого, но наука изучает раньше всего раздвоение единого, различные механизмы этого раздвоения и разветвления. Наука сознательно отвергает неодолимые подчас соблазны такого этимологизаторства и корнесловия.

Асеев опять в с т р е т и л эти старые слова с их уже новыми и очень важными, даже для него лично, ассоциациями.

Асеев уже не придает «вещи» ни специальный лефовский, ни какой-нибудь другой частный и временный смысл. Он выводит это слово на сближение с «вестью» и с новым, огромным «вещанием».

«Вещание» — обиходное, бытовое, даже оболтавшееся слово; оно же — строгий технический термин. И все эти применения, как всегда, еще резче оттеняют его первоначальный высокий смысл.

## ВИ́ДЕНИЕ И ВИДЕ́НИЕ

Издавна живет в языке не только «ви́дение», но и «виде́ние».

Отглагольное существительное от «видеть», «ви́дение», стало означать, как обычно, и процесс познавания, охвата мира при помощи органов зрения, и самые эти органы зрения, и зрелище.

— *В самое ви́дение угодила стрела.* (Древнерусские песни)

В ви́дение — то есть в очи, в глаза.

— *Беседа и ви́дение преподобных отец наших...* («Валаамская беседа»)

— И *ви́дение убо есть чювственное верно,* и *его же видишь,* аще не без ума, то верно видим. («Послание Владимира Мономаха»)

Ви́дение в духовной литературе — такое постижение мира, которое открывает перед умственным взором человека не только временное, но и конечное, метафизическое, сверхчувственное, то, что непостижимо для равнодушных, для тупых, «необрезанных сердец». (Ср. *«жити выше видимых»* — Григ. Назарейский)

У Карамзина впоследствии, очень саркастически, о таком ви́дении у Грозного:

— Иоанн много рассуждал... о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее гроба и *предложил устав опричнины.*

— Чтоб и нам причастником тово ви́дения бысть...

Это из письма Петра Апраксину (1707); речь идет о радостном зрелище — спуске на воду нового русского корабля.

Позднее, в связи с «Затейкой» верховников (вступление на престол Анны Иоанновны), Феофан Прокопович пишет:

— *Жалостное везде по городе ви́дение стало и слышание.*

Ви́дение — зрелище, позор, спектакль.

Первое из этих трех значений не получило в дальнейшем сколько-нибудь интересного развития, оно *заменено.* Остальные два применения имеют весьма интересную историю.

В. В. Виноградов приводит («Очерки по истории русского литературного языка») замечательную тираду из книги П. Словцова «Прогулки вокруг Тобольска» (1806):

— Поэзия принимает парение не в пустыне, но из среды больших общественных видений... А вы в пустыне и т. д.

Речь идет, как легко видеть, не о виде́ниях, а о большом общественном восприятии, концепции, об особом поэтическом ви́дении мира. П. Словцов говорит об этом

почти в точности так же, как говорим об этом мы сегодня...

Но у Словцова, конечно, гораздо отчетливее и серьезнее спор этого его слова с видéнием и видéниями. Он вводил свой термин, наступая на видéния, которые и в поэтике играли тогда и позднее важную роль.

Ср. у А. К. Толстого:

И сжатая мечта зовет толпы видéний,
Как зажигательным рождая их стеклом.

(«Когда природа...»)

Нет творчества без видéний.

Затем «вúдение» в словцовском применении оттесняется, заменяется другими словами, которые научнее, «определительнее» воплощают это понятие.

Так и «вúдение»-зрелище уже заменено, а «позор» в этом смысле уже стал школьным примером резкого семантического сдвига.

У Даля во второй трети века уже есть только видéние, но с некоторыми такими примерами, в которых можно узнать и вúдение: «не верою, а вúденьем»; «в нем нет ни кожи, ни рожи, ни вúдения». В обоих случаях речь идет об умении видеть.

У «Толля» — только видéние, которое тут же научно приканчивается: «Причина такого явления *несомненно* болезненное расстройство органа зрения или воображения...» — или желудка, можно было бы добавить, в полном соответствии с общим ходом мысли беспощадного материалиста Толля.

У Достоевского характерная, тоже в своем роде скептическая, параллель к этим словам:

— Такому великому постнику, как о. Ферапонт, не дивно было и «чудная видети». («Бр. Карамазовы»)

Постничество не проходит безнаказанно.

У Бунина:

— Не пужайся, служитель божий, а... объяви всему народу, что́, мол, означает твоя видéние. («Сны»)

«Видéние» в женском роде, как нечто, вероятно, высокое, но темное, и здесь же категорический запрет уходить от ответственности, уходить в свои видéния. Объяви всему народу!

После Революции главное, что свершилось: «С глаз человека спал засов». Это у В. Хлебникова в «Ладомире», точно и серьезно.

У него же:

Час досады, час досуга,
Час видений и ведуний,
Час пустыни, час пестуний.

(«Лесная Москва»)

«Видéний» и «ведуний» — по логике Хлебникова, не случайное, конечно, однозвучие и сродство. За видéнием тянется ведовство, мистическое постижение. Здесь же «пустыни» и «пестуний».

Неожиданная «полемика» со Словцовым! Он-то ведь предупреждал, что поэзия должна принимать парение не в пустыне. Мало ли что может привидеться человеку в пустыне!

У Маяковского:

— Одно из больших средств выразительности — образ. Не основной образ-видение, который возникает в начале работы, как первый, очень туманный ответ на социальный заказ. Нет, я говорю о вспомогательных образах, помогающих вырастать этому главному. («Как делать стихи»)

Основной образ — «видéние», и так делаются (да, да, делаются!) стихи. Очень полемическое утверждение видéния, которое было уже словом несерьезным, чужим, смешным.

У Бабеля в «Конармии»:

— И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видéнья.

Неделю с одним днем — почти по-библейски, а затем крутое снижение. «Получили видéнья» — *чья-то* темная и наивная речь, но самое это снижение, как всегда, получает силу оттого, что слово это, видéние, еще высокое.

Видéния — плод бессознательной, или подсознательной, или надсознательной и пр. жизни человека — не должны получать серьезного применения, особенно в поэтике. Идет, можно сказать, война с видéниями и ведьмами.

Навстречу поэтическим видéниям поднимается новое слово: «вúдение».

«Ви́дение» уже было некогда термином поэтики. Так назывался «призыв к покаянию и очищению в ожидании большой общественной беды в форме резкой обличительной проповеди или нравоучительной «повести» (Ключевский). Это было также обозначение определенного литературного жанра.

Теперь это слово сложилось опять, независимо от того «ви́дения» и, конечно, от всеми забытого П. Словцова.

Уже существуют гораздо более научные по форме и стилю термины для этого понятия. Но именно «ви́дение», прозрачное и глубокое слово, теперь более всего удовлетворяет. Оно задвигает и отменяет многие другие, слишком специальные, большей частью иностранные, термины того же значения.

В начале Революции оно было сравнительно редким в общей печати словом, затем оно стало общепринятым словом большого политического языка.

— Творческая свобода советского писателя проявляется и в индивидуальном художническом ви́дении жизни. Но писатель, как и всякий человек, живущий в обществе, не может не выражать определенные общественные позиции. («Правда», 22/XI 1955 г.)

В отчете «Литературной газеты» о выступлении Л. Мартынова на обсуждении сборника «День поэзии»:

— Художник видит мир таким, каков он есть сегодня, видит заново и передает это ви́дение другим. (1957)

В статье «Правды», как и в этом отчете, ударение не указано. Оно, по существующим правилам для корректоров, специально обозначается только тогда, когда возможно смешение понятий и путаница. Но кому придет в голову, что речь идет о виде́ниях!

В заметках о литературе Фадеева:

— Должна быть гармония ви́дения жизни и умения ее воплощать с помощью художественных приемов. («ЛГ», 22/IX 1955 г.)

На этой же основе К. Станиславский создал в нашу эпоху свой оригинальный — технический и обобщающий — термин «ви́дение»:

— Слушать на нашем языке — значит видеть то, о чем говорят, а говорить — значит рисовать зрительные образы... При словесном общении с другими людьми мы сначала видим внутренним взором то, о чем идет речь,

а потом уже говорим о виденном... Ви́дение актера. («Работа актера над собой»)

— Каждую свою мысль, каждое слово-ви́дение — фантазию — он [Вахтангов] сопровождал тут же, на месте, своеобразной импровизацией. (Н. Горчаков, «Режиссерские уроки Вахтангова»)

Отброшены многие другие, высокие термины из теории театрального и особенно актерского искусства. «Ви́дение» лучше всего.

— Иное ви́дение влечет за собой и иные картинно-образные результаты этого ви́дения. Не говоря уже о высшей переработке этого ви́дения во взгляд и далее в воззрение с того момента, когда мы от овец и зайчиков подымаемся до человека во всем окружении социальных факторов, окончательно сводящих все это в мировоззрение. Как посажен глаз — в данном случае глаз мысли, как смотрит этот глаз — в данном случае глаз образа мысли, как видит этот глаз, глаз необычайный, глаз Чаплина. (С. Эйзенштейн, «Charlie the Kid»)

Ви́дение—взгляд—воззрение—мировоззрение... Отметим попутно, что «глаз мысли» (mind's eye), слово Шекспира, не раз вспоминал по самым серьезным случаям и Тургенев.

Ви́дение получает все новые технические применения. Началось с кино:

Как в кинематографе
бывает
вдруг
крупно, —
видят...

(Маяковский, «150 000 000»)

Потом — телевидение, которое, вероятно, уже скоро утратит свое «теле-», как это было с «радио-».

Но эти новые технические применения только усиливают объем, и значение, и полемичность «ви́дения».

А. Твардовский говорил на XXI съезде партии:

— Хочется сказать чудесными словами Гоголя: «Вдруг ста́ло видимо далеко во все концы света». Это действительно так. Горизонт нашего политического и исторического ви́дения неизмеримо расширился. («Правда», 31/I 1959 г.)

Ви́дение — новое слово, которое, как большинство неологизмов нашей эпохи, представляет собой замечательное дальнейшее развитие и превращение старого слова-понятия. Оно уже некогда существовало в языке *почти в том же значении...*

## БУДЕНОВКА, «МАРШ БУДЕННОГО»

— Вот это и есть *тот самый* Буденный? — быстро сказал Владимир Ильич, щуря свои темные, умные глаза, и внимательно посмотрел на меня. (С. М. Буденный, «Воспоминания». «ЛГ», 11/IV 1957 г.)

Он был уже «тот самый», прославленный на всю страну командир красной конницы, когда Ленин впервые его увидел.

Прозрачная и поэтическая по самой своей этимологии и внутренним ассоциациям, эта фамилия одного из героев гражданской войны сразу же становится — и как бы особенно «охотно» — любимым народным словом, образует производные, получает и предметные и самые широкие, обобщенные значения.

Особенно широко пошла «буденовка».

— Одиннадцатая! — появились буйные всадники, как на подбор, в шишаках-буденовках. (Федин, «Необыкновенное лето»)

Есть особая прелесть в том, чтобы при этом *первом знакомстве* с «буденовкой» напомнить и разъяснить, что это, собственно говоря, *шишак,* то есть очень древний головной убор русского воина.

Через несколько лет:

— Выцветший шишак буденовки покачивался над папахами и треухами, над разноцветьем бабьих шалек и платков. (Шолохов, «Поднятая целина», I—9)

Уже выцветший, *старый* шишак — из древнего и совсем недавнего прошлого.

Бежит паровоз и зябко
Кидает сердитый гудок
На церковь в буденновской шапке.

(Светлов, «Рельсы», 1921)

Буденовка — купол, «кумпол» — очень похоже, и сколько с этим связано новых ассоциаций!

— Где класть? *По-буденновски* — на земле. Кулак под голову. (Н. Тихонов, «Дискуссионный рассказ»)

Образовалось наречие!

В тундре тусклой и студеной,
В голубой *степи буденной.*

(Адалис, «Диалектика сыну»)

Образовалось прилагательное, которое кажется давно знакомым.

В 1934 году вышла книжка Л. Кассиля «Буденыши» (о том, как Семен Михайлович приехал однажды в детсад и командовал там парадом ребят).

Образовалось отличное слово для будущих Буденных. В *Буд*енном открылось будущее.

Так велика сила этого слова-образа, что противник не раз, особенно в годы великого перелома в деревне, пытается «повернуть» его к себе.

— Попы патрет Буденного обновили, засиял патрет, засверкал, обновился, словом, и попы против колхоза агитацию повернули: плачет, дескать, Буденный, что мы в колхоз пошли... Три дня старухи ходили и на Буденного крестились. Смехота. (Будовниц, «Весна», 1930)

— Ты что же это, Автом Поликарпыч, в кучу-то всех смешал?

Около божницы с медными складнями и книгами в кожаных переплетах были повешены портреты последних Романовых, Буденного и «героя» русско-японской войны Стесселя.

— Люблю патреты, Орефий Лукич... Зимусь в потребилке товаришко кой-какой брал, и дали мне сдачи патретом, ну, я усатого-то и выбрал... Этот мне больше всех понравился, потому что при форме и в усах, как следует быть. (Пермитин, «Капкан»)

Чем дальше мы уходили от того времени, тем шире становились связи и ассоциации всех слов этой группы.

Ой, цвести буденовкам
Кумачом и вишеньем...

(А. Прокофьев, «Улица»)

А Четыха с кормы улыбается —
«Не журитесь, не забуду вас,
дожидайте, как снега тронутся,
и воротимся буденницей».

(И. Сельвинский, «Улялаевщина»)

В поход! По мостовым костей
гори,
зари
перо.
Пегас в буденновской узде,
отточено перо.

(Сельвинский, «На смерть Маяковского», 1930)

Эх, буденцы-бойцы,
зазвенели соловьи.

(Кирсанов, «Крестьянская—буденновцам»)

А у Ярослава Смелякова в поэме «Строгая любовь», которая была написана уже в наши дни, на большом историческом отдалении:

Он стоял, как приказ, прямой...
Ах, как гордо она надета,
та буденовка со звездой,
освещающей полпланеты!

У В. Субботина в прологе к его сборнику «Танки в траве»:

Разглядывали шрамы давних лет,
В буденовках отцовских утопали...

И затем уже Смеляков в своей заметке об «одном стихотворении» молодого поэта В. Субботина особо похвалил эту, в самом деле прекрасную, строчку: «в буденовках отцовских утопали».

Народной песней стала «Конная Буденного» Н. А. Асеева.

Это особый и поразительный случай.

Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку, —
смелем рысью частою
их эскадрон в муку.

В новых исторических условиях и в новой войне «Марш Буденного» и особенно это последнее четверостишие получали все новые применения. «Белые» вместо «паны», «изрубим острой шашкою» вместо «смелем» и т. д. и т. д.

Но продолжала жить с новыми «применениями» асеевская песня.

— Но философ уже пел нежным голосом «Марш Буденного», которому он научился у советских детей. Настоящий индус, видите ли, всё знает про нашу страну... (Ильф—Петров, «Золотой теленок», 33)

Она звучит и за рубежами нашей страны.

— Оркестр играет *марш Буденного, любимую песню немецких пролетариев.* (М. Колосов, «МЮД в Гамбурге», 1930)

Кто автор этой народной и международной песни?

— Вот, например, как можно определить ценность поэта, — сказал Михаил Иванович Калинин. — Если его строчки стали народной песней, как, например, «Конная Буденного» Есенина, — значит, он завоевал себе право на народность.

— Я не посмел поправить Всенародного старосту за его лестную для меня оговорку. (Н. Асеев, «О тех, кто мне близок»)

«Литературная газета» писала недавно:

— Могучим отзвуком первых лет пролетарской революции гремит в наши дни марш Буденного... Стало девизом, почти пословицей железное четверостишие марша:

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного,
армия, вперед!

Замечательна судьба этих прекрасных асеевских стихов, которые, «исправленные» и «примененные», стали народной песнью и народным присловием. Замечательна

потому, что самые эти стихи чрезвычайно *индивидуальны,* что они очень асеевские, нисколько не есенинские, по всему своему строю и стилю!

Слова, образованные от «Буденный», «буденовка», очень певучие, давно вошли в народную поэзию.

Прислушался:
чуть заскрипел журавель,
качаясь на ветре студеном.
и девушки пели на пыльной траве,
и песня была о Буденном.

(**В. Саянов, «Наталья Горбатова»**)

И, охвачены бредом и звоном
и какою-то смутной тоской,
запевает один о Буденном,
о бродяге с Байкала другой.

(**Б. Соловьев, «Лирический репортаж»**)

Собирался люд голодный, жизнью обойденный:
— Принимай, отец родимый, принимай, Буденный...
— Гей, народ, забитый, бедный,
стань в шеренгу с нами! —
Над Буденным полыхает
боевое знамя.

(**Исаковский, «Семен Буденный». Из белорусских народных песен**)

Буденный — обойденный; замечательная, лучшая из всех рифма. Столкнулись, *дерутся* близкие по своему звучанию слова. Не должно быть обойденных — к этому зовет Буденный.

## АВОСЬКА

«Авоська» от знаменитого «авось» уже существовал в давние времена.

В народных сказаниях «авоська» — дурак; потому и дурак, что верит глупому и проклятому авосю (ср.: «Авосю верь не вовсе»; «Авосевы города стоят не горожены, авоськины дети не рожены» и т. д. и т. д.).

У Островского в одной из первоначальных рукописей «Снегурочки»:

— Разговор втроем (и Авоська).

Авоська в счет не идет, он добавлен в скобках; это «дурак», уже профессиональный шут.

«Авоська» существовал в живой народной речи и как уменьшительное от «авось» — снижающая обработка этого слова.

— *Завтра — вор-авоська: обманет, в лес уйдет...* (ср. завтра, завтраки) *Авоська небоське набитый брат... Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает...* (Народное)

— Такие пороки (составляющие как бы исключительную болезнь класса) суть: пьянство, неопрятность, лень, непредусмотрительность и *авось, которое простой народ иронически называет авоськой.* (Белинский)

А это бывшее наречие — «авось» — давно стало почти междометием, воплем беспомощности и бессилия, превратилось в народной речи, особенно в речи передовых людей, в целый идейный комплекс, в символ отсталости и беспечности («Авось, о Шиболет народный» — у Пушкина и т. д.).

У Щедрина в 70-х годах «авоська» получает новое и замечательное полемическое применение.

— Оказывается, однако ж, что наш мужичок-финансист, при помощи авоськи да небоськи, ничего не упустил из вида. («Наш savoir vivre» — «Признаки времени»)

Он-то, предприниматель новой формации из мужичков, чумазый, как раз очень предусмотрителен; он учел все российские «авоськи» да «небоськи» и строит свое благополучие именно на этих исконных свойствах своих бывших собратьев.

У Тургенева — купец Авошников: авось, вошь и, кажется, еще овощ вместе... Этот Авошников тоже не зевал, умел жить.

Затем уже «авоська» — почти речевое клише, при помощи которого либеральная публицистика «бичует» те же «исконные» свойства русского характера.

У Амфитеатрова в начале века:

— Даст бог, и наша авоська вывезет. («Наполеондер»)

И т. д. и т. д.

А в передовой публицистике вся борьба против политической отсталости России, за разумное и справедливое, а потом уже за научное и революционное преобразование

народной жизни направлена против проклятого древнего «авось» или «авоськи» во всех его видах и преображениях. После Октября «авось» и есть то, что надо беспощадно травить в первую очередь.

После Революции появилась и «авоська» — уже в новом качестве и только в женском роде.

Слово родилось в очередях; как уверяют некоторые мемуаристы, оно родилось не где-либо, а именно в коридорах Ленинградского Дома ученых в голодные годы, когда там выдавали «акпайки».

В этих коридорах вообще процветало тогда замечательное в своем роде, мрачное, злорадное или самозлорадное, но очень ученое словотворчество. «Авоська» в новом предметном значении была для этих людей особого рода развитием старого, русского «авоськи».

Совершенно правильно этимологизировал это слово и перевел его на свой язык Жан-Ришар Блок:

— Она взяла с собой... ну, как у вас это называется? Ле а вдруг?

Он имел в виду «авоську». (В. Финк, «Литературные воспоминания»)

Та же «авоська» для продуктов, если «а вдруг» не сбывалось, называлась еще более горько и мстительно — «напраской».

Как ответ на это слово и на словотворчество этого рода возникает образ «человека с авоськой», то есть обывателя, хотя бы и очень ученого:

— В идейном отношении он *на уровне «авоськи»...*

«Авоська» осталась в языке и тогда, когда все эти сарказмы уже потеряли силу. К началу войны это было веселое, звучное, деловое и, конечно, очень мирное слово.

— Приходило и новое пополнение из военкоматов: в гражданских пиджаках и кепочках, с различными портфелями, сумками, даже «авоськами». Такими они бывали до первой бани... (И. Левченко, «В годы великой войны»)

Даже с «авоськами», — теперь, когда началась война, это уже было сплошное неприличие.

А во время войны Фадеев вновь увидел и, как ему казалось, узнал в лице «человека с «авоськой» и «на уровне «авоськи» — среди тех, которые остались на оккупированной врагом территории.

— Женщины-покупательницы со своими корзинками и сетками, прозванными досужими людьми «авоськами»... («Молодая гвардия»)

«Досужие люди»! Фадеев хорошо запомнил, где и для чего родилось в свое время это слово, и оно навсегда осталось для него недобрым. В годы войны он страстно разоблачал такие слова.

Но враг в самом деле считал «людей с «авоськами» наименее для себя опасными, и партизаны не раз этим пользовались:

— Мины и клятвы для группы Хрена она завернула в тряпку и уложила в «авоську». На «авоську» они меньше всего обращают внимания. (Ив. Козлов, «В крымском подполье»)

«Авоська» пронесла мины и клятвы.

После войны «авоська» окончательно теряет какое-либо идейное значение, становится опять простым, деловым словом.

— Там Мартынов развел на полянке костер. Жарили хлеб с колбасой, пекли на угольях маленьких рыбок, которых Мартынов наловил «авоськой» в пересыхавшем заливчике Сейма. (В. Овечкин, «Трудная весна»)

«Авоська» в кавычках — уже, пожалуй, без достаточных на то оснований. Слово приобрело полное право гражданства. Кавычки поставили, вероятно, корректоры — «по Ушакову», по уже устаревшим правилам.

— Вбегает женщина в красном платке и с «авоськой» (Сельвинский, «Большой Кирилл», 12)

«Авоська» в 1917-м? Несомненный анахронизм, и никакие кавычки не меняют дела. Но очень характерна эта уверенность поэта в том, что «авоськи» были всегда.

По Суздалю, по Суздалю
сосулек смальт,
авоською с посудою
несется март...

(А. Вознесенский, «Суздаль»)

Точно и хитро зазвенела авоська, старая и новая.

С. В. Образцов едет со своей авоськой (без кавычек) в Лондон.

— Желтый апельсин, висящий в авоське [в самолете], вдруг засветился. («Две поездки в Лондон», 1955)

Обиходное, прозрачное (сетка!) и веселое слово.

А его *историю* вспоминают только по особым случаям.

Очерк в послевоенной Вене в «Правде»:

— Актрисы в бальных платьях и дорогих мехах, спускаясь по мраморной лестнице Гофбургского дворца, заботливо несут «авоськи» с неприхотливой снедью, полученной за участие в концерте. (4/X 1946 г.)

Та же в общем «авоська», что и у нас *когда-то...*

## ЛЕНЗОТО—УСКОМЧЕЛ—ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ—СОР И ДРУГИЕ «СОКРАЩЕНИЯ»

— Следишь, как у нас банки растут и капитал организуется? Уже образовалось «Общество для продажи железной руды» — Продаруд. Синдикат «Медь». (Горький, «Клим Самгин», IV)

Разговор происходит в 1908—1909 годах. К тому времени в деловом языке существовало уже довольно много таких сложносокращенных слов: Продуголь, Продамет, Рускабель, noблесснеровские акции, или Лензото — то самое Ленское золотопромышленное товарищество, «связанное» с английской компанией «Лена—Голдфилдс», которое навсегда вошло в историю после Ленского расстрела в 1912 году.

Эти «сокращения» играли роль к о д а, который издавна применяли в деловых сношениях между собой деловые люди. На основании особых договоров с министерством почт и телеграфов устанавливались условные сокращенные наименования в адресах и специальные льготные тарифы для постоянных клиентов, которые пользуются кодом.

Но код становился и явлением *стиля.* Он знаменовал новые, современные формы организации и работы, по западному образцу, новые темпо-ритмы. «Продаруд» звучало в своем роде гордо!

Правление Лензото перед Ленскими событиями сообщало иркутскому губернатору, что «характер этих требований, а также общее поведение рабочих явно указывает на то, что забастовка возникла на почве квалифицированной агитации».

Так «лицо» с условным именем, по коду, объявляло, также по-деловому и по-современному, о факте огромно-

го исторического значения: о появлении новой, уже квалифицированной агитации.

— В 1913 году, — вспоминал академик А. Н. Крылов, — при Академии наук была учреждена планово-организационная комиссия — ПОК. Во главе ее был поставлен чиновник Ермолаев. Вскоре даже президиум Академии наук этот ПОК отменил. («Мои воспоминания»)

Очень реакционный президиум императорской академии отважился («даже») отменить назначенную правительством «планово-организационную комиссию» — потому, что это было нарушение академической «автономии», и потому, что академики не хотели никакого плана. Но возмущало их и самое это слово — ПОК. Пойдут разные «поки» — и всему конец.

Академик С. Ф. Ольденбург писал перед первой мировой войной:

— Мы делаемся в нашей пестрой и разнообразной жизни неспособными остановиться на чем-нибудь одном. Книга уже слишком длинна для нас: мы ее заменяем газетой или журнальной статьей, роман для нас должен заменяться рассказом, даже слова мы начинаем менять на буквы; осфрумы (?), продуголи, продаметы стали частями нашей речи, — создаются новые, нарочито краткие слова, сокращающие нашу речь... (Вступительная заметка к «Воспоминаниям А. Е. Лабзиной». Санктпетербург, 1914)

Довольно широко применялись «сокращения» во время первой мировой войны. Этого требовала сама война. Уже тогда появились и начштаб, и генмор, и каперанги, и главком, и главковерх (хотя и «августейший»).

У Л. Славина в «Наследнике»:

— Моим соседом по комнате в офицерском общежитии оказался человек по фамилии Духовный, военный корреспондент газеты «Биржевые ведомости».

— Вот, — сказал он, кидая на стол груды газетных вырезок, — мои статьи, они наделали много шуму. Без ложной скромности скажу, что они мне удались.

...Я пробежал одну из вырезок. Это была громовая статья, направленная против вошедших в моду словосокращений — «главковерх», «командарм», «военмин». Слова вроде «столовка», «ночлежка» трактовались как позорное проявление российской расхлябанности. На

«самогонку» автор обрушивался с пафосом трибуна и с отвращением учителя словесности... (Гл. 12)

Духовный из «Биржёвки» писал и другие статьи, — например, статью под заглавием «Что, сынку, не помогли тебе Циммервальд и Кинталь?», в которой он громил и «пораженцев» и «интернационализм на немецкие деньги». Словом, это был довольно типичный для того времени прохвост. Он непременно должен был выступать не только против Циммервальда, но и против весьма подозрительных по своему внутреннему движению «словосокращений».

И там же, в «Наследнике», об октябрьских днях в Москве:

— Я методически слал пули не только в юнкеров... но и в самый институт частной собственности, в банки («прицел четыреста»), в скуку, в безыдейность, в ипотеки, в Продуголь, в жандармерию, в деспотизм — покуда винтовка не накалилась... (Гл. 14)

«Продуголь», который должен был означать преодоление «российской расхлябанности», нечто по стилю очень деловое, современное и передовое, — в одном ряду со скукой, безыдейностью, ипотеками на перезаложенные дворянские имения.

«Наследник» Л. Славина вышел в 1930 году. К этому времени «словосокращения» имели уже свою новую, послереволюционную, бурную историю. Теперь Славин с особым удовольствием вспоминал и «Продуголь», который был как бы *гербом* обновленного российского капитализма, и тех «военных корреспондентов», которые воспевали новый расцвет отечественного капитализма после войны, грядущее торжество «Продугля», «Продамета» и пр., но одновременно выступали против новой «моды» сокращать слова.

После Октября сложносокращенные слова и инициальные обозначения стали играть огромную роль в языке. Это были «сокращения» самых активных слов и названий самых важных новых институтов, учреждений и новообразований. Естественно, что именно «сокращения» выдвинулись на первое место в разговорной речи.

И. Эренбург пустил тогда словечко «Ускомчел».

— Один из русских писателей, И. Эренбург, — писал тогда И. В. Сталин, — изобразил в рассказе «Ускомчел»

(Усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого этой болезнью [т. е. «революционного» сочинительства и «революционного» планотворчества] «большевика», который задался целью набросать схему идеально-усовершенствованного человека и... «утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно охватывает болезнь — это несомненно. Но никто, кажется, не издевался над такими больными так зло и беспощадно, как Ленин. («Вопросы ленинизма»)

Вполне естественно, что архаисты хотели видеть и увидели в этих «ускомчелах» и их «новаторстве» все то новое, что принесла с собой Революция в русский язык. Впрочем, для них это был, как мы знаем, уже не русский, а новый, «советский» язык.

И так как эти «сокращения» были большей частью очень уродливы, порождали всевозможные двусмысленности, дурно звучали, то можно было весь этот «новый язык», а вместе с ним и все новое движение мысли, объявить бесплодным и, главное, преходящим.

К. Федин рассказал («Горький среди нас») о шутовском обществе «Обезвелволпал», то есть «Обезьянья великая и вольная палата». «Старшим канцеляриусом» этого общества считался А. Ремизов, убежденный архаист и большой мастер всевозможных языковых «кикимор». Общество это никогда и не существовало, но имя его, передразнивающее все новое внутреннее движение языка, по-видимому, очень нравилось в определенном кругу и кого-то утешало.

Эти люди изобретали и другие всевозможные более или менее ехидные *дразнилки* этого рода, например: *му* — то есть мировой ученый: *ну* — начинающий ученый (все там же, в Ленинградском Доме ученых); *чиж* — чрезвычайно интересная женщина; *чик* — честь имею кланяться, но не без напоминания о возможном расстрельном исходе (чик!); «МОРГ для всех граждан» и сплошной *ври-д;* ХЛАМ — художники, литераторы, артисты, музыканты. И т. д. и т. д. Они же иногда подбрасывали в язык очень плохие «сокращения», вроде знаменитого «шкраба» (см. ниже).

И тогда же отвечал им Корней Чуковский:

— Размышляя об этих недавно возникших словах, я с гордостью вспоминаю, что еще задолго до их появления пророчески предсказывал их.

Во времена допотопные, в 1913 г., в альманахе «Шиповник» (статья «Футуристы») я писал: «Хочется нам или нет, такие слова непременно нагрянут в нашу закосневшую речь... Слова сожмутся, сократятся, сгустятся. Это будут слова-молнии, слова-экспрессы... Такая американизация речи исторически законна и необходима. Ведь, когда мы автомобиль называем авто, а метрополитен метро, когда вместо утомительных слов: конституционно-демократическая партия мы двусложно говорим к-д, а вместо Южно-Русское общество торговли аптекарскими товарами говорим инициально Юротат, здесь именно разные методы такого сгущения, убыстрения речи». Это я выписываю не для того, чтобы похвалиться пророческим даром, а чтобы показать, что революция только ускорила тот процесс, который происходил и помимо нее, до нее. Обыватель же, сам пугаясь своего словотворчества, отмахивается от него анекдотами. В этих анекдотах сказался робкий протест обывателя против чуждых ему новшеств. Но когда же и к какому новшеству обыватель относился не враждебно? О каком новшестве не сочинял анекдотов?.. («Новый русский язык». «Жизнь искусства», 3/V 1922 г.)

А «Жизнь искусства», в которой выступил тогда с этой статьей Корней Чуковский, была как раз цитаделью архаистов. И статья его должна была вызвать — и вызвала — в этом лагере бурю.

От того времени осталась довольно обширная научная, специальная, но почти всегда и очень полемическая литература о сокращениях.

В самом начале Революции приехал к нам известный французский славист и русист, исследователь русской литературы Андре Мазон — специально «для изучения слов, появившихся в последние годы». В 1920 году Андре Мазон выпустил книжку «La lexique de la guerre et de la Révolution en Russie».

Весьма замечательно, что этот тонкий и благожелательный наблюдатель не пошел по стопам наших архаистов, не увидел крушения русского языка. А «сокращения» он рассматривал главным образом как наследие военного времени с его неизбежным ускорением во всех областях жизни и языка — то есть главного орудия связи между людьми. А. Мазон сужал, пожалуй, смысл тех больших процессов, которые получили свое отражение

в пресловутых «сокращениях». Это была другая крайность; но он и не преувеличивал значения этой проблемы, как многие наши ученые. А некоторые наши «сокращения» того времени, по справедливости, очень рассмешили А. Мазона, — в частности, неподражаемый в самом деле «Центроцентр».

Поход нигилистов-архаистов против «сокращений» привел в полный восторг их противников — «новаторов». Одно из самых генеральных и принципиальных заявлений этого рода — у Н. Огнева, автора знаменитого в свое время «Дневника Кости Рябцева», переполненного всевозможными «сокращениями»:

— В школе второй ступени, где я преподаю, такие сокращения, как Алмакзай (Александр Максимович Зайцев) или Пепа (Петр Павлович), давно завоевали себе права гражданства. И это вовсе не уродование языка, как думают иные; *это — стихийный процесс словотворчества, который куда как важней наших измышлений. Язык стремится к сокращению, язык американизируется, а это вовсе не плохо, это — рост...* (1924)

Теперь (и уже давно) совершенно ясно, что Н. Огнев и другие были неправы даже и для *своего* времени. И тогда, когда этот процесс развивался, как казалось, неудержимо, и тогда не было ничего похожего на то, что происходит в английском языке, особенно в английском языке Америки.

В английском языке стяжение узаконено многовековым обычаем. Апострофы заменяют целые слоги и словосочетания.

Еще в начале XVIII века не кто иной, как Джонатан Свифт, очень жаловался, что всевозможные и невозможные сокращения непрерывно портят английский язык. Он выступал против таких, уже обычных в то время сокращений (clippings), как **I'd** (вм. **I should, I would), he's (he is), shan't (shall not)** и т. д., которые он называл «сокращениями и опущениями» (abbreviations and elisions), при которых «самые жесткие по своему звучанию согласные сдвигаются и соединяются без смягчающей гласной между ними».

Но эти стяжения в английском языке уже давно стали канонической грамматической формой. В разговорном языке дело уже давно зашло гораздо дальше.

В бытовом романе и особенно в бытовой пьесе эта

разговорная речь воспроизводится почти в точности, написание приближается к фонетическому, а это значит, что проглатывается очень многое.

А в литературе так называемого «погибшего поколения», которая вызвала широкие отзвуки и в нашей литературе 20-х и начала 30-х годов, эта «рубка слов» носила подчас характер несомненно сознательного нигилизма.

Слова во всем великолепии своих пристроек, обрамлений и оторочек казались слишком пышными, слишком одетыми (overdressed), даже как бы лишенными юмора. Писатели этого поколения с особым удовольствием ломали и «раздевали» слова. И без того не строгая (по сравнению, например, с французской и немецкой) английская грамматика, узаконившая уже столько непозволительных, с точки зрения языковой традиции, упрощений, оказывалась для них слишком стеснительной. Да и вообще — стоит ли, мол, так истово соблюдать правила, установленные когда-то кем-то (и скорее всего обеспеченными и досужими людьми), когда все вокруг так неправильно!

Это движение получило некоторое отражение и в языке нашей литературы — в совершенно анархическом синтаксисе (например, у Бориса Пильняка), который один только и может, мол, передать новые ритмы жизни; в очень крутых и незаконных «сокращениях» логического развертывания (не смешивать с новым *прямлением* в языке, о котором речь будет ниже!) и, в частности, в тех «сокращениях» слов и словосочетаний, о которых мы говорим здесь.

Такие «сокращения» вызывали с самого же начала твердое и принципиальное противодействие.

Вл. Бонч-Бруевич приводил слова Ленина:

— Газеты читает масса, а не одиночки, которые знают весь новый язык, который создала наша бюрократия. (Журнал «На литературном посту», 1931, № 4)

Этот новый и чуждый Ленину язык состоял из «сокращений» по преимуществу.

Они бывали и бюрократическими, и «сверхсовременными», то есть приспособленческими, и снобистскими, и сознательно враждебными, пародирующими новые движения мысли и речи.

Литература иногда воспевала этот «стихийный про-

цесс словотворчества» (ср. Н. Огнев и др.), но чаще высмеивала и разоблачала нечистые сокращения, пародировала тех, кто пытался пародировать новую манеру выражаться.

Вот мальчик говорит медведю:

— Учиться в школу пришли.

— Какая там школа? Я здесь живу.

— А ты кто, дяденька?

Выворотил глаза медведь, рычит:

— Я лез-нах-рап-пред-вред-ком-вуз-муз-воз... (А. Неверов, «Пропавшая школа» (Сказочка), 1922)

Все такие слова только медведю и годятся для рычания, и ему надо отдать такие слова.

— Объясните, молодой человек, почему вы называетесь Сангиглот? — Потому, что приемный отец у меня Сангигупор. — Ну, а дальше? — Так и дальше, в последовательности. — А именно? — А именно, что он, будучи из пленных ландштурмистов, называется Александр Гуго Гигуппо, а по-советски сокращенно — Сангигупор. — Так. А почему же вы Сангиглот? — Потому, что я Александр, по приемному отцу Гигуппо, по предыдущей моей фамилии Глотков, а вообще Сангиглот. (Вс. Иванов, «Путешествие в страну, которой еще нет»)

Пленный ландштурмист спрятал свою трудную для русского уха фамилию в еще более непонятном, но не более диком, чем все остальные, сокращении. А человек с настоящей фамилией Глотков превратил себя в Сангиглота. Это уже и самозащита, и самоутверждение, и интересничание — при помощи сокращений.

И все это происходит в стране, которой еще нет — и не будет.

У Мих. Булгакова в «Дьяволиаде»:

— Главцентрбазспимат, сокращенно «спимат»... (1925)

Сокращение сокращения... В самом деле, многие сокращения уже бывали не только темны и неблагозвучны, но раньше всего страшно длинны, то есть теряли свой основной смысл. Герой Булгакова вполне резонно вскрывал эту нелепость. Но для него, воинствующего обывателя, это был только частный случай всеобщей «дьяволиады», всей «путаницы» и «нелепости» новой жизни.

— Познакомьтесь, это наш ветврач Хорьков.

Старый человек трагически поднял руку.

— О, вы опять говорите это гнусное слово? Действительно, я ветеринарный врач, но никогда не ветврач. Что такое ветврач? Можно подумать, ветошный врач. Уважайте, товарищ Уразов, профессию, а не оскорбляйте ее сокращениями. (А. Яковлев, «Огни в степи»)

Для хорошего старого человека это трагедия.

У Ильфа—Петрова: «Театр инфекции и фармакологии, сокращенно ТИФ» («Человек в бутсах»); «Тов. Клемансон от Мосоргвывода» («Кипучая»).

У М. Кольцова: «главпух», «Москводым», «Уралмузыка».

У Шкваркина: «замначтьфу» («Вредный элемент») и др.

Зло осмеяно нечто очень похожее на многие подлинные самоубийственные сокращения, на многие неожиданные или предательские «встречи» различных понятий в сокращениях (ср., например, «прораб»).

Сокращения разного рода и то, что с ними связано, — это уже большая общественно-политическая тема. У Демьяна Бедного было стихотворение, которое так и называлось: «Кар-р-ра-у-ул!!»

Повсюду развелись у нас языколомы...
диво истинное в том,
что за такой разврат язычный,
который терпит наш читатель горемычный,
нас не свезли еще в сумдом...

И подстрочное, строго деловое примечание Демьяна Бедного: «Сумдом» — это сумасшедший дом».

Замечательно ярко раскрывалась эта тема в раннем (1923) рассказе Шолохова — «Председатель реввоенсовета республики».

Герой этого рассказа, когда надо было отбиться от наступавшей сильной банды, объявил хутор республикой, себя — председателем реввоенсовета республики и в этом качестве прекрасно мобилизовал все ресурсы и прекрасно отбился во главе своей «республики» от бандитов.

По самому смыслу вещей он должен был назвать себя не «предом», слишком коротким, темным и как бы мел-

ким словом, а развернуто — председателем. Республике подобает председатель, а не пред.

Но «реввоенсовет» так и остался «реввоенсоветом» — это было уже одно, *нераздробимое* и сильное слово.

Очень выразительно здесь и естественное, в определенных торжественных обстоятельствах, стремление к развернутой форме и признание другого *сокращенного* слова уже вполне развернутым и торжественным.

С самого начала наши «сокращения» отражали очень неоднородный процесс; в «сокращениях» сплелись и столкнулись очень различные, древние и новые, движения. Уже слово «аз-бука» было, собственно, «сокращение», и притом на той же основе, что и сведение инициальных обозначений в наших «сокращениях».

В первые годы Революции в язык хлынули тысячи таких «сокращений». Но уже скоро многие неблагозвучные инициальные обозначения ушли из языка; другие сами собой развернулись в полные словосочетания, и это придало им «после всего» новую и большую полновесность и важность. Во многих случаях сохранились параллельно и полное слово и его «сокращение», и каждое имеет свой вес и свой калибр. Сравнительно небольшая часть «сокращений» совершенно отменила исходные слова; но такие «сокращения» уже перестали ощущаться как сокращения...

В славной книге Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» было такое место:

— Как зовут заведующего?

— Виктор Николаевич Сорокин.

— Ну вот. Вик. Ник. Сор. Звучно и хорошо. (Стр. 91)

Что, собственно, хорошего в том, что человека назвали Сором? Но «уж сокращать так сокращать» (стр. 29). И вот опять «Сор».

Незадолго до войны вышла пьеса Н. Погодина «Мой друг», которая необычайно полюбилась зрителю. В этой пьесе есть такое место:

— Гай. Да! В Москве, на Варварке, дергает меня за рукав кто-то и кричит: «Ну, здорово, СОР!» Отчего СОР? А это друг. Хохочет. «Сор, говорит, это старый ответственный работник». Вникни. Ядовито! (Эпизод X)

Это было уже *воспоминание* о том славном, но далеком времени, когда принято было так выражаться. Это был уже архаизм, который показался Гаю в его тогдаш-

них обстоятельствах «ядовитым». Отношение Гая к этому слову, которое *придумал* его друг, очень хорошо рисует настроение Гая и очень серьезные перемены, уже совершившиеся к тому времени.

Н. Погодин развернул на этом слове настоящую речевую характеристику двух героев его пьесы.

Тогда же (1938) во всех почтово-телеграфных конторах появилось циркулярное объявление: «С 1 сентября с. г. сокращения, не употребляемые в разговорной речи и печати, не будут приниматься... Основание: приказ Наркома».

Теперь уже почтово-телеграфный служащий должен был решать, употребляются ли еще те или иные сокращения в разговорной речи и печати или нет. Это, конечно, не всегда легко определить с полной бесспорностью. С тех пор это постановление уже несколько раз видоизменялось, но и сейчас нередко возникают споры по этому поводу.

Эти постановления так или иначе отразили очень значительный факт: допускаются только такие «сокращения», которые приобрели право гражданства в языке; в остальных случаях «сокращения» рассматриваются как код и оплачиваются, как некогда, на основе особого договора, по особому тарифу.

Сокращения стали опять деловым кодом, а в общенародном языке теперь все меньше сокращений старого стиля. Они уже не соответствуют духу и достоинству времени и языка, они, как теперь стало всем ясно, *коверкают* язык.

— Недавно, — писал в «Письме в редакцию «Правды» работник прокуратуры И. Аврус, — к нам поступила переписка по поводу начальника одной из баз «ОМТС ГАУШОРС». Нам не удалось разыскать руководителя учреждения, наименование которого состоит из одиннадцати заглавных букв. Пришлось просить автора письма написать название учреждения *по-русски.*

В городе Саратове есть 3-й Государственный подшипниковый завод, наименование вполне ясное, русское. Так нет же, любители сокращенных наименований заменяют слово «завод» двумя буквами «з-д», а некоторые иногда вместо тире пишут еще букву «а»...

...Недавно нам пришлось встретиться с материалами дела по обвинению гражданки Н. Почти во всех доку-

ментах значилось, что гражданка Н. работала во Фрунзенском «кубе». Кубы имеются в столовых и других учреждениях общественного питания. Но не о таком кубе шла речь. Оказывается, что гражданка Н. работала в контрольно-учетном бюро. В одном случае это загадочное сокращение было расшифровано правильно, а в другом — в официальном судебном документе — его расшифровали как «карточное учетное бюро».

...В решениях исполнительного комитета Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся города Саратова слова «многодетная мать» пишут «м/мать».

Пора прекратить употребление подобных сокращений слов и наименований и усилить борьбу с искажением русского языка.

А называлось это письмо в редакцию: «Искажение русского языка». («Правда», 11/VII 1947 г.)

Легко видеть, что иногда автор этого письма попросту неправ. Он пишет, например, демонстративно: «исполнительного комитета Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся города Саратова», — но это звучит уже и слишком длинно и неловко, совершенно неестественно. В другом случае он и сам сказал бы: «исполкома Фрунзенского райсовета». Это уже достаточно развернуто и торжественно, по ощущению всех говорящих сегодня по-русски.

Он неправ и тогда, когда протестует против «з-д» в деловой переписке о «3-м Государственном подшипниковом заводе», где это слово «завод», легко подразумеваемое, употребляется, вероятно, много раз. И уже, вероятно, только для «утепления» юмором своего письма он упоминает о каких-то дураках, которые написали вместо «з-д» — «зад». Ср. еще *гражданка* вм. совершенно естественного в деловой речи и ни для кого не обидного гр-ка.

Но «м/мать» вместо «многодетная мать», хотя и это довольно естественно в тех решениях исполкома, где эта категория упоминается очень часто, — все же неприлично. Именно н е п р и л и ч н о; только это зыбкое на первый взгляд, но на самом деле достаточно точное различение и *решает*: что́ можно и что́ невозможно, не должно сокращать.

А во всех других случаях автор письма был, конечно, очень прав. И надо еще вспомнить, что речь идет о де-

лах, поступающих в прокуратуру, то есть о важных человеческих случаях!

В письме профессора М. Альбова (Свердловск) в «Советской культуре» читаем:

— Возьмем еще и такую проблему, как культура языка. У наших студентов вошло в привычку применять всяческие сокращения многих слов в заявлениях, в отчетах о практике, в курсовых и даже дипломных работах. Вместо «растворы» пишут «р-ры», вместо «характеристика» — «х-ка». И таких сокращений множество. К сожалению, редкий научный работник университета обратит внимание студента на эти сокращения. Большинство преподавателей молчаливо мирится с таким пренебрежением к русскому языку... (2/III 1954 г.)

Но никакого пренебрежения к русскому языку здесь нет, и к культуре языка это, собственно, не имеет никакого отношения. В деловой специальной речи, там, где «характеристика» и «растворы» употребляются, видимо, очень часто, понятное и легко читаемое сокращение вполне законно и естественно, как в обычной студенческой скорописи.

В великой борьбе за культуру языка важнее всего, как всегда, условиться поопределительнее, что такое культура языка. Это понятие означает раньше всего точность, счастливую точность. А «х-ка» вместо «характеристика» в данном случае вполне точно.

Но и без помощи пуристов, которые могут только помешать делу, «сокращения» старого стиля постепенно уходят, ставятся на свое место.

Самый замечательный факт: не возродились эти «сокращения» и во время Великой Отечественной войны!

Широко применялись, конечно, всевозможные условные сокращения в специально военной лексике, в аппарате управления военными действиями и всей войной.

Но они не вышли за пределы чисто военной сферы. Даже в периоды наивысшего напряжения и убыстрения всех темпов жизни страна говорила и на фронте и в тылу полными словами. Противник не смог вызвать у нас ничего похожего на то нервное заикание, которое ему удалось так успешно вызвать во многих покорившихся ему странах; это и был его главный «просчет». Страна отвечала врагу в развернутой форме, иногда полемически подчеркнутой развернутой форме.

Так стало очевидно для всех, что наши «сокращения» были не естественным и неизбежным следствием войны, как думал Мазон, и не отражением европейского и мирового, особенно американского, процесса убыстрения всех чувств, мыслей и выражений, как писали наша БСЭ в первом издании и многие исследователи. Это был очень своеобразный национальный процесс, который принимал самые различные, но всегда полемические формы.

Уже давно все в этой области очень уточнилось.

Сокращения заняли важное, но специальное место.

В общей речи они чаще всего только подчеркивают всю важность первоначальной развернутой формы.

По всему фронту языка идет другое «сокращение»!

— Впервые только очищается поле для... выработки новой общественной связи, — писал Ленин по поводу первого всероссийского субботника-маевки. (31—102)

Эта новая общественная связь получила замечательное развитие в ходе Революции, стала психологической привычкой. Установились новые, поистине *короткие* отношения между людьми, потому что у них в новом обществе как никогда много общего. В языке, «практическом сознании» людей, это означает новую, необычайно крутую логику развертывания мысли. Многие служебные звенья логической цепи оказываются уже лишними при таком взаимопонимании. Вы же сами понимаете! *Язык выходит на просторы лаконизма.*

Возрождается на новой основе древнее *прямление* в речи: *мыслить к кому-нибудь, радость к кому-нибудь; сказывать поход; плыть, да не быть; запретил ветрам и морю; игра царем; грех — сладко, а человек — падко; правда — вере красота* и т. д. И самое слово *«прямить»: прямить и мужествовать неизменно; прямиковые слова; прямику одна дорога, поползню — десять* и др.

Основной внутренний ход этих древних выражений и оборотов речи снова кажется очень современным, единственно верным сегодня по своему стилю...

Большие слова (эпоха, история, время, жизнь) издавна имели в языке свое более или менее постоянное окружение, заслоны, сторожевые охранения. Теперь эти слова стали конкретнее, чем когда-либо; речь всегда идет в самом деле и необычайно наглядно об истории, времени, эпохе, жизни. И обращение с этими словами стало совсем другим.

— Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный. (Шолохов, «Поднятая целина»)

Огромные «пропуски», непосредственные «впадения» малых слов в большие, необычайно крутые переходы, а не «сокращения» — вот самые характерные черты нового стиля. Мы видим это прямление в каждом очерке о новой жизни слова.

Это — обламывание слов надоевших, испорченных, затянувшихся, не оправдавших себя (в том числе и новых), слов-зануд. Ср., например, «веды» или даже «въеды» вместо искусствоведов-начётчиков, таких же литературовъедов, музыковъедов и пр.; «отвратный», «надоедный» и т. д. и т. д.

Обрубаются слова, которые по самому смыслу должны быть короткими, а почему-то затянулись: «укорот», «останов» и «пуск», «сдав», «рисково», «пройда», «сократ» (то есть тропка напрямик, сокращающая петляющую дорогу, — в речи альпинистов и туристов) и т. д. и т. д.

Возникают бесчисленные контаминации — такие наползания одного слова на другое, при которых плохие применения исходного слова совсем приканчиваются.

Агитацитика — слово Калинина, которое так нравилось Маяковскому.

Однаробразный пейзаж, наркомический драматург и многие другие великолепные контаминации самого Маяковского.

Медвежливость, не мастер, а ломастер и др. — у Маршака.

Грезидиум, ответ- и приветработники и др. — у Ильфа и Петрова.

Не сюжет, а сюсюжет, не реализм, а сюсюреализм — у Л. Лагина.

Злодырничать, смутолока, литоратор, гордыбачить, очковидец, дыросшиватели, размышляния и т. д. и т. д. — из разговорной речи, из современного «тэйблтока» — застольной беседы.

Это, конечно, о б ы ч н а я в живом языке, но необычайно усилившаяся в нашу эпоху и полная нового юмора з а щ и т н а я обработка важнейших слов-понятий, ко-

торые не должны оболтаться и смешаться с другими. Умный и «вумный» (много раз у Ленина). Не смешивать! — постоянная забота Ленина.

## СПЕЦ, СПЕЦИАЛИСТ, СПЕЦЕЕДСТВО

— Мы узнали; что специалисты просто-напросто исподволь революцию производят. Всякий из них на что-нибудь да посягает.

Так говорит у Щедрина («Письма из провинции») довольно проницательный в своем роде «держиморда».

У Глеба Успенского «деревенский человек» — кулак — вместо «социалист» с тою же ненавистью, какая приличествует этому прозвищу, употребляет прозвище «специалист»... («Петербургские письма»)

И тот и другой имели все основания бояться специалистов — людей точного знания и дела. В самой точности таилось уже революционное начало, сама точность означала другой образ мысли и речи.

Иван Карамазов со своих позиций видит едва ли не главное зло современности в специализации науки, особенно такой практической, «человеческой» науки, как медицина:

— Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил; теперь только одни специалисты и все в газетах публикуются. Заболи у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он скажет: только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность. И т. д. («Братья Карамазовы», IV—11—9)

Всюду *заговор специалистов* против «простых», «честных» людей; у них, специалистов, и *свой особый, тайный и обманный, язык.*

В противоположном лагере, среди новых людей:

— Я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика.

Так трещал, по выражению Тургенева, Лупояров, когда встретил Инсарова и Елену в Венеции. Но он, как

все «свистуны», разговаривал самым современным и боевым языком. Так говорили новые люди (Базаров, например, говорил, что наука — это вздор, есть только науки). Даже Лупояров (одна фамилия чего стоит!) не мог обессмыслить до конца такие слова.

То — Лупояров, а сам Тургенев писал Боткину в 1856 году:

— Мне кажется, главный недостаток наших писателей и преимущественно мой — состоит в том, что мы мало соприкасаемся с действительной жизнью, то есть с живыми людьми; мы слишком много читаем и отвлеченно мыслим; мы не специалисты, а потому у нас ничего и не выходит специально.

В другом месте:

— Я хотел только сказать, что всякому человеку следует, не переставая быть человеком, быть специалистом; специализм исключает дилетантизм...

Возникает даже новое слово — «специализм».

— Нам нужны специалисты, — говорила вся передовая Россия; слова ничтожного Лупоярова приобретали огромный общественно-политический смысл в «Заветных мыслях» Д. И. Менделеева или в тетралогии, особенно в «Инженерах», Гарина-Михайловского.

Замечательный эпизод из истории борьбы за «специализм» и за утверждение слов этой группы связан с Горьким.

Горький («А. П-в») писал с Всероссийской выставки в «Одесские новости»:

— Вы, очевидно, против войны, — говорил мне человек-специалист, понемногу превращаясь просто в специалиста, — но ведь это, извините, просто абсурд, восставать против института столь необходимого... (1896)

Так же, как Менделеев, Гарин и другие, Горький, разумеется, мечтал о специалистах, которые так необходимы России. Но он видел уже тогда и грозную опасность превращения человека-специалиста в специалиста просто. Собеседник Горького на выставке именно как специалист, как человек высшей, беспощадной, научной трезвости и точности и, по всем признакам, весьма довольный собой, утверждает необходимость «института войны»...

Как ярко раскрывается в этой тираде новый гуманизм Горького!

По хорошо известным причинам обладатели самых необходимых для народа знаний, самой этой революционной точности, были интеллигенты, в подавляющем своем большинстве буржуа, по происхождению и по мировоззрению. Специалисты и буржуазные интеллигенты — эти понятия в старой России связаны неразрывно и практически совпадают.

В первые десятилетия Революции это «совпадение» создает грандиозный по своему драматизму конфликт, который получает ярчайшее отражение в языке — в прямо противоположном и всегда страстном исполнении слова «специалист» в его полной и в его новой, сокращенной форме «спец».

— У нас есть буржуазные специалисты, и больше ничего нет, — говорил Ленин 13 марта 1919 года. — ...Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, искусство — в руках специалистов и в их головах. (29—51)

— Без совета, без руководящего указания людей образованных, интеллигентов, специалистов обойтись нельзя. (26—373)

— Приходится нанимать буржуазную голову и заставлять ее работать на Советскую власть...

Так было сказано в приказе президиума ВЧК, за подписью Дзержинского, от 17/XII 1919 г. — об учете специалистов.

Даже в Наркомпросе, который призван в первую очередь заниматься коммунистическим просвещением и воспитанием, работают почти только буржуазные спецы.

Ленин требует уменьшения числа совбуров в Наркомпросе, а о А. В. Луначарском, наркоме просвещения, и М. Н. Покровском, его заместителе, Ленин говорил тогда так:

— Вся партия, хорошо знающая и тов. Луначарского и тов. Покровского, не сомневается, конечно, в том, что оба они являются в указанных отношениях своего рода «спецами» в Наркомпросе. Для всех остальных работников такой «специальности» быть не может. «Специальностью» всех остальных работников должно быть умение наладить дело привлечения к работе спецов-педагогов. (33—47)

Два коммуниста-спеца «по вопросам научным, по во-

просам марксизма вообще» — в одиночестве среди «совбуров».

Ленин, как известно, не любил новые сокращения, не любил и кавычки. Но в этом чрезвычайном случае «спецы», и «совбуры», и «специальность» в очень полемических кавычках.

В народном словоупотреблении «спец» — плохое, только плохое слово, не одно из деловых сокращений, а сознательное снижение и даже оскорбление очень сомнительного и чаще всего ненавистного понятия.

У Л. Сейфуллиной Митька-гармонист исполняет популярную песню:

ПРОЛЕТАРСКАЯ РОЗА

Кто сорвет эту розу — счастливец.
Кто своею ее назовет, —
Важный спец, или скромный партиец,
Или просто какой-нибудь люд.

(«Выхваль»)

Важный, с огромными претензиями, а на самом деле — спец и только. Самое это куцее слово говорит о чрезмерности его претензий.

«Спец» идет чаще всего вместе с «незаменимым» и в этом терминологическом, номенклатурном сращении вызывает особую ярость.

— Интеллигент (*кричит на работающих*).
Живей поворачивайся!
Руби, да не промахивайся мимо!
Плотник. А ты чего сидишь, руки сложивши?
Интеллигент. Я спец, я незаменимый.

(Маяковский, «Мистерия-буфф»)

Ср.:

— А мимо — незаменимый. (Маяковский, «Хорошо!»)

Длинное и важное «незаменимый», а за ним смешной, почти неприличный обрубок — «спец».

В приемной предгубкома:

— Высокий, хорошо одетый господин в очках, конеч-

но спец, читает старую газету. (А. Коллонтай, «Василиса Малыгина»)

Газета старая, — он ее читает только для того, чтобы подчеркнуть свою независимость и непричастность ко всему окружающему. Спец — маска, и непременно в очках или, еще лучше, пенсне.

—Как товарища хочу тебя предупредить: типичное обывательское гнездышко. Типичный сухой спец... Тьфу, спец очкастый. (Валерия Герасимова, «Человек без подробностей»)

Так говорит женотделка и культработница, передовая женщина.

У Зощенко:

— Это не были спецы с точки зрения нашего понимания. Это были просто — интеллигентные, возвышенные люди. Многие из них имели нежные души.

Так говорит Мишель Синягин («Записки Мишеля Синягина»), который не имеет никакого права рассуждать о «нашем понимании». Но только он, и по глупым своим соображениям, разглядел у спецов возвышенные и нежные души. От обратного утверждается справедливость общенародного понимания этого слова.

И без того куцее и низкое, оно еще дополнительно обрабатывается в самом обидном роде.

Иной спецюк лакает пенки.

(Безыменский, «Выстрел»)

Спец — пенкосниматель; довольно естественно такой спец сближается со спекулянтом: спецы и спекули.

Возникает и словечко «спецный».

Любопытно, что «спецный» был уже изобретен в свое время, и это было салонное, «изящное» слово, означавшее: особенный, любительский.

У Игоря Северянина:

Ее зовет король рапирный
Пить с мандаринами крюшон,
И спецный хохоток грасирный
Горжеткой мягко придушен...

(«Сон в деревне»)

Еще интереснее:

...рокфорно, а не камемберно,
жеманно-специо обуян...

(«Пять поэтов» — о М. Кузмине)

Специо — то есть со специями, особенными острыми и пряными приправами.

А сейчас уже «специый» — от «спеца»: чужой и опасный, тайно что-то подготовляющий и злоумышляющий.

*Спец* — в сложениях (спецпаек, спецпитание, спецторг, спецотдел и т. д. и т. д.) вызывает, естественно, настороженность. Что-то не для всех, отдельное.

Но вот — спецдоктор, воюющий с вошью, которая, как хорошо известно, представляла собой в определенный период национальную опасность, прямую угрозу Революции. Этот спецдоктор выполняет специальное, очень высокое и очень опасное задание.

У Б. Билль-Белоцерковского в «Шторме» такой спецдоктор говорит:

— Я боюсь гибели всей науки.

«Жалкие», интеллигентские слова. Святой, можно сказать, человек, делает великое дело, но сам ни во что не верит, он только спец.

На фронтах гражданской войны, в открытой, лицом к лицу, борьбе на жизнь и на смерть с буржуазией, там, где уже никак не должно быть посторонних, очень важную роль играют военные спецы из офицеров — военспецы.

Это еще одно очень важное «сокращение», новое слово, которое имело свою большую историю.

Отметим здесь только несколько эпизодов из истории *военспеца.*

Военспецы и разговаривают не как все, не как люди.

У К. Тренева в «На берегу Невы»:

— Командир. Но конъюнктура...

Ленин (*кричит*). Говорите по-русски, черт вас возьми...

Ленин (*секретарю*). Вызвать начальника штаба. Понимаете, конъюнктура. (*Гневно.*) Головотяп! Шапкокидатель!

Очень смешно, конечно, что командир пытается испугать и запутать Ленина учеными иностранными словами. Но именно это и пытается сделать военспец.

— Хорошо еще, он [военспец-предатель] тебе в спину пулю не пустил, — сказал Рагозин

— Я к нему спиной не оборачивался.

— И правильно. Немало у нас бед оттого, что к военным специалистам затылком становимся. (Федин, «Необыкновенное лето»)

Военспецы иногда предавали, но они же в общем итоге принесли огромную пользу делу Революции в гражданской войне. И меняется отношение к самому слову «военспец».

— И вдруг этот спец, этот императорской службы капитан первого ранга, с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте. (Л. Рейснер, «Маркин»)

Замечательную фигуру военспеца Колоколова зарисовал Всеволод Иванов:

— Подполковником он пошел в Красную Армию из «конквистадорских», как он говорил, целей, т. е. по бедности, из-за жалованья. Впрочем, конквистадорство это быстро исчезло в нем, и он искренне любил свою работу, свою дивизию и успел уже оценить все настоящие и будущие достоинства социализма, но до сего времени никогда в любви этой не сознавался и в соответствующих случаях говорил: «я нанялся и, как убежденный рыцарь, честно работаю своему хозяину». («Пархоменко»)

Колоколов называл себя даже не военспецом, а конквистадором, еще беспощаднее... И честно погиб за Революцию, так и не признавшись ни себе, ни другим в своей любви к новой жизни, этот наемный военспец.

У А. Малышкина:

— Вот, вы говорите — спец. *И слово-то какое куцее, халтурное придумали*: спец! А вот этот самый спец нарисовал вам подробную дислокацию неприятельских дивизий и всех передвижений в его тылу — знаете как? — по одним намекам, отрывкам, слухам, по противоречивым ответам пленных, где другой увидел бы только безнадежную, нелепую кашу. Здесь игра мозговых молний, творчество, а вы — спец. Думаете, что из-под палки. Спец ведь, а?» («Случай с комиссаром»)

«После всего» Малышкин снова как бы прослушивает это слово и с особым увлечением поднимает его, «куцее, халтурное». Малышкин впадает даже в преувеличения. Спец становится у него философом и поэтом.

Один из самых драматических поединков Чапаева с Клычковым:

— Раз «председатель», так свое мнение и докладывай. А я «спец». Я только «спец».

Он дважды с обидой выговорил это слово. (Фурманов, «Чапаев»)

Чапаев «ушел» в свое военное, партизанское спецство, а политику уступил спецам этого особого дела — людям, совсем неопытным в военном деле, но зато каким красноречивым!

Впоследствии духовный рост Чапаева ярче всего раскроется в том, что он уже не будет разграничивать обе эти специальности.

После победы в гражданской войне, когда мы, — по выражению В. И. Ленина, — разогнали Колчака, Деникина и пр., как ребятишек, — эти самые политические руководители, заслуженные герои-комиссары, должны, по призыву партии, опять учиться военным наукам, и у этих же самых военных специалистов.

У Ю. Либединского в «Комиссарах».

— Математика — еще так-сяк, а как дойдет до философии — ну, бисово дило, ничего не раскумекаю, — сказал он шепотом и с веселым удивлением. — А ведь всю войну спецов наставлял, и хорошо усваивали. (Гл. 6)

Они теперь уже, собственно, не «спецы», а *военные специалисты*. Но он вспоминает о прошлом.

Потом и он перестал удивляться.

«Спец» в искусстве — особая и очень определенная категория.

— Академия, — говорил Луначарский в речи на открытии ГАХН в 1923 году, — должна объединить в своих стенах компетентных представителей всех видов искусства, спецов, а также революционных его представителей.

Одно дело — «спецы», другое — «революционные представители».

В резолюции ЦК ВКП(б) от 18/VI 1925 года так

называемые «попутчики» назывались «специалистами художественного слова». Не «спецами», а специалистами в полной форме; но только «специалистами художественного слова».

Партия ведет непрестанную борьбу со спецеедством.

1 декабря 1921 года покончил с собой главный инженер Московского водопровода В. А. Ольденборгер.

У Ленина в тезисах «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики» — особый раздел (33—168): «Профсоюзы и спецы». Второй пункт: самоубийство Ольденборгера. По указанию Ленина, расследование этого дела и суд были проведены «решительно, гласно», и виновники спецеедства были сурово наказаны.

*Спецеедство* — новое, ответное слово, которое сразу же стало ареной острой борьбы у нас и на Западе.

Сто́ит, мне кажется, сегодня напомнить, как переводили это новое русское слово консервативная «Таймс» и коммунистическая «Дейли уоркер».

«Таймс» переводила: Expert-baiting (например, в номере от 22/I 1932 г.).

Реакция не раз пыталась дискредитировать важнейшие советские понятия путем точного будто бы перевода. Так и в этом случае: сказано лаконично, спокойно и «точно». Они, мол, сами признают, что это для них нормальное, бытовое явление. А «специалист» для этого случая переводился не «specialist» — хорошо знакомым каждому англичанину и сравнительно скромным словом, а словом высоким и почетным — expert. Изводят экспертов, самых знающих и ученых людей.

«Дейли уоркер» писала о том же спецеедстве:

— Indulging in frank „bite specialists“...

— In a catch-specialists-as-catch-can vein... Specialists maltreatment...

Здесь уже специалисты просто специалисты, а сущность спецеедства иронически преувеличена: «впадают в настоящее спецеедство», «в стиле кусай-его-я-его-знаю»... Или — без иронии, строго и осуждающе: «третирование специалистов».

Те, кого третируют, как обычно, еще больше возвышаются в своих собственных глазах. Они поднимают это куцее слово «спец» как перчатку и бросают его как

вызов своим противникам. Они в самом деле считают себя незаменимыми во всех областях жизни, в том числе и в политической. Они «идут к власти» (ср. процесс Промпартии). Под впечатлением западных теорий о технократии эти настроения получают как бы свое новое обоснование.

Затем «специалист» и «буржуазный интеллигент» перестают совпадать. Большевики овладевают техникой, большевики даже приглашают из-за границы — и за большие деньги — специалистов, чтобы овладеть техникой.

Слово «иностранные специалисты» звучит подозрительно, и часто с достаточными основаниями.

Ю. Корольков рассказывал впоследствии:

— На дипломата [фон Дирксена, посла Германии в Москве] работало чуть ли не пять тысяч немецких специалистов, приглашенных большевиками. К нему в посольство на Леонтьевском стекалась информация с разных концов России... («Тайны войны»)

Но даже иностранные специалисты принесли стране пользу, и слово устояло даже в таких тяжких испытаниях, устояло — и возвысилось. Специалист уже в самом деле эксперт; теперь «Таймс» должна как-нибудь иначе переводить это слово...

Наряду со «специалистом» живет в наши дни и «спец».

Во время войны вспоминался иногда и «спец» в самом гадком его значении:

— Эти четверо согласившиеся работать на немцев инженеры имели право выхода за проволоку. Все были убеждены, что «спецов» там подкармливали. (В. Бондарец, «Записки из плена»)

«Спецы», конечно, а не «специалисты»: кто станет тратить на них хорошее, полноценное слово!

Но это особый случай. А вообще «спец» теперь слово веселое и ласковое, оно получает все новые применения.

— Одно то возьми: сколько спецов объявилось с ним [прорабом]!.. Добрые бетонщики из Щигровки, коноплевские штукатуры — в-во!.. Да я тоже не последний: шировать да конопатить — кровное мое дело... (В. Федорович, «Есипово кольцо», 8)

В своем роде дипломированные, с законченным образованием бетонщики, штукатуры и конопатчики.

«Спец» замечательно играет в разнообразных сложениях.

Все выше, словно по ступенькам,
Шел торжества отрадный час.
Спецзавтрак был объявлен смене
И краткий праздничный приказ.
Уже народ подался с моста,
Гадал по простоте сердец,
По полтораста или по сто
На брата выйдет этот «спец».

(Твардовский, «За далью — даль»)

Новая, неслыханная рифма к этому слову: сердец — спец!

— Где наши витинары? За что мы деньги платим? Где они, эти спецы, товарищи?! (Г. Троепольский, «Никита Болтушок»)

Он сознательно играет этим курьезным словом «спец», как и словом «витинары» и пр.

«Спец» — так говорят в тех случаях, когда человеку почему-либо надоело выражаться правильно, по всей форме и развернуто.

Совсем ушел очень драматический *«военспец»*. Есть военные специалисты, эксперты, а военспец, как и иноспец и др., уже только реалии недавнего прошлого.

А «спецеедство» — уже архаизм, одно из тех новых слов, которые уже стали архаизмами. Уже приходится разъяснять новому поколению, что́, собственно, значило в свое время это слово.

## ШКРАБ

Среди тех новых уродливых слов, которые в свое время особенно утешали архаистов, едва ли не первое место занимал ш к р а б — сокращенное обозначение школьного работника, учителя — и уже совсем издевательское: шкрабиха — учительница.

Сейчас это уже кажется почти невероятным, но «шкраб» был одно время официальным термином. Он должен был обозначать, в противовес дискредитированному педагогу, или преподавателю старой формации, или даже «учителю» — слову, уже расплывшемуся и оброс-

шему слишком многими ассоциациями, — школьного работника нового типа, который не только учит, но и воспитывает по-новому.

Замечательное место из воспоминаний Луначарского о Ленине:

— Я помню, как однажды я прочел ему по телефону очень тревожную телеграмму, в которой говорилось о тяжелом положении учительства где-то в северо-западных губерниях. Телеграмма начиналась так: «Шкрабы голодают».

— Кто? Кто? — спросил Ленин.

— Шкрабы, — отвечал я ему, — это новое обозначение для школьных работников.

С величайшим неудовольствием он ответил мне:

— А я думал, что какие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариуме. Что за безобразие назвать таким отвратительным словом учителя! У него есть почетное название — народный учитель; оно и должно быть за ним сохранено. («Один из культурных заветов Ленина». «Вечерняя Москва», 21/I 1929 г., № 17)

Это слово возмущало Ленина.

В 1924 году Луначарский официально запретил это слово в особом приказе по Наркомпросу (см. у К. Чуковского в книге «Живой как жизнь», стр. 85, сообщение Ф. Ф. Грищенко, б. инспектора Уралоно).

Но только потому, что это слово очень *утешало* противников нового строя, его демонстративно, назло, поднимали передовые писатели.

...детям показывает шкрабица
комнаты ревмузея.

**(Маяковский, «Корона и кепка»)**

«Шкрабица» звучит здесь совсем нежно. А то, что слово очень неблагозвучно, коряво, более всего привлекало Маяковского. Скромная шкрабица делает великое дело, демонстрирует детям в ревмузее (еще одно важное и неблагозвучное слово) великие исторические смены и перемены.

У А. Неверова поп обзывал учителей шкрабами:

— Если шкрабом поступишь, одна канитель... («Поповская арифметика»)

То ли дело его, поповская, наука! Неверов поднимал

назло попам это слово. В 1923 году вышла его повесть «Шкраб». Но в издании 1927 года под этим «шкрабом» Неверова была уже сноска: «шкраб — школьный работник». Слово уже не всем понятно.

Но о нем еще долго будут вспоминать.

— Около наробраза с утра до четырех толпились шкрабы с сизыми лицами. (Гладков, «Цемент»)

Лица сизые — от голода. Эти шкрабы (да, да, шкрабы, как бы говорит Гладков) были, конечно, героями.

— Однажды после холодной ночи я вместо охоты отправился в ОНО и в пять минут получил назначение учителя (ш к р а б а) в школу. (Пришвин, «Охота за счастьем»)

«Шкраб» —в лукавых скобках и вразрядку: так это тогда называлось. Но это было для самого Пришвина, по всему смыслу этой главы, очень важным этапом в охоте за счастьем, и шкрабство много дало ему самому как писателю.

— Коммунисты и беспартийные, честные и нечестные деревенские шкрабы, спекулянты, рвачи, пенкосниматели, все добродетельные и злодейские персонажи великого российского детства, встаньте! (Мих. Кольцов, «135 строк лирики»)

Лирика! Все — в том числе и «шкрабы». Эти уродцы, которые так или иначе уже нераздельно связаны с воспоминаниями о детстве страны.

Честные и нечестные деревенские шкрабы...

У Валерии Герасимовой:

— Вы рассчитывали, что я «шкраб»? А я — циник. («Преподаватель математики»)

Этот лукавый человек хорошо знает, как звучит это слово: пусть наивно, но нежно (в отличие от «циника»). Он выясняет свои отношения с действительностью на этом слове.

У Сергея Бондарина в воспоминаниях о Багрицком:

— Отойдя несколько шагов, Эдуард проговорил своим хриповатым, астматическим баском:

— ...Шкраб. Мой гимназический надзиратель. Дяденька, однако, неплохой. («Птицелов»)

Багрицкий с нежностью назвал этим современным и ужасным словом дореволюционного гимназического надзирателя только потому, что он был все-таки «неплохой дяденька».

Шкрабы — воспитатели определенного рода, определенного периода нашей послереволюционной истории.

Макаренко в 30-х годах относился к шкрабам непримиримо. Возмущало его и самое слово, но больше всего возмущала та система уже нового воспитания — соцвоса, представителями которой были шкрабы.

Пылко ненавидел соцвос и «шкрабство» Б. С. Житков. Так же, как и Макаренко, но в другом стиле, этот очень разносторонний и многоопытный человек и оригинальнейший писатель воевал против шкрабского воспитания — за широкое образование детей, за то, чтоб им прививали раньше всего страсть к познанию мира.

Это уже спор по существу (не здесь место говорить об этом подробно). Но даже *честные*, наивные шкрабы теперь уже только мешают!

Два применения этого слова у Леонида Леонова:

— Буслов. Сапожник — ковыряй сапог! Строитель — строй башни свои, шкраб — учи. («Унтиловск»)

Это, конечно, целая политическая программа у Буслова, противника всего нового порядка Революции. «Шкраб» в этом порядке имеет свое точное место, определяемое, собственно, уже самим этим унылым названием. Так им и нужно!

Но вот *у нас* это слово уже отмерло, и Скутаревский передает это слово *за рубеж:*

— И потом: делегацию этих шведских шкрабов отставить.

Так им и нужно!

Б. Горбатов в «Моем поколении»:

— Шкрабом? Школьным работником, значит? Шкраб. Это нехорошее слово: шкраб. У этого слова — клешни...

Так оно и есть. Это нехорошее слово, сознательно подброшенное в язык противником, одно из орудий троеруковской («Сомов и другие») диверсии в языке. И если это слово поднимали в свое время передовые писатели — так только назло врагам. Шкрабы так или иначе были частью нового строительства и нового называния всех важнейших вещей и понятий.

Давно и безвозвратно ушло это новое слово.

## ВОЗВЫШЕНИЕ СЛОВ

Многие талантливые местные, низкие или чужие слова опрокидывали все преграды и предохранительные пометы словарей («областное», «просторечное», «жаргонное», «иностранное» и т. д.) и получали достоинство полноправных слов общенародного литературного языка. Иногда, проблистав очень недолго, возвращались в свое исходное положение. Иногда затем снова входили в большой язык.

Эти внутренние передвижения в языке никогда не прекращаются, и всегда они очень интересны и поучительны.

Но есть возвышение слова при помощи большой буквы.

История этой возвышающей слово большой буквы необычайно богата и содержательна. Здесь отметим только некоторые эпизоды из огромной истории большой буквы.

### БОЛЬШАЯ БУКВА

Около ста лет тому назад Ф. Буслаев в своей «Исторической грамматике» установил три правила употребления прописной буквы в русском языке. Как действовали эти три правила? Сохранили ли они свою силу и сегодня?

Первое правило Буслаева:

— 1) *Прописная буква ставится в начале каждого предложения или периода, после точки.*

Это правило остается в силе и сегодня. Но как разительно менялись «начала предложений» и где только не ставилась точка!

Андрей Белый выписывал из Гоголя:

— Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота. (А. Белый, «Мастерство Гоголя»)

Легко понять, почему Белому была так по душе эта «тезисная» запись Гоголя и особенно эта его Пустота с большой буквы в конце предложения, до, а не после точки.

Символисты находили в этом высшее оправдание своей поэтики и своего рваного стиля. Вот, мол, Гоголь, которого учебники называют реалистом, не может иначе, и притом тогда, когда речь идет о главной идее «Ревизора».

У Федора Сологуба:

— Опустил глаза. Подумал. Сказал. Поклонился. Убежал. Бросилась к нему. Ласкала. Целовала.

Сказуемые без подлежащего. Одно слово — начало и конец предложения. Но «предложение» никак не «выражение законченной мысли», как того требуют учебники. Весь пафос в том, что мысль не закончена и не может быть закончена. Она рвется и скачет, и это показано в самом написании, в выступающей снова и снова большой букве.

В журнальной полемике с декадентами А. Измайлов называл этот стиль, довольно резонно, «эпилептическим».

Очень интересны и некоторые другие замечания, которые делал тогда в этой связи А. Измайлов.

Он говорил, что все это идет от Пшибышевского, который тогда означал для писателей-декадентов последнее слово нового писательства и новой литературной техники.

Ср. у Амфитеатрова:

— Ограничимся, в стиле Пшибышевского, сказуемыми без подлежащего. («Закат старого века»)

— Но в польском языке, — продолжал А. Измайлов,— это более или менее естественно, а русский язык это дурно переносит.

Еще более интересно другое замечание А. Измайлова.

— Все это, — говорил он, — не только Пшибышевский, но и Дорошевич, перенесенный в беллетристику, но испорченный Дорошевич, потому что ярко талантливый

фельетонист дает совершенно разговорную фразу. Его идеал — разговорная речь. Но кто же говорит такою неврастеничною фразой?.. («Помрачение божков»)

Разговорная фраза вторгалась в беллетристику. Но из «разговора» декаденты отбирали только то, что им было необходимо: его нестроение, перескоки, его алогизм и анархизм. И «все это» требовало во многих самых причудливых случаях совершенно незаконную большую букву.

Разговорная фраза широко вошла в язык нашей литературы и в наш литературный язык после Октября. Незачем объяснять здесь, какую новую роль играл, или должен был играть, теперь этот «разговор». Но еще долго в литературе мелькает именно декадентская рубленая и рваная речь с прописными буквами над ничего не начинающими словами, над обломками разрушенного предложения (по-польски «предложение» очень хорошо называется «зданием»), над такими союзами, которые ничего не связывают, а только насильственно выстраивают в один ряд слова, которые вовсе не желают стоять рядом.

В 1928 году Горький дает такой совет писателю Неджми:

— Не следует расставлять строчки, как это делают А. Белый, А. Ремизов и, подражая им, Пильняк и другие... («Письма»)

Это — ненавистная Горькому рваная проза.

Затем «геометрия текста» по Белому, незаконная «красная строка» и флаги расцвечивания в написании и типографском наборе постепенно уходят. Начала предложений получают почти буслаевский вид.

Но прежние «начала предложений» непременно приходят на память, когда речь идет об этом прошлом. С. Маршак вспоминает:

— Погиблый народ. Голо, босо, беспоясо. («В начале жизни», 16)

В стиле того времени.

*Прописная буква ставится, кроме того, «в начале каждого стиха»,* — продолжает Ф. Буслаев (в том же первом параграфе).

Это правило пережило еще более интересную, мне кажется, эволюцию.

— Старинные писцы, — говорит Буслаев, — не знали этого правила. В начале каждого стиха они употребляли строчную букву. Этот обычай доселе сохранился в изданиях древнегреческой поэзии, а некоторыми учеными введен и в издание древних стихотворений и других европейских литератур. («Ист. грамм.», стр. 341)

И не только в изданиях академических древних авторов, где надо сохранить изначальную форму литературного памятника. В конце прошлого и в начале нашего века некоторые, самые передовые педагоги-словесники в новейших теориях словесности и хрестоматиях (В. Острогорский, А. Шалыгин и др.) принципиально отвергали это буслаевское правило. Особенно в переносах (так называемых анжамбеманах).

Они так набирали строчки Пушкина:

Выходит Петр. Его глаза
сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры.
Он прекрасен.

(«Полтава»)

Евгений за своим добром
не приходил. Он скоро свету
стал чужд.

(«Медный всадник», 2)

Большая буква в начале каждого стиха рассматривалась как устаревшая формальность, которая затемняет смысл стихов, то есть самое главное. Большая буква должна ставиться там, где ей это полагается по смыслу: в начале новой мысли, выраженной в новом предложении.

Эти передовые педагоги могли считать, что они не столько вводят какое-то дерзкое новшество, сколько возрождают старую добрую традицию. Еще Феофан Прокопович писал, что не только возможно, но и нужно, чтобы «редко мысль заканчивалась вместе со стихом, но почти всегда переносилась из одного стиха в другой» («Де арте поэтика», 3—2). Но если так, зачем мешать нам следить за переходами мысли, расставляя где-то на поворотах столбы прописных букв?

Тем более замечательно, что эта прогрессивная, в определенных условиях, тенденция получила после Октября очень сложное развитие. А сейчас уже можно прямо сказать, что побеждает именно старое буслаевское правило. Оно, после всего, оказывается самым прогрессивным!

Маяковский ставил прописную только в начале нового предложения. Само по себе это предложение могло быть очень коротким, состоять из одного слова.

Серьезно.
Занято.

(«Человек»)

А кругом!
Смеяться.
Флаги.
Стоцветное.

(«Война и мир»)

Все это — новые предложения. А там, где предложение продолжается, хотя и переходит в новую и особую строчку, особенно в «лесенке», всегда и неизменно строчная.

Эта традиция жива в произведениях многих современных поэтов, и притом самых разных направлений: у Сельвинского и у Твардовского, у Кирсанова и у Исаковского, у Асеева и у Слуцкого и т. д. и т. д.

Но многие поэты ставят прописную в начале каждого стиха, и опять это очень разные поэты: Прокофьев, Рыленков, Мартынов и др.

Когда просматриваешь какую-нибудь антологию советской поэзии или «День поэзии» такого-то и такого-то года, это различное написание играет очень ярко.

Иногда выступает в начале стиха то прописная, то строчная буква в одном и том же стихотворении.

За мир! —
Чтоб не только на нашей земле.
За хлеб! —
Чтоб не только на нашем столе...
И черная Бирма вбирает отборные
Русские зерна, Ленина зерна.
И Ленинский трактор пашет широко

У тропика Рака, в широтах Сирокко,
В Марокко, на Яве,
Рокочущей
                явью!

(**А. Вознесенский, «Год 1959»**)

Даже там, где отчетливо видна лесенка, строка А. Вознесенского начинается с прописной. Даже в предложении, которое начинается с «Чтоб».

Только в одном случае («явью») строчная: остановка, пауза перед важным продолжением.

В этой «мелочи» сказываются серьезные различия художественного мировоззрения и поэтической манеры. В каждом случае — если не говорить о несамостоятельных поэтах, подражателях и эпигонах — это продиктовано теми или иными важными мотивами.

И все же побеждает буслаевское правило.

Неправы были те передовые словесники, которые снимали большую букву в переносах, и тогда, когда они это делали. Надо ли говорить, что в пушкинской строчке из «Полтавы» большая буква над «Сияют» не лишняя! И во втором, более скромном случае «Не», «Стал» с большой буквы ничего не затемняют.

А в наше время поистине грешно лишать начало стиха большой буквы.

Старая прекрасная условность утверждает особые права и особые вольности стихотворной речи, ее по-особому активную форму. А строчная буква в начале стиха разоружает стих без сколько-нибудь серьезной компенсации за это.

Второе правило Буслаева:

— 2) *Из почтительности и вежливости, в начале некоторых слов, означающих предметы, достойные уважения: напр., Бог (в христианском смысле), Церковь (собрание верующих), Небо (в значении божества), Государь, Сенат; слова Господин и Госпожа перед собственным именем; обращение в письмах к лицу, к которому пишут: Вы, Ваш и проч.*

В старину, — говорит далее Буслаев, — поименование предметов досточтимых отличали не прописными буквами, а сокращениями и титлами, напр., Бгъ, Дхъ,

Гдрь. В древнейших рукописях сокращения и титлы не имели другого основания, кроме экономии в письме, распространенной на слова, наиболее употребительные в церковной письменности, т. е. на некоторые наименования священных понятий и лиц. Уже впоследствии этой экономии было придано иное значение, согласное с благочестивыми понятиями старинных писцов. В Алфавите, т. е. грамматическом наставлении 17-го в., так выражено принятое тогдашними писцами правило о титле:

«Во всем тщися святость от посредняго и от отпадшего всяко отделяти, и почитай святость везде взметом и покрытием (т. е. титлом), яко сущи и честна и всякия похвалы достойна». («Ист. грамм.», 341)

Большая буква в определенных, особо поименованных случаях охранялась в административном и даже полицейском порядке.

Уже хотя бы поэтому передовые писатели по-всякому обходили эти законы. Мы видели в разных местах этой книги, как героически боролся славный «Толль» с *обязательной* большой буквой.

Но духовная и гражданская цензура не только охраняла большую букву над некоторыми словами.

Она одновременно — и вполне основательно, со своей точки зрения, — пресекала все попытки поднять большую букву над теми или иными мирскими словами-понятиями.

Это означало бы уравнение в правах слов пантеистических или научных со словами божественными и, так сказать, «уценку» этих последних.

Она охраняла свою *монополию большой буквы.*

Особое значение эта борьба с духовной цензурой приобрела тогда, когда на сцену вышли символисты.

Вот рассказ мемуариста о том, как выходили в печать «Стихи о Прекрасной Даме» Блока.

— Особые опасения вызывали большие буквы многих слов, которые обычно писали с малых букв; в этом можно было усмотреть религиозную подкладку, что... давало повод для привлечения духовной цензуры. Выход был найден в том, что все стихи были представлены в цензуру с маленькими буквами, а после цензурного разрешения при печатании большие буквы были восстановлены в качестве «корректурных» поправок. (П. Перцов, «Литературные воспоминания»)

Точно так же церковь не могла допустить и Человека с большой буквы. Единственный человек, который достоин этого отличия, — Иисус Христос, Сын Человеческий и Богочеловек. Всё остальное — профанация.

Революция срывала большую букву со всех священных для церкви слов.

Но большевики упорно и страстно срывали большую букву и со слов Революции, даже — и в первую очередь — с самого этого слова революция!

— Конечно, если слова: Революция и Восстание писать с большой буквы, то это «ужасно» страшно выходит, совсем, как у якобинцев. И дешево и сердито. (Ленин, 24—507)

— Мы не подражали никому из тех, кто слово «революция» пишет с большой буквы, как это делают эсэры. (Ленин, 33—197)

Это была все та же борьба против р-революционной фразы, которая всегда и по-особому была ненавистна Ленину. Ленин работал политику (письмо Горькому, 1919), работал революцию, и слово это, написанное со строчной буквы, получило у Ленина новую силу, великолепно спорило со своей скромной формой.

Необычайно интересна судьба большой буквы после победы революции.

Многие высокие слова сброшены со своих пьедесталов, как бы обезглавлены. «Низы» поднялись к высочайшему политическому и государственному творчеству. Новая пирамида ценностей.

Снижение и возвышение слов-понятий, «приподнятость» внешняя и искусственная — и подлинный новый высокий стиль, все это получает свое очень наглядное выражение и в применении большой и строчной буквы.

Большая буква часто призывалась на помощь ложной многозначительностью.

По всей Вселенной Красный Взмах
рассеял сети дряблой Хмури.
Но и в Долинах и в Горах
еще звучат напевы Бури.
Умолкнет гневный Ураган,
и из-за Туч, как сквозь оконце, —

на возрожденный Океан
свои лучи уронит Солнце.

(Н. Власов-Окский, «Красный Взмах», 1920)

Долины, горы и тучи с большой буквы, и только на нее, собственно, возлагал все свои надежды Власов-Окский. А чтобы еще сильнее подчеркнуть эту большую букву, в начале стиха поставлена строчная.

Отметим попутно еще одно обстоятельство, о котором мы часто забываем, когда говорим о поэзии тех лет.

Еще не было радиовещания, даже «широковещания». Стихи Власова-Окского могли показаться высокими тем, кто читал их глазами, кто видел его прописные буквы. Если бы эти стихи передавали по радио, то, как бы ни нажимал диктор на некоторые слова, все это стихотворение стало бы сплошным взмахом без удара. Разве что диктор пояснил бы: «Тучи» с большой буквы», как он говорит иногда в наши дни — «в кавычках», во избежание недоразумений.

Большая буква играла важную роль в поэзии «космистов» и «кузнецов». Видную роль у «кузнецов» играл и бог, который писался с малой буквы, но очень выразительно сопоставлялся с другими словами, которые были увенчаны большой. Знамениты в своем роде строчки Ивана Филипченко, которые уже приводились выше. Там люди — просто мириады, которые кружатся, как мошки; бог с малой, но зато Труд с большой.

А вот другие прописные буквы:

То Революции веселая игра,
то фейерверк Ее, бумажная корона.
Но будничный Ее угрюм и страшен лик,
в крови Ее рука, и в копоти, и в поте.
Она работница, и каждый с Ней привык
к необходимейшей и тягостной работе.

(Е. Полонская, «Торжественные дни»)

Она — работница с малой буквы; она делает «необходимейшую и тягостную работу» — самые «непоэтические» из мыслимых слова; но, кажется, единственный раз

в советской поэзии, поднята большая буква над Ее угрюмым и страшным ликом, Ее руками в копоти и поте. А ранее большая буква над этими местоимениями полагалась только Богоматери.

Маяковский, как известно, снижает высокое; иногда совершенно серьезно говорили, что это даже было его главное дело. Но вот эти его строчки:

...как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

(«Облако в штанах»)

Величие самое настоящее, и бог никак не снижен, хоть он и написан с малой буквы.

Шли годы, проверялись и оправдывались самые большие слова. Масштаб стал в самом деле мировым. Многие большие слова, особенно в ходе войны, властно потребовали большой буквы. Как всегда, это право на большую букву было завоевано в полемике (полемика — от греческого «полемос»: война).

Андре Шамсон писал о годах войны во Франции:

— Мы не знали, имеем ли мы еще право писать слово «справедливость» с прописной буквы... («Кладезь чудес»)

А у нас в годы Великой Отечественной войны сама справедливость требовала теперь большой буквы над словами, означавшими бесконечно дорого оплаченный и реальнейший подвиг народа.

Когда прижимались солдаты, как тени,
к земле и уже не могли оторваться, —
всегда находился в такое мгновенье
один безымянный, Сумевший Подняться.

(О. Берггольц, «Памяти защитников»)

Нельзя иначе.

Взошла большая буква над многими словами, «яко сущи и честна и всякия похвалы достойна».

Третье и последнее правило Буслаева:

— 3) *В начале собственных имен и прозвищ. К собственным именам причисляются и названия праздников и известных в году дней; наименования наук и художеств; заглавия книг и статей, имена действующих лиц в баснях...*

— Мы — Гужон.

Это значило: подошел отряд рабочих с завода Гужона.

Так и в «десятках» Красной гвардии они останутся еще надолго Гужоном, то есть «частью», «подразделением», но таким, в котором все хорошо знают друг друга. Вчера работали рядом, теперь будут воевать локоть к локтю (это, конечно, очень ценно и в военном отношении).

Это большая буква второй степени — собственное имя француза, русского капиталиста стало обозначением одной из крепостей рабочего класса и стало опять собственным именем одной из частей вооруженного рабочего класса.

— Солдат у костра. Балтика, который час? Спасибо за службу, Балтика! (Н. Погодин, «Человек с ружьем»)

Балтика научит солдата, который еще не имеет собственного имени, «не робеть». Известно, что на Балтику можно в этом отношении положиться. Балтика — это характер.

— «Интеллигенция» и француз вылазят на трибуну. (Маяковский, «Мистерия-буфф», ремарка)

«Интеллигенция» не только с большой буквы, но и в кавычках. Он представитель интеллигенции, и это, в общем, правильно, потому что интеллигенция в своем большинстве именно так тогда и вылазила на трибуну. Но слово все-таки хорошее, и Маяковский не отдает его целиком этому «интеллигенция».

— Я — Рабочий класс. (Шолохов, «Поднятая целина»)

Он здесь, в деревне, Рабочий класс. Тем и интересен, как говорил Маяковский. Большая буква необходима.

Все это, в терминах поэтики, синекдоха вторая, целое вместо части.

Какое замечательное развитие должна была полу-

чить, и получила, эта фигура теории словесности в нашу эпоху!

Возникает особого рода титулование и самотитулование. Противник и обыватель обыгрывают это на все лады.

— Ее величество Фекла. (В пьесе Д. Чижевского, которая так и называлась)

Одна из кухарок, которые теперь будут управлять государством. И всевозможные вариации на эту тему: его сиятельство, его светлость...

Иногда совершенно серьезно:

— Его величество Рабочий или Пролетарий. (В очень многих стихах, особенно у «кузнецов»)

Но эти естественнейшие ехидства противника и эти наивные, тоже вполне естественные, ответы своих противнику не должны скрыть и затемнить очень важный и бесконечно плодотворный новый ход мысли.

Возникает в самом деле новое величание и даже титулование.

У Твардовского:

У нас в Союзе каждый и любой
не просто величается: такой-то...
При имени, как титул родовой, —
завод, колхоз, дорога, новостройка.

Человек и его дело как титул родовой. Его собственное имя и собственное имя его дела.

Вспомним еще раз слова Маяковского:

— Пишу стихи. Тем и интересен.

К собственным именам, писал Буслаев, причисляются и «названия праздников и известных в году дней».

Он и не подозревал, сколько будет в нашу эпоху «известных в году дней»!

Получали большую букву бесчисленные Дни (Красной казармы, МОПРа, районный День интеллигенции в селе таком-то...) и Недели (разгрузки транспорта, изживания разрухи, сбора утиля, уборки снега...).

Очень выразительно менялось значение и назначение этих Дней и Недель по мере того, как страна побеждала разруху и переходила на другой ритм и стиль работы.

В календаре 1961 года: День памяти Ленина, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, Международный женский день, День Парижской коммуны, День свободы Африки, Международный день солидарности молодежи против колониализма, за мирное сосуществование, День международной солидарности трудящихся (1 Мая), День печати, День радио, Праздник Победы, День рождения пионерской организации имени Ленина, День пограничника, День советской молодежи, Международный день защиты детей, День металлурга, Всесоюзный день физкультурника, День Военно-Морского Флота СССР, Всесоюзный день железнодорожника, День строителя, День Воздушного Флота СССР, День шахтера, День танкиста, День рождения комсомола, День годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, Всемирный день молодежи, Международный день студентов, День артиллерии, День Конституции СССР.

Дни мемориальные, дни смотра по каждому из «титулов».

А Недель уже совсем нет. Недели — это штурмовщина.

Появились улицы, фабрики или теплоходы имени Первого мая или такой-то годовщины...

Это, конечно, грубое нарушение внутренних законов языка, и такие случаи употребления большой буквы, надо надеяться, не будут повторяться, а некоторые уродливые именования этого рода будут заменены.

— В наименованиях наук и художеств...

Это правило Буслаева уже не действует. Мы пишем «физика» только с малой буквы, хотя слово это звучит сегодня так высоко, как никогда в истории (ср. Божественная Химия у Ломоносова).

— В именах действующих лиц в баснях и т. д., — говорит далее Буслаев.

Это его правило, конечно, остается в силе. И никак нельзя не привести здесь прелестный рассказ В. Федоровича о том, как одна корова получила собственное имя.

— Непородистых коров в деревне называли буренками, тасканками, горемычками и держали их больше для навоза: «до́брить полоску». Купив такую корову задеше-

во, Аграфена Алексеевна принялась правильно кормить ее и содержала в чистом хлеву. Через год корова поднялась в весе и удое, косматая шерсть на ней сменилась бурой мастью. Аграфена назвала ее именем собственным — Буренкой, а село приписало ей породу. («Есипово кольцо», 8)

Этот рассказ следовало бы, мне кажется, включить во все учебники теории словесности. По очень конкретному и скромному поводу, — вероятно, с натуры, — автор предъявляет нам изначальный механизм возникновения метонимии и синекдохи как естественнейшей необходимости, а затем — столь же естественные ее превращения. Открывается и механизм типизации. Из всех буренок одна стала Буренкой в высшей степени и поэтому стала Буренкой и по имени, Буренкой с большой буквы.

Совершенно бесподобно, что село приписало ей породу, хотя не только Аграфена Алексеевна, но и все в селе хорошо знали и сами видели, как было дело. Приписали вполне сознательно и по праву...

— *Большою же буквой,* — сказано у Буслаева в его третьем и последнем правиле, — *иные начинают и прилагательные, произведенные от существительных, в начале которых употребляется прописная буква; иные начинают строчной буквой: например, Божий и божий, Русский и русский.* (Там же)

Уже давно в прилагательных, произведенных от существительных имен собственных, писалась то прописная, то строчная буква, и это всегда играло важную стилистическую роль.

...Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать...

(Ломоносов)

Прописная, потому что каждый из них будет таким же неповторимым и единственным в своем роде, как Платон и Ньютон.

Нарицательное, но собственное.

Глубокомыслящие Канты
и на черкасских жеребцах —
в доспехах горских адъютанты...

(Полежаев, «Эрпели» — воинам Кавказа)

Прописная ироническая и каламбурная. Канты звучат как канты на форменных штанах и как канты в церковных песнопениях (ср. кантор).

Но уже давно утвердилась любовная строчная буква в таких наименованиях, как пушкинские места, блоковские ямбы, маяковская лесенка и т. д.

От Пушкина, от Блока, от Маяковского, но стало как бы изначальным, природным свойством и качеством этих мест, этих размеров, стало прилагательным.

И только недавно, по новому орфографическому кодексу, было приказано ставить в этих случаях прописную букву. Позволительно считать, что это правило, как и некоторые другие правила в этом кодексе, не будет принято языком. Оно почему-то и неизвестно зачем отменяет естественный и очень важный «словесный жест».

Русский и русский...

Удивительное прилагательное, которое стало и названием и самоназванием великого народа!

Этот факт играл очень важную роль в идейно-политической полемике.

Был «Русский Бог», совершенно особый русский бог, который был, однако же, как давно разъяснила сатира: «бог, в особенности, немцев» (Вяземский).

Была «Русская история» — не история русского народа или русской жизни (у Забелина), или России, или государства Российского и т. д., а особая, русская история, которая не укладывается, мол, в рамки общих законов человеческого развития — и законов, установленных Марксом, в особенности. И т. д. и т. д.

«Русский» как прилагательное и как собственное имя народа имеет поразительную историю. Отметим здесь только несколько эпизодов.

При р. Энс создалось очень трудное положение.

— Что делать? — спросили Кутузова.

— Вы — русские, — ответил Кутузов. — Поступайте, как подобает русским.

Русский — как особое качество людей, как прилагательное.

А П. Валуев, сановник западного стиля, хотя и коренной русский, как он считал, писал о Тютчеве по-французски:

— Il est trop russe.

И далее следовала довольно большая тирада «о слишком русских».

Как всегда, особенно ярко разобрал этот конфликт в слове «Русский» и в самом его написании Щедрин. Он писал по поводу так называемого «заявления» московских студентов по польскому вопросу:

— Орфография тоже весьма удовлетворительна, кроме того, что слова «Московский», «Русский» пишутся с прописных букв: это без всякой нужды пестрит печать (но, с другой стороны, если такое правописание есть плод патриотических чувств, то в этих видах можно и его допускать, как исключение). (6—141)

Блестящий щедринский сарказм: можно допускать — в верноподданных и охранительных видах.

Так и в дальнейшем такого правописания придерживались только охранительные газеты и журналы. Прогрессивная печать неизменно писала это собственное имя прилагательное с малой буквы.

В этой связи необычайно интересен один ленинский документ, который был впервые опубликован только недавно. Это удостоверение Магомету Яндарову, чрезвычайному военному комиссару Терской области в 1918 году, которое было написано или, по крайней мере, отредактировано Лениным.

— Закрепление за русскими крестьянами, Чеченцами, Осетинами, Ингушами, Кабардинцами, Кумыками, Ногайцами... их неотъемлемых прав на устроение своей национальной жизни. (Опубл. в «Дружбе народов», 1957, № 9)

В старину названия цивилизованных народов, в том числе и Русского, писались только с прописной буквы: Французы, Английцы, или Англичане, Немцы, Евреи и т. д. Другое дело — мирные или немирные чеченцы, черкесы и «татары», под которыми разумелись оптом многие и самые различные народы.

В удостоверении, отредактированном Лениным, само написание говорило очень ярко о полном отказе от ве-

ликодержавной политики старой России в отношении всех народов, в том числе и тех, которые были в то время еще очень отсталыми. Чеченцы, Ногайцы (а в древних документах это слово звучало почти как нарицательное: вообще «степняки») — с большой буквы. А из русских, проживающих в Терской области, право на устроение национальной жизни должны иметь только русские крестьяне — крестьяне, русские по национальности.

Большая или строчная буква в названиях и самоназваниях народов имеет, как видим, большую историю и полную исторического смысла традицию.

А сейчас, мне кажется, уже настало время возродить старинную и славную традицию: писать имена всех народов, и в первую очередь Русского, с большой буквы. Вероятно, и у Щедрина не было бы возражений против такого правописания.

## ОБЛАСТНЫЕ

Ив. Аксаков упрекал Тургенева за то, что он пишет «по-орловски, а не по-русски».

Тургенев, однако, никогда не выдавал местные, орловские слова и обороты речи за общерусские. Он писал:

— Не давайте своему таланту ни заснуть, ни рассыпаться, ни, говоря орловским словом, зачичкаться — то есть до времени высохнуть. (Письмо В. Кашперову)

Он объявлял иногда «областными» даже такие слова, которые были уже общенародными (например, «незадача»). Он сообщал читателю в «Хоре и Калиныче» очень точно:

— орловское наречие отличается множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов.

Но вот что более всего интересно.

Многие своебытные и весьма меткие слова орловского наречия Тургенев включал в речь своих героев и свою авторскую речь таким образом, что они стали «после Тургенева» словами общенародного языка.

*Областничество* играло очень различную — и прогрессивную и глубоко реакционную — роль в различные эпохи нашего общественного развития.

Когда еще только создавался наш литературный язык, Пушкин, создавший этот язык, не сочувствовал попыткам Даля пересадить в литературный язык диалектные и «простонародные» обороты.

— Пушкин, — пишет профессор Л. Булаховский, — не был жертвой ошибки, дань которой отдал в свое время... Даль... Он с характерной для него ясностью различал, что диалекты — диалектами, а язык книги — совсем другое... что дело идет не о слоге определенных, хотя бы и «народных», жанров, а о словаре и синтаксисе, которые вообще могут служить средством «простой», естественной передачи любого нового содержания.

Однако в дальнейшем за диалектизмы и слог «народных» жанров в общенародном языке выступали не раз самые передовые деятели русской культуры. Они считали, что, в отличие от мертвого «петербургского», автономного от жизни литературного языка, только областные наречия живут настоящей жизнью, только в своем языке народ свободен.

Но и противник — славянофилы и другие — расцвечивал свой язык диалектизмами и слогом «народных» жанров. Он утверждал таким образом устойчивость, незыблемость, исконность и т. д. «основных начал» и в политической жизни и в языке.

Очень усердно выискивали темные, узкие, местные слова и декаденты, такие слова должны были звучать литературно только потому, что в общенародном языке были необычны и непонятны. Это были только «материалы» для обновления литературной формы. Так было и у нас и на Западе.

В начале Революции и у нас началось было «раскрепощение» языка при помощи диалектизмов и слога «народных» жанров. Это было то же движение, которое так неудержимо влекло новаторов к архаизмам. Диалектизмы и были уже в большинстве архаизмами...

В Саратове в эти годы существовало книгоиздательство «Курганы», которое, как оно заявляло в своем обращении к читателям, ставило перед собой «определенную задачу — помочь осуществлению идей русского режионализма». Идеи русского «режионализма», как и французского, заключаются в стихийно возникшем стремлении провинции самоопределиться, сбросить с себя ненужную и иногда вредную зависимость от мнения

литературных центров... Россия слишком велика и своеобразна в отдельных областях... чтобы литературный центр, даже извлекая из провинции ее лучшие силы, мог справиться вполне со своими основными задачами... [В центре эти силы из провинции] теряют связь со средою, вырастившей их творческую индивидуальность, и обращаются постепенно «в холодных профессионалов из страстных творцов» и т. д.

«Режионализм» в нашу эпоху мог быть только глубоко реакционным. Партия и государство неуклонно боролись с «режионализмами» самого различного рода и с областничеством в языке. Ленин, как известно, считал словарь Даля «областническим». Горький выступал, можно сказать, непрерывно против засорения языка диалектизмами. Всем, всем! — говорила Революция. Но если так, то надо было говорить по-русски, а не по-орловски, по-сибирски, по-ростовски или по-одесски.

Споры продолжаются, и чаще всего происходит самое опасное в данном случае смешение понятий: язык литературы и литературный язык.

В. Закруткин привел в одной из своих статей такой разговор писателя с редактором:

— Что вы думаете о языке такого, скажем, писателя-провинциала?

В списке значились слова: засумятились, хошь, изловимши, не емши, таперича, гладух, брюха замерзла, стервецы, фатает и т. д. и т. п.

— Что же, — редактор пожал плечами, — можно было не предупреждать, что товарищ из провинции, это видно по его словарю.

— Совершенно верно, — сказал я, — почти всю жизнь он жил в деревне и написал известный роман, из которого выписаны эти слова.

Редактор спросил:

— Какой роман?

Я ответил:

— «Война и мир»... («ЛГ», 7/IV 1959 г.)

Так, мол, эффектно писатель разыграл редактора, который, как все редакторы, боится хороших областных слов.

Но легко видеть, что слова эти выписаны из речевого языка (термин Горького) крестьянских героев Толстого, а не из его авторской речи; даже Толстого, который так

часто принимал народные обороты своих героев в свою авторскую речь.

Но мало того. Все это не областные, провинциальные слова, а народные формы общепринятых выражений и форм, как на грех, не лучшие, чем общепринятые и литературные. «Изловимши» и «брюха» никогда не пройдут в литературный язык, хотя какое-то время будут отражать реальные особенности речевого языка той или иной области. Они недостойны общенародного литературного языка.

Так в самой наглядной форме предстала идея литературного языка. Это раньше всего общий язык народа, язык, который народ согласен и хочет считать общим. Именно этот признак, очень неустойчивый на первый взгляд, оказывается решающим. Революция чрезвычайно усилила чувство национальной гордости и создала новые представления о «золотой» русской речи, в отличие от «серебряной» или даже «медной», о большом, всенародном языке, в отличие от «маленько-мужицкого слога» (Белинский). Как бы сам собой разрешился «проклятый» для языковедов и литературоведов вопрос: что такое литературный язык?

Все строже народ принимает слова в общий язык; иногда строгости становились, как увидим, чрезмерными, неразумными, опасными. Тем замечательнее, что многие областные слова в нашу эпоху все-таки пробились в золотой общенародный литературный язык; пробились или еще только пробиваются, но, по всем признакам, непременно пробьются, потому что они талантливы и, стало быть, для всех интересны.

## БАСКОЙ

Слова «баский», «баской» можно, хотя и с трудом, найти у Даля в гнезде «баса». Поставлены они в один ряд с «басистый» и другими далеко ушедшими от «баский», «баской» словами. Обычной у Даля отметки о тех или иных губерниях, где оно бытует, нет. Даль, видимо, считал эти слова уже общерусскими.

Другое дело — наречие «баско́» в значении «красиво, нарядно, щеголевато» (ср. древненовгород.: «Москвич

слишком баско говорит...») и «славно, по-молодецки». Слово это заключено у Даля в квадратные скобки как не общепринятое, хотя область его применения охватывала, по Далю, четырнадцать губерний Российской империи — и притом самых различных по особенностям своего говора.

А Словарь ИАН 1891 года отмечал это слово уже не как областное, а как *простонародное.*

Оно хорошо жило и живет в народных песнях, и в былинах, и в народном разговоре.

— Она ростом высокая, станом она становитая, и лицом она красовитая, походка у ней частá и речь баскá... («Онежские былины»)

— Слышь, басенькой! Айда на сеновалочке тебе постелю да сказки приду сказывать. Хошь?

Это у А. Караваевой в романе о Пугачеве «Золотой клюв».

У П. Бажова:

— Сама черненька да басенька, а глазки зелененьки. («Малахитовая шкатулка»)

— В одном месте больно баско показалось... Баское место. (А. Бондин, «Лога», 2).

— Она [река Сýхона] баскими дарит сказками, а за сказками бает быль... (С. Орлов, «Побывальщина»).

Короленко, однако, считал нужным дать к «баскому» пояснение:

— Да и баская же, подлая... (Баская — красивая.) («История моего современника»)

У Куприна «сам великий Неежмаков» учил молодого писателя Гущина влезать в язык до самой основы, «чтобы чисто было». Он говорил ему «на своем замечательном волжском наречии»:

— ...а то у тебя как будто и хорошо, и ладно, и баско... а все как-то по-стрекозиному... («Груня»)

В 1952 году в пермском областном альманахе «Прикамье» был напечатан роман Н. Сластникова «Леонид Габов», и в нем один из героев по ходу действия говорил:

— Какой он баской! Личико чистое, приятное. А руки?

Отметим попутно, что среди четырнадцати губерний, в которых, по записям Даля, ходило это слово, не было

Пермской и других прикамских. Стало быть, «область» его применения теперь (или всегда была) еще шире.

Как только вышел в свет роман Н. Сластникова, в одной нашей центральной газете появилась статья, в которой включение слова «баской» в литературный текст, хотя и не в авторской речи, клеймилось как засорение языка областными речениями.

Но и до Н. Сластникова, как мы видели, и после него, после той статьи в центральной печати, которая пыталась лишить «баский, баской» прав общесоюзного гражданства, эти слова охотно применялись нашими писателями. Особенно наречие «баско́» и прилагательное «баской» (а не «баский»), с суффиксом -ой, который означает обычно не временное качество, а уже постоянное свойство, важнейшую черту характера (ср. боярин Умной-Колычев, человек острой, лютой, дикой, тощой, глупой, живущой придорожник — у Шолохова и т. д.).

— А баско летать? — Баско. (И. Соколов-Микитов, «Над синей тайгой»)

У Степана Щипачева в повести о детстве («Березовый сок») совсем недавно и в рифму:

— Баской-то какой! Как Спирька наш...

...Судьба этого слова еще не решена. Оно, можно сказать, стучится в дверь общенародного литературного языка, но его, как мы видели, еще не пускают.

По всем признакам, оно все-таки пробьется: это слово содержательно, притягивает множество ассоциаций (у Даля 22 синонима), хорошо звучит и рифмуется. А никому еще не удавалось закрыть дорогу в язык хорошему слову!

### ШУРШАТЬ

К. Федин отметил замечательный факт:

— Тургенев сто лет назад в «Бежином луге» счел необходимым взять в кавычки глагол «шуршать» и, кроме того, сделать к нему пояснительное добавление: «как говорится у нас», то есть в наших местах, в Орловской губернии. «Камыши то́чно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас».

Значит, в первой половине XIX века в русском литературном языке еще не было общепринятым выражение:

«камыши шуршат». Но ведь впоследствии и до наших дней никому из поэтов, писателей и вообще никому не приходило в голову брать в кавычки слово «шуршать», относить его к речениям местным, областным... («Писатель, искусство, время»)

Сейчас уже трудно и поверить, что слова «шуршать» не было в словаре Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Но и во второй половине XIX века этого слова не знал еще и Даль, хотя он, как известно, питал особое пристрастие к талантливым областным словам. И даже в последнем предреволюционном, «исправленном и значительно дополненном» И. Бодуэном де Куртенэ издании Даля «шуршать», собственно, совсем нет. Есть «шурчать» с пометкой «тамбовское» и «шуршить» (без признаков переходности: «вода шурчит», журчит) с пометкой «сибирское».

Это была уже попросту ошибка Бодуэна де Куртенэ, потому что к тому времени «шуршать» без кавычек и пояснений было активным словом литературного языка:

— Иду ли я по темному лесу али по широкой дороге, вдруг зашуршит, зашуршит что-то у меня в голове, словно птица туда залетела. (Левитов, «Один доктор», 1863)

— Слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. (Л. Толстой, «ВиМ», 2—3—2; 1864—1869)

— Я слышу, как ползут огромные змеи, как они шуршат по траве. (Лесков, «Легендарные характеры»)

— И у обоих под ногами шуршал гравий... (Чехов «У знакомых»)

— Мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы. (Бунин, «Танька»)

И т. д. и т. д.

В стихах Маяковского «Пустяк у Оки», которые были напечатаны в 1915 году в «Новом Сатириконе»:

Нежно говорил ей —
мы у реки шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки,
будто наполнена Ока мышами...»

Незадолго до того было опубликовано стихотворение К. Бальмонта о «шуршащих камышах». Оно представляло собой отличный образец блестящей, но пустой оркестровки стиха, много раз исполнялось с эстрады, вошло во многие учебники по теории стиха и в многочисленные

пособия для начинающих поэтов. Молодой Маяковский в своем «Пустяке у Оки» уже снижал и передразнивал эти беспредметные шуршания Бальмонта.

Еще «областное» для Тургенева, это слово стало общенародным и литературным. Оно показалось более точным, чем все прежние, потому что и раньше ведь так или иначе шуршали шершни, шелковые платья, мыши, змеи, гравий, шуршелки (старое народное название конской болезни) и т. д.

Д. Ушаков в своем словаре приводил под словом «шуршать» пример из Фадеева:

— Слышно было, как шуршат за печкой тараканы...

Это был тот самый пример, который ввел К. Федина в ошибку (К. Федин утверждал, что Д. Ушаков причислил «шуршать», а не «шуршить» и пр. к областным словам). Но тогда же К. Федин с полным основанием писал:

— Если к живым истокам фадеевской речи примешивалось влияние какого-нибудь областного языка, то это язык дальневосточный. Но раз слово «шуршать» употребляется на пространстве от Орловской области до Дальнего Востока (а оно бытует и от Мурманска до Астрахани), и если оно живет в русской литературе целый век, от Тургенева до Фадеева, то доколе мы будем считать его «областным»? («Писатель, искусство, время»)

«Шуршать» давно перестало быть «областным» словом. Оно широко применяется в общенародном литературном языке, оно уже не раз весьма интересно и своеобразно исполнялось в советской литературе.

В каждой щели шуршит тараканья тоска.

(Исаковский, «Поэма ухода»)

...Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем...

(О. Мандельштам, «Я по лесенке...»)

— Заслышав тайное, уловимое только его мыслью шуршание тишины, похожее на шум ссыпаемой земли... (Л. Сейфуллина, «Каин-кабак»)

— Ну, конечно, бабы начали шуршать: вот, мол, она, дочерняя солидарность. (К. Паустовский, «Аннушка»)

Шуршит свинец в несжатой ржи.

(А. Сурков, «Песня о слепом баянисте», 1942)

И т. д. и т. д.

Хорошее областное слово вошло в общенародный язык, — это один из очень многих примеров того постоянного отбора и возвышения удачных словесных решений, решений, которые происходят в языке непрерывно.

Но вот что, мне кажется, более замечательно.

Еще сравнительно недавно это слово поразило Тургенева своей точностью, меткостью, свежестью. Теперь оно уже утратило именно точность, стало казаться не только привычным, но и слишком общим для столь многих и различных шуршаний. Писатели, особенно те, которых можно назвать мастерами звукописи, как бы сторонятся его. У Пришвина, Шолохова, Леонова, Вс. Иванова, А. Малышкина, Б. Шергина и многих других слышен замечательный спор голосов, здесь целый мир звуков, сотни «звукоподражательных слов», но «шуршать» уже либо заменено более точным, либо как-нибудь обработано и отработано, по-новому озвучено.

— Кинуло в уши шурхом, кустяным звоном. (Малышкин, «Дожди»)

Разговор Маяковского с Асеевым:

— Асейчик, что такое шерешь?

— Шерешь — это молодой утренний ледок на лужах при первом морозце.

— А откуда оно пошло? Может быть, от «шуршать»?

— Возможно, и так.

(Асеев, «Ищем речи точной и нагой»)

— Фаюнин. За обоями так, бывало, стайками и шурстят [мыши]. (Леонов, «Нашествие»)

— Дашенька. Ночью часок-другой подремит на казенной жесткой коечке и опять до свету бумагой шурстит. (Л. Леонов, «Золотая карета», 1)

— Как шарах мышей в пустых парах... (А. Белый, «Пустой простор»)

Арапник шуршал: шу да шу! Полз ровно змей...

(Хлебников, «Ночь перед Советами»)

Топот
и шепот
слышен:
— Тсс,
Шура-ша!
Ребята!
Рвите
тише,
не
шура-
ша.

(С. Чекмарев, «Ранние стихи»)

Уже давно полноправное «шуршать» стерлось и уступает свое место другим, часто еще «областным», не принятым в язык словам.

### РАХМАН(Н)ЫЙ

«Рахманный» — слово восточного происхождения; оно рано обрусело и замечательно у нас обработалось.

— Когда человек поевши, рахманьше будет... (Сб. «Русская сатирическая сказка»)

«Рахманов» — довольно распространенная русская фамилия (см. у А. Селищева, «Происхождение русских фамилий, имен и прозвищ»); ср. «Рахмановские ключи» в Восточном Казахстане, по имени русского крестьянина-землепроходца Рахманова; ср. Рахманинов).

Даль отмечает двоякое значение слова «рахманый» (с одним или с двумя «н»): на юго-западе и юго-востоке — вялый, хилый, скучный, на севере и востоке — как будто прямо противоположное: веселый, разгульный, беседливый, тароватый, тчивый, щеголь; а еще в других губерниях, в том числе и в тех, которые уже были им названы ранее, значение смешанное, шаткое.

И как резюме у Даля: «Рахманный — пополам с дурью...»

Вполне очевидно, что географическое размежевание различных его осмысливаний здесь шатко и условно.

«Рахманый» — само по себе слово многозначное, внутренне противоречивое. Всюду «рахманый» имело значение смешанное «пополам» и в конечном счете единое.

А Словарь ИАН в изданиях 1847—1867 годов не знает этого «смешанного значения». Здесь только одно и бедное значение:

— Небойкий, нерасторопный. *Рахманный мужичок.*

Как характерен этот «мужичок» в Академическом словаре! И как хорошо видна в этих двух толкованиях слова «рахманный» великая роль Даля в изучении живого языка! Он первый расслышал и записал этот реальнейший спор значений в слове «рахманный».

А вот «рахманный мужичок» у Эртеля:

— Рахманный! Уполномоченный матерью, приказываю тебе немедленно по получении уволить конюшего Капитона с истребованием от него надлежащей отчетности. («Гарденины», II—9)

Мужичок по фамилии Рахманный — староста, бездушный исполнитель барских приказов. Сама фамилия здесь хорошо играет. А еще называется — рахманный!

Фамилия «наступает» на такие казенные, безразличные к крестьянскому горю слова, как истребование надлежащей отчетности и пр.

В «Живом трупе» Толстого диалог Маши и Феди:

— Маша. ...Читал ты «Что делать?»

Федя. Читал, кажется.

Маша. Скучный роман это, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его? Рахманов... взял, да и сделал вид, что он утопился. (IV, 1—5)

Маша спутала Лопухова с Рахметовым, а Рахметова назвала Рахмановым потому, что нетвердо помнила имя этого героя, но еще и потому, что так, по ее мнению, лучше — Рахманов! Был так, какой-то рахманый.

А Маша «привела» его к Рахманову. Она и Федю, конечно, считала рахманым; это в самом деле очень подходящее для Феди слово.

В нашей театральной жизни последних лет одно из самых замечательных событий — М. Ф. Романов в роли Феди Протасова. У него Федя именно рахманый; удивительно точно звучит в этом спектакле диалог Маши и Феди.

В «Золотой карете» Л. Леонова есть «факир», несчастный и мудрый человек. Он избрал себе для афиши фамилию Рахума. Это очень «по-индийски», как и полагается настоящему факиру. Но это, кажется, имеет особый смысл для Рахумы, вся семья которого погибла в

Бабьем Яру: жалость, милость по-древнееврейски — рахамим; этим словом начинается еврейская заупокойная молитва.

— Минна своих земляков назвала «гемютлихе саксен», и Алпатов весь день искал в русском языке подобного слова: добрые, простые, уютные — все было не то... И вдруг догадался, что значит по-русски это немецкое слово: саксонцы рахманный народ. (М. Пришвин, «Кащеева цепь»)

Алпатов нашел, собственно говоря, слово гораздо более нежное и свежее, чем немецкое, уже измельчавшее и оглупленное, хотя и выразительное по своему звучанию — «гемютлихе».

Пришвин применяет это слово как общерусское, без пояснений и оговорок.

У Соколова-Микитова:

— Он был болезненный, смирный (рахманный называют по нашей местности таких людей). (II—301)

«По нашей местности» уже стало лишним.

Долгое время это слово было в литературе местным и редким, даже коллекционным словом. Но оно драматично, многозначно, изящно. Даже человек, который не знает в точности его значения, многих его значений и тем более его первоначального смысла, удивительно скоро догадывается по самому его звучанию, что оно должно обозначать.

И вот уже это слово перестало ощущаться как местное или коллекционное, почти снобистское: оно вошло в общенародный и литературный язык.

### САБАНТУЙ

— Красочным зрелищем явилось представление народного праздника «Сабантуй». Сцена Большого театра превратилась как бы в огромную площадь, заполненную праздничной толпой. Соревнуясь в ловкости и силе, выступают борцы, один за другим в круг выходят танцоры. («Правда», 7/V 1955 г.)

Это башкирский народный праздник-состязание — сабантуй.

Выходит в круг кузнец Кутуй
с Андреем — русским — в паре.

Шумит, клокочет сабантуй,
спортивный день в разгаре.
От малышей до стариков,
сегодня все спортсмены.
У нас в Башкирии таков
обычай неизменный.

(М. Гафуров, «Сабантуй», газ. «Советская Башкирия», 27/VI 1958 г.)

Но «сабантуй» давно уже живое слово и в разговорной речи донецких шахтеров.

— «Сабантуй» — слово залетное, — писала недавно «Литературная газета». — Каким ветром его занесло в Донбасс, установить трудно. Известно одно: так у некоторых народов называется весенний праздник. У горняков это слово приобрело другое значение: сабантуй — день высокой добычи угля, достигнутой в результате штурмовщины. В Донбассе говорили: сабантуй начинается там, где кончается порядок.

Вероятно, это слово и в Донбассе, когда оно сюда впервые залетело, сохраняло свое праздничное, веселое значение. Привлекало самое звучание — необычное, но энергичное и резкое.

Затем, *в применении,* слово испортилось. Уже все знали, как иногда нечисто оно применяется, как достигаются «сабантуи». И самое слово стало звучать несерьезно:

— Я тебе такой сабантуй устрою...

В годы Отечественной войны это слово зажило новой жизнью. Оно очень понравилось Василию Теркину, то есть народу.

Вот под первою бомбежкой
Полежишь с охоты влёжку,
Жив остался — не горюй:
Это — малый сабантуй.

Там же, в «Василии Теркине»:

Сабантуй бывает разный,
А не знаешь — не толкуй...

И уже очень важно:

Тем, кто прибыл с немцем драться,
Надо, как там ни толкуй,
между прочим, разобраться:
что такое «сабантуй».

— Откуда это слово в «Теркине» и что оно в точности означает? Такой вопрос, — пишет А. Твардовский, — очень часто ставится мне в письмах и в записках на литературных вечерах и просто изустно, при встречах с различными людьми.

Слово «сабантуй» существует на многих языках и, например, в тюркских языках означает праздник окончания полевых работ: «сабан» — плуг, «туй» — праздник.

Я слово «сабантуй» впервые услышал на фронте ранней осенью 1941 года, где-то в районе Полтавы, в одной части, державшей там оборону. Слово это, как часто бывает с полюбившимися словечками и выражениями, употреблялось и штабными командирами, и артиллеристами на батарее переднего края, и жителями деревушки, где располагалась часть. Означало оно — и ложное намерение противника на каком-нибудь участке, демонстрацию прорыва, и действительную угрозу с его стороны, и нашу готовность устроить ему «угощение». Последнее ближе всего к первоначальному смыслу, а солдатскому языку вообще свойственно ироническое употребление слов «угощение», «закуска» и т. п. Слово «сабантуй» мы с моим товарищем по работе в газете С. Вашенцевым привезли из этой поездки на фронт, и я его употребил в фельетоне, а С. Вашенцев — в очерке, который так и назывался «Сабантуй». (А. Твардовский, «Ответ читателям «Василия Теркина»)

И пошло это слово.

У Г. Бакланова, «Пядь земли»:

— Не нравится мне немец сегодня... Как бы он нам к утру не устроил сабантуй. Так договорились: снарядов не жалей.

На фронте его повторяли и те, для которых оно было родным, знакомым с детства, и те, которые знали уже несерьезное его применение, и, главным образом, те, ко-

торые его совсем не знали. Новое военное слово.

Недавно С. Орлов рассказал, как он вместе со своим другом, украинским поэтом Платоном Воронько, путешествовал вокруг Европы. В Болгарии Воронько встретил фронтового друга, и все вместе решили устроить сабантуй — встречу друзей.

Теперь если в Донбассе «сабантуй» еще может означать и несерьезную штурмовщину, то одновременно это слово связано уже и с совсем другими ассоциациями.

Иноязычное, затем «областное», не совсем понятное слово поумнело, стало многозначным, даже противоречивым и тем более ценным и важным. Оно вошло в русский язык.

### ГУТА́РИТЬ, ГУТОРИТЬ

— Мирон-работник. Спасибо, брат Васюк, что ты отомкнул прилавок-от, а я с баринам-та загутарился. (В. Лукин, «Щепетильник», 3)

Лукин в этой комедии впервые вывел на сцену двух мужиков, и эти мужики, приказчики в лавке щепетильника (то есть галантерейщика), выражались со сцены совершенно как в жизни, по-народному, а точнее — по-костромски.

Это было смелое в 1765 году нововведение В. Лукина в «склоненной на русские нравы комедии, свободно переведенной с французского». И для этой демонстрации, по-видимому, особенно годились такие слова, как «гутарить», «позагутарился».

У Крылова это народное слово получило особое и весьма интересное прикрепление:

Лакеи, гу́торя, плетутся вслед шажком,
учитель с барыней болтает вздор тишком...

(«Муха и дорожные»)

Лакеи гу́торят, учитель с барыней болтают.

Но Жуковский в своей рецензии на «Басни Крылова» (1809) считал оба эти выражения в равной мере «противными вкусу» и, стало быть, недостойными литературы.

Нет этого слова у Пушкина, даже там, где говорит народ: пугачевцы не гутарили.

Нет этого слова у Лермонтова, даже в «Вадиме».

— Федор Петрович разгуторился, разговорился и так легко себя чувствовал, как будто в обществе своей собратии офицеров. (Вельтман, «Из моря...», 1—5)

Свободный, но несерьезный офицерский гутор, переполненный «своими», условными выражениями.

Кольцов много раз применяет это слово в очень важных связях.

В церкви поп Иван
Миру гуторит,
Что душой за кровь
Злодей платится.

(«Удалец»)

Но «злодей» этот — борец за народное счастье, и напрасно поп Иван что-то о нем гуторит миру. Никто не поверит этому гутору.

Гости пьют и едят,
Речи гуторят:
Про хлеба, про покос,
Про старинушку.

(«Крестьянская пирушка»)

Гуторят, однако, не только про старинушку, но и про самое главное, сегодняшнее. Серьезный гутор.

Строгое различение, даже размежевание понятий у И. Кокорева.

— Везде говорили или гуторили, пели или курлыкали... (в трактире «Старая изба» — повесть «Саввушка», 4)

Одно дело — говорить, другое — гуторить.

У М. Михайлова:

— Денис встал из-за стола, погуторил еще немного со своей слабостью и отправился... на реку. («Адам Адамыч», 4)

Со своей слабостью — то есть со штофом водки. Особого рода разговор.

Слово это ненавистно Белинскому.

— Между ними [русские женщины-писательницы] примеры подобного романтизма, или безграмотности, со-

ставляют исключения из общего правила, исключения, которые остаются за немногими теми, которые, соблазнившись некоторыми журналами, пустились «гуторить» в них народное (т. е. огородническою речью).

Не народное, а огородническое, то есть псевдонародное и, скорее всего, мещанское (ср. выше у И. Кокорева).

У Даля слово это разработано довольно подробно, но нет и следов той полемики, которая уже разыгралась вокруг этого слова (Жуковский, Белинский, Кокорев, Михайлов и др.).

Примеры Даля:

— *С тобой ладно гутарится, гуторится,* беседуется. Гутор, гуторка — говор, беседа, болтовня, разговор. *О чем у вас гутор? За гутором пчол слова не слышно. У нас такая гуторка,* такой говор, произношение или речь. *Сказать тебе гуторку?* Прибаутку, пословицу, поговорку...

Слово бытовало, по Далю, в немногих областях (вор., тмб, влгдс.), и нет среди них Области Войска Донского, нет и украинских губерний («жваво гуторили» и т. д. в старых украинских словарях).

Словарь ИАН 1847—1867 годов дает это слово с отметкой «простонародное», а пример только один — уже известный нам пример из Крылова, но в другой редакции: «Гутóря слуги вздор, плетутся вслед шажком».

Слуги, а не лакеи; перемещено ударение, и нет второй строчки, где «гуторить» сопоставляется с «болтать» — у людей образованных.

А. К. Толстой включает это областное и сравнительно новое слово в свою былину «Поток-богатырь»:

...видит Владимира вежливый двор,
За ковшами веселый ведет разговор,
Иль на ловле со князем гутóрит,
Иль в совете настойчиво спорит.

(«Поток-богатырь»)

Это, как и во многих других случаях у А. К. Толстого, намеренное смещение, снижение высокого строя и лада при помощи слов разговорных и современных.

«Простонародное», оно встречается затем в языке литературы сравнительно редко и почти только в документальных записях прямой речи, как «краска» речевой характеристики.

— Обещалась с тобой погутарить... (А. Эртель, «Гардениным», IV)

И позднее:

— Пьют чай с баранками, гуторят о том, о сем... (И. Касаткин, «Село Микульское»)

По контексту, это отзвуки прошлого. В селах еще не научились разговаривать по-настоящему, только гуторят о том о сем.

Отношение к этому слову уже спокойное: не «огородническое», не мещанское, а просто одно из разговорных, привлекательных по звучанию и певучих слов.

А. Преображенский в своем «Этимологическом словаре»:

— Гуторить — говорить, болтать, областное. Может быть, по контаминации: говорить и тараторить, или же звукоподражательное от первичн. Гу! Ср.: Ни гу-гу.

Оно осталось областным, не вошло в литературный язык и после Октября.

Хлебников играет этим словом:

И созвездий гутор
И вишневый хутор.

Всевышний гутор. Но слово это хорошо рифмуется с «хутор», и это для Хлебникова, как всегда, полно смысла.

У Есенина:

Взрыкает зыбка
Сонный тропарь:
«Спи, моя рыбка,
Спи, не гутарь».

(«Вечер, как сажа»)

И с земли гуторит с богом
В белой туче-бороде.

(«Микола»)

Тоже всевышний, церковный, но по-особому интимный гутор — интимный гутор с богом.

Это слово выступает как необходимое и очень важное в «Тихом Доне» Шолохова.

В переизданиях «Тихого Дона» Шолохов, как извест-

но, многие областные выражения и слова характернейшим образом переводил на русский язык или по крайней мере разъяснял. Это донское слово он, однако, оставлял в неприкосновенности, и оно играет у него очень серьезную роль.

— Иной раз загутарит, да так все непонятно, церковным языком. («Тихий Дон»)

Лагутин Листницкому:

— Народу правда нужна, а ее все хоронют, закапывают. Гутарют, что она давно уж покойница.

Лагутин лукаво ссылается на народную молву, на то, что так, мол, гутарют в народе. А Листницкий вносит в дело полную политическую четкость:

— Вот чем начиняют тебя большевики из Совдепа. (Там же)

Вот откуда тот уже не «церковный», а всем очень понятный и серьезнейший гутор.

Особенно интересно одно шолоховское применение этого слова:

— Я так понимаю: направдок гуторить — так направдок.

Это уже не болтать, калякать (толкование Даля), а до конца, по-настоящему. Новое «гуторить», «из Совдепа».

Очень важное «гуторить» в речи Момыш-Улы:

— Хотелось пофилософствовать, погуторить, как говорят русские, с этим интересным собеседником, моим образованным сородичем. (А. Бек, «Резерв генерала Панфилова»)

Как говорят русские... Для Момыш-Улы это слово очень русское и высокое. «Пофилософствовать» и «погуторить» в одном ряду.

«Гуторить» так и осталось областным словом. Но, певучее, изобразительное, оно очень привлекательно и часто призывается писателями — не только для речевой документации...

### ЕЛАНЬ

Это прелестное слово значится уже у Татищева в его «Лексиконе Российском».

— *Елань. Татарск.* Поле чистое, степь.

Хоть и татарское, оно было принято Татищевым в русский язык в середине XVIII века — одно из той «едва ли полсотни татарских слов», которые, как считал Пушкин, перешли в русский язык (в словаре самого Пушкина нет этого слова).

Позднейшие исследователи (Корш, Потебня, Преображенский) также считают его заимствованием из тюркских языков (по Преображенскому — из башкирского), но в русском языке относят его не к общенародным, а к областным.

Даль:

— *Елань, мск., ряз., тмб.,* обширная прогалина, луговая или полевая равнина; *сиб.* то же, возвышенная и голая, открытая равнина; лысина, плешина. *Еланка...* Еланщик, крестьянин, у которого пашня в лесу, на елани, куда и он иногда самовольно выселяется (см. алань). (И под «аланью» тоже «мск., ряз., тмб.,», но без «сиб».)

В Академическом словаре издания 1848 и 1867 годов этого слова совсем нет. В издании 1891 года оно «областное».

А. Преображенский писал:

— *Диал.,* сиб., кое-где в Европейской России.

У Толстого в «Воскресении»:

— С боков открылись елани (поля). (3—20)

Пояснение в скобках областного сибирского слова.

У Куприна тот же «великий Неежмаков», который умел так баскó писать, говорил своим ученикам на своем замечательном волжском наречии:

— Помнишь, как у меня в «Иртышских очерках» написано? «Айда с андалой на елань поелозить». Что это значит? В том-то, брат, и уксус! По-русски выходит в переводе: «пойдем с дружком на лужайку побродить». Вот оно, настоящее изучение языка. («Груня»)

Итак, слово коллекционное, одно из слов, которые выискивал для украшения своего стиля несерьезный Неежмаков?

Но вот в 1929 году сам Куприн выпустил в Белграде сборник своих рассказов под общим заглавием «Елань»...

Это было, по-видимому, одно из тех слов, которые особенно привлекали эмигрантов как память о потерянной родине. Слово это мелькает довольно часто и в прозе и в стихах других русских писателей за границей.

А у нас «Елань» — официальное название многих на-

селенных пунктов, в том числе и таких, где население не тюркского происхождения.

— Это не проводы. Еланские так не играют. (Шолохов, «Тихий Дон», 7—19)

Люди из донской станицы, которая называется Еланская. Ср. роман К. Горбунова «Поездка на Елань».

В нашей литературе это областное слово уже давно идет без перевода и без пояснений.

— Речка то выбегала на елань и тихо, отражая небо, расстилала голубые плесы в травяном ковре.... (Бондин, «Лога», 6).

И кричали парнишки в еланках:
— Дождик, дождик, полей нашу рожь.

(Есенин, «Заглушила засуха засевки...»)

На озёрках, на елани,
За логами у леска,
Кто не видел с самой рани
Темного ее платка.

(Щипачев, «Могила матери»)

Некогда татарское, потом «областное», оно рано встретилось и сблизилось с другими хорошими русскими словами (например, с «еленью» от «олень») и, красивое и звучное, навсегда вошло в общенародный литературный язык.

### ЕРИК

Недавно в очередном кроссворде «Огонька» предлагалось найти слово по такому определению: изгиб реки.

Это был «ерик». Редакция, вполне справедливо, считала, что все знают или должны знать это слово. Оно значится и у Даля как общерусское.

Вот, однако, что писал А. Серафимович в одном из ранних своих донских рассказов:

— Я зараз тулуп с себя, на пузо и пополз, а тут ерик, я — через...

Член суда, приподнявшись, вежливо спрашивает:

— Г. свидетель, что же вам сказал г. Ерик?

Мужик вытаращил глаза, в публике подавленный смех, а председатель, слегка обернувшись, говорит предупредительно:

— Ерик на местном наречии — небольшой овраг, овражек...

— А-а... («Оглянулся»)

Член суда, видимо приезжий, не знал местного наречия. Но председатель суда толкует это слово и не по Далю. «Овражка» нет у Даля.

В современной донской речи «ерик» тоже не овражек.

В «Словаре местных слов и оборотов речи» к «Тихому Дону» Шолохова: ерик — ручей.

У А. Софронова в пьесе «Деньги»:

— Утоп, сердешный, в ерике...

— Ерик тут, за станцией, к осени пересыхает, но грязюки в ём тьма. (2)

— Гречкин. Позвольте, зачем мне ерик? (Там же)

Ерик — рукав реки, ручей.

У С. Бондарина в очерке «Волны Дуная» (Вилково):

— Дунай рассекается здесь множеством ериков — так, *по-казацки,* зовут здесь узкие рукава дельты...

— По ерикам до моря гораздо ближе, чем по Килийскому рукаву.

Так это слово, давно признанное общерусским, имело различные значения в разных областях страны и требовало в каждом случае пояснений, почти перевода. Но оно привлекательно по звучанию, картинно и забавно. Оно хорошо сближается с ёрничаньем — всяким несерьезным путлянием в словесах и делах — и с «ёрзать». (Ср.: «Пропил все черт-ярыкалка». Г. Марков, «Строговы».)

Первоначально оно сближалось с начертанием буквы «ер» (ъ); отсюда и пошел «ерик». Теперь название этой буквы прочно забыто, а «ерик» живет полной и многообразной жизнью.

На фронте одной из любимых песен бойцов была старинная песня яицких (уральских) казаков: «Как на синий ерик, как на синий ерик...»

Очень любил эту песню Борис Горбатов.

### ТЯПАТЬ, ГОЛОВОТЯП

— Головотяпы имели привычку «тяпать» головами обо все, что ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; богу молиться начнут — об пол тяпают. (Щедрин, «История одного города»)

Это слово считается щедринским. Но сам Щедрин уверял, что это слово народное.

— Ни одно из этих названий (головотяпы, моржееды) не вымышлено мною, ссылаясь на Даля, Сахарова и других любителей русской народности. (Письмо в редакцию «Вестника Европы»)

Ссылка на «любителей русской народности», конечно, очень саркастическая, а отказ от авторства — тактический ход.

Но слово уже в самом деле существовало в народном разговоре («тяпать» головой, в противоположность «тямить» — ухватывать, проникать в суть, понимать, отсюда «тямкий»). Щедрин «только» *применил* его таким образом, что оно стало общенародным и крылатым.

Блестяще применил его позднее и Глеб Успенский — по-щедрински и очень *по-своему:*

— Тяпушкин, один из «образцово убитых в личном отношении людей».

И далее:

— ...родство тяпушкинского сердца с сердцем всероссийским... («Волей-неволей»)

Это было продолжение щедринского спора с «любителями русской народности», казенными охранителями «устоев» рабства, мракобесия и головотяпства.

Но «Тяпушкин», блестяще уточненный Успенским в новых условиях, с саркастическим, мягким, ласкательным, «народным» окончанием «-ушка», — «Тяпушкин» Успенского почти забыт, а слово «головотяп» после Щедрина вошло в язык, стало из областного, полужаргонного общенародным и литературным.

Даль, хотя и знал это слово (см. его «Пословицы русского народа»), не включил его в свой «Словарь живого великорусского языка» ни в гнезде «голова», ни в гнезде «тяпать», ни тем более в качестве самостоятельного слова. И Бодуэн де Куртенэ не включил это уже очень ходкое в живой речи и в литературе слово даже в последние издания Даля.

Отметим еще одно областное «применение» этого слова. В. Михневич указывал:

— Этим прозвищем... народный юмор наделил одних только егорьевцев (Рязанская губерния).

Но далее выясняется у Михневича, что егорьевцы придавали этому слову другое и страшное значение: «головотяпы — головорезы». Не своими головами «тяпают» обо все на свете, а оттяпывают чьи-то головы.

Конечно, реакционер В. Михневич, сославшись на егорьевский «народный юмор», пытался опорочить важное и плодотворное новое слово.

Словарь ИАН, в отличие от Даля и Бодуэна де Куртенэ, приводил уже в 1891 году это слово, но с отметкой: «просторечное». Академик Я. К. Грот, редактор этого выпуска словаря, уже не мог игнорировать это слово, указывал даже, какое оно получило применение, но не считал возможным принять его в литературный язык.

Толкование этого просторечного слова у Я. К. Грота:

— ограниченный, глуповатый и вместе с тем упрямый...

Это, конечно, смягченное, благодушное и тенденциозное толкование — совсем не по Щедрину, хотя и со ссылкой на Щедрина, который его ввел в язык.

Но слово уже жило именно в щедринском смысле, резкое, жгучее.

У Амфитеатрова в его знаменитом памфлете «Господа Обмановы»:

— Когда Алексей Алексеевич Обманов [то есть Александр Александрович Романов] упокоился в фамильной часовенке, при родовой своей церкви, в селе Большие Головотяпы, Обмановка тож... (Газета «Россия», 1902; перепечатан только после Революции)

За это применение «головотяпов» Амфитеатров ушел в дальнюю ссылку.

Это щедринское слово очень понадобилось и в нашу эпоху — в яростной борьбе с пережитками прошлого.

— Тяпают, *как двести лет назад,* через коленку гнут... (Неверов, «В путь-дорогу»)

— Головотяп. Пустолом. (Гладков, «Цемент»)

И в большой политической речи:

— Головотяпы! Шапкозакидатели! — Разговор Ленина с военспецом, который мы уже приводили в другой связи. (К. Тренев, «На берегу Невы»)

— Простите, товарищ отсекр, я научу вас истине — головотяпства среди нас нет... Потому что наше голово-

тяпство не простое головотяпство. Наше головотяпство легко перерастает во вредительство. (Н. Никитин, «Поговорим о звездах», 1931)

Это слово незаменимо в повседневной травле негодного.

Ильф и Петров писали:

— И в конце концов мы постановили: буде строгий гражданин [тот, который пишет шеститомный роман «А паразиты никогда»] снова заявит, что сатира не должна быть смешной, — просить прокурора республики привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. (Предисловие к «Золотому теленку»).

Так называемый строгий гражданин тем более головотяп, что пытается прикрыть свою тупость и трусость «высшими соображениями». По законам советского общества он подлежит самой суровой каре.

Но вот другое «головотяпство со взломом». Читатель Б. Игнатков писал недавно в «Литературной газете»:

— Долго ломал голову библиотекарь над загадочным словом «головодень», употребленным газетой «Знамя труда». Пришлось обратиться к словарям. Почтенный и надежный толкователь Владимир Иванович Даль на этот раз ничем не мог помочь. Безмолвствовал и наш советский ученый Ушаков. Здесь было слово «головоломка», была «головомойка», было, наконец, щедринское слово «головотяпство». Но о «головодне» ни звука.

*Головотяпы* — незаменимое слово для тех, кто выдумал глупое и оскорбительное слово «головодень».

В общественно-политической полемике это слово не раз прекрасно применялось, обрабатывалось, сближалось с другими словами.

М. И. Калинин образовал, по щедринскому образцу, новое, очень содержательное слово. Он писал во время войны:

— И вот если ты с уважением относишься ко всем национальностям, значит, ты интернационалист, а если ты, к примеру, русский и считаешь, что хорошо только все русское, то ты р у с с о т я п... («Единая боевая семья». «Красная звезда», № 5568)

«Головотяп» — слово Щедрина, потому что он первый чудесно и по очень серьезному поводу применил это старое талантливое областное слово. Оно вошло в общенародный язык, потому что поразительно хорошо применяется по всем новым поводам и совершенно необходимо для травли негодного.

## ЖАРГОННЫЕ

Возвысились, получили достоинство слов общенародного языка и многие слова из различных жаргонов.

Почти все самые важные слова-понятия имели в разное время, в определенной среде, и свое особое, жаргонное, то есть известное только посвященным, значение.

— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь. И, отделавшись от молодого человека, *не умеющего жить,* она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома. (Л. Толстой, «ВиМ»)

— А Степан Аркадьевич был не только *человек честный (без ударения),* но он был *честный человек (с ударением), с тем особенным ударением, которое в Москве имеет это слово.* (Л. Толстой, «АК», 7—17)

— Мы тотчас сделались между собой приятелями — и приятелями (*сказать языком большого света) искренними.* (С. фон. Ф., «Путешествие критики», 1837)

— Я, *как говорят военные,* в полном смысле *добрый малый.* (Лермонтов, «Два брата»)

А в кружке Белинского тот же «добрый малый» значило ничтожество.

— Сделался кружок, и все предугадывали *историю.* (Лермонтов, «Княгиня Лиговская»)

— Не верю я этой «*всеобщей любви*» (по Фейербаху). Черт с ней, непотребною, поднимающей хвост равно для всех и каждого. (Белинский, «Письма»)

— «Радость», «слово» («ходить в слове», «знать слово»), «рождение» и «второе рождение», «счастье» и др. имели особое, часто непристойное значение — у сектантов, особенно у хлыстов.

— *«Промышленники»,* т. е. жулики, — по преимуществу карманники, — и *«промышленность»* такого же рода. (В очерках И. Кокорева и др.)

— Сами-то для меня не очень значительны... — говорит Липочка. (Островский, «Свои люди...»)

— Кто привык верно и быстро соображать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, или, *как они выражаются одним словом, «мыслить».* (Чернышевский, ПСС, 3—311)

— Я, например, *никак не мог научиться «мыслить».* А какой же это студент, если он не умеет мыслить. (Вересаев, «Воспоминания»)

Жить, уметь жить, честность, искренность, мыслить, добро, любовь, радость, слово, промышленность, значительность (и к этому можно было бы добавить очень многое) имели особый, «известный» смысл в том или ином, верхушечном, или мещанском, или «закрытом» жаргоне.

В эпоху Революции большие, важные для всех слова как никогда оберегаются от временных и частных и своекорыстных присвоений и применений. Революция утверждает общие понятия о самом главном; общие — в самом широком, философском смысле и в самом прямом: для всего народа. И неуклонно растет круг посвященных в эту общую идейную задачу и сверхзадачу.

Большие слова-понятия не позволено разменивать и расшатывать; они даже неохотно произносятся вслух.

Но непрерывно вливаются в язык слова нестрогие, еще недавно известные только узкому кругу или почему-либо отверженные, по-особому интимные.

Есть старые хорошие слова из народной поэзии и народного разговора, которые по разным причинам стали ощущаться как нелитературные, низкие и почти жаргонные (цапать, хапать, хаять и хайка, херить, драчка, дыбом, переть, встрянуть, вылазить, тюкать и затюкать, ложить, забуреть, коломытно и т. д.). Некоторые из них вошли в общенародный язык либо в неприкосновенности, либо в обработанной и облагороженной форме (ср. охаивание, вздыбление).

Приняты в язык многие слова из научных и полунаучных, спортивных, газетных жаргонов. Ср.: «сверхзадача», «вживание», «крупный план», «наплыв»; «болельщик», «всухую», «разложить», «раздевать» противника; «элита» (из зоотехники); «высоколобые»; утвердились, даже в большой политической речи, «уход» во что-нибудь, «бегство» во что-нибудь (реже: эскейпизм), «отреагировать», «вытеснение» и некоторые другие термины Фрейда; однодневка, боевик, «кассовая» пьеса,

«битковые сборы», «фитиль», «раздолбать», и в настоящих боях (Маяковский) закрепилось как хорошее слово «газетчик».

Получили право гражданства некоторые писательские (или подхваченные писателями) словотворки: «изыск», «сногсшибательный», «нытик», «отсебятина» (слово К. Брюллова, по Далю), «повзрослеть», «заприличить», «узывный», «охмурять» (слово Ильфа и Петрова), «стиляга» (слово Д. Беляева), само слово «словотворка».

Вошли в язык и некоторые слова из низких профессиональных жаргонов.

Это не профессионализмы, рабочие слова, которые в нашем обществе так охотно приобретают и другое, более широкое значение (о них см. ниже).

Это — слова других «профессионалов»: нищих, уголовников и «блатных», а то и таких лиц, которые как раз и не имеют «определенных занятий».

Судьба слов этой группы в нашем и других языках по-особому любопытна.

Есть в этих жаргонах целая система условных обозначений, шифров. Ни одно из таких слов не должно было войти, по самому заданию, в общенародный язык. Когда это почему-либо случалось, посвященные, естественно, отказывались от такого «провалившегося» слова. Эти шифры поэтому не могут нас в данном случае интересовать.

Но есть в этих жаргонах и открытые для всех слова, есть и своя манера выражаться: особая «роковая» прямота в суждениях обо всем на свете. Это «речь без дураков».

Она всегда неотразимо привлекала писателей, и притом писателей самых различных по своей общественно-политической позиции. «Блат» очень импонировал декадентам; «блат» очень курьезно переплетался и переплетается еще и сейчас на Западе с самым снобистским литературным жаргоном. Он еще и сейчас поднимается почти как знамя *передовыми* писателями на Западе. Они называют «слэнг» (жаргон) «слэнгведжем», то есть делают его «ленгведжем» — языком особого рода — и самым настоящим языком. Они сближают иногда «слэнг» со «слэмами», то есть трущобами.

Они находили в жаргоне то, что искали: особое повстанческое движение в языке; пусть корявый, но честный протест против законов, которые установили незаконные хозяева языка.

И у нас, уже после Октября, существовало некоторое время издательство, которое так и называлось «Трущоба». Это был, по-видимому, девиз и лозунг. А издавало оно книжки (преимущественно стихи), весьма изысканные в своем роде и непременно мистические.

В первые годы Революции многие слова этой группы хлынули даже в печать, горячо приветствовались «смелыми новаторами» и, как мы уже видели, очень смутили многих исследователей языка.

Но уже скоро сам язык обротал эти дикие слова, которые рвались обозначать «всё на свете». Они получили свое точное прикрепление и применение, стали обозначать только то, что́ они могут обозначать. И только очень немногие (в первую очередь само слово «блат») укрепились в общенародном языке, и почти во всех случаях в новом, полемическом и ироническом значении (то же слово «блат» в ильф-петровском применении).

Эти завоевавшие себе место в общенародном языке жаргонные или некогда почему-либо отверженные слова бесконечно различны по своему происхождению и первоначальному назначению. Но все они имеют один общий и решающий признак: есть в них своя художественная *точность*; они принесли с собой новую определительность и явственно спорят с другими, почти однозначными, но лицемерными или бесцветными словами.

В этой книге особенно важно подчеркнуть, что довольно многие хорошие слова первых лет Революции уже стали ощущаться как жаргонизмы. Они «плохо звучат», то есть не соответствуют новому достоинству общенародного литературного языка.

Вот несколько жизнеописаний слов, которые *были* или стали жаргонизмами.

### ДВУРУШНИК, ДВУРУШНИЧАТЬ

Это слово из жаргона профессиональных нищих.

Ученый исследователь уголовных, офе́нских и других специальных и закрытых «языков» Н. Смирнов давал такое толкование этому слову:

— Подставлять обе руки, прося Христа ради. («Известия отделения русского языка и словесности ИАН», 1899, IV)

Это было, по-видимому, нарушение неписаного устава профессиональных нищих: подставлять две руки, а не одну, строжайше запрещалось.

«Двурушник», «двурушничать» в этом смысле встречаются не раз в «Петербургских трущобах» В. Крестовского и у его подражателей, — например, в книге В. Гроссул-Толстого об «Одесских трущобах» и т. д.

У Даля есть только:

— Двое(дву)ручный, сделанный на две руки; или на четыре рук и, на два человека. Двоеручная пила, котою пилят самдруг... Двуручный молот... Двуручный струг... (То же в Словаре ИАН 1847—1867 гг.)

Это, конечно, другие слова. А «на два человека» снимает главный смысл слова «двурушник» из «языка» нищих. Все дело в том, что один человек подставляет, без зазрения совести, *обе* руки.

В Словаре ИАН 1891 года (редактор Я. Грот) точнее:

— Двуручничать. На жаргоне нищих: пользуясь теснотой в толпе, выставлять обе руки при выпрашивании милостыни.

В одном рассказе Сергея Городецкого есть весьма замечательная игра на этом слове:

— Поруганная судьбой царевна забыла свою прежнюю власть и славу и, пряча исковерканную руку, другую выставляла за обе... («Ярмарка», 1909)

Речь идет о деревенской девушке-красавице, которой смололо руку на мельнице. Она двурушничала одной рукой...

В нашу эпоху это низкое слово, которое вышло поистине из трущоб языка, совершенно преобразилось, вошло в общенародный язык, стало даже одним из важнейших слов-понятий большой политической речи.

— Девушка... заявила, между прочим, и то, что некоторые разведчики работают одновременно и в разведке белых. Двурушников скоро ликвидировали. (Д. Фурманов, «Чапаев»)

Народный артист СССР Н. К. Черкасов рассказывает, что после выхода на экран фильма «Депутат Балтики» один из зрителей молнировал:

«Ваш Тимирязев разоблачил двурушников. Здорово рад. Федор Кондратов».

Двурушники здесь — весь мир «идейных», ученых или невежественных, всяких противников Революции.

— «Двух станов не боец, а только гость случайный. За правду я готов поднять свой гордый меч...» Саша [Фадеев], рассмеявшись, сказал: — А ведь это, пожалуй, рассуждения двурушника! (Ю. Либединский, «Современники»)

У Горького в «Сомове» — Троеруков. Очень выразительная, как почти всегда у Горького, фамилия и как-то связанная, можно думать, с двурушничеством. Более чем двурушник — троерукий.

В резолюции XVI съезда партии по отчету ЦК (1930) было сказано:

— Партия должна объявить беспощадную войну такого рода двурушничеству и обману.

И всякое политическое двуутробие, двоеглазие и косоглазие (слова Щедрина), всякая двуполитика (слово Лескова), всякое двоеверие (слово Блока), а также прямая измена отныне называются двурушничеством.

Происхождение этого слова забыто. Оно сложилось вновь. И только архаисты и пуристы в первые годы Революции усердно восстанавливали его родословную, напоминали, что оно жаргонное. Оно, как и многие другие, должно было доказать наглядно, что в язык теперь хлынули главным образом слова самые низкие и грязные, особенно же так называемые блатные.

Но почти все низкие слова из разных жаргонов, которые входили тогда в печать и в литературу, уже давно ушли сами собой или были изгнаны. А «двурушник» — очень наглядное, образное — осталось.

Особый случай — применение этого слова в романе о далеком прошлом:

— Берке же двурушничал... (А. Югов, «Александр Невский», V)

Это у писателя, который, в соответствии со своими особыми взглядами на поэтический язык, настойчиво утверждает заведомые и безнадежные архаизмы в речи о современных делах и людях и одновременно применяет новые слова в речи о старине.

Слово низкое во всех своих значениях — и старых и новых. Настолько низкое, что иногда казалось интересным и смелым поднять даже такое слово, как перчатку:

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой.
Я ночи друг, я дня застрельщик.

(Мандельштам, «Грифельная доска», 1923)

Да, да, двурушник. И это, по мысли автора, должно было звучать гордо!

Слово сблизилось с корнем «рух» (движение) и производными от него словами, в том числе и «разрухой».

«Двурушники» мешают преодолеть разруху, они — всеобщая поруха и т. д.

Двурушник — одно из тех слов, жаргонных по своему происхождению, которые стали «полновесами» общенародного литературного языка.

## ХАЛТУРА

Мельников-Печерский еще считал необходимым разъяснить читателю смысл этого малоизвестного слова:

— Халтура (а в иных местах хаптура — от глагола хапать — брать с жадностью) — даровая еда на похоронах и поминках. Халтурой также называется денежный подарок архиерею... за отправление заказной церковной службы. («В лесах», 1)

У него же:

— Сберутся на халтуру...

Происхождение этого слова до сих пор не выяснено окончательно, хотя об этом очень много писали. Одно из наиболее вероятных предположений: в основе лежит латинское «харта» с довольно обычной в нашем языке заменой «р» более благозвучным и легким «л». Хартуларий — халтуларь — книгохранитель в монастыре или церкви; «халтуларь» зарегистрирован в документах XI—XIV веков, особенно на юго-западе.

В церковном быту существовал и глагол «халтурить» — совершать службы (особенно отпевание покой-

ника) на дому, совершать поскорее и кое-как, чтобы успеть обойти побольше домов и получить побольше денег.

В жаргоне уголовников, «блатной музыке», халтура связана была также по преимуществу с покойниками: халтурщик — вор, работающий там, где есть покойник. Здесь опасность меньше, это «работа», так сказать, облегченная и даже непристойная для квалифицированного вора. «Халтурщиком» на этом жаргоне назывался и сам покойник!

«Халтура» — легкая работа; по этому главному признаку «халтура» перешла из узкого и высокого церковного круга и такого же узкого, но низкого круга «блатных» в общий народный разговор.

У Островского в «Воспитаннице»:

— Он теперь уже заранее рассчитывает, сколько доходов будет получать в суде, или *халтуры, как он говорит...* (2—3)

*«Как он говорит...»* — это уже профессиональный жаргон судейских взяточников.

Пров Садовский на репетиции спектакля «Свои люди — сочтемся», играя Подхалюзина, обмолвился. Вместо слов: «а чтобы и мне выгода была» (2—2) сказал: «чтобы и мне халтура была».

Может быть, это и не была обмолвка, как пишут исследователи, а именно усиление текста, которое предложил П. Садовский, сам, как известно, большой мастер языка и внимательный наблюдатель языковых фактов.

Островский сейчас же принял это предложение:

«Так всегда и говорите!»

И «халтура» вошла в канонический текст комедии. Сам Островский потом применил это слово в комедии «Красавец мужчина», в «Воспитаннице» и др.

«Халтура», стало быть, уже широко применялась и в кругу самых различных деловых людей, приобретателей всякого рода.

У Даля:

— Халтура, ж., влгд. и курск. хаптура (хапать), пожива, даровая еда, питье, что кому-либо досталось... от халтуры, зап. и южн. искажен. хавтуры (ховать), похороны, поминки. Халтура, твр. гамза, скопленные деньжонки? Ср. халтуры.

Весьма интересно, что народная этимология «хапту-

ра» отмечена у Даля только в двух губерниях; слово большей частью сохраняло как раз свою высокую, благородно звучащую и немного загадочную форму в применении к самым понятным и тривиальным вещам. И даже на юге и западе, где халтура, по наблюдениям Даля, сближалась с древнерусским и украинским *ховать,* сохранялось иностранное, высокое окончание — «-ура».

Всюду в применении иронически возвышалось это уже ходовое и деловое слово.

И нет у Даля никаких указаний на то, что оно живет только в каком-нибудь определенном профессиональном, сословном или социальном кругу. Это уже общее, полужаргонное слово.

Все же оно особенно утвердилось именно в кругу актеров и литераторов, то есть там, где сама профессия требовала мастерства, тщательности и законченности обработки.

— Страстную площадь называли [в конце века] «халтурой»... Здесь... ловили актеров. Случалось, что тут же ему давали в руки роль и он в первый раз читал ее по дороге в театр. Слово «халтура» с тех пор пошло в ход и до сих пор держится в актерском лексиконе. (Н. Смирнова, «Воспоминания»)

С другой стороны, старый журналист (Д. Оршер — Ол Д'Ор), автор книги «Литературный путь дореволюционного журналиста», сообщал:

— Аркадий Аверченко, редактор «Нового Сатирикона», не всегда даже читал произведения тех, у которых было некоторое имя. «Каждый сам за себя отвечает! — говорил он. — Напишет несколько раз плохо, перестанем печатать». И мы сами себя редактировали жестче, чем любой редактор. *О халтуре мы тогда не слыхали.* (94)

Это не соответствует действительности ни в самом широком, ни в узком смысле этих слов. Халтура вообще и слово «халтура» уже бытовали и в литературной среде.

После победы Революции это слово сразу же становится совершенно необходимым во всей той работе, которая называется с тех пор «травлей негодного». Халтура — враг социалистического строительства; она и нарушение *этических* законов нового общества.

Возникают новые производные от «халтуры»: халтурмейстер, халтуроман, халтуроносец, халтурщина (Маяковский), халтураж и т. д.

— Я вообще против «инсценировок», — писал Горький, — ибо они снижают требования публики к драматическому искусству, а среди писателей воспитывают паразитизм и «халтураж». (Письмо Киевскому ТЮЗу, 1933)

Это значение — центральное и в наши дни.

Но «халтура» означает иногда и вполне добросовестную работу, которая делается сверх прямого задания и за особое вознаграждение.

Началось это переосмысление в первые же годы Революции и раньше всего, по-видимому, в театральной среде.

— Жить становилось все труднее, и артисты стали выступать на стороне, в разных театриках миниатюр, в кинематографах, в клубах, и именно с этого времени в обиходную речь крепко вошло слово «халтура», день ото дня становившееся все популярнее. (В. Беспалов, «Театры в дни Революции 1917 г.»)

Оно вошло в обиход (в частности в театральной среде), как мы знаем, гораздо раньше, но в этом, сравнительно хорошем, смысле оно утверждалось именно сейчас.

И К. С. Станиславский «халтурил»!

Он писал Любови Гуревич в 1919 году:

— Моя жизнь совершенно изменилась. Я стал пролетарием и еще не нуждаюсь, так как халтурю (это значит играю на стороне) почти все свободные от театра дни. Пока я еще не пал до того, чтобы отказаться от художественности. Поэтому я играю то, что можно хорошо поставить вне театра. («О Станиславском», сборник ВТО, 158—159)

И в наши дни, когда актер или инженер говорит о халтуре, это не означает недобросовестную или хотя бы только небрежную работу; это работа, как всякая другая, но на стороне (ср. строго деловое «сторонники», в отличие от плохого «работа налево») и за особое вознаграждение. И такое специальное применение не возвышает исходное, которое, впрочем, тоже не всегда было только плохим.

Время от времени возникали слова, которые должны

были заменить «халтуру»: небрежники, коекаки, абыяки (укр.) и т. д. Но они не привились. Осталась в языке «халтура» — высокое по звучанию и мерзкое по существу, полное юмора слово.

### ВЗБОДРИТЬ (ВЗБАДРИВАТЬ)

У Даля нет этого слова ни в многократном, ни в однократном виде, нет даже в качестве малоупотребительного, или областного, или производного от «бодрый».

Между тем оно жило исстари в народе.

У Островского два по крайней мере, и очень характерных, применения этого слова.

— Такую кику с рогами взбодрю. («Снегурочка», I—I)

— В пол-аршина чепчик взбодрю. («Бедные невесты»).

Островский, таким образом, вводил его в стилизованный текст древней сказки; но он хорошо знал его, много раз слышал его и в живой речи современных ему купцов или мещан (теперь уже не кика, а чепчик).

У Щедрина:

— Встал [заяц] на задние ножки, ушки на макушку взбодрил... («Здравомыслящий заяц»)

«Заяц» у Щедрина раньше всего трус, трус обычно прекраснодушный, но весьма склонный применяться к подлости. Заяц — либерал. Очень «бодро» стоит на задних ножках и прислушивается...

У него же в знаменитой «Коняге»:

— Взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел...

Это, конечно, огромное обобщение, резюме всей истории многострадального крестьянства.

И наряду с этим о Разуваеве, который тоже «из крестьян»:

— Думал было он на порожнем участке новый дом взбодрить. («Убежище Монрепо»)

Это уже очень серьезное, полемическое словечко, и сила его в том, что еще хорошо слышны другие, веселые и наивные его применения.

У Горького о японцах:

— О, как они землю свою взбадривают! («Лето»)

Учиться у них надо трудолюбию и, пожалуй, даже агротехнике, взбадриванию земли.

И у Горького в «Фоме Гордееве»:

—Так, значит, твое теперь намерение — взбодрить такую агромадную фабрику, чтобы всем другим — гроб и крышка? (11)

Так говорит Маякин Смолину. Слово было уже, по-видимому, очень обычным среди Разуваевых новой формации. Оно неразрывно связано с купеческим грюндерством.

А в разговорной шутливой речи оно имело по аналогии такой же смысл, как наши современные «соорудить», «организовать» (выпивку и пр.).

— Поставь нам самоварчик, Степан, и взбодри яишенку. (Куприн, «Болото»)

Как это ни странно, «взбодрить» почти совсем не встречалось в советской литературе после Горького, даже в произведениях тех писателей, которые старательно выискивали и записывали всевозможные языковые эссенции.

Это было одно из многих прекрасных, но потерянных почему-то слов.

У Твардовского было в речи старожила, в старой традиции:

— А что за причина? — Своя...
Мне зять не великая шишка,
Да с ним же родимая дочь,
Ну, словом, взбодрить им домишко,
Как хочешь, а надо помочь.

(«Старожил»)

На то и старожил, чтобы так выражаться.

...Но вот совсем недавно Твардовский в речи о неумеренных претензиях некоторых молодых писателей по-новому применил и, можно сказать, возродил это слово:

— Молодой человек, только что входящий в литературу, имеет горсточку жизненного материала. Ему бы писать и переписывать небольшой рассказ... Но он поступает иначе: сем-ка я взбодрю повестушку на этой горсточке материала... («ЛГ», сент. 1951 г.)

Это было отличное дальнейшее развитие тех мотивов, которые звучали в применении этого слова у Островского, Щедрина, Куприна и Горького. И хотя это слово было тогда уже сравнительно редким, оно было сразу хорошо понято и принято. Оно не ощущается как цитата ни из Твардовского, ни тем более из Островского и Горького.

Замечательный успех этого слова объясняется, видно, тем, что к тому времени уже новое развитие получила вся семья слов от корня бодр. Как уже злоупотребляли порой этими словами, сколько халтурщиков «работало» неукоснительно на «бодрости»! И когда Твардовский выдвинул опять это слово «взбодрить», оно заиграло по-новому: «взбодрить повестушку» стало означать не только взбить, как чепчик, соорудить, сколо́тить, свахлять еще одну какую-нибудь повестушку, но непременно повестушку с «бодростью», бездумную и приспособленческую.

Слово Твардовского сразу пошло́, потому что хорошо слышен знакомый, содержательный и уже чуть-чуть подозрительный корень; потому что хорошо работает веселая, взъерошенная и сокращенная приставка, которая как бы сама говорит о том, что этот человек ужасно торопится, что для него время — деньги и самая бодрость для него тоже деньги.

Слово пошло и уже образовало в разговорной шутливой речи множество своих производных — и среди них «бодрячок» или даже «взбодрячок».

## БУЗА

Это слово часто встречалось в произведениях писателей-«кавказцев» начала XIX века и считалось «татарским». Так назывались тогда все очень различные языки народов Кавказа, и раньше всего «азербайджанский язык, который был связующим для многих национальностей» (Андроников, «Лермонтов»).

«Буза» по-азербайджански — особый опьяняющий напиток.

— У этих азиатов всё так, натянулись бузы, и пошла резня. (Лермонтов, «Бэла»)

— Как напьются бузы на свадьбах или на похоронах, так и пошла рубка. (Там же)

Пьем бузу! Стони, земля!
Кличем огласись, ущелье!

(Грибоедов, «Дележ добычи»)

В русском тексте это «татарское» слово обычно разъяснялось в сносках в специальных словариках местных слов или в самом тексте.

В конце века, как воспоминание о старых и новых походах на Кавказ:

—Черкес! — пояснил Ионка. — Бузу, разбойник, здорово уважает, водка по-ихнему-с. (Эртель, «Смена»)

Издавна и в *русской* народной речи существовала «буза» со многими производными и весьма активный глагол «бузовать».

— [На солдатчине] Ну, конечно, порой и спину посмотрят, хоть и с музыкой, взбузуют так, что и не скажешься. (И. Кокорев, «Сибирка», 4)

— Марш горох бузовать! (Лесков, «Соборяне», 2—8)

— Ложись, говорит, и ну бузовать! (Л. Толстой, «Холстомер»)

— Начинали подруги бузовать. (Г. Успенский, «В будни и праздники») И т. д.

У Даля это слово приводится как местное русское; ссылки на «кавказскую» бузу нет. Это *другое,* хотя и однозвучное, слово.

В этом гнезде у Даля много таких местных слов, которые не вошли в общенародный язык и сейчас звучат диковато: базулить, бызовать и т. д. А толкование: сечь, наказывать.

Но такое толкование справедливо только в некоторых случаях; в остальных — значение самое неопределенное, больше звучание, чем значение. Нечто бестолковое, беспорядочное и бесполезное, и все равно, что именно.

Совсем нет у Даля слова *бузотер.*

В Словаре ИАН 1847—1867 гг. «буза» — только напиток «из муки гречневой, овсяной...» и без пометы *«татарск.»* или *«кавказск.».*

У «Толля» буза — «яблочный или грушевый квас; еще каменная соль в твердых комьях...», то есть только

терминологические значения, никаких производных слов или переносных значений нет.

В литературе конца XIX века и начала XX «бузовать» в разных формах — слово народного разговорного языка, одно из диковатых деревенских слов, которые приводятся только порядка ради в качестве особо выразительной речевой документации.

В первые годы Революции «буза» с очень многими производными широко входит в язык, обнаруживает огромные претензии, «заменяет» очень многие понятия.

— До сих пор мы, большевики, оставаясь в меньшинстве, бузили, но все-таки большинству в Советах подчинялись. Теперь... начали бузить они. Мы против этого особенного ничего не имели, полагая, что и они будут подчиняться... А вот теперь, оказывается, буза затевается настоящая. Против нас организуется военный поход... (И. Жига, «В октябрьские дни» — «Тревога»)

Организованная «буза» очень серьезного противника...

— Между собой красноармейцы называют комполка «Бузуй».

Это любимое словечко товарища Анулова.

— Ну, что, орлы, бузуете?

— Бузуем, Филипп Егорович!

...— Отдохните часика два, а там опять давай бузуй. (Ф. Голиков, «Красные орлы», 1918)

— Теперь такого набузуем, что белогвардейцам небо с овчинку станет. (Л. Сейфуллина, «Путники») И т. д.

Военная буза; а вот политическая и «настроенческая»:

— Три раза тебя выгоняли из комсомола: за бузу, за анархизм, за штуки. (Б. Горбатов, «Мое поколение»)

Анархизм и вообще «все это» — буза.

У Ф. Гладкова:

— В таком случае, Хабло, твоя крутая левизна выдает тебя с головой...

Мирон не смотрел на него, но чувствовал, что Хабло изучает его с пристальной злопамятностью.

Совсем неожиданно бутуз ударил кулачишком по столу и скомандовал:

— Не буз-зить!

Он уморительно переводил грозные глаза с Мирона на Хабло, надувал щеки и мужественно бил кулачком по столу:

— Не буз-зить!

Все рассмеялись...

— Володька! Вот молодчина какой!.. Герой!.. Прямо за жабры хватает, стервец... («Энергия», 1)

Володькина очень мудрая формула перехода в очень серьезном политическом разговоре: все это буза; раньше всего, если люди настоящие, не надо бузить.

У Файко приспособленец говорит:

— Если молодежь, *как теперь говорят,* немножко бузит, *так это уляжется.* («Человек с портфелем», 4)

Это речь «глубоко своего» приспособленца. Как настоящий «государственный человек», он никогда не впадает в панику. Как теперь говорят, но это уляжется.

«Буза» получает и другие, самые разнообразные применения.

У В. Катаева о Софье Бузулук, энтузиастке из земледельческой колонии под Херсоном:

— *От застенчивости* она может накричать, набузить... («Софья Бузулук»)

От застенчивости, — а вообще говоря, она очень хороший человек.

— Мы порешили пахать так: отбиваем каждому свою клетку и бузуем на ней. (Шолохов, «Поднятая целина», 1—36).

Своеобразный «закрытый оборот»: делаем то, что делаем.

— Собака обязательно начала бы «бузить», предвкушая тягу. (В. Федорович, «Медный Сысой»)

«Бузит» потому, что наступил для нее момент вдохновения.

Из всей бузы и вара
встает
растенье — кактус
трубой от самовара.

(Маяковский, «Тропики»)

Веселая и безобидная буза. Но только тогда, когда дело идет о чем-то сплошь несерьезном. А вообще говоря, это слово у Маяковского плохое и злое: буза — нечто подлежащее непрерывной травле, страшно мешающее.

Только
зря у парня сила:
глупый парень
да бузила.

**(«Лев Толстой и Ваня Дылдин»)**

Ср. один из псевдонимов И. Ильфа и Е. Петрова: «Дон Бузилио».

— Буза — это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности. (Маяковский, «Клоп», 6).

— Профессор (в 1979 году). Что такое «буза»? (*Ищет в словаре*). (Там же)

В предсказаниях о дальнейшей судьбе нашумевших в свое время слов Маяковский не всегда бывал прав. Но «буза» оказалась изгнанной из литературного языка гораздо раньше 1979 года.

— С величайшим огорчением, — писал Горький в 1934 году, — приходится указать, что в стране, которая так успешно — в общем — восходит на высшую степень культуры, язык речевой обогатился такими нелепыми словечками и поговорками, как, например: «мура», «буза», «волынить», «шамать», «дай пять», «на большой палец с присыпкой», «на ять» и т. д. и т. п. ...Зачем нужны эти словечки и поговорки? («О языке»)

Горькому отвечал Н. Погодин:

— Я думаю, что надо возразить А. М. [Горькому], когда он ополчается против слова «буза». Когда я приехал с родины бузы в Москву, я только здесь узнал, что в средней полосе слово «буза» употребляется как определение смешного и ерундового. У себя на родине это слово существует лишь в прямом смысле. Как же возникло его переносное значение? Много красноармейцев, ходивших завоевывать Крым, пили в южных городах бузу — сладковатый, шипучий, прохладительный напиток. Его легкость, веселость и какое-то недоумение (что же это, в конце концов, за напиток?) родили новое значение слова. («Театр и драматургия», 1934, № 6)

Ср. также у Василия Каменского («Путь энтузиаста»): стамбульская брага — буза.

Это, по-видимому, справедливо — для некоторой части нашего общества; таков был для нее ход нового смыслообразования в данном случае.

Многие факты говорят, однако, о том, что «буза» (в самом широком смысле) вошла в наш язык еще до того, как красноармейцы пошли завоевывать Крым, то есть до последних боев с Врангелем в Крыму в 1920 году.

Не связанное ассоциациями с тем или иным напитком, да и ни с чем вообще, оно полюбилось на какое-то время нашей молодежи, как очень широкое, универсальное и забавное по самому своему звучанию всяческой «бузы».

Сейчас это уже только жаргонное слово, окончательно изгнанное из литературного языка.

Его история сама по себе очень хорошо говорит о том, что в наших условиях во многих случаях удается успешно очищать язык и управлять языком.

## ЛАФА

Это «низкое» слово (от татарского «алафа» — жалованье) не раз вызывало очень серьезный обмен репликами между противоположными общественными лагерями и получало каждый раз новые и противоположные толкования.

Лафа бабенкам! бегают
На барский двор с полотнами...

(«Кому...» — «Последыш»)

Некрасов применяет это живое, разговорное и даже как будто веселое слово, услышанное из уст народа, весьма саркастически. Это называется лафа! Привалило, мол, счастье, раздолье!

Так же применяет это слово, позднее, А. Эртель:

— Значит, дело наше — лафа!

И речь идет опять об очень скромных, даже унизительных удачах, об очень сомнительном «счастье».

И. Кокорев в своих «Очерках Москвы 40-х годов» отмечает как один из «физиологических» фактов:

— Лафа в языке «карманных промышленников» — пожива.

— Еще лучше будет, жару подбавим, лишь бы лафа не отошла.

Есть, стало быть, у этого слова и очень широкий,

но жалкий смысл, и узкое, терминологическое применение — у *мелких* воришек.

Этого было достаточно, чтобы Щедрин мог развернуть на этом слове одно из самых замечательных в истории нашего языка разоблачений «общепринятого» словоупотребления, казенных лицемерных эвфемизмов, словесных обманов.

— В древности слова «хищение» не было, но зато было слово «лафа», и вся дореформенная Русь отлично понимала, что слово это означает именно высасывание выморочных соков. Но так как и конструкция этого слова слишком отзывалась провинциализмом и татарщиной, то с поднятием уровня образованности почувствовалась потребность и в поднятии уровня терминологии. Отсюда замена слова «лафа» словом «хищничество». («Пестрые письма»)

— Бывало, кто-нибудь... место исправника получит — про него говорили: теперь ему будет не житье, а лафа. Или — «умница» подходящего «дурака» на распутьи обретет и начнет его чистить, про него говорили: этому человеку л а ф а с неба свалилась; теперь только не зевай! (Там же)

Щедрин, конечно, знал, как *еще,* в другом смысле, применяется это слово — в народном быту. Но главный удар — по *официальной* терминологии, которая прикрывает всеобщий грабеж администрации, высасывание из народа выморочных соков благообразным, юридическим, но еще более страшным термином «хищение». Двойная игра!

В «Нови» Тургенева, то есть почти в те же годы, Паклин говорит:

— Они — добрейшие люди... Сестре у них будет лафа.

Так говорит ничтожный и нечистый Паклин, который, однако, в своей речи всегда подражает «новым людям», «товарищам по движению». Это должно звучать как прямые, народные, а не литературные слова.

Он — карикатура, но такими словами разговаривают и в самом деле «новые люди».

И сам Тургенев в письмах, то есть в самом свободном разговоре с друзьями, и по очень *полемическому* поводу выражался так:

— Анненкову теперь лафа отхлопать себе все лядвёнки на мой счет.

Совершенно необходимо именно такое низкое слово, когда Тургенев, само изящество, рисует, необыкновенно ярко и пластично, картину бесчестного злорадства в стане его литературных противников.

Вплоть до Революции «лафа» — слово низкое, отреченное и тем более привлекательное в прямом разговоре «без дураков».

Даль зарегистрировал это слово с производными и с отметкой, что на юге произносится «лахва». А Бодуэн де Куртенэ вписал только (по «Дополнениям к опыту великорусского областного словаря») с пометкой «курское»:

— Об масленой была нам лахва, роскошь, довольство в пище.

Никаких других, очень боевых, как мы видели (Щедрин), применений он не дает.

Это слово нелитературное.

В Словаре ИАН 1847—1867 годов: «Лафа — прибыль; успех; удача» с пометой «п р о с т о н а р.».

В первые годы Революции оно именно поэтому демонстративно утверждается, как многие другие «нелитературные» слова.

Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом...»
...Кругом
тонула
Россия Блока...

(Маяковский, «Хорошо!»)

Нелитературные «разлазится» и «лафа» и там же о библиотеке Блока, которую только что сожгли в деревне. «Лафа» играет важную роль в этом историческом выяснении отношений с Россией Блока и в споре о литера-

туре, ее призвании и назначении, и о всех старых библиотеках.

Это вовсе не значило, что «лафа футуристам»! Когда Маяковский писал эту поэму в 1927 году, он уже знал это вполне отчетливо. Но он любил вспоминать о том, уже далеком, времени, когда ему нравилось так выражаться.

«Лафа» и сейчас живое слово разговорного языка. Но оно уже утратило свою полемичность, никого не дразнит. Из литературного языка оно изгнано — и, по-видимому, бесповоротно.

### ДАЕШЬ!

Если в пальцах запрятался нож
И зрачки открывала настежью месть,
Это время завыло: даешь,
А судьба отвечала, послушная: есть!

(Хлебников)

Во многих исследованиях (например, у А. Селищева и у А. Мазона) указывалось, что знаменитое «даешь!» первых лет Революции пошло от этих стихов Хлебникова.

Но, по всем признакам, оно в народном словоупотреблении не было связано с Хлебниковым и не звучало как цитата. Это естественная народная диалогическая форма (ср. «Пошел!», «Взяли!» и т. д.), то, что в поэтике называется *пролепсис,* то есть присоединение качества, которого еще нет, но которое непременно возникнет из данного действия. Пролепсис очень характерен, конечно, для языка людей революционной эпохи.

Хлебников один из первых сказал по-новому это слово.

«Даешь!» в первые годы Революции — пароль передовых борцов.

— Даешь! Авроровцы на митингах гнали с трибун кадетов, меньшевиков, эсеров... Кричали дружно: «Долой войну! Долой буржуазию! Долой министров-соглашателей! Даешь Ленина!» (П. Белашев, председ. судкома «Аврора». «Воспоминания». «Новый мир», 1955, № 1)

— Даешь и — гвоздь! (Артем Веселый, «Огненные реки»; ср. у него же: «*Рвай-давай!*»).

— И если показывался дымок, деревня... начиналась

дикая скачка на дымок, на околицу — с пиками наперевес, с криками «дае-о-ошь!» (Малышкин, 1—50)

— Даешь родину? — мало...
Утроим жадность священную!
Смирно!
Парад всемирный!

(Бражнев, «Поход», 1920)

Армия комсомолят —
это — даешь — и баста!
Надо леса и поля
в руки стальные сграбастать...

(Жаров, поэма «Комсомолец»)

— Клёш, Самару даешь! (Гражданская война, бои с колчаковцами и учредиловцами, обосновавшимися в Самаре)

— Даешь Варшаву! — война с белополяками.

— Даешь Европу! («Трест ДЕ» — пьеса И. Эренбурга)

Входит моряк — Седых Алексашка:
сиськи в сетке,
аховый клёш,
ширью морской на груди тельняшка —
Даешь!

(Сельвинский, «Улялаевщина»)

Ящик с револьвером, аховый клеш,
грудью ходит зыбь распросиняя —
Даешь!

(Там же)

Рифма самая очевидная: клёш — даешь!
Ср. у Н. Тихонова:

Когда тысячи крикнули слово «отдай!» —
Урагана сильней оно.

(«Перекоп»)

«Даешь!» становится и названием комсомольского журнала.

Оно применяется иногда очень неосмотрительно.

А. Селищев, отмечая, что «чрезвычайно интенсивным оказался ф л о т с к и й командный термин «*даешь!*», приводит такой пугающий пример:

— Даешь девчат! — заголовок статьи в «Университетской правде», 1925, № 1.

И только в самой статье уже разъясняется более или менее серьезно: даешь девчат в комсомол. («Язык революционной эпохи»)

«Марш-плакат» Сергея Третьякова:

Долой банкиров!
Долой растяп!
Рабочий мира,
даешь Октябрь!

(«Известия», 7/XI 1923 г.)

Здесь уже есть, однако, специальная мотивировка: это марш-плакат; это слово из плаката.

— Ему хотелось стать на свое место в строй, броситься вместе со всеми и кричать отчаянное слово «даешь!» (В. Кин, «По ту сторону»)

«Отчаянное слово» — оно, очень привычное, уже остановлено, разглядывается и оценивается.

Разворачивается очень характерная полемика из-за этого слова «даешь!»

Демьян Бедный писал в 1924 году:

Обзавелися мы «советским», «красным» снобом,
который в ужасе, охваченный ознобом,
глядит с гримасою на нашу молодежь
при громовом ее — «даешь!»
И ставит приговор брезгливо-радикальный
на клич «такой не музыкальный»...

Только снобам, мол, не по душе это громовое слово! И по тому или иному отношению человека к этому слову можно определить, наш он или не наш.

Но уже скоро это громовое слово утрачивает свою привлекательность и для самых передовых людей, оно вызывает принципиальные возражения, демонстративно отклоняется как недостаточно трезвое и серьезное.

— А л е к с е й (*сорвался*). Даешь!

С т а р ы й м а т р о с. Что даешь, как даешь, где

даешь? (*Иронически.*) «Даешь!» (Вс. Вишневский, «Оптимистическая трагедия»)

Для Алексея это уже срыв. А старый матрос поймал его на «даешь» и с особым удовольствием задерживается на этом слове, рассматривает и разоблачает его как уже не соответствующее действительности, повторяет его иронически и в кавычках.

Это — очень выразительный диалог и для самого Вс. Вишневского. Еще недавно ему самому очень нравилось это слово!

Экзамен на зрелость на слове «даешь».

У Маяковского в 1928 году — «Даешь изячную жизнь!»

Хлюст, сивый мерин, «ползающий в ногах у старья», приспособил для своих «лозунгов» отчаянное слово гражданской войны.

В «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова Северный укладочный городок идет навстречу Южному; в определенном месте, и раньше срока, произойдет *смычка* вновь уложенных в пустыне путей. На месте торжества все приготовлено к встрече победителей.

— В голове Южного городка висел плакат: «Даешь Север!», в голове Северного — «Даешь Юг!»

Рассказывается об этом по ходу дела, но, конечно, очень нежно и строго, на великолепном и реальнейшем основании, звучат оба «даешь!», как и великая «смычка» в первоначальном своем значении и в новом одновременно.

И. Ильф и Е. Петров, очень злые сатирики, умели быть и очень нежными. Замечательно ярко исполнены в середине 30-х годов «д а е ш ь!» и «с м ы ч к а» — слова, которые уже сделали свое дело и отгремели.

Слово уходит.

Оно возвращается в годы Великой Отечественной войны, но только в речи солдат и в плакатах и никогда — в приказах, больших политических документах, как это было в гражданскую войну.

Сейчас оно уже только воспоминание. Так говорили в свое время «братишки», а снобам это не нравилось...

И вот оно уже получает новые применения, снова демонстративно утверждается, как очень много пережив-

шее *уже в эпоху Революции* и поэтому вдвойне дорогое слово:

...Плакат удался, в самом деле,
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангару!»
Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,
зеваки глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.
Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.
Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.
Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: «Даешь!»
Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато, —
мы в грубое время живем.
Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.
Ведь мы и доныне, однако,
живем, ни черта не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!..
Наш поезд все катит и катит,
с дороги его не свернешь.
И ночью горит на плакате
воскресшее слово — «Даешь!»

Стихотворение Ярослава Смелякова «Даешь!» пришлось привести почти полностью, потому что оно прекрасно говорит о том, что произошло в самом деле с этим «словечком гражданской войны».

У Даля есть только терминологическое значение этого слова:

— ж. сурьма, ископаемое. Это особый металл, находимый в солях и др. соединениях. Антимонное вино, рвотное...

В Словаре ИАН 1847—1867 годов категорически:

— Антимония — см. сурьма.

Но слово уже жило в то время в другом, очень широком применении.

— Да, да, рассказывайте, разводите мне антимонию-то! (Лесков, «На ножах», 2—3)

Этимологизаторы, старые и новые, много потрудились над тем, чтобы как-нибудь связать сурьму с этим словечком. Михельсон приводит довольно длинный рассказ из XV века о настоятеле одного монастыря, который, заметив, что свиньи жиреют от употребления сурьмы, хотел испытать действие сурьмы на организм монахов; однако монахи, приняв сурьмы, вскоре умирали. Это дало, мол, повод назвать сурьму anti-moine (против монахов).

Во французском языке, однако, никакого «анти-муан» в этом смысле нет.

Но оно издавна существует в английском языке — в нашем значении и применении... «Антимония» значится в знаменитом словаре д-ра Джонсона (конец XVIII века). Современный исследователь Дж. Уинсатт по этому поводу пишет:

— Названия химических веществ в словаре Джонсона представляют собой мешанину ученого с простонародным, аммония с антимонией. («Философские слова», 1960)

Антимония — простонародное слово, которое высмеивает всякие аммонии, то есть ложную и напыщенную ученость, бесплодную «латынь».

Такую роль играла и у нас «антимония».

По всем признакам, «антимония» полюбилась народу как словечко с характерным внутренним столкновением. Начинается оно с *анти-*, боевой, можно сказать, великой частицы (ср. антиномия), которая не раз становилась и самостоятельным словом, вступала в самые различные «сложения» и «сочетания». В этих сочетаниях отражены

чуть ли не все важнейшие этапы нашего общественного развития, борьбы нового со старым.

Но в «антимонии» за этим великим *анти-* следует нечто совсем ничего не значащее, звучащее, однако, очень протяжно и почтенно. И все вместе создает впечатление какой-то надуманной и ненужной сложности.

В языке нашей эпохи это очень активное слово.

— Рабочий не хочет заниматься антимонией... (Гладков, «Цемент», 3—2)

— Если охота, разводите с ними антимонии... (Там же)

И т. д. и т. д.

«Антимония» стала народным словом, которое очень хорошо приканчивает всякую схоластику, претенциозную тягомотину, начетничество, талмудизм, пифагорию, мертвую, серую и бесплодную «теорию».

### УЧЕ(О)БА

Это слово, которое не раз объявляли неологизмом советской эпохи, — очень старое.

У Даля оно значится с пометками «*вор.*», то есть воронежское — «учба»; «учеба — *нвг.*», «учеба — *кур.*», то есть областное. В литературе оно встречается не раз как слово крестьянского разговорного языка, без особого местного прикрепления.

— Куда тут идти!.. Скучно и холодно зимой!.. И ребята как нельзя лучше знали это, и поэтому они терпеливо сидели в учительских избах и беспрекословно занимались, *как это характерно названо сельским народом, учобой.*

— Что это был за страшный и дикий гомон, которым непременно обусловливается хорошая, настоящая учоба! (Левитов, «Сельское учение», 3)

— И давно бы пора, говорила Дарья, какая тут учоба! (Г. Успенский, «Из памятной книжки»)

Особенно характерно применение этого слова у писателя-народника С. Коронина-Петропавловского в его «Рассказах о парашкинцах».

Либеральный помещик предлагает земской управе основать в Парашкине школу; другой помещик говорит, что это будет бесплодная трата общественных денег, по-

тому что парашкинцы все равно не захотят учиться, они невежды *по природе.*

Фрол, гласный от крестьян, который всегда молчал и за это был даже прозван Безгласным, на этот раз выступил, и очень горячо:

— Невежество — это так, но невежество надо учить, учеба ему надобна. («Безгласный»)

Слово приобрело у него переходное значение, оно очень активно, наступательно.

«Учеба» была широко распространенным в крестьянском быту словом, которое, однако, не допускалось в литературный язык.

После революции «учеба» впервые становится литературным словом, входит в официальную формулу («отправить на учебу»). Вся великая работа теоретической переподготовки людей, которые уже практически делали Революцию, в том числе и *культурную* революцию, обозначается этим большим и важным словом.

Оно утверждается настойчиво и принципиально вместо слишком тихого и общего «учения» и «просвещения» и прямо против «просветительства», которое связано с плохими историческими воспоминаниями и по самой своей форме и даже по звучанию как бы высокомерно и благотворительно.

— Непокорная скрипит учоба... [по теплушкам]. (Д. Фурманов, «Чапаев», 1)

— А какая польза деревне от твоей учебы! Не-е-ет, ты бы, как сам деревенский, взял от города учебу да деревне ее и отдал. (П. Замойский, «Лапти», 2—1)

— Пойдет Аннушка в учебу, а в хозяйстве одна памрозь... (Федорович, «Медный Сысой», 4)

В «учебе» привлекает и убеждает самое ее звучание, ударное *о* (или ё) после шипящего, тяжелый суффикс (ср. ходьба, злоба и т. д.); в ней слышится: надо! Самая характерная формула этого построения, этой «установки»: злой на учебу.

Горький в 1930 году создает журнал «Литературная учеба». «Нелитературное» слово сознательно применяется к литературе!

Именно «учеба», а не какие-нибудь курсы, семинары, институты по литературе, слову, живому слову, которые возникли в большом количестве сразу же после Октября и бывали иногда тоже несомненно п о л е м и ч н ы по са-

мой своей методологии, методике и применяемой в них терминологии. Особенно характерен был в этом отношени «Институт живого слова», который работал в 1918 году в Петрограде. Там изучали в первую очередь *эйдологию* по следующей программе: 1) творец и творимое; 2) аполлинизм и дионисианство; 3) закон троичности и четверичности; 4) четыре темперамента и 12 богов каждой религии; 5) разделение поэзии по числу лиц предложения; 6) время и пространство и борьба с ними; 7) возможность поэтической машины.

Конечно, это была у Горького очень полемическая «учеба», в противовес таким институтам, как этот ИЖС. У Горького, который сам так упорно боролся с засорением общелитературного языка местными и низкими словами и всякого рода жаргонизмами!

Но уже скоро это слово стало ощущаться именно как жаргонное. Самое его звучание, которое когда-то больше всего привлекало в этом слове, теперь уже казалось топорным, не соответствующим своему назначению.

— Что ж остается нам, которым нет тридцати? — негодовала Зина.

— Любовь и учеба, — уныло заключал Сеня. — Учеба и любовь. (Кочетов, «Журбины»)

Достаточно поставить рядом оба эти слова, чтобы стало ясно, какая это безрадостная, унылая вещь — учеба.

В 1952 году против этого слова выступил Ф. Гладков, который в свое время очень горячо утверждал в литературе самые прямые, пусть корявые и диковатые, но зато, мол, решительные и честные слова (и этим очень огорчал Горького).

Ф. Гладков писал:

— Наряду с жеманностью и наигранностью в языке актеров со сцены слышатся и грубые провинциализмы. Так вошло в обиходный словарь театра *нелитературное слово «учеба»*. Правда, оно стало очень распространенным и среди интеллигенции, не гнушаются им и сами лингвисты. Но ведь театр призван быть пропагандистом чистого, образцового литературного языка; он обязан очищать текст пьес от нелитературных слов, а актеры должны избегать даже в личном разговоре таких слов и выражений и тем самым внедрять в язык массового зрителя твердую литературную форму словоупотребления. Еще В. И. Ленин восставал против слова «учеба»,

вскрывая его отрицательный смысл, как муштры. В литературе это слово никогда не употреблялось. А чудесное, очень красивое слово «учение» забыто. Народ любил и уважал это слово. Прекрасно звучит пословица: «Ученье — свет, а неученье — тьма» или: «Повторенье — мать ученья». У Пушкина: «Чтение — вот лучшее учение». Попробуйте заменить в этих афоризмах «ученье» «учебой» — выйдет неприятно и смешно. Один из лингвистов оправдывал употребление этого слова («учеба») тем, что прилагательное от «ученья» имеет в суффиксе букву «б» — учебный. Но ведь от существительного «лечение» прилагательное будет иметь ту же форму — «лечебный». Однако мы не говорим «лечеба». (Письмо в редакцию «О языке на сцене и экране». «Советское искусство», 17/V 1952 г.)

Многое в этой, как всегда, страстной тираде Ф. Гладкова неточно.

Слово «учеба» никогда не было литературным, но оно употреблялось в языке народа и, совершенно законно и удачно, — в *языке литературы* (см. выше, у Каронина).

Ленин восставал против муштры, зубрения и начетничества, которое *напрасно называют* учебой.

«Учение» — совершенно очевидно — слово другого калибра и стиля, другое слово. (Ср. служба и служение).

Иногда в шутку, по аналогии с «учебой», мы говорим «лечеба»; но это словечко и не имеет претензий на то, чтобы стать литературным... Мало ли как обламываются и применяются в шутку слова!

В журнальной полемике по поводу учебы следует отметить выступление М. Фидлера («Новый мир», 1954, № 4):

— Меня... удивило, почему слово «учеба» объявлено «вульгарным провинциализмом», «диалектным». Словообразование с суффиксом «б» распространено и закономерно в русском языке... Нет никаких оснований так сурово относиться к ясному, законно русскому слову «учеба». Во многих случаях слова с суффиксом «б» более поздние, более распространенные. Они вытесняют прежние и в смысловом отношении — они обыденнее, ближе к жизни...

Но учеба сегодня, вне всякого сомнения, ощущается как незаконное снижение важного понятия. Прав Ф. Гладков, когда он говорит, что это слово уже *плохо*

*звучит* («Письмо в редакцию» было посвящено вопросам орфоэпии) во всех смыслах. Оно утратило свой полемический пафос и опустилось. Оно уже не соответствует и не подобает действительности и нашей новой стилистической мере.

Настоящее «учение» требует специальных институтов. И по литературному делу необходимы именно институты, которые включат в свой учебный план кое-что даже из программы Петроградского института живого слова 1918 года... Литературный институт при Союзе писателей так и называется Литературным институтом.

Наш журнал по вопросам теории литературы «Вопросы литературы» ввел в 1959 году на своих страницах отдел «Литературная учеба». А в № 1 этого журнала за 1962 год уже было объявлено: «С этого номера отдел литературной учебы будет называться «Мастерство писателя».

Это было не только очень своевременно, но и очень справедливо по существу. Почти все авторы статей этого отдела старались как можно дальше уйти от «учебы». Отдел этот с большим правом уже давно можно было назвать *«Против* литературной учебы».

По специальному указанию Академии педагогических наук слово «учеба» изгнано из всей педагогической литературы.

«Учеба» стала уже жаргонизмом — и архаизмом.

## ИНОСТРАННЫЕ

В языке утверждались все «хорошие», то есть ценные, неисчерпанные и плодотворные слова, в том числе и иностранные по своему происхождению.

Всегда в таких случаях Ленин давал тут же, рядом, и свои неподражаемые переводы иностранных слов на русский язык.

Иностранное слово стояло рядом с *соответствующим* русским. И уже самое сопоставление высокого звучания иностранных слов с привычным звучанием русских слов, означавших то же самое, сàмое это соответствие создавало необычайно плодотворный ход мысли. Оказывалось, что иностранное слово нисколько не таинственно и не страшно; что люди в других странах *о том же мечтали*

и думали; что все можно точно и остроумно и с огромной пользой для общего дела перевести и на наш язык.

Это была сама по себе замечательная школа интернационализма.

Вспомним поразительные по глубине и благородству слова Белинского:

— В этом действии видна справедливость... *Как бы в награду за понятие, рожденное народом, переходит к другим народам и слово, выражающее это понятие...*

Это — в рецензии Белинского на «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Н. Кириллова — М. Петрашевского, или, как называл ее сам Петрашевский, «Энциклопедию понятий, внесенных иностранной образованностью в русскую литературу».

Но одновременно с новым, широким и демонстративным включением в язык многих боевых иностранных слов с первых же дней революции началась борьба за очистку русского языка от *бесполезных* иностранных слов (знаменитые ленинские «Размышления на досуге», то есть при слушании речей на собраниях — «Об очистке русского языка»).

На второй же день после Октябрьского переворота Ленин, по свидетельству современников, говорил:

— Ну, теперь надо учиться писать по-русски. Теперь это не подпольная женевская газета, управлять будем громадным народом, и надо писать русским языком. («Стенограммы Первого Всесоюзного совещания рабочих корреспондентов», стр. 33)

Призыв Ленина «писать по-русски» пронизывал, по самому смыслу вещей, всю деятельность правительства, которое стремилось раньше всего быть понятным народу и в этом черпало свою несравненную силу.

Уже в 1927 году академик С. Н. Обнорский отмечал: «русификация нашего литературного языка... продолжается и в наши дни». (Сб. «Русская речь», новая серия, 1, 1927)

Это было очень смелое тогда и даже как будто парадоксальное утверждение! Еще очень недавно почти все исследователи отмечали засорение русского языка иностранщиной как чуть ли не главную особенность «совре-

менного языка». И ссылались при этом на Ленина, на ту же заметку Ленина...

Все дальнейшее развитие русского языка подтвердило это очень дальновидное замечание С. Н. Обнорского (речь идет не только о лексическом составе языка, но и о синтаксисе).

Началась всеобщая русификация литературного языка, а иностранные слова начинали у нас новую, русскую жизнь. Они подвергались замечательной обработке; самые лучшие из них впервые стали в России из отвлеченных понятий и только возможных, «потенциальных» слов — реальностью и делом.

Эти же иностранные слова потом не раз возвращались в страны своего происхождения уже как русские слова. Достаточно напомнить о *коммунизме,* о *коллективизации,* об *интеллигенции* и многих других, которые стали для всего мира русскими словами.

Ленин писал в 1919 году:

— Это понятие [пролетарская диктатура] составляло раньше неведомую книжную латынь, какое-то сочетание трудно понятных слов... И наша главная заслуга за истекший год заключается в том, что мы перевели эти слова с непонятной латыни на понятный русский язык. (28—112)

Главная заслуга!

Хорошо известно, какой смысл имели в прошлом и боязнь иностранщины, казенная охрана языка от опасных заграничных слов-понятий, даже запрещение таких слов в административном порядке, — и огромное к ним влечение, по разным, иногда противоположным, мотивам в «обществе».

Сейчас отношение к иностранным словам становится раньше всего спокойным.

Многие иностранные слова, малоизвестные или совсем неизвестные народу прежде, стали очень важными инструментами политической и экономической жизни.

«Декадент», «декадентство» еще до Революции было переведено на русский язык: «упадочник», «упадочничество». У А. Измайлова, например:

— Пушкин беспощадно высмеивал язык Кюхельбекера. Повернулось колесо истории, и ясность кюхельбе-

керовского языка стала идеалом для современного [1910] жалкого бреда *упадочника.* («Трагические антитезы»)

Речь шла о «Симфонии» Андрея Белого.

После Октября в полемике с декадентством во всех его формах оно обозначается неизменно словами «упадочничество», «упадочник» и т. д. Предполагалось, что так проще, яснее, нагляднее.

Но вот уже давно «упадочник» и «упадочничество» фактически отброшены. Декадент так и называется декадентом. Это лучше и более по-русски, чем надуманное «упадочник» — одно из тех русских слов, которые иностраннее иностранных.

Многие иностранные термины техники и спорта вошли в язык вместе с грандиозным перевооружением всего нашего хозяйства и получили у нас новую эмоциональную окраску (ср. «комбайн» или «конвейер» и т. д.).

Совершалось великое техническое перевооружение нашего хозяйства, и по ходу дела вошли в наш язык очень многие иноязычные технические термины. Все они получили у нас новую эмоциональную окраску. Ср. особенно судьбу термина «конвейер».

У Ал. Толстого (инженера по образованию):

— Вам приходилось слышать о работе над конвейером? Это последняя американская новинка. Философию работы у двигающейся ленты нужно внедрять в массы. Воровство, убийство должно казаться менее преступным, чем секунда рассеянности у конвейера. («18-й год»)

Конвейер — чудовище, убийца. Вспомним героев Чаплина у конвейера. Самое слово может и должно вселять только ужас и панику...

Оно звучало угрожающе и в некоторых произведениях советских писателей в первые годы индустриализации... Известно, как звучит это некогда страшное и иностранное слово сейчас в нашей стране.

Гораздо меньше новых заимствований в сфере не технической, в сфере новых общественных и эстетических понятий. Полная противоположность тому, что было до Революции.

И в советскую эпоху блистали одно время фордизм, фрейдизм, урбанизм, унанимизм, бихэвиоризм и т. д. Конструктивисты выдвигали даже — конечно, очень по-

лемически — слово Бизнес с большой буквы, с одним «с», «по-русски» — как великое и всеобъемлющее понятие, как главное слово эпохи. Но это не имело и не могло иметь успеха.

Ушли и другие слова этого рода.

Но мы узнали в годы Революции и другие иностранные слова — слова отчаяния, недоумения, злорадства и самозлорадства и слова ненависти к существующему в капиталистическом мире «порядку вещей». Среди них были слова сильные и значительные. Многие такие слова (например, «маленький человек», «робот», «погибшее поколение», «сердитые (или разгневанные) молодые люди» и др.) заняли важное место в нашем языке, но подверглись замечательной обработке.

Чудесно изменилось отношение к иностранщине в языке, получил новое развитие и разрешение еще один «проклятый вопрос» лингвистики.

Проследим историю некоторых наиболее интересно обрусевших в нашу эпоху слов.

### МИТИНГ

У Даля не было этого слова. Оно было добавлено Бодуэном де Куртенэ только в издании после 1905 года как новое, с отметкой «англ».

Не было его в Словаре ИАН 1847—1867 годов.

Но уже в 1858 году московский генерал-губернатор Закревский доносил министру внутренних дел по поводу банкета в Большом театре с участием пятидесяти человек крестьян, который затевал знаменитый откупщик Кокорев:

— В настоящее время для назидания и вразумления дворян нужны основательные и зрело обдуманные проекты и сочетания, *а не западные митинги, развивающие демократические идеи,* и не застольные речи честолюбивого купца, который, делая себя адвокатом близкого ему по крови крепостного сословия, хочет выдвинуться вперед и стать во главе народа... (Сообщение С. К. Шамбинаго)

Честолюбивый купец пытался присвоить слово, которое уже было хорошо известно; оно очень ему импонировало как слово людей того круга, к которому он тянул-

ся. И хотя Кокорев, как и те другие, были свои люди, слово казалось Закревскому, и вполне основательно, опасным по своим внутренним возможностям.

А Щедрин защищал особым образом «митинги» в борьбе и с закревскими, и с кокоревыми:

— Отсюда наши учтивости, отсюда наши журнальные и нежурнальные мечтания о сближениях и общениях, отсюда различные совещания и митинги. («Наша общественная жизнь», 1863)

— Нет у меня ни митингов, ни парламентов, зато есть **La fille de Madame Angot** («Дочь мадам Анго» Лекока) в трех интерпретациях. («Недоконченные беседы», 1873)

Как они ни убоги и робки, эти «митинги», это все же более похоже на общественную жизнь, чем оперетка с канканом и пр.

В те же годы, когда Даль еще мог считать, что нет такого слова в живом языке, Толль уже приводил его в своем Настольном словаре и осторожно пропагандировал это понятие:

— Митинг (*англ.*) — 1) народное собрание в Англии и Сев. Америке, цель коего заключается в обсуждении обществ. и политических вопросов. Предмет М. возвещается печатн. объявлениями, выставляемыми на улицах; 2) так же назывался съезд диссентеров для отправления богослужения.

Даже во втором случае речь идет как-никак о диссентерах, то есть по определению самого Толля:

— Прежде конформисты, назв. в Англии протест. сект., кои отделились от господствующей церкви *не столько учением, сколько учреждениями и обрядами...*

И вообще здесь все необычайно характерно; характерно даже, что Толль сокращает ради экономии места и что́ пишет полностью в своем очень сжатом словаре:

— народное собрание... обсуждение обществ. и политических вопросов... не столько учением, сколько учреждениями...

У М. Михельсона в его «Крылатых словах» — «Свое и чужое» — под «митинг» только один пример из литературы, весьма, впрочем, содержательный:

Прекрасны могут быть и митинги и спичи,
И Македонский царь достоин похвалы;

Но как он ни велик, а прав и городничий:
Нет повода ломать и стулья и столы.

Писал это князь П. А. Вяземский, друг Пушкина, в старости, когда он был уже убежденным консерватором в английском стиле. Так у него и «митинг» стоит рядом со «спичем», а все вместе объявляется чем-то несерьезным, репетиловским («Что так шумите вы!»).

После этой единственной цитаты Михельсон отсылает читателя к словам такого же несерьезного рода:

— См. Александр Македонский герой. См. спич. См. стулья ломать.

А К. Победоносцев *в те же годы* писал:

— Известны бурные картины выборных митингов, на коих пускается в ход оружие, и на поле битвы остаются убитые и раненые... («Новая демократия»)

Отношение к этому слову у Победоносцева очень серьезное. Он уже *должен* разоблачать «новую демократию» с ее «западными митингами». Слово уже слишком хорошо известно, и оно вместе со своими непременными ассоциациями, конечно, ненавистно Победоносцеву.

В 1905 году «митинг» уже огромное слово.

Как будто свет из мрака брызнул,
Как будто был намек...
Толпа проснулась. Дико взвизгнул
Пронзительный свисток.
И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,
И человек упал на плиты
С разбитой головой.
...И в тишине, внезапно вставшей,
Был светел круг лица,
Был тихий ангел пролетавший
И радость — без конца.

(Блок, «Митинг», 10 октября 1905 г.)

В «митинге 1905 года», как писал Блок в другом стихотворении через несколько дней, был «лик свободы явлен».

— ...У ворот «Аквариума» людские потоки сталкивались, соединялись, и все приветственно махали друг другу шапками, платками, что-то радостно кричали. А на

митинге — страстные речи ораторов, и дождем сыпались в шапку; что пошла по кругу, медяки, серебряные монеты, бумажные рублевки — «рабочие копейки» на оружие. Единодушие, слитность воль. (П. Бляхин, «Москва в огне»)

И деревня узнала тогда это слово «митинг», — чаще, для большей важности, мити́нг:

— Черноусый парень в сером пиджаке завел:

Встрепенулась Русь святая,
перекрестилась в один миг,
и, свободу прославляя,
собрались мы на митинг.

(С. Семенов, «25 лет в деревне»)

В словаре Павленкова в издании 1910 года, через пять лет, толкование слова «митинг»:

— *Митинг* — публичная сходка (английский термин); м-ги в 1905 г. в течение сентября—ноября устраивались повсеместно в России городским населением, рабочими и крестьянами и сыграли огромную роль в смысле прояснения сознания народа, критики правительства, популяризации освободительных воззрений.

Теперь, в 1910 году, в годы реакции, это было уже у Павленкова многозначительное напоминание о том, какую огромную роль и в каком смысле сыграли и еще могут сыграть когда-нибудь митинги. Митинги кончились, а слово жило, и манило, и вдохновляло.

После 1905 года уже и Бодуэн де Куртенэ должен был, как мы уже отмечали, внести это слово в далевский «Толковый словарь живого великорусского языка».

В 1917 году это иностранное и для миллионов людей все еще новое слово стало одним из самых активных в народном языке.

Частушка тех лет:

Эх, истопталась вся подошва,
Изомлела вся нога-а,
Кажинный день хожу на сходку,
Митинга́ да митинга́.

(М. Барсукова, «Время на повороте»)

В исторической хронике М. Борецкой «Пир народный»:

— И малые кучки превращались в толпы. Толпы — в митинги. В уличных митингах, как в пеленках, расправляла свои слабые члены новая жизнь.

Блок записывал для себя:

— Нагорная проповедь — митинг... («Дневник», 1917)

У К. Тренева в «На берегу Невы»:

— Сергей. Так вот и брожу по митингам. Как в лесу. За день больше слов услышишь, чем за всю жизнь. А черт в них разберется... откуда и к чему... (IV)

Но эти вновь *полученные* непонятные слова, в конечном счете, очень помогали разобраться, откуда и к чему.

У Лидии Сейфуллиной — митинг в маленьком захолустном городишке. Вдруг набат!

— Не сумлевайтесь, барыня, это на *митингу* собирают.

— Как на митинг? Почему же набат? Кто приказал?

— Чем печатную объявку клеить, больно долго, говорит, айда, говорит, жарь в колокола. Все придут. Вот и ударили.

...Еще три раза били в набат. *Сзывали этим древним кличем горожан на большевистский митинг.* («Путники», 1)

Временное правительство очень хотело бы «ввести в рамки» митингование в армии. В. Антонов-Овсеенко приводит речь солдата Архипенко в Петрограде в апреле 1917 г.:

— Во внеслужебное время только разрешаются митинги и вообще свобода слова. А кто его определит, когда «служебное», когда «внеслужебное»... («В революции»)

И солдаты, по-солдатски, иногда в кровавых стычках с противником, защищают свое *право на митинги,* защищают это самое главное сейчас завоевание Революции.

Горький вспоминал позднее в письме С. Сергееву-Ценскому:

— В 20 г. в Петербурге я был на митинге глухонемых. Это нечто потрясающее и дьявольское. Вообразите только: сидят безгласные люди, и безгласный человек с эст-

рады делает им [доклад], показывает необыкновенно быстрые, даже яростные свои пальцы, а они вдруг рукоплещут. Когда же кончился митинг и они все безмолвно заговорили, показывая друг другу разнообразные кукиши, тут уж я сбежал. Неизреченно, неизобразимо, недоступно ни Свифту, ни Брегейлю, ни Босху и никаким иным фантастам...

В словоупотреблении противника и обывателя это огромное слово *«митинг»,* естественно, всячески унижается, комкается, распинается, а главным образом противопоставляется серьезному, настоящему делу.

У Н. Никандрова в сборнике с многозначительным названием «Все подробности»:

— Где тут Митенька? — спрашивают у публики две дряхлые старушки, две древние подруги, обе одетые в черное, постное, как монашки.

— Какого вам, бабушки, Митеньку?..

— А Митеньку. Братца. Слышим, все ходят сюда на Митеньку. Вот и мы собрались послушать его, родимого. А то братца Иванушку Колоскова слыхали, а Митеньку не приводилось слыхивать.

— Тут не Митеньку слушают, бабушки, а митинг!

— Митинг? Ну, значит, митинг. А мы думали, Митеньку... («Катаклизма»)

Это один из ходячих в обывательской среде анекдотов о митингах того времени, о древних старухах, у которых в голове все смешалось. А вот очень серьезный разговор о митингах, другое и лукавое противопоставление митинга — серьезному делу. «Сокровенный человек» у Андрея Платонова записывал в своей летописи в назидание потомкам:

—Кроме арестов, по городу были расклеены бумаги: «Вследствие тяжелой медицинской усталости ораторов, никаких митингов на этой неделе не будет». («Сокровенный человек»)

Серьезное дело — аресты и пустое — митинги. Прокричали весь данный человеку от природы голос. «Язык на плече», по характерному выражению тех лет.

Но вот реальное отношение этого слова к делу:

— Вершинин. Ну, качай, мужики, к насыпи. *Митинг закрываю — помирать пора.* (Вс. Иванов, «Бронепоезд 14-69»)

Этот невольный афоризм Вершинина — «Митинг закрываю — помирать пора» — давно и, кажется, навсегда вошел в наш поэтический язык. Так переходили от митинга, бала-митинга, спектакля-митинга и т. д. к делу тысячи борцов за дело Революции.

У Ю. Либединского:

Необходимы дрова, дрова и дрова, а то все остановится в маленьком городе, почти осажденном кулацкими бандами. Идет партийный актив, и все говорят *не о том,* по мнению предсовнархоза Зимака:

— Зимак сердито дергал головой, и его больше всего раздражали те, что видели выход. Зимак не видел его и сердито шептал: «Демагогия, митинговщина». («Неделя»)

Но от «митинговщины» участники этого актива очень прямо перешли к делу, организовали заготовку дров и отбились от банды. (А Зимак этого не увидел; его успели растерзать ворвавшиеся в город бандиты).

Ленин разъяснил — не обывателям и не противникам, а товарищам, которые тоже иногда считали митинги несерьезным делом:

— Революция не могла развиваться иначе, как через период всеобщего универсального митингования по всем вопросам. (33—47)

— Бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм трудящихся масс... (27—241)

Это разъяснение Ленина могло относиться и к Луначарскому, которому уже в конце 1918 года «надоел митинг»:

— Вероятно, в России мало людей, которые так часто митингуют, как я, и я считаюсь знатоком и мастером этого дела, по крайней мере партия меня считает одним из хороших митингистов. И я скажу: митинг надоел настолько, что тащить его на сцену не нужно. (Речь на открытии Петроградских государственных свободных художественных мастерских 10 октября 1918 года).

В той же речи, однако, Луначарский говорил о «Мистерии-буфф» Маяковского:

— Я видел, какое впечатление эта вещь производит на рабочих, она их очаровывает.

А ведь «Мистерия-буфф» была поистине спектакль-

митинг. В прологе, написанном для этого спектакля в честь III Конгресса Коминтерна:

все, что битвами завоевано на поле,
все, что промитинговано на все лады...

Завоевано и промитинговано — в одном ряду.

И Маяковский отвечал Луначарскому:

— Театр-митинг не нужен. Митинг надоел? Откуда? Разве наши театры митингуют или митинговали? Они не только до Октября — до Февраля не доплелись. Это не митинг, а журфикс с «Дядей Ваней».

«Митинг» и даже «митингист» — хорошие, необходимые и сегодня слова.

Важный поворот в народном применении этого слова закрепил Шолохов в «Поднятой целине».

— Нет зараз митингов! Сеять надо, а не митинговать! На что вам митинг спонадобился? *Это — слово солдатское.* Допрежь, чем его говорить, надо в окопах три года высидеть! (1—33)

Речь идет о *праве на это слово:* не только не время сейчас и не о чем митинговать, но не смеют эти люди произносить выстраданное и уже очень русское слово!

Затем уже меняются роль, уровень и назначение митинга в ряду других форм пропаганды, агитации, разговора с народом. Прошел «период всеобщего митингования по всем вопросам...»

Ленин говорил в докладе на Втором Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 года:

— Если во-время научиться отделять от митингования то, что нужно для митингования и что нужно для управления, то тогда мы только сможем добиться высоты положения Советской республики. Но мы, к сожалению, этого еще не научились делать, и большинство съездов идет далеко не деловым образом... Мы должны помнить, что страна наша есть страна, много потерявшая и обнищавшая, и нужно научить ее митинговать так, чтобы не смешивать, как я сказал, то, что́ нужно для митингования, с тем, что нужно для управления. Митингуй, но управляй без малейшего колебания, управляй тверже, чем управлял до тебя капиталист... (33—47)

У Маяковского:

— В воскресенье 12 декабря (1920) в 3 часа дня
150 000 000

1. Митинг людей, зверей, паровозов, фонарей и др.
прочтет
Владимир Маяковский

В 1923 году:

Было. Мы митинговали.
Словопадов струи,
пузыри идеи —
мир сразить во сколько.
А на деле —
обломались
ручки у кастрюли,
бреемся
стеклом-осколком.

(«Рабочим Курска, добывшим первую руду»)

Было, а теперь «митинг» поставлен на свое место.

— Молодая работница. Товарищи! Это получается митинг. (Ю. Чепурин, «Совесть»)

Плохое слово?

В июне 1938 года, в резолюции Пятой ленинградской горпартконференции, было записано:

— Восстановлены такие формы массовой работы, как митинги и общие собрания.

Уже надо было восстанавливать!

Затем, в войну и после войны, «митинг» сам собой возникал снова и снова; слово «митинг» получало все новые лирические, а подчас и трагические применения.

У Сельвинского:

И трупы бродят, грозят, ненавидят...
Как митинг шумит эта мертвая тишь...

(«Я это видел»)

Он видел в Керчи яму, в которую гитлеровцы свалили трупы семи тысяч расстрелянных советских людей.

«Митинг» имеет уже свою большую советскую историю, и различные применения этого слова в различные периоды советской истории необыкновенно ярко перекликаются и спорят в «митинге».

14 декабря 1920 года Ленин выступал на митинге, посвященном открытию первой в стране сельской элек-

тростанции в деревне Кашино, Волоколамского района, Московской области. 21 апреля 1937 года в Кашине прошел митинг по случаю открытия памятника Ленину в ознаменование выступления здесь Ленина в 1920 году. 14 ноября 1957 года в Кашине (теперь это уже город) снова состоялся митинг...

Были там и ветераны — участники встречи с Лениным в 1920 году; но и все остальные вспоминали тот митинг, уже по рассказам и преданиям, а также митинг 1937 года.

Наш «митинг» возвращается теперь в другие страны уже как «русское» слово. Особенно характерно это на родине «митинга», в странах английского языка, то есть там, где это слово вполне прозрачно по своей этимологии (встреча, сходка) и где оно звучало еще недавно совсем смирно. Американские и европейские закревские уже, вполне резонно, пресекают митинги, которые могут стать, и уже часто становятся, «митингами» в русском смысле этого английского слова (ср. у К. Симонова «Митинг в Канаде»).

«Митинг» теперь в большой мере советизм, как и многие другие иностранные слова, которые возвращаются теперь в свои языки после коренной русской обработки.

### ЛОЗУНГ

— Гасло! — крикнули караульные.

— Свята п’ятница! — отвечал Молявка.

То был дневной лозунг. Его пропустили. (Костомаров, «Черниговка», XVII век)

«Гасло» — пароль; «лозунг» — отзыв на пароль (лозунг и значит разрешение).

Это был военный термин, занесенный на Украину из Германии. В русском языке наше понятие «лозунг» обозначалось главным образом словом «зазыв».

— Чем их поднимешь! Нет зазыва!.. (Документы о бунте Болотникова)

Но в словаре, приложенном к знаменитому «Письмовнику» («Геройские подвиги и примерные анекдоты русских») Курганова, даже в первых изданиях (1769), есть уже и лозунг: «Лозунг — слово, знак воинский». Это

было еще, однако, новое и «трудное» для читателей «Письмовника», требующее пояснений слово.

В «Карманной книжке для любителей чтения русских книг и журналов или краткое истолкование встречающихся в них слов Ивана Ре...ф...ц» (С. К. Ферельцта), СПб, 1837:

— Лозунг. (воен.) слово, которое дается вместе с паролем и хранится в тайне для военной осторожности.

В «Объяснительном словаре» И. Углова (1859):

— Лозунг. (*нем.*) — ежедневно изменяемое слово... и т. д.

Только военный смысл.

Как обычно, выразительный специальный *термин* получает уже скоро и *обобщенное* применение, вне своей специальной сферы: военное слово переосмыслено и применяется в политической и литературной войне.

— И слова: чувствительность, несчастная любовь стали шибболетом, лозунгом для входа во все общества. (Бестужев-Марлинский — о карамзинистах)

«Шибболет», а в качестве разъяснения «лозунг». Это синонимы, и «лозунг» теперь уже *более понятное* слово, чем «шибболет».

«Шибболет» в Библии (от древнееврейского «шиболет» — колос; по тому, как говорящий произносил это слово, шиболет или сиболет, распознавали, к какому он принадлежит племени и не вражеский ли он лазутчик) также был первоначально военным термином. У нас в конце XVIII века он получает очень широкое значение:

Авось, о Шиболет народный!..

(Пушкин)

Шибболет — опознавательный знак, решающая черта характера человека и народа, то слово, в котором он весь сказывается, «выдает» себя.

Затем «шибболет» оттесняется, становится архаизмом. А «лозунг» остался и получает весьма драматическое развитие...

У Даля «лозунг» — «военное слово, для опознания часовыми своих при выходе и входе ночью из места расположения войск». И только.

У «Толля» в те же годы, после определения военного значения этого слова:

— вообще слово или вещь, служащ. знаком партии.

Еще один, и яркий, эпизод из постоянного спора Даль—«Толль».

В переводе шиллеровского «Дон Карлоса», сделанном С. А. Юрьевым в 70-х годах:

Карлос. Природа? Я не знаю никакой.
Теперь убийство лозунг. Узы крови
теперь расторгнуты.

(V—4)

Юрьев в трагедии на вечную тему о свободе уже может оставить без перевода всем понятное *в «толлевском» значении,* почти русское слово «лозунг».

Терминологическое значение этого слова утрачено; его нет в военных уставах. «Лозунг» — термин общественно-политической борьбы. И только реакционеры или ренегаты пытаются иногда напомнить, что «лозунг» — это, собственно говоря, военное слово и уже потому неприменимо, мол, там, где не надо командовать.

— Андрей Петрович... питал неодолимое отвращение к экономическим «лозунгам» и паролям нынешней европейской демократии. (А. Эртель, «Смена»)

«Лозунг» уже попал в кавычки. Разочарованный и усталый восьмидесятник, Андрей Петрович сознательно ставит «лозунг» в один ряд с «паролем», хотя эти слова уже далеко разошлись и он это хорошо знает. Для него, мол, в этом нет ничего нового: лозунги, пароли и тому подобные громкие слова. А Эртель явственно издевается над ним и над его отношением к лозунгам. В том же романе Эртель не раз выступает на защиту великих обобщений и «определений» недавнего времени, то есть 60-х годов, восстанавливает, выводит из кавычек полузабытые лозунги.

— Нет, все глядите, как хорошо-то всё!

Это был крик ее [бабушки] сердца, *лозунг всей жизни.* (М. Горький, «Детство», 3)

Горький писал «Детство» уже после Октября. Но бабушка уже, вероятно, знала это слово.

Уже создали свои лозунги большевики — особые,

неумолимо-конкретные лозунги, в которых самая строгая теория сочеталась с борьбой рабочих за «четвертак», и важнее всего было показать, как естественно теория сочетается с четвертаком.

Энгельс писал:

— Не беда, если когда и встретится какое-либо иностранное слово и непонятная на первый взгляд во всей ее широте фраза. Устный доклад на собраниях и письменное разъяснение сделают тут все необходимое, и краткое, но многозначительное выражение, будучи понятым, запечатлевается в сознании и становится лозунгом.

Естественно, что когда передовая рабочая партия шла к власти, она широко двинула в массы эти «краткие, но многозначительные выражения».

Уже в «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Ленин писал:

— ...прямая задача науки, по Марксу, это — дать истинный лозунг борьбы. (1—309)

Это — программа и вступление.

И затем на всех этапах борьбы, каждый раз по-новому, Ленин неустанно и страстно борется с людьми, которые смотрят на лозунги не как на практический вывод из классового анализа и учета определенного исторического момента, а как на талисман, раз навсегда данный партии или направлению; с людьми, которые «заучили наизусть «лозунг» вооруженного восстания, не поняв значения и условий применимости этого лозунга» (15—130), с «ложно понятыми в неподвижном смысле лозунгами» (15—193).

В неподвижном смысле, без учета применимости — не лозунг, а «лозунг». Ленин при помощи кавычек отбивает у противника большое, самое главное слово.

После Октября «лозунг» — одно из самых активных слов нашего языка.

— Голоса. Рви лозунги.

Князев. Зачем, товарищи, рвать, ежели оборот лица можно сделать... Товарищи, кто тут портной или, в крайнем случае, парикмахер? Отрезай «здравствует». (К. Тренев, «На берегу Невы»)

Еще висят в воздухе другие лозунги: «Вся власть Учредительному собранию» и др. В ответ — «сплошной долой»... Но можно и *по-хозяйски* сделать им «оборот», как это делает Князев.

Были и «ступенчатые лозунги».

— И если он [броненосец «Республика»] принимал «ступенчатые» лозунги [как 21 мая о переводе Николая Романова в Кронштадт], то из соображений педагогических... (В. Антонов-Овсеенко, «В революции»)

Ступенчатые, то есть постепенные, даже компромиссные («нельзя быть против *всякого* компромисса», — писал Ленин, 30—332).

— Какие же из этого лозунги получаются? (Малышкин; «Тают снега»).

«Лозунг» еще заменяет многие (слишком многие) другие важные слова. Но герой Малышкина хорошо в общем понял это еще не ясное ему до конца иностранное слово. Из всего должен получаться какой-то лозунг, все должно работать на общую цель, должно что-то значить не только в частности, но и в большом, лучше всего — мировом, масштабе.

Революция создает и вписывает или даже высекает на стенах домов все новые лозунги. А иногда возвращаются и получают необыкновенно своевременное применение очень древние «лозунги».

— Кто не работает, тот не ест.

Это, собственно, изречение из послания апостола Павла: «И апостол глаголет: праздный да не яст, и проклят есть тунеядец...» Но до сих пор можно прочитать этот лозунг, высеченный на стене одного из домов на Тверском бульваре в Москве. Это обстоятельство особо отмечает настоятель Кентерберийского собора Хьюлет Джонсон в своей книге «Коммунизм и религия».

На Украине возрождалось в новом значении и древнее «гасло».

— Прогнанные со свечами на рогах по Украине волы являлись священным призывом к угнетенному панством населению выступать на защиту своих прав с оружием в руках. Называется такой способ «гаслом». (Д. Петровский, «Повесть о полках...»)

В современном украинском литературном языке лозунг — гасло.

Маяковский — о *рифме*, ее значении и назначении:

Рифма поэта — ласка, и лозунг, и штык, и кнут.

Очень содержательный порядок слов!

У Н. Тихонова в стихотворении «Площадь Бастилии»:

Литейщики, пилоты, слесаря
Сливали свой товарищеский говор,
И песни их, точнее хрусталя,
Сменяла буря стали лозунговой.

У Тихонова позднее (1939):

А вспомнит их песни — они не те,
Они в молчанье отсверкались,
Над ними тучи в высоте,
Спеша, как лозунги, менялись...

(«Каскад зарей воспламенен»)

Сменяются и песни и лозунги. Но главное — чтобы и в лозунгах была песня точнее и прозрачнее хрусталя.

Великое слово вошло в обиход. Теперь новые и огромные опасности угрожают лозунгу. Он может стать фразой, то есть тем, что более всего ненавистно Ленину.

— Поменьше политической трескотни, поменьше общих рассуждений и абстрактных лозунгов. (32—108)

— Всякий лозунг, бросаемый партией в массы, имеет свойство застывать, делаться мертвым, сохранять свою силу для многих даже тогда, когда изменились условия, создавшие необходимость этого лозунга. Это зло неизбежное. (28—170)

И бесконечно важная ленинская формула:

— Всякий лозунг получает способность затвердевать больше, чем нужно... (28—203).

Он *должен* затвердевать! «Краткое, но многозначительное выражение» должно стать народной поговоркой, как не раз говорил Ленин. Слова этого выражения *должны* стать неразрывными.

Но не больше, чем нужно!

Эта способность лозунгов затвердевать больше, чем нужно, обнаруживается очень наглядно.

— Елена. Ужасно толстый лозунг — от него голова кружится. (Афиногенов, «Страх»)

Это самое худшее, что может с ним случиться: «толстый» в поэтическом языке Революции тянул за собой всегда самые плохие ассоциации («музыка толстых» и т. д.).

— Он один скольких сто́ит! Только поставьте перед ним трудовую задачу, а не лозунг голышом... А то «ударим», «ударим»!

(Все в зале рассмеялись. Даже Сысой). (Н. Никитин, «Поговорим о звездах», 2—3, 1931).

Лозунг голышом. Даже очень прозаическая «трудовая задача» лучше!

Противник всячески издевается над этим ненавистным ему словом. Возникает «лозгун» вместо «лозунг», и это звучит почти как «лгун».

Но и передовые люди применяют уже иногда это плохое словечко «лозгун». И не только в шутку, в порядке обычного обламывания слова, когда не хочется говорить слишком правильно, но и очень всерьез.

Есть «лозгуны», которые не должны, не смеют называться лозунгами. Передовая литература и публицистика страстно борются с отвердеванием и ожирением лозунгов, наивной и неумной лозунговостью.

Но самое это слово, как все хорошие слова, Революция никому не отдает.

— Вы слышите, как лозунгом бежит из уст в уста название вашей страны... (Н. Асеев, «Разгримированная красавица»)

Название страны стало лозунгом. Это Асеев почувствовал особенно остро, когда побывал в 20-х годах в Европе.

Великая суть деклараций
и лозунги русской земли
уже в повседневное братство,
в обычную жизнь перешли.

(Я. Смеляков, «Маленький праздник»)

Это писалось уже в наши дни. Снова полемически, в ответ противнику, и на новых основаниях утверждается это слово, которое перешло в обычную жизнь.

Возникают стихотворные лозунги-ответы по самым разнообразным случаям.

Сан-Франциско далеко,
если ехать низко.
Если ехать высоко —
Сан-Франциско близко.

(С. Артюхова)

Это было посвящено полету Громова и его товарищей через полюс...

— Такому искусству в создании короткого стихотворения-лозунга мог бы позавидовать и зрелый поэт, — писал по этому поводу С. Маршак, который и сам создал много превосходных стихотворных лозунгов.

В день перекрытия Волги на бетонных быках плотин был написан лозунг:

Добро пожаловать, вода,
на праздник нашего труда.

«Жаль, — писал по этому поводу М. Дудин, — что никто не написал на этот лозунг рецензию. А надо бы это сделать».

Идет война лозунгов. Там, в Сан-Франциско и вообще в капиталистических странах, непрерывно возникают все новые и весьма замечательные политические лозунги — крылатые, доходчивые, острые и непременно очень «демократические», берущие за душу простого человека.

Большим мастером таких лозунгов был Ф.-Д. Рузвельт: «Забытый человек», «Нью-Дил», «Арсенал Демократии» и т. д.

Очень соблазнительные и яркие лозунги — и непременно социальные, демагогические — создавали иногда и фашисты: «Каждый человек — король» — лозунг американского фашиста Хью Лонга и др. Почти все фашистские лозунги обещают торжество «маленького человека», «широкое рассеивание собственности», «благосостояние для всех» и т. д.

Много отличных лозунгов и в энцикликах папы римского; время от времени он выступает против «мамонизма», то есть власти золотого тельца, а то и более конкретно и точно: *против монополий...*

И они туда же — говорят непременно о простом человеке, о человеке на улице, о парнях, которые одни только и делают историю. Английский представитель в ООН Мак-Нейл заявил в свое время: «Мы здесь представляем, как было сказано уже не раз, тех самых простых людей, о которых говорил советский делегат».

Лозунг уже по самому смыслу вещей должен быть непременно полемическим, бить тех, кто говорит почти те же слова.

И во внутренней нашей политической и литературной полемике идет непрерывное выяснение отношений на основе того же слова «лозунг».

Нам, говорят, не нужно басен,
Нам лозунг ваш давно знаком.

(Исаковский, «Письмо»)

Лозунг без кавычек; да, это лозунг, но ваш, мы его не признаем.

К 1 мая 1943 года, во время войны, были опубликованы впервые «Призывы ЦК ВКП(б)». «Призывы», а не немецкие «лозунги». И с тех пор только «Призывы ЦК КПСС».

Но живет и старое, боевое слово «лозунг».

«Правда» писала недавно:

— Идут взрослые рабочие, и та же радость на их лицах, и боевым кличем звучит ритмический лозунг:

— К социализму! К социализму!

В записке Н. С. Хрущева, одобренной ЦК КПСС, по одному из кардинальных вопросов современности — «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране»:

— Самое главное в этом деле — надо дать лозунг и чтобы этот лозунг был священным для всех детей, поступающих в школу, что все дети должны готовиться к полезному труду, к участию в строительстве коммунистического общества. («Правда», 21/IX 1958 г.)

Самое главное — дать лозунг, истинный лозунг борьбы.

Такое слово никогда не уйдет из языка.

В 1773 году французская «Индийская компания» спустила на воду корабль «Спекулятор» — чудо тогдашней техники. Незадолго до того вышел в свой первый рейс «Банкир», еще раньше — «Акционер».

Кораблям никогда не давали безразличных имен. Судно поручалось судьбе; обручение «корабля с морем» носило всегда очень патетический характер. Большие надежды возлагались и на любезное судьбе *имя* корабля, на магию самого имени.

По морям еще недавно ходили «Персефоны», «Поллуксы», «Андромеды». Молодая буржуазия оставила эти мифологические сюжеты старикам; она впервые выходила в море под своим именем. Арматоры считали, что отныне судьба лелеет Акционеров, Банкиров и Спекуляторов.

Суда с таким названием-девизом встречаются в документах и много позднее. Так, в списке «Судов и пароходов, приходивших с 1860 года в Печорский залив», значится на первом месте:

— 1. Spekuliyschon (орфография подлинника), барк. англ., 540 тонн.

Суда эти с такими хорошими названиями все же *страховались* на случай какого-либо несчастья на море. А страхователи (знаменитый Эд. Ллойд и др.) были также спекуляторами; они так себя и называли! Часто спекуляторы обоего рода, арматоры и страхователи, совмещались в одном лице. Страхование — это была коммерция, основанная на широком и научном обобщении фактов действительности. Бывали плохие и хорошие годы, но ряды лет все были в общем итоге хороши; «работа с рисками» была самым верным коммерческим делом в мире, потому что строилась на очень точной материалистической и даже философской спекуляции.

Спекуляция означала и означает, собственно, наблюдение и размышление. Это — исходное значение.

В словарях это значение «спекуляции» и даже производного, с немецким суффиксом, «спекулировать» ставится всегда на первое место.

Так, например, в «Оксфордском словаре»: «спекулировать — проводить исследование, размышлять, создавать теорию или гипотезу (о чем-то, о природе и причи-

не вещей, или — без дополнения)». Затем: «инвестировать деньги, участвовать в коммерческой операции, которая сопряжена с риском или потерями, как, например, спекулировал на таких-то товарах, на каучуке (особенно если подразумевается некоторый риск) или — как предполагают, он много спекулировал. Отсюда производные — спекулятивный, спекулятивно, спекулятивность, спекулятор (от лат. speculari — выслеживать, наблюдать; speculum — наблюдательная башня, ср. ниже: speculat-e, -ion).

Под «спекуляция»:

— размышление о чем-то, исследование чего-то, теория о чем-то, о таком-то предмете, как, например: *весьма склонен к спекуляции; простите, что перебиваю ваши спекуляции;* купил это для спекуляции (или для спека, реже — на спек); игра, в которой карты покупаются и продаются и т. д. (ср. лат. speculationem).

Так и во всех других словарях: сначала высокое, ученое значение этого слова, затем просторечное и терминологическое. Естественная филиация идей в слове и в языке.

Но и философская «спекуляция» уже давно слово терминологическое, прикрепленное только к определенной философии и, можно сказать «падшее». Спекуляция в философии — синоним теоретизирования метафизического, схоластического и бесплодного.

Маркс и Энгельс вели прямую атаку на «пьяную спекуляцию» во имя «трезвой философии» диалектического материализма («Святое семейство»). В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс обнажают *приемы* идеалистической спекуляции:

— Сначала из факта извлекается абстракция, а потом заявляют, что этот факт основан на этой абстракции. Весьма дешевый способ придать себе немецко-глубокомысленный и спекулятивный вид.

В дальнейшем «спекуляция» *этого рода* еще более вырождается.

А бурное развитие того же слова в другом значении еще более оттеняет практическую никчемность высокой спекуляции. Уже не раз в передовой публицистике и литературе зло обыгрывалось *первое,* философское значение при «иронической помощи» второго. Философские спекуляции...

У нас оба значения этого иностранного слова имеют свою весьма яркую историю.

— Наш философический язык вообще еще весьма беден и неопределителен, — писал в поразительной по глубине и оригинальности заметке «Философический язык» В. А. Жуковский.

Он не брался выдумывать новые слова для философии, объяснял, почему это было бы бесполезно и даже вредно, и все же предложил несколько таких русских слов. Среди них не было слов, означающих философскую спекуляцию. Но всюду, как в этой заметке, так и в других, он очень подозрительно относится к чистому умозрению (то есть к спекуляции) и противопоставляет ему — религию (например, в заметке «Вера и знание»), то есть восприятие эмоциональное и чувственное.

Влюбленный в немецкую поэзию и философию, Жуковский не знал или, вернее, не хотел знать немецкую философскую спекуляцию.

И Пушкин, горько сетовавший, что у нас еще не разработан метафизический язык (это было у Пушкина хорошее слово, означавшее высокое философское мышление), не знал этого слова, хотя, как известно, прекрасно владел всей современной ему философской терминологией. Ср. ниже другая «спекуляция» у Пушкина.

В старых русских переводах Евангелия «спекулятор» — царский телохранитель, шпион, соглядатай и палач. «И, послав спекулятора, повеле принести главу его». (От Марка, 6—27)

Такое значение имело уже это слово в поздней латыни; «спекулятор», собственно наблюдатель, стало значить «шпион», в полном соответствии с действительностью. На царских телохранителях лежало исполнение смертных казней по личному повелению царя.

В этом значении палача выступает «спекулятор» и в школьных «действах» о Юдифи и др.

Но это архаическое, а поэтому и высокое в своем роде значение оттесняется постепенно на задний план...

Выдвигаются очень реальные, бытовые и политические применения «спекулятора» на основе еще памятных литературных смыслов этого слова — шпион, палач.

В «Записках» Дениса Давыдова об Отечественной войне 1812 года:

— Это был [в главной квартире Бенигсена] рынок по-

литических и военных спекуляторов, обанкротившихся в своих надеждах, планах и замыслах.

Здесь «спекулятор» в новом смысле настолько общеизвестное слово, что уже возможен весьма важный перенос смысла в политическую сферу.

Но хорошо слышен и старый смысл: у этих спекуляторов были свои планы, замыслы. Они в свом роде философы.

Денису Давыдову, человеку легендарной личной храбрости, особенно ненавистны эти политические и военные мародеры, устроившие свой рынок в штабах армии.

Пушкин:

— Соболевский сам по себе, а я сам по себе. Он спекуляции творит свои, а я свои. Моя спекуляция — удрать к тебе в деревню. (Письмо жене, 1834)

— Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился в журнальную спекуляцию. (То же, 1836)

У Баратынского в стихотворении «Дядьке-итальянцу»:

...Прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций...

«Спекуляция» здесь уже очень отчетливо: хитроумный обман, и не только коммерческий.

Очень точно в «Карманной книжке... Ив. Ре.. ф... ц» (1837):

— Спекулянт — сметливый предприимщик. Расчетистый человек.

В 1838 году вышел в типографии Греча «Карманный песенник». Белинский писал по этому поводу:

— Этот песенник есть одна из тысяч проделок книжной спекулятивности: тут вы найдете стихотворения Пушкина, Жуковского, Батюшкова, г. г. Языкова, Хомякова, Баратынского, русские песни Мерзлякова и Дельвига, старинные чувствительные романсы и песенки. Разумеется, все это искажено, поправлено, переправлено, лишено смысла. (IV—60)

За этим следовал сделанный Белинским подробный расчет вознаграждения, которое получил «сметливый издатель» за эти искажения.

Сенковский-Брамбеус лицемерно возмущался тем, что в первом посмертном издании сочинений Лермонтова

(1842) были напечатаны и незрелые, отвергнутые самим поэтом вещи:

— Спекуляция... исторгает из забвения все эти неудавшиеся, непризнанные пробы пера...

— Последнее произведение г-на Бальзака носит отпечаток промышленности. Прежний гений уступил место спекуляциям. («Северная пчела», 1843)

«Спекуляция» во множественном числе и «спекуляция» как собирательное; «спекуляторы» и — проще, современнее — «спекулянт».

У Гоголя ироническое возвышение этого слова, пока речь идет о сравнительно скромном, хотя и хитроумном, комбинаторе:

— Один спекулятор почтенной наружности... продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно наделал... скамеек. («Нос»)

И страстно и гневно:

— ...бесстыдство и наглость спекуляторов... (Там же)

— Многие спекулянты в начале нынешнего столетия издавали под именем Курганова различные «Письмовники», имевшие мало общего со своим родоначальником. (Е. Колбасин, «Литературные деятели прежнего времени», 1859)

Литературные спекулянты.

Спекулянт ты от природы,
По искусству ёрник ты.

(Щербина, «Редактору N»)

Тургенев пишет Л. Н. Толстому:

— Он [Белинский] всю жизнь был... тружеником, работником спекулятора, который его руками загребал деньги... (1856)

В том и другом случае речь идет о редакторе-спекулянте — спекуляторе — и, кажется, об одном и том же (Краевском).

И необыкновенно интересное, в своем роде очень логичное привлечение «спекулятора» к большому общественному делу у Достоевского:

— Повторяем опять: по-нашему самый лучший способ (из искусственных) — это спекуляция... В самом деле, спекулятор — какой же барин? Какой же *умышленный* распространитель просвещения в народе? Спекулятор

свой брат, гроши из кармана тянет, а не напрашивается с своими учеными благодеяниями. Но вот задача: как обратить *умышленного* просветителя в спекулятора? Издает книгу какое-нибудь благотворительное общество или какой-нибудь вельможа — просветитель человечества или, наконец, просто ученый друг человечества. К чему им деньги? Они рады своих положить.

Тут надо очень схитрить, чтобы не приметно было народу. Так что всего бы лучше было, если б этот друг человечества и вправду был спекулятор. В этом по-нашему и дурного-то не очень много. Трудящийся достоин платы: это давно сказано... («Книжность и грамотность», ст. 2. Журнал «Время», 1861)

Уж лучше «честный спекулятор», который не выдает себя за благодетеля народного и не обманывает народ... Незачем разъяснять, как эта страстная тирада характерна для Достоевского.

Важный эпизод в истории этих слов — выступление Щедрина в полемике с «Русским вестником»:

— [«Русский вестник»] поразил наш слух словами: кредит (под этим словом мы разумели исключительно Опекунский совет, в котором закладывали свои имения), *спекуляция (с этим словом в уме нашем соединялось смутное понятие о чем-то в роде мазурика*), поземельная рента и т. д. («Скрежет зубовный»)

Либеральный журнал пытался зачислить эти слова в другой ряд, сделать их почтенными экономическими категориями и возлагал большие надежды на разумную организацию кредита и спекуляции. Щедрин бурно разоблачил это переименование (ср. хищение — лафа).

У Панаева в его «Литературных воспоминаниях» все еще «спекуляторы», а не «спекулянты» — на иностранный лад. Но зачислены эти «спекуляторы» точно в свой ряд:

— игроки, аферисты и спекуляторы.

У Даля нет философского термина «спекуляция». «Спекулятор — *црк.* соглядатай» — и уже известный нам пример из Евангелия; «спекулировать (*нем.* и *лат.*) — считать, на что-либо рассчитывать... делать обороты для наживы, из барышей. Спекулятор и спекуляторша (уже есть и женский род!) — предприимчивый человек, оборотливый. Спекуляция *фр.* ... денежное, торговое предприятие, оборот по расчету, из выгоды, для барышей».

В Словаре ИАН 1867 года только: «Спекулятор, црк. Палач». И никаких «спекуляций» и пр.

У «Толля», конечно, другое, и страстное, отношение к словам этой группы.

Есть «спекулятивная философия», и о ней сказано:

—...то же, что умозрительное учение, по кот. истина открывается не через опыт, но путем чистого размышления.

Не через опыт, и этим для «Толля» она приканчивается: о таком учении не стоит и говорить.

Далее:

— Спекулятор — лицо, занимающееся только такими предприятиями, цель которых состоит единственно в получении барыша...

Слова даже не сокращены, как обычно: требуется полная ясность. И затем совершенно неподражаемо:

— Спекуляция в торг., расчет какого-либо предприятия на вероятный барыш; может удаться, если строго следовать теории вероятностей; С. обыкновенно употребляется в смысле предприятия, имеющего целью только получение выгод...

Здесь и материалистическое, научное объяснение причин успеха тех или иных предпринимателей, разоблачение современных «финансовых гениев», железнодорожников всякого рода. Здесь и тоска по такой научной организации жизни, которая ставила бы себе целью не только и не единственно получение барыша.

В те же годы Н. В. Шелгунов в своих педагогических сочинениях страстно борется за высокую педагогику, против «крохоборства» и «спекуляторства», то есть бесплодной, умозрительной схоластики.

Когда в России окрепло и расширилось влияние марксистской философии, отношение к осмеянной Марксом и Энгельсом «пьяной спекуляции» стало во всем передовом лагере окончательно враждебным

— Пролетариат должен, — писал Ленин в 1919 году, — разделять, разграничивать крестьянина трудящегося от крестьянина собственника, — крестьянина работника от крестьянина торгаша, — крестьянина труженика от крестьянина спекулянта.

В этом разграничении *вся суть* социализма. (30—92—93)

Н а д р у г о й д е н ь после Октября Совет Народных Комиссаров предлагал Военно-Революционному комитету:

— ...В условиях величайших народных бедствий преступные хищники ради наживы играют здоровьем и жизнью миллионов солдат и рабочих.

...СНК предлагает Военно-революционному комитету принять самые решительные меры к искоренению спекуляции и саботажа, скрывания запасов, злостной задержки грузов и пр. ...

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. У л ь я н о в (Л е н и н).

И в тот же день:

В с е м ч е с т н ы м г р а ж д а н а м.

Военно-Революционный комитет постановляет:

— Хищники, мародеры, спекулянты объявляются врагами народа.

...В преследовании спекулянтов и мародеров Военно-Революционный комитет будет беспощаден.

Военно-Революционный Комитет.

*Петроград. 10 ноября 1917 г.*

Еще недавно, после Февраля, рабочие говорили:

— Плата прежняя. Спекуляция свободна... (В. Антонов-Овсеенко, «В революции»)

Если спекуляция свободна — что же изменилось по существу? Теперь все изменилось.

— Спекулянты в церкви предают большевиков анафеме, а спекулянты в кофейне продают аннулированные займы. (Блок, «Исповедь язычника»)

В газетной статье 11 марта 1918 года, которую Ленин перепечатал в выдержках в брошюре «О продовольственном налоге» (1921):

— Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополии — вот наш главный «внутренний» враг, враг экономических мероприятий советской власти. (32—310)

«Внутренний» враг — из солдатской «словесности» царского времени. Сейчас подлинный *главный «внутренний» враг* — спекулянт.

А вот неподражаемое рассуждение врага *внешнего,* «великого капиталиста» Вандерлипа — у Ларисы Рейснер.

Вандерлип говорит Ленину:

— Вы огромный человек, Ленин, у вас изумительный череп, чисто американский. Теперь, когда недоразумения окончены, я могу сознаться: эта ваша спекуляция с социальной революцией гениально была придумана. И совершенно ново, неповторимо оригинально. Даже мой доллар пошатнулся, не говоря уже об их падучем франке... («Вандерлип в РСФСР»)

Он разговаривает с Лениным как реалист с реалистом. Известно, что Ленин не боится никаких слов; говорил же он, что «мы идем на Генуэзскую конференцию, как купцы» и выдвинем там «купцовские предложения», зная, какая может быть у купцов «законная и даже повышенная прибыль» (27—169, 273). В этом ряду у Вандерлипа и «спекуляция» слово высокое и трезвое, которое, по его убеждению, должно импонировать Ленину.

Ненавистные народу слова подвергаются всевозможным злым обработкам, выгибаются на все лады, сближаются с другими понятиями.

Джон Рид записывал:

— В одном провинциальном городе я знал купеческую семью, состоявшую из *спекулянтов-мародеров,* как называют их русские... («Десять дней...»)

Самая распространенная обработка — «скупулянты». Это и народная этимология и, чаще, сознательное разоблачение слишком пышного слова.

— Играют в буру, в крюк, в очко, девятку, спекулянтку и другие игры...

Это уже название игры, основанной, по-видимому, на схожих со спекуляцией приемах обмана, блефа и т. д. Ср.:

— *Спикули* на резинах ездют... (Глебов, «Рост»)

— Осторожно *спекулянтил...* (Караваева, «Рыжая масть»)

— *Спекулянствуют...* (У Бажова, «За межу»)

— *Спекулянничают...* (У А. Колосова, Малышкина и др.)

*Специалист* вместо спекулянт.

Тоже «специалист» особого рода.

Олег *Спекулириков* (С. Швецов, «Лирические миниатюры»).

— Сами-то с чаями прохлаждаются, а туда же — стыдно, стыдно. *Спеку-ля-то-ры,* вот вы что! (Гумилевский, «Жильцы»)

Ироническое возвышение гнусного слова. Опять «спекуляторы»!

Слово это бранное. И вот противник поднимает это слово как перчатку.

У Зазубрина настоящий поединок из-за этого слова:

— Вы можете мне поверить, как порядочному спекулянту... Не удивляйтесь, поручик... я самый настоящий спекулянт. Вы смотрите — студенческая тужурка? Это для виду.

...Профессор счел долгом пояснить офицеру:

— Вы, Иван Николаевич, не верьте ему. Алексей Евгеньевич — человек чересчур резкий и откровенный, страдающий привычкой все немного преувеличивать. Никакой он не спекулянт, а просто великолепный коммерсант — и все.

— Нет, поручик...

— Но ведь это же не... не... хорошо... Зачем вы так делаете? — наивно спросил он спекулянта.

Востриков рассмеялся:

— Нехорошо? Поймите, что я коммерсант со дня рождения, по натуре коммерсант. И если нельзя сейчас, как говорится, честно торговать, так будем спекулировать. И т. д. («Два мира»)

У Дорохова в «Колчаковщине» (это же время и место действия) — о *доблести* спекулянта:

— Туда же — спекулянты! Понимаешь ли ты еще — слово-то само какое? Попробовал бы ты вот, до Харбина да еще дальше, до Владивостока, в теплушке вот эдак-то в куче муравьиной доехать, да с товаром обратно. Пропали бы вы без нас.

Попробуйте вы без спекулянтов!

Это же, в сущности, рассуждение приобретает очень широкий, политический характер в публицистике реставраторов капитализма.

В 1918 году, под защитой японцев, на Дальнем Востоке существовали «демократические» думы.

У Фадеева в «Последнем из удэге»:

— Дума шиберов и спекулянтов... (I—156)

Когда Фадеев писал этот роман, немецкое слово «шибер» — тот же спекулянт западного образца — часто

встречалось в нашей печати: только что отшумела «штиннесиада» и пр.

Фадеев ставил рядом немецкое «шибер» и русское «спекулянт», разъяснял и снижал таким образом *оба* эти слова.

Его привлекало, вероятно, и то, что немецкое «шибер» почти однозвучно со старым русским «шибай», которое означало то же понятие (с важными, конечно, особенностями другого времени). Ср. укр. «шибеник» (висельник) и «шибеница» (виселица).

У Горького в «Сомове и других» диалог Дуняши и Анны:

— Дуняша. Спекулянт масло принес.

Анна. Во-первых, надо говорить — частник, а не спекулянт.

Дуняша. Мы так привыкли.

Анна. *Спекулянт — обидное слово,* обижать людей — дурная привычка...

В пьесе, как известно, речь идет о Промпартии — о попытке восстановить у нас капиталистический порядок при помощи «живых», «здоровых» и т. д. общественных сил, то есть раньше всего «частников».

В разговоре с Дуняшей достаточно было переименовать спекулянта в частника. В публицистике сменовеховской «Новой России» и др. *он же* будет именоваться представителем «частной инициативы», «свободного предпринимательства» и т. д. и т. д.

В 1922 году спекулянт в Москве имел свой печатный орган — «Листок объявлений». Это был до осени этого года еще только строго деловой, справочный по преимуществу орган. Осенью издатели «Листка» собирались превратить его в большую политическую газету под тем же скромным заглавием. Так ведь и в недалеком еще тогда прошлом «Биржевые ведомости» были влиятельной политической газетой, в которой выступали иногда и крупные писатели.

По хорошо известным причинам возвышение спекулянта, превращение его во влиятельную общественную силу, не состоялось и не могло состояться. Так и слово не возвысилось, а получило только один, бранный, смысл и стало хорошо служить для разъяснения многих старых обманных слов-понятий: свободная торговля, частная инициатива.

Леонид Леонов в «Русском лесе» вспоминает «спекулятора»:

— [В 1911 году] там по четвергам собиралась самая разнообразная компания, от игроков и биржевых спекуляторов, *как они тогда назывались,* до незаконнорожденного сына одной августейшей особы. (XVI—1)

Это не совсем точно: биржевики тогда уже не назывались спекуляторами. Были другие, более специальные и строгие слова, которые должны были звучать еще более гордо...

Но уже хорошо играет этот архаизм! Как возвышались некогда, в старину, отвратительные вещи! Как обманывал язык!..

Хорошо известно, что и в наши дни реформизм и ренегатство всякого рода выступают неизменно в облачении какой-нибудь «философской» «пьяной» или, наоборот, беспощадно трезвой, будто бы математической спекуляции.

Так, недавно английский ученый Ричардсон доказывал неизбежность дальнейшей гонки вооружений, ссылаясь на то, что при определенных условиях разность х—у (военные приготовления обеих сторон) слишком отклонится от нулевого значения. «Такие спекуляции, — писал по этому поводу академик И. Петровский, — не новы. Еще в 1679 г. иезуит Парди доказывал математически существование бога и нематериальность души». («ЛГ», 22/III 1952 г.)

## ИНТЕЛЛИГЕНТ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ИНТЕЛЛИДЖЕНСИА

— [Петр Евграфович.] Интеллигенты, боборыкинское словцо! (Леонов, «Скутаревский», 17)

Так принято считать. Академик В. Виноградов отметил, что «интеллигенция» встречается уже задолго до Боборыкина, в рассказе Тургенева 1864 года.

— А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить; здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу *интеллигенцию* вы увидите.

Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять *выражения ученые.* Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами, вместе с солидностью, раз-

вивало в людях некоторое глубокомыслие. («Странная история»)

Вот как, однако, подавал тогда интеллигенцию Тургенев: курсивом. Это новое «глубокомысленное» выражение, которым щеголяет опустившийся и недозрелый помещик Т...ской губернии; выражение, а не слово. Сам Тургенев как бы сторонится этого выражения.

В том же 1864 году вышел «Толль», который был поистине органом прогрессивной интеллигенции, как сказали бы мы сейчас. У «Толля» нет «интеллигенции» — и, вероятно, не случайно: он, материалист-шестидесятник, презирал «некоторое глубокомыслие» откупщиков.

«Зато» у него есть — и хорошо разработано — гнездо «интеллектуализм»:

— Интеллектуальное воззрение, по Шеллингу, т. е. познание в абсолютном тождестве всех противоположностей; интеллектуальное пособничество — участие в преступлении др. лиц советом, приказаниями или угрозами; интеллектуальные знания, кои приобретаются не чувственным опытом, но единственно отвлеч. мышлением...

Как и всюду у «Толля», замечательно яркий, принципиальный и полемический отбор понятий. Чего стоит уже одно «интеллектуальное пособничество» хотя бы только советом! Очень выразительны и сокращения ненавистных «Толлю» слов, — например, «отвлеч.» и др. Такие слова не стоит и выписывать полностью.

Но «интеллигенции» и «интеллигента» нет у «Толля» в том же 1864 году, когда вышла и «Странная история» Тургенева!

У Щедрина:

— *Интеллигенцией смехотворно называют у нас всякого не окончившего курс недоумка.* («Пошехонская старина»)

Совершенно очевидно, что для Щедрина это «хорошее слово», по его же терминологии, которое он не отдает недоумкам и пр. Он уже болеет за это слово, которое только что пришло, а уже пережило столь «волшебные превращения»...

У Даля была уже «интеллигенция» в значении собирательном — «разумная, образованная, умственно развитая часть общества». Но «интеллигента» еще не было; его добавил впоследствии Бодуэн де Куртенэ с очень характерными примерами (об этом ниже).

В русском переводе (с немецкого) романа Г. Самарова «Осада Метца» читаем:

— Глаза его, в которых некогда отражались ясная интеллигенция и проблеск фанатического воодушевления, глядели прямо вниз. (М., 1877)

Создается впечатление, что этот неизвестный переводчик (или, скорее всего, «одна из переводящих русских дам», как выражался в таких случаях Тургенев) перенес в русский текст немецкую «интеллигенц» (то есть разум) в неприкосновенности не только по причине своего переводческого бессилия или склонности к буквализму. Он (она) хотел щегольнуть высоким и глубокомысленным выражением и сыграть на некоторой *уже* его двусмысленности.

Одно из воззваний «долгушинцев» (дело слушалось в Сенате с 9 по 15 июля 1874 года) называлось «К интеллигентным людям».

«Интеллигенция», «интеллигентный» — уже всем известные, ходовые слова, которые очень по-разному применяются.

М. Михельсон в своих «Крылатых словах» безапелляционно объявляет «интеллигенцию» заимствованием из польского на основании следующей выдержки из сочинений его друга Болеслава Маркевича:

— В Москве... сказывалась... духовная жизнь, благодаря... благотворному влиянию тогдашнего университета и той дворянской, образованной и независимой по средствам и духу среде, в которой слагалась тогда ее интеллигенция (употребляю здесь термин, тогда еще не выдуманный или, вернее, не заимствованный тогда русской печатью у польской)... («Из прожитых дней» — «На юге в сороковых годах»)

Нет никаких оснований принимать всерьез это разъяснение болтуна и лгуна Б. Маркевича, который совмещал, как многие другие ренегаты, огромную преданность русскому самодержавию, поработителю Польши, с чудовищным высокомерием по отношению ко всему русскому. Польская печать того времени (в Австрии, Пруссии и «Царстве Польском») оказывала очень небольшое влияние на русскую прессу, а термин этот она, по всем признакам, заимствовала из немецкого языка.

А ссылки на Боборыкина, которого, вообще говоря,

Михельсон цитирует чрезвычайно охотно, под словом «интеллигенция» совсем нет!

Д. А. Милютин, всесильный военный министр Александра II, записывает в своем дневнике 4 апреля 1881 года (через месяц с лишним после 1 марта):

— 1881, 4/VII. Не было никакой надобности прислушиваться к желаниям некоторых (слишком) нетерпеливых частей *нашей так называемой интеллигенции, горячих голов малочисленной передовой партии...* (IV—97)

Он полемизирует со своими же, которые принимают слишком всерьез малочисленную передовую партию. Он хочет думать, что это еще так называемая интеллигенция.

Ср. еще: «так называемая ныне «интеллигенция» у Е. П. Карновича. («Родовые прозвания в России», 1886, изд. А. С. Суворина)

Но уже скоро кавычки отброшены, слово стало огромным, и оно уже непрерывно требует уточнений.

Замечательно глубоко, как всегда, уточняет это понятие Гончаров в «Материалах к статье об Островском».

На старости лет, вспоминая и оценивая уже давнее прошлое, Гончаров писал:

— Авторитет [писателей] устанавливался прежде в среднем классе, где интеллигенция была не случайность, не роскошь, как в «beau monde», а совокупность умов и талантов — в сильной, производительной работе добивающейся авторитета в борьбе с нуждой. («Лит. наследство», 1950)

«Интеллигенция» у Гончарова — высокое интеллектуальное развитие, интеллигентность, как сказали бы мы сейчас. Но встречается эта «интеллигенция» прежде всего в среднем классе. Это уже одно из первых и очень серьезное раскрытие понятия «интеллигенция» как *социальной категории.*

Вот и другое —и тоже необычайно характерное в своем роде — уточнение этого понятия у К. Леонтьева, идейного реакционера, когда он размышлял о судьбах России и ее интеллигенции в «вековечной борьбе Востока с Западом»:

— Надобно для ясности понимания христианского Востока проводить мысленно резкую черту между *эпи-*

*ческой,* простонародной половиной всего грекославянского мира и между той его половиной, которую вернее всего назвать *буржуазной* (ибо выражение *интеллигенция,* противопоставленное выражению *эпическая часть нации,* было бы в этом случае для народа слишком обидно). («Восток и Запад», предисловие)

Вернее всего назвать буржуазной!

В эти же годы Г. Успенский:.

— Пора дать дорогу — не скажу уже готовой «настоящей» интеллигенции, а хотя тем вопросам общественного блага, которые могут образовать эту настоящую интеллигенцию. Да, еще «образовать» ее надобно — так она слаба, не уверена в себе, во всех тех видах, которые доступны ей в настоящем... («Бог грехам терпит» — «Деревенская молодежь»)

Он, как и Щедрин, страстно защищает это уже испорченное слово. Он берет в кавычки «настоящую» и «образовать», но не самую интеллигенцию, которую надо образовать и сделать настоящей. Это у Глеба Успенского, который чаще, чем кто-либо другой из больших писателей его времени, именно при помощи кавычек срывал маски со слов. Настоящей интеллигенции еще нет, а словом этим уже очень злоупотребляют...

Настоящая и ненастоящая; а вот честная и нечестная:

— Он [Каменский] сказал, что я — новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками обыкновенного буржуа, то есть настоящей свиньи. (Бунин, «На даче»)

Не ему, толстовцу, об этом говорить, но очень серьезно уточнено понятие так называемой новой, «честной» интеллигенции 90-х годов.

Совершенно естественно, что в эти же годы церковь пытается з а п р е т и т ь это слово.

«Пермские епархиальные ведомости» напечатали такую резолюцию его преосвященства:

— Объявить через «Епархиальные ведомости», чтобы пермское духовенство в официальных бумагах не употребляло слов: интеллигент, интеллигентный.

И затем необычайно интересная мотивировка такого решения:

— *Эти слова характеризуют людей, живущих одним только разумом, но не заботящихся иметь Бога в разуме*

(«Римлянам», гл. I, ст. 28). А такие люди не могут быть истинными членами православной церкви. (Резолюция от 18 января 1894 г. за № 136)

Писал это, как видим, вполне интеллигентный человек.

Слово это было городское; в применении к деревне, мужику оно могло звучать только как дерзкая и несбыточная программа.

В конце века близкий к народникам профессор Н. Энгельгардт попытался построить на родной своей Смоленщине «интеллигентную деревню». Он в конце концов, как пишут его биографы, выглядел «как Марий на развалинах Карфагена», а слова эти — *интеллигентная деревня* — до Революции были только еще одним трогательным воспоминанием о дерзких, но несбыточных в то время мечтаниях лучших людей России.

Вокруг «интеллигенции» уже кипит великая политическая борьба; русские социалисты уже совершали не раз серьезную ошибку — объявляли всю интеллигенцию демократической, не делали даже того разграничения, которое делал К. Леонтьев.

Ленин писал в «Что такое «друзья народа»...»:

— Ошибка эта естественно возникла тогда, когда классовые антагонизмы буржуазного общества были совершенно еще не развиты, подавленные крепостничеством, когда это последнее порождало солидарный протест и борьбу всей интеллигенции, создавая иллюзию об особом демократизме нашей интеллигенции, об отсутствии глубокой розни между идеями либералов и социалистов. (1—276)

Идет неудержимое расслоение интеллигенции, и слово приходится непрерывно уточнять.

— Не легка наша жизнь — эти четыре слова стали в последние годы бессменно излюбленной поговоркой столичного жаргона. Не легка наша жизнь во всех общественных слоях. А больше всего — в среднем, *так называемом интеллигентно-рабочем.* (А. Амфитеатров)

У Амфитеатрова это почти только словечко, хотя, видимо, уже очень ходкое в его кругу. А у Чехова в те же годы это сопряжение понятий «интеллигент» и «рабо-

чий» — один из важнейших мотивов его мировоззрения и его поэтики.

— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами. («Враги»)

— Ирина. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. («Три сестры»)

Врач, учитель у Чехова — рабочие.

И тогда же Чехов пишет Суворину, 1 марта 1897 года:

— Мы, т. е. представители московской интеллигенции *(интеллигенция идет навстречу капиталу, и капитал не чужд взаимности)*... затеваем проект громадного народного театра.

В союзе с капиталом интеллигенция делает иногда хорошее дело (через год возник на основе именно такого союза Московский Художественный театр Чехова и Горького). Но роль интеллигенции (врачей, учителей, писателей) определена необычайно четко.

И все же для Чехова это хорошее слово, хоть им уже и очень злоупотребляют.

В. Э. Мейерхольд просил Чехова помочь ему в работе над ролью Иоганнеса в пьесе Гауптмана «Одинокие». Чехов писал ему в ответ:

— Прежде всего И[оганнес] *интеллигентен вполне... Совершенное отсутствие буржуазных элементов.* Манеры воспитанного, привыкшего к обществу порядочных людей... человека; в движениях и наружности мягкость... (1899)

Чехов пишет жене:

— А. М. Горький не изменился, все такой же *порядочный, и интеллигентный,* и добрый, одно только в нем, или, вернее, на нем нескладно — это его рубаха. (Письма к Книппер)

Порядочный, добрый (см. выше — мягкость) — эти категории для Чехова, по-видимому, тесно связаны с интеллигентностью. А мешает Чехову только рубаха Горького, которая слишком наглядно подчеркивает другое, и основное, свойство настоящего интеллигента: «совершенное отсутствие буржуазных элементов».

Ср.:

— Музыкально-драматическое общество очень интеллигентно и преследует интеллигентные цели...

Письмо к В. Г. Черткову:

— [Надпись в круге на изданиях «Посредника»] «Для интеллигентных читателей» совсем неудобна, хотя и передает серьезную мысль... («Письма»)

— Все эти книжные названия («Были и сказки» и т. п.) в последние десять лет устарели, выжили и представляются не интеллигентными.

И даже в знаменитом письме А. Н. Плещееву:

— Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем [Салтыкове-Щедрине] своего самого упрямого и назойливого врага. (14—365)

Речь идет об интеллигенте *среднего пошиба;* таких больше всего; но есть и другие! Слово само по себе хорошее; не только «интеллигенция» как собирательное, как общее и потенциальное понятие, но и очень конкретный — «интеллигент».

И Горький защищает это слово, пока это было возможно:

— Есть и другой взгляд: интеллигент — высококвалифицированный рабочий. Макаров догадался: похоже на стиль Варавки... («Клим Самгин»)

Но фактически, в обычном словоупотреблении, интеллигенция — буржуазная интеллигенция, а роль этой интеллигенции становится все более «сволочной».

9 января 1905 года, то есть в Кровавое воскресенье, Горький пишет Е. Пешковой:

— Скажи ему [В. А. Десницкому], что будущий историк наступившей революции начнет свою работу, вероятно, такой фразой: «Первый день русской революции был днем морального краха русской интеллигенции». (28—349)

После этих событий выходит пьеса Горького «Дачники», о которой А. В. Луначарский писал:

— Это не только драма общественного расслоения интеллигенции, это также окончательное размежевание Горького с интеллигентщиной. («Отклики жизни»)

В Художественном театре считали, что Горький в этой пьесе порывает окончательно с интеллигенцией вообще, что самое это слово уже осинонимизировалось (как выражался Щедрин) с интеллигентщиной, и — отказались поставить «Дачников». Письмо Вл. Немировича-Данченко Горькому по поводу «Дачников» — самое резкое в многолетней переписке этих друзей: они тогда чуть было не поссорились навсегда!

Но Луначарский, как видим, говорил об «интеллигентщине», а не об «интеллигенции» и «интеллигентах». Он бережет это слово для будущего.

Это самый критический момент в истории слова-понятия «интеллигенция». Наступило то десятилетие, которое Горький назвал «самым позорным в истории русской интеллигенции».

Умерла Комиссаржевская. Известный в свое время критик Е. Колтоновская писала по этому поводу:

— Теперь, когда на сценах, где играла Комиссаржевская, безмятежно процветает балаган, мне особенно вспоминаются *интеллигентные вечера в «Пассаже»*... («Алконост», 1911)

В эти же годы Бодуэн де Куртенэ вносит такое добавление к Далю под словом «интеллигент»:

— Две разновидности «золоторотцев»: *просто золоторотец и золоторотец — «бывший интеллигент».*

Партия большевиков в эти годы непрерывно разоблачает моральный крах буржуазной интеллигенции и одновременно борется со всякой махаевщиной в революционном рабочем движении. Не здесь место говорить об этом подробно; важно только отметить, что партия не отдает противнику и это хорошее слово «интеллигенция», как и все другие хорошие слова. «Интеллигенция» — слово, которое было хорошим и еще будет хорошим!

Уже в советское время, вспоминая о настроениях простых людей в начале века, М. Пришвин писал:

— Я головой работаю.

— Голо-во-ой! — протягивает он. — Так какая же это работа? Это хитрость.

Тысячи раз я наталкивался на эту стену непонимания народом интеллигентного труда. («Колобок»)

Ср. — обычная формула в прогрессивных газетах: «Предложения лиц, ищущих интеллигентного труда, печатаются бесплатно».

Не забудем, однако, что хитрость всегда была в народном языке не только плохим, но и очень привлекательным словом: оно означало и умение, и высокоумие, и мастерство. И сам Пришвин во всем своем творчестве неизменно говорил именно о хитростях природы, мастерства и самого искусства, которое есть тоже чудесная хитрость особого рода. Поэтому слова его партнера выражали не презрение, а может быть, даже некоторую зависть.

Но и глубочайшее недоверие к этим хитрецам.

Известно, какими «сложными и противоречивыми путями», по обычной формуле, шла интеллигенция к Революции после Октября...

И самое слово переживает очень драматические превращения.

Обращение от народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского через четыре дня после Октябрьского переворота:

— Мы верим, что дружные усилия трудового народа и честной просвещенной интеллигенции выведут страну из мучительного кризиса и поведут ее через законченное народовластие к царству социализма и братства народов. (29 окт. ст. ст. 1917 г.).

А 31 июля 1919 года Ленин пишет Горькому:

— Питер город с исключительно большим числом потерявшей место (и голову) буржуазной публики (и «интеллигенция»).

И далее:

— больное брюзжание больной интеллигенции.

В первом случае «интеллигенция» в кавычках: эти люди не имеют права на это слово; во втором — без кавычек, но с эпитетом «больная». По всей трезвости надо признать, что это и есть интеллигенция, — другой пока нет. Интеллигентские хлюпики!

В ленинских «Темах для разработки», там, где речь идет именно о превращениях понятий в социалистической революции, — грандиозное сопоставление понятий «босяк» и «интеллигент»:

— 16. Дисциплина рабочих и босяческие привычки.

17. В чем родство между босяками и интеллигентами? (30—367)

И хорошо видно это *родство* в самом обращении с этим словом — у босяков и интеллигентов.

«Босяки» обрабатывали на все лады «интеллигенцию» и «интеллигентов».

*«Интелягушка»* — у А. Веселого в «Стране родной» и в «России, кровью умытой» и др. *«Интеллигузию бей!»* — у Сельвинского в «Улялаевщине». *«Антилигент»* — очень ходовое. *«Затыканный интеллигент»* — тоже ходовое и у Зощенко. *«Пришлепа интеллигентская»* — ходовое и у Глебова в «Галстуке» и др.

Но самые злые обработки, как всегда, з а щ и щ а ю т исходное слово-понятие. Какие это интеллигенты! Это антилигенты, интелягушки и т. д. или, в лучшем случае, «интеллигентчики», то есть самая мелкая разновидность этой категории.

— «Интеллигенция» и француз влазят на рубку. (Маяковский, «Мистерия-буфф»)

Так ведь это представитель, и никем не уполномоченный представитель интеллигенции, «интеллигенция» в кавычках!

Интеллигентчики!
ушли от всего.
И все изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.

(Маяковский, «Владимир Ильич Ленин»)

Интеллигентчики, а не настоящие интеллигенты.

И только в речи самих интеллигентов есть поистине «босяческое», злорадное стремление видеть во всем происходящем крушение самого этого понятия.

— З а к а т о в (*Горностаевой*). Почему ваш супруг в царствование красных открыл вечерний университет, ныне же [то есть при белых] открыл торговлю сахарином вразнос? Что сие?.. Интелли-генция! (Тренев, «Любовь Яровая», III)

Разорвал на части это слово.

— Кряжич раздраженно хватал песок и бросал его в ноги.

— Мы дожили до такого состояния... когда интеллигенция теряет свой образ и свой язык. Она становится вымершей фацией. У нас нет своего «я». Нас истребляют как общественную формацию. (Гладков, «Энергия», 1—4)

Фация, формация — даже в рифму. Ученое слово, известное только посвященным, и рядом тоже ученое, но современное, боевое слово. И фации и формации равным образом истребляются.

Общий смысл постоянного монолога такого интеллигента: в моем лице кончена навсегда, убита славная русская интеллигенция, которая столько сделала для народа. «Я телом в прахе изнываю, умом громам повелеваю», — эту державинскую строчку особенно охотно повторял в те годы интеллигент.

Борис Пастернак:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.

А сзади в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

(«Высокая болезнь»)

Почти по-державински: дурак, герой (я — червь, я — царь...). Но в зареве легенд, которые творит, по всему смыслу этой поэмы, *сам интеллигент*. И сам же он пишет плакаты «про радость своего заката». Никто лучше него и про это не напишет...

А рифма совсем другая: интеллигент — легенд, а не фация — формация и т. п.

В подынтеллигентской речи мещанина и приспособленца есть и зависть к этому хотя и изнывающему в прахе, но все же еще необыкновенно довольному собой человеку — и откровенная издевка над его смешными претензиями.

— А если, говорит, вы такой чересчур интеллигентный человек, то представьте удостоверение, в силу чего пола-

гается отдельная комната... (Зощенко, «Не все потеряно»)

— В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах — вопрос довольно острый. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче не много. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие — или уже женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще лишенцы, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни... (Зощенко, «Не надо спекулировать»)

У В. Шкваркина:

— Надрыв-Вечерний (*пренебрежительно глядя на писателя Травкина*). Интеллигент! Раскольников! Попутчик. («Вредный элемент»)

Сам он «Надрыв», по избранному им псевдониму, а писателя ругает «интеллигентом», Раскольниковым — и тут же, в том же ряду, равнозначное, по его мнению, новое слово «попутчик».

Передовая литература бьет скорбного, но гордого интеллигента по самому больному месту. Кто мозг страны?

— Я нисколько не удивлюсь, если (хоть и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно — с *социалистической* психологией, совершенно диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того, чтобы очистить от мусора мозг страны). (Блок, «Письма»)

— Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и многознающий революционный народ. (Блок, «Дневники»)

Неправда, что эта интеллигенция — мозг страны; неправда, что она громам повелевает!

С этого начинается новое выяснение отношений с понятием «интеллигенция» в его реальных, конкретных воплощениях.

Там же, в блоковских «Дневниках»:

— Идиотское мелькание слов — об «обреченных и ехидных интеллигентах».

И — другое, также весьма замечательное выяснение отношений — у Н. Асеева:

— Сейчас же после Февральской революции я, двадцатисемилетний поэт, выученик символистов, отталки-

вавшийся от них, как ребенок отталкивается от стены, держась за которую он учится ходить; я, увлекавшийся переводами Малларме и Верлена и Вьеле Гриффена, благоговевший перед Теодором-Амедеем Гофманом, восторженно носивший в сердце силу и выдержку горестной судьбы Оскара Уайльда, одним словом, я — рафинированный интеллигент... («Проза поэта», «Октябрь на Дальнем»)

Это писалось уже в 1930 году. Н. Асеев нисколько не предает свое прошлое рафинированного интеллигента, он нисколько не завидует тем, у кого не было такого прошлого! «Интеллигент» и даже «рафинированный интеллигент» (что может быть хуже!) звучит у него весело, с юмором, но высоко, а главное — вызывающе и полемически.

Это — вызов несчастным центропупам, которые все еще обижаются и колеблются, «пристают» к Революции с глупыми претензиями, все еще устраивают ей «сцены».

Но это — вызов и тем, кому нечего было преодолевать, чтобы идти дальше, кто не был никогда рафинированным интеллигентом.

Быть можно с виду коммунистом
И все-таки иметь культурою былой...
Интеллигентский зуб со свистом...

(Д. Бедный, «О соловье»)

Идет выдавливание «сволочного» интеллигентского духа, который еще жив в сердцах некоторых «с виду коммунистов». Но важная политическая и государственная задача — воспитание и перевоспитание беспартийного интеллигента.

И, конечно, в этом таятся огромные резервы высокомерия для тех, кто должен их перевоспитывать. Передовые писатели — и Фадеев в первую очередь — с особой страстью будут преследовать и травить таких зазнаек, высмеивать чрезвычайно преувеличенное самомнение людей, которые будто бы все превзошли и вообще не в первый раз живут на свете.

Уже очень сомнительно звучит «по-нашему, по-рабочему», если это противопоставляется «по-интеллигентному, по-ученому», и пр.

— А тебе, товарищ, рубану напрямик по-рабочему...

— Это «по-рабочему» старо, как... (Шолохов, «Поднятая целина», 1—2).

В кавычках! И — старо. Давно ли?

У Фадеева в письме 1950 года, когда он вспоминал в разговоре с другом о далеком уже прошлом:

— Мы очень остро поставили перед Дольниковым вопрос, что он ведет себя «по-интеллигентски» и что мы с ним порвем... (Опубликовано в журнале «Юность», 1958, № 12)

«По-интеллигентски» в кавычках: так мы тогда выражались. Но в кавычки просятся и почти все другие слишком железные слова: «остро поставили вопрос», «порвем».

Выходит на историческую сцену новая интеллигенция, и самое это слово, покрытое бесчисленными рубцами, следами всевозможных уколов и ожогов, впервые приходит в себя.

Отпадают еще недавно необходимые для четкости уточнения: рабоче-крестьянская, или пролетарская, или советская.

В прошлом много было слов, которые обозначали более или менее сходное понятие: высокоумные и высокоумие; самомыслящие люди; критически мыслящая личность; «понимающие» и др.

Эти слова не удержались; а это слово, «интеллигенция», сравнительно очень новое, вошло в язык, и сейчас уже трудно себе представить, что оно когда-либо совсем не существовало. Оно вдвойне дорого, потому только, что у нас на глазах было отбито у противника.

Горький с гордостью называет себя интеллигентом в первом поколении.

А вот у Тендрякова драма человека, который только что «приписался к интеллигенции».

Несчастный случай на охоте: убит подвернувшийся неожиданно для всех в месте облавы на медведя молодой парень с гармошкой. Никто не виноват, но все очень «переживают», а больше всех старый медвежатник Семен Тетерин, «цельная натура».

В финале монолог Дудырева, начальника большого строительства, страшно занятого человека, который только раз в месяц позволяет себе отдохнуть и, как на грех,

участвовал в этой несчастной охоте. Это он только что *«приписался к интеллигенции»*.

— Семен Тетерин! Медвежатник! Казалось, вот олицетворение народа. А перед народом Дудырев с малых лет привык безотчетно, почти с религиозным обожанием преклоняться.

Он, Дудырев, требует от Семена Тетерина больше, чем от самого себя. Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией, цельная натура, первобытная сила — как не умиляться Дудыреву, окончившему институт, приписавшемуся к интеллигенции! Умилялся и забывал, что он сам строит новые заводы, завозит новые машины, хочет того или нет, а усложняет жизнь. Усложняет, а после того удивляется, что Семен Тетерин, оставив лес с его пусть суровыми, но бесхитростными законами, теряется, путает, держит себя не так, как подобает. («Суд»)

Этот Дудырев вовсе не «донкихот», как решил немудрый следователь Дитятичев (вот именно — Дитятичев), и не Нехлюдов («иной раз прорывается в душе русского человека эдакая совестливость, которая в Сибирь гонит вслед за ссыльной проституткой»), как уточнил тоже немудрый следователь Тестов, хотя этот Тестов и знает наизусть многие стихи Блока и Есенина. Дудырев — один из тех, которые непрерывно усложняют жизнь.

Усложняет ее для других и для себя, но нисколько не «растравлен рефлексией». В этом несчастном случае только он не путал, не терялся и не исповедовался, а твердо и справедливо поставил все вещи на место.

Семен Тетерин — «цельная натура».

— Вот еще жалкое слово! — писал о слове «цельная натура» Тургенев.

— Цельное миросозерцание, представителями которого служили Собакевичи и Ноздревы, — писал Щедрин...

Очень большую историю имеет это *хорошее* в своей основе слово «цельная натура». Здесь отметим только, что подлинно цельной натурой оказался, по всему смыслу вещей, именно Дудырев, а не Тетерин, который больше всех путал и мешал суду решить дело по справедливости.

Интеллигент — цельная натура, и он же профессиональный усложнитель жизни; интеллигент, который не склонен к рефлексии, но непременно ведет время от времени весьма серьезный разговор с самим собой, как в

этом внутреннем монологе Дудырева, — вот какие новые и интереснейшие значения приобрело это слово в повести Тендрякова.

Борьба многих значений и воспоминаний в этом слове и всяческое дальнейшее его обламывание и обтесывание, конечно, продолжаются. Это ведь очень беспокойное слово по главному и самому ценному его смыслу. Но слово это утвердилось навсегда и поистине засияло наново.

Замечательная судьба этого иностранного и ставшего в высшей степени русским слова — за границами нашей страны.

В тех языках, из которых оно к нам пришло, нет своего слова для того понятия, которое обозначается русским словом «интеллигенция».

В 1836 году Бальзак возымел идею учредить партию интеллигентов — le parti des intelligentiels. Он создал даже новое французское слово. Любопытно, что Бальзак особенно увлекался этой идеей тогда, когда он жил у Ганской, в России. (См. Л. Гроссман, «Бальзак в России»)

Это слово Бальзака не привилось: укрепилось другое: les intellectuels. Но нет собирательного — интеллигенции.

Собирательное «интеллигенция» в русском огромном значении этого слова вошло в другие языки в русской транскрипции. Возникла интеллиджентсиа (intelligentia).

— Интеллиджентсиа, имя сущ., часть нации, стремящаяся к самостоятельному мышлению (*от русского «интеллигенция»*). («Краткий Оксфордский словарь»)

Д. Мирский писал в своей книге, которая так и называлась «Интеллиджентсиа»:

— Царская Россия была для англичан далекой, чуждой и экзотической страной. Советская Россия для одних англичан — путеводный факел для победы их класса, для других — страшное и непозволительное явление, выросшее в нарушение всех законов природы и истории. Но где-то между этими двумя Россиями, в годы между двух революций, они узнали третью Россию, страну великих и необыкновенных писателей, с необыкновенной глубиной копавшихся в переживаниях сложной и парадоксальной породы людей, называвшихся «интеллигенцией»... От интеллигентской России они взяли одно слово — *интелли-*

*джентсиа,* — чтобы обозначить им явление, которое у них начинало нарождаться, но для которого они еще не нашли себе слова.

«В годы между двух революций» — то есть в те годы, когда русская интеллигенция, собственно говоря, совершенно обанкротилась. Англичане тогда ассоциировали это слово не с современной им русской интеллигенцией, а с героями классической русской литературы XIX века — героями Тургенева и особенно Достоевского и Льва Толстого и отчасти, в невежественном смешении, с героями литературы начала века. «Интеллиджентсиа» обозначала тогда, главным образом, людей со сложной психической организацией, с русскими «безднами».

Но гораздо шире пошло это слово у англичан тогда, когда после Октября интеллигенция в России уже очень усердно перевоспитывалась и стала совсем не похожей на прежнюю. Тогда этим словом «интеллиджентсиа» завладели, главным образом, снобы, «высокобровые», то есть те, кто *меньше всего* походил на новую русскую интеллигенцию.

«Высоколобые» возвышали это новое слово настолько, что оно уже теряло серьезный, деловой смысл.

Но передовая английская литература уже отбивала у «высоколобых» это слово. Она придала ему постепенно трезвый и важный русский смысл.

— Милая моя, здесь полное отсутствие какой-либо интеллигенции [конечно, *в русской* транскрипции. — *Л. Б.*], что совершенно ужасно! Не правда ли, Аякс? (Р. Свинглер, «Нет выбора»).

На Западе уже живет и *наше* понятие «технической интеллигенции» — весьма примечательное в новейшей истории человечества.

Слова эти до сих пор не сочетались: «интеллиджентсиа» ассоциировалась с очень глубокими психологическими переживаниями; техники — люди другого порядка — очень важные люди в современном обществе, но как раз люди без особых переживаний и психологии, люди дела, и в этом их сила.

В свое время «Толль» писал под словом «талант»:

— Новейшие философы почитают талант особенною умственною и физиологич. способностью к известной от-

расли человеч. познаний, не только умственных, но и технических.

Сближение умственной и технической сферы, применение высокого слова «талант», то есть дара божьего, искры божьей к техникам, — все это было, конечно, очень большой полемической дерзостью «Толля». Никто этих понятий и сфер не смешивал, а он «смешал».

После Октября складывается понятие *«технической интеллигенции»* — внутренне противоречивое, почти оксюморон, совершенно новое и русское. Речь идет о таких небывалых техниках, которые интересуются и целью своей работы, размышляют, болеют и даже, вероятно, переживают.

Как всегда, такое столкновение двух почти противоположных понятий только усиливало первоначальное значение каждого из них. «Интеллиджентсиа» могла стать еще более широким понятием именно потому, что она получила уже и такое, специальное применение.

И уже советский человек в разговоре с американским специалистом на его языке может применить это русское слово в заграничном смысле:

— Гончаров (*с Картером*). **The corporation of the technical intelligentia is international** (Корпорация технической интеллигенции не знает национальных границ!) (Н. Погодин, «Темп»).

Он выводит это русское понятие за национальные границы и имеет уже на то все основания...

Оуэн Барфилд писал в своей книге «История в словах английского языка» (1926):

— Славяне, хотя они занимают весь обширный восток Европы и насчитывают почти 200 миллионов душ, оказывали до сих пор удивительно малое влияние на нашу национальную жизнь... Так, из России непосредственно пришли к нам только: копейка, дрожки, кнут, рубль, самовар, степь, ворота, — и все они, за исключением, пожалуй, степи, до сих пор применяются только тогда, когда мы говорим о жизни в самой России...

Это было не совсем точно и тогда, когда это писалось. Но, во всяком случае, уже скоро люди английского языка, стали применять совсем другие русские слова для обозначения важнейших понятий своей национальной и интернациональной жизни. Одно из них — «интеллигенция».

Даль не скрывал своего пренебрежительного отношения к словам этой группы.

«Беллетристика» допущена у него в словарь в «усмиренном» виде, через одно «л»: «Белетристика». Толкование Даля: «изящная словесность, изящная письменность».

После слова «письменность» Бодуэн де Куртенэ добавил впоследствии от себя восклицательный знак.

«Белетрист» у Даля — «писатель по сей части».

Очень пренебрежительно.

«Толль» тоже не одобряет «беллетристику» (через два «л», конечно), но по совсем другим мотивам:

— Беллетристика (фр.) 1) вся изящная словесность в совокупности; 2) скоропреходящие явления изящной литературы, каковы повести талантливых, но не гениальных писателей, в противоположность бессмертным творениям гениев.

Литература, а не словесность или письменность, но второй сорт.

Это по Белинскому:

— Прекрасные повести, которые, не относясь к искусству, относятся к изящной литературе, или к тому, что французы называют belles lettres. (V—214)

—...Необходимо, чтобы и у толпы было свое искусство, своя литература. И толпа имеет то и другое *в так называемой бельлетристике,* за неимением другого, более определительного термина. Деятели бельлетристики — таланты, иногда большие, всего чаще малые. Бельлетристика (belles lettres) есть ежедневная пища общества, которая переменяется ежедневно, потому что одни и те же блюда скоро надоедают. Бельлетристика относится к искусству, как гравюры и литографии относятся к картинам, как статуэтки и фигурки, бронзовые, мраморные и гипсовые — к вековечным произведениям скульптуры, к статуям Венеры Медичейской и Аполлона Бельведерского... (9—418)

И там же, далее:

— Резкой черты нет, но черта есть.

В Словаре ИАН 1867 года совсем нет этих слов.

Вокруг этого слова идет уже весьма замечательная идейная борьба. «Спор» Даля с «Толлем» и даже полное умолчание об этом слове в словаре Академии дают об этой борьбе лишь очень слабое представление.

Герцен в 1868 году:

— Что за колоссальная пошлость (статья Вырубова «Paris et Londres»). Туда же! Пошел au bout du Comte [игра слов: после кончины Огюста Конта и в конечном счете] — в беллетристы (письмо Огареву).

И Гончаров отвергал это слово «беллетристика» как безнадежно испорченное:

— Осудить общество на беллетристику — значит осудить его на вечную незрелость и детство. («Материалы к статье об Островском»)

Глеб Успенский, по выражению Н. Михайловского, непрерывно «*наносил беллетристике оскорбление действием*».

А Чернышевский, Тургенев и Щедрин считали, что это хорошее слово, которое надо отбить у противника.

Чернышевский:

— Начало нашей беллетристики находим в рыцарских романах и сборниках, подобных Декамерону Боккачио. (2—617)

Былины, исторические песни, «Пчелы» и др. Чернышевский готов называть беллетристикой.

И Тургенев особым образом, очень лукаво, защищает «беллетриста» и «беллетристику».

Он писал по поводу романа Евг. Тур «Племянница»:

— Было время — несколько лет тому назад — в отечественной критике завелась своего рода табель о рангах — подразделение пишущих людей, которые, смотря по их способностям, удостаивались различных степеней: простого беллетриста, дагерротипического изображателя нравов, простого таланта, художественного таланта, гениального таланта и, наконец, даже гения. (Ср. у «Толля»)

Простой беллетрист — на самой низшей ступени этой лестницы; даже простой талант начинается гораздо выше... Но «нам, старикам, не до систем». И по всему смыслу этой статьи даже «простой беллетрист» иногда стоит выше, чем совсем не оправдавшие свою степень гении.

Тургенев уже прямо поднимает перчатку в письме к А. В. Дружинину:

— Я напрасно сказал — литературная карьера, — я хотел сказать — карьера беллетриста — потому что я надеюсь умереть литератором и ничем другим быть не желаю.

Щедрин:

— Умение группировать факты, схватывать общий смысл жизни... с каждым днем утрачивается все больше и больше, а с тем вместе утрачивается и способность к созданию чего-нибудь цельного. Беллетристика приобретает характер, так сказать, этнографический. («Несколько слов о современном состоянии русской литературы вообще и беллетристики в частности»)

— Словом сказать, еще немного —и тамбовский лгунишка «рисковал» сделаться беллетристом... («Письма к тетеньке»)

Ср. выше у Н. Гарина — о беллетристе, который должен раньше всего уметь разобраться в сумбуре жизни (очерк «Осмысливать»).

Слово имеет прекрасное потенциальное значение. Беллетристика могла бы «схватывать общий смысл жизни», то есть делать самое главное дело.

Но *практически* слово перешло к очень изощренным или совсем наивным лгунишкам. Это одно из тех «волшебных превращений», которые всю жизнь так внимательно наблюдал Щедрин.

Ф. М. Толстой пишет Дружинину:

— Верный теории вашей «искусство для искусства», вы не дозволяете беллетристике окончательно решать социальные вопросы. («Письма»)

Это и стало теперь решающим признаком беллетристики: литература, которая не смеет решать окончательно социальные вопросы, хотя и может, даже должна изящно поговорить и об этом. И не только для Дружинина и его единомышленников, идейных в своем роде борцов за литературу без идей, без тенденций и партийности. Беллетристика означает только литературу определенного рода. Это — деловой, номенклатурный термин, товар определенной кондиции.

Вот бесподобное объяснение Чехова с Сувориным.

Чехов пишет Суворину в 1899 году:

— Читаете ли вы беллетриста Горького?

Горький к тому времени завоевал уже громкую славу бунтаря, человека, который очень смело и окончательно

решает именно социальные вопросы. Суворин, конечно, уже ненавидел Горького и его «не признавал».

Горький в свою очередь ненавидел Суворина и всячески убеждал Чехова — как только приобрел право давать ему советы — порвать с Сувориным.

Все это хорошо известно обоим — и Чехову и Суворину. Но после этой невысказанной преамбулы Чехов напоминает Суворину, что Горький, *помимо всего прочего,* прекрасный беллетрист. Это — профессиональный разговор, в котором можно найти общий язык и с Сувориным. Известно, что в коммерческих делах Суворин широко смотрел на вещи («Чего изволите?»), а посему издавал иногда и хорошие, прогрессивные книги.

Тем более замечательны эти слова Чехова, что «беллетристика» и «беллетрист» были для самого Чехова тогда уже плохими словами.

В 1894 году он писал тому же Суворину:

— Беллетристы напрасно назвали свои ежемесячные обеды «Арзамасом». Это фальшиво. Не имеют они права называть свои собрания таким высоким по своим ассоциациям именем. Они всего только беллетристы.

Они — Боборыкин, И. Щеглов и Потапенко.

Позднее Чехов пишет писательнице Шавровой:

— В ваших повестях есть ум, есть талант, есть беллетристика, но недостаточно искусства.

В начале века есть уже и «новая беллетристика» и «новобеллетристы».

Еще один замечательный диалог между Чеховым и Сувориным:

— Вы пишете: «Милый вы человек, отчего вы засунулись теперь в актерский и новобеллетристический кружок»... К сожалению новобеллетристический кружок считает меня чужим, старым, отношения его ко мне теплы, но почти официальны. (1902)

«К сожалению» — довольно ироническое. Новобеллетристы не могли и не должны были считать Чехова своим. Все развитие передовой литературы идет в борьбе с «беллетристикой» в этом уже прочно утвердившемся и единственном смысле слова.

И Скабичевский (тот самый, который предсказывал, что Чехов умрет под забором) знал, что делал, когда уже после смерти Чехова называл его всего только «извест-

ным беллетристом» (статья в Энциклопедическом словаре изд-ва «Просвещение»).

Толстой говорил в 1910 году:

— Неужели беллетристика может привлекать?.. Я на старости лет этого понять не могу. (В. Булгаков)

Ленин применяет это слово только иронически:

— Блестки беллетристики и возвышенные предики...

Беллетристика без кавычек и в одном ряду с ненавистными Ленину предиками.

С. М. Киров писал из тюрьмы в 1912 году:

— О, если б эти маленькие истины помнили, напр., наши Гиппиусы, Черные, Белые, Саши, Андреи и проч. ... то, может быть, в русской «литературе» до сих пор была поэзия и она являлась бы литературой, а не умственной гимнастикой (да и умственной ли?) господ беллетристов.

Литература и «литература» — это слово Киров не отдает никаким Гиппиусам, а господа беллетристы — без всяких кавычек. Это слово для них.

После Октября, особенно в первые годы Революции, беллетристика — плохое слово.

Горький рассказывал:

— Я слишком часто обременял его в те трудные годы различными «делами» — гидроторф, дефективные дети, аппарат для регулирования стрельбы по аэропланам и т. д. — великолепнейший Ильич неукоснительно называл все мои проекты «беллетристикой и романтикой». Прищурит милый, острый и хитренький глаз и посмеивается, выспрашивает: «гм-гм — опять беллетристика». («ЛГ», 16/IV 1960 г.)

Плохое, почти бранное, а в противоположном лагере «жалкое слово».

Очень драматический размен репликами между советской женщиной Натальей и врангелевским офицером Савостьяновым в «Конце Криворыльска» (1926) Б. Ромашова:

— Наталья. Охота вам беллетристику разводить!

Савостьянов. Отрезанная жизнь называется беллетристикой!

Беллетристика — уже очень широкое, иногда жестокое, слишком лихое и поспешное обобщение.

А. Яковлев в «Октябре» избрал своим героем такого необыкновенного рабочего, который воюет с большевиками бок о бок с юнкерами. И вот какими словами он пытается пронять своего бывшего товарища, рабочего-большевика, в разговоре «как рабочий с рабочим»:

— *Связался ты с этими интеллигентами,* начитался всяких беллетристик...

Это интеллигенты с «беллетристикой» — большевики!

В своей, литературной сфере «беллетристика» в это время большей частью синоним претенциозного, как само это слово, ремесленничества, пустого и преступного в такое время разглагольствования.

Н. Асеев в 1922 году провозглашал конец беллетристики, как искусства «краснописи», языкового стиля или того особого вида «литературной речи», каким она пребывала в Европе уже в конце позапрошлого столетия. («Конец беллетристики». «Печать и революция», 1922, № 7)

Маяковский писал в 1923 году в «Бюллетене агитатора ЦК РКП(б)»:

— Даже корявое и безграмотное (какие-нибудь солдатские частушки) во много раз интереснее любой напыщенной беллетристики.

У Н. Тихонова:

— Бодрствовал Иванин, собирая заметки и разделяя их на те, что пойдут, но потребуют исправления... и на те, в коих беллетристика и нужно отыскать авторов. («Синий командир»)

Даже «в коих», потому что и сама «беллетристика» уже нечто архаическое. В эти же годы В. Переверзев предложил вместе «беллетристики» — «партлибристику», то есть сознательно тенденциозную литературу.

В конце 30-х годов юмореска В. Ардова «Беллетристиф» — Историческая справка ученого литературоведа в 1985 г.»:

— То беллетристическое наводнение, которое захлестнуло нашу страну и привело к катастрофе 1937 года, представляется нам, жителям конца века, явлением внезапным и как бы малообоснованным. Между тем в действительности это было не так. Изучение источников показало нам, что первыми носителями беллетристической заразы были киносценаристы 30-х годов нашего века...

Сейчас это уже требует комментариев: речь идет о

беллетризации в кино некоторых классических произведений и т. д. Но так или иначе слово уже безнадежно пало.

У Пришвина — окончательный, необыкновенно точный и в его устах бесконечно выразительный приговор:

— Легкие люди садятся в готовую форму, как в автомобиль, и едут легко и выгодно беллетристами.

Ср. в воспоминаниях Б. Галина:

— Меня, например, — говорил Пришвин, — не интересует беллетристика, а интересует очерк, потому что он на границе с наукой. («ЛГ», 12 августа 1954 г.)

Это говорит Пришвин, которого можно было бы назвать самым блестящим нашим беллетристом в первоначальном значении этого слова: писатель, который умел очень изящно, лукаво и своеобразно «схватывать общий смысл жизни». Теперь именно он приканчивает это слово. Беллетристика — готовая форма, а стало быть, нечто прямо противоположное тому, что Пришвин считал основой искусства: «оволение материала», по его терминологии. Это совершалось, по его мнению, только в *очерке* (слово это он понимал по-своему).

Так и «Литературная газета» писала недавно:

— Автор, верно расставив силы и осмыслив события, не сумел подняться до истинной художественности. Это все-таки скорей беллетристика, а не искусство большой литературы. (12/I 1957 г.)

Другие слова — художественная проза или просто проза — воплощают теперь первоначальный, важный смысл этого слова. Нет секции беллетристов в Союзе советских писателей, есть секция прозы. Слово «беллетристика» еще не реабилитировано, в отличие от многих других «хороших слов» прошлого, даже от тесно с ним связанного понятия «изящный».

## РЕЗИНЬЯЦИЯ

Пушкин писал в сентябре 1831 года во французском письме Е. М. Хитрово, дочери Кутузова:

— ...У нас нет слова для выражения понятия **résignation**, хотя это душевное состояние, или, если вам больше нравится, эта добродетель совершенно русская (**tout à fait russe**). Слово столбняк, пожалуй, передает его с наибольшей точностью.

Современный переводчик (в академическом издании Пушкина), однако, не принял и не мог принять «столбняк» как слово, наиболее точно передающее это понятие. Он дал свой перевод: безропотная покорность.

Когда Пушкин писал эти строки Е. М. Хитрово, уже хорошо известно было стихотворение Шиллера «Résignation» в переводе В. Жуковского. Это французское слово Шиллер оставил без перевода в немецком тексте; Жуковский оставил его без перевода и по-русски. И он считал, что у нас нет слова для этого понятия.

Белинский находил резиньяцию в поэзии самого Пушкина:

— Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни, но она смотрит на них с каким-то самоотрицанием (resignatio), как бы признавая их роковую неизбежность... (VII, 332)

Новый философский, очень важный для Белинского термин «самоотрицание» — и здесь же в скобках «резигнацио», как латинское слово, хотя в классической латыни такого слова совсем и не было. Это своеобразный «перевод» шиллеровской резиньяции.

Гончаров, сравнивая картину Крамского «Христос в пустыне» с «Христом» Гвидо Рени, писал:

— В Христе Гвидо Рени — является одна черта во взоре, обращенная к небу, — это сила страдания и того, для чего нет русского слова, resignation. («Христос в пустыне», картина И. Крамского»)

Снова понадобилось это непереводимое слово. Гончаров оставляет его без перевода, но оно идет у него после «страдания».

Тургенев писал в «Пунине и Бабурине»:

— Только увлекалась Муза уже не тем, чем бывало в молодые годы. То, что в первое мое посещение я принял за резиньяцию, за усмиренность, и что действительно было тем, — этот тихий, тупой взор, этот холодный голос, эта ровность и простота — все это имело смысл лишь в отношении к прошедшему, невозвратному. Теперь настоящее заговорило... (III)

Тургенев, кажется, первый написал это слово русскими буквами и тут же замечательно перевел его на русский язык. Выдвинут и подчеркнут новый мотив: резинь-

яция — столбняк — была временным состоянием Музы, и вот она освободилась от покорности — abandon (другое, близкое к резиньяции французское слово, которое тоже не раз применял Тургенев и другие русские писатели).

Щедрин весьма трезво оценивает общественную роль Шиллеровой «резиньяции»:

— Отцы... проливают слезы, читая Шиллерову «Résignation», они играют на виолончели, а отчасти и на гитаре, но не остаются нечувствительными и к четвертакам... («Наша общественная жизнь», I)

У Бакунина в «Исповеди» в ответ этим «отцам»:

— Я одного только желал — не примириться, не резиньироваться, не измениться, не унизиться до того, чтобы искать утешения в каком бы то ни было обмане, — сохранить до конца... святое чувство «бунта».

В этом, конечно, весь Бакунин! Не «резиньироваться» — в характернейшей возвратной форме.

А в поэзии Тютчева резиньяция особого рода — главный мотив. Он, можно сказать, все время резиньируется. Но самого слова «резиньяция» нет у Тютчева! Даже в знаменитом «Silentium!», которое и есть самый страстный призыв к «резиньяции».

Даль не знал такого слова в живом языке (ср. самопожертвование, самоотречение и т. д.), и Бодуэн де Куртенэ не добавил его к Далю даже в последнее десятилетие перед Революцией, когда оно уже мелькало довольно часто в произведениях эпигонов идеалистической поэзии.

Не было его и у «Толля» и у Павленкова; они, можно думать, сознательно его забраковали, как слово бесплодное и безответственное. Оно значится только в словарях иностранных слов, и то не во всех.

Нет его, конечно, в словаре иностранных слов Буташевича-Петрашевского.

В нашу эпоху это слово прочно забыто.

Но вот польский писатель Анджей Браун писал недавно:

— Самопожертвование человека — это наиболее характерное течение в советской литературной тематике, это символическая тема в литературе.

Так что самопожертвование, — та же резиньяция, по всему смыслу статьи А. Брауна, — опять объявлялась добродетелью совершенно русскою...

За этим следовали у Брауна уже совсем беспощадные парадоксы: самопожертвование как таковое объявлялось чем-то, во-первых, противоестественным; во-вторых, бесчеловечным, антигуманистическим.

Тем более замечательно, что и слово «самопожертвование» чрезвычайно редко встречается в нашей литературе и звучит оно почти во всех таких случаях довольно плохо.

— Самопожертвование! Какое длинное слово, в горло не лезет, как войлок! — писал Вс. Иванов в романе «При взятии Берлина», то есть тогда, когда он говорил о несравненном героизме советских людей. Слово длинное, — значит, неинтересное, скучное, «не то».

Что же до человеческой природы, которая не склонна, мол, к героизму, то стоит, пожалуй, напомнить, что́ писал по этому поводу такой умный и как будто циничный человек, как Дж. Сомерсет Моэм.

— Почти невероятные по своему героизму поступки многих солдат и офицеров на фронте и даже рядовых людей в повседневной мирной жизни (см. отдел происшествий почти в каждом номере газеты) — такая же несомненная реальность, как трусость, подлость и продажность многих людей. Так что есть и это в человеческой природе. И это, конечно, самое интересное и удивительное...

— Вы не тому удивляетесь, — очень хорошо отвечал Сомерсет Моэм людям, которые выдвигали уже тогда этот же очень старый парадокс.

И он же, подводя итоги всем своим размышлениям о жизни и литературе, писал:

— Я знаю, что страдание не облагораживает: оно портит человека... И я со злостью писал, что *резиньяции мы учимся не на своих страданиях, а на чужих*... («Подведя итоги»)

Переводчик (М. Ф. Лорие), совершенно справедливо, оставил это слово в неприкосновенности. «У нас нет слова для выражения понятия «resignation».

«Самопожертвование» в нашей литературе — слово редкое и непривлекательное.

И нет совсем в нашем поэтическом языке иностран-

ного слова-понятия «резиньяция», которое, по мнению Пушкина, выражало когда-то добродетель совершенно русскую.

## ПАФОС

Греческое «патос» означает: страдание и страсти одновременно.

Уже в древности это слово стало и термином поэтики. Патос — то чувство страдания, которое рождается в душе зрителя трагедии, страдания, а не только сострадания, и это был решающий признак подлинной трагедии. Отраженное, но не менее сильное страдание, чем в действительности.

Это слово было одновременно философским термином. «Патос», особенно у стоиков, — те высшие эмоции, которые испытывает человек, добровольно подвергающий себя определенным самоограничениям, лишениям, страданиям; такой «патос» дает ему моральное совершенство и блаженство, особую страсть.

В латинском это понятие поэтики и философии применялось и в исходной греческой форме, и словом «пассио» от глагола «патиор» (страдаю), который восходит к тому же корню. В данном случае важно отметить, что глагол «патиор» относится к группе так называемых депонентных, то есть таких, которые по форме *пассивны, а по смыслу активны,* как определяются они в грамматике. И в патосе — пассио, как и в наших «страдание» и «страсть», происходят непрерывные взаимопревращения пассивного и активного значения.

«Пафос», по-русски «страсть» (потом опять «пафос»), равно приобретает и у нас специальное значение термина поэтики.

Нил Сорский различал пять периодов развития «страсти» в литературном произведении: прилог, сочетание, сложение, пленение и собственно страсть. По этим этапам должно развиваться и нарастать, как сказали бы мы сейчас, подлинно патетическое духовное произведение.

Эта «страсть», или патос по-ученому, подробно рассматривалась и упорядочивалась во всех старых риториках.

Большое понятие стало термином, а от этого термина возникает новая большая метонимия: патос — то, что торжественно, значительно; высокое и интересное представление.

— Вечеринки, где сельские красавицы, сидя за прялками и пяльцами, исподлобья поглядывали на присутствующих молодцов и обретали себе суженых. В такие горбылевские пафосы и молодые щеголи не могли являться без приличных подарков и т. д. (В. Нарежный, «Два Ивана»)

Это уже было ходовое, особенно среди семинаристов, слово или даже жаргонное словечко, связанное с понятиями школьной поэтики.

«Пафос» — термин поэтики и у Белинского — по Гегелю, но в особом, новом, полемическом смысле.

— Поэтическая идея — это не силлогизм, не догмат, не правило, это — живая страсть, это пафос. Что такое пафос? Творчество — не забава, и художественное произведение — не плод досуга или прихоти; оно стоит художнику труда; он сам не знает, как западает в его душу зародыш нового произведения; он носит и вынашивает в себе зерно поэтической мысли, как носит и вынашивает мать младенца в утробе своей; процесс творчества имеет аналогию с процессом деторождения не чужд мук, разумеется, духовных, этого физического акта. И поэтому, если поэт решится на труд и подвиг творчества, значит, что его к этому движет, стремит какая-то могучая сила, какая-то непобедимая страсть. Эта сила, эта страсть — *пафос.*

И далее — особенно важное для нас в этой связи *обсуждение слов* «пафос» и «страсть».

— ...Но отчего же, скажут, называть это пафосом, а не страстью?

Оттого, что слово «страсть» заключает в себе понятие более чувственное, тогда как слово «пафос» заключает в себе понятие более нравственное... Под «пафосом» разумеется тоже страсть, и притом соединенная с волнением крови, с потрясением всей нервной системы, как и всякая другая страсть; но пафос всегда есть страсть, возжигаемая в душе человека идеей и всегда стремящаяся к идее, следовательно, страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Пафос простое умственное постижение идеи превращает в любовь к идее, полную

энергии и страстного стремления. В философии идея является бесплотной; через пафос она превращается в тело, в действительный факт, в живое создание. (III—378)

Пафос... *превращает* — он менее всего пассивен!

Возникает точное понятие основной страсти — «пафоса поэта».

— Как ни многочисленны, как ни разнообразны создания великого поэта, но каждое из них живет своей жизнью, а потому и имеет свой пафос. Тем не менее весь мир творчества поэта, вся полнота его поэтической деятельности тоже имеет свой единый пафос, к которому пафос каждого отдельного произведения относится как часть к целому, как оттенок, видоизменение главной идеи, как одна из ее бесчисленных сторон. (Белинский, «Сочинения Александра Пушкина», 5)

— Исследование «пафоса» поэта, как первая задача критики. (Там же)

Все творчество Белинского, как критика, устремлено к исследованию этого «пафоса».

И, наконец, слова, которые нам сегодня так близки и понятны:

— пафос действительности, пафос эпохи. (XII—458)

Это должно было взорвать — и взорвало — противников Белинского. Фельетонист «Северной пчелы» писал:

— Кто читает и понимает эти пафосы действительности... и всю эту тарабарскую грамоту — не постигаем! («Северная пчела», 1842, № 164).

Они хорошо постигали, как видим, революционный смысл этого нового в русском языке сочетания слов.

У Гончарова такое же, уже по Белинскому, применение этого слова в авторской речи в «Обыкновенной истории»:

— ...в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. (I—1)

Характер обнаруживался в «пафосе».

А Тургенев писал в 1847 году:

— Пафос (*мы бы весьма желали заменить это слово другим, в угоду тем насмешливым и острым людям, которым оно не нравится, — но не находим другого*), его

пафос — величие Петра... и т. д. («Генерал-поручик Паткуль», трагедия Кукольника»)

Эти насмешливые и острые люди — друзья Тургенева.

Хотя «пафос» был еще недавно термином идеалистической риторики, после Белинского идеалистическая критика отклоняет этот термин: он был уже партийным, имел специальное и боевое значение у Белинского, был паролем новой школы. Дружинин и другие друзья Тургенева предпочитают выражаться иначе.

В высшей степени характерно, что уже тогда пафосу противопоставляется другое, тоже греческое слово того же корня: эфос. Это слово означает уже только изобразительность, выразительность, но без энергичного и страстного стремления к чему-либо. И сегодня в западной поэтике все чаще выдвигается «эфос» взамен «пафоса».

Но и в лагере новых людей «пафос» уже скоро становится недостаточно «определительным» и недостаточно научным словом. Значение «пафоса» расплывается.

И тогда возникает, вполне естественно, чудесная формула Глеба Успенского — «*трезвый пафос*».

Он говорил о трезвом пафосе статистических таблиц, «живых цифр» (по его же выражению), которые одни только, в отличие от всякой «пьяной спекуляции», позволяют узнать правду о народной жизни.

В начале века «пафос» — слово уже достаточно расплывчатое для того, чтобы привлекать новых «идеалистов» — писателей и публицистов. Оно получает необыкновенно «высокие» и смешные применения в различных верхушечных жаргонах, особенно у «мистических анархистов» (Г. Чулков и др.).

В ходе своей полемики с Художественным театром А. Р. Кугель писал:

— Я видел крах старого пафоса, и это было верно... («Листья с дерева»)

Пророческие в своем роде слова.

— С притворным восхищением я выслушивал его чудовищные бредни о пафотическом освобождении личности, об Иоанновом здании духа, об астральных существованиях... (Л. Славин, «Наследник»)

Говорил эти слова в 1914—1915 годах присяжный по-

веренный Нафталинцев, салонный анархист, пустомеля, который, однако, впоследствии стал одним из «идеологов» у Махно.

В эпоху Революции трезвый пафос пронизывает всю работу государственной власти. *Оба* слова в этом сочетании приобретают самый точный смысл.

Но для тех «наинизших низов», которые теперь были впервые призваны к государственному творчеству, самое слово «пафос» было еще совершенно непонятным. Они не знали, что э т о называется «пафос».

В ранней пьесе Погодина «Темп» вокруг этого слова, вполне естественно и с полным историческим основанием, разыгрывается целая драма, необычайно выразительная.

Сезонник «костромич» Тёмин не знает этого слова, а посему убежден, что такого слова совсем «нету».

Дудкин тоже не знает этого слова, но не тревожится: говорят человеку — «пафос, значит — пафос, и не препятствуй».

«Парень в розовой рубахе» (еще без личного имени) все же хочет знать, что оно такое — пафос.

Краличкин и Груздев наконец разъясняют им смысл этого слова.

Тогда Тёмин возлагает всю вину за это недоразумение на Грищука, который плохо читал. Но «в розовой рубахе» и после этого разъяснения не удовлетворен: «А какой в нем толк! одно присловье».

Здесь все очень характерно: и естественное предубеждение деревенских к «городскому языку», который до сих пор, много веков, только командовал и обманывал; очень важная догадка о том, как важно хорошо читать; курьезные «народные этимологии»: понос — пафос (Грищук, видимо, читал «пафо́с»).

Металлист Краличкин и инженер Груздев разъясняют этим сезонникам, людям, которые только что пришли из деревни, смысл слова «пафо́с».

— К р а л и ч к и н. Пафос — это... Я сейчас объясню... Это, как бы сказать, подъем.

Д у д к и н. Гора вроде.

К р а л и ч к и н. Нет, какая там гора!.. Дух! Пафос — это мы. (*Увидел Груздева.*) Товарищ Груздев, объясните слово «пафос», а то мы все тут такие профессора, что закачаешься.

Дудкин. Ну-ка, товарищ инженер!

Груздев. Пафос — это чувство. Это радость труда. Вот вы работаете, строите, объявили соревнование, и когда вы работаете с чувством, с сознанием, с подъемом, это и есть пафос.

Дудкин. Когда чесаться некогда, тут тебе и пафос.

Краличкин. Наш темп — это пафос.

Тёмин. Вот оно теперь все к месту...

Напомним, однако, те слова из газеты, которые, собственно говоря, и вызвали все эти необыкновенно драматические рассуждения и объяснения:

— Пафос масс, направленный в русло социалистического соревнования...

Это важная формула, но она уже превратилась в штамп. «В розовой рубахе» и другие попросту ничего в этом не поняли, а для Краличкина и Груздева это была уже страшно надоевшая «политическая трескотня». В своем объяснении они восстанавливали смысл надоевших слов. Замечательный драматизм этой сцены именно в этом. Краличкин и Груздев уже немного стеснялись этих слишком громких слов.

Пафос, пафос, — а настоящего пафоса нет. Есть писатели совсем без пафоса, и какие они после этого писатели!

— «Цемент» [Гладкова] и я похвалил, — писал в 1927 году Горький Сергееву-Ценскому, — потому что в нем взята дорогая мне тема — труд. Наша литература эту тему не любит, не трогала, может быть, потому, что она требует пафоса, а где он у нас, пафос? Но — нужен. (30—33)

Это писалось тогда, когда, казалось бы, очень много, слишком много пафоса было в литературе.

Слово уже захватано; для серьезных идей оно звучит подозрительно.

Противник уже с некоторым основанием издевается над этим словом. А передовые люди с ещё большей страстностью дерутся против слишком широких обобщений, высокого стиля, против недостаточно трезвого пафоса, против пафоса неуместного и несвоевременного:

— ...весело поблескивая глазами, с *невыносимым пафосом* сказал Алеша Маленький. (Фадеев, «Последний из удэге»)

Пафос невыносим, и это у Алеши Маленького!

Раскусил чиновник
пафос переписки,
облизнулся, въелся
и — вошел во вкус.

(Маяковский, «Фабрика бюрократов»)

Пафос переписки не только в «бумагах» чиновников; есть этот «пафос» и в газетных и книжных откликах на очередные темы.

— Мы, как мне кажется, иногда излишне владели пафосом проработки... (С. Щипачев, 1959)

— «Основополагающий пафос» (в статье В. Огнева).

От слова «пафос» или «патос» (pathos), писал Белинский, происходит слово «патетический», наиболее употребляемое в отношении к драматической поэзии, как к наиболее исполненной пафоса по своей сущности.

Но вот всплывает на поверхность чудовищное словечко «пафосный» в языке тех, кто считает, что «пафос» нужен заказчику, что «пафос» — товар. «Пафосный» говорится о вещи, в которой автор учел этот заказ, «выдал» пафос, «построил», «сработал», «взбодрил» на пафосе и т. д.

И тогда же, в борьбе архаистов и реакционеров против искусства страстного, партийного и патетического, которое говорило бы еще горячее о современности, выдвигается старое понятие *пафоса дистанции*. Только на отдалении, мол, можно увидеть и почувствовать и передать подлинное значение вещей, а близкое, актуальное обжигает.

Этот «пафос дистанции» был очень важным словом в литературно-общественной полемике 20-х годов; оно и сейчас очень широко применяется не только за рубежом, но и у нас...

В годы войны с фашизмом, когда вся жизнь народа стала поистине патетической, самое это слово почти не упоминалось либо упоминалось полушутливо, полуиронически.

— Подпустить на близкое расстояние, а потом «устроить пафос».

— Есть устроить пафос, — ответил гарнизон, крепче

сжав ручки пулеметов. (Записи проф. П. Я. Черных. «Красный флот», 1942, № 292)

Это был, так сказать, технический термин. Пафос — почти «сабантуй».

В нашей критике исследование личного пафоса писателя очень долгое время не было «первой задачей», как учил Белинский. Лишь в самое последнее время можно отметить возрождение этого единственно плодотворного метода исследования и новую активность самого этого слова. Огромное понятие освобождается, восстанавливает свой великий смысл.

«Пафос» был когда-то греческим словом, означающим страдание. «Пафос» стал потом словом, означающим высокие чувства зрителя трагедии. «Пафос» после Революции стал обозначать все то, что он обозначал раньше, и еще нечто новое: состояние участника трагедии, который в какой-то мере чувствует себя и постановщиком. Это не только точка зрения того, кто смотрит на трагедию или только участвует в ней, не поднимая, так сказать, головы, — это состояние участника, который время от времени оглядывает всю перспективу.

Это особое, интимное для людей советского общества значение слова «пафос» выходит на первое место среди всех других, специальных его значений.

## «КИПЕНИЕ ВПЕРЕД»

Знаменитое четверостишие Тютчева:

Как верно здравый смысл народа
Значенье слов определил!
Недаром, видно, от ухода
Он вывел слово «уходил».

(«Как верно...»)

*Вывел!* Во всей большой литературе выводятся, по-народному, новые глаголы, приходят в движение прежде косные слова, отбрасываются необходимые только по правилам грамматики «наклонения» и связки.

Герцен писал:

— Вот куда реакция спасла мир...

— Люди развиваются вон из своей среды...

— Кипение вперед...

— Воспитание метóды в мысль...

В этих оборотах Герцена, которые звучат удивительно по-советски, глаголы «спасать», «развиваться» и отглагольные существительные получили новое движение и управление.

Почти все, иногда потрясающие «неправильности» больших писателей, особенно так называемые ошибки Толстого, объясняются вполне успешно «здравым смыслом народа».

В советскую эпоху герценовские обороты получили необычайное развитие. Очень многие косные, так назы-

ваемые непереходные слова были «выведены» вперед, к новой цели.

Внутреннее «куда», то есть направленность и целеустремленность, пронизывает весь язык; то самое «куда», которое было еще недавно таким страшным словом, что люди предпочитали не произносить его вслух («Не кудыкай — счастья не будет» и т. д.).

Возникает некоторая настороженность к так называемой возвратной форме на «-ся», которая никуда не ведет. И наряду с этим новую, бурную деятельность развивает великая частица «само-».

Многие слова, которые непременно требовали дополнения не только по правилам грамматики, но и по смыслу, теперь уже в них не нуждаются. Создается новая мера естественного и законного недосказывания.

Когда Белинский в «Литературных мечтаниях» говорил об отношениях между обществом и народом и его языком, он выражался так:

— Народ, или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у нас врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своих заунывных песнях, в коих изливалась его душа в горе и в радости; второе же, видимо, изменялось, если не улучшилось, забыло все русское, забыло даже говорить русский язык.

«Говорить русский язык» — это не только передразнивание людей из общества, которые не опускаются до того, чтобы «parler le Russe», это также утверждение более прямого отношения к родному языку.

И еще у Белинского:

— У какого писателя нет ошибок против грамматики, да только чьей? — вот вопрос! Карамзин сам был грамматика, перед которой все наши грамматики ничего не значат; Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик...

В этой тираде все замечательно, и не в последнюю очередь эта форма: «сам был грамматика». Совершенно необходимое «прямление».

В советскую эпоху по всему языку проходит стремление «говорить русский язык», работать что-нибудь, а не только над чем-нибудь («Работая другие строки, я все время возвращался к этим...» и др. очень настойчиво у Маяковского). Меняется управление многих глаголов.

Почти всегда это расторможение слова, новая и плодотворная его активность, новое, интересное «наклонение».

И только изредка слово по тем или иным причинам утратило свою былую хорошую переходность, совершается «заклинение» его смысла (см. в этом цикле печальную историю прекрасного слова «оболванивать»).

Вот несколько примеров нового кипения вперед в словах никудышных и бесцельных, в словах, которые ранее вели самую рассеянную жизнь.

## РАСТИ В..., РАСТУЩИЙ

Расти *туда* или *не туда,* расти в... — эти обороты утвердились в нашем языке только после Октября.

В старом словоупотреблении можно отметить только те или иные приближения к такому ходу мысли и такой форме.

Болотов писал:

— Рость [то есть расти] превратным образом. («Зап.», 7)

У П. Ершова:

Он рос при имени Петра,
Горел на звук Наполеона...

(«Послание к другу»)

И. Борн, радищевец:

— ...сумма всеобщего блага умножится и будет расти в бесконечность. («Ночь», 1804)

И, конечно, у Герцена:

— Опальный университет [Московский, в 30-х годах] рос влиянием. («БиД»)

— Мысль растет, смех Пушкина заменяется смехом Гоголя. (14—157)

Другая, чудесная и совсем уже «советская» герценовская формула:

— Я, как прозектор, указывал рост смерти западного «старика», а ты с надеждой и упованием рост едва обличившейся жизни славянского недоросля. (Письмо к Бакунину)

У Писарева:

— Другие ничего не думали, росли в брюхо, ели и наедались. («Писемский, Тургенев, Гончаров»)

У Тургенева в «Холостяке»:

— Стратилат, вообще глупый, но еще более поглупевший от роста.

Есть очень употребительный в устной народной речи и очень печальный глагол «израстаться». «Он будет красив, если не израстется».

Предполагалось, что в ходе роста люди портятся, красивые перестают быть красивыми и глупеют. Таков рост по законам самой природы.

У Даля, когда он подводил итог тому, что́ народ сделал с этими словами-понятиями, общий смысл всех превращений почти всегда печален, — если речь идет не о растительном мире. Там все хорошо произрастает, прозябает, разве только начнется почему-либо *криворос.*

Криворос губит все и в общественной жизни людей.

У Лескова в его реакционном романе, который назывался «Некуда», дело именно в том, что «новые люди» *«в криворос ударились».*

А Достоевский отмечал в своей записной книжке:

— Стоеросовой (стоя *прямо* растет).

Не в криворос, а прямо; но много ли в этом радости! «Стоеросовый» всегда означало, по Далю: болван, олух, дурень.

У Горького Игнат Гордеев говорит Фоме:

— Вот так-то люди растут... Я, брат, сам эту науку проходил, тоже немало плюх съел. («Фома Гордеев»)

*Люди растут,* то есть, как определил для себя этот рост Фома, становятся преуспевающими и благочестивыми разбойниками.

У Бунина:

— Матери говорили, что мы растем, когда видим во сне, что летаем, — и на колокольне мы росли, чувствовали за плечами крылья. («Над городом»)

Росли в брюхо или росли только во сне, а потом печально израстались.

Что же до «роста», то это слово означало в первую очередь проценты на капитал.

После Октября вся эта группа слов получает необычайное развитие.

Ростки нового — любимое слово Ленина.

Ленин увидел эти ростки в том, как в Весьегонске со-

ветские люди, еще недавно «робевшие», заставили буржуазию работать на бедноту. Ленин считал необходимым «*популяризировать и рекламировать*» (по его выражению) этот опыт, изложенный в книжке «Год с винтовкой и плугом» (вышла к первой годовщине Октября).

Предукома в Весьегонске был тогда Григорий Терентьевич Степанов. Сын крестьянина из деревни Лихачево, рассказывает о нем А. Тодорский, автор этой книжки, экстерном сдавший учительский экзамен, солдат одесского гарнизона, вернувшийся с фронта большевиком, он

— *Рос в крупного деятеля.*

Ср. у Маяковского — о Ленине:

С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться
в Ленина.

(«Комсомольская»)

«Рос в...» — это новая и уже естественная формула в нашем языке. Она широко вошла не только в научный, но и в обиходный язык.

Гнать себя в рост, гнать все в рост.

— Как рыбе на суше один конец — либо научиться дышать по-иному, либо пропасть — так и человеку в эти годы: либо гони себя в рост на курьерских, либо оседай, иди плесенью. (О. Форш, «Для базы»)

Земля живая зеленела,
все в рост гнала, чему расти.

(Твардовский, «За далью—даль»)

Гонит себя в рост и растет только то, что имеет п р а в о расти.

Как все такие, поистине философские, формулы, которые вошли в наш обиходный язык, она получает и самые неожиданные, а то и «вопиющие» применения. В подыинтеллигентском, обывательском или приспособленческом языке она то мстительно, то просто глупо обыгрывается на все лады.

— Под твоим руководством, товарищ Паклин, я вырос до неузнаваемости... (Гладков, «Головоногий человек»)

Приспособленец и двурушник подло профанирует большое слово.

— Хирург слушал, жесткие складки появились в углах губ.

— Бюрократ! — произнес он, помолчав, и повторил: — До убийцы выросший бюрократ! (Тендряков, «Ухабы»)

Бюрократ вырос до убийцы.

Куда растет, туда или не туда (а всем уже известно, куда надо расти), «расти» уже не идет без такого прямо высказанного или подразумеваемого уточнения.

Появился и внедряется конвейер.

— Куда растет конвейер?

Это — главный вопрос в книге Я. Ильина «Большой конвейер».

Когда в пионерском отряде
мы в комсомол росли...

(Алигер, «Подарок»)

— В СССР не только русские, но ни одна национальность... не думает останавливаться в своем росте... в *росте не в западного европейца, а в человека будущего коммунистического общества.* («Правда», 14/IX 1949 г.)

Были журналы и бесчисленные романы с «ростом» в заглавии.

Была Роста — инициальное обозначение, одно из знаменитых «сокращений». Но оно однозвучно с главным словом эпохи, и «Окна Роста» — это было само по себе очень содержательное, хорошо звучавшее словосочетание.

А «растущий» из причастия стало прилагательным, одним из важнейших прилагательных: растущий художник, актер — и растущий город, растущая страна. В языке нашей эпохи есть и вообще большое влечение к таким причастным оборотам в качестве более точного и активного глагольного прилагательного: решающий, ведущий, думающий, развернутый и т. д.

## ШИРЯТЬ—ПАРИТЬ—ПЛАВАТЬ

Эти три близких по своему значению слова далеко разошлись на своем историческом пути, получили каждое свое особое применение. А в нашу эпоху снова сблизились.

Ширять и ширяться значило в древнерусском парить и плавать.

— Высоко плаваеши на дело в буести, яко сокол на ветрех ширяяся, хотя птицю в буйстве одолети... («Слово...»)

— Высоко паришь ты на подвиг в отваге, словно сокол, по ветру летящий, стремящийся птицу в смелости превзойти. (Перевод Н. К. Гудзия)

Плаваеши — паришь; ширяяся — летящий.

Есть у Шевченко стихи, очень близкие «Слову» по своей образной системе:

Орлом сизокрилим літає, ширяє,
небо блакитне широкими б'є.

Мариэтта Шагинян отметила в этих стихах Шевченко поразительный «пропуск», который мы, под общим обаянием этих образов, не замечаем: пропущено «крилами» («широкими б'є»).

Но по-украински никакого дополнения и не требуется. Ширять по-украински несет в себе и крылья.

Это древнее общеславянское слово сохраняет и в современном литературном украинском языке свое высокое поэтическое значение. Но одновременно оно приобрело и новое, предметное и техническое, применение.

В комментарии к тем строчкам «Слова», которые приведены выше, профессор Шарлемань пишет:

— Термин «ширяться» сохранился в украинском языке как единственное слово для обозначения парения. («Труды отдела древнерусской литературы», АН—VI)

Это уже парение в новом, строго научном смысле. Оба эти значения живут вместе, окрыляют (поистине!) одно другое.

Так в украинском, а в русском языке «ширять» прошло другой путь.

— Овцы мрут и ягнятся, а пастухи ширятся... (Дмитрий Ростовский, XVII век)

Хоть это и проповедь, а смысл этих слов вполне земной и социально острый: овцы, то есть пасомые, меньшие люди, мрут и плодятся только на радость пастухам, своим владыкам, которые богатеют и надуваются спесью.

Слово уже «применено».

У Державина:

Спустил седой Эол Борея
С цепей чугунных из пещер:
Ужасные криле расширя,
Махнул по свету богатырь.

(«Осень во время осады Очакова»)

Здесь, как очень часто у Державина, демонстративные замены больших высоких слов просторечными, в сочетании с эолами и бореями. «Махнул» — там, где должно было именно «ширять», а до того «ужасные криле расширя» — сниженные, прозаически разъясненные очень поэтические строчки из «Слова».

Пушкин — в юношеском стихотворении, которое он читал перед Державиным и для Державина, на выпускном экзамене:

...Ширяяся крылами,
Над ним сидит орел младой.

(«Воспоминания в Царском Селе»)

Ширяяся крылами, сидит (а не летит). Расширенными крыльями (как у Державина) прикрывает «стрелы громовые», которые он держит в когтях.

У Некрасова:

Зги не видать! Только совы снуют,
Оземь ширяясь крылами...

(«Пир на весь мир»)

Тоже бесцельное «ширяние», которое к тому же приземлено. И передано это слово, которое принадлежало раньше по преимуществу орлам и соколам, отвратительным совам.

В 60-х годах Даль считал центральным значением этого слова в живом языке его времени:

— ширять, ширять что чем — расширять, простирать. Ширить дорогу, расчищать и ровнять по бокам.

Первое значение — техническое и переходное («что чем»).

Есть у Даля и «ширять крылья» — широко распускать. *Орел ширял по поднебесью,* ширял крылами, летя плавно, парил.

Это — примеры из жизни птиц. А вот примеры из человеческой разговорной речи — совершенно неподражаемые!

— *Как ни ширься, а один всей лавки не займешь,* важничая.

— *Сам ширится, а других теснит.*

— *С нашими достатками не больно шириться льзя,* роскошничать.

За этими примерами из купеческого фольклора та же высокая строчка из «Слова». Потом опять очень сниженное применение — из областных говоров:

— Там ты, как ни ширься, а через воронец не скочишь. Олонецк.

Есть у Даля и «ширнуть» со ссылкой на «ширять»; есть «шировать» и тут же «ширить» и «шириться». *Орел ширует,* плавно летая на кругах, парит; осматривается, озирается кругом, широко, широко, ширует глазом. *Ширует острым взглядом вождь...* (без ссылки на источник).

Затем: жить широко, роскошно, пышно, торовато: мотать. *Кто больно ширует, тот скоро сядет.* (Ср. «жировать»)

Так «ширить», которому предстояла такая большая судьба, только названо как одна из возможных форм. Но подробно разработано «шировать», которое потом было почти утрачено, осталось только областным и словарным словом. А поэтическое «ширяться» оттеснено на второй план, живет только в цитатах.

Так и в Словаре ИАН 1847—1867 годов «ширить» только в двух значениях:

1) делать широким, 2) обшивать сырыми кожами ящик с товаром, для отправления в дальнюю дорогу.

Есть «шириться»:

1) увеличиваться в ширину; 2) увеличивать пространство своего помещения; занимать больше покоев или зем-

ли для своего жилища. *Ты сам ширишься, а других стесняешь* (как у Даля). 3) Становиться обширнее... При них... *московское государство ширилось и множилось.* (Разряды 7113 г.)

Под «ширяться»: делать на лету круги, расширяя крылья. *Орел ширяется над добычей.*

И тот же пример из «Слова».

В традиции «Слова» Вячеслав Иванов в начале века:

Мой дух, ширяясь и паря,
Летел во сретенье светилам.

(«Дух»)

Парить, парение рано приобрело специальное значение.

В риториках «парение» — технический термин. В оде обязательно парение; ода непременно *высокопарна.*

Это риторическое «парение», естественно, подвергается всевозможным снижениям и насмешкам.

Но он бы с Рубовым со временем сравнялся,
За пышной мыслию когда бы не гонялся
И не старался бы, желая вверх парить,
В стихах своих луну зубами ухватить...

(Капнист, «Сатира», I)

Выспрепар — сильф, один из корреспондентов волшебника Миликульмулька в «Почте духов» (1789) Крылова.

В свою очередь архаисты так отвечали гонителям старого «парения», карамзинистам — реформаторам языка:

— Лучше пиши все свое сочинение на русско-славянском языке, долго—сложно—протяжно — парящими словами.. (А. Петров — Карамзину, 1785 г.)

Это — литературные споры из-за «парения». А просветители переносят парение в сферу большой Истины.

О, Истина! Мой дух живится,
Паря в селения твои.

(И. Пнин, «Человек»)

Пушкин в борьбе со старой поэтикой:

И вслед Державину парить?

(Кн. Горчакову)

За Мильтоном и Камоэнсом
Опасался я без крил парить.

(«Бова»)

И совсем уже безжалостное применение этого высокого для других слова:

Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной...

(Из письма Вяземскому)

Замечательный перенос этого «слова поэтов» в политическую сферу у Баратынского:

— Русское правительство... парит превыше всех законов...

Это уже не просветительское, а ярко декабристское применение у Баратынского, хоть он стоял далеко от движения дворянских революционеров. Совершенно щедринский сарказм, он стал возможен именно потому, что слово некогда очень поэтическое получило значение чего-то прекраснодушного, бессильного, фразерского и смешного.

— Следить какую-нибудь науку, чтобы эдак расшевелить душу, дало бы, так сказать, парение эдакое. (Гоголь, «МД», 1—2)

Это слова Манилова.

В казенной науке, особенно в так называемых политических и камеральных науках, еще гордо звучало именно эдакое маниловское парение.

Славянофилы пытаются поднять это уже падшее слово:

В ней [песне] слышен был и тайный глас природы,
И смертного горé парящий дух.

(Хомяков, «Сон»)

И тем более страстно обрушиваются на это слово революционные демократы. Щедрин, как, впрочем, и неко-

торые его противники (А. Григорьев), очень охотно сближал его с другим, очень грубым словом («словоп...-ение»).

У Щедрина «Новый нарциз» так защищает право своей души на парение:

— Душа парит — кому и когда бывал от этого вред! («Признаки времени»).

«Безвредно» парят самые ненавистные ему люди — либералы.

У Даля «парить» — ширять (!), плавать. Затем со звездочкой (переносный смысл): возноситься мыслями, воображением.

Бодуэн де Куртенэ позднее добавил техническое примечание: воздушный шар парит. Но во времена Даля «собственное» значение относится только к птицам, а переносное значение плохое.

У Чехова «газетчик», «сплетня всероссийская», когда т-ская «интеллигенция» заставила его произнести речь, сказал:

— стары телом, но молоды душой, т. е. живопарящим духом. («Корреспондент»)

Это слово только и годилось для словоблудия.

Плавать и плыть, по Словарю ИАН 1847—1867 годов:

— Держаться и двигаться по произволу на поверхности воды... держаться в воздухе и летать, распростерши крылья, без заметного движения оными. Орлы плавают на воздухе.

По «Толлю»:

— свойство тела носиться по жидкости, если окружающая жидкость легче тела, и т. д.

А к воздуху «плавание» для серьезного словаря отношения еще не имеет.

По Далю:

— не тонуть, держаться на поверхности жидкости, по удельной тяжести, легкости своей, или силой движений своих, упором, грёбом. *Плаваешь ли ты? Умеешь ли плавать?*

Воздух и у Даля в этом случае еще не участвует. И так же, как у «Толля», необходимое условие: «по удельной

тяжести, легкости» — «если окружающая жидкость легче тела».

Но уже в 70-х годах люди научились плавать и по воздуху на аппаратах тяжелее воздуха, особым, научным «грёбом».

12(24) января 1877 года автор статьи без подписи в «Кронштадтском вестнике» писал:

— Изобретатель (наш моряк г. А. Ф. Можайский) весьма верно решил давно стоявший на очереди вопрос воздухоплавания. Аппарат... не только летает, бегает по земле, но может и плавать. Опыт доказал, что существовавшие до сего времени препятствия к плаванию в воздухе блистательно побеждены нашим даровитым соотечественником. («Кронштадтский вестник», 12—24/I 1877 г.).

В той же газете позднее А. Алымов писал:

Аппарат А. Ф. Можайского представляет собой «громадный и может быть даже окончательный шаг к разрешению великого вопроса плавания человека в воздухе по желаемому направлению и с желаемого, в известных пределах». («Кронштадтский вестник», 15/XI 1878 г.)

Оба специалиста щеголяли новыми, еще недавно немыслимыми применениями этого слова в научной речи. Совершенно невозмутимо произносились эти сочетания слов — плавание в воздухе — как нечто обычное, хотя это было нечто неслыханное.

В общей печати фельетонисты писали, что сбывается старинная поэтическая метафора: «на воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил».

Но ведь это была только метафора.

Еще в 1805 году С. Жихарев отмечал:

— Воздушные путешествия входят у нас в моду. Вот и еще новый воздухоплаватель, какой-то Кашинский, объявляет о своем полете и приглашает с собой попутчика. («Дневник студента», 16/IX 1805 г.)

Но далее он прямо обзывал его и ему подобных «воздухоплавателей» шарлатанами.

В нашу эпоху все три слова получили удивительное новое развитие.

Ширять, ширнуть стало обозначать по преимуществу нечто бесцельное и бестолковое.

— Немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. (Шолохов «Тихий Дон», 1—3—7)

Поэтическое и очень русское «ширять», приконченное эпитетом «бестолково», отдано немцу.

— В нос ширяло запахом цветущего краснотала. (Шолохов, «Жеребенок»)

— В ноздри ширнуло духом вареной баранины. (Шолохов, «Алешкино сердце»)

— Ты, Давыдов, мне все время в глаза ширял, что я — левый троцкист. (Шолохов, «Поднятая целина» — слова Нагульнова)

В новой редакции «Поднятой целины» Шолохов в этих словах Нагульнова заменил «ширял» на «колол». Прямее и яснее.

У Артема Веселого:

— Кочегары ширяли гребками в отверстие пасти печей. («Россия, кровью умытая», 7)

«Ширять» сближалось с «шуровать». Профессиональное, в своем роде очень точное и одновременно какое-то широкое и бестолковое по своему звучанию слово!

По Артему Веселому, вся Россия тогда только и шуровала чего-то...

«Ширять», «ширяться» расплылось, становилось диалектной формой, которая уже не годилась в серьезных случаях (ср. выше автоправку Шолохова).

Ср. еще из новой прозы:

— Старуха подмигнула ему и ширнула в его сторону иголкой. (Фоменко, «Память земли», 10—11).

И только в сознательно архаизированной и стилизованной речи древнее «ширять» и «ширяться» выступало очень торжественно, в древнем своем значении и звучании.

— И, клубяся, играли птицы, и клёкали орлы, и плавали, ширяясь крылами, и колесом низвергались в воздухе, и сызнова поднимались, и реяли, и парили. (Югов, «Светоносцы»)

Все три интересующие нас слова получили здесь свое старое применение.

Так, совершенно по «Слову», и в еще живых сегодня преданиях нашего Севера:

— И пошел наш корабль, как сокол, ширяяся на ветрах. (Б. Шергин, «Рождение корабля»)

Так и у Б. Пастернака, очень торжественно, в стихах памяти Ларисы Рейснер:

Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

(1926)

«Ширять», «ширяться» — либо, в особых случаях, возрожденный высокий архаизм; либо, в обиходной речи, обозначение чего-то бестолкового.

И наряду с этим выходит на передний край языка очень широкое и одновременно очень деловое слово «ширить».

Ширить движение за мир — и ширить движение за цикличность или за автоматические линии...

В заголовках передовых статей, в плакатах, во всей агитационной и пропагандистской литературе — ширить, ширить...

Сама собой сложилась, по всем внутренним законам языка, эта н о в а я форма.

Возникает и новая возвратная форма «шириться», и тоже не от древнего «ширять» и «ширяться», а от нового «ширить».

— А радостный, всегда справедливый... дух дерзаний только ширится. (Л. Сейфуллина, «Александр Македонский»).

И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство.

(Тихонов)

В особом смысле это же «ширится», даже это же «ширится пространство», у Андрея Белого:

«Я ширюсь» —

так сказал бы младенец, если бы он мог сказать, если б он мог понять. («Котик Летаев», 17; «Геометрия» А. Белого)

У Белого это «я ширюсь» означает постепенное освоение мира сознанием ребенка, подростка и т. д.

Но «человек ширится» — это в самом деле очень вер-

ное определение всего, что происходит с человеком в нашу эпоху.

П а р и т ь, п а р е н и е удивительно пригодилось планеристам.

Вместе с «вещанием» (см. выше) это один из самых замечательных образцов сбывшейся метафоры. Новое научное и техническое понятие нашло для себя в старом языке прекрасное слово, которое только его и ждало.

Рекорды парения — столько-то времени, с такой-то скоростью, на таком-то безмоторном парителе и т. д.

Живет и старый высокий смысл этого слова. Но, как всегда, оно приобретало новую патетическую силу после того, как слово получило такое точное и деловое прикрепление.

— Трилогия А. Н. Толстого выросла из органичной, почти телесной потребности понять и почувствовать Россию в годы высочайшего ее парения и чувственно показать направление ее полета в будущее. (Федин, «Современники»)

А я люблю парижскую тьму,
где чую его [Маяковского] паренье.
Немалым я был обязан ему,
хоть и разного мы направленья...

(Сельвинский)

Парение Маяковского!

В обоих случаях рядом с парением — направление, у Сельвинского это даже рифма. У планеристов они связаны по самому смыслу вещей. Слова эти теперь вообще необходимейшим образом связаны: парение с управлением и направлением.

П л а в а т ь, то есть уметь держаться на поверхности, уже и до Революции получило и прямо противоположное значение самого неконкретного размахивания руками, барахтания, неумения, ширяния.

В нашу эпоху это второе значение получило необычайно содержательное развитие.

Особенно интересно «плавание» в я з ы к е недавних

«низов человечества», призванных теперь к невиданной по размаху и смыслу государственной деятельности.

— Мартемьянов искренне наслаждался, плавая по расстилающейся перед ним необъятной стихии, черпал из нее пригоршни самых неожиданных и поразительных словосочетаний. (Фадеев, «Последний из удэге»)

И этот же Мартемьянов, который еще «плавал» в языке, не переставал учить доктора Костенецкого:

— Это вашему брату, интеллигенту, все неясно да неизвестно, а нашему брату, рабочему, все ясно, все известно, — надувшись, говорил Мартемьянов.

Но уже скоро тот же самый Мартемьянов кричал Нестору Борисову прямо в лицо:

— Уж больно ты все знаешь! Уж больно тебе ясно все! Не-ет, брат, не все так светло да ясно на белом свете!

Как только он перестал плавать в языке, его отношение к языку и словам стало совершенно другим. В этом, как ни в чем другом, открывается перед нами подлинный рост человека: он ширится и перестает «плавать».

Это «плавать» уже речевое клише.

— Я недопонял вопроса... — повторял лентяй стереотипную фразу «плавающего» студента. (С. Антонов, «Друзья»).

А «плавание в воздухе» — уже несколько архаическое выражение; у специалистов есть для этого в каждом случае более точные и профессиональные слова. Но именно поэтому оно иногда вновь и демонстративно выступает в речи специалиста.

— По их [вражеских летчиков] приемам плавания в воздухе я понял, что они не новички. (Лавриненков, Герой Советского Союза, «Мои воздушные бои»)

Три близких по своему значению слова получили каждое свое особое назначение, направление и знаменование, но в конечном счете очень сблизились.

## ИЗЖИВАТЬ

В первые годы Революции древний глагол «изживать» получил невиданно широкое, почти универсальное применение.

Еще недавно это было слово книжное, цитатное, с религиозными главным образом ассоциациями. В древней церковной форме оно применялось к самым тривиальным вещам и обстоятельствам и звучало как ироническое, чаще всего горькое, возвышение этих вещей и обстоятельств.

— А в лености житие мое иждих, без ума смеяхуся...

Чехов особенно любил эту цитату и не раз приводил ее в своих письмах, почти всегда отмечая, что так именно говорит священное писание.

В народной речи «изжил» всегда применялось в самом прямом и печальном смысле.

— Изжил век ни за холщевый мешок... Век изжил, а ума не нажил. (Пословицы. У Даля и др.)

— А мужику одним хлебом не изжить, и на то и на другое деньги ему надобны... (У Мельникова-Печерского, «В лесах», 3 и др.).

Это простое, трезвое и точное «изжить», как обычно, получает и обобщенное, очень грустное значение, приобретает такую же грустную «возвратность».

У А. Кольцова, в народной традиции:

До поры, до время
Всем я весь изжился...

(«Горькая доля»)

Дошел до нищеты, но и духом тоже разорился.

Эти значения объединяются и переплетаются, когда речь идет о больших общественно-политических вопросах и об искусстве, о литературе.

Белинский об «Арабесках» Гоголя:

— В одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века.

Основное убеждение Островского:

— Искусство бессильно только над душами изжившимися...

У Герцена в «Былом и думах»:

— Стремительно развивающийся дух европейских народов быстро изжил романтично-феодальное содержание.

Изживать содержание — очень знакомое для нас сегодня сопряжение понятий, но это был новый и смелый перенос в то время.

«Изживать» получает все новые, важные применения.

У Глеба Успенского:

— Человек, если и не изжил в себе зверя... («Неизвестный»)

У Леонида Андреева в «Жили-были»:

— Все, что было в нем [купце Кошеверове] силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости.

Изжито и ничего не нажито взамен.

— Тогда она заговорила низким, старым, изжитым голосом, который, казалось, был так же темен, как те закоптелые иконы. (Серафимович, рассказ «Старуха»; напечатано впервые в «Курьере» в 1893 году и перепечатано после Революции в цикле «Старая Россия»)

Перед Революцией это уже испорченное слово; оно оторвалось от исходного, очень серьезного смысла. «Изжитость», «изжившиеся души» и пр. — это уже только модные словечки и штампы.

— Изжитость западных теорий «счастья» и «свободы».

Это из фельетона В. Буренина. Правда, он не был еще тогда нововременцем, а считался одним из «передовых». Но слова эти были уже очень стертыми, общими и ничего серьезного не выражали.

Естественно, что слово с такой историей получило после Октября очень бурное новое развитие. Изжить старое содержание (по Герцену), прекратить то, что отныне уже не имеет *права жить,* не смеет жить, — это программа всей Революции.

Блок писал в первые годы Революции:

— Может быть, оттого так рано умирают, гибнут или, просто, изживают свое, именно русские писатели, что нигде не жизненна так литература, как в России, и нигде слово не претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем, как у нас...

Блок, как очень часто, вводит в действие слово, которое в его кругу еще недавно было и высоким — и пустым. Это слово склоняли на все лады и Мережковский, и Белый, и другие писатели, с которыми *только что* порвал Блок. Он дает этому слову и старое и новое движение: изживают свое. Не вообще «изжитость», а

«изжил» с очень точной переходностью: «изжил свое». И здесь же главное для Блока (и вообще главное) замечание о том, что *только у нас важные слова претворяются в жизнь.*

Горький писал в «Фоме Гордееве» (до Революции):

— Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен. (7)

Очень прямой, старый крестьянский смысл: извел и пережил.

В «Моих университетах», которые писались уже после Октября:

— Какими-то призраками людей, изжившими себя...

Уже явственно участвует и новое, деловое, иногда слишком деловое, значение этого слова и даже этого словосочетания: «изжившие себя».

У Чапыгина «по-крестьянски»:

— «Без еды не изжить... Загину», — думает Афонька Крень... («Белый снег»)

У Малышкина:

— Опять выглянуло, смахнуло грезы тусклое, еще не изжитое безвестье... («Февральский снег»)

«Изжитое» в строю высоких слов, рядом с очень важным для Малышкина «безвестьем».

И у него же:

— Сейчас мы бросаем сюда все, какие возможно, силы, чтобы именно скорее ее [разгрузку] изжить и скорее всем стать на работу по специальности. («Трудные дни»)

Изжить разгрузку! — немыслимое прежде, не совсем грамотное (как издевались над такими оборотами белоэмигранты!), но очень убедительное применение! Будто дело только в разгрузке! Сейчас надо покончить с разгрузкой, чтобы потом изжить еще очень многое, все, что задерживает и мешает. Очень мило А. Малышкину это сопоставление объемов: о чем, *в частности,* идет речь и о чем одновременно идет речь *вообще.* Участвует т о с а м о е слово «изжить», которое он сам всегда так высоко ставил.

У Лидии Сейфуллиной:

— Не могу больше... Годы, что ли, мне здесь изживать... («Путники»).

Это еще по-старому; а вот программное, новое:

— Городу передались, а исконного недоверия к нему еще не изжили. (Там же).

Один из важнейших мотивов творчества Сейфуллиной.

И у нее же:

— Пьяный бред был причудлив, остер, картинен в момент его изживания. («Гибель»)

Это слово уже гремело на улице в другом значении. Изживание бреда — новый, фрейдистский термин. Но русский перевод этого термина очень соблазнителен для Сейфуллиной.

— «Мы изживем, — говорит он, — косматых собак предрассудка!» Это выходит у него очень здорово. (Дроздов, «Обида»)

Речь идет, собственно, об антирелигиозной работе в деревне. Но так, конечно, звучит гораздо интереснее.

— Сущность творческого процесса, как *изживания своего «я» в «мы»*... (Пришвин, «Кащеева цепь»)

И здесь у Пришвина старое слово звучит очень поновому.

«Изживание» — специальный термин в *актерском искусстве*. В. Н. Юренева вспоминала уже в советское время, как играла М. Г. Савина:

— Изжив одно чувство, очерченное с такой четкостью, что его воспринимаешь как происшествие, Савина переходит к следующему, затем дальше и дальше. Кажется, что там, где она прошла, остается только пепел, — так изживает Савина все до конца. («Записки актрисы»)

Она применяет к Савиной термин, которого сама Савина еще не знала. Но так теперь точнее всего осмысливается для Юреневой общий стиль савинской игры.

У Андрея Платонова его нищий, но, как всегда, мудрый в своем роде герой роется на свалке в поисках пропитания. Безуспешно!

— В добыче значились куски твердого, закоснелого кала, изжившие себя мочалки... («Ямская слобода»)

Все в жизни так или иначе «значится» и все «изживается». Такова сама жизнь, которая тоже изживает себя, как мочалка. Это — целая философия.

Во втором и третьем десятилетии Революции слово уже истрепалось и заклинилось; оно уже постепенно

уходит из большого языка; на смену пришли слова более определительные и точные. «Изживать» — уже штамп.

В 1956 году К. Федин опубликовал первые главы своего «Костра»: Сын Пастухова в 1942 году приехал в Ясную Поляну, незадолго до того, как туда пришли немцы...

— Это — Дерево бедных. Мы сидим под деревом, куда стекались люди России, чтобы научиться изжить свои беды, свою вечную бедность, чтобы услышать слово отпущения от человека, который жил в этом доме... («В Ясной Поляне»)

Прекрасное и точное, древнее «изжить свои беды, свою вечную бедность» опять заиграло, — потому что уже отшумело несерьезное «изживать» в применении ко всему на свете, но еще хорошо слышно и недавнее, а, на заднем плане, очень древнее его звучание.

Исполнено по-новому много пережившее слово.

## ПЕРЕЖИВАТЬ, ПЕРЕЖИВАНИЕ

У Даля «пережить, переживать кого, что» — только в значениях: долее других, долее чего-либо, или сверх срока, или во многих местах. А «переживания» у Даля, собственно, совсем нет; в соответствующем месте ссылка на гнездо «пережить», где это слово только упоминается. Для Даля «переживание» — только потенциальное производное от «пережить», «переживать» в тех же бедных смыслах.

Так и в Словаре ИАН 1847—1867 годов. «Переживания» здесь совсем нет, а «переживать» только в тех же значениях, что и у Даля, с примером, который звучит уже диковато:

— *пережил во всех улицах города.*

Между тем «пережить», «переживать» давно уже играло важную роль в поэтическом языке и знало много превращений.

Уже в пушкинских знаменитых строках: «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты» — это слово получило такое применение, которое никак не покрывается далевским толкованием.

У Белинского в статьях о «Сочинениях Александра Пушкина» «переживание», наряду с «пафосом», одно из кардинальных понятий его поэтики:

— Изучить поэта — значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их... На этой-то общности, по которой создание поэта столько же принадлежит всему человечеству, сколько и ему самому, — на этой-то общности и основывается возможность всем и каждому, в ком есть человеческое (т. е. духовное, разумное), переживать произведения художника, изучая их.

У А. Григорьева в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» другое, не по Белинскому и против него, «переживать»:

— Одиночеством я перерождался, я, живший несколько лет какой-то чужой жизнью, переживавший чьи-то, но, во всяком случае, не свои страсти...

Переживал то, что уже пережили до него и изжили другие. И рождался вновь, когда переставал «переживать».

В литературном жаргоне слово это впоследствии развивалось главным образом по А. Григорьеву, а не по Белинскому.

В 1910 году В. Ф. Булгаков записал следующие слова Л. Толстого:

— Поймет ли вот такую музыку неподготовленный, простой мужик, даже вообще склонный к эстетическим «переживаниям»?

И к этому примечание Булгакова:

— Лев Николаевич очень не любит слово «переживание» («Л. Н. Толстой в последний год его жизни», стр. 133)

К этому времени «переживание» аннексировали мелкие «психологи», а затем оно перешло в «высшем смысле» символистам. Толстой был убежденным противником таких «переживаний» и, конечно, «не любил» и самое это слово в общепринятом тогда значении. «Переживания» были прямой противоположностью его методу и его художественному мировоззрению.

В том же 1910 году, в год смерти Толстого, очень немудрый и реакционный критик Ан. Бурнакин писал, однако, довольно справедливо:

— Приходится бежать: из «утонченного символизма» в «грубый» реализм, от микроскопических «переживаний» в «гиперболизм» чувств...

«Переживание» — у символистов, в «высшем смысле»:

— Поэзия Белого — страна утонченнейших мозговых явлений, которые мы назвали бы идеепереживаниями; это — остров, возведенный полипами страстно работающей мысли, претворяющейся в переживания.

Так писал В. Пяст, обозревая, уже ретроспективно, поэтов «последнего десятилетия», последнего перед Революцией, но для Пяста вообще последнего.

Незадолго до Октября вышла книга Сергея Боброва «Лира лир». После Октября он переиздал эту книгу, и вот какое у него было для этого оправдание:

— В этой книге есть вещи (конечно, не все), которые меня удовлетворяют по отдаленности своей от так называемых «переживаний». (Эпилог)

Так называемые «переживания», в кавычках, — это, по всем признакам, Революция.

В первые годы после Октября «переживать» и «переживания» стали для многих писателей словами неуместными, подозрительными и раньше всего задерживающими. Серьезным людям некогда «переживать».

— Да и *когда было задуматься о своих переживаниях...* (Либединский, «Неделя»)

И бесполезны какие бы то ни было дополнения, все равно это пустое и несовременное занятие. Другая и прямо противоположная отдаленность от так называемых «переживаний» и другие «кавычки».

— Я вот уже сколько дней, товарищ Чибис, *переживаю эту психологию, черт бы ее побрал...* (Гладков, «Цемент», 1—2)

Такое же излишество, как «психология» и т. п.

В разговорной речи «переживать» применяется почти только иронически: «Начнет еще переживать...» и т. д. В общественно-политической полемике слова эти сокрушительно снижаются и обрабатываются: переживальщики, переживальчество и т. д.

Очень заняты своими «переживаниями» и прочей «беллетристикой» (это теперь почти синонимы) только люди обиженные и сомневающиеся.

У Зощенко:

— Эвва, — скажет читатель, — глядите, чего еще

один напишет. *Описывает, холера, переживания.* Глядите, сейчас, чего доброго, начнет про цветки наворачивать. («Мишель Сипягин»)

Переживания, цветки и тому подобное. Говорит обыватель, но в этом есть, мол, свой резон.

— После одного факта (избиение отца моего во время торговли учеником старшего класса Браварским), в силу своих переживаний, я принужден был уйти из четвертого класса... Но и в этом медвежьем уголке не оставляют меня переживания в связи с предстоящей повсеместно проверкой аппарата.

Так в рассказе В. Герасимовой говорил в своей устной автобиографии младший счетовод Гривушкин, сын «частного капиталиста».

Слово перешло к Гривушкиным.

Но вот поразительный диалог в «Тихом Доне» Шолохова:

— Кошевой. Переживать-то это как-нибудь надо?

Дуняша. Ну и переживай.

Кошевой. Я-то переживу. (8—5)

Не Дуняша, а Кошевой, коммунист, очень твердый человек, говорит, что переживать это как-нибудь надо. Он-то хорошо знает, как звучит обычно, в его кругу, это слово (и Дуняша знает ему цену). И все-таки Кошевой не отказался от этого слова, но тут же перевел его в другой ряд, разыграл его так, чтобы оба смысла получили новое движение. В этом поединке из-за слова «переживание» замечательно открылись важнейшие черты характера Кошевого.

Слишком «железное» и лихое обращение с этим словом уже перестает нравиться и импонировать.

— На одной той войне сколько чего понастроил, хоть оно и невидное теперь. Опять же переживания большие.

О своих переживаниях он сказал так же просто, как говорят о своей специальности или местожительстве, ничуть не кичась ими, а лишь отмечая как факт: переживания были большие. (Твардовский, «Заметки с Ангары»)

Ни о каких кавычках не может быть и речи. Переживания.

— Нужно обладать опытом переживаний. Помню,

однажды это соображение очень смутило одного инспектора, присутствовавшего на занятиях моего семинара в Лит-ном институте. Ему *в разговорах о переживаниях почувствовался какой-то «изм»*. (Федин, «Писатель, искусство, время»)

Но это было давно, сейчас этот инспектор только смешон.

— Не могу назвать общение с ними [гравюры Фаворского к «Слову о полку Игореве»] иначе, как переживанием, которое дается только искусством. (Федин, там же)

Весной 1945 года, после победы, М. Калинин в беседе с работниками газеты «Известия» и Радиокомитета говорил:

— Возьмите роман: если там мало психологических, душевных переживаний, то он не производит впечатления. Как будто бы роман и неплохой, а все-таки чего-то в нем недостает.

Как всегда, простыми и прозрачными словами, но и полемически (хорошо слышно внутреннее «что бы там ни говорили»), Калинин снова, по Белинскому, утверждал важное и плодотворное понятие «переживание».

И оно устояло: сегодня оно успешно выдерживает любую иронию, любое, самое смешное применение.

— Надо к тому же поговорить и про вчерашнее кино... чувствительное, переживательное показывали кино... (В. Солоухин, «Капля росы»)

Похоже на «пережевательное», но слово все-таки хорошее.

Оно широко применяется и как научный термин: сохранившиеся материальные «переживания», реликты другого общественного уклада, другой геологической эпохи. Не «пережитки», как говорили встарь; — слово это уже стало только плохим, — а объективно и по-научному: «переживания». И так же по-научному, очень строго и с очень важными дополнениями, у Тихонова в рассказе «Синий командир»:

— Старик поглядел... на мертвые тела в *разнообразных переживаниях сна.*

«Переживание» как термин театральной поэтики имеет свою весьма замечательную историю. Отметим

здесь только некоторые повороты на историческом пути этого слова.

В середине XIX века это слово стало девизом психологического реалистического театра. Оно противопоставлялось лицедейству, игре, представлению, или представленчеству, как сказали бы в 20-х годах нашего века.

Затем это слово в этом применении печально уточнилось и оболталось. Оно стало техническим термином, обозначением некоторых очень «психологических» приемов и штампов актерской игры.

— Поменьше читки, не играй, а переживай...

Так говорил у Бунина («Митина любовь») в конце века директор провинциальной студии, который считал себя передовым в искусстве человеком. Но «переживай» — это был уже тоже штамп, хотя и новый. В советскую эпоху этот термин становится ареной новых, огромных по своему значению схваток.

У А. Дикого в «Повести о театральной юности»:

— Переживания — все, образ — ничто, таков был негласный (и неосознанный) закон Студии на этом этапе.

Но вот уже скоро:

— Вахтангов, первый «переживальщик» в Студии, столь же энергично отказался от бесформия, от «я в предполагаемых обстоятельствах», сколь категорически когда-то настаивал на них...

— Они, — писал в начале 20-х годов М. Штраух в своей книге «Мастерство актера», — апеллируют к иррационально-подсознательным переживальческим началам.

В. Немирович-Данченко в 30-х годах поднимает перчатку, утверждает «переживание» в старом, прекрасном его смысле, но как бы сторонится этого уже очень испорченного слова:

— Всякий талант... заключается в способности заражать других людей своими (*пока будем так и называть*) *«переживаниями»*. (Статьи)

В кавычках, «пока», но без этого слова невозможно сделать и шагу в искусстве.

А Станиславский в своей «Системе» уже окончательно утверждает это слово как одно из основных понятий его науки о вдохновении. Оно опять стало девизом реалистического театра.

## НАСТРОЕНИЕ

— Я дорого дал бы за то, чтоб снова испытать так же нервно это сладко-мучительное, болезненно-дразнящее настройство, эту чуткость к фантастическому, эту близость иного странного мира. (А. Григорьев, «Мои лит. и нравств. скитальчества»)

Настройство — особая внутренняя подготовленность к восприятию того-то и того-то, чуткость к тому-то и тому-то. Это отглагольное существительное, еще не оторвавшееся от своего глагола и с ясно выраженной переходностью. Слово еще щегольское и «любительское».

Речь идет о настроении. Оно и нервное, и сладко-мучительное, и болезненно-дразнящее — очень знакомые эпитеты.

Но слова этого — «настроение» — еще нет.

— Он напускает на себя какую-то *отчаянность,* и такой «отчаянный» иногда сам уже поскорее ждет наказания, ждет, чтобы *порешили* его, потому что самому становится, наконец, тяжело носить на себе эту напускную *отчаянность*. Любопытно, что... все это настроение, весь этот напуск, продолжается почти вплоть до эшафота. (Достоевский, «Записки из Мертвого дома», 1—8)

Сам себя настраивает, и получается особого рода настроение. Потребовалось это возможное, но малоупотребительное слово.

— А главное — общий тоскливый настрой, всегдашняя затаенная мука. (Там же, 11)

В этом случае уже «настрой», а не «настроение». Хотя и тоскливый, но очень активный, даже отчаянный. И соответственно короткое «настрой», как «напуск».

«Настрой», почти такой же отчаянный, — любимое слово художника Федотова.

— Не выеду из вашего Петербурга в моем настроении. Слоняюсь, как бы потеряв свою цель и как бы даже радуясь, что ее потерял в моем настроении-с...

— В каком это настроении? — хмурился Вельчанинов.

— Да — вот-с в каком настроении!.. А насчет часу, право, думал, что лишь только двенадцатый, будучи в настроении. Пьешь собственную грусть и как бы упиваешься ею. И даже не грусть, а именно ново-состояние...

— Как вы, однако же, странно выражаетесь! — как-то мрачно заметил Вельчанинов...

— Да-с, странно и выражаюсь-с... (Достоевский, «Вечный муж», 3)

Павел Павлович Трусоцкий (фамилия-то какая!) очень настаивает на этом своем слово «настроение»; оно для него почти такое же свое, как ново-состояние; оно почти как «креп на шляпе» — его девиз, и шибболет, и, конечно, очень важная деталь его речевой характеристики. Никаких дополнений, грамматических и других, здесь не требуется. Вообще настроение-с.

Очень драматически разыгрывает и исполняет это еще не устоявшееся слово Достоевский.

Даль:

— Настроение — окончат. действие по значению глагола. *В каком вы настроении, настрое?* — в каком духе?

Даль знал уже такое слово, но ставил его в один ряд с «настроем» и явно предпочитал это второе, как менее жеманное, по его терминологии.

Даль и не подозревал, каким оно станет шумным и какие добавления внесет в это его гнездо Бодуэн де Куртенэ в первые годы нового века.

В Словаре ИАН 1847—1867 годов, то есть тогда же:

— Настроение — действие настроившего.

Настрой — то же, что настройка.

Словарь ИАН, стало быть, совсем не знал, в отличие от Даля, или не хотел знать этого нового и подозрительного слова.

— Это версия [«Садко»] лирико-драматическая. У нее нет претензии на рассказ — она только Situazions Bild и передает только Stimmung. (А. К. Толстой, Письма, 1872)

Stimmung — в точности настроение, но по-немецки. А. К. Толстой определяет жанровые признаки такой очень русской своей вещи, как «Садко», при помощи немецкой «штиммунг». Он либо не знал, либо отвергал это новое слово — «настроение».

П. Валуев, премьер-министр, в своем «Дневнике»:

— Настроение bistre. (1880)

Уже уверенно применяется в разговоре с самим собой русское настроение, но определяется оно при помощи очень характерного и в самом деле почти непереводимо-

го французского «бистр» (приблиз. — на сердце гребтит, ёлко и т. д.).

— Несмотря на то, что в этих словах [графини Лидии Ивановны] было то умиление перед своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексею Александровичу излишним, новое восторженное, недавно распространившееся в Петербурге мистическое настроение, Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь. (Л. Толстой, «АК», V—22)

Только недавно «распространилось» в Петербурге, то есть в очень тесном кругу, это слово и получило в верхушечном жаргоне людей этого круга только одно, мистическое, прикрепление.

Но уже скоро это же слово становится девизом нового, реалистического, передового для того времени искусства.

Это слово, которое теперь неразрывно связано с Чеховым, с новым Художественным театром, со Станиславским — и Мейерхольдом.

Мейерхольд телеграфирует Чехову из Херсона после первого спектакля в своем театре, в котором он надеется претворить по-своему идеи Чехова и МХАТ:

— Сегодня состоялось открытие сезона вашей пьесой «Три сестры». Громадный успех. *Любимый автор печальных настроений!* Счастливые восторги даете только вы. (22/IX 1902 г.)

Так думал и так выражался тогда Мейерхольд.

И тогда же один из самых убежденных противников этого нового искусства, П. П. Гнедич, сообщает очень злорадно (и, вероятно, неточно) своей жене:

—Толстой даже дочитать не мог «Трех сестер». Помнишь, он сказал мне претонкую вещь: «если пьяный лекарь будет лежать на диване, а за окном идти дождь, то это, по мнению Чехова, будет пьеса, а по мнению Станиславского — настроение; по моему же мнению, это скверная скука». (1903)

Это — Гнедич, «Александринка». А вот Малый театр — эпиграмма Михаила Прововича Садовского:

Вы славу настроением стяжали?
Ну, так позвольте ж вам сказать:
Настройщиками вы давно уж стали,
Но музыкантами вам, право, не бывать.

Он возвращает «настроение» к «окончательному действию по глаголу», по Далю...

А Бодуэн де Куртенэ тогда же включает в уже классический «Словарь живого великорусского языка» Даля такие слова из полужаргонной разговорной речи:

— *Что это такое в самом деле? Какое-то настроение, станиславщина, сверчки за сценой.*

Бодуэн де Куртенэ не какой-нибудь ученый сухарь. Он хорошо слышит живую новую речь. Он не мог не зарегистрировать это, вероятно близкое ему по духу, чье-то изречение.

А Блок в 1906 году хвалит Брюсова за то, что

— самые нежные мысли у него *не падают в бездну пресловутого «настроения»*. Брюсов всегда закончен, чеканен. (Рецензия; X—284)

В 1910 году А. Измайлов дает уже историю этого нового слова:

— Всеспасательное слово «настроение» еще тогда не было известно Далю, и еще какие-нибудь пять лет назад нельзя было предвидеть того терминологического смысла, в каком это слово представляется нам... («Помрачение божков»)

И далее:

— «Настроение», о котором у нас так закричали с первыми шагами «станиславцев», Тургенев прозрел и почувствовал, как высшую прелесть искусства, вон когда, в 1850 г., когда написал «Месяц в деревне». (Там же)

Здесь главный пафос в том, что все это уже было, был вон еще когда «Месяц в деревне»; была Савина в «Месяце в деревне»; было чудесное настроение, высшая прелесть искусства, — но только это называлось иначе. Так что Станиславский, мол, и не изобрел ничего. А «станиславцы» звучит у него как наименование какой-то партии.

И еще у Измайлова ходячая, по-видимому, в его кругу острота:

— Настроение — это когда вас расстраивают...

°

«Настроение» к тому времени имело уже и вполне четкий политический смысл.

— В Академию (Петровско-Разумовскую; ныне Тимирязевская) поступило несколько архангельцев. В Архангельске жил в эти годы в ссылке Василий Василье-

вич Берви (Флеровский), в доме которого бывало много молодежи, и *архангельцы явились с значительным «настроением»*. (Короленко, «История моего современника», 2—4—4)

Это даже не эзоповский язык. Понятно, какое настроение.

А вот настроение без кавычек, точное, прозрачное:

— Им не хотелось уступить настроение печали о товарище чувству радости, внесенному Сашей, и... они невольно старались *ввести девушку в круг своего настроения*. (Горький, «Мать», II—11)

Вводить в круг настроения! Очень по-деловому.

«Настроение» играет очень важную роль в выступлениях Ленина против отзовистов и ликвидаторов, потом против тех товарищей, которые могли и должны были стать его соратниками, но временно поддались нехорошим настроениям...

Опасность возникает,

— поскольку отзовизм из простого настроения превращается в *направление*, в систему политики. (15—327)

У рабочих-большевиков, «сочувствующих сейчас отзовизму, в большинстве случаев «отзовизм» и есть не что иное, как скоро преходящее *настроение»*. (15—328)

Так писал Ленин в 1906 году, когда это слово висело в воздухе и получало уже всякие специальные применения. Ленин страстно восстанавливает прямое значение слова.

В 1919 году такое же страстное «выяснение отношений» с Горьким:

— Ни тени указаний на расхождение в политике или в идеях нет. Расхождение *настроений* между людьми, ведущими политику или поглощенными борьбой самого бешеного свойства, и настроениями человека, искусственно загнавшего себя в такое положение, что наблюдать новой жизни нельзя, а впечатления гниения большущей столицы буржуазии одолевают. (Письмо 31/VII 1919 г.)

И еще резче о настроениях и — о «системе» в письме к Ю. Лутовинову, вожаку «рабочей оппозиции»:

— 30.V.1921

Т. Лутовинов!

Прочел Ваше письмо от 20.V и нахожусь под очень грустным впечатлением. Ожидал я, что в Берлине [Ю. Лутовинов был направлен на работу в Берлин в ка-

честве замторгпреда РСФСР в Германии], отдохнув немного, поправившись от болезни, посмотрев «со стороны» (со стороны виднее) и подумав, Вы придете к ясным и точным выводам. Здесь у Вас было видно «настроение» недовольства. Настроение — нечто почти слепое, бессознательное, непродуманное. Ну, вот, думаю, вместо настроения будут теперь ясные и точные выводы...

Грустное впечатление от Вашего письма потому, что нет ни ясности, ни точности, а опять темное настроение и в придачу «сильные слова».

Нельзя так.

...По старой дружбе скажу: нервы надо полечить. Тогда явится рассуждение, а не настроение.

С товарищ. приветом Ленин. (Опубл. в «Известиях» 18/XII 1959 г.)

И вот другое настроение в те же годы:

— *Тонкой, высокой стрункой звенит настроение:* острота новизны смывает серую скуку нудной езды. (Фурманов, «Чапаев»)

Это в самом начале книги о героическом походе. Настроение стало прозрачным, звонким, романтическим и очень трезвым одновременно словом.

Есть, конечно, и открытая полемичность в этих словах фурмановского героя. Он очень хорошо знает, что «настроение» — это принадлежность «размагниченных интеллигентов», хотя бы даже и пролетариев по происхождению (см. выше — Лутовинов). Но Фурманов, а после него особенно охотно Фадеев, поднимает это сомнительное и подозрительное слово.

В газетной и журнальной и в живой речи «настроения» почти всегда «сырые», «гнилые», «упадочнические» и т. д. Нет времени их «изживать» — по ним надо ударять, крепко ударять.

Кравков, начальник строительства, пишет жене:

— Трудно с людьми... У меня [то есть в его хозяйстве, у «его» людей] были плохие настроения, я подавил их. (Н. Никитин, «Поговорим о звездах», 2—2)

— Он борется с такими «сырыми настроениями»... Райком не пройдет мимо таких настроений. (А. Колосов, «Большая сила»)

И т. д. и т. д.

Можно даже не добавлять к «настроениям» каких-либо эпитетов, известно, какие бывают настроения.

Это уже обычное, нормальное недосказывание. Только чужой не поймет.

Сплошное настроенчество.

И вот недавно в «Литературной газете» был напечатан фельетон С. Жураховича «Никаких настроений»:

— Это происходило много лет назад. Я был избран тогда редактором стенной газеты, чем весьма гордился... Однажды Толя сказал мне:

— Надо объявить войну настроениям. Всяким.

Я довольно неуверенно возразил:

— Как это всяким? Ведь бывают, Толя, и хорошие настроения...

— Помни, — решительно сказал он, — помни, что член профсоюза, а тем более комсомолец, должен самоотверженно работать, быть активным, сознательным и организованным.

Все остальное — отсечь.

В переломную эпоху настроения никому не нужны. Скажем прямо, не наше это дело. Гнилая интеллигентщина... Старый быт. Бороться — и все.

И мы начали бороться... Мы рассчитывали в один месяц покончить со всеми настроениями.

...Однако общую картину нам изрядно портила Люда. Эта чудесная Люда никак не могла, а главное — не хотела совладать со своими настроениями.

То, бывало, она без всякой, казалось нам, причины захохочет. «Что такое, Люда?» — «У меня такое настроение». — «Какое?» — «Распрекрасное». То она задумается и улыбнется своим мыслям. То вздохнет, взгрустнеет. «Что такое, Люда?» — «У меня такое настроение». — «Какое?» — «Кислое, как ваши физиономии».

Люда влюбилась в Толю. Через полгода они поженились.

Затем автор фельетона пишет:

— ...Дорогие читатели! Простите нам грехи молодости. Были мы с Толей уж больно зелены-молоды и, откровенно говоря, не шибко грамотны...

О т с ю д а (как очень любили говорить в те годы) и эта борьба с настроениями.

Но и в наше время, продолжает С. Журахович, встречаются еще иногда Неулыбающиеся.

...Мой новый рассказ оказался на обширном столе у Неулыбающегося.

— Прочел, прочел, — сказал он. —... Знаете, в вашем рассказе есть настроение... Да, настроение! — холодно повторил он. — А что это значит?

[Рука Неулыбающегося потянулась к словарям. Как объясняется данное явление в БСЭ, в 29-м томе на букву Н? Затем надо посмотреть следующие тома: а вдруг есть поправки или даже опровержения к статье 29-го тома?]

Не из того, что он прочел, а по суровому тону Неулыбающегося стало ясно: отсечь! Не наше это дело — настроения. («ЛГ», 28/VI 1960 г.)

В конце фельетона автор признается, что этого Неулыбающегося он, в отличие от Толи и Люды, которые действительно существовали, выдумал. То есть, может быть, такие и существуют, но не могут и не должны существовать в наше время. А раз так, то, значит, их нет.

Я привел почти целиком этот славный фельетон, потому что он дает довольно точное представление об истории этого слова в нашу эпоху.

Но в этой книге стоит, пожалуй, особо отметить еще одно обстоятельство: очень важно, чтобы и в словарях давались умные, широкие, открывающие все *возможности слова* определения.

## УПРАЖНЯТЬСЯ

Радищев писал в «Путешествии»:

— Трудитеся телом: страсти ваши не столь сильное будут иметь волнение; трудитеся сердцем, упражняяся в мягкосердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся к благому концу. Трудитеся разумом, упражняяся в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий, и разум управлять будет вашей волею и страстьми. («Крестьцы»)

Он дал новое применение слову «упражняться».

Это слово тогда было почти служебным; оно само по себе почти ничего не означало — все решало дополнение.

— Чужестранец. Но в чем изволите упражняться?

Россиянин. Напрасно спрашиваете, г. м.: всегда

не весьма в важном; а теперь уже в самой мелочи состоит моя работа. (Тредиаковский, «Разговор»)

— Вот мои упражнения душевные: руками упражняюсь... в очищении сада моего, в обозрении хозяйства, в построении нового домика, словом, во всех сельских приятных и, можно сказать, покойных трудах... (Капнист — Державину, 1786)

— Подьячий, кравший довольно изрядно, но желая еще больше подвостриться в том доходном ремесле, упражнялся обыкновенно сим способом: крал собственные перья... в присутствии своей жены и семейства, стараясь, чтобы никто того не заметил... (Анекдот из «Письмовника» Курганова)

Н. Новиков писал о Попове Никите:

— ...Также упражнялся и в сочинении календарей, или месяцесловов и др. («Опыт исторического словаря»)

Всюду «упражняться» как бы проглатывается, оно само по себе не действует, уже утратило даже глагольность; особенно наглядно это у Н. Новикова: «упражнялся в *сочинении»,* где ударение на отглагольном существительном «сочинение».

У Радищева и само «упражнение» стало из служебного очень действенным, работающим словом, и впервые вступило оно в связь с очень важными понятиями: упражняться в мягкосердии, чувствительности, разыскании истины. Круто спрямлен весь строй фразы. Такой ход развертывания был очень обычен в старой речи, но в начале XIX века он уже был *опять* нов и необычен.

Академики считали, что Радищев не знал русского языка. А Пушкин называл его «нововводителем в душе», слог же «Путешествия» Пушкин называл «варварским», но, можно думать, не в осуждение. Вспомним еще раз пушкинские слова: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности». «Варварский» было во всяком случае прямой противоположностью жеманству и утонченности.

У Лермонтова («Вадим»):

— [Эти нищие]... созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих.

«Упражнять» получило особого рода, несомненно ироническую переходность. Не упражняться в чем-либо,

хотя бы и в чувствительности, а упражнять прохожих в добрых чувствах, чтобы они подали милостыню.

Но такое применение затем уже почти не встречается.

Толкование Даля:

— Упражнять кого, чем и в чем, давать дело, занятие, заставлять работать; приучать к делу, давать навык, занимать для навыка, обученья.

А примеры только такие:

— *Упражнять детей в плавании, в верховой езде, в языках; упражнять гимнастикой, переводами (!). Чем, в чем вы теперь упражняетесь? Что изучаете, или чем занимаетесь?*

Это русские «экзерсисы», или тренировка, как сказали бы мы теперь. А радищевское и лермонтовское применение совсем не встречается, по Далю, в живом языке.

И в Словаре ИАН 1847—1867 годов очень характерное:

— Упражнять детей переводами...

Тоже экзерсисы. И опять переводы...

Из других примеров отметим:

— *Землемеры доставляют ведомости о упражнениях своих в полевой работе.* (Свод законов, X)

«Упражняться» становится словом казенным, бюрократическим по своему смыслу, «служительным» и служебным по своему значению во фразе.

Бунин записывает речь ловчего, который тем и замечателен, что в конце XIX века, в эпоху оскудения дворянства, говорит архаическим, книжным, дворянским и очень своеобразным к тому же языком:

— Вчерась не спал, *упражнен будучи с самой ужины воображением насчет наших охот...*

— Конечно, легче *в безделицах упражняться,* нежели в делах изрядных. («Ловчий»)

Он верен прошлому и даже *языку* своих былых господ.

В 1930 году Леонид Мартынов в книге (проза) о новой деревне в годы великого перелома вспоминает о прошлом этих же сибирских мест:

— Хлеб [в Сибири] поднимали вверх по реке, «идучи в лямках, *упражняясь в том все лето и осень*»... («Грубый корм»)

Так некогда упражнялись.

И в эти же годы А. Макаренко возрождает радищевское применение этого слова по самому важному случаю из возможных:

— *Цель воспитания — упражнение в жизни...*

Это — целая философская программа.

— Та жизнь, которая утвердилась в Советской стране, — писал по этому поводу В. Ермилов, — позволяет детям «упражняться» в ней. Сама действительность стала, если можно так выразиться, педагогической — в широком смысле слова, то есть дружественной человеку и человечности, воспитывающей человеческое, а не звериное в людях. («ЛГ», 2/IV 1949 г.)

И выражено это было у Макаренко круто, по-новому (и очень старому), с необычайно характерным прямлением: опущены многие служебные, вспомогательные слова, целые звенья логической цепи. Они лишние: все понимают, в какой жизни стоит упражняться.

Но почти тогда же в той же «Литературной газете», которую редактировал тот же В. Ермилов, и по поводу этого же «упражнения в жизни» произошло необычайно характерное, можно сказать — трогательное недоразумение!

Драматург Н. Н. Шаповаленко написал историческую пьесу, в которой Радищев говорил его же только что приводившимися выше словами: «главное — приучить с малолетства трудиться телом, сердцем, разумом».

«Литературная газета» привела это место и после «телом» поставила в скобках вопросительный и восклицательный знаки: «трудиться телом (?!)». Можно ли, дескать, так выражаться! И затем написала по этому именно поводу: «плохой, невыразительный, а часто и просто малограмотный язык».

Точно так говорили о языке Радищева, об «упражняться в разыскании истины» и о «трудиться телом», архаисты во времена Радищева.

Это был конфуз, и «Литературная газета» потом оправдывалась, как могла.

— Н. Шаповаленко, — писала она, — использовал не какое-либо законченное выражение, а лишь отдельные слова, соединив их весьма неудачно и придав им совсем не тот смысл, в каком они были употреблены Радищевым...

И далее следовали уже приводившиеся нами слова из главы «Крестьцы».

Но разъяснения «Литературной газеты» были совершенно неосновательны. «Трудиться телом, сердцем, разумом» — это не отдельные слова, а вполне законченное выражение, и вся его прелесть именно в этой необычайной и крутой законченности, в этом прямлении, в этом поистине кипении вперед. Так и формулу А. Макаренко пришлось бы назвать малограмотной или еще как-нибудь!

Но именно такие необычайно прямые обороты чрезвычайно характерны для нашей новой речи, и они прямо продолжают и развивают замечательную старую, радищевскую традицию.

«Упражняться в жизни» Макаренко — классическая формула такого нового развертывания важной мысли.

## ОБОЛВАНИВАТЬ

Болван — поразительное слово.

— Збися Див, кличет връху древа: велит послушати земли незнаеме — Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тьмутороканьский болван. («Слово...»)

— На Таманском полуострове, близ Тмуторокани, еще в XVIII веке стояли две огромные статуи, воздвигнутые божествам Санергу и Астарте. Другое объяснение — пограничный столб или камень. (Комментарий академика Н. Гудзия)

Истукан, идол или пограничный столб — в том или другом случае это нечто едва обработанное, неотесанное, но очень важное. Можно было не придавать ему законченную форму, потому что значение его вообще условное: он представляет божество или государственную границу.

Среди великого множества народных поговорок о «болване» есть одна, которая выражает этот основной признак наиболее полно и ярко: *«С именем — Иван, а без имени — болван»*. Все дело в имени.

В литературных применениях этого слова выдвигаются и противопоставляются оба признака: неотесанность, необразованность и условность важного значения того или иного «болвана».

В «Живописце» Новикова:

— Ох, как ты славен, бесподобный болванчик!

«Болванчик» было тогда словом светского жаргона и означало: возлюбленный или возлюбленная. Но хорошо слышен и первоначальный смысл этого слова.

Это об императоре Павле. Болванчик, но бесподобный — с огромными политическими и даже всемирно-политическими претензиями (великий магистр Мальтийского ордена и т. д.).

А император Николай всех его «не понимавших» и вообще весь народ считал, по-видимому вполне искренне, «болванами» и очень любил это слово. Известный анекдот гласит, что, встретив однажды на улице какого-то мастерового, Николай его спросил: «Хочешь на военную службу, болван?» — «Нет», — ответил мастеровой. «Болван!» — сказал Николай и, глубоко оскорбленный, пошел дальше, повторяя про себя все то же слово: «Болван!»

И вот у Полежаева о самом императоре Николае:

Ай, ахти! Ох, ура!
Православный наш царь.
Ты болван наших рук.
Мы склеили тебя
И на тысячи штук
Разобьем, не любя.

(«Ой, ахти...»)

Это революционное развитие все той же, поистине гениальной народной поговорки: «С именем — Иван, а без имени — болван». Или еще точнее: «Крестил его поп Иваном, а люди прозвали болваном».

Издавна «болван» означает также деревянную, картонную или иную форму, колодку для обделки и расправления чего-либо (Даль).

— По лицам все на один болван. Словно бы из одной плашки тесаны... (У А. Югова в «Александре Невском», по многим древним литературным образцам)

Одно и то же слово означает нечто бесформенное — и приспособление для создания формы. При помощи «болвана» создается форма, тоже условная, но более законченная, точнее отражающая формы действительности.

Это «раздвоение единого», необычайно наглядное диалектическое развитие слова-понятия.

В литературной полемике:

Телец, упитанный у нас,
О, ты, болван болванов!
Хвала тебе, хвала сто раз,
Раздутый Карабанов!

(К. Батюшков, «Певец в «Беседе любителей российского слова»)

Образец, эталон болвана:

— В хитро скованном фраке с принадлежностями, который шьется не по скверной какой-нибудь талии, а *по изящным формам болвана.* (Вельтман, «Приключения, почерпнутые из моря житейского», 2—2)

Очень рано образуется на этой основе замечательный глагол «оболванивать», то есть обтесывать, придавать хорошую или по крайней мере общепринятую форму.

Он получает важные общественно-политические применения. Когда гр. Канкрин, министр финансов при Николае I, приступил к проведению денежной реформы — замены ассигнаций кредитными билетами, он пригласил к себе петербургского фабриканта и городского голову В. Т. Жукова и сказал ему:

— Вы, батюшка, только немножко ополфанить этот вопрос, а выстругать его пудет немецкий мастер.

— Оболванить, почему и не оболванить, — отвечал Жуков, — только будет ли это, ваше сиятельство, хорошо для вас? (Мартьянов, «Дела и люди века», 1—300)

Канкрин плохо знал по-русски и даже этим кичился. Но этот глагол он применил весьма удачно и, можно сказать, по-новаторски: оболванить вопрос, провести предварительную его обработку, а уж он потом проработает его, как сказали бы мы теперь, до конца. Похоже на то, что Канкрин вводил новый процедурный термин: оболванить вопрос.

Этот глагол прекрасно играет в огромных обобщениях Герцена.

— Наполеон... хотел браками сблизить дворянство пороха со старым дворянством, он хотел *оболванить своих Скалозубов женами...* (Герцен, «БиД»)

— *Когда вас оболванишь и сделаешь похожими на людей?* (Герцен, «Кто виноват?»)

Долгое время «оболванивание» идет в одном ряду с такими высокими понятиями, как «искусство», «культура», «образование», «цивилизация». Искусство начинается с «оболванивания» куса, материала, обнаружения в нем формы. Так и «образование», «культура» означают раньше всего обработку, оболванивание.

— Для «Живых мощей» я воспользовался уцелевшим наброском и оболванил его... (Тургенев — Анненкову)

В купеческой и мещанской среде это важное слово опускается, приобретает будто такой же, но мелкий, дешевый и невольно пародийный смысл.

Аграфена Кондратьевна Большова говорит Липочке о своем муже:

— Ведь и тятенька твой не оболваненный какой, и борода-то тоже не обшарканная, да целуешь же ты его как-нибудь... («Свои люди...»)

Необолваненные люди уже не импонируют Липочке, но и сама Аграфена Кондратьевна как бы извиняется за то, что Большов не оболваненный. А Подхалюзин с Липочкой считают себя даже вправе обобрать и выбросить на улицу отца, потому что он необолваненный, то есть отсталый и несовременный.

— Приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить... (Бунин, «Суходол»)

Дискредитировано большое слово «оболванить». Другие слова воплощают более точно и определительно понятие образованности, обработки, культуры. «Оболванивать» уступает свое прежнее место в языке и потому (и не в последнюю очередь!), что слишком хорошо слышен в нем звонкий и наглый корень, а приставка «о» недостаточно его обламывает, оболванивает.

И довольно естественно, что «оболванивать» стало применяться чаще в смысле, который, собственно, прямо противоположен его первоначальному и очень важному смыслу: «оболванивать» означает уже чаще всего сделать *опять* болваном, *снять форму,* «раздеть».

Расплюев говорит с восторгом:

— Вот объехал, так объехал; оболванил человека на веки вечные... человека?.. нет, ростовщика оболванил... («Свадьба Кречинского», 3—1)

У Расплюева, однако, здесь еще *оба* значения приведены в движение: оставил ростовщика в дураках, но и привел его в христианский вид.

А в языке нашей печати, как и в разговорной речи, слышно чаще всего только одно, «прямое» значение «оболванивать»: делать болваном.

Это «оболванивание» стало совершенно необходимым, когда Гитлер начал превращать в болванов целое поколение немецкой молодежи.

Оно получило новые, но такие же и вполне обоснованные применения после войны с Гитлером:

— Через «комиксы», — писала недавно «Правда», — низкопробные кинофильмы, телевидение, через свои «культурные центры»... оккупационные власти оболванивают и морально растлевают молодежь.

В первоначальном своем значении эта группа слов встречается сравнительно редко в нашей литературе.

У Тренева:

— Отец Мефодий всмотрелся, сделав ладонью козырек над застланными слезой глазами, и беспомощно заметил: болванеет кто-то под зорю, а кто — без очков не того... («Самсон Глечик»).

Болванеет — неясно вырисовывается, — точно и естественно в устах весьма начитанного в древней литературе о. Мефодия. Но ведь он сознательно говорит архаизмами, цитатами!

В рассказах о прошлом:

— Обучаете? — спросил Клим.

Солдат, взглянув на него через газету, ответил вполголоса и неохотно:

— Да вот... оболваниваю. Однако в месяц человека солдатом не сделаешь. (Горький, «Клим Самгин», IV)

— Уж коли Шурку Пахомова оболванили под гребенку, — значит, система продуманная. (Л. Соболев, «Капитальный ремонт», 2)

В чудесной записи Б. Шергина о том, как «не прошел» у поморских «жонок» великий князь Сергей Александрович, брат Александра Третьего:

— Пойдемте, жонки, домой! Какой это князь, слова вежливо не умеет оболванить! («У песенных рек»)

Так это предание сказывается и сейчас. В стране замечательных мастеров, костерезов и резчиков по дереву и не в последнюю очередь речетовцев великий князь

провалился уже потому, что не умел слово вежливо «оболванить».

Эти слова прекрасно действуют, ощущаются как совершенно необходимые в профессиональной речи мастеров Урала.

— Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря... (П. Бажов, «Малахитовая шкатулка»)

На этой основе в применении к *человеческому* материалу:

— Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали. (Там же)

Хорошо слышно и второе значение слова в его лукавой игре с первым.

Но в разговорной речи «оболванивать» чаще всего имеет только один смысл.

Можно пожалеть о том, что «оболванить» в своем первоначальном, необыкновенно ярком по своей диалектичности и художественности значении почти совсем ушло из современного языка.

## ЗВУЧАНИЕ

В старых словарях «звучание» значилось как возможное, но почти совсем неизвестное в живой речи слово. У Даля:

— Звучание, ср. рода, составн. по гл.; звуковой, ко звуку относящ.

Так и в Словаре ИАН 1847—1867 годов.

У «Толля» совсем нет «звучания».

В «Словаре ИАН» (1905) главный пример применения этого слова:

— Смычком приводит колокол в звучанье. (И. Слугинов, «Акустика»)

В последние десятилетия перед Революцией «звучание» довольно широко применялось в литературе символизма — именно потому, что это было слово специальное и малоупотребительное, только возможное, книжное и «свежее».

Особенно привлекал в этом слове затягивающий и поющий суффикс: *-ание.* Слова на -ание играли огромную роль в литературной технике этих писателей (особенно у Бальмонта). И «звучание», непременно без уточнений

и серьезных дополнений, участвует во всех самых эффектных оркестровках. Все дело в звучании, созвучиях и отзвучиях.

Затем — Революция, «путаница» первых месяцев и лет Революции, шум, как «все это» представлялось многим поэтам старшего поколения. В этой «путанице» они пытаются сохранить верность себе и раньше всего не дать себя сбить новым звучаниям, которые носятся повсюду.

В. Пяст:

И тотчас за столом в заветную тетрадь
как любо *должное звучанье избирать*
*из тысячи других, носящихся повсюду.*

(«Август»)

Осип Мандельштам:

...И подумал: зачем будить
*Удлиненных звучаний рой,*
*В этой вечной склоке ловить*
*Эолийский чудесный строй.*

...(«Я по лесенке приставной»)

После Октября «звучание» — важнейшее слово, которое получает самые разнообразные применения и вступает в небывалые сочетания и связи.

Но оно раньше всего имеет теперь новую техническую базу.

Я уже говорил о радио и вещании. «С точки зрения уха» — так называлась постоянная рубрика в одном из наших ранних радиожурналов («Говорит Москва»).

Эта новая точка зрения стала естественной и обязательной с тех пор, как заговорило радио. Это означало необычайно возросшую чувствительность к звучанию слова, к оркестровке литературного произведения.

Некогда Державин, большой мастер звукописи, говорил:

— Одета ли каждая мысль, каждое чувство, каждое слово им приличным тоном?.. Поэзия должна быть согласна с музыкой в своих чувствах, в своих картинах и, наконец, в подражании природе... (VII, 541)

Теперь каждый уже мог проверить, прилично ли одеты мысль и чувство.

— Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию. Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило всему миру... (Маяковский, «Расширение словесной базы»)

— Игра словом во всей его звукальности. (Маяковский о В. Каменском — «Наша словесная работа»)

Широкое развитие получает ритмизованная проза.

Луначарский горячо поощрял всевозможные оратории и сам давал литературные концерты. Такими концертами бывали часто его собственные ораторские выступления и его знаменитые в свое время «вступительные слова».

В журнале «Театр и музыка» (1922), в фельетоне Деля, говорилось:

Свел гостя в ГВЫТМ,
где — знает мир —
метроритмирован Островский,
механизирован Шекспир...

(ГВЫТМ — Государственные высшие театральные мастерские; вопиющее по своей какофоничности и поэтому с особым удовольствием утверждаемое «сокращение».)

Фельтон Деля — довольно обычная в то время «надсмешка» над новым, плохим или хорошим. Но это также кое-какое отражение подлинных фактов.

В эти же годы впервые становится настоящим, большим и «самым важным» искусством кино.

Толстой писал о «живых картинах»:

— Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал *особую значительность зрелищу* (*как музыка при живых картинах*). («ВиМ», 3—2—30)

Теперь живые картины совершенно нового рода, кино приносит совершенно новое понятие звукообраза.

Связь звука со зрительным образом — это, конечно, особая и увлекательнейшая тема, тема большой книги, которая еще не написана. Здесь отметим только, что кино принесло с собой новое видение звука, новый звукообраз на своей новой технической основе.

Звукообраз составлял душу этого искусства и тогда, когда оно было еще немым, когда в зале звучал только более или менее созвучный, а еще лучше — совершенно диссонирующий аккомпанемент.

С. Эйзенштейн с огромной настойчивостью утверждал звукозрительность кино (еще немого!).

— *Звукозрительный контрапункт,* — писал Эйзенштейн, — наиболее увлекающая меня тема.

Монтаж аттракционов — так он называл свой основной метод. Аттракционы фактически означали у него то или иное «озвучение» (еще не техническое, конечно) зрительного образа, озвучение без звука. Искусство монтажа создавало это сочетание или этот спор зрительных и звуковых образов.

Вот характерный в этом отношении отрывок из комментария С. Эйзенштейна к сценарию «Ферганская долина»:

— ...Где ж и когда мне приходилось решать проблему волшебства в монтажном листе, вторящем литературному образу?

Есть! Вспомнил... В ГИК полтора-два года назад я корректировал где-то нечуткое (!) переложение отрывка из «Евгения Онегина» в монтажно-съемочный лист. Вот этот отрывок:

Театр уж полон; ложи блещут,
Партер и кресла, все кипит.
В райке нетерпеливо плещут.
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина! Она...

Оставим сейчас в стороне начало, тоже полное необычайно любопытных элементов монтажно-зрительного письма, обратимся сразу же к основному — к «подаче» Истоминой.

Разбивка на монтажные куски здесь совершенно очевидна:

1. Блистательна.
2. Полувоздушна.
3. Смычку волшебному послушна.

4. Толпою нимф окружена.
5. Стоит Истомина.
6. Она.
7. И т. д.

Обратим внимание на то, как замечательно слогами задан «метраж», то есть последовательная длина отдельных кусков. Считая стих за метражную единицу, имеем №№ 1 и 2 длиною в пол-единицы, №№ 3 и 4 — в целую, № 5 — в две трети, № 6 — в треть плюс к этому обязательная пауза — пауза как бы застывших в восторге перед Истоминой зрителей. Границ анализу здесь нет! («Искусство кино», 1939, № 13)

Не случайно С. Эйзенштейну вспомнилось нечуткое переложение именно этого отрывка из «Евгения Онегина»: звукозрительность особенно наглядна в балете.

В. Городинский писал в «Правде» по поводу возобновления балета «Дон-Кихот»:

— Почему же в таком случае «Дон-Кихот» выдержал почти семидесятилетнее испытание временем? Очевидно, потому, что танцевальное искусство и мастерство балетмейстера способны... даже чисто музыкальные ощущения переключить в область ощущений зрительных. Получается своего рода зримая музыка, своеобразная и очаровательная в приобретенных ею новых качествах. (11/II 1940 г.)

Эти звукозрительные образы входят не только в специальную, но и в общую и даже обиходную речь.

Со «звучанием» связаны необычайные превращения слов «чуткий» и «чуткость»: распознать, расслышать, как звучит.

Мы говорим и пишем о четком или нечетком звучании того-то и того-то; четкость, связанная со зрительными восприятиями, получает широчайшее применение во всех областях, всюду, где надо «условиться поопределительнее» — даже условиться в деловом, юридическом смысле. Еще в древних юридических актах читаем:

— А заросли и дубровы *описал глухо-пополам.* («Акты Юридические» XV века).

— *Написано глухо* про долг про Тимохина... («Русско-Литовские акты») и т. д.

Недостаточно четко, как сказали бы мы теперь.

Четкое и нечеткое звучание, тема огромного звучания, «металлическое звучание»...

— Недавно расслабленный, голос ее приобрел почти металлическое звучание, когда она, лихо сбив на сторону помятый головной платок, заговорила. (Шолохов, «Поднятая целина», 2)

— Этот точный, спокойного рисунка рот теперь с силой бросал слова металлического звучания... (В. Герасимова, «Жалость»)

«Металлическое звучание» — единственно подобающее «пьедестальным» людям в голосе и во всем поведении.

Это слово «звучание» становилось уже штампом.

— Чунихин любит говорить: «Экономическое звучание!» Вот мы сидим с ним у правления и говорим об этом самом звучании... (П. Павленко, «Очерки об укреплении колхозов», «Правда», 25/IX 1951 г.).

Для Чунихина это были еще, по-видимому, восторги первого обладания новыми для него учеными словами. Но П. Павленко в 1951 году уже довольно иронически говорит об этом самом звучании.

В пьесе А. Володина «Фабричная девчонка»:

— Бибичев. Также ни для кого не секрет, что этот факт попал на страницы «Комсомольской правды», получил, так сказать...

Женька. Международное звучание.

Одно из готовых клише таких бюрократов, как Бибичев. Женька иронически заканчивает за него его фразу его штампами.

Звучание, звучание... И вот у Шолохова в седьмой части «Тихого Дона»:

— Потом стрельба перемежилась, а мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании...

Шолохов в необычайно прозрачной фразе свободно вышел к звучанию, да еще сокровенному. И слова эти, наперекор всевозможным газетным, уже почти штампованным звучаниям и еще недавнему символическому «тоже» сокровенному звучанию, получили точный, серьезный и очень широкий смысл. Открывать мир в его

сокровенном звучании — это и есть, собственно, единственная задача настоящего искусства.

Эта фраза Шолохова, отметим попутно, очень напоминает по всему своему строю и смыслу другую, пришвинскую, которая привела в восторг Горького:

— и когда я стал — мир пошел!

Ср. у Шолохова: «потом стрельба перемежилась, а мир открылся...»

— Это так хорошо, — писал тогда Горький Пришвину, — что хочется кричать: ура! вот оно русское искусство. И верно это, верно! Ах, Вы, чорт великолепнейший!..

Несколько лет назад вышел сборник переводов на современный русский язык «Слова о полку Игореве». В предисловии к этому сборнику Н. Гудзий и П. Скосырев писали:

— Перевод с языка в его раннем звучании на тот же язык, но ушедший далеко в своем развитии от языка подлинника.

Это было очень точное определение задачи при помощи нового драгоценного слова-понятия «звучание». Речь идет именно о том, как должно звучать «Слово» сегодня, на нашем языке.

И одновременно это было уже полемическое утверждение важного слова «звучание», которое еще недавно применяли поистине всуе. Вот когда надо говорить о звучании!

## ЗАБВЕНИЕ ЧЕГО...

По самому своему смыслу это слово не могло и не должно было иметь переходной формы: «забвение» раньше всего разрывает все связи, отношения и направления. И если почему-либо «забвение» само собой не приходит, то «предать забвению».

То, что «некогда было приказано предать забвению...», — писал И. Дмитриев Пушкину в 1835 году по поводу его «Истории Пугачева».

Термин уголовного и особенно административного права.

В поэтическом языке «забвение» сближалось с французским «abandon» и еще чаще — с почти однозвучным

библейским, древнееврейским «аввадон», «аббадона», которое играло такую важную роль в поэзии и самой поэтике наших романтиков; это первое по порядку слово (абб.) во многих словарях. Оно сближалось и с резиньяцией.

Роковое и безнадежное слово-понятие, но одновременно и программа определенной поэтической школы, «забвение» затем, в литературно-политической полемике, страстно возвышается и унижается.

— *Забвение света,* о котором так часто говорят мизантропы, есть только одно слово, без всякого истинного значения. (Карамзин, 7—323)

У светских «мизантропов» это словечко, почти жаргонное. Другое дело — «забвение» для истинных поэтов.

Строчка Вяземского: «Может быть, и совсем поглотила бы его бездна забвения» — и заметка Пушкина на полях против этой строчки: «И совсем бы его забыли» (проще и лучше).

«Забвение» у самого Пушкина:

К родимым киевским полям
В забвеньи сердца улетает...

(«Руслан и Людмила»)

Как во всей этой поэме, и в этих строчках есть и зависимость от традиции и спор с ней: высокое забвение сердца идет за прозрачными и очень конкретными словами — родимым киевским полям.

Минутное забвенье горьких мук...

(«19 октября 1825 г.»)

Минутное — этот эпитет взрывает забвение в его обычном тогда поэтическом смысле.

У Лермонтова в «Демоне»:

Забыть! — Забвенья не дал бог,
Да он и не взял бы забвенья!

С этого начинается бунт против бога и его мира: демон отвергает забвенье. «Забвенье» без каких-либо до-

полнений, но идет оно после «забыть» — отглагольное существительное не оторвалось от своего глагола.

У Белинского «аббадона», «пропасть забвенья» и пр. — главный его противник в той самой статье, в которой он провозглашает действительность паролем и лозунгом нового века. «Аббадона» Н. Полевого, написанная по образцу слезливого немецкого романа, становится для Белинского синонимом праздной мечтательности, прекраснодушия, идеального штюкмахерства, по его выражению. Аббадона, забвение или — действительность! Белинский преследует, можно сказать — травит, «аббадону» во многих своих статьях!

«Забвение» перешло уже к какой-нибудь Устиньке из комедии Островского «Праздничный сон до обеда». А. Григорьев, как и Белинский, каждый со своих позиций, издевается над ее «жабвением чувств».

В сатире «Искры» в 60-е годы «забвение» и даже «жабвение» не «аббадона», а именно один из главных объектов осмеяния и травли. Что, собственно, оно значит практически, что оно прикрывает?

Так мы погрузимся в океан забвенья,
Завтра ж — пусть приступят к описи именья...

(Курочкин, «Веселые разговоры», 1866)

Унынью богача забвенье он дает.

(Курочкин, «Поэт и волшебник»)

И другое «забвенье»:

Мне эти цепи не чужды;
Спасибо им — в дни увлеченья
Я вырвал из когтей нужды
Минуты счастья и забвенья.

(Курочкин, «Из Беранже»)

Еще точнее:

Чтоб чарка водки в воскресенье —
Труда тяжелого забвенье —
Была у бедных мужиков...

(Курочкин, «Сон на новый год», 1859)

Одинокое, принципиально непереходное, *абсолютное* некогда (и по идее и по форме) «забвение» получает очень реальные связи и соответственно этому также и грамматическую переходность.

— И разве чай ему был забвением, единственным забвением от невыносимо тяжелой жизни, исполненной обид и лишений? (Чернышевский, «Вредная добродетель»)

*Забвение от...*

«Забвение» все более уточняется.

— Флор Федулыч Прибытков. Вам-то, при вашей красоте, в забвении-с быть невозможно-с. (Островский, «Последняя жертва»)

Забвение со словом-ериком «с»; оно очень вежливо участвует в чрезвычайно трезвом, собственно говоря, рассуждении: забвение, то есть незаметная и не блестящая жизнь, — удел заурядных, пошлых и бедных людей, а не таких, как Юлия Тугина.

— И боже мой, чего тут только не было! И благое поспешение, и забвение всех дел, и преданность земскому делу, и претерпенные в разъездах труды. (С. Каронин-Петропавловский, «Безгласный» — крестьянский «депутат» в земском правлении, см. выше)

Это замечательная по своему языковому драматизму тирада!

«Забвение» поставлено в один иронический ряд со многими другими лицемерными ходовыми словечками из лексикона либеральных земцев — «благое поспешение», «преданность земскому делу». Но после «забвения» идет такое «уточнение», которое окончательно его губит.

Щедрин в полемике с Достоевским:

— Слог, которым написаны эти сочинения, может быть назван высоким, по временам *впадающим в «забвение чувства»*.

«Забвение» получило прикрепление; уже известно, чье это слово. Но теперь только и начинается самая драматическая эпоха в истории этого слова.

У Блока в одном из его ранних стихотворений:

Сердце — легкая птица забвений
В золотой пролетающий час...

(«В бесконечной дали коридоров...»)

Как страшно все! Как дико! — Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.

(«Миры летят. Года летят...» 1912)

Как свинец, черна вода.
В ней забвенье навсегда.

(Старый, старый сон...»)

«Забвение» к тому времени уже совсем жалкое слово, оно принадлежит по преимуществу цыганскому романсу.

В. Булгаков в 1910 году записал слова Льва Толстого:

— цыганское пение хорошо тем, что в нем на слова можно не обращать внимания, — *на все «эния, забвения»* — а только на музыку.

Вот, стало быть, еще одно падшее, «цыганское слово», которое Блок со страшным риском поднимает и возвеличивает. У Блока это же «забвенье» снова слово огромное и *абсолютное,* как аббадона. Но это окончательное и абсолютное слово получает у Блока форму множественного числа («легкая птица забвений»); так и окончательность его раздробляется и расточается: не навсегда и ненадолго придет забвение, одно из забвений.

Блок ищет забвения (именно так!), но он и не взял бы, как его любимый лермонтовский Демон, забвения, легкого забвения. Его манит черная, свинцовая вода, в которой забвение честное, настоящее, в единственном числе, — забвение навсегда.

Эти настроения *постоянно* воюют в душе Блока (даты написания тех или иных стихов не имеют здесь серьезного значения). «Забвение» играет важную роль в душевной драме Блока до Революции и после Революции.

Оно играло важную роль и в близкой ему тогда символистской поэзии.

Безумит постиженье... Пусть же молод
Забвеньем будет ветхий мир — и ложью.

(Вяч. Иванов, сб. «Смерть»)

У Д. Мережковского в программном стихотворении «Поэт»:

Сладок мне венец забвенья темный,
Посреди ликующих глупцов

Я иду, отверженный, бездомный
И бедней последних бедняков...

Это уже опять у Мережковского не забвение, а именно очень старая «аббадона» по всем статьям, но интересно здесь и продолжение темы: разговор о бедняках. Речь идет о бедности человеческой в высшем смысле (ср.: «Адашев усердно исполнял долг христианина, постоянно памятуя бедность человеческую» — у Карамзина). По сравнению с этой неизбывной всечеловеческой бедностью с точки зрения вечности что значит обыкновенная бедность, о которой столько говорят и «шумят» революционеры!

У Л. Андреева в «Жили-были» о больном купце Кошеверове:

— И потом наступили часы долгого и полного забвения.

«Забвение» вместо «забытье». Слово звучит по-деловому, без особого «символизма», но оно, конечно, спорит и с другим, высоким значением слова. Забытье — забвенье, потом забвение навсегда; все забудут Кошеверова навсегда, «все это» вместе называется жизнью и кончается забвением.

У Алексея Толстого в его дореволюционной пьесе «Любовь — книга золотая»:

— Княгиня. Где поэзия, где забвение? Жанетта...

Совершенно как у Вас. Курочкина («Так мы погрузимся в океан забвенья, завтра ж — пусть приступят к описи именья»). Действие происходит в эпоху уже полного оскудения дворянства. Но и здесь есть игра на старинном, еще очень живом смысле и звучании старого слова «забвение».

И другая игра — хлебниковская:

Влюбленнинеющий вселеннич
Над девой русской трепетал,
Вселеннинеющий забвеннич
В ее глазах еще блистал.

(«Война-смерть»)

Косное, непереходное «забвение» образовало как-никак активные формы и заблистало.

После Революции это косное слово живет новой и бурной жизнью.

В 1905 году Ленин писал в статье «О смешении политики с педагогикой»:

— ...доктринёрское забвение насущных передовых политических задач момента... (8—419)

Ср. у Л. Толстого — «О жизни»:

— Забвение ближайших интересов личности.

У Ленина это очень важное, деловое, рабочее слово с непременным переходным значением. Договаривайте, договаривайте! — говорил Ленин. И важнее всего досказать — забвение чего?..

«Забвение» — отглагольное существительное от «забывать» и «забыть»; при таком новом применении этого слова одновременно попирается и разоблачается другое, знаменитое «забвение» (оно уже требует кавычек: так говорили когда-то).

Старое, непереходное значение живет теперь по преимуществу среди обиженных Революцией и на Революцию людей. Всевозможные «уходы» от действительности имеют своим главным мотивом — поиски забвения.

— От этого неожиданного прикосновения сладкое забвение, которое он испытал только что в саду, уже не посетило его. (В. Герасимова, «День, идущий мимо»)

— Как действительно хорошо перемешаться с сырой старой землей и застлаться вечным забвением. (А. Платонов, «Иван Жох», 5)

— И, доедая картофельное пирожное с морковным вареньем в «Канарейке», этом популярном петроградском литературно-художественном клубе 1918 г., актер вполне искренне подхватывал рефрен местного «Гаудеамус»:

Стала жизнь теперь копейка,
и тоска гнетет всех нас.
Веселись-ка, канарейка,
дай забвенье хоть на час!

(У Е. Кузнецова, «Завоевание театра»)

А. Дикий приводил в «Повести о театральной юности» очень характерную выдержку из журнала «Рампа и жизнь» (1918, № 13):

— Какое счастье, что среди этого бурного и мутного потока еще высится такой прекрасный, такой чудесный

Остров Забвения, каким является сейчас Студия Художественного театра! Только б не захлестнуло и его! Только бы не захлестнуло! (М. Линский, «Остров Забвения»)

Тот самый «Остров забвения», или «Остров мертвых», репродукция картины Арнольда Беклина, в белой лакированной раме, который был обязательной принадлежностью приемной каждого модного адвоката и зубного врача и — можно сказать — личным оскорблением для Горького и Маяковского.

А Линский, вероятно, считал, что он выражается очень красиво.

В публицистике «забвение» применяется очень широко (почти как «изживать») — в деловой и непременно переходной форме; слишком широко потому, что, вообще говоря, это плохой, не в духе языка, оборот.

Он имел свой высокий пафос, когда еще явственно боролся с другими применениями этого слова — сентиментальными, лицемерными, «роковыми». Сейчас это слово хорошо живет в поэтической речи только тогда, когда писатель так или иначе возрождает его полемичность, его былую принципиальную непереходность, когда снова спорят многие его значения и соблазны.

У М. Алигер в стихах о войне:

...На земле живет
лишенное иллюзий поколенье, —
пусть память о тебе жестоко души жжет,
оно ее, как порох, сбережет
сухим огнем. Не может быть забвенья.

(«Нет забвенья»)

У К. Паустовского:

— Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни. («Ручьи, где плещется форель»)

Высокий «важный» спор двух «забвений» — в речи поэта того поколения, которое будто бы «лишено иллюзий», и в речи писателя, отъявленного романтика, который в этом случае выражается необычайно *трезво:* непрерывная война научила!

## НЕДО-, НЕДОУМЕНИЕ

Сложная приставка *недо-* играла в истории языка очень важную и, можно сказать, революционную роль. Она обозначает неполное овладение чем-либо, неполное понимание и постижение; но это означает уже, конечно, и недовольство, стремление к большей полноте понимания, к идеалу.

Замечательные *недо-* проходят перед нами в истории литературы как формы общественного сознания.

В народных заговорах не должно быть недоговоров и переговоров. Есть точная мера, которая одна только может умилостивить судьбу, заговорить лихо.

— А на *синем—в недосинь* небе... (ср. у Алексея Югова в его «Александре Невском» — по многим образцам древней поэзии).

Недостаточно синее небо; известно, каким оно может и должно быть синим.

Авраамий Палицын писал казанцам:

— ...хотя буде и есть *недоволы* ради бега, отложите то на время...

Они правы, недоволы, но на все есть свое время.

Державин — «Вопросы и ответы о *недоведомых* вещах»:

Сын время, случая, судьбины
Иль недоведомой причины...

(«На счастье»)

Весьма лукавое «недоведомое». Хорошо ведомо, как было достигнуто счастье («случай») в этом случае. Но это и принципиальное отрицание всякого агностицизма, то есть убеждения, что некоторые — и притом самые важные — вещи и причины навсегда останутся и должны остаться непостижимыми.

*«Недоросль»* — официальный термин, привычное слово. У Фонвизина оно открывает свою выразительнейшую этимологию, оказывается вдруг необыкновенно смешным и становится огромным общественно-политическим обобщением.

Знаменитый *«Недоносок»* Баратынского:

Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок

Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок...
Отбыл он без бытия;
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О, бессмысленная вечность!

*Недосозданная,* вся полная раздора...

(А. Григорьев, «Комета»)

Слова эти Блок берет эпиграфом к третьей своей книге — «Земля в снегу». В самых различных осмыслениях этот мотив недосозданности звучит в творчестве всех больших наших поэтов.

*Недотерпеть — пропасть, перетерпеть — пропасть...*

Так Некрасов определяет основную дилемму, которая стоит перед мужиком.

Эта дилемма — недо- или пере-? — звучит во всей литературе крестьянской революции, во всех недоконченных, по исторической необходимости, беседах Щедрина, его недосказах, которые досказывают новые люди, во всем великом и трагическом, до Революции, народном недосказывании.

В «Карманном словаре...» Кириллова-Петрашевского:

— Высший идеал в языке... это тонкая и верная дагерротипировка мысли во всех ее многообразных изгибах и положениях, столь совершенная и полная, чтобы форма являлась вполне соответствующей содержанию, так, чтобы при виде ее не оставалось никакого недомека в ее содержании...

Это под словом «неология» (то есть неологизм). Только такой неологизм имеет право на существование, который не оставляет недомека, помогает понимать и видеть («при виде ее») до конца. Все та же страстная борьба за определительность!

Но это и целая программа поэтики. Дагерротипировка, то есть фотография или, пожалуй, даже фактография, — однако непременно тонкая и верная и такая, чтобы форма вполне соответствовала содержанию. Борьба за «форму» у этих «нигилистов»! И у них же идеал в языке, для языка как орудия мысли. Целая программа, важная, революционная и совсем не устаревшая.

Ср. еще: чудесная фамилия-характеристика у Тургенева: Недопюскин («Чертопханов и Недопюскин»).

В эпоху Революции эта замечательная приставка, как один из инструментов логического аппарата, чрезвычайно активна. По всему фронту идет борьба с недомыслием, недопониманием важнейших вещей, недоговариванием, недоучетом реальностей, недовыполнением очередных конкретных планов, а раньше всего — с недоделанностью людей.

Это *недо-* применяется и вкривь и вкось в языке бюрократа и мещанина; оно вызывает едва ли не самые яростные «надсмешки» противника и приспособленца; *недо-* получает всевозможные — и лукавые, и криводушные, и просто глупые — применения. Сатира осмеивает эти «применения», то есть людей, которые так применяют великое «недо».

— Недопереварившийся в пролетарском котле Мотька недоусвоил классического наследства...

— Недовывешивание прейскурантов розничных цен на видном месте... (И. Ильф и Е. Петров, «Я, в общем, не писатель»)

— Недорезанные буржуи... — Недогиб... — Недоотмежеваться... — Недорасписаться в гонорарной ведомости и т. д. и т. д.

В «Фельетоне читателя» Б. Игнаткова «Словесная бестолочь» отмечалось:

— Из слова «взнос» получался «недовзнос» (брестская «Заря»), из «полива» — «недополив» и «переполив» («Коммунист Таджикистана»). А газета «За колхозную жизнь» Быстринского района призывала предотвратить «перепромысел» и «недопромысел» ценных зверей. И когда библиотекарь вычитал в газете «Труд», что некий администратор в служебном документе пустил в обиход совсем уже нелепое словечко «недоотдых», он был к этому подготовлен и не очень удивился... («ЛГ», 25/XI 1952 г.)

Вокруг *недо-* идет знакомая борьба передовых людей с теми, кто пытается опошлить и оглупить важный ход мысли.

В ряду слов, образованных при помощи *недо-*, особое значение и весьма интересную историю имеет слово «недоумение».

Оно встречается уже в переводе «Хроники Григория Амартола» (XI век). Это был один из столь важных в истории языка неологизмов переводчика. Он образовал это слово от «недоуметь», то есть уметь не вполне; а «у м е т ь» издавна неразрывно связано с «п о н и м а т ь».

Эта связь понятий ум — уметь — недоумевать очень ярко раскрывается, и по очень серьезному поводу, у Гоголя:

— Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем [Державине] этот гиперболический размах его речи... («В чем же, наконец, сущность русской поэзии?»)

Рано образуется и характернейшая «возвратная» форма — недоуметися, н е д о у м е в а т и с я (от Иоанна, XIII—22).

«Недоумение» и особенно это «недоумеватися» в возвратной форме — основа религиозного мировоззрения. Духовная, церковная или светская мистическая поэзия воспевает на все лады (и в наши дни!) недоумение.

Но не кто иной, как Баратынский, автор «Недоноска», раскрывает и п о л и т и ч е с к и й смысл недоумения:

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней...

(«Смерть»)

Оно вместе с принужденьем — основа всего строя.

«Недоумение» становится политическим эвфемизмом, заменяет многие неудобосказуемые слова:

— Когда произошло известное недоумение о наследстве престола... (П. Долгоруков, «Петербургские очерки»)

— Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, чем к Пушкину-поэту. В сем недоумении... высшее наблюдение признало своей обязанностью и т. д. («Отчет о действиях корпуса жандармов за 1837 год»)

«Недоумение» корпуса жандармов, или «высшего наблюдения», как этот корпус себя неподражаемо именует!

Это слово необычайно характерно снижается и возвышается в авторской речи и в речах героев писателей различного мировоззрения, различных политических и эстетических вкусов.

— Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. (Л. Толстой, «ВиМ», 4—1—16)

— M-lle Bourienne с *недоумевающим удивлением* смотрела на княжну. (Там же, 4—1—6)

У Тургенева:

— Любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избрала, и слушала его и глядела на него с недоумением... Иногда, большей частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас...

Это о княгине Р. в «Отцах и детях».

— Я призывал здешнего Герценштубе; он пожимает плечами и говорит: дивлюсь, недоумеваю. (Достоевский, «Братья Карамазовы»)

Герценштубе, когда он говорит по-русски, и вообще «недоумевает» (недоумеет). Но, по логике героя Достоевского и самого Достоевского, никто и не мог бы, опираясь на свою науку, сказать что-либо путное по этому поводу (исцеление Лизы Хохлаковой старцем Зосимой). Все должны недоумевать — и преклоняться перед могуществом веры.

У Щедрина:

— Даже в *субъекте недоумевающем* пробуждается сознание всей жестокости и бесчеловечности обязательного стояния с разинутым ртом перед глухой стеной...

— Нет в мире ужаснее положения Ювенала, задавшегося темою «бичевать» и *недоумевающего, что ему бичевать,* задавшегося темою «приветствовать» и недоумевающего, что ему приветствовать.

— *Наше время, богатое всякого рода общественными недоумениями...*

Это прямое развитие мысли и даже формы Баратынского — в эзоповском языке. Недоумения заменяют здесь «вопросы» — слово почти нецензурное, а главное, уже затрепанное и испорченное в либеральном разговоре.

Глеб Успенский придает этому слову еще более широкое, поистине окончательное значение:

— Вот... какое *недоумевающее о самом себе существование* и было причиною... («Непорванные связи»)

«И чего живут?» — говорит в другом месте Успенский. Живут и недоумевают: зачем, собственно, они живут? Это и есть причина, или «условье», по Баратынскому, всего, что происходит вокруг с людьми, особенно с людьми из деревни.

У Чехова:

— Вы теперь — ничего, недоумение, эфир. («Упразднили»)

— А ты, Каштанка, — недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник против столяра. («Каштанка»)

Адмирал говорит молодому гардемарину:

— В пехоте ничего умственного нет... А вот *у нас с вами,* молодой человек, нет-с! *Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное... э-э, недоумение...* («Свадьба с генералом»)

Особый язык «специалистов». «Заговор специалистов»...

Это очень смешно, потому что слово большое, много пережившее и хорошо слышно его основное значение в самых несерьезных или самых тривиальных применениях.

— Особенно ясно чувствовалась жестокая и безжалостная работа города, когда безглагольные люди начинали петь свои деревенские песни, влагая в их слова и звуки немотные недоумения и боли свои. (М. Горький, «Хозяин»)

Немотные недоумения — полная смысла горьковская аллитерация. И поют эти песни на свои слова люди с непорванными связями с деревней. Есть в подтексте, как часто у Горького, полемика и с Успенским.

Не то чтобы недоумение осталось только в деревне.

И вопросам
разнедоуменным
нет числа.

(Маяковский, «Хорошо!»)

Но в городе «недоумение» передается теперь главным образом деревне, людям с непорванными связями с деревней. В последнем объяснении Маяковского с Сергеем Есениным:

Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.

(«Сергею Есенину»)

В этом вся трагедия.

Нагульнов говорил Давыдову:

— Давай, Сёма, и я с тобой поеду! А ну, не ровён час, у тебя с бабами неувязка будет на почве религиозного недоумения... (Шолохов, «Поднятая целина»)

Религиозное недоумение — с этого когда-то все началось. И вот опять нависает страшной угрозой недоумение. Точное резюме всего исторического развития этого слова.

В нашу эпоху это некогда высокое, дразнящее слово теряет свою былую привлекательность. Оно становится одним из слов на *недо-*, то есть горьких и досадных.

## САМО-

Английский исследователь О. Барфилд писал недавно:

— Один из самых верных признаков того, что идея или чувство поднялось на поверхность народного сознания, — даже более верный, чем появление того или иного нового слова, — можно видеть в тенденции создавать сложносоставные и производные слова от старых... После Реформации в нашем [то есть английском] языке появляется целая серия слов, составленных из само- (self-) и одного из старых слов: самоуверенность, самообладание, самоунижение, самоуважение, самопознание... и саможалость (self-pity) в следующем столетии. («История в словах английского языка»)

В истории нашего самосознания деятельность *само-* была, пожалуй, еще более яркой, бурной и драматической. Вот очень краткая история нескольких слов на само-, которая покажет, может быть, как многообразна и едина в конечном счете деятельность этой поистине великой частицы.

В народной поэзии, особенно в сказке, очень много слов, образованных при помощи «само-». Все они приписывают «движение от себя» (по определению Даля) неодушевленным предметам: топор-саморуб, дубинка-самобойка, скатерть-самобранка, сапоги-самоходы, каша-самоварка, флейта-самограй, мельница-самокрутка и т. д. и т. д.

В трудную для человека минуту высшие добрые силы приходят к нему на помощь (если он этого достоин) и приводят в движение важнейшие средства «производства», пропитания, транспорта.

Это хоть и сказочная, но техника. И в дальнейшем техника с особой, можно сказать, охотой утверждает многие из сказочных слов на *«само-»* в новых применениях.

Был среди этих сказочных помощников хорошего человека ковер-самолет.

При Петре I (взятие Шлиссельбурга) на «самолете» была устроена связь между обоими берегами Невы. Это был паром особой конструкции — передовая в то время техника. Слово звучало гордо в этом применении.

У Даля первое и главное значение самолета — паром; остальные (ткацкий челнок, плужок, ракетка) — профессиональные и местные, областные.

Так и в Словаре ИАН 1847—1867 годов:

— «самолет» — паром; ковер-самолет — в сказках.

В последней четверти века возникает передовое в техническом отношении волжское пароходство «Самолет». Звонкое, рекламное название должно говорить о сказочной скорости движения и сказочных удобствах, в частности о несравненной кухне.

— К одиннадцати приходил сверху пассажирский «Самолет», долго стоял на погрузке у пристани, и люди, понимавшие в кухне, любили провести часок на палубе. (Федин, «Первые радости»)

«Самолетом» по-прежнему назывались и паромы, но усовершенствованные, самоходные, как пароходы «Самолет»:

— Через большую реку перевозит «самолет» — плот с колесами, как у парохода.

Это у М. Пришвина в повести со сказочным названием «Кащеева цепь» — «Золотые горы».

«Самолет» уже в кавычках; слово сказано запросто, по необходимости, но оно, конечно, играет именно так, как нужно Пришвину в повести о живом, умном и лукавом прошлом.

В 1876 году капитан первого ранга Александр Можайский построил «воздушный змей с большой поверхностью» и на нем поднялся в воздух. 3 ноября 1881 года он запатентовал свое изобретение — «воздухоплаватель-

ный снаряд». Первые ученые рецензисты называли его «летательным аппаратом».

Когда француз Андре, англичане Филиппс и Максим, американцы Ленгли и Райт сконструировали свои летательные аппараты, все такие аппараты тяжелее воздуха, в том числе и русские, получили название аэропланов.

Только так называли самолеты у нас в первую мировую войну и в гражданскую.

— А что слышно про кадетов? *С последним аэропланом* что сообщали? (Шолохов, «Тихий Дон», 3—58)

— Толпа окружала аэроплан... Невиданная машина стояла молчаливая и горячая, как загнанный конь. (Там же, 53)

А сейчас это слово «аэроплан» звучит уже либо слишком высоко, либо наивно и архаически. Живое слово для этого понятия — самолет из сказки.

Разве сказки не справдились те в самом деле,
Что светили когда-то, как звезды в ночи?

(Исаковский, «Жар мечты»)

То «само»-, которое можно назвать техническим, сыграло очень важную роль в нашем языке.

Слова на «само-» образуют именно на технической своей основе очень сильные поэтические и политические переносные значения. Техника переходит, создает троп.

«Объявление от общества приспособления точных наук к словесности».

Среди разных имеющихся в продаже машинок, изобретенных господами членами упомянутого общества на пользу всех занимающихся практической словесностью:

...6. Карманное перо-самопис, заряжаемый по произволу экспромтами. Вещь, необходимая для поэтов и остроумцев модного света, заваленных альбомами при каждом появлении их в гостиных... Секретарь общества А. М. [арлинский]. («Сатирическое приложение к «Московскому телеграфу», 1831)

Так острились в начале века. А вот уже весьма серьезное приспособление точных наук к словесности — у Щедрина:

— Везде прогресс... вводятся самострельные ружья,

появляются самоиграющие театры, издаются самошпионствующие журналы, выходят на сцену самопишущие литераторы. Одна русская драматическая сцена до сих пор не успела придумать... самоиграющего актера. («Петербургские театры»)

Щедринское «само-» — на новейшей технической основе!

У Увара Ивановича («Накануне» Тургенева) был, как известно, бесподобный «самосон» собственной конструкции и т. д.

— Тетушка «страдала самордаками». «Самордаки» — это такая болезнь, совмещающая фантазию и упрямство, своего рода «блажь». Самордаки у тети совсем никогда и не прошли, а только переблажились. (Лесков, «Юдоль»)

Знаменитая самокрутка:

— Придется вас окрутить самокруткой... (обвенчать без попа).

Вот еще некоторые другие, уже «самодельные», словотворки поэтов, основанные также на техническом применении этой приставки.

— Площадь пересекает черный самобег... (Хлебников, «Дети выдры», «1-й парус»).

Те, кому на самокатках
Кататься дадено.

(Хлебников, «Невольничий берег»)

В свое время Кулибин назвал свой велосипед самокатом. Ср. «Самокатчики».

— Шли мужики самотопом, пешком, в ряд, по кустам. (Вс. Иванов, «Цветные ветра»)

И мн. др.

Это — техническое в своей основе «само-». Но с его помощью образовались и другие, не технические и еще более важные слова-понятия.

— И бысть Адам царь всем землям, и птицам небесным, и зверям земным и рыбам морским, и самовласть дасть ему бог... («Сказание, како сотвори Бог Адама» — апокриф XI века)

Сам бог дал ему власть —и притом неограниченную.

Эта формула должна была оправдать всякое самовластие и самодержавие в продолжение многих веков.

Но уже рано то же слово приобретает и прямо противоположное политическое значение.

Самовластие — политическая независимость, автономия, самораспорядительность, как переводил это понятие на современный ему язык А. Щапов.

— Местная особная областная жизнь выражалась в XVIII веке в т. н. актах о счете городов и в прежнем стремлении многих областных общин к финансовой, тягловой особности, самораспорядительности. («Великорусские области в Смутное время»)

У Герцена:

— Это совершенно согласно с самозаконностью каждого кантона и каждого местечка [в Швейцарии]. («БиД», III)

Самозаконность — автономия, та же самораспорядительность, о которой мечтал Герцен и для России.

Такой же высокий политический смысл имел в свое время самосуд.

— Иван Бельский... возвратил Пскову его старинный самосуд, дозволивший судить уголовные дела выборным целовальникам, мимо великокняжеских наместников и их тиунов... (У Н. Костомарова, «Русская история...»)

—Псковичи почти тотчас же по уничтожении у них веча вытребовали себе право *самораспоряжения* и *самосуда* по делам душегубным, татиным и разбойным... (А. Щапов, цит. соч.)

Самосуд — самостоятельная юрисдикция, самозаконность в узком, но и в более широком смысле: право самим судить — основа политической самостоятельности, самоуправления, самовластия.

У Даля: «самовластие ср. неограниченная власть; сила, воля или право распорядка (ср. самораспорядительность!), ничем не *стесняемые*».

За этим следуют у Даля в словаре живого языка многие уже архаические значения и формы (например: «Се же створи [кн. Андрей], хотяй самовластец быти суздальской земли» и др.). Но нет самовластья, самосуда и др. в новгородском, щаповском, герценовском осмыслениях.

Нет этих значений и в словаре петрашевца Ф. Толля — уже, видимо, по не зависевшим от него причинам.

Самовластие *новгородское* воскрешают иногда сти-

лизаторы — романисты и поэты. Ср., например, у поэта-символиста Сергея Соловьева в начале нашего века:

Разрывая все основы,
Гордо главы возноси,
*Самовластный и торговый*
Город Западной Руси.

(«Новгород»)

И тогда же «самовластие», «самовластный» воскрешаются в смысле самоутверждения, самодовления, высшей самостоятельности. У Д. Мережковского в романе «Петр и Алексей» — по раскольничьим документам:

— Повелено от Бога человеку самовластну быть.

В наше время самовластие новгородское — конкретно-исторический термин, очень уточненный (аристократическая олигархия). А самовластие в политическом смысле — ненавистный архаизм.

Лишь изредка в споре с этим архаизмом воскресает самовластие в особом, новом смысле.

У Ф. Гладкова в одном из ранних его произведений, «Маша из Заполья», находим весьма замечательную эпитафию этому слову:

— Власть — дело мудрое, а без души, без сердца власть — это самовластие. *Очень даже горько и обидно, что в нашем языке такое слово в обиход вошло.*

Весьма замечательна здесь забота о том, вошло или не вошло в обиход это слово.

Но оно не вошло в обиход. В соответствующих случаях мы говорим о самоуправстве, о методах командования, о самодурстве, зажиме, деспотизме, волюнтаризме.

В 70-х годах вышла впервые в русском переводе книга Самуила Смайлса «Self-help» (буквально «самопомощь», или, как мы сказали бы сейчас, «работа над собой»). Это была книга о моральном самоусовершенствовании, и только об этом.

Переводчик, человек с выразительной фамилией Кутейникова (вероятно, попович), передал заглавие Смайлса боевым тогда словом «Самодеятельность».

Он, кроме того, написал свои «Дополнения» к этой книге, в которых пытался приспособить идеи Смайлса

к новейшим русским условиям. Совершенно очевидно, что Кутейников воспользовался книгой Смайлса только как предлогом для своего собственного общественного выступления. Кутейников призывал к активности, самодеятельности, притом обязательно к общественной самодеятельности, несмотря на унылую, морализующую тенденцию самого Смайлса.

Но это была уже самодеятельность особого рода.

Незадолго до того Чернышевский писал в статье о «Губернских очерках» Щедрина:

— Год за годом можно следить, как уменьшалась сила и самодеятельность литературных аристархов, находивших выгоднейшим для себя поддерживать незнание (и самообольщение).

Писарев в статье «Обломов»:

— В этой привлекательной личности нет мужественности и силы, нет самодеятельности.

Писарев прямо утверждает это слово, ставит его в один ряд с мужественностью и силой.

У Чернышевского, когда он говорит о своих противниках, литературных, а главным образом *иных* аристархах, высших администраторах и правителях, самодеятельность означает произвол мракобесов.

Это, конечно, очень ироническое применение слова: оно, хорошее слово, как бы в кавычках. Есть и другая самодеятельность!

А. Кутейников защищает вот какую новейшую самодеятельность:

— С введением преобразований текущего царствования [то есть царствования Александра II] люди «деловые», т. е. занимающиеся полезными делами для себя и для общества и вместе с тем строго независимые в своей деятельности, живущие исключительно в обществе, не замедлят появиться. Главным ядром их, как можно догадываться, будут адвокаты. С течением времени, когда новые роды деятельности, призванные в нашу жизнь последними реформами, более выяснятся, к адвокатскому сословию будут примыкать и другого рода люди, сгруппированные с ними в один круг, — люди, занимающиеся свободными профессиями.

Это уже целая программа мирного преобразования общества по буржуазному образцу, и речь идет о самодеятельности новых, «деловых» людей.

Самодеятельность — боевое слово, которое «применялось», как мы видели, очень по-разному в том и другом лагере.

Нет «самодеятельности» в Словаре ИАН 1847—1867 годов. И Даль совсем не знал или не хотел знать это боевое слово. Бодуэн де Куртенэ уже после 1905 года включил «самодеятельность» в далевский словарь живого языка и вот в каких выражениях:

— (самодействие, самодеятельность, действие от себя, из себя. Самодеятель и самодетель или самоделатель, действующий своею силою и властью. Самодеятельные силы).

Это были дополнения передового ученого, который, как он заявлял в своем предисловии, не боялся и «партийных» слов, и все здесь очень характерно. Однако *самодеятельность* здесь, после Щедрина, Писарева, Чернышевского, только действие от себя и еще — «из себя».

«Из себя» — также очень важное слово, связанное с философией интроспекции, самонаблюдения как единственного метода психологии (до Павлова и *против* Павлова до наших дней!); «из себя» связано, по-видимому, и с воззрениями А. Потебни в области психологии языковой деятельности человека:

— Соединение восприятий в отдельные круги есть уже форма, отдаваемая душою отдельным восприятиям, и в некотором смысле может быть названо самодеятельностью души. («Мысль и язык»)

Но другой «самодеятельности» Бодуэн де Куртенэ не знал; слово это в том важном значении, которое оно имело у шестидесятников, было уже заменено. Были только «самодеятельные силы», то есть понятие политическое, но весьма расплывчатое и смирное (ср. у Кутейникова).

В годы Революции опять сложилось это слово, «самодеятельность» — совершенно независимо от старого его применения и, конечно, от Смайлса и его переводчика.

Впрочем, в одной из наших лучших книг о внутреннем освобождении человека после Революции, в «Вятских записках» Всеволода Лебедева, есть весьма замечательный разговор именно о Смайлсе и его «Самодеятельности».

В городе Слободском преподаватели реального училища были казенные тупицы обычного типа, у них ничему нельзя было научиться. А другие, хорошие люди рекомендовали герою этой повести заняться самообразованием и самосовершенствованием, выработать в себе самодеятельность по Смайлсу. В библиотеке города Слободского была эта книжка. Герой Лебедева тоже прошел через Смайлса и его самодеятельность.

Когда пришла Революция и начала по-своему работать над характером людей и их совершенствованием, этот герой больше всего возненавидел Смайлса и его самодеятельность! Смайлс, а заодно и Н. Рубакин с его «Среди книг» (это уже совсем неосновательно) стали его «наследственными врагами».

В сопоставлении *той* и новой самодеятельности был главный пафос прекрасной книги Вс. Лебедева.

Самодеятельность в старом широком смысле этого слова получала новые воплощения и новые названия. А слово «самодеятельность» в прежнем, слишком широком и расплывчатом смысле уже применяется по преимуществу иронически.

— Отченаш. Я не поверил. Человек одинокий, думаю. Просто, думаю, вывих от мужской «самодеятельности». (Б. Ромашов, «Конец Криворыльска»)

— Прекратить самодеятельность! — и т. д.

Самодеятельность сблизилась, почти совпала с такими понятиями, как стихийный, безответственный, с одной стороны, и доморощенный, непродуманный, несерьезный — с другой.

Самодеятельность, самодеятельный как строгий термин сохраняется только в статистике — самодеятельное население; в живой речи «самодеятельность» — это теперь раньше всего непрофессиональный театр...

Непрофессиональный театр в прошлом назывался любительским.

Луначарский так и переводил это слово:

— Самодеятельный, или, *попросту говоря,* любительский театр... («Театр и революция», 1924)

Это *попросту говоря* имело тогда в устах Луначарского очень серьезный смысл: Луначарский требовал уважения к «старому мастерству» (по его же выражению),

требовал, чтобы «самодеятельный» театр знал свое место, чтобы любительщина не пыталась заменить профессиональный театр.

Но в его же Наркомпросе этот термин стал к тому времени официальным наименованием непрофессионального, уже очень различного по своему характеру и стилю театра. Ввел этот термин, по некоторым свидетельствам, В. В. Тихонович, в прошлом работник так называемых народных театров, а при Луначарском заведующий «подотделом рабоче-крестьянского театра в Наркомпросе».

И самодеятельность в этом главном и почти единственном своем значении стала очень активным словом. В самодеятельности (а не кружках) «выступают» миллионы советских людей.

Так специализировалось это слово-понятие, когда одни его значения уже были заменены другими, более точными (общественная активность, почин, инициатива, советская демократия).

Даль еще не знал слова *самокритика* в живом русском языке; он не указывал его даже в качестве неупотребительного, но возможного, потенциального, как во многих других случаях. Бодуэн де Куртенэ не включил «самокритику» даже в то издание, которое вышло после 1905 года, среди многих новых «временных» и даже «партийных», по его выражению, слов.

Однако это слово уже не раз складывалось как бы само собой и применялось задолго до нашей Революции.

Это был термин психиатрии.

— Эти расстройства выражаются в слабости критики и особенно самокритики. (История болезни С. А. Толстой — в «Очерках былого» С. Л. Толстого)

Чехов писал Григоровичу:

— Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. (1886)

Это было у Чехова не одно из тех жаргонных литературных словечек, которые он обычно заключал в недобрые кавычки, и не один из тех высоких неологизмов, которые тоже ему были чаще всего не по духу. Он применял самокритику, как, может быть, редкое, но естественное в

определенных обстоятельствах и сразу понятное слово. Самокритика противопоставлялась, главным образом, профессиональной критике его времени, которую глубоко презирал Чехов: «Дующий в шаблон Татищев, осел Михневич и равнодушный Буренин — вот и вся российская критическая сила». (Письмо Суворину, 1888).

К. С. Станиславский писал в 1889 году, в самом начале своей деятельности:

— Единствённым выходом для артиста останется самокритика, мыслимая только в том случае, если артист сумеет выработать в себе определенный и точный взгляд на свою деятельность, составит себе идеал своих стремлений и найдет в себе достаточно силы, чтобы отказаться от дешевых успехов, которые в настоящее время частенько составляют дутые, но громкие артистические имена.

И у К. Станиславского самокритика артиста противопоставляется раньше всего профессиональной театральной критике того времени, глубоко враждебной ему по всему своему духу и основным интересам.

Но это же полемическое слово приобретает затем в поэтике Станиславского другой, более широкий смысл — профессиональный и философский одновременно.

Наряду с самокритикой Станиславский выдвигает тогда же и другое необходимейшее понятие: самообладание артиста. Самокритика и самообладание идут непременно вместе; без самообладания и самокритика ничего не стоит!

— Нужно творчество самообладающее, — писала Любовь Гуревич, ученица и соратница Станиславского, его словами в статье «Заметки о современной литературе» («Русская мысль», 1910).

Ср. слова Чернышевского о поэзии Лессинга и Шекспира:

— с величественным, гомерическим самообладанием [она] владычествует равно над своим восторгом и своим страданием.

У Станиславского та же мысль получает дальнейшее развитие и применение в еще только складывавшемся тогда его учении о вдохновении и мастерстве актера. Самокритика без самообладания — та же старинная «рефлексия» или самоновейшая «интроспекция». Только самокритика вместе с самообладанием создают свобод-

ное творческое самочувствие актера, подлинную самостоятельность и независимость на сцене.

...Но когда, уже в 20-х и 30-х годах, Станиславский приводил в «систему» свои размышления об актерском искусстве, он уже не пользовался, не мог пользоваться термином «самокритика»; к тому времени это слово стало новым огромным философским и политическим понятием.

Ленин писал в «Шаг вперед, два шага назад», в 1904 году, когда еще только недавно совершилось «наше [т. е. большевиков] строгое обособление в отдельную самостоятельную партию пролетариата»:

— Русские социал-демократы уже достаточно обстреляны в сражениях, чтобы не смущаться этими щипками, чтобы продолжать, вопреки им, свою работу самокритики и беспощадного разоблачения собственных минусов... (7—190).

*Работа самокритики!*

Ленин писал в незаконченной статье «О смешении политики с педагогикой»:

— Слов нет, самокритика безусловно необходима для всякой живой и жизненной партии. Нет ничего пошлее самодовольного оптимизма... Но именно потому, что такие указания законны всегда и постоянно, при любых условиях и положениях, они не должны быть превращаемы в особые лозунги, они не могут оправдывать попыток построить на них какое-то особое направление в социал-демократии. (8—418—419)

Противник развивает совсем другую «самокритику», превращает ее в нечто уже очень похожее на «настроение» (а не работу), на рефлексию, даже самокопательство и самоуничижение («Куда уж нам! Где уж нам! говорят такие люди», — в той же статье).

Ленин защищает *самокритику* от смешения с другими, как будто очень родственными, понятиями.

Это понятие уже обломано и обтесано; оно приобретает на новой основе еще более широкий и новый смысл, когда большевики завоевали власть, стали правящей партией великого государства.

— Как во всех областях, так и в этой мы говорим, что самокритикой мы научимся... (Речь на митинге сотрудников ВЧК 1 ноября 1918 г.) Самокритикой мы их [чуждые элементы] отшибем. (28—151)

И снова эти большие и высокие слова, как всегда, становятся ареной острой борьбы.

Они вызывают, естественно, всевозможные «надсмешки» противника; еще более выразительны лукавые, иронические или просто пошлые «возвышения» этого строгого и тяжелого слова в языке обывателей, в том числе и партийных обывателей.

Эх, самокритику я так люблю,
Что рад бы задушить ее в своих объятиях!

(Безыменский, «Выстрел»)

— У нас *сейчас* самокритика, — говорили в редакции. («ЛГ», 2/III 1948 г.)

По Волге ходил (а может быть, и сейчас ходит) теплоход под названием «Самокритика», — будто это одно из тех радостных, веселых или нежных слов, которые только и могут стать именем судна.

Известный советский драматург говорил в своем заключительном слове:

— Почувствовав, что затянул доклад, я на ходу сократил его за счет самокритики. («ЛГ», 20/VIII 1946 г.)

Уж если что-нибудь сокращать в важном разговоре, то лучше уж отбросить этот обязательный и никчемный довесок — самокритику.

— Недавно я хотел, — писал Игорь Ильинский, — исполнить рассказ о вульгаризаторе критики, о человеке, который самобичевание превращает в добродетель. Но мне и автору посоветовали вставить начало и конец, где прославляется истинная самокритика. Рассказ стал абсолютно «правильным» и... совершенно непригодным к исполнению. («ЛГ», сентябрь 1951 г.)

Очень характерно здесь, конечно, упоминание о самобичевании: самокритика зачастую принимала именно такой характер, именно такой антиленинский смысл (ср. знаменитые «самоотмежевания», «покаяния», самокритические «прозревания» и т. д.).

Слово уже не раз попадало в кавычки, теряло свои исходные очертания, заклинивалось... Это говорило о том, что оно еще и сейчас очень боевое, ни для кого не безразличное.

Самокритика (или автокритика) была некогда про-

фессиональным термином актеров и литераторов. Она стала потом огромным идейно-политическим понятием. И вот уже на этой новой, очень широкой основе оно получает, как всегда, и новые специальные применения, в области искусства.

Известный наш режиссер А. Д. Попов писал:

— Мне хотелось бы в порядке постановки вопроса сказать о самокритике — движущей силе советского общества, — но сказать в плане отражений этой силы в искусстве, силы, связанной со становлением характера, а следовательно и с формированием драматического характера... Возникает вопрос о необходимости возрождения в нашей советской пьесе классического монолога в его новом качестве. Пережитки прошлого в сознании людей искореняются не без участия самих людей, носителей этих пережитков, не без самокритики. Советский человек — активный мыслитель, и его можно показать на сцене посредством монолога, мыслящим вслух... («Культура и жизнь», 31/XII 1950 г.)

Речь идет, собственно, о возрождении одной забытой формы сценического искусства. Но самая «постановка вопроса» стала возможна только на основе такого нового понимания «самокритики», как особого состояния советского человека, активного мыслителя.

А сейчас «самокритика» как заимствование из русского уже довольно часто встречается в зарубежной театральной печати. Вот очень наглядный перевод с русского в статье американского «Ежегодника театральных искусств»:

— **Healthy self-criticism in the tributary theatres (1947)** (То есть «Здоровая самокритика в самодеятельных театрах»).

Перевод даже слишком «буквалистский», как мы бы сказали.

«Само-», как мы видели, развивало и развивает у нас очень бурную деятельность — настолько бурную и очевидную для всех, что «само-» превращается в существительное, а «самость», «самство» становятся самостоятельными важными словами-понятиями.

Вот несколько эпизодов из истории «само» и «самства», «самости».

Противник петровской реформы, князь Щербатов писал:

— Любовь к отечеству убавилась, а самство и желание награждений возросло... («О повреждении нравов»)

У него самство — эгоизм, тщеславие и пр.; он сближает «само-», которое получило уже столько политических применений, с «самец» и «самка», он, можно думать, сознательно играет на этимологическом родстве этих слов.

«Самость» живет в этом смысле (эгоизм, самолюбование и т. д.) как слово сравнительно узкого круга, но в этом круге очень активное.

— Всякий, кто ходил в [нашу семью]... заражался хоть на время ее особенным запахом, даже подчинялся, хоть и с ропотом и с бунтом, тому, что мы впоследствии называли с Фетом домашнею «догмой», развившейся в позднейшее время до примерного безобразия исключительности и самости... (А. Григорьев, «Мои... скитания»)

Но он же утверждал, в сущности, ту же самость, если она не развивается «до примерного безобразия»:

— Одиночеством я перерождался — начинал на дне собственной души доискиваться собственной самости.

Здесь есть уже предвестие той «оргии субъективизма» (Плеханов), которая развернется в конце прошлого века и начале нашего века у декадентов; а они ведь и считали А. Григорьева своим учителем. Утверждается плодотворность одиночества — также очень хорошо знакомый по позднейшему времени мотив.

Как бы в ответ Григорьеву, Петрашевский в своем словаре приводит «самость» и еще «самичность» как образец неудачного нововведения (ст. «Неологии»).

Она раньше всего бесплодна, но именно плодотворная «самость», то есть оригинальность, самостоятельность и, пожалуй, творческая дерзость, утверждалась во всем близком к А. Григорьеву круге. Боткин писал А. Дружинину в 1855 году:

— В том-то и беда, что Тургеневу недостает пока самости и смелости — этих всегдашних признаков больших талантов.

В этом, хорошем значении слово не привилось, но не раз еще оно же утверждалось именно в смысле самоутверждения личности, как сказали бы мы сейчас. И, главным образом, такой личности, которую вовсе не стоит

утверждать. Ср. о *самости* Макса Штирнера в ранних переводах «Святого семейства» Маркса.

Высшая точка в развитии этой «самости» — у Горького, в самой фамилии героя его эпопеи «Клим Самгин». *Самгинщина* и сегодня очень боевой и, увы, вполне современный термин в нашей идеологической борьбе.

Очень характерно утверждение этого слова, так сказать, от обратного у Леонида Андреева.

В десятых годах нашего века самоубийства среди молодежи приняли размеры и характер эпидемии. «Биржевые ведомости» организовали анкету по этому вопросу. В своем ответе на эту анкету Л. Андреев писал:

— Какое может быть *само* у студента, вдруг затосковавшего, или у бесчисленного несчастного гимназиста с его балльником, безусого юнца, а часто ребенка? Все это люди, лишенные «*само*»...

Вот почему бессмысленны и прискорбны эти самоубийства и не должны так называться. Другое дело, если б это были люди с уже сложившимся «само».

Андреев и в других статьях настойчиво вводил «само» как отдельное слово, но оно в язык не вошло. А после Октября, когда «само-» в сочетаниях создало столько новых и *самых важных* слов, «само» отдельное уже совсем забылось...

Недавно мы читали очень характерное для нашего времени рассуждение о самости:

— Говорят, и кличку дал...

— Самотный? Нет!.. Какая же это кличка. Это не кличка, а такое слово.

...Посмотрел — это был четвертый том словаря [Ушакова]. Наклонился, стал читать, увидев на раскрытой странице отчеркнутые красным карандашом слова: «Сам... само... самость... личность... Самотный или самошный — человек, у которого самость, личность впереди всего, который сам себя и свои выгоды ставит выше всего, себялюбивый и корыстный, кому чужое благо нипочем...»

— Вот тебе и Митрофан Ильич Яресько, — тихо проговорил Дедюхин и закрыл книгу. (С. Бабаевский, «Кирилл Дедюхин»).

Это хоть и несколько подрисованная и упрощенная, но верная эпитафия слову «самость», которое в нашем живом языке уже слышится очень редко.

А «само» — в сложениях и сочетаниях непрерывно и бурно действует, и надо пожелать этой прекрасной частице новых и еще бо́льших успехов.

•

## ВПЕРЕД, ЗАБЕГАНИЕ ВПЕРЕД

— В самых глазах этого необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше: *вперед!,* это словцо, знакомое русскому человеку, производящее такие чудеса над его чуткой природой...

...Кто бы крикнул душе пробуждающим криком это бодрящее слово: *вперед!,* которого жаждет повсюду на всех ступенях стоящий, всех сословий, и званий, и промыслов, русский человек?

Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово *вперед?* Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какою любовью заплатил бы ему благодарный русский человек! Но века проходят за веками, позорной ленью и безумной деятельностью незрелого юноши объемлется... [не дописано] и не дается богом муж, умеющий произносить его! (Гоголь, «Мертвые души», 2-я часть, 1)

Особенно замечательны в этой тираде первые и последние строки: «словцо, знакомое русскому человеку...» «И не дается богом муж, *умеющий произносить его!»* Словцо знакомое.

— Такие слезы для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед. (Лермонтов, «Вадим», 1—3)

Повесть из эпохи Пугачева. Плачет Вадим в облике безобразного нищего, но в его глазах «блистала целая будущность». А слова Лермонтова в авторской речи — «подвинул нас целым веком вперед» — и самая эта конструкция фразы с «вперед» — очень боевые и современные.

Невинная песня Языкова «Из страны, страны далекой...» и позднейшая студенческая переработка этой песни:

Первый тост за наш народ,
за святой девиз: «вперед».

Слово-тост. Но оно участвует и в знаменитой формуле Гегеля, хорошо известной тем же студентам: «противоречие ведет вперед».

Они подымают бокалы за «противоречия».

Герценовское «кипение вперед» — еще смутное, но грозное для империи, потому что оно имеет направление вперед.

— Побыть с ним [Бакуниным] вместе значит для меня сделать большой шаг вперед в мысли. (XI—418)

Добролюбов словами Гоголя, в своей авторской речи, — о Штольце из «Обломова»:

— Не он тот человек, который сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово «вперед». («Что такое обломовщина?»)

Это уже очень большое слово, и вот необычайно выразительное его толкование у Даля в те же годы:

— Вперед — наречие местности (так!) и времени: движение в переднюю сторону, туда, где почитается перед и передняя сторона.

Где почитается, — хотя, может быть, и неосновательно, неправильно.

Очень содержательны и его примеры:

— *Вперед не выдавайся, назади не оставайся... Тебе бы вперед спросить, а там сделать. Всякий человек вперед смотрит, думает о будущем...*

Но тут же:

— Иди вперед, а оглядывайся назад и т. п.

Очень многозначительный пример на «вперед» в Словаре ИАН в те же годы:

— *Вперед будь осторожнее.*

У «Толля» нет, конечно, и не должно быть этого наречия. Но есть «прогресс» с потрясающим толкованием:

— То же, что преуспеяние, ход вперед, закон, которому следует человечество в своем постепенном развитии и высшая степень которого достигнется, когда *П.* будет очевиден не только в отдельных личностях, но и в целых массах.

Неумолимое уточнение всех связанных с «вперед» понятий: ход с направлением «куда?»; закон; развитие; «отдельные личности». И категорическое требование, чтобы *П*[рогресс] был очевиден для целых масс!

У Тютчева:

Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!
...Туман, безвестность впереди.

(«Из края...»)

«Вперед, вперед», а затем простое, служебное «впереди» — при «тумане, безвестности».

Это — высокие стихи, тесно связанные со всем поэтическим мироощущением и мировоззрением Тютчева.

Но это и полемические стихи. *Кто* повторяет непрестанно это надоевшее слово?

«Вперед» в либеральном, пустом и лицемерном, значении висит в воздухе.

— Едва заслышит он [Тарелкин], бывало, шум совершающегося преобразования или треск от ломки совершенствования, как он уже тут и кричит: вперед! (Сухово-Кобылин, «Смерть Тарелкина», 1—15)

Тарелкин шествует «впереди прогресса».

Это — пародия на пародию: хороши и те, кто кричат о преобразованиях, ломке и «вперед», но вот уже и Тарелкин профанирует это «вперед».

Как всегда в подлинном и большом сарказме, исходное слово «вперед», в первоначальном его смысле, после всех этих удивительных превращений, еще более утверждается. Сухово-Кобылин не стал бы прямо защищать «вперед», но он *защищает* его, отбивает «вперед» у Тарелкиных.

Вот еще пародия на тех, кто употребляет это слово применительно к подлости:

— Толбин, автор «держаться всем средствием вперед, отнюдь не опираясь на оное». (К. А. Скальковский, «Воспоминания молодости»)

Этот Константин Аполлонович Скальковский, видный сановник и знаменитый в своем кругу острослов, «чудак» и фат, сам был очень недалек от этого Толбина. Но у Скальковского был отличный слух, и он во многих случаях, как и в этом, сохранил очень содержательные словесные формулы из тех, что носились в воздухе, и не случайно историки языка очень внимательно его изучают.

Слово испортилось; еще никто не умел произносить его, а так как оно было уже захвачено совершенно не-

серьезными «передовыми» людьми, то подлинные революционеры уже почти сторонились его. «Не говори красиво!» — это почти значило: «Не говори: «Вперед!» — и так далее.

Врали:
«народа —
свобода,
вперед,
эпоха,
заря...» —
и зря.

(Маяковский, «Хорошо!», 2)

И впервые сумела произнести это слово та партия, которая никогда не говорила красивых слов, которая положила в основу всего своего мировоззрения неумолимую точность и трезвость мысли и слова, самой терминологии.

Она не только звала вперед, но и сознательно *забегала вперед!*

Некогда в «Правилах красноречия» М. Сперанский писал:

— Простите мне сей забег воображения.

Забег воображения положила эта партия в основу всей своей политической стратегии и тактики...

Ленин писал в полемике с теми, кто упрекал большевиков именно в забеге воображения:

— Перед тем, кто хочет изобразить какое-либо живое явление в его развитии, неизбежно и необходимо становится дилемма: либо забежать вперед, либо отстать. Середины тут нет. И если все данные показывают, что характер общественной эволюции именно таков, что эта эволюция зашла уже очень далеко..., если при этом точно указаны обстоятельства и учреждения, задерживающие данную эволюцию... — тогда в подобном забегании вперед нет никакой ошибки. (3—279)

Такое забегание вперед становится основным законом всего мышления нового, атакующего класса и его партии. И оно, конечно, получает ярчайшее отражение в языке и литературе.

«Вперед» уточнилось на основе этого научного «забегания вперед»!

— Вперед! и — выше! все — вперед! и — выше. (Горький, «Человек»)

— Время, вперед! (У Маяковского, потом у В. Катаева) очень смело, лихо, но и точно: можно и должно подталкивать время, когда уже известно, куда оно идет и к чему тянет.

— Чудаков. Это написано 50 лет тому вперед. Понимаете — тому вперед!!! Какое необычайное слово! (Маяковский, «Баня»).

Необычайное, еще никогда не существовавшее, но уже совершенно естественное слово; здесь тот ход и образ мысли, то забегание вперед, которое пронизывает всю нашу речь.

Есть у моряков строгий профессиональный термин «впередсмотрящий».

— На палубе вперед смотрящий моторист (например, у Б. Шанько, «Через два океана» и др.).

Но и этот термин сам собой давно стал обобщением. И притом очень точным. Вперед, в действительность будущего, смотрящий народ.

Мне в атаках не надобно слово «вперед»,
под каким бы нам
ни бывать огнем —
у меня в зрачках
черный
ладожский лед.
ленинградские дети
лежат на нем.

(Межиров, «Ладожский лед»)

Повсеместно,
где скрещены трассы свинца,
где труда бескорыстного невпроворот,
сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца.

Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

(А. Межиров, «Коммунисты, вперед!»)

У Твардовского:

Не хожен путь,
и не прост подъем,
но будь ты большим иль малым,
а только вперед,
за бегущим днем,
как за огневым валом.

(«Не хожен путь»)

В статье о традиции и новаторстве в нашей поэзии и особенно в поэзии Твардовского В. Перцов писал недавно:

— Мы будем возвращаться к таким художественным произведениям [как «За далью — даль»], но возвращаться не назад, а вперед, что ни в малейшей степени не является парадоксом, потому что движение идет вверх по витку спирали. («ЛГ», 27/II 1962 г.)

«Тому вперед», «возвращаться вперед» — новые, замечательные термины, нимало не парадоксы.

Чудесно развернулось это бывшее наречие, которое столько раз подло «применяли» к себе лицемеры и даже тарелкины или «возвышали» до полной почти бессмыслицы очень большие поэты (Тютчев).

В нашу эпоху мы впервые научились произносить это высокое слово.

## ПРЯМЫЕ СЛОВА И ЭВФЕМИЗМЫ

Передовая литература называла вещи своими именами. Многие слова, которыми пользовались революционные демократы в спорах со своими противниками и с их фразеологией, сейчас уже можно воспроизвести только в академических изданиях; в современном литературном языке они «невозможны».

Противник в этих спорах выражался, главным образом, высокими словами... Но затем, особенно в начале нашего века, заговорили в печати необыкновенно грубыми словами те писатели, которые меньше всего хотели «срывать маски», называть вещи своими именами.

— Спасительное многоточие, которое так часто выручало наших старых, целомудренных писателей, — писал А. Измайлов в 1910 году, — почти вовсе вышло из типографского обихода. В печати запестрели такие слова, которые, не краснея, может писать только профессор Бодуэн де Куртенэ... («Помрачение божков» — «Торжествующий Приап» [!])

Прямые и грубые слова, как и эвфемизмы, — категории в высшей степени исторические.

Многие слишком прямые и грубые слова прошлого стали ощущаться как вполне пристойные, общепринятые, как норма. Другие слова, которые широко применялись даже в духовной литературе (например, латинская или папёжная бл..., то есть лжеучение, ересь, и др.), сегодня уже никак нельзя написать полностью.

Так и некоторые эвфемизмы прошлого стали казаться сейчас не только лицемерными, но и грязными — более

грязными, чем те слова, которые они должны были прикрыть. Это были вполне пристойные с виду слова, но они слишком подмигивали, слишком «понимали» (особенно в сфере половых отношений: «прижил ребенка», «эти дамы», «птичий грех» — снохачество и т. д.). Ср. *Девица-Неотказа* у Крылова, *Девица Непрочная* у Козьмы Пруткова.

Гоголевские дамы имели на платьях зубчатые стенки, известные под именем «скромностей».

— Они скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там именно и была самая погибель. («МД»)

Но вот что более всего интересно:

— Эти же дамы выбросили вовсе из разговора, как непристойные, почти половину слов русского языка, но прибегали к языку французскому, а уж там позволялись такие слова, которые были гораздо пожёстче. (Там же)

Французский язык был сплошным эвфемизмом. Но там все получалось еще хуже.

Очень наглядно менялась роль прямых слов и эвфемизмов уже в ходе нашей Революции.

Лидия Сейфуллина писала в первые годы Революции:

— Мы не могли изображать русского мужика в первый период Октябрьской Революции с речью, чистой от первобытной грубости, уснащенной изысканным остроумием. И горе, и восторг, всякое эмоциональное выражение личности старой деревни обычно выражались в словах очень грубых. Остроумие, как правило, связывалось с вещами, о которых в гостиных не говорят. И песня, и шутка, и сказка уснащались ими. Жизнь в старой деревне ограничивалась примитивными ее выявлениями, насыщением половой радостью или огорчением, первобытным, тяжелым трудом. Из какой области было черпать образы, сравнения, иронию?

Тогда же вышла книга Софьи Федорченко «Народ на войне» — замечательная коллекция солдатской лексики, в большой своей части непристойной и особенно яркой и художественной именно в этой части.

С особым увлечением предъявляли такую лексику женщины-писательницы — Лариса Рейснер, З. Чалая,

Л. Сейфуллина, М. Борецкая и др. В этом был, конечно, свой пафос: Революция — мужское дело, и если женщина хочет в самом деле заниматься Революцией, она должна думать и говорить по-мужски и не бояться «выражений» («не выражаться» — один из самых ярких примеров эвфемизма, который звучит прямее, чем закрываемое им слово).

В те же самые годы вышла в Лондоне книга Маргарет Лоуренс «Мы пишем, как женщины». Она была посвящена специально вопросам «женского восприятия мира», как оно отразилось в произведениях Джен Остин, трех сестер Бронте, Джордж Эллиот, Оливии Шрейнер, Розамонды Леман, Кэтрин Мэнсфилд, Ребекки Вест, Вирджинии Вульф и др. Эти писательницы были сгруппированы в книге М. Лоуренс по таким психологическим типам:

— Те, которые в мире чувств ходили по туго натянутому канату... — Те, которые плясали веселый хоровод... — Те, которые боролись с привидениями... — Те, которые сидели, как ангелы-летописцы, и записывали... — Те, которые прислушивались к биологическим биениям и перебоям... — Ученые женщины двадцатого века... — То, что наше, — не отдадим... — Рука, которая качает колыбель... — Мечтательницы в походе... — Надо возделывать свой вертоград... — Наше неповторимое сокровище...

Так что Лидия Сейфуллина и Лариса Рейснер, помимо всего прочего, отвечали Маргарет Лоуренс и этим писательницам, в первую очередь, вероятно, «мечтательницам в походе».

Много и охотно занималась грубыми словами и наука, самая академическая. Научное этимологизаторство, все новое корнесловие означало чаще всего приведение слова к его «первоначальному», то есть обязательно непристойному, смыслу. В истории академической филологической науки есть очень характерные фигуры таких усердных «разгребателей грязи».

Отметим попутно, что очень груб бывал в прошлом и внутренний светский жаргон, груб и по лексике. В этих случаях широко применяли «народные» и «подлые» русские слова люди из самого космополитического высшего общества.

У нас в первые годы Революции увлечение грубостью и библейской «похабностью» как основным стилем новой жизни и литературы было различным по своим мотивам.

Влечение к прямым словам, «резким, как «нате», было и остается главным движением в жизни нашего языка и литературы. Это все то же стремление к художественной точности.

Но грубость уже скоро, по общему ощущению, начинает утрачивать именно свою точность и окончательность.

Некогда Дон-Кихот объяснял Санчо Панса:

— Эрутировать, Санчо, значит рыгать. Но рыгать — одно из самых гадких слов в испанском языке, хотя оно и очень выразительно. Поэтому люди просвещенные обратились к латыни и слово «рыгать» заменили словом «эрутировать», а вместо «рыганье» говорят «эрутация». И не важно, что эти выражения не всем понятны. Со временем они войдут в обиход и станут общепринятыми. Это и называется обогащать язык, в котором обычай и простой народ имеют такую власть.

Тем более замечательно, что когда простой народ завоевал безраздельную власть и в языке, он взорвал многие подлые эвфемизмы, разоблачил сотни слов-мошенников, но обнаружил твердое намерение говорить «эрутировать» вместо «рыгать». И чем дальше, тем это нагляднее... А слова Дон-Кихота насчет «обогащения языка» звучат в высшей степени злободневно.

Неслыханная научная вежливость царит с первых же дней Революции в наименованиях самых различных явлений социальной или половой запущенности и распущенности, психической дефективности и т. д.

Но вот что важнее всего: грубые, крепкие слова долгое время служили тоже своеобразными *эвфемизмами* — они должны были «смягчить» неуместную нежность некоторых слов.

— У него никак не выходили нежные слова, — он не умел их выговаривать... Несколько раз он порывался сказать какое-нибудь глупое слово — ну пусть даже «сердечко» или «солнышко», — но ничего не выходило. Он боялся, что это будет смешно. (Кин, «По ту сторону»)

И чтобы не быть смешными, он и его товарищи говорили грубыми или по крайней мере железными словами.

Нежность глушила я,
нежность топтала я,
в грубых словах топя...

(Нат. Астафьева, «Нежность глушила...»)

И. Уткин — к красивой женщине:

Всё! —
и нежность песнопенья —
Всё! —
и даже нежность тела —
для железного цветенья,
для единственного дела.

(1926)

Но уже скоро эти страшные нежности утратили всю свою полемичность и какой ни есть юмор. Становилось ясно, что это не настоящая нежность, если ее можно так хорошо спрятать или по крайней мере отложить.

У Есенина:

А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст...

(«Этой грусти теперь не рассыпать...»)

Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

(«Низкий дом...»)

Он и не смог бы и не желал ее спрятать.

«Смягченные» железом нежности тех лет уже давно кажутся нам сплошной стилистической ошибкой — непристойностью.

Грубые слова перестают казаться и честными.

Маяковский писал до Революции о Чехове — «сильном, веселом художнике слова»:

— И вот Чехов внес в литературу грубые имена грубых вещей. («Два Чехова»)

Само по себе это неточно и вовсе не характеризует главный смысл чеховского новаторства. Но для Маяковского важнее всего было тогда обругать поклонников Че-

хова из другого лагеря, которые очень хотели изобразить его и несильным, и невеселым, и чуждым всякой грубости.

После Революции большое впечатление в литературной среде произвели только что прозвучавшие слова Анри Барбюса в «Огне», в главе 13-й, которая так и называлась «Грубые слова»:

— Я буду пользоваться грубыми словами, ибо этого требует правда.

В начале 30-х годов Эрнест Хемингуэй выдвинул свою прекрасную программу:

— Надо писать честную прозу о человеке.

«Честная» означало у него — среди прочего, но обязательно: прямая, грубая, в этом обществе не принятая и скандальная.

В прогрессивной литературе Запада складывалась особая поэтика, особый стиль литературы настоящего мужчины, который тоже и непременно включал некоторую грубую мужественность особого рода.

Эта западная литература оказала довольно значительное влияние и на наших писателей того времени, в том числе и на так называемых крестьянских.

Но и это уже скоро перестало нравиться.

На Западе к тому времени грубость стала уже главной принадлежностью декадентской, а не какой-либо другой, литературы. Это была грубость нисколько не честная и пустая. А среди так называемых софистикейтед, то есть особо изощренных и утонченных, проводилось уже в высшей степени комическое и строгое разграничение высокой и низкой грубости, подлинной порнографии от «псевдопорнографии», то есть жалких потуг на порнографию тех или иных подражателей.

Рухнула и вся поэтика «настоящих мужчин». Серьезную роль в данном случае сыграло и страшное «падение» тех самых декадентских «настоящих мужчин», которые более всего распинались о мужестве и мужественности. Хорошо известно, что в период между двумя войнами, в предвоенные, мюнхенские годы и особенно в годы войны с Гитлером многие из этих писателей показали себя трусами, а то и попросту предателями. Естественно, что потерял всякую привлекательность «прямой», «мужской» разговор этих людей, которые так позорно провалились.

Но и независимо от этих превращений литературной грубости на Западе сама наша жизнь учила видеть в грубости слишком наивное и слишком легкое средство расправы со злом.

Идет непрерывное оскорбление зла («добро невозможно без оскорбления зла») при помощи прямых слов. Но главным образом не грубые, а сравнительно приличные и только особым образом повернутые и исполненные слова приобретают самую страшную убедительность. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что сейчас в нашем языке звучат как самые последние и убийственные такие вполне пристойные слова:

— Паразит — бродяга — тунеядец — бюрократ — зараза — зануда.

Вот некоторые наиболее выразительные, как мне казалось, превращения грубых и прямых слов, образцы новой застенчивости и нового «прюдства», которое, как говорил Пушкин, «или смешно, или несносно».

## СТЕРВА

«Стерва» значило в древнерусском — падаль.

— И дам стерва [мн. число] их ядь птицам небесным... (Иеремия, 19—7)

— Несть же в себе яко ждеть стерва. (Иов, 15—23)

Позднее:

— Ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту... (Документы о голоде при Годунове — у Карамзина, «ИГР», XI)

У Кантемира на этой основе широкое обобщение:

— Когда лучше свежины взлюбит умной стерву.

Это — очень важная формула в истории русской общественной мысли. Кантемир избирает для спора достойного противника. О глупых, отсталых не стоит и говорить, но стерва, старое и мертвое, привлекает — по разным мотивам — и умных!..

Интересно и то, что Кантемир, в соответствии с утвердившимся уже народным употреблением этого слова, дает «стерве» женское окончание вместо среднего, то есть делает его более конкретным и уже явственно его «применяет».

Слово широко и по-разному, как всегда, «применялось» в разговорной речи и публицистике. Несомненно, что очень привлекало самое звучание слова — резкое, как бы разрывающее и раздирающее.

Немец Трумф в комедии Крылова «Трумф и Подщипа» говорит:

— Проклята фаша тух, как стерфа, пропатет...

Он говорил «стерфа» вместо «стерва», потому что он немец. Но «стерфь» и т. д. в качестве иронического возвеличения низкого слова на иностранный, «важный» лад уже широко применялось и между русскими в разговорной и высокой литературной полемике.

«Стерва» в древнем значении, но в новых применениях очень активна, особенно в сатире.

— Не пес ли тут лежит, что так воняет стервой?
— Нет, это Павел Первой.

(Эпиграмма анонима, 1801)

У Лескова в «Расточителе»:

— Дробадонов. Как вороны крови ждут.

Князев *(тихо)*. Сейчас им стерву выкинут.

Когда Лесков писал эту комедию, центральный смысл слова «стерва» был уже другой: женщина, высасывающая у мужчин силы и деньги, вамп, как сказали бы мы теперь. Лесков сталкивает оба эти значения.

— Уж не женился ли там на какой-нибудь стерляди? (Гончаров, «Обрыв», IV—7)

Это слово очень любили революционные демократы.

Герцен пишет Огареву в 1869 году:

— Всего хуже это то, что у тебя поселилась какая-то «русская стерва».

У Щедрина в те же годы:

— В довершение всего есть [там, «за рубежом»] для мужчин кокотки, вроде той, которую однажды выписал в Кашин 1-ой гильдии купец Шомполов и об которой весь Кашин в свое время говорил: ох, хороша, стерьва. («За рубежом»)

«Кокотки» — слово французское и элегантное по своему звучанию — «переведено» на русский язык.

У Горького в той же традиции, но в новых связях:

— Это она тебя всю зиму за нос и водила. Ну, но-ос! Их, она, стервоза... («Фома Гордеев», 5)

Она — стервоза; но хорош же и этот но-ос, за который можно водить. И дело для Горького главным образом в этом носе.

— Прохор (*Анне*). Надоела ты мне, наушница, надоела, стервоза. («Васса Железнова», финал)

У Прохора в «стервозе» нет ничего специфически женского: стервоза потому, что наушница и предательница.

— С-стервоза, — сказал он, присвистывая. — В большой моде. Высокой цены. Сейчас ее содержит один финансист, кандидат в министры торговли. (М. Горький, «Клим Самгин», IV)

А это уже с присвистом. Стервоза потому, что дорогая, высокой цены. Очень различные «стервозы», но для всех этих трех героев Горького это слово «единственно удовлетворяющее».

В переписке Чехова:

— Вчера сижу с одной девицей, местной аристократкой, в Алферакинском саду [в Таганроге]; она показывает мне на одну *старуху* и говорит: «Это такая стерва! Поглядите: у нее даже походка стервячая». (1887)

Это уже, конечно, не какое-нибудь программное, политическое «оскорбление зла», но «стерва» даже «аристократкам» очень помогало отвести душу.

У Блока в «Дневниках» (1912):

— Сыроватая ночь, на Мойке, против Новой Голландии, вытянул за руку... молодого матроса, который повис на парапете, собираясь топиться. Охал, потерял фуражку, проклинал какую-то «стерву».

У молодого матроса это был честный вопль души. А в символистской и декадентской литературе в те же годы это древнее слово уже иногда очень возвышалось, становилось синонимом инфернальной женщины, извечной погубительницы мужчин и т. д.

«Вся в черном, вся — стерлядь, вся стрелка...» — эту строчку Игоря Северянина любил вспоминать Маяковский.

В начале Революции это слово часто утверждалось в литературном языке демонстративно, как прямое, резкое, «срывающее маски», а главное — еще недавно отверженное, не принятое в обществе.

Оно не раз рифмовалось с «нерьвом». Это означало, что оно сродни всяким вообще «переживаниям», «психо-

логиям» и «беллетристикам». Широко вошло в разговорную речь слово «нервостервичка». В результате такого его применения, как всегда, утратилась, расточилась его сила и самая его резкость.

Но оно приобретает новую силу, когда применяется не к женщинам в специфическом смысле, а по преимуществу к врагам или «не своим» вообще.

— Надо быть большой стервой, чтобы суметь пробраться сюда, в наши ряды. (Ю. Либединский, «Комиссары», IV—79).

Из «Сюрте женераль»,
из «Интеллидженс сервис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»
выходит
разная
сволочь и стерва.

(Маяковский, «Хорошо!»)

Сволочь и стерва — два собирательных, которые давно уже стали и синекдохой (целое вместо части), очень точно стоят рядом. Они вообще стали синонимами.

Возглас первый:
«Хорошо жили, стервы!»

(Маяковский, «Версаль»)

В рабочем языке:

Чуть не лыком
сходит сажа,
смывается, стерва...

(«Рассказ литейщика...»)

— Окорок [об американцах и империалистах вообще]. Однако хлазды и стервы. (Вс. Иванов, «Бронепоезд 14—69»)

— Он же раненый, товарищи.

— Серый волк тебе — товарищ, стерва! (Вс. Иванов, «Голубые пески»)

Эти слова обращены к Олимпиаде, которая держит

на руках маленького Васю Запуса. Она стерва не потому, что она женщина, а потому, что отвлекает от дела.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он [Дьяков, б. цирковой артист, теперь начконзапаса], осаживая коня на карьере. (И. Бабель, «Начальник конзапаса»)

Это — обращение к товарищам-конникам; *честные стервы* — этот крепкий оксюморон означает только, что Дьяков очень хорошо настроен.

Швандя в «Любови Яровой» называл всех империалистов стервами; это были в его языке синонимы. А деньги империалистов, как бы они там ни назывались, были все стервингами.

У Катаева в «Растратчиках»:

— Ну, погоди, вредный стерва! (5)

Даже согласовано в мужском роде!

— Американское кино, как великая школа проституции. Американская девушка узнает из картины, как надо смотреть на мужчину, как вздохнуть, как целоваться, и всё по образцам, которые дают лучшие и элегантнейшие стервы страны. *Если стервы это грубо, можно заменить другим словом...* (И. Ильф, «Записные книжки»)

Это еще мягко сказано: стервы.

Слово все более страстно обрабатывается: эстервы (эсеры), стервоза, стерфь, стерьва, стеррьва и т. д.

Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!

(Маяковский, «Шесть монахинь»)

Впрочем, почти все эти обработки, как мы видели, уже существовали в свое время.

Иногда это грубое слово демонстративно возвышается. «Девушка со стервоточиной» — это в снобистском жаргоне звучит хорошо: не пресная и не обыкновенная, ядовитая, «ядная», почти как «вамп».

Образуется и переходная глагольная форма: стервить — новая форма в истории этого слова.

— Один из мужиков пустил порхать по уезду лепкое слово о Сваакере: устервился жить, подлец. (Федин, «Трансвааль»)

Первоначальный смысл слова почти забыт, он воскрешается только в сознательно архаизированном тексте исторической драмы.

У Сельвинского в «Рыцаре Иоанне»:

Ведь был я мертвецом в железных латах!
Стервом, судьбой посаженным под знамя,
На полкового скакуна в бою.

У Югова в «Александре Невском» (V) в очень старом, но уже и новом, обобщенном знаменовании:

— Губить их, стервь полевскую [татарских захватчиков].

В годы войны с гитлеровскими захватчиками:

— Гитлеровские стервятники, гитлеровские стервы.

Стерва опять пригодилась в этом исключительном случае. Но и она уже не удовлетворяла до конца, была недостаточно прямым словом.

## БОСЯК И — ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ

«Босяка» не было у Даля, как не было его в «Словаре ИАН» 1868 года, как не было его и у «Толля». Бодуэн де Куртенэ включил его в Даля в 1908 году, после «босомыги», сохранив далевское толкование: «кто ходит босиком, оборванец» и далевскую, очень сомнительную этимологию: «см. баса...»

Но еще в 80-х годах прошлого века Н. В. Шелгунов писал:

— Босяк развелся у нас почти во всех городах, но скопляется преимущественно там, где легче приискивается работа... Босяк в некотором роде специалист и старается по возможности не менять работы... Босяк горд и независим и очень оберегает свое достоинство. Это общая черта всякого городского пролетария. Босяк не только считает себя честным человеком, но он и в действительности честен... Между настоящими босяками воров нет.

Это была уже характеристика босяков и босячества как социальной категории, неточная, но очень характерная для Шелгунова с его взглядами на «пролетариатство» («общая черта всякого городского пролетария»).

У Маркса в «Немецкой идеологии», в главе «Святой Макс», сказано:

— Святой Санчо делает из пролетариев, а тем самым из коммунистов...

Далее в оригинале — Lumpen.

Это слово даже в ранних переводах обозначалось по-русски словом «босяк», уже всем знакомым и достаточно точным.

Там же:

— Его [Макса Штирнера — «Панча»] благожелательное предложение... «сделать слово «босяк» (Lumpen) таким же почетным обращением, каким революция сделала слово «гражданин», — является разительным примером того, как он смешивает коммунизм с чем-то давно... минувшим. Революция сделала «почетным обращением» даже слово «санкюлот», в противоположность «honnêtes gens», которые в его... убогом переводе превратились в добрых бюргеров...

У Ленина:

— Рабочий должен ясно представлять себе экономическую природу и социально-политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка, знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми прикрывает каждый класс и каждый слой свои эгоистические поползновения и свое настоящее «нутро»... («Что делать?», 1902)

— Одесские мещане, чернорабочие и «кадеты» (местное название босяков) летом тоже приходя наниматься на с. х. работы. (3—205)

Прозвали кадетами, — значит, разобрались.

В 1905 году, когда слава босяков еще не отшумела, Ленин отмечал:

— ...действительно [как говорят листовки Борисоглебской группы РСДРП], босяки, хулиганы и тарханы принимаются на государственную службу. (9—178)

Босяки уже поставлены в один ряд с хулиганами и тарханами; естественно, что из босяков полиция иногда вербует и охранников.

«Босяк» — слово старое, но оно было жаргонным, почти таким же, как равнозначные «раклы», «галахи», «тарханы» и т. д. «После Горького» оно стало словом общенародного языка, и кавычки отпали.

— В босые прописался?

— Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой, и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет назад вольного сокола. («Коновалов»)

— Он «босячит», как определила она мне род его жизни. («Супруги Орловы»)

После «На дне» босяк уже гремел по всей России.

Чехов в письме Южину в 1903 году, то есть за несколько лет до выхода последнего издания Даля под редакцией Бодуэна де Куртенэ, уже даже *подводил итоги,* оценивал на некотором отдалении роль босяка, как нового героя литературы и театра:

— и вот босяки, хотя и не изящны, хотя и пьяны, но все же надежное средство, по крайней мере оказалось таковым, и плотина [мещанства] если и не прорвана, то дала сильную и опасную течь...

Вот что означал выход босяков на сцену! Это было историческое событие.

«Босяк» как амплуа, и как жанр, и как театральная маска появился на эстраде раньше, чем вышла на сцену пьеса Горького (ср. у И. Набатова, «Записки эстрадного сатирика» и др.). Но теперь, «после Горького», этот жанр приобретает полемический характер. Чаще всего романтический босяк Горького, пробивший опасную брешь в плотине мещанства, на эстраде и в литературной несерьезной «сатире» возвращается к тем же мещанам...

— Увеселительное заведение «Аполло». Был босяк и еще что-то. (Сергей Городецкий, «Итальянки», 1909)

— Сибирщик! Босяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой как мак!

(Саша Черный, «Любовь не картошка»)

Большое горьковское слово поставлено в такой ряд, плывет на такой волне, что оно уже теряет свое значение, пропадает во всеобщей «сатире» на все на свете...

Одно из самых интересных стихотворений Есенина в первоначальной редакции 1915—1916 годов называлось

«Инок» и начиналось так:

Пойду в скуфейке, светлый инок,
Степной тропой к монастырям...

В последней редакции, уже после Октября (1922), эти строки переписаны так:

Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком...

Тогда же были дописаны новые строки:

Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой...

Так что и этот босяк с палкой не какой-нибудь горьковский бунтарь. Он умеет находить счастье в «радости убогой» на проселочных дорогах, когда молится на копны и стога, как сказано в финале этого стихотворения.

В 1918 году в ленинских «Темах для разработки»:

— 16. Дисциплина рабочих и босяческие привычки. 17. В чем родство между босяками и интеллигентами? (Ленин, 36—422)

Ликвидация босячества, то есть анархизма, безответственности и пр., — одна из самых актуальных тем; и больше всего склонна теперь к босячеству интеллигенция.

У Горького в «Климе Самгине»:

— Малый театр пускай едет в провинцию, а настоящий, культурно-политический театр пускай очистится от всякого босячества, нигилизма — и давайте место в Малом, так то-с! (IV)

«Босяк», некогда романтическое слово, после Революции имеет только плохой смысл.

— Босяков этих самых развелось, мальчишек, — по улицам пройти нельзя и по квартирам лазят (1920). (А. Макаренко, «Педагогическая поэма»)

А противник пытается этим же словом бить все новое.

— Заговорил Влас Тимофеевич [кулак]:

— Кулаков у нас на хуторе нет, а босяки есть... (Шолохов, «Смертельный враг»)

Все не крепкие, не хозяйственные мужики, которые потому-то и мутят народ, — босяки.

— Крепкая была вражда [казаков и «иногородних» мужиков] и незатухающая.

— Каплуны! — кричали слободские.

— Босяки-и! — несется в ответ из-за реки.

— Куркули, выходи на кулаки — и сопли выбьем! — задорятся слободские.

— Босяки, утеряли портки-и!

Так и шло: станичник — каплун жирный, «сволочь — царю помощь»; слободские — босяки, беспортошные, забастовщики. (А. Костерин, «В потоке дней», 1928)

В других формах именно так рассуждали все реставраторы капитализма.

Это диверсия противника. Но слово, хотя и аннексированное «смертельным врагом», все-таки плохое, только плохое и для передовых людей.

— Ее былая беспризорность и босячество не вязались с ее настоящим обликом и воспитанностью... (Гладков, «Энергия», 3—1—2)

Слово настолько низкое, что оно может опять звучать почти нежно в высокой, поэтической и политической речи.

— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь... (И. Бабель, «Ди Грассо»)

— Во главе орды босоногих шкетов ты пришел стучаться в двери эвакуирующегося комсомола. (Б. Горбатов, «Мое поколение»)

— В сумрачной тени спали прямо на земле или играли в карты те страшные люди с землисто-картофельными лицами и в таких же землистых лохмотьях, которые назывались босяками. (В. Катаев, «Хуторок в степи», 12)

Так они назывались в «легендарные горьковские времена», сейчас необычайно интересно вспомнить и о них и о совсем недавних, вчерашних «босяках».

Ночь. С неба месяц исподлобья
глядит сквозь рваный полог туч
в большой котел, где сажи хлопья
и липкой ржавчины сургуч.
Лежат клубком на дне шершавом
в котле мальчишки-босяки.

Вдруг чей-то хриплый крик: «Облава!»
и — душу рвущие свистки.

(П. Шубин, «Вчерашний день»)

«Босяк» — одна из исторических реалий и в своем роде романтическое слово. Но если говорить серьезно, все они деклассированные. В 1924 году в журнале «Русский современник» была напечатана пародия Блока на «Стихи о предметах первой необходимости» (приписываются Брюсову):

И я, предчувствием взволнован,
В ее глазах прочел ответ,
Что он давно деклассиро́ван
И что ему пощады нет.

«Деклассиро́ван» вместо другого слова, да еще со смешным ударением, и весьма ироническое отношение ко всей этой новой манере выражаться... Но эта манера уже побеждала и уже скоро стала казаться единственно приличной, «важной», но естественной.

## ДЕФЕКТИВНЫЙ

В первые годы Революции получает широкое применение термин «дефективный» со многими его производными.

Этот научный эвфемизм должен был покрыть и закрыть целую группу очень различных слов: ненормальный, неполноценный, невменяемый, «недоделанный», слабоумный, псих, дурной, иногда даже — идиот и сумасшедший, и еще многие другие. Каждое из них имело уже свою, очень содержательную историю. Некоторые уже были когда-то эвфемизмами, а потом стали звучать как очень прямые и крепкие слова; некоторые расплылись, стали обычной речевой гиперболой и звучали уже совсем несерьезно; иные уже много раз полемически возвышались: мало ли кого «власти» и «общество» считали в те или иные времена «ненормальными», «свихнувшимися» или безумцами!

В огромной работе над общим перевоспитанием людей, даже очень полноценных и ценных, государство

взяло на себя заботу и об этой особой, *трудной* (еще один замечательный эвфемизм!) группе «социально запущенных» (тоже великолепный эвфемизм!) людей.

Простое по своей этимологии, с почти открытым «дефектом», который давно уже стал русским словом, легко сближаемое с такими выражениями, как «без клёпки», «без винтика», слово «дефективный» было, однако, еще непривычным в этом применении и высоким словом.

Сопоставление высокого названия и того, что им обозначалось, открывало перед писателем большие и соблазнительные возможности.

Лидия Сейфуллина всегда очень охотно сталкивала название и предмет. Самый известный и поныне ее рассказ: «Правонарушители»; в самом его заглавии эвфемизм, который затем взрывается и — это главное! — опять *восстанавливается* во всей своей силе. В конце концов, правильно: они правонарушители. Но только *в конце концов!*

В этом рассказе слова старшей барышни:

— Старшая барышня ученые глаза сделала и сказала: «Дефективный». Очевидно, категория бродяжников...

«Дефективный» в кавычках — это технический термин. Все для этой барышни аккуратно делится на группы и подгруппы и категории.

Здесь же замечательное «очевидно»: барышня обрадовалась, что случай так хорошо входит в свою категорию.

Римма Гармониус (Вал. Герасимова, «День, идущий мимо...») выражалась еще более вежливыми, научными и высокими словами:

— с вашей *психической недоразвитостью и эмоциональным отставанием.*

Дальнейшее развитие этого мотива, но и спор с Л. Сейфуллиной у А. Макаренко в «Педагогической поэме».

Сначала историческая справка:

— В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась (ср. «Правонарушители»). В то время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного ведомства.

По контексту «посторонние миры» — это здесь губ-

продком или опродкомарм Первой запасной, то есть организации, которые занимались не соцвосовской схоластикой, а очень реальным делом.

— В то время, — продолжает А. Макаренко, — существовало множество всяких норм питания: были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи самой напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов, и нас переводили, к примеру, на санаторную норму.

За этим следует потрясающее по своему, уже *историческому* юмору уточнение и внутреннее разграничение понятия «дефективный»:

— «...тем печальнее становилось наше житье, когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально...» Что же получается (возражали им)? Слабые, недоразвитые от природы, будут получать меньше «питания», чем те, которые *уже проявили себя как преступники и только вежливо называются «морально дефективными»!*

Макаренко говорит дальше уже прямо об «эмоциональной окраске» слов, тоже сталкивает названия и предметы.

У Л. Сейфуллиной эти сопоставления вызывают главным образом тоску по простому, корявому и единственно, по ее ощущению, истинному названию.

У Макаренко идет непрерывное обламывание и обтесывание понятий, которые сами по себе очень плодотворны, но в применении могут обмануть, и обмануть даже по коренному тогда вопросу — о «питании». Макаренко ведет страстную борьбу со схоластикой в деле воспитания, с соцвосом и его терминологией и мифологией. Слово «дефективный» позволяет ему с особой силой показать несоответствие действительности и бесстыдство, вопиющую несправедливость этой терминологии. Здоровые хулиганы и мошенники лезут туда же, в морально дефективные!

Они назывались иногда и «мофективными». И. Эренбург был в то время «заведующим секцией эстетического воспитания мофективных детей» («Люди, годы, жизнь», 2—10)

Разоблачен соцвос, разоблачены и его слова. Уходит «дефективный» в этом особом смысле. Слово освободилось от этого прикрепления и становится совсем другим.

— И главное, как сложилось все дефективно... (Зощенко, «Часы»).

Это — подынтеллигентский язык обывателя. Но так же говорят, весело пародируя обывателя и вообще кого-то, самые передовые люди.

И. Ильф рассказывает в письме жене, что когда «Нормандия» уже приближалась к берегам Америки, его и Е. Петрова заставили заполнить огромные анкеты. Среди вопросов этой анкеты был и такой: «Не дефективны ли вы?»

Он переводил русским «дефективный» какое-то другое, может быть и однозвучное, но звучавшее, вероятно, более серьезно слово и как бы говорил им: сами вы дефективны! Сами вы «посторонние миры»!

В разговорной шутливой речи «дефективный» и особенно «дефективный ребенок» — о взрослых недосмышленышах, о тех, кто своекорыстно притворяется несознательным и непонимающим, и о тех, кто в самом деле «дефективен интеллектуально».

«Дефективный» был на нашей памяти строгим и вежливым эвфемизмом. Его потом очень своекорыстно применяли соцвосники и пр. Затем он как термин уходит из языка; остается «дефективный» как ироническое возвышение, которое звучит уже очень прямо, даже хуже, чем «идиот» или «слабоумный».

### БАЛОВАТЬ, БАЛОВАТЬСЯ, БАЛОВСТВО

Баловать — ласкать, лелеять, угождать, «много себе позволять» — имело у нас в старину специальное, терминологическое значение.

— *Врачевским балованием* [уходом, лечением] исцелити... — *Действенным сим балованием* [лекарством] ... и т. д.

*Это* значение ушло безвозвратно и забыто. Все остальные, и очень многие, «применения» получили вплоть до наших дней очень яркое развитие.

«Баловать» и «баловаться», «баловство» и т. д. по естественной филиации смыслов становится очень рано эвфемизмом, смягченным выражением для очень серьезных или «страшных» понятий и в бытовой и в политической сфере

— Начнешь ты баловаться... воровать по огородам. (Островский, «Горячее сердце», III—6)

— Нам тоже баловство-то в городе не очень приятно. (Островский, там же, III—9)

— Это я так, с тобой балую. (Островский, «Не все коту...», II—1 и т. д.)

— все посылаемые в острог для исправления окончательно в нем балуются... (Достоевский, «Записки из Мертвого дома»)

И другое, специфическое баловство:

— Мальчику с девочкой дружиться — это хорошее дело! Только баловать не надо... — И простейшими словами объясняла нам, что значит «баловать»... (М. Горький, «В людях», 2)

— Это уж такое дело, стыдно всем, никто никого не любит, а просто баловство! (Там же, 8)

— Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства. («Детство», 11)

И вот еще более серьезно:

— Они, старики, просты; для них это птичий грех — со снохой баловаться... («Дело Артамоновых»)

Они называли баловством широко распространенное в «крепком» крестьянстве и купечестве, почти освященное обычаем дикое снохачество.

Хорошее, нежное по своему звучанию слово, когда оно применяется в качестве эвфемизма к самым низменным и грязным вещам, звучит сильнее прямых слов.

— Видал Гришка много и сам баловался, а *говорить про это не надо.* (Л. Сейфуллина, «Правонарушители»)

Сейфуллина никогда не боялась прямых слов, и ее Гришка всегда выражался очень крепко — так, что некоторые его речения теперь трудно воспроизвести в печати. Но во внутреннем своем монологе он называл это баловством, считал, что говорить про это не надо, и это, конечно, гораздо более яркая речевая характеристика Гришки, чем многие его выражения.

— Белые казаки... мстя Андрею за уход в красные,

люто баловались с его женой. (Шолохов, «Поднятая целина», I—5)

Так это называлось.

«Баловать» получало многие профессиональные, тоже эвфемистические в своем роде применения.

— *Землишка забалована:* сор, бурьян. (Эртель, «Смена»)

Баловать землю, то есть не серьезно, не по-хозяйски, а впоследствии и ненаучно, не на должном агротехническом уровне, за ней *ухаживать* — это применение хорошо живет и в наши дни.

Так и в «разговоре» с лошадьми «баловать» — почти профессиональный термин.

— Бал-луй, черт!! — сонно... крикнул конюх. (Куприн, «Изумруд»)

И на основе этих знакомых частных и точных применений возникает большое обобщение. Баловство — все, что несерьезно, *не то,* причуды, выдумки.

— Аким. Баловство, так — про неправду все писано. (Л. Толстой, «Власть тьмы»)

— Самоварчикя, признаться, нету, да это одн*а* баловство, и из чугунчикя попьем... (Бунин, «Божье древо»)

В женском роде: это еще больше подчеркивает несерьезность баловства и притягивает другие слова (фанаберия, роскошь...). А говорит это однодворец Нечаев; речь крестьян этой категории отличалась многими особенностями — и раньше всего некоторой манерностью.

Баловство имело у нас и яркую *политическую* историю.

— Особенно буйствовал атаман Баловень (1614), — читаем мы в документах XVII века (ср. у С. Платонова и др.).

Тот вожак крестьянской массы, который тогда назвал себя «Баловнем», назвал себя так, надо думать, демонстративно и полемически.

В официальной фразеологии вся эта группа слов уже означала — «беспорядки», выступления беглых крестьян,

бродяг, разбойников, «воров», всевозможный «шум». Атаман поднимал перчатку. Да, баловень; и будет «шум».

— Ехать опасно. На Волге баловство идет несосветимое. (А. Писемский, «Самоуправцы», IV—2. Эпоха Анны Иоанновны)

Известно, какое баловство. Разъяснять не к чему, да и страшно. Лучше не произносить такие слова.

Управитель Кашкаров предписал «отыскивать из балунов и одноколков нерачительных к домоводству, хлебопашеству и господской работе» и сдавать их в рекруты. (Архив имения Вяземы, 1790) И т. д.

— Нашел своих крестьян, *как говорится,* избалованными... (Пушкин, «Путешествие из Москвы в Петербург»)

Как говорится...

Но вот огромное по своему историческому смыслу «превращение» этого понятия у Пушкина в «Анджело»:

В балованном народе
Преобратилися привычки уж в права.

Вся политическая программа Анджело, который должен привести к подчинению закону и власти «распустившийся» при добром Дуке народ, выражена в этом заключительном его афоризме. «В балованном народе преобратилися привычки уж в права»; в права, — строгому законнику Анджело это более всего страшно, и это же больше всего *веселит* Пушкина!

Баловство или права, уже осознанные? Об этом идет речь во всей литературе и публицистике, во всем большом народном разговоре вплоть до Революции.

— Тут, на мой мужицкий разум, политика шалит. Балует политика-то, — говорит Фроленков от имени крестьянства в «Климе Самгине». (IV—357)

— Побаловали *над нами,* будя! (Е. Замятин, «Рассказ о самом главном»)

Эй, берегись! Под лесами не балуй...
Знаем всё сами, молчи!

(Брюсов, «Каменщик», 1901)

Эти строки по справедливости стали знаменитыми: соединились и набрали огромную силу многие, дорого

оплаченные применения этого слова. А главное: «*Знаем всё сами*». Уже договорились, незачем досказывать и пересказывать. Теперь только не балуй: дело очень серьезно.

Серчают стоящие павловцы.
«В политику...
начали...
баловаться...
Куда
против нас
бочкарёвским дурам?!
Приказывали б
на штурм».

(Маяковский, «Хорошо!»)

Последний, сейчас уже полузабытый эпизод «баловства в политику» (женский батальон Бочкаревой в войсках Керенского).

В 1919 году Ленин подводит грандиозный итог всему историческому развитию политического «баловства»:

— Раньше западные народы рассматривали нас и все наше революционное движение, как курьез. Они говорили: пускай себе побалуется народ, а мы посмотрим, что из всего этого выйдет.

И вот этот «чудной русский народ» показал всему миру, что значит его «баловство». (Ленин. «Речь на III съезде рабочей кооперации», 28—310)

Замечательная многозначность этого нежного слова; хорошо слышный спор различных его значений и такие огромные, связанные с ним исторические ассоциации создают очень яркие и бесконечно многообразные новые «применения» его в языке советской литературы.

— Не балуй с солдатом, Устинья. Он людей убивал... (Леонов, «Лёнушка»)

Здесь поистине «всё вместе»: огромная история, счастливые переходы из эпохи в эпоху, из одной языковой сферы в совершенно другую, новую.

Солдат, человек с ружьем, который людей убивает, «страшный в прошлом в сознании трудящихся масс, не страшен теперь, как представитель Красной Армии, и является их же защитником» — так говорил Ленин на праздновании IV годовщины Октябрьской революции

на собрании рабочих завода «Электросила» № 3 (б. «Динамо») (33—96).

Это было давно (1921), а у Леонова, через двадцать два года, в самый тяжелый период Отечественной войны, так говорит Илья, который заведомо знает, что человек с ружьем и вообще не страшен, а сейчас убивает он не людей, а гитлеровцев.

Он говорит Усте старые слова с другими ассоциациями; *заведомо «не те»* слова создают у Леонова, как обычно, очень горький, замечательный подтекст.

— Иван Бабичев. *Мы тоже были баловнями истории...* (Ю. Олеша, «Зависть»)

Он всего только — «король пошляков». Но и он имеет кое-какое право говорить о себе в таком стиле.

Баловни судьбы, баловни истории имели уже к началу Революции огромную историю.

— Любезным баловням осьмнадцатого века. (Пушкин, «Комедия об игроке»)

— Молодой человек (разумеется, живший в... свете и привыкший баловать свое самолюбие)... (Лермонтов, «Княжна Мэри»)

Ср.:

В их жизни так много поэзии слито,
Как дай бог балованным детям твоим!

(Некрасов, «Крестьянские дети»)

Только *поэзия* выпала на долю этим ничем другим не избалованным детям...

Затем баловнями истории были купцы — старой и новой формации, особенно новой, «железнодорожники».

Бабичев ведет свою генеалогию с некоторым основанием от этих баловней судьбы.

В годы гражданской войны был на Украине бандитский атаман «Баловень», причинивший много бед честным людям. И он тоже, *туда же,* называл себя «баловнем» (ср. атамана Баловня XVII века).

Но самое замечательное превращение этого слова —

новые, даже не особо значительные применения его к новым чувствам, обстоятельствам, вещам.

— В 7—8 часов утра по неотчаянности во время балования курсантов Сердечного и Стильмаченко порезал себе спину малой лопатой. (Н. Тихонов, «Синий командир». Заметка «Неосторожность» в многотиражке)

— Мелкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца... (К. Паустовский, «Золотая роза»)

Л. Волков, чудесный актер, рассказывал о Вахтангове, что он «любил *баловливо* собрать репетицию».

С «баловством» связаны так или иначе многие географические названия в нашей стране, и к ним очень присматриваются наши писатели.

Река Балунь — это в «Соти» у Леонова. В горячке суровой борьбы с людьми и природой — «вдруг» река, которая некогда была прозвана так, вероятно за свою игривость, за неожиданные повертки, петли и превращения.

Главное значение этого слова в личном разговоре наших людей, в их личных бумагах приблизительно такое, как в письме Чехова к О. Книппер:

— Говорить тебе, собака, что я тебя люблю, — я не стану. Довольно баловать тебя...

Прекрасное старое слово остается очень многозначным, но совсем перестало быть многозначительным и тем более лицемерным эвфемизмом.

## ЛЮБОВНИК, ЛЮБОВНИЦА

В нашей литературе последнего времени удивительно редко встречаются эти слова, да и то почти всегда с извинениями за чрезмерную прямоту и резкость.

Это были когда-то, как известно, очень чистые, и нежные, и честные слова.

У Фонвизина в «Опыте российского сословника» (то есть словаря синонимов):

— Тот влюблен, кто в сердце своем страсть любви ощущает; но любовник только тот, кто в своей страсти изъяснился; часто случается видеть влюбленных, кото-

рые не смеют казаться любовниками; *но нередко видим любовников, которые никогда влюблены не бывали.*

Эти люди не смеют называться таким хорошим словом!

*Как сердце любовницы,* полное тайныя страсти,
*Так все громовержца дары неподкупны.*

(Жуковский, «Счастье», из Шиллера)

Основной признак — неподкупность, как у богов...

— Алексей ввел любовницу свою во внутренность сего ветхого храма. Старый священник... *поставил любовников перед налой и начал их венчать.* (Карамзин, «Наталья, боярская дочь»)

Венчание любовников. А впоследствии основной признак любовников в том и будет, что они живут невенчанные.

Там же, у Карамзина, в прямой речи, объяснение любовников, а затем такое обращение автора к читателям и читательницам:

— Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только некоторым образом подделаться под древний колорит. (V)

Эта тирада интересна, конечно, во многих отношениях... Здесь отметим только, что слова «старинные любовники» звучат очень чисто и патетически. Они — старинные, и по всему смыслу этой тирады язык их темен не только по своей лексике — он и вообще показался бы слишком возвышенным и наивным для «софистикейтед» его времени.

У Карамзина же:

— «Сельский любовник» — куплеты из одной сельской комедии, игранной благородными любителями театра.

Благородные играют неблагородных, но тоже «чувствовать умеющих» пейзанских любовников.

А вот одно из «условий» в контракте с наемным актером:

— если надобность потребует, то должен занимать

трагических царей и в операх петь благородных любовников.

Какой-нибудь Шмага (лицо историческое) должен, если потребуется, петь и благородных любовников.

Любовник — театральное амплуа. Слово специализировалось, но оно сохраняет и свой большой, высокий и чистый смысл.

У Н. Новикова в «Опыте исторического словаря» — надгробие над могилой Александры Федоровны Ржевской:

Супруг, в ней потеряв любовницу и друга,
Отчаясь, слезы льет и будет плакать век:
Но что ж ей пользы в том? Вот что есть человек!

Слово, которое можно написать, высечь на надмогильном камне! У Петрова-заики (того самого, который «лишь захотел, Виргилий стал заика»):

Мать истинная чад,
Живой источник мне отрад,
Всегда любовница, всегда моя невеста...

И т. д. и т. д.
Мать, невеста.

...Но любовник, любовница — одновременно и слова, которые незаконно применяются к самым тривиальным вещам. Уже давно приходится защищать это слово. См. выше у Фонвизина:

— Где взять любовников? Все сгибли как чумой!

Общее падение нравов в том и выразилось, что сгибли настоящие, искренние, неподкупные любовники.

В «Письмовнике» Курганова анекдот:

— Одна знатная девица читала любовный роман и, между прочим, попала на нежный разговор, происходивший долгое время наедине у волокиты с его полюбовницей, кои равно пылали страстью друг к другу. «Куды как глупо сказано! — вскричала она, бросая книгу: — на что столько разговоров, когда они уже были вместе, а притом и наедине».

Эта «знатная девица» разговаривает почти как

современная англо-американская «софистикейтед». Она уже все понимает.

Однако речь идет о «полюбовнице», а не о «любовнице». «Полюбовница» — сниженное слово, которое, как всегда, оберегает исходное, в его первоначальном значении.

В этом слове идет непрерывный и очень драматический спор значений.

— умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери — всем, что ни есть святого в жизни... (Пушкин, «Пиковая дама»)

Знаменитое:

Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам...

(Пушкин, «Из Анакреона»)

— Господин Семен, издатель Живописного Ежегодника... собирается списать Москву... отсылаю его к вам как Историку и ее любовнику. (Пушкин — М. П. Погодину)

Любовник Москвы!

И наряду с этим:

Напрасно, горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух.

(Пушкин, «Руслан и Людмила»)

Демонстративное снижение высокого слова...

В Словаре ИАН 1847—1867 годов:

— Любовник — 1) стар., любимец. *Он же со слезами и с плачем доби челом дяде своему, любовником его, и боярину Морозову...* (Царств. летопись, 185). 2) Любящий особу другого пола и пользующийся взаимною ее любовью. Верный, постоянный любовник. Любовница. Любящая особу другого пола и пользующаяся взаимною ее любовью.

Ничего не сказано о том, в браке или не в браке они «пользуются» взаимной любовью.

У Даля:

— Любовник, любовница — влюбленные друг в друга, чета любящаяся или (!) состоящая в супружеских отношениях.

Бодуэн де Куртенэ даже в начале века к этому ничего не добавил! Это уже, конечно, было лицемерие. Слово уже значило главным образом чету, не состоящую в законных супружеских отношениях.

Слова эти возвышаются и унижаются, спорят с «однозначными» (метресса, подруга, сударушка, коханка, жалечка, жиреха и т. д. и т. д.); это очень активное и необходимое слово в реалистической литературе.

Оно демонстративно утверждается в «Что делать?» Чернышевского и во всей литературе революционных демократов как честное, прямое название того, что есть, без каких-либо эвфемизмов.

Толстой отмечает в «Казаках»:

— Ему представлялась Дунька, его душенька, как называют казаки любовниц.

Хорошо называют казаки своих любовниц. Но сам Толстой очень любит слово «любовница» и произносит его с особой охотой. В «Анне Карениной» самые важные поединки разыгрываются вокруг этого слова и на самом этом слове. Весь великий роман утверждает это слово в страстной полемике — не только с ханжами и лицемерами высшего света, но и с той литературой, которая *тоже* его утверждает, по-своему.

Одно из самых замечательных, очень «человеческих» применений этого слова у Толстого — в поэме о лошади, в «Холстомере»:

— Я и молода, и хороша, и сильна, — говорило ржанье шалуньи [бурой кобылы], — а мне до сих пор не дано было испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видел меня... (3)

А Грушенька боится этого слова:

— Ах, да, представьте себе, и про меня писали, что я была «милым другом» вашего брата, я не хочу проговорить *черное слово,* представьте себе, ну, представьте себе... («Братья Карамазовы»)

— А рожна не хочется? — спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками... (Бунин, «Веселый двор»)

Есть даже особый язык любовников, два языка — при народе и еще другой.

В городском «цыганском» романсе у Апухтина:

Таял в объятьях любовник счастливый,
Таял порой капитал у иных...

(«Пара гнедых»)

Почти по-курочкински.

После Октября это большое слово переживает удивительные испытания.

Оно возникает сначала как архаизм. В первые годы Революции многие театры, и с особым удовольствием и с особым успехом у своей публики, ставят дореволюционную пьесу Алексея Толстого «Любовь — книга золотая».

Так называлась книга, оттиснутая соизволением ее имп. величества Екатерины II на предмет воспитания светскому манеру детей дворянских мужеска и женска пола. В пьесе Толстого, перед Революцией, ужасно оскудевшие «дети дворянские» искали и находили забвение в этом «календаре для любовников». А теперь искали забвения в этой книге уже не только чудом уцелевшие «дети дворянские», а все вообще обиженные и огорченные Революцией.

Но слово прекрасно жило в народной речи.

«Древний ткач» Борис Морозов, который «Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, Бонапарта бил», говорил Илье Артамонову:

— Тебе удача — законная жена, а не любовница: побаловала, и нет ее! Катай во всю силу. (Горький, «Дело Артамоновых»)

Это очень активное в народном разговоре слово в литературе о современности и в периодической печати становилось, однако, почти непечатным и неприличным словом. Если оно и применялось, то либо очень демонстративно, как дерзость, либо с непременными тут же извинениями и отмежеваниями, с зачислением в ряд таких же невозможных слов.

И мир лишь падеж
К слову «любовник — я».

(Хлебников)

Очень дерзко и несерьезно.

В пьесе А. Глебова «Инга», которая в свое время была очень популярна:

—Инга. Веришь, что я говорю не как женщина, не как любовница, а как товарищ, как член партии?

Знаменитое «поговорим как...» (мужчина с мужчиной, коммунист с коммунистом...). Инга не позволит себе говорить как женщина и тем более как любовница. Здесь уже и «женщина» — слово почти невозможное для члена партии.

— А любовник — это тот, кого... Это тот, кого любят. (О. Форш, «Товарищ Пфуль»)

Но так может говорить только какой-нибудь Пфуль, с «пфу» в самой фамилии.

Комчванство (какое важное в свое время и уже погашенное и почти забытое слово!) выражалось не в последнюю очередь в особом отношении всех «пьедестальных людей» к этому слишком общечеловеческому слову.

В ответ — передовые писатели снова утверждают это слово, демонстративно задерживаются на нем, и это звучит всегда очень полемически.

В ранних (1913) стихах Маяковского:

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.

(«Несколько слов о моей жене»)

Это было и тогда очень полемическое применение «любовницы». Слово это было ходовым и пошлым; в футуристических стихах Маяковского оно звучит необыкновенно свежо и целомудренно. И только таким далеким ходом (луна!) может Маяковский среди всей пошлости торжественной выйти к своей главной теме, которая пройдет через все его творчество и прозвучит особенно ярко в самых боевых, *политических* его стихах и поэмах, — к «громаде-любви»

Теперь писатели, по-разному, поднимают эти слова —

«любовник» и «любовница», — назло и тем слишком «железным», которые страшно его боятся, и тем, которые шли под девизом: «Мы не монахи». Особенно назло этим последним!

Ты бы отдал все неба, все чуда, все власти
За объятья одной из любовниц моих...
Не завидуй, господь, мне, грустящий и нищий,
Но в царстве любовниц себя успокой...

(В. Шершеневич, «Мой Отченаш»)

Ср. у Елизаветы Полонской:

Не к славе цирковых арен,
Где Эскамильо бьется ловкий.
Нет, за любовником Кармен
На Колчака идет с винтовкой.

(«Кармен»)

Замечательное сатирическое утверждение этого слова у Ильфа и Петрова:

— Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит... что на его амплуа холодного любовника нет других претендентов... («Золотой теленок», 2)

Холодный любовник — как холодный сапожник, если он не настоящий любовник!

У Гладкова в его маленькой трилогии памфлетов на внутрипартийные темы в начале 30-х годов:

— Да ведь она, Оврагина, хочет этого. Она — близка ему, она — его любовница. Чего ты порешь горячку, донкихота изображаешь... («Вдохновенный гусь»)

Этот товарищ называет вещи своими именами, без лицемерных эвфемизмов, без донкихотства. Но речь идет о любви очень немудрой женщины к «блестящему» и насквозь фальшивому «вдохновенному гусю».

Не тот человек и не в том случае произносит это слово, но слово утверждается наперекор всему. Особенно это характерно у Гладкова, который не раз и чаще всего таким обратным ходом выступал против всякого ханжества в области половых отношений.

У Федина в «Рассказе об одном утре»:

— Осенью, когда земля благодарна и утомлена, как любовница...

В старой, классической традиции!

У Горького в «Моих университетах», которые писались уже после Революции:

— Она как-то слишком просто произносила слово «любовница» — это не понравилось мне...

То же слово, да не так бы молвил... Это и есть подлинная мера вещей: хорошее слово, но нельзя произносить его слишком просто.

В последние годы слова эти уже совсем исчезали из языка литературы и театра.

В театре старинное и необходимейшее во все времена амплуа «любовника» могло оставаться незамещенным или замещенным весьма условно. Современные пьесы если и требовали «любовника», то «с бытовым уклоном, а не так, чтобы Ромео». Естественно, что, как пишет А. Д. Попов, «в «Ромео и Джульетте» нас увлекли цельные, крупные характеры, «*умные любовники*», которых так редко приходилось видеть в театре». («Воспоминания и размышления»)

Редко — это еще очень мягко сказано.

Выходили романы — «широкая картина жизни!» — в которых совсем не упоминалось это слово.

Не упоминается оно (нет для этого оснований) и в романе А. Коптяевой «Иван Иванович». Но вот что писала «Литературная газета» в рецензии на этот роман в 1949 году:

— Благовидная декорация для сюжета романа, построенного вокруг треугольника: муж, жена и, да извинят нас героиня романа и его автор, любовник... («ЛГ», 29/X 1949 г.)

«Да извинят нас»! Можно подумать, что автор вдруг, средь бела дня, «выразился». Как смеялся бы и негодовал в таких обстоятельствах Чернышевский!

Это даже слишком яркий пример того своеобразного прюдства, которое считалось одно время хорошим тоном в нашей литературе.

## БЫВШИЕ ЛЮДИ, БЫВШИЕ

Это выражение, которое давно уже стало словом общенародного языка, Горький вложил в уста Аристида Кувалды, владельца ночлежки.

Кувалда называл своих клиентов «бывшими людьми». А Горький от себя уточняет: почти все они «бывшие *мужики»,* «бывшие люди».

«Бывшие» в применении к целой социальной категории уже не раз появлялись в языке и в литературе.

М. Горький очень любил «Евгению Гранде» Бальзака. В этом романе, в самом начале, в переводе Ф. Достоевского:

— В политическом отношении он [папаша Гранде] покровительствовал *бывшим* (les ci-devant) и всеми средствами препятствовал тому, чтобы распродавались имения эмигрантов. (1)

Речь идет о феодалах-землевладельцах, которые только что (и не навсегда, как считал старый Гранде) стали бывшими. А Достоевский в своем переводе придал этому слову и более широкий, общечеловеческий смысл...

М. Горький еще не раз говорил о «бывших».

— Это вещь [«Гашка» Мамина-Сибиряка], написанная à la Брет-Гарт о людях «бывших»... («Письма», 1900)

— Новое предательство кадетов прекрасно завершает социальную позицию и дочерчивает психическую физиономию этих бывших людей... Это — бывшие люди — лишние люди. (1907. Арх. МГ, VII—162)

В литературе тех лет такое выражение — «бывшие люди» и «бывшие» — никого бы не удивило. Оно могло прозвучать как еще одна рефлексия о всеобщем падении и вырождении людей и культуры; декаденты не раз очень близко подходили к словам и афоризмам такого рода; они еще и не так оскорбляли человечество! Но обязательно — все человечество.

А Горький уточнил: бывшие мужики или — бывшие «лишние люди». Не те «лишние люди», которые сыграли некогда важную роль в истории русского самосознания, а уже просто бывшие люди и совершенно лишние люди (без кавычек) из интеллигентов.

И эти очень уточненные «бывшие люди» становятся у Горького в свою очередь очень большим обобщением.

Современная критика склоняет на все лады это вы-

ражение Горького, вполне справедливо видит в нем (или за ним) один из важнейших мотивов его мировоззрения и творчества.

После Октября это слово сразу же входит в обиход — и не как цитата: оно как бы само собой снова сложилось по необходимости. Это очень злой, но все же эвфемизм; бывшие люди, бывшие — это буржуи, фабриканты и помещики, эмигранты (как в «Евгении Гранде»), но большей частью — те, что остались в стране.

И Горький после Революции, уже в тридцатые годы, очень характерно *возвращается* к этому слову в «Климе Самгине»:

— А через несколько минут он [Клим] уже машинально соображал: «бывшие люди», прославленные модным писателем и модным театром». (III, 17)

Модный писатель, по представлениям Клима, — это он сам, Горький. В «Климе Самгине», этой энциклопедии русской жизни того времени, Горький не мог обойти и Горького с его новыми словами, в частности с этим — очень важным — «бывшие люди».

В книге «Елень» (глава «Ополыши») И. Соколов-Микитов пишет о деревне в первые годы Революции:

— Особое явление в быте современной деревни представляют собой «бывшие люди»: бывшие помещики, бывшие монахи, церковное «духовенство».

«Бывшие люди» у Соколова-Микитова в кавычках, но так же, как «духовенство», потому что в этом глухом краю и бывшие люди не те, о которых обычно идет речь, *не настоящие бывшие люди*. Это — ополыши.

А вообще слово это ходит без кавычек и, как очень привычное, многообразно применяется.

— Кто-то из бывших...

— Там вместе с ними булочник и некоторые бывшие женщины. (В. Катаев, «Растратчики»)

У «бывших» особый жаргон и код. А в языке обывателей, как всегда, попытка подтянуться к этому все-таки высокому в своем роде жаргону. Весь подынтеллигентский язык вольно и невольно пародирует и «манеру выражаться» бывших людей.

В иностранной печати это слово уже мелькает довольно часто как советизм — новое слово русского языка

советской эпохи — и очень различно *переводится* в том и другом лагере. В коммунистической печати — строго и дословно и чаще всего с дополнением: бывший босс, бывший богач и пр.; в буржуазной — сочувственно, a passé (французским словом и в английской речи) и т. д.

Это — полемика.

В одном случае возникла и прямая полемика по поводу этого горьковского слова и всей той философии, которая стоит за ним.

Вот замечательная тирада из книги Г. К. Честертона о Диккенсе:

— Писатель, выражающий в довольно типичной форме современные революционные стремления, — это Горький, давший одному из своих произведений *странное на мой взгляд название:* «Бывшие люди». Английские писатели никогда не дали бы подобного названия книге о людях; поэтому они, и в особенности Диккенс, несмотря не все свойственные им недостатки, могли все же содействовать проведению в жизнь столь многих преобразований. Диккенсу в самом деле удалось смягчить горькую участь бедняков, что он и считал главной целью своей жизни. Тайна его успеха в том, что все его произведения можно было бы объединить общим названием: «те, которые остаются людьми...». (Стр. 257)

Честертон знает, конечно, что Горький если не стремился «смягчить участь бедняков» при помощи тех или иных преобразований, то потому только, что имел в виду для бедняков нечто большее; Честертон знал, конечно, как *всегда* уважал человека, несмотря ни на что, Горький и какое он *видел* для него будущее... У Честертона своя, хорошо знакомая программа... Вся его тирада — необыкновенно наглядная и очень нечистая попытка унизить и обессмыслить гуманизм Горького и пролетарский гуманизм вообще.

Это слово, еще недавно очень ходкое, уходит из нашего живого языка. Сегодня оно встречается в литературе довольно редко и только в рассказе о прошлом, как одна из реалий минувшей эпохи.

Оно было и очень прямым словом и эвфемизмом. Теперь оно уже не удовлетворяет ни в том, ни в другом качестве. Оно осталось воспоминанием о том, как в свое время выражались люди в таких случаях.

## КАКОЙ-ТО, ЧТО-ТО

— *Какой-то, что-то* — вот любимейшие выражения автора, вот те орудия, при помощи которых он намеревается кого-то и в чем-то убедить...

Так писал Щедрин в «Уличной философии» о Гончарове и его «Обрыве».

Щедрин писал еще более точно и строго о том же в статье о лирике Фета:

— Влечение к этим «какой-то» и «что-то» идет непременно от слабого присутствия сознания.

Как все революционные демократы, Щедрин страстно боролся в это время «за определительность представлений и ощущений, против мистиков и эстетов». «Какой-то» и «что-то» и т. п. были самыми наглядными его противниками в этой борьбе.

Но и Гончаров, на которого так гневно обрушился Щедрин за «какой-то» и «что-то», горячо утверждал эту самую определительность, как главное в общественной жизни и литературе.

«Какой-то» и «что-то» и т. д. были не только знаменем мистиков и эстетов! И Гончаров никак не принадлежал к их числу. Эти слова были очень важным орудием и в борьбе за поэтическую и политическую точность и сопровождали *новое,* еще не отлившееся окончательно в свою форму название и определение.

Все «движение языка вследствие движения мысли» (Белинский), весь литературный процесс связаны неразрывно с этими «какой-то», «что-то», «что-то такое», «такое», «некое», «un je ne sais quoi» и т. д. Только слабые писатели никогда с ними не встречались.

Нет возможности проследить здесь весь путь этих слов. Отметим только некоторые эпизоды из их истории.

Слова эти играют важнейшую роль в поэтике романтиков XVIII века, они, собственно, составляют о с н о в у этой поэтики:

То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был.

(Жуковский, «Шильонский узник»)

Только какой-то, странный и удивляющий, мир вызывает у поэта ответное поэтическое волнение. С этого все начинается.

«Какой-то» и «что-то» были обычными и непременными аксессуарами в поэтическом языке Марлинского и его подражателей, с которыми так бурно спорили и дрались Пушкин и Лермонтов.

Но Лермонтов и сам широко применял эти слова.

Из портрета Печорина:

— Когда он опустился на скамью, положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. В его улыбке было что-то детское... Его кожа имела какую-то женскую нежность... («Максим Максимыч»)

Этим не исчерпывается гениальный портрет, но при помощи этих «какой-то» и «что-то» обрисовано едва ли не самое главное и решающее.

Тургенев рассказывал о юношеских увлечениях своего приятеля:

— Если и водилось за моим приятелем в молодости какое-нибудь неясное, но сильное стремление к тому, что весьма мило названо «чем-то высшим», то это стремление в нем давным-давно угомонилось и зачичкало. («Три портрета»)

Очень жаль, что зачичкало какое ни есть стремление к «чему-то высшему» и уступило место слишком грустной определительности.

И сам Щедрин, в борьбе против *такой* определительности, благословляет «нечто высшее», даже расплывчатость.

— Благородно мыслить — ведь это значит расплываться, значит смущать толпу всевозможными несбыточностями, значит подрывать, потрясать... Расплывайтесь, но не коченейте!.. Доблестнее и для самого охранительного дела выгоднее расплываться, нежели погрязать. (13-е письмо к тетеньке)

Один из самых блестящих сарказмов Щедрина. Он страшно беспокоится о судьбе охранительного дела, «входит в положение» охранителей.

Но это и программа: лучше расплываться (как он и говорит), чем коченеть и погрязать.

У Л. Толстого, величайшего из реалистов, очень много «каких-то» и «что-то».

Вот обычные:

— По какой-то... развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист... («Два гусара»)

— От какого-то внутреннего волнения... (Там же)

И другое «какой-то»:

— Какой-то прекрасный поток давно знакомой, но впервые высказанной поэзии... («Альберт»)

Здесь все слова обязательны: «давно знакомая» и «впервые высказанная», «прекрасный» и «поток», и непременно при этом «какой-то».

Уже высказанная, поэзия должна оставаться «какой-то». Это — программа.

Бесконечно различные «какой-то» и «что-то» проходят через всю нашу литературу в постоянном споре между собой.

— Темная ночь охватывала небо и землю, охватывала душу сладкой истомой, и было так хорошо, так сладко, так жаль чего-то. (Гарин-Михайловский, «Гимназисты»)

— Он чувствовал, что тут что-то носится, что-то есть... Это что-то был он сам, только другой, искренним словом пробужденный искренний человек... (Г. Успенский, «Люди среднего образа мыслей»)

«Что-то», но уже искреннее и убеждающее, в отличие от всех прежних; что-то, делающее человека самим собой и — другим. «Что-то» — Революция!

В эти же годы и о том же у людей не среднего, а самого «высокого» образа мыслей:

Рвется к чему-то стихия нестройная,
Спорит о чем-то с враждебной судьбой...

(Вл. Соловьев, «Айса»)

Вечный спор о чем-то (в том числе и о Революции), вечно бесплодный спор, потому что судьба (айса) все равно враждебна счастью людей. Но только этот безнадежный спор и достоин поэта.

Вл. Соловьев был, как известно, злым противником символистов и декадентов. Но символистская и декадентская проза и поэзия повторяют на все лады это же *соловьевское* безнадежное «что-то» и «какой-то». В любом взятом наугад отрывке из литературы этого стиля «что-то» и «какой-то» — доминанта, слова, дающие всему *тон*.

— Казалось, не ее личная беда создавала это выражение, а что-то другое, более общее и невыносимое. (С. Городецкий, «Ярмарка»)

Не знаю сам, какая,
И все ж я миру весть.

(В. Брюсов)

И у Бунина, весьма далекого от такого «символизма»:

— Мне опять чудилось, что этот месяц — бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина — тайна, часть того, что за пределами познаваемого... («Туман»)

И что-то вольное, живое,
Как эта синяя вода,
Опять, опять напоминает
То, что забыто навсегда.

(«В открытом море»)

После Октября разворачивается с новой, невиданной еще силой борьба за определительность.

Стало быть, никаких «какой-то» и «что-то», которые были главным орудием мистиков и эстетов? Даешь прямые слова?

Так и думали в свое время иные писатели, и притом передовые по своим убеждениям и настроениям. Эти слова были очень подозрительны борцам за понимание происходящего, за радость понимания и точного называния, которая выше всех восторгов недоумения.

Но при помощи «какой-то» и «что-то» и т. д. утверждало себя, как это бывало не раз и в прошлом, и *новаторство.*

— Все литературное творчество, в прозе и стихах, насыщено ...единой для всех людей жаждой чего-то неуловимого словом и мыслью, едва уловимого чувством, — таинственного чего-то, чему мы дали бледное имя — красота и что цветет в мире — в наших сердцах — все более ярко и празднично. (Вступительная статья к каталогу «Всемирная литература», 1919)

Это не «ранний Горький», которому, мол, можно это простить «конкретно-исторически», потому что он тогда

еще чего-то недопонимал и т. п. Это Горький самый настоящий, это главный мотив всего его творчества.

В «Деле Артамоновых»:

— В этом веселом делателе гробов было, соответственно его имени [Серафим], что-то небесно-радостное, какой-то трепет... (2)

— Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы... (Там же)

Большевик Рябинин («Достигаев и другие») чудесно говорит о Донате, что у него «слова, достигшие высшей правды». Это лучшее, что можно сказать о Донате и вообще о мудрых людях из народа, и это, конечно, очень определительно.

Но вот в 1927 году Горький работает над «Климом Самгиным» («Сорок лет») и так пишет об этом Сергееву-Ценскому:

— В сущности, это книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле и еще по какому-то мотиву, неясному мне, пожалуй. Вероятно, «неясность» эта плохо отразится на книге...

*Какой-то* неясный, *пожалуй,* мотив, — а речь идет о самом главном.

Главное внутреннее стремление фадеевской речи — стремление к словам «по-стариковски прочным», по его же прекрасному определению. Но одновременно он чувствует неодолимое влечение к словам, которые не достигли этой прочности.

Вот старик Сарл с очень прочным в своем роде мировоззрением:

— Всю ночь Сарл провел у реки, без сна, согнувшись на камне, глядя на темную воду, весь отдаваясь прозрачному и легкому, очищенному от понятий потоку образов и чувств, окрашенному шепотом воды и ритмом крови... («Последний из удэге», 1)

Но если его внутренняя речь была «очищена от понятий», то, конечно, состояла она вся из «какой-то» и «что-то».

Однако это был и не так называемый «поток сознания» (очень знакомый в то время термин). Фадеев подчеркивает много раз, что герой его, мудрый человек, судит обо всем правильно («мир жесток, но приятен»).

И долго еще, в своей авторской речи, Фадеев говорит с несомненным удовольствием и сочувствием языком Сарла. И здесь уже в фадеевской речи много прямо предъявленных «какой-то» и «что-то».

В том же романе совсем другие «какой-то» и «что-то», когда Фадеев говорит об интимном мире Лены Костенецкой и ее матери.

— Это был свой интимный мир Лены и ее матери: понимающих друг друга взглядов, нежных касаний, тихих разговоров, мир ощущений и созерцаний, бездейственный и незащищенный, но правдивый. Мир отца — мир действенный, многолюдный и шумный (настолько шумный, что казалось иногда, будто отец старается своим громким голосом заговорить какую-то пустоту в себе), — этот мир был чужд и непонятен им. (Там же)

Только у отца, видимо, не было никаких «какой-то» в его речи, но только потому, что ему всегда нужно было заговорить «какую-то пустоту» в себе.

Очень часто встречаются у Фадеева эти слова, и почти всегда это означает: не стоит пояснять, неловко пояснять, читатель сам это знает из своего личного и общественного опыта.

— Что-то пронзительно-печальное было в их лицах... («Молодая гвардия»)

— То в одном, то в другом глазу [у Проценко] что-то просверкивало, точно какая-то резвая искорка поскакивала на одной ножке из глаза в глаз. (Там же)

— Жажда чудесного дружеского разговора о чем-то светлом, как шепот листвы. (Там же)

— Развела руки, будто выпустила что-то дорогое... (Там же). И т. д.

Фадеев умел, как никто, устанавливать особую, интимную связь с понимающим читателем на основе общего с ним опыта. И при таких отношениях «какой-то» и «что-то» были необыкновенно естественны и как бы сами оборачивались «противоположной» формой: такое, то, это — без дополнений. Читатель сам все доскажет.

— И еще такое, как у человека, прыгающего в холодную воду. («Последний из удэге», 2)

— То чувство, которое вызывает девичья красота. («Молодая гвардия»)

— Герой труда с тех первых лет восстановления хозяйства.

— Пройти через «это» [в первый раз убить врага].

И, «наконец, об этом же заговорили книги» (там же).

Здесь «это» — половые отношения. Сколько было таких «это», недоговаривающих и ужасно нескромных эвфемизмов! У Фадеева оно звучит доверительно, но мужественно и по-товарищески. Особого рода определительность и уточнение — через недосказывание.

«Орнаментальная проза» 20-х и 30-х годов вся пестрела этими «какой-то» и «что-то».

Иногда это были откровенно символистские и декадентские цитаты и реминисценции или интересничание разного рода. Иногда это было подлинное воскрешение слова.

Но вот что более всего характерно.

Писатели обходились без «какой-то» и «что-то» и прочих выражений своей неуверенности именно тогда, когда они предлагали неслыханные, «чудовищные», «вакханальные», «неописуемые», по терминологии тех лет, эпитеты и метафоры и сближения понятий.

— Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежно-сиреневые дымчатые отсветы... (Шолохов, «Тихий Дон»)

— В пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзался отвесно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок. (Там же)

— Капала на ноги с весел несбыточного цвета веселая вода. (Вс. Иванов, «Заповедник»)

— Матовое одиночество... (Вс. Иванов, «Путешествие в страну...»)

— Лошади свешивались над хлипкой пропастью, собирая дыхание, а синие сливы их глаз наливались желтизной отчаяния. (Н. Тихонов, «Дискуссионный рассказ»)

— Весь нижний мрак... вопил навстречу, перекатываясь в каменных ладонях эхо... (Там же)

— Невский млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. (И. Бабель, «Дорога»)

— Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни. (И. Бабель, «Пан Аполек»)

— Железное небо, простреленное звездами, ехало по крышам как броневик. (В. Катаев, «Отец»)

— В костяном щелке ночных выстрелов, похожих на щелк биллиардных шаров, и в щелке биллиардных шаров, похожих на выстрелы, осаждаемый с трех сторон красными, город шел к гибели. (В. Катаев, «В осажденном городе»)

— При фиалковом огне спички. (В. Катаев, «Огонь»)

— Морщил лобик поросенок с фонтаном зеленой петрушки в невинных зубках. (В. Герасимова, «Дальняя родственница»)

— Тополя дышат нежной сладостью... трепетом стройности. (В. Юрезанский, «Ржи цветут»)

— Стеклянные глаза красноармейца, — в них застыл ужас больной крови и радость смерти. (А. Костерин, «Морское сердце»)

— Блеклая лунная муть озаряла по временам далекие углы полей, придавая вдруг дрожащую важность простоте ночи. (Е. Габрилович, «Начало...»)

Естественно, что здесь нет никаких «какой-то», «что-то», «как бы». «Невозможные» или по крайней мере рискованные эпитеты и сравнения должны предлагаться уверенно, убежденно. Это — работа под куполом: достаточно вдруг усомниться в успехе и в самом себе — и тогда все рухнет непременно.

Но почти всегда в таких невозможных случаях «какой-то» и «что-то» прямо предъявлены у Малышкина.

Как и любимый его герой Соустин («Люди из захолустья»), он понимал, что «скоро уже не нужно будет его умело сделанное словесное плетенье, его хвалёный язык, сложно-придуманный, полный отглагольных существительных под Анри де Ренье, каким он обыкновенно писал свои отчеты о парадах на Красной площади и о пленумах Моссовета» («Москва»).

Он искал для себя какого-то другого языка.

— Нарастал какой-то великий, обжажданный человечьими мечтами день... набегали сквозь дремоту и будили какие-то силовые волны. Закат догорал рдяно, чересчур очерняя, как бы обугливая предметы...

Малышкин делился с читателем своими сомнениями. По стилю своего особого разговора с ним Малышкин

был очень близок к Фадееву. И Малышкину же принадлежит прямое и товарищеское признание, что в определенный период он и его товарищи искали именно «невозможные образы».

Долгое время эти слова — какой-то, что-то — почти не встречались в нашей литературе. Будто в самом деле писатель всегда находил окончательные для всего имена и никогда не было того желания поделиться с читателем неуверенностью в своем слове, которое очень хорошо знали и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и Горький, будто возможна без этих слов «езда в незнаемое»!

Но вот все громче и полемичнее звучат снова «какой-то» и «что-то». К. Федин писал недавно:

— Сердце (да и не одно оно, а все человеческое, что во мне живет) требует, чтобы я сделал то «лучшее», о котором не перестаешь мечтать, как о лучшем. Это, конечно, книга — к а к а я - т о полноценная и полнокровная, от всей души написанная книга, зовущая к себе денно и нощно... И когда приходилось писать, не переставал, конечно, надеяться, что пишу это лучшее. Но приходило время, разочаровывался и опять с тоской ожидал, когда примусь за лучшее, за дорогое сердцу дело, за книгу, к а к у ю-т о книгу, которая будет «главной» во всей и для всей жизни. («Писатель, искусство, время»)

Разрядка всюду фединская!

У С. Орлова:

Просто захотелось оглянуться,
постоять у моста, у воды,
до неба тростинкой дотянуться,
прикурить цигарку от звезды,
услыхать травы произрастанье,
трепет заполуночных планет
и еще т о г о, ч е м у н а з в а н ь я
в н а ш е м я з ы к е, п о ж а л у й, н е т.

У Л. Мартынова:

Что-то
Новое в мире.
Человечеству хочется песен.

Уходит та плоская и самодовольная «определительность», которая, конечно, не имела ничего общего с поэ-

тической точностью. Она в такой же мере оскорбительна для читателя, как и все попытки подмигнуть ему и увести в «какое-то» и «что-то», за которыми ничего нет. Практически эта «определительность» могла означать только преобладание готовых слов и общих мест, а иногда очень напоминала жалкую «воблушкину резонность», по гениальному выражению Щедрина.

После многих, очень драматических, смен возвращаются эти честные, доверительные и, по-видимому, необходимые в поэтическом языке большого новаторского искусства слова: «какой-то» и «что-то».



## «СОБСТВЕННЫЙ» И ПЕРЕНОСНЫЙ СМЫСЛ

Уже в народных этимологиях совершается не только невольное переосмысление слова, но чаще всего и сознательный *перенос* хорошо угаданного смысла слова.

В языке литературы «перенесение речений или предложений от собственного знаменования к другому» (так Ломоносов определял троп) получает свою высшую форму.

Еще недавно формалистская теория литературы учила, что в тропах раньше всего разрушается будто бы основное значение слова. Это было очень несправедливо по отношению ко всей подлинной поэзии не только настоящего, но и прошлого.

В поэтическом языке вторичные признаки, выдвигаемые поэтом в тропе, непременно усиливают различными средствами самое важное значение слова.

«Голос яркий соловья», «Дева русская в пыли снегов» — Белинский увидел в этих тропах Пушкина важнейшие особенности его поэтического языка: «ослепительный блеск и кроткую влажность». Не разрушается, конечно, а утверждается в них с новой силой «голос», «пыль», «яркость», «соловей» и «дева русская» — все участвующие слова.

Знаменитое «черное солнце» в «Слове...» и в финале «Тихого Дона» у Шолохова (ср.: «И даже не глаза, а черные солнца, *выражаясь по-персидски...*» у Бунина, «Натали»).

Не разрушено, конечно, не померкло, а еще ярче засияло *после этого* солнце!

Только в языке декадентской литературы происходит в самом деле разрушение центрального значения, которое нисколько не дорого писателю.

Так и в нашей литературе, особенно в так называемой орнаментальной прозе с ее убийственными тропами, слова иногда подсвечивались тропами таким образом, что они теряли свои решающие смысловые очертания и важнейшие связи с окружающим, то есть превращались в бессмыслицу.

Но в главном движении литературы тропы самыми разными способами — и по преимуществу самыми трудными и опасными (оксюморон!) — вновь узнают и утверждают важнейший смысл слова, то есть отвечают основному внутреннему стремлению языка.

В нашу эпоху, в нашем обществе самые точные и специальные собственные значения особенно часто и «охотно» превращаются в целые идейные комплексы, в большие обобщения.

Переносит знаменования «сам» язык, то есть практическое «действительное» сознание, «непосредственная действительность мысли», по определению Маркса; это — успехи общенародного мышления. Поэт встречает это движение, закрепляет его в наиболее счастливой форме.

Иногда в современной поэтике все бесконечно различные тропы объявляются метафорами. Это имеет свои основания в самой этимологии слова: метафора и значит перенос («прѣвод» по старым риторикам). Это имеет и свой особый пафос: границы между тропами очень условны, школьные определения наивны, здесь все вместе, по самому смыслу вещей. Так лучше определим все это одним большим словом!..

Но для того, чтобы оценить по достоинству различные приемы метафоризма, совершенно необходимо наметить хотя бы очень условные границы между тропами. Что, собственно говоря, произошло? С чего началось?

Есть по крайней мере два обширных класса тропов: метафора и метонимия. В метафоре перенос совершается по праву какого-нибудь вновь открытого поэтом сходства; в метонимии сопоставляются объемы и калибры понятий. Затем начинаются уже всевозможные превращения и даже волшебства, как выражался в таких случаях не только Бальмонт, но и Щедрин... Однако вначале в

основе переноса и перехода лежал непременно тот или иной механизм.

Всегда интересно обнаружить это «собственно говоря». Тогда и «другое знаменование» становится вдвойне ценным.

В этом цикле собраны слова, в которых спор «собственного» и переносных значений, как мне казалось, особенно ярок, интересен и плодотворен.

## УТРОБА

В рассказе Л. Сейфуллиной «Выхваль» есть «бабка-телеграф». Так ее прозвали потому, что она первая вестовщица и сплетница на селе.

Она сейчас же появилась в избе Долженковых, когда приехал к ним старший сын Матвей, в прошлом деревенский парень, а теперь артист оперы в Москве.

— Юркая старушонка... пронырнула под локтями мужиков к столу, протарантила дребезжащим говорком:

— Матушка, Аксинья Митровна, утроба ты моя, из-за тебя я не сплю... Да радость вам какая! Да как же, о-ох, господи-и!.. Соколик-то, сынок любимый, Матвей Никанорыч, налетел. Налетел, милый, к родителям, налетел, утроба! О-ох!

Ей предлагают стаканчик, она отрицательно качает головой, но одновременно протягивает цепкую руку за стаканчиком.

— Только уж для тебя, утроба, для тебя, Матвеюшка, с радости, с проздравленьем пригублю. Ты мне все одно, как мой сынок, Павлушанька... Заместо его, утроба!

— У меня зять коммунист, дюже дельный, вот бы с тобой, утроба, он побеседовал всласть. Только теперь в тюрьме сидит, каператив растратил.

И т. д.

Затем, по ходу действия, дикие деревенские люди очень обидели, чуть не убили Матвея. Потрясенный всем происшедшим, Матвей вошел в лес.

— Музыка лесных жизней, игра света и теней, смешанный запах юного цвета вызревающих ягод и прели от прошлогодних листьев — эта литургия звуков, красок, ароматов всегда отрадна была для Матвея. Здесь, в родоначалии искусства, певец вспомнил, что библей-

ское злое сказание праотцем его называет Каина. Быть может, древние земледельцы и пастухи облыжно заклеймили одного из сыновей Адама тавром братоубийцы за музыку, песни и пляски его потомков. Им, взрыхляющим, оплодотворяющим темную тучную утробу земли, ненавистными стали эти потомки, творцы иных, неведомых ценностей. Тут же, разом, Матвей вспомнил постоянное ласкательное и хвалебное слово бабки-телеграф «утроба» — и усмехнулся. Вместе с «утробой» сколько цветистых, художественно выразительных слов знает та же бабка, сколько песен! Как мужики и бабы слушали его пенье, как пляшет сумрачный Федор [его, Матвея, деревенский брат]! Но все это для них не подлинная жизненная ценность. Главное — утроба!..

Л. Сейфуллина, вероятно, и начала писать этот рассказ в ту минуту, когда перед ней развернулась эта цепь замечательных превращений слова «утроба».

Тяжелое, по самому своему звучанию как бы беременное слово — утроба матери и утроба земли; интимный и естественный перенос смысла, который делает его уже формой обращения и присловием; в устах бабки-телеграф оно звучит криводушно, но это, как всегда, только усиливает его «собственный», первоначальный смысл.

И она же утроба, — родоначальник искусства, которое древние считали окаянным, братоубийственным (и это очень нравится Л. Сейфуллиной).

Затем опять утроба — собственное брюхо, которому единственно и поклоняются дикие люди.

Большое и святое слово, которое именно поэтому распинается в самых страшных формулах ругани вместе с «матерью»: «в утробу-мать» и т. д. — у А. Веселого и др. Есть что распинать!

Л. Сейфуллина шла от великолепной *драмы слова.*

Рассказ свой она, однако, назвала другим словом — «Выхваль», — которое в свою очередь дает целое представление.

Только к самому концу рассказа мы узнаем, что́, соб-

ственно, значит это слово, которого нет у Даля (ср. у Даля: «выхвал — м., выхвалка, ж. — образ действий по значению глагола «выхвалить», — и больше ничего).

Дед Парфен говорит Матвею:

— Выхваль ты, вот ты кто! Есть такой зверь, выхваль. За шерстку, за покрышку ценится, верхушкой выхваляется, за то и зовут выхваль... И, как тебя, его только городские мотальщики покупают. Привелось мне однова этого выхваля у купца видать. Дак тот его за собственные деньги купил, а на тебя казенное жалованье тратют. Ну...

Итак, испорченное «выхухоль» или «народная этимология» этого слова?

Так объясняет происхождение этой «выхвали» одна из читательниц моей книги, А. Шкодина (г. Таруса), и с этим, кажется, надо согласиться... Но это красочное слово уже давно применялось и к людям.

Заходила буйница выхвали старинной,
Бороды, как молнии, выпячивали грозно.

(Есенин, «Марфа Посадница»)

Кичливая, буйная и бородатая, — выхваль. Почти так и Парфен применяет это слово.

— Выхваль и есть! Как приехал, выхвалялся капиталом, одежей. А с кого на тебя капитал-то содрали?

Дед Парфен — сама деревенская дикость, злая, темная и еще большая тогда сила. Но дед Парфен несомненный художник, тоже артист. Он вспомнил — если не выдумал тут же — свою «народную этимологию» и вышел от нее на простор большого художественного обобщения: весь город, все городское, весь новый строй жизни для него «выхваль». Отомстил всему, что ему непонятно и ненавистно, этим словом и в нем отвел душу.

Все герои этого рассказа талантливо говорят, то есть талантливо исполняют язык, разворачивают слова и сами радуются, когда открывается новый поворот слова.

Все, даже гармонист Митя, который в конце рассказа чуть было не убил Матвея.

Матвей зачаровал всех своим пением. От этого пе-

ния всем стало «хорошо-то как, аж мурашки по спине», а гармонист Митя в искреннем восторге заявил:

— Отчаянно поет! Замечательно!

Это и стиль самой Л. Сейфуллиной: петь надо хитро, искусно и отчаянно, с некоторым окаянством.

Так написан и этот ее рассказ, а все необходимое — и главный мотив, и основной конфликт, и стиль самого повествования — подсказали ей превращения двух замечательных слов — «утроба» и «выхваль».

## КОВЫЛЬ

— Седой ковыль тихо покачивался на склонах кургана, жалкие остатки ковыля. Время его, думал я, навсегда проходит, в вековом забытьи он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шепот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящей без слов о ничтожестве земного существования.

Так писал Бунин в рассказе «На Донце».

«Ковыль» был издавна большим поэтическим образом, героем многих песен, он тянул за собой многие исторические и литературные ассоциации. Бунин по-своему прорвался через эти готовые ассоциации и передал ковылю свои самые сокровенные думы о старом и новом и вообще о ничтожестве земного существования.

И вот другой разговор о ковыле:

— В Москве, на Воздвиженке, в Пролеткульте, на литературном вечере МАПП можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а «седой ковыль») имеет свой особый запах. Помимо этого, можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы.

Какой-нибудь, не нюхавший пороха, писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах, — непременно — «братишках», о пахучем седом ковыле, а потрясенная аудитория, преимущественно — милые девушки из школ второй ступени, щедро

вознаграждают читающего восторженными аплодисментами.

*На самом деле ковыль — поганая белобрысая трава.* Вредная трава, без всякого запаха. По ней не гоняют гурты овец потому, что овцы гибнут от ковыльных остей, проникающих под кожу. Поросшие подорожником и лебедой окопы (их можно видеть на прогоне за каждой станицей), молчаливые свидетели недавних боев, могли бы рассказать о том, как безобразно просто умирали в них люди. Но в окопах, полуразрушенных непогодью и временем, с утра валяются станичные свиньи, иногда присядут возле сытые гуси, шагающие с пашни домой, а ночью, когда ущербленный месяц бесцельно гуляет над степью, в окопы, которые поглубже и поуютней, парни из станицы водят девок.

Лежа ведут немудрые разговоры, чья-нибудь рука нащупает в траве черствый предмет — ржавую нерасстрелянную обойму. Позеленевшие патроны цепко приросли друг к другу, остроносые пули таят в себе невысказанную угрозу, но двое в окопе не спрашивают себя: почему в свое время не расстрелял эту обойму хозяин окопа, не думают о том, какой он был губернии и была ли у него мать. Покуривая, парень говорит, что с Гришки Дутеха надысь высудила алименты, что Прохора опять прихватили с самогонкой, что Ванюрка телка слопал, а страховку получил!

*Ну, может ли ковыль после этого иметь какой-нибудь запах?* («Лазоревая степь»)

Так писал М. Шолохов в авторском вступлении к своему очень романтическому и беспощадно правдивому рассказу, который был напечатан впервые в журнале «Комсомолия» в 1926 году. В этом рассказе молодого Шолохова уже очень хороши и ярки были и цвета и запахи. Но ковыль, без цвета и запаха, был твердо поставлен на свое место.

— Ковыль, белобрысый и напыщенный, надменно качал султанистыми метёлками.

Большое это вступление к «Лазоревой степи» печаталось только в ранних изданиях рассказа. Затем это вступление, с его характернейшей внутренней полемикой на тогдашние литературные злобы дня, автор опустил.

Что до ковыля, то осталась только эта полемическая

строчка: не седой, а белобрысый ковыль с огромными, однако, претензиями и самомнением («напыщенный»).

И все же Шолохов не «изжил» ковыля! Не поступило никаких опровержений, да и невозможно было бы опровергнуть те «факты о ковыле», которые привел тогда Шолохов; сохраняют всю свою силу и слова Шолохова о писателях, не нюхавших пороха, которые, туда же, лезут со своим седым и пахучим ковылем.

Но «ковыль» и после всего этого остался в высшей степени поэтическим словом.

У самого Шолохова:

— И седое, вихрастое море ковыля... («Путь-дороженька»)

Все-таки седой, а не белобрысый.

— Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. («Продкомиссар»)

Заковылилась сединой.

Очень поэтический, каково бы ни было его «собственное» значение, «ковыль» играет очень важную и, конечно, всегда своеобразную роль в поэтическом языке.

...Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.

(Блок, «На поле Куликовом»)

Рой серых сел
маячит в голый дол;
порывы пыли,
вырывы ковыли —
сюда отдай бунтующий
глагол.

(А. Белый, «Пустой простор», 1905)

А с земли ковыль широкий шум доносит...

(И. Коневский, «В поднебесьи»)

И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,

Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.

(Есенин, «Запели тесаные дроги...»)

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

(Есенин, «Спит ковыль...»)

Курган языческой Рогнеде
Хранил девические кости,
Качал ковыль седые ости...

(Хлебников, «Ночь в окопе»

В 1922 году В. Лидин читал в Союзе писателей свой рассказ «Ковыль скифский».

Самые различные лирические и политические «применения», ассоциации личные и исторические, бесконечная цепь воспоминаний...

А каков, собственно говоря, его цвет?

— Ветер погладил ковыли, они стали под его рукой *серебряны* и поклонились до земли. (Л. Рейснер, «Казань»)

— Вот качается ковыль и трясет *серебристой бородой.* (П. Замойский, «Лапти»)

Спускается солнце за степи.
Вдали *золотится ковыль.*

(«Дальневосточная песня»)

— Султаны *цветного ковыля* на крынках... (Леонов, «Золотая карета»)

Горит *самоцветный ковыль*
На пригорках родного колхоза.

(Тряпкин, «Первый снег»)

В лирическом пейзаже цвет его самый различный, «лирический». Он, вообще, цветной и многоцветный и самоцветный.

В гражданскую войну белогвардейский атаман Фиц-

хелауров призывал казаков «освободить наш степной ковыль».

Ковыль должен был стать чем-то вроде герба казачьего сепаратизма...

В Великую Отечественную войну снова ковыль — из «Слова».

Над морем снова знамя вознесут
фаланга танков и казачья лава.
Они на юг и к западу идут
ковыльною дорогой Святослава.

(С. Марков, «Золотой Чернигов»)

Фаланга танков и казачья лава в общем походе по ковыльной дороге.

Некогда, в «Улялаевщине», у Сельвинского он воплощал кривую, но неукротимую силу природы и ее, так сказать, анархизм. Ковыль был в своем роде мил поэту, хорошо входил в его песню:

Ехали казаки. Перекати-поле,
полынок да чебыряк, ковыль да ковыль.
Ехали каза-а-аки. Перекати-по-о-ле,
полынок серебряный да сизый ковыль.

И снова ковыль у Сельвинского, ковыль — на целине:

А там типец, трава эркек, грудница...
И, наконец, за этими тремя
летит ковыль, султанами гремя,
когтями вцепится и воцарится...

(Сельвинский, «Кокчетав», 1955)

Теперь у Сельвинского злой, слишком громкий и напыщенный, глупый ковыль возглавляет целый отряд точно обозначенных вредителей.

Пародия Сергея Васильева на стихи Софронова:

По коням, конники,
братишки да сестренки!
Цимля-Цимлянская
виднеется вдали.

Э-гей, э-гей, подшлейники-постромки,
э-гей, э-гей, копыта-ковыли!

«Ковыль» — такой непременный аксессуар казачьего пейзажа, применяемый и вкривь и вкось («копыта-ковыли»), что он уже просится в пародию.

Окончательное научное разоблачение «ковыля» совершилось, собственно говоря, уже очень давно.

В «Плаче Ярославны» («Слово...») есть чудесная строчка:

— Чему, Господине, мое веселие по ковылю развея?..

Проф. Шарлемань уже давно дал такое разъяснение к этой строчке:

— Ковыль своим однообразием утомляет зрение, у иных производит головокружение и наводит какое-то уныние на душу... («Записки натуралиста»)

Это, по-видимому, бесспорно.

А «ковыль», большое слово-образ, приобрел еще большую поэтическую силу после всех этих страшных разоблачений.

## КОНЬ И ЛОШАДЬ

*Конь* — высокое слово.

Когда в начале XIX века от «коня» было образовано слово «конник», это показалось архаисту Ив. Ив. Дмитриеву недопустимой профанацией поэтического понятия, одним из тех «созданий, как они [новаторы] называют собственные нелепости».

И вот Дмитриев переводит оные «на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина»:

— Конник — конный всадник. Нынешние авторы, *любя подслушивать,* оба свои названия (т. е. конник и еще «пехотинец») переняли у рекрутов. («Взгляд на мою жизнь», 1823)

С рекрутами спорить не приходится — для них «конь» всего только строевая лошадь. Но как посмели обломать это высокое слово литераторы, которые знают, что́ такое «конь»! И главное — не смеет литература *подслушивать!*

А *лошадь* — рабочее слово; лошадь в самом деле работает (а не ходит под седлом). Это и более широкое, чем конь, родовое понятие.

Ах ты, конь мой, конь, лошадь верная.

(«Уж как пал туман...»)

— Конь — добра лошадь. (Нар. песня — у Чулкова, 1—139)

— В славенских наших книгах конь лошадью нигде не называется, и слово «лошадь» хотя и неисходимо нашему языку присвоено, однако всегда пребудет словом низким, как «кафтан» и все новые, некстати введенные в наш язык, дикие слова. (Сумароков)

Каждое из этих слов имеет свой калибр, свое назначение, свои постоянные эпитеты.

То́, что можно сказать о коне, нельзя сказать о лошади, и наоборот.

— А что, он едет хорошо? — спросил я. (*О рысаке не говорят: бежит.*) (Тургенев, «Лебедянь»)

— Ты ее только не запрягай, а то она не ездила.

— Как коня запрягать!.. (Л. Толстой, «Казаки», XXII)

Но там же:

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал «добра *лошадь»,* а не *конь,* это означало особую похвалу коню.

Так специалист называет нечто единственное в своем роде экземпляром такой-то серии («Броненосец «Потемкин» — хорошая лента...).

— Ну, а лошади их понравились тебе? — спросила Долли [кучера Филиппа].

— Лошади — одно слово. И пища хороша... («Анна Каренина», 6—24)

Так и у Эртеля специалист говорит о замечательном коне, рысаке Кролике, который вышел победителем в состязании с конями такого же высокого класса:

— Это была длинная лошадь с не особенно широкою, но удивительно мускулистою грудью, с прямой шеей, с «подлыжеватыми» ногами и низко поставленным хвостом. («Гарденины», 1—2)

В науке о коннозаводстве: «К вопросу о неврозах

рысистых лошадей, связанных с ипподромными испытаниями» (тема диссертации), «Резвостные и некоторые физиологические показатели различных породистых групп лошадей».

Но «без осанки и конь — корова» — гласит старая и чудесная народная поговорка. Даже «не лошадь», а корова. Все дело в осанке!

Взаимоотношения этих слов «конь» и «лошадь», споры между ними имеют свою ярчайшую общественно-политическую (именно так!) и литературную историю.

«На семь деревень одна лошадь». Мужик был однолошадным или, чаще, безлошадным. Это был главный показатель его имущественного положения. «Лошадь» значила страшно многое. Но дворянская поэзия не замечала лошадей, а самое слово считала непоэтическим.

— Поэт Фет сорок шесть раз упомянул в своих стихах слово «конь» и ни разу не заметил, что вокруг него бегают и лошади.

Конь — изысканно, лошадь — буднично. (Маяковский)

Однако и «лошади» звучали иногда совсем не буднично. Собственные лошади, *выезд,* были, особенно в купеческом быту, основным признаком настоящей победы в жизненной, то есть коммерческой, борьбе.

— Для русского купца, особенно москвича, толстая статистая лошадь и толстая статистая жена — первые блага в жизни. (Белинский, «Петербург и Москва»)

Это был, так сказать, ценз. Но это был также величайший и совсем не пошлый соблазн! Уже давно было отмечено, что самые любимые героини Островского, — как и он сам, по-видимому, — очень любили лошадей, и это значило для них: большая, яркая жизнь, дух захватывающее движение.

— Негина. Какие у вас лошади! Вот бы прокатиться как-нибудь...

— Негина (*у окна*). Как покатили! Что за прелесть! Счастливая эта Нина... («Таланты и поклонники»)

По всему смыслу комедии это не пошлая мечта Негиной: прокатиться на хороших лошадях.

У Чернышевского в «Прологе»:

— А знаешь ли, о чем я думал, голубочка? — Когда ж это будут у тебя свои лошади. (Гл. I и далее).

У Даля огромные разработки применений обоих слов, но самое важное место занимают языковые метафоры, обозначения тех или иных предметов обихода или утвари, которые получили свое имя по сходству с конем.

И если даже говорить только об этой группе слов, нет здесь некоторых, современных ему применений, связанных, например, с железной дорогой, которую называли тогда не только «чугункой» и т. д., но и стальным конем, железным конем. Одна из станций по Курской железной дороге была названа (и называется так до сих пор): Стальной конь. (Теперь «стальной конь» — трактор).

Но главное — слова «конь» и «лошадь» у Даля никак не противопоставляются одно другому.

— Конь, стар. лошадь; лошадь добрая, не кляча; лошадь (татар.) вообще — конь, особенно не жеребец и не кобыла, мерин.

Так и в последнем до Революции выпуске Словаря ИАН на букву «К» (1913) сказано:

— В литературном языке слова *конь* и *лошадь* одинаково употребительны; сл. лошадь даже употребительнее слова конь. Напротив, во многих говорах сл. лошадь почти совсем неизвестно (отсюда, вероятно, ходячая шутка, что в р. яз. «говорят: конь, а пишут: лошадь»).

И с тем большей настойчивостью и страстью передовая литература и передовые словари сталкивали, разводили по местам эти слова:

У «Толля»: «К о н ь — с м. л о ш а д ь»; а под «лошадью» подробное, строго научное описание различных пород. Это как бы перевод на русский язык, демонстративное *разъяснение,* пожалуй, даже разоблачение «коня».

Одна из самых замечательных «сказок» Щедрина о крестьянском бесправии называется, как известно, «Коняга»; слово это после Щедрина навсегда вошло в нашу поэтическую речь.

Не лошадь, а коняга, изысканное слово обработано так, что звучит г о р ш е, чем лошадь.

Достоевский:

— Лошадей и сам бог дал, чтобы их сечь. Так татары нам растолковали и кнут на память подарили... («Братья Карамазовы», 2—5—4)

Эпитафия всему «татарскому» периоду русской истории — и одна из самых ярких формул гуманизма Достоевского.

В работах по истории экономических отношений в России и в своей борьбе с народниками Ленин пристально изучал этот статистический показатель — многолошадность и малолошадность мужика — и непрестанно разоблачал лживые казенные данные и тенденциозные, иногда мошеннические манипуляции этими цифрами:

В 1920 году, сразу же после разгрома белых и интервентов, как только уже можно было приступить к решению основных задач переустройства всей народной жизни, — ленинская формула:

— ...пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на разорённую крестьянскую страну, — на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д. (33—459)

Грандиозное обобщение возникает на основе очень конкретного, всем известного, будничного, даже «низкого» слова. Это — продолжение старого, векового разговора и ленинской же полемики с народниками.

Ленинская мысль и ленинский образ лежат в основе многих дальнейших замечательных превращений этого слова.

И двадцать лошадиных сил
Покорны будут человеку.
И смело скажет человек,
Встречая сумерки косые,
Что здесь окончила свой век
Однолошадная Россия.

(Исаковский, «Утро»)

Сначала как бы только пересказ, и довольно прозаический, известного положения. Но вот возникают «су-

мерки косые», перебой, остановка перед торжественной эпитафией всей многовековой истории крестьянской России, которая была раньше всего однолошадной.

У Есенина:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится!
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

(«Сорокоуст»)

Еще более торжественная остановка и новый размер перед еще одной, и великолепной, эпитафией старой крестьянской России.

У Хлебникова «конь» — одно из тех слов, которые, если только их приоткрыть и рассмотреть, дают огромное историческое представление, и самое щедрое, кажется, из всех таких слов.

Страну Лебедию забуду
И ноги трепетных моревен.
Про конецарство, ведь оттуда я
Доверю звуки моей цеве...

И где гривонос благородный
Свое доверяет копыто
Ладони покорно холодной
Все дальше, дальше от Ням-ням!
Мы стали лучше и небесней,
Когда доверились коням.

Ах, князь и князь, и конь, и книга,
Речей жестокое пророчество.
Они одной судьбы, их иго
Нам незаметно, точно отчество...

(«Война в мышеловке»)

В этом — весь Хлебников, вся его программа: жестокое пророчество самих речей, «одна судьба» громадно разошедшихся слов.

Отметим попутно, что «гривонос благородный» уже выступал не раз в русской поэзии в XVIII веке, в другой, конечно, роли.

— Я рассказала Розе [Люксембург], что *одним из первых приговоров* созданного после революции народного суда было осуждение на принудительные работы ломового извозчика, избивавшего свою лошадь... (Е. Драбкина, «Черные сухари»)

Огромный по своему значению, *всем понятный,* «один из первых приговоров» народного суда Революции, почти манифест.

Ср. у Неверова рассказ Домны о бабьей доле еще только вчера:

— Домна. Разве люди мы? Лошади! И цена нам лошадиная. Пока молодые да здоровые, ездят на нас, спят с нами. Как вытянут все жилы — со двора долой. («Бабы», 2)

Отныне совсем новое «хорошее отношение к лошадям».

— Стихотворение Маяковского («Хорошее отношение к лошадям»), — пишет по этому поводу В. Перцов, — не «отклик», это скорее продолжение старого разговора, чем начало нового, однако продолжение в совершенно изменившейся обстановке. Нужно было сказать отчаявшимся слово «ласковое, человечье». Конечно, оптимистическая философия «хорошего отношения к лошадям» была еще слишком неопределенна. Тем не менее, чудесное, в духе фантастики Маяковского, «омоложение» утверждало идею гуманизма, идею победы жизни... По случайному совпадению стихотворение Маяковского появилось в том же номере газеты «Новая жизнь», где был напечатан очерк Горького с аналогичным сюжетом об упавшей лошади, озаглавленный «В большом городе». Все повествование окрашено в угрюмые тона. «В большом городе» — скорбный протест слышится в самом названии очерка. Позиция Маяковского более активна. Но как ни различна эмоциональная трактовка заурядно типичного уличного происшествия у Маяковского и у Горького, глубокий гуманизм роднит обоих писателей. Есть свидетельство, что Горький любил это лирическое стихотворение Маяковского. («Маяковский», II)

Марина Цветаева писала в 1921 году «Владимиру Маяковскому»:

Он возчик и он же конь,
Он прихоть и он же право.

Вздохнул, поплевал в ладонь:
— Держись, ломовая слава. —
Певец площадных чудес —
Здорово, гордец чумазый,
Что камнем — тяжеловес
Избрал, не прельстясь алмазом.
Здорово, булыжный гром!
Зевнул, козырнул — и снова
Оглоблей гребет — крылом
Архангела ломового.

Это было очень полемическое стихотворение! Литературные (они же и политические) враги Маяковского очень хотели видеть в его дерзостях только «прихоть», а то и своекорыстное приспособление к новым обстоятельствам, то есть к Революции. София Парнок, например, писала в это же время о «модничании» Маяковского. У М. Цветаевой «изысканный» «конь» в сочетании с «ломовым»; она с особым увлечением исполняет это слово: «ломовой».

Еще недавно в народной речи «ломить» значило тяжело, безысходно и бесцельно работать; всю жизнь мужик что-то бессмысленно ломил. Теперь идет всеобщая ломка — во имя точной и чудесной цели; вся страна ломит по-новому. Маяковский — ломовой, и это очень точно.

Маяковский всячески любил это многострадальное слово — лошадь. По воспоминаниям близких, он приглашал друзей в гости стихами С. Маршака:

— Приходи к нам, тетя-лошадь, нашу детку покачать...

В «Тихом Доне» вся природа казачья, и конь, естественно, входит почти в любой лирический пейзаж Шолохова.

— Вороное небо полосовали падучие звезды. Падала одна, а потом долго светлел ворсистый след, как на конском крупе после удара кнутом.

— Сапно дыша, пронесся ветер.

Конь на небе, в звездах, в ветре.

— Он слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намете, и слышал характерный, отличимый похрап Бахаря.

В целом косяке он слышал индивидуальный похрап Бахаря, который именно за это и получил, видно, такую поэтическую кличку (Бахарь — певец, сказитель; ср. там же, у Шолохова, — жеребец по кличке Банальный).

— Трудно шли кони от хутора.

Очень личное отношение к коню, полное взаимопонимание человека и коня, сочувствие коню, человеческие слова в применении к коню и «конские» — о человеке.

— Как, скажи, такой уж он уморенный, как, скажи, на нем воза возили...

«Конь-лошадь» у Шолохова так или иначе участвует в самых важных выяснениях отношений между людьми, в важнейших человеческих делах.

— Щупайте генералов, как цыган лошадей.

Беспощадно профессионально, и здесь уже, конечно, лошади, а не кони.

— Конь запохаживался больше на вьючное животное, чем на строевую лошадь.

Решающее свидетельство упадка.

Вступили красные, они победили, и все же они еще не убеждали своим видом казаков, не импонировали им, потому что:

— Ох, Наташенька! Милушка!.. Как они верхами ездиют! Уж он по седлу взад-вперед. А руки в локтях болтаются. И сами — как из лоскутов сделанные, все у них трясется.

Что же они, при такой посадке, могут понимать в казачьих делах!

Но уже скоро красные *убедили* казаков и посадкой: красная конница громила белых, и своих и чужих. Ср.:

Пусть паны не хвастают
Посадкой на скаку,
Смелем рысью частою
Их эскадрон в муку...

(Асеев, «Конная Буденного»)

У Бабеля в одном из самых замечательных его рассказов о польском походе — прямой поединок между нашим конником и замечательным, непобедимым польским всадником.

У Фадеева Левинсон («Разгром») знал, что он «боль-

шой», что он должен служить для всех примером, и очень заботился о посадке.

— Картина: солнце, осень, запах смерти, лошадиный пот, бесконечная даль, радость победы, сталевар Чубенко с розой [железная роза — эмблема Революции, которую выковал кузнец Максим] в руке в преддверии Крыма. (Ю. Яновский, «Всадники», финал)

Это — перевод с украинского языка; в украинском иная стилистическая мера. Но такие сопоставления, «зачисления» в один пестрый ряд естественны и обычны и для *нашей* романтической прозы и поэзии.

— Кони, кони, веселые дни, развеянные в небо, в дым. (В. Кин, «По ту сторону»)

Порадуйтесь, кони!
Дороги открыты!
Да здравствуют легкие ваши копыта.
Куда бы, куда бы они ни легли,
вы будете трижды, как те, знамениты,
что шашкой порубаны, пулей пробиты,
летели легендой к Варшаве в пыли.

(П. Васильев, «Патриотическая поэма»)

С лугов приречных
льется ветр звеня,
и в сердце вновь чувств песенная замять...
А это теплой
мордою коня
меня опять
в плечо толкает память.

(П. Васильев, «Павлодар»)

А глаз-то, глаз — кровавый, спесивый!
(Кони понимают, что они красивы)...
Вот уж поистине — конь это личность.

(Сельвинский, «Улялаевщина»)

«Конь», «конники» после гражданской войны снова высокие слова.

И «лошадь» пережила важные превращения.

— Впрягая реки, точно лошадей, в работу на человека, многие из «врагов общества» [вредители, кулаки,

воры на Беломорканале] поняли, что они работают на обогащение и счастье семьи в 160 миллионов единиц. (Горький, «О кочке и точке»)

Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей, —
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.
Сильнее люблю, по-другому,
чем разных животных иных...
Не тех кобылиц ипподрома,
солисток трибун беговых...
Не их, до успехов охочих,
блистающих славой своей, —
люблю неказистых, рабочих,
двужильных кобыл и коней...
Недаром же в старой России,
пока еще памятной нам,
старухи по ним голосили,
почти как по мертвым мужьям.

(Я. Смеляков, «Признанье»)

Очень хорошее отношение к лошадям получило и новый практический смысл.

СССР давно пересел с одной лошади на другую — на лошадь мощной индустрии, электрификации... Но вот совсем недавно печать заговорила очень горячо о недооценке лошади, которая еще и сейчас играет важную роль в народном хозяйстве. Приходилось разоблачать новый, особого рода технический снобизм по отношению к лошади.

В 1956 году были опубликованы впервые записи «Из трех тетрадей» С. Чекмарева — рядового и пламенного участника всенародной борьбы в годы пятилеток.

— Когда я приехал [в первые годы пятилеток] в Богачевку, то имел о лошади самое смутное представление. Горожанин, воспитанник Москвы, я привык видеть перед собой умную морду трамвая, с нею сжился и сроднился... И вдруг вместе всего этого — лошадь.

И лошадь стала чрезвычайно важным обстоятельством в его личной и общественной жизни.

Сегодня:

— «Самоходное шасси». К этой машине можно при-

цепить, точнее навесить, чуть ли не любое с.-х. орудие либо тележку, и она станет делать нужную в хозяйстве работу... В сущности, она так же универсальна и маневренна, как лошадь, но только значительно мощнее, и содержать ее куда дешевле. Вот это и есть механический конь нечерноземной нашей стороны. (Е. Дорош, «Два дня в Райгороде»)

«Лошадь», потому что все на нее можно нацепить, а в общем механизированный «конь».

Конь — изысканно, лошадь — буднично, — это размежевание остается и сейчас в полной силе. Но оба слова пережили новую, весьма содержательную историю, и теперь они размежевались на новых основаниях.

## АВТОМОБИЛЬ И АВТО

«Автомобиль», обозначение нового самоходного экипажа, технический неологизм, вошел в употребление в начале нашего века и сразу же стал большим обобщением, эмблемой и символом.

Вот какой смысл приобретал «автомобиль» в рассуждениях американской декадентской поэтессы, первоучительницы всего так называемого *нового писательства* Гертруды Стейн:

— XIX век был, грубо говоря, веком Англичанина. А метод англичан, как они сами признавали в самые горькие свои минуты, заключался в том, чтобы как-нибудь «выпутаться». Они начинали с одного конца и надеялись как-нибудь выйти в другом. По этому образцу строилась и их грамматика, части речи, способы выражения мысли, система знаков препинания, в том числе их запятые, которые только мешают и действуют на нервы.

Соед. Штаты начали новую фазу, когда, после гражданской войны, открыли и создали новый образ жизни [писалось это в 1910 году]. Соед. Штаты стали вполне сознательно собирать целую вещь из ее частей. XX век сначала, так сказать, задумал автомобиль как нечто целое, а затем создал его, собрал его из частей. («Как пишется то, что пишется»)

Отсюда, по Г. Стейн, огромные последствия и для всей

писательской техники. Отныне литературное произведение должно собираться, как автомобиль. Самые формы логического сцепления, ритмы, скорости, переключения должны стать автомобильными.

У Г. Стейн «автомобиль», как видим, тесно связан со всей политической философией «американизма», с «американским XX веком».

«Автомобиль» играл важнейшую роль и в поэтике *европейского* футуризма. В первых же манифестах итальянских футуристов «автомобиль» — обозначение всех грядущих переворотов и не в последнюю очередь переворота в языке, который должен отныне стать автомобильным по своему стилю. Вообще «автомобиль» — это стиль.

«Автомобиль» становится важным идейным комплексом и в *реалистической* литературе Запада.

— Было нечто вызывающее в автомобиле, даже провокационное — тогда [начало века], когда в народе преобладали уже лейбористские настроения.

Так думал Сомс в «Саге о Форсайтах» Голсуорси («Сдается в наем»).

— В те дни [1908] автомобилей было мало, они считались роскошью, а владельцы их — нуворишами. (В. Вудворд, «Лотерея»)

Евг. Замятин развивал тот же мотив в рассказе из английской жизни:

— Мой покойный муж, сэр Гарольд, всегда высказывался против автомобилей. В их слишком быстром движении он находил положительно что-то невоспитанное.

Это было подмечено очень тонко: именно невоспитанное. Викарий потирал руки. («Островитяне»)

«Автомобиль» — важное слово и в политическом языке.

Депутат крайней правой в рейхстаге профессор К. фон Штейнгель говорил в 1909 году:

— Лучше тратить деньги на вооружения, чем на предметы роскоши, на манию автомобилизма и чувственные удовольствия...

Ни у Даля, ни в Словаре ИАН даже в издании 1891 года еще нет, конечно, этого слова. Но Бодуэн де

Куртенэ не включил его почему-то ни в третье, ни в четвертое издание Даля 1912 года. А оно к тому времени уже жило в языке и получало многообразные полемические применения.

У Блока во флорентийском цикле:

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама.

(«Флоренция», I, 1909)

Автомобиль — новая пошлость, новое воплощение «бессмертной пошлости людской», которое обезличивает старую прекрасную Флоренцию. Одна из первых рифм к «автомобилю» — пыль, всеевропейская пыль.

Молодой Вахтангов пишет из Швеции в 1912 году:

— Изредка прогудит автомобиль, который, кстати сказать, заменяет здесь извозчиков. Экипажи с лошадьми встречаются редко, и они дороже автомобиля. (Газета «Терек», 19/VI 1912 г.)

Кстати сказать, и на самом деле это и есть самое поразительное.

Это — автомобили, впервые увиденные за границей. А вот наши автомобили (хотя и заграничных марок).

Ив. Щеглов писал в 1909 году:

— Современные беллетристы, которые так ревниво соперничают в шуме и стремительности с бензиновыми автомобилями... («Подвижники слова»)

А. Измайлов писал в 1910 году:

— Как смешно и жалко прозвучал бы теперь фельетон Буренина, когда по улицам литературы уже носятся молниеподобные автомобили и велосипеды, а старые арбы и времен очаковских балагулы скрипят лишь под немногими отживающими свой век стариками, забывшими умереть. («Помрачение божков»)

Автомобиль — и наша русская птица-тройка:

— Да, была когда-то лихая тройка и кони-вихри, и мощь в руках. Да испугались седоки... и пересели в любезно предложенный изобретательными западными друзьями красный автомобиль. Только машиной управлять они не могли и пригласили на подмогу высококультурного шофера с хвостом и рогами; напялил он очки по-

знания, дал полный ход. Это почище будет тройки! — умилялись седоки, отбивая печенки на проселочных ухабах. Никакие бы штыки и мины не остановили самокатные, не испугайся сам шофер, не налети он на крестьянского мужика, — съежился хвостатый, соскочил на полном ходу, шмыгнул в петровское окно, и — поминай как звали. А неучи седоки влепились с размаху в бездонный овраг — все вдребезги, все покалечились... Плетемся теперь на своих на двоих и клянем чертову машину. (Бурнакин, «Трагические антитезы», 1910)

Как видим, это целая историко-философская притча... Но так или иначе автомобиль нечто чужое, немыслимое в наших отечественных ухабах, и в высшей степени непоэтическое.

И как бы в ответ у Б. Зайцева:

— Полет автомобиля опьянил их благоуханием — вечерней сырости, лугов, леса. Звезды над головой бежали, и вечно были неподвижны. («Голубая звезда»)

Автомобиль в своем полете открывает людям новый путь к звездам, расширяет ви́дение мира.

Особого рода, парадоксальное приятие автомобиля у этого «певца дворянской усадьбы...»

Но в эти же годы автомобиль становится знаменем и девизом футуристов.

— Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой быстроты. Гоночный автомобиль со своим кузовом, украшенный трубами со взрывчатым дыханием, рычащий автомобиль... прекраснее самофракийской Нике [победы]. (Первый манифест футуристов, 1909)

Там же объявлялось, что «автомобильные слова» — единственный материал настоящей литературы, что во всем языке должен совершиться «автодвиг».

Но у футуриста Игоря Северянина этот автодвиг приобретает такие формы:

Элегантная коляска в электрическом биеньи
Эластично шелестела по шоссейному песку...

(«Июльский полдень»)

В самом ритме этого стихотворения Северянин придает новой, дерзкой «автомобильной» форме движения вполне успокоительную, подрессоренную и уютную плав-

ность. Это совсем не похоже на «автомобильные слова», которые должны были потрясти мир.

«Автомобиль» все же считается как бы основной эмблемой футуристов. Поэт-символист и нововременец Б. Садовский писал в 1913 году:

— Итак, что же дало нам безвременье, смесь брюсовщины и футуризма? Аракчеевские идеалы, сведшиеся к автомобилю как единственной цели жизни. («Футуризм и Русь»)

Там же:

— Автомобильно-ресторанный хулиганский футуризм... И т. д.

Но он писал далее, в символистском стиле:

— Современному Городу, этому сфинксу без загадки, с искаженным лицом самоубийцы, с автомобильным смрадом вместо души... (Там же)

У символиста Сергея Соловьева:

Небо пусто давно, а под ним —
Только визги машин, грохотание автомобиля.

(«Город современный»)

Стальные чрева мечут, как икру,
Однообразные, ненужные предметы:
Воротнички, автомобили, граммофоны.

(Волошин, «Путями Каина»)

Автомобиль — один из предметов, ненужных истинному поэту и мудрецу; он, автомобиль, — воплощение современного окаянства, но не «того» окаянства, которое необходимо истинной поэзии...

У Леонида Андреева:

— Старуха. Вот и снова впал в бедность человек. Было у него много дорогих вещей, лошади и экипажи, и автомобиль даже был...

...А вы помните его автомобиль? Он однажды чуть не задавил меня. («Жизнь человека»)

И несколько раз повторено: «помните его автомобиль?»

Это было высшее достижение Человека, но достижение неверное и мимолетное, как вся жизнь Человека.

Маяковский в те годы еще футурист. В его стихах этого периода образ «автомобиля» занимает большое место.

Автомобиль подкрасил губы
у блеклой женщины Карьера...

В поэме «Человек», которая была закончена в марте 1917 г., наряду с «автомобилем» есть и «лошадь», и эти образы встречаются и спорят...

Слышите?
Слышите лошажье ржанье?
Слышите?
Слышите вопли автомобильи?

(«Человек» — «Страсти Маяковского»)

И автомобили вопят о чем-то, но насколько понятнее и милее, человечнее «лошажье ржанье»!

Позднее, в 1918 году, это особое хорошее отношение к лошадям получит и прямое, весьма замечательное выражение (ср. конь и лошадь). Теперь особая нежность к «лошади» рождается в полемике с ее противником — автомобилем, а главным образом, с тем, что́ с ним было связано у символистов, декадентов и, кажется, даже у его товарищей футуристов.

Тогда еще в моде извозчики были
И редко работали автомобили.

(Асеев, «Маяковский начинается»)

После победы Революции совершается новое грандиозное превращение этого слова-понятия.

— Рядом с Мариной сидел старый рабочий-красногвардеец. Судя по тому, что он все время вертелся на скользких кожаных подушках, можно было заключить, что он едет на автомобиле первый раз в жизни. А на крыле машины лежал матрос в бушлате, выставив вперед винтовку. Это была чудесная, ни с чем не сравнимая ночь победы. (В. Катаев, «Черный ветер»)

— Из-за угла Охотного вышел грузовой автомобиль, на котором сидя и стоя ехали вооруженные люди в синих и серых шинелях. Винтовки беспорядочно торчали во все стороны. Ползучая ваза: винтовки, головы, руки,

синие и серые шинели — точно цветы. (А. Яковлев, «Октябрь», 5)

Автомобиль Революции.

А вот правительственное сообщение о левоэсеровском мятеже:

— Левые эсеры захватили затем телефонную станцию и начали ряд военных действий, заняв вооруженными силами небольшую часть Москвы и начав аресты советских автомобилей. (6/VII 1918 г.)

Советский автомобиль.

Большевистский автомобиль с его новой исторической миссией вызывает прямо противоположное «настроение», как говорил Бодуэн де Куртенэ, подвергается самым различным обработкам, добрым и недобрым.

Ловкомобиль; ахтанабиль («Я ж забыла шаль на ахтанабиле»; Гладков, «Цемент»); нафтанабиль (от «нефть» — у М. Борецкой, «Пир народный») и т. д.

— Автомобиль — о н а тяжелая, железная... Ну ее с автомобилью-то... (Малышкин, «Трудные дни»)

Довольно обычное применение еще не освоенного до конца слова, на всякий случай, в женском роде...

Разве вчерашнее не раздавлено, как голубь,
автомобилем,
бешено выпрыгнувшим из гаража?!

(Ан. Мариенгоф. «Каждый наш день», 1921)

— Лошадей съели, автомобиль выпили...

Обывательский «фольклор» в голодные годы.

Автомобиль — еще заграничный, чужой, со своими непонятными названиями, не нашими, рекламными «сокращениями».

Тихо-тихо прошел
В голове демонстрации
Пятитонный, задернутый черным «Фомаг».

(Дементьев. «Мать»)

Какой-то «Фомаг» хоронит мать, возглавляет нашу демонстрацию, участвует в самых интимных, внутренних наших делах!

— По ней [длинной серебряной дороге] ходил авто-

мобиль «Красавец», потом появились еще два других — «Герой» и «Орел». (Адалис, «Вступление к эпохе»)

Отброшены глупые иностранные марки, автомобиль получил свое, полное смысла и любовное имя. И все это вполне точно: «Вступление к эпохе».

Слово-программа, слово-лозунг.

Уже скоро «автомобиль» — слово, слишком затянувшееся, даже наивное по своей торжественности в применении к такой обыкновенной вещи.

Оно хорошо играет именно в шутке.

— Каждая лошадь будет иметь свой автомобиль... (Ильф—Петров в «Биче», 1928)

А в серьезных случаях — авто.

Внизу суетилась толпа безумная
Под звуки копыт и свистки авто!

(Брюсов)

Это писалось тогда, когда автомобили у нас еще были новостью, и Брюсов с некоторой дерзостью называл автомобиль *полуименем.* А толпа была «безумная».

У Маяковского «авто» и «автомобиль».

— Кто перенесет на сцену (если идти за реальностью передачи) версты в высь небоскребов или жуткое мелькание автомобилей? («Уничтожение кинематографом театра...»)

«Автомобиль», как и «кинематограф», полностью (1913).

Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

(«Адище города»)

В 1916 году Маяковский в «Я сам» вспоминает о том времени:

— Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто.

По-деловому, как принято у инженеров. Но и вообще теперь по преимуществу авто.

Вокруг меня —
авто фантастят танец...

(«Париж»)

И у нас, в нашей «буче»:
Гремели двери, авто гудел.

(«Неразбериха»)

Маяковский привез из Парижа автомобиль, «такой маленький, что сам с трудом влезал в него, согнувшись в три погибели» (воспоминания Л. Ю. Брик).

Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,
что вы
для себя
авто купили в Париже?»

(«Ответ на будущие сплетни»)

И вот еще один «мой автомобиль» — теперь уже в полной, торжественной форме, по самому смыслу вещей:

Улица —
моя.
Дома —
мои.
...в моем
автомобиле
мои
депутаты.

А вот другое, очень естественное в определенных обстоятельствах, ви́дение автомобиля:

— Каруселями плыли по дугам рельс трамваи и шныряли крысами расторопные автомобили.

Это в «Маленькой трилогии» Ф. Гладкова, в третьей части — «Вдохновенный гусь».

Бездушный и весьма расторопный карьерист и двурушник чуть было не затравил честного человека. Этот человек, потрясенный всем происходящим, выходит на улицу, видит слишком расторопные, как крысы, как этот его противник, автомобили. В моем автомобиле сидит вдохновенный гусь.

Большое, широкое и хорошо освоенное слово, оно само, можно сказать, жаждет новых применений.

В декларациях конструктивистов:

— 7. Конструктивизм, перенесенный в область искусства, формально превращается в систему максимальной эксплуатации темы или в систему взаимного функционального оправдания всех слагающих художественных элементов, то есть в целом конструктивном есть мотивированное искусство.

8. В формальном отношении такое требование упирается в так называемый принцип грузофикации, т. е. увеличение нагрузки на единицу материала, и т. д. (1924)

— Кратко можно сказать, что эти принципы [то есть принципы совместной работы над новым стилем] являются осколком характерных черт нашей эпохи: экономии в расходовании материала, целеустремленности, динамичности, рационализма стройки. (К. Зелинский в сб. «Бизнес»)

Слово «автомобиль» не упоминается. Но требования, которые предъявляются к поэзии, чисто «автомобильные», и в этом их главный пафос. Даже «целеустремленность» звучит здесь по-автомобильному.

«Авто» от «автомобиля» встречается в языке, переплетается и смешивается с *другим* «авто» («само-»), — обозначением всякой автоматики.

— Новые профессии, — писали «Известия» в 1939 году, — нарождаются быстрее, нежели возникают слова для их обозначения. В спешке создаются громоздкие слова, как бы вобравшие в себя всю сложность современной техники. Скажем, автогеноэлектросварщик. Вообще появилось множество обозначений, начинающихся на «авто». Автокарщики. Автоплавщики. Автотиписты. Автогрейдеристы. Автогудронщики. Автотокари. Все это знаменует коренной переворот в области труда.

Добавим к этому: автобаза, автобестарка, автоблокировка, автолавка, автополок, автостоп, автотормоз и др., но интереснее всего в этой связи — автодор.

— Ни людей, ни лошадей. Автодоры, автодоры, автодоры...

Так говорит Присыпкин («Клоп» Маяковского) о пейзаже 1979 года.

Автодор — это было очень важное слово; оно давно «задвинуто» другими, более серьезными, и уже почти забыто.

Возникает среди прочих и курьезнейшее слово «автобус». «Бус», ничего не означающее само по себе ла-

тинское окончание дательного падежа множественного числа, в соединении с «авто», которое все решает, создает впечатление экипажа для всех, нового омнибуса (омнибус — всем, для всех).

«Авто» в словах другого происхождения и значения переосмысливает эти слова, притягивает к ним другие ассоциации.

— Автомедоны наши бойки... («Евгений Онегин»)

Советский школьник, как отмечалось в одной газетной заметке, был уверен, что это еще одно из слов на «авто-», а вовсе не имя возницы Ахилла и Пирра. Он был по-своему прав; к тому же «автомедон», так или иначе, имеет отношение к движению. Ср. у Белинского: для русского мужика слово «кучер» — прерусское слово, а «возница» такое же иностранное, как и «автомедон»; ср. в разговоре европеизированных купцов у Боборыкина: «Эй, автомедоны!»

Полуимя «авто» стало единственно серьезным, деловым обозначением хорошо знакомой всем машины. Но затем «автомобиль» вытесняется уже не этим полуименем, а более точным, специальным обозначением, маркой машины («фордик», «эмка», «ЗИЛ», «Победа» и т. д.) или, еще более по-деловому в своем роде, словом «машина».

«Машина» как обозначение нового, *самого важного в данный момент типа машины* вытеснила в свое время «железную дорогу», «паровоз» (или «пароход», то есть паровоз), даже пишущую машинку. Ср.: «Я заказал напечатать два экземпляра на ремингтоне (*машина печатает два экземпляра сразу*)», — писал Чехов, как о чем-то необычайном, в 1895 году.

Теперь «машина» в разговорной речи — это раньше всего автомобиль.

«Автомобиль» уже применяется главным образом как строгий научный термин («Курс автомобиля») или — как ироническое возвышение «машины».

— Гай. Ты, коммунист, сиди в келье автомобиля. (Н. Погодин, «Мой друг»)

Так говорит Гай, когда он уже изнемогал в окружении бюрократов и принципиальных лицемеров. Он рвется вон из автомобиля — вероятно, персонального, который стал для него воплощением слишком удобной, некоммунистической жизни. И по этому случаю, конеч-

но, не «машина» или «авто», а пышный, длинный «автомобиль». Слово звучит почти архаически, оно почти такое же, как «келья».

Отечественная война была «войной моторов». Автомобиль играл главную, решающую роль. Но слово это почти не упоминалось. Воевали моторизованная пехота, моточасти, вездеходы, танки и бронетранспортеры и другие автомашины — разные машины, которые так и назывались своими специальными именами.

Автомобиль был неотъемлемой частью городского и даже сельского пейзажа, а слово «автомобиль» все более оттеснялось на второй план. Оно настолько вышло из общего употребления, что стало опять, после всего, свежим и поэтическим.

День и ночь плывут автомобили
Возле тротуарных берегов.

(Ю. Друнина)

Машины бегают, а автомобили «плывут», как корабли.

Они теперь и летают — в космос:

— Космический автомобиль полосовал в те дни автострады своей орбиты. («Правда», 1958)

Автомобиль и его межпланетная автострада.

## «КАТЮША»

Замечательна судьба этого женского имени в его уменьшительной ласкательной форме.

Когда уже в самые последние годы мы познакомились поближе с внутренней жизнью Японии, то обнаружилось среди прочего, что одна из самых любимых народных песен в этой стране — песня о Катюше Масловой, героине толстовского романа «Воскресение».

История Масловой в ее самых общих чертах показалась простым людям в Японии чрезвычайно трогательной, знакомой и понятной, а то, что реальные бытовые подробности этой истории были для них в высшей степени странны и непонятны, только усиливало, как всегда, ее привлекательность. Самое слово «Ка-тю-ша», с равными слогами из одной согласной и одной гласной, легко ложилось в японскую фонетику.

И не только в Японии. А. Крон рассказывал недавно о своей поездке в Индонезию:

— Наши друзья с большим пиететом отзываются о романе Толстого «Катя». Фамилии Кати никто не помнит. Мы смущенно переглядываемся. Кто-то робко высказывает предположение: не «Сестры» ли? [т. е. «Сестры» Алексея Толстого]. Наконец путем наводящих вопросов устанавливаем: «Воскресение». «Катя» — это Катюша Маслова. («На ходу и на якоре»)

Песенка о Катюше Масловой сложилась очень давно, еще до русско-японской войны, и ее до сих пор, после многих великих исторических смен, распевают в Японии.

И у нас существовали народные и солдатские песни и романсы о Катюше. Знаменитая «Катюша» М. Исаковского, несомненно, связана с этими песнями и романсами.

— Мне не раз задавали вопрос о связи моего творчества с народной песней, — писал М. Исаковский. — Да, такая связь существует, и она часто бывает непосредственной («ЛГ», март 1950 г.)

В данном случае она, по-видимому, не была непосредственной; это был *перепев* — очень важное и плодотворное явление в истории нашей поэзии.

Ср:

Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян.

(Маяковский, «Хорошо!»)

Сила перепева в ясно ощутимой борьбе, полемике старого, знакомого с новым, еще непривычным. Это очень ощутимо и в прекрасной песне М. Исаковского, которая завоевала у нас ни с чем не сравнимую популярность и скоро перешла границы.

Негры в дальнем поле, в Оклахоме,
пели песню русскую вдвоем.
И напев отогревал им душу,
белым цветом яблонь осыпал.
Негры пели славную «Катюшу»,

ту, что Исаковский написал.
Выходила на берег Катюша,
на Великий Тихий океан.

(А. Малышко, перевод Н. Ушакова)

— На примере одной этой песни, — писал А. Твардовский, — можно видеть, как несостоятельны уже старые суждения о том, что, мол, радиус действия поэзии ограничен пределами того языка, на котором написаны поэтические произведения. («ЛГ», 16/IV 1949 г.).

«Катюша» была уже большим народным словом из песни, со многими личными для каждого ассоциациями, она уже не раз и по-всякому (иногда по-обывательски и пошло) обрабатывалась, когда началась война с Гитлером. И бойцы окрестили этим нежным именем новую машину, которая оказывала им огромную помощь в самые страдные дни.

Уральцы писали в новогоднем отчете правительству 1/I 1943 года:

— В десятки раз увеличился выпуск одного вида боеприпасов. Очень уважают его фронтовики и ласково называют «Катюшей».

«Катюша» вошла, не могла не войти в строгую речь специалиста. Президент Академии артиллерийских наук В. Добронравов писал:

— У нас была создана войсковая реактивная артиллерия, непосредственно влиявшая на ход боев. Наши мощные и маневренные реактивные минометы, получившие в народе имя «Катюши», были в полном смысле слова грозой для врага. («ЛГ», 18/II 1948 г.)

Стоит, пожалуй, напомнить в этой связи, что еще в первую мировую войну немцы собирались ввести в действие нечто вроде «Катюши». Л. Войтоловский, врач, участник той войны, записал разговор офицеров — оптимиста и пессимиста, по тогдашней терминологии.

— [Немцы] последние силы напрягают, — говорит оптимист.

— Последние?.. — отвечает пессимист. — А знаете, что у них есть новые пушки, стреляющие жидким пламенем?.. («По следам войны»)

Но ни тогда, ни в войне 1941—1945 годов немцы не

имели своей «Катюши», но хорошо знали в эту последнюю войну не только грозные «РС», которые прозвали «Катюшами», но и песню «Катюшу», народную песню Михаила Исаковского.

— [Фрицы] в блиндажах сидят. Патефон крутят... «Катюшу» нашу. (В. Некрасов, «В окопах Сталинграда»)

У Фадеева в «Молодой гвардии» есть замечательные строки об «Иване Долбае», то есть о той же «Катюше».

Интересно, что Фадеев говорит об «Иване Долбае», а не о «Катюше», хотя это последнее прозвание «РС» было уже гораздо более распространено. Это имеет, кажется, внутреннюю связь с уже известной нам полемикой Фадеева с Исаковским по поводу «Трансвааля». И в этом случае Фадеев, видимо, считал, что не пристало вводить такое слово, как «Катюша», со всеми его очень различными ассоциациями, в большой разговор о народной судьбе. «Иван Долбай» звучал, конечно, гораздо более серьезно. Фадеев очень смело утверждал тогда многие еще недавно опасные слова (например, «жалость» и др.), но избегал слов, которые ему казались сравнительно мелкими — сравнительно с тем, что они должны обозначать. Но именно «Катюша» создает самый потрясающий мотив в сценарии по рассказу Шолохова «Судьба человека».

— Начальник колонны смеется, выходит вперед, поворачивается лицом к идущим:

— Зинген! Русс, песня! — Останавливается, водит по колонне дулом автомата.

Передние останавливаются, сзади напирают на них. Мрачные, злые лица. Они подвигаются. Яростный выкрик начальника конвоя: «Доннер-веттер!» Младший политрук, в одних штанах, босой, без гимнастерки, чуть выступает вперед, поднимает руку, запевает:

— Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...

Колонна тронулась с места. Песню нестройно подхватывают:

— Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.

...Крайним в ряду шагает молодой солдат, который уверял, что баба будет его ждать. Теряя рассудок, он хохочет. Выходит из колонны, останавливается, продолжая хохотать. Короткая очередь. Крыжнев оглядывается.

— Ну, этого баба дождалась.

— Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. («Судьба человека»)

«Катюша» — важное и нежное слово, и с тем бóльшим основанием, как всегда, оно получает и самые скромные и тривиальные применения.

— «Катюшей» шутливо называли бойцы в своем обиходе и кремень с фитилем для высекания огня. (Шебунин, «Мамаев курган»)

— Мостевский вынул из кармана кремень, пухлый белый шнур и кусок стального напильника.

— «Катюша», — сказал он, — не ладится у меня. (Вас. Гроссман, «За правое дело»)

У Василия Гроссмана, который с особым увлечением описывал не только народный подвиг в войне, но и повседневный труд войны и ее быт, это применение грозной «Катюши» в качестве зажигалки особенно выразительно.

Недавно в Маутхаузене происходила товарищеская встреча бывших узников этого лагеря, борцов Сопротивления.

— Мы все вместе поем советские песни: мы — русские, немцы, австрийцы, поляки, французы, чехи. Вспоминается, как на новый, 1945 год, поставив у дверей караульных и плотно занавесив одеялами окна, мы устроили в 15-м блоке концерт. Мы тогда пели «Москву майскую», «Катюшу», «Три танкиста», читали стихи Маяковского, и вот мы опять все вместе поем эти песни. (Ю. Пиляр)

Дочку я свою назвал Катюшею
(это имя приберег с войны)...

(Гудзенко, «Катюша»)

У Сельвинского в стихах о целине:

Скажи «обрез» — и, матюги обруша,
Махновщина средь зелена вина!
А в милом русском имени «Катюша»
Всплывет Отечественная война.

Первые две строчки, которые поставлены здесь, видимо, для контраста, неловки и неуместны, но последние две очень справедливы и дорого оплачены.

### КАСАТКА

Нежные слова больше, чем все другие, подвержены самым трудным испытаниям.

Одно из таких слов, которое и применялось очень иронически и совсем растаптывалось именно потому, что оно и по смыслу и по звучанию необычайно привлекательно, — «касатка».

Древняя поговорка:

— Касаткино гнездо грешно зорить.

Но уже в далекой древности эта же «касатка» получала и такое «применение»:

— Доброга вгляделся в свирепую морду со страшными зубами в пасти и пошутил:

— Вот так касатушка-касатка.

Слово-издевка, сказанное любимым старостой, понравилось невольникам. И прозвище «касатка», данное чудовищу в насмешку, навсегда пристало к злобному морскому зверю. (Вал. Иванов, «Повести древних лет» — хроника XI века)

Навсегда «касатка», в самом деле, сохраняет и по сей день это деловое применение.

— Приплыш. Мертвечина. Кит ли дохлый, касатка... или что. (Пришвин, «Колобок»)

Недавно, в связи с очередным походом наших китобоев, газеты сообщали о сотнях забитых касаток. И тогда же С. Смирнов хорошо столкнул эти два значения слова «касатка»:

Дремлют чайки на месте посадки,
Где стихия меняет цвета,
Вот мелькнули и мчатся касатки
На фонтан голубого кита.

(«Страна без солнца»)

А ведь голубой кит тоже «касатка».

У Даля:

— Касатка — ласточка, пташка... с красным зобком, развилистым хвостом.

Переносные значения:

— Касатик, касатка, касатушка — милый, милая моя, любезный, дорогой, сердечный, желанный, привет.

Слово, таким образом, становилось иногда и служебной формой обращения, нежностью уже формальной.

У «Толля» — только собственное, терминологическое значение: «стриж, род воробьиных птиц из семьи ширококлювных» и т. д. Но и здесь, в строгом научном описании, эмоциональная в своем роде деталь: «на землю редко садятся, ибо с трудом с нее поднимаются».

Редко садятся на землю — в романтической поэзии эта особенность поведения касаток не раз вызывала зависть.

И из гнезда, прикрытого карнизом,
Касатки вылетают верхом, низом,
Кружатся, вьются, чуждые людей,
И я, так полный волею страстей,
Завидовал их жизни безызвестной...

(Лермонтов, «Сашка»)

Н. В. Берг в переводе «Песни Ярославны» из «Слова»:

Путь-дорогу я узнаю,
все приметы отличу
и касаткой по Дунаю
понесусь и полечу.

В оригинале — «Полечю—рече—зегзицею по Дунаеви» («полечу, — говорит, — кукушкой по Дунаю», перевод Н. Гудзия). Берг перевел «зегзицу» «касаткой», просторечным крестьянским словом, которое тогда часто, а потом уже слишком часто встречалось в произведениях из «народной жизни».

— Спорхнула бабочка, большая и черная... у задних крылышек длинные черные косицы, как у ласточки. И бежишь догонять эту степную касатку, пока не устанешь... (М. Михайлов, «Уленька»)

Как у ласточки, поэтому — касатка.

Потом «касатка» уже, по преимуществу, форма обращения.

М. Михельсон в «Крылатых словах» приводит только

два таких примера под словами «ка[о]сатик, ка[о]сатка».

— В чужой руке ломоть велик, касатик, ину пору и хлебушка нетути...

— Канючу с голоду, касатик, о-ох, с голоду... (Григорович, «Антон Горемыка»)

Это уже слово не столько ласкательное, сколько улещивающее, умоляющее и канючащее. Почти профессиональное слово нищих, когда они просят подаяния.

Оно уже становится почти таким же опознавательным знаком псевдонародной литературы, как «разрябинушка» у Щедрина.

Но вот у Толстого в «Воскресении»:

— Видно, сгад наш не в руку. Господь, видно, свое, касатка, — не умолкая вела она [сторожиха] свою ласковую и благозвучную речь...

«Касатка», по ощущению Толстого, все еще, как ни злоупотребляли этим словом, придает речи ласковость и благозвучность.

Одна из ранних пьес Алексея Толстого называется «Касатка».

В начале века в Петербурге «касатками» называли уличных женщин, проституток. Это было жаргонное слово, ироническое возвышение слишком прямых слов.

Но это «применение» имело и другой, довольно точный и горький смысл. Эти петербургские проститутки были еще недавно крестьянскими девушками, кто-то еще недавно называл их в самом деле «касатками».

«Петербургское» значение слова было еще внятно для зрителей и читателей, когда «Касатка» Алексея Толстого вышла на сцену.

Героиня этой пьесы, крестьянка по происхождению, умна и лукава и легко опутывает «миниатюрного в умственном отношении» князя. Но одновременно она и подлинно нежна и любит этого ничтожного князя. Она все еще «касатка».

В 1960 году в репертуаре Русского культурно-просветительного общества в Польше значились три пьесы: современная, советская — «Одна» С. Алешина и две старые — «Касатка» Алексея Толстого и «Осенние скрипки» И. Сургучева. Вот в каком соседстве оказалась «Касатка»!

Идет и сейчас на советской сцене «Касатка» А. Толстого. «Петербургское» значение этого слова давно забыто, самое это слово уже редко звучит и в современной крестьянской речи. Но спор значений в этом слове хорошо слышен и сейчас.

Слово удивительно поумнело после многих «падений» и превращений.

## ПЕНСНЕ

Художник И. Браз долго-долго писал Чехова, совершенно его измучил; в ходе работы он многое менял в трактовке, но пенсне во всех вариантах было для него как бы «ключом» к решению образа.

Когда после Революции началась всеобщая расчистка старых представлений о писателях и поэтах и всех старых «портретов», этот очень известный портрет Чехова работы Браза вызывал наибольшее раздражение.

Михаил Кольцов в фельетоне «Чехов без грима» (1930), а за Кольцовым уже и другие участники «борьбы за Чехова», в самом различном стиле, убирали, или разъясняли, или по крайней мере «ставили на место» это пенсне Чехова, которое стало уже своеобразным идейным комплексом.

Пенснэ (потом пенсне), новое техническое усовершенствование необходимейшего прибора — очков, пришло к нам из Франции, где получило не какое-нибудь ученое, греческое, темное, а простое, прозрачное название: пенс-нэ — то есть зажим на носу, который позволяет обходиться без оглобель, оставляет наконец свободными уши. По-французски это слово звучит очень просто и даже весело. Ср. у Даля:

— Очки щипком, носохватка.

Пенсне надо было выписывать из-за границы, оно дорого стоило; пенсне стало опознавательным знаком тех людей, которые могут себе это позволить.

У В. Курочкина — «Примерный фат»:

Без размышлений, без забот
по старине,
Пока кондрашка не сшибет
с бровей пенсне,

На рысаках во весь карьер
валяй...

Это — дворянские последыши, которых вот-вот сшибет кондрашка.

— Бетси Звездинцева — светская девица, лет 20-ти, с распущенными манерами, подражающими мужским, в pince-nez. (Ср. ее же шек-эндс — мужское английское пожатие руки.) («Плоды просвещения»)

—· Толстая дама в пенснэ — почтенная теософка... (Б. Зайцев, «Голубая звезда»)

Но надевали пенсне «для интеллигентности», часто без прямой необходимости, и новые хозяева жизни — купцы новейшей европейской формации, «железнодорожники», спекуляторы, всевозможные новые джентльмены.

Пенсне служило для самоутверждения. Вокруг «пенсне» разыгрывается очень яркая социальная комедия.

— Несмотря на пенсне и на высокомерный взгляд, лицо у него было простоватое. (Куприн, «Поединок»)

— Подобно Неежмакову, он [писатель Гущин] завел пенсне и отпустил длинные светлые волосы. (Куприн, «Груня»)

— И, опустив голову, надев пенснэ, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. (Бунин, «Деревня»)

— На платформе гуляют барышни и молодые люди, среди которых дает тон высокий телеграфист, местный красавец, франт в дымчатом пенснэ и кавказской папахе. (Бунин, «Новая дорога»)

— Пошляком не был никогда, и заманивать женщин при помощи чая с мармеладом считал очевидной гнусностью. И все же сейчас было немного противно от всех приготовлений, стыдно за галстучек и пенснэ. (А. Толстой, «Пасынок»)

«Братья Гешвиндер»... Наверно, ужасно толсты,
Старший, должно быть, в пенсне, блондин и тупица.

(Саша Черный, «В Берлине»

Особенно ярко, можно сказать, идейная роль пенсне раскрывается в двух последних частях тетралогии Н. Гарина-Михайловского.

В те годы, когда Карташов был студентом, в петербургских кафешантанах распевали:

Кончиком ботинки
С носа сбить пенсне... —

и это, по-видимому, особенно импонировало гостям в пенсне.

Карташов носил пенсне и тогда, когда стал инженером. Это очень раздражало его товарищей — и больше всего тех, которые были вовсе не идейными и передовыми, но зато настоящими, то есть деловыми людьми.

— Да бросьте вы эту балаболку!

Сикорский указал на болтавшееся на груди Карташова золотое пенснэ.

...Карташов ощупал свое пенснэ и с размаху бросил его в соседний сад.

— Ну, это уж глупо, — сказал Сикорский.

Карташов вспомнил, как однажды в деревне Аделаида Борисовна, краснея и смущаясь, сказала ему с ласковым упреком:

— Зачем вы носите пенснэ?

Может быть, он когда-нибудь расскажет ей, при каких обстоятельствах расстался он со своим пенснэ. («Инженеры», XI)

Это было, конечно, расставание с целым мировоззрением, порядком ценностей и особой формой психологической самозащиты. Знал это Гарин-Михайловский и по личному своему опыту. Судя по многим свидетельствам, он сам через это прошел.

Друг Гарина, Чехов с ранних лет и до самой смерти носил пенсне. Он жаловался Лейкину:

— Я обронил на пристани свое pince-nez (цилиндрическое со шнурком)... Оно стоит около 10 руб., так как стекла заграничные. («Письма», 1897)

Еще даже латинскими буквами и как два слова. Но без какой-либо многозначительности.

А вообще говоря, он всегда презирал то, что связывалось с понятием «человек в пенсне», и той личной

драмы, о которой рассказывал изящный Гарин, совершенно не знал.

«Пенсне» уже очень подешевело во всех смыслах, но слово все еще для народа звучит подозрительно и ассоциируется с «интеллигенцией» в самом широком и сбивчивом смысле, даже с очковтирательством.

Эта подозрительность по отношению к «людям в пенсне» получает новые основания в первые годы Революции. В политическом плакате и в театральной самодеятельности это маска, маска, главным образом, меньшевика-соглашателя, нашего и заграничного, или интеллигента, еще враждебного или сомнительного и во всяком случае гнилого.

Шляпы, пенсне, золотые погоны...

(В. Кириллов)

— Этот что? Пенсне да фрак,
«новожизненский дурак»,
лицемер самовлюбленный,
клеветник и враль поденный.

(Д. Бедный)

Поэтому очень полемически звучит у Маяковского упоминание о пенснишках Антонова-Овсеенко:

И один [из восставших],
пенснишки тронув,
объявил
как об очень простом
и несложном:
— Я
председатель реввоенсовета,
Антонов,
Временное
правительство

объявляю низложенным.

(«Хорошо!»)

Совсем особенный человек в пенснишках!

— А Стрижевский с барской обособленностью, сни-

мая и надевая пенсне, рассказывал... (Ф. Гладков, «Энергия», I—VI — 3).

Стрижевский — вредитель, и ему пенсне положено, так сказать, по штату.

Докладчики бывают тоже!
Эх, ты, *губкомовец, в пенснах!*
Как будто лезет он из кожи,
чтоб «измами» стереть нас в прах.

(Безыменский)

Это не вредитель какой-нибудь, а свой, губкомовец. Но — унылый, скучный человек, один из тех «докладчиков» (уже тоже очень обычная мишень сатиры, тоже «маска»), которые способны убить самое живое и важное дело. И такому докладчику непременно положено пенсне, даже пенсны. Он скрывается за пенснами.

При помощи пенсне люди *маскируются:*

— Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса bespectacled women — очкатых женщин, от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка.

И вот миссис Дьюли потеряла пенсне.

— И теперь она была неузнаваема: пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась — и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид не то растерянный, не то блаженный. (Е. Замятин, «Островитяне»)

Она стала опять человеком, когда потеряла пенсне, перестала даже быть островитянкой.

К этому времени относится весьма замечательное выступление Андрея Белого — его поэма «Первое свидание» (изд-во «Алконост», 1921 год), одно из самых сильных «выяснений отношений» между старой интеллигенцией и новой эпохой. В этой поэме «пенснэ» (через *э*) — большой и важный символ: «пенснэ», блестяще оркестрованное, несколько раз возвращается и говорит, по замыслу поэта, о многом.

В воспоминаниях о М. С. Соловьеве, историке (сыне знаменитого историка) и, по всем признакам, мудреце:

Михал Сергеич повернется
ко мне из кресла цвета «бискр»;

стекло пенснэйное проснется,
переплеснется блеском искр...
...его [пенсне] он сбрасывает кротко
золотохохлой головой
с золотохохлою бородкой,
прищурый, слабый, но живой.

Вся поэма говорит о различных преломлениях действительности — в различных зеркалах и стеклах, а стекло пенснэйное, когда оно проснется, переплеснется — с очень настойчивыми «н» и нежными «л» — говорит о другом и более мудром, по Белому, ви́дении мира.

«Борьба за Чехова» была и полемикой с Белым, с «Алконостом» и др.

— Они еще не очень знаменитые, но среди них есть один в пенсне, как видно, писатель чеховского толка. (Ильф—Петров, «Когда уходят капитаны»)

— Собрание интеллигенции. Вход по предъявлении пенсне. (Л. Славин)

— В зале Дома ученых встретились молодые писатели, приехавшие на фестиваль. Здесь были французы в смокингах, в крахмальных рубашках, с черными бабочками-галстуками. Вот я вижу одного из них, с золотой, почти чеховской цепочкой. Кстати, цепочка эта и пенсне страшно не вяжутся с утонченным обликом литератора. («ЛГ», 13/VIII 1957 г.)

А писатель этот считал, по-видимому, уместным загримироваться под Чехова, когда ехал в Россию; раз так, то потребовалось и чеховское пенсне...

По-разному, в различных стилях, но неуклонно наша печать «очищала» портрет Чехова от пенсне.

И в наши дни «пенсне» выступает еще иногда в старой роли.

— Иникова вообще в конторе недолюбливали. В частности, из-за пижонского пенсне с вогнутыми линзами, сверкавшими молниеобразно и зловеще. За это пенсне его окрестили «Змеем-Горынычем»... (А. Рекемчук, «Время летних отпусков»)

Объявление в стенгазете:

— 14 мая в клубе нашего института состоится лекция на тему о любви и дружбе. Лектор — действительный

член Общества по распространению политических и научных знаний кандид. педагог. наук.

Лекция была, по-видимому, плохая.

Товарищ!
Да что вы!
Смеетесь над нами?
Неужто вы так и родились:
в пенсне,
с золотыми зубами?

(Р. Рождественский, «По поводу»)

В пенсне, а, туда же, говорит о любви и дружбе!

Но, вообще говоря, «пенсне» уже утратило свою полемичность, стало словом из так называемой нейтральной лексики.

Поэтому в рассказе о прошлом оно звучит теперь по-новому значительно.

— На миг, на долю мига сменяют друг друга кадры: залитое кровью лицо учительницы в пенсне, безногий инвалид, женщина с мертвым ребенком на руках. («Броненосец «Потемкин»)

У Катаева:

— Один из студентов был в кривом пенсне на черной ленте, в сапогах и курил папиросу.

Это участник социал-демократического кружка в 1910 году.

— Вот как? — сказал Василий Петрович, подсаживаясь к столу и принимая свою обычную «учительскую» позу, то есть закладывая ногу на ногу и показывая в свободно откинутой руке пенсне на черном шнурке с шариком. («Хуторок в степи»)

Это был учитель, верный до конца своим благородным, хотя и очень умеренным, убеждениям.

Кривое пенсне на черной ленте — и пенсне на черном шнурке с шариком. Катаевское великолепное писательское зрение...

Два пенсне в серьезной схватке. Но оба написаны у Катаева уже по-русски, через «е», а не через «э» оборотное. А в свое время это слово и писалось и произносилось по-разному.

## БОТИНКА И БОТИНОК

Это французское слово принадлежит как будто к так называемой нейтральной лексике: оно сохраняет, как и в прошлом, только одно значение определенного вида обуви. Однако отношение к этому слову менялось очень наглядно...

«Ботинки» названы в знаменитом указе императора Павла I:

— Не носить сапогов, ботинками именуемых...

Это слово, стало быть, было для Павла не нейтральным. Что-то опасное входило в жизнь вместе с этими новыми сапогами, на французский манер именуемыми ботинками. Хорошо известно, что Павел в своей языковой политике был по-своему очень последователен и чуток и запрещал слова, которые в самом деле таили в себе какой-то угрожающий ему ход и образ мысли. Ботинки, видимо, имели для него какую-то связь с «французским развратом» (так именовалась в официальной печати Французская революция).

Запретить слово никогда и никому еще не удавалось... Для большинства населения империи, русского крепостного крестьянства, указ Павла не имел никакого практического значения, потому что народ был лапотник в самом прямом смысле слова. А в высшем круге ботинки вошли в обиход, и слово это уже скоро перестало звучать изысканно, по-французски; оно более или менее обрусело, но применялось, как и по-французски, в женском роде.

То крылья вдруг берет орлины,
парит к луне и смотрит в даль,
то рядит щеголей в ботины,
любезных дам в прелестну шаль.

(Державин)

Ботины щеголей. Но по преимуществу это была дамская обувь.

— Помните ли вы мои ботинки couleur de puce [цвет блохи, красновато-бурый]? Только я одна носила такие ботинки в Пятигорске. (Наташа Мартынова — Лермонтову).

Уже поэтому оно звучало и теперь не нейтрально, но не в политическом каком-нибудь отношении; принадлежность хорошо одевающейся женщины, «ботинка» была окрашена, можно сказать, чувственно; метонимически оно означало и женскую «ножку» со всеми ее ассоциациями и всей ее поэтикой:

— На диване у Пахотина можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку... (Гончаров, «Обрыв», 1—2)

Даже фамилия этого человека лукавая. Пахотин — от пáхоты (и ударение поставлено), но почти однозвучна она и с похотью.

Там же в «Обрыве»:

— Шевеля кончиком ботинки...

— Тоненькие ножки, обутые в игрушку-ботинку... («Справочный листок гор. Казани», 1867)

— Эти прелестные ботинки, которые так обаятельно держат в плену вашу ножку, — они плод заблуждений, потому что «башмачник» бесчисленное множество столетий заблуждался, плетя лапти или выкраивая из сырых кож безобразные пироги, покуда, наконец, дошел до того перла создания, который представляет собой современная изящная ботинка. (Щедрин, второе «Письмо к тетеньке»)

— Смердяков поигрывал носочком своей лакированной ботинки... (Достоевский, «Братья Карамазовы»)

Какой без этого Смердяков!

У Чехова:

— На сцене m-lle Тюрьи, профессор черной магии, показывала фокусы. Она из женской ботинки выпустила стаю голубей... («Ненужная победа», VII)

— Из ботинки Нины Федоровны... выскочила мышь. («Три года»)

В рассказе Бунина (играют в крокет):

— Неумело поставила ботинку на шар, сильно размахнулась, но молоток боком стукнул ее по ноге... («На даче»)

И т. д. и т. д.

У Даля «ботинка» шла без какой-либо разработки, без примеров, и дано это слово только в женском роде, единственно правильном, по Далю. У «Толля» не было

совсем этой игрушки. Бодуэн де Куртенэ так хорошо говорил о различном «настроении», которое может вызвать одно и то же слово, но и он ничего не добавил к далевскому толкованию и оставил женский род как единственно правильный.

У Толстого и в прямой речи его героев из высшего общества и в авторской речи о тех же героях («Анна Каренина» и др.) «ботинка» неизменно в женском роде.

Но вот в «Отце Сергии» «ботинок», с весьма замечательной внутренней мотивировкой.

— Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтобы он впустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога была мокра до нитки, и ботинок, и ботик полны воды. (V)

Все до того было ложью, а это — точно, в самом деле, и «ботинка», как ее называют в свете, стала ботинком, такой же всамделишной и необходимой вещью, как ботик...

У Глеба Успенского в рассказе из совсем другого быта:

— Закабалил одежей, шляпкой, зонтиком, ботинком с каблучком. («Грехи тяжкие»)

«Ботинок» в мужском роде, и это здесь такое же обиходное, настоящее, не манерное и книжное употребление, как «одежа» вместо «одежда».

При помощи ботинка с каблучком з а к а б а л и л девушку.

А другая девушка, тоже закабаленная и таким же в общем путем, распевала в те же годы:

Франтику с картинки
Любо будет мне
Кончиком ботинки
С носа сбить пенсне.

У Горького в «Климе Самгине» (ср. выше у Н. Гарина).

В своем личном обиходе и в разговоре с подругами она же, вероятно, называла свою дорого оплаченную, огореванную ботинку, профессиональную принадлежность, просто «ботинком», *как все.*

У Блока:

На плече за тканью тусклой,
На конце ботинки узкой
Дремлет тихая змея...

(«Сквозь винный хрусталь»)

Это — высокая поэзия, и возникает она в споре с той самой пошлой шансонеткой, с мещанским «жестоким романсом», эстрадным грязным куплетом. Кто не знает и других чудесных превращений этого рода у Блока, и у Маяковского, и у других больших поэтов! Здесь отметим только, что сила этого преображения именно в страшной рискованности лирического хода — от заведомо падших слов с их готовыми эпитетами к высокому образу. «Узкая ботинка», конечно, была уже словом с такими непременными ассоциациями.

В литературе первых лет Революции, и в газетах, и в рекламе демонстративно утверждается «ботинок», а не «ботинка», потому что именно так называют в народе этот ширпотреб. Просто смешно было бы как-нибудь переиначивать и остранять это простое и почти такое же русское слово, как «башмак».

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», —
в отчаянье он написал...

(Я. Смеляков, «Хорошая девочка Лида»)

Милый ботинок!

И мужской у них ботинок
женской обувью слывет...

(Тихонов, «Женщины Куруша»)

Это уже совсем поразительно!

«Ботинка» в женском роде уже настолько необычна, манерна и претенциозна, что она может стать чрезвычайно важной деталью речевой характеристики.

У Ф. Гладкова в «Цементе»:

— А в продком я сама пойду и ботинкой буду бить их хари... (2—2)

Никто уже так не говорит, и поэтому она желает именно так говорить. Героиня Гладкова этой «ботин-

кой» утверждает свою «индивидуальность», свое прошлое, всю другую Россию; она бьет ненавистные их хари при помощи этой демонстративной «ботинки».

«Ботинка» — уже архаизм. Новый «Словарь современного русского литературного языка АН СССР» указывает, однако, обе эти формы как в равной мере законные.

Это сразу же вызвало чрезвычайно характерные возражения!

Художественный руководитель дикторской группы Радиокомитета В. Всеволодов, консультант этой группы по русскому языку М. Зарва и профессор К. Былинский писали в «Литературной газете» (29/IV 1952 г.):

— Почему-то узакониваются [в этом словаре] колебания в роде существительных *там, где их давно нет:* валенок и валенка, ботинок и ботинка.

«Давно» — это сказано, как мы видели, слишком решительно и неточно.

Но, вообще говоря, авторы письма в редакцию правы. *Единственно правильная* еще недавно форма стала архаической и чужой, а стало быть неправильной. А «ботинок» звучит уже никак не демонстративно: как же иначе?

И тем патетичнее с каждым годом звучит «узкая ботинка» Блока.

Ботинка и ботинок, эти *две* формы имеют каждая свою историю.

## СОЛИТЕР

В рассказе 1923 года у Ольги Форш:

— Председатель комбеда изловчился паек выудить, ну, как бы вы думали, кому? — Солитеру! Так и так, изложил: червь мой все съедает, дайте вдвое. Не разобрали, выдали и ему и червю. И гнусное беспозвоночное жрет, как граждане... («Чемодан»)

Большую роль сыграло в этом случае, конечно, непонятное и пышное н а з в а н и е гнусного паразита — обыкновенной глисты в кишечнике.

И сам этот «предкомбеда» был паразит из тех, кто знал трудные слова и с их помощью обманывал еще темных и голодных людей. «Предкомбеда», по всем при-

знакам, получал даже особое удовольствие от того, что так ловко, при помощи слова, выудил очень реальные блага, настоящую драгоценность по тому времени.

О. Форш не «обнажала прием», оставалась совершенно непроницаемой, будто не видела, как разыгралось у нее слово в этом прекрасно рассказанном анекдоте, — вероятно, из жизни, — и совсем не упоминала еще о другом значении, которое издавна имело это слово: солитер — драгоценный камень.

Это слово в его двух пока еще значениях имеет свою, весьма интересную литературную историю.

В журнале И. Ф. Богдановича «Собрание новостей» (1775) был введен раздел «Черты благодеяний человеческому роду». Открывался этот раздел сообщением о том, что французский король опубликовал во всеобщее сведение купленный им у «некоторой вдовы» рецепт лекарства против солитера и что способ употребления этого лекарства приводится ниже. Король-гуманист не присвоил, мол, это драгоценное лекарство, он опубликовал рецепт во всеобщее сведение...

И сразу же этим сообщением, в том же разделе «благодеяний», под прикрытием этого анекдота о солитере, была напечатана статья о преимуществах, даже экономических, свободного труда перед крепостным — в виде рецензии на какую-то немецкую книгу...

«Солитер», классический паразит, не раз получал важнейшие «применения» и в передовой литературе XIX века.

У Щедрина два помпадура, совокупно, ведут «кампанию» против огромного червяка, «с вида точь-в-точь солитер, который истреблял озимь, сию надежду будущего урожая. Кампания протекала за прекраснейшей ухой из стерлядей в течение двух ночей».

И когда они уже потолковали о предстоящих мерах, червь как бы по мановению волшебства исчез. Тогда, поевши ухи и наказав обывателям, дабы они всячески озаботились, чтобы яйца червя остались без оплодотворения, помпадуры расстались.

Все это — «эпизод, изображающий собственно административную деятельность благодушного старца» («Старый кот на покое»). Сами помпадуры — совершенные «солитеры» по своему умственному развитию и полету мысли, но считают себя «солитерами» в высшем

смысле. «Собственно административная деятельность» их страшно глупая, но и страшно паразитическая.

В «Свадьбе Кречинского» у Сухово-Кобылина вокруг «солитера» разыгралась трагедия «раздевания» степного помещика, участника суворовских походов Муромского. И опять «солитер» удивительно как заиграл в рассказе о мире-капкане, в котором «сонных режут».

В начале века в интереснейшем фельетоне Власа Дорошевича о современных помпадурах есть исповедь некоего тайного советника:

— А вы знаете, что у нас внутри-то делается? Внутри?! У меня, например, внутри солитер... У другого жена-транжирка, другого француженка разоряет... А я от этого воздерживаюсь. Я даже с одним пустынножителем в переписке состою. Но меня губит солитер. Я утром просыпаюсь, думаешь, не решаю? Решаю! «Так поступать буду, эдак, баста! Довольно!» Клятву даю. А иду мимо Милютиных лавок и вдруг вижу в окне фигу... И вдруг мой солитер поднимается: фигу ему, подлецу, подай! Знать ничего не хочет! Подай фигу! Устриц ему, негодяю, шабли, райской лососины, пулярдки с трюфелями! Ну, и иду к вам, к предпринимателям подлым! И сдаюсь: кормите моего солитера. А если бы у меня не солитер? Может, судьбы России иные были бы. А солитер! Мне бы по моему солитеру совместителем (!) восьми ведомств надо быть... («Фонтан»)

Положение вещей обрисовано вполне точно.

Необычайно интересен, — даже более, чем обычно, — спор Даля и «Толля» по поводу «солитера». Замечательно уже и то, что для Даля это о д н о слово с двумя значениями, а для «Толля» три разных, хотя и однозвучных, слова.

У Даля с о л и т е р: 1) ленточный червь-паразит; 2) крупный алмаз. Они в одном гнезде, и легко видеть, что́ их объединяет. Этот червь «живет одиночкою в кишках», отсюда солитер от фр. solitaire, лат. solitarius, а этот крупный алмаз тоже одинец, то есть «чему нет ровни, дружки, пары, вёрсты; единственный, самого высшего разбора».

У «Толля»:

— *Солитер* — ленточная глиста.

Затем следует подробное описание и подчеркивается, что пищу солитер всасывает всей поверхностью тела, что голова у него величиною с булавочную головку, нервная система в зачаточном состоянии, но зато у него есть четыре присоска, то есть что это классический по самой своей природной организации паразит.

Здесь же довольно курьезное, но тоже очень конкретное и строго объективное будто бы замечание, что солитер встречается преимущественно в кишечном канале у жителей Германии и Франции... Паразиты знали, к чему присосаться!

И за этим «солитером» у «Толля» следует и другой солитер: брильянт значительной величины, оправленный отдельно, без осыпки другими камнями.

Здесь же еще «созвездие Южного полушария, находящееся между Девой и Весами».

«Толль» не вдается в рассуждения о том, почему эти столь различные предметы называются одним и тем же именем. Важнее всего строго *разграничить* эти понятия, чтобы однозвучие не сбивало.

В Словаре АН «солитер» — одно слово с несколькими значениями. У Павленкова опять, как у «Толля», — разные, хотя и однозвучные, слова.

Из старых народных этимологий «солитера», пожалуй, самая интересная — в «Архангельских новеллах» Б. Шергина:

— По-моему, у их в утробе *лиситёр* вырос. Пущай бы больна селедку-другую съела да сутки бы не попила, он бы сам вышел. *Лиситёр полдела выжить.* («Варвара Ивановна»)

«Лис», лисица в обманном, непонятном обличии. И надо этого гнусного и хитрого паразита бить его же оружием — обмануть и выжить.

И уже после Революции О. Форш, как мы видели, дала этому многозначному и уже очень бывалому слову новое и прекрасное применение. Этот «предкомбеда» действовал как лиситёр.

А в 1930 году, в шестой книжке своего журнала «Наши достижения», Горький дал новое и замечательное применение солитеру...

Это было время, которое лучше всего обозначается горьковским же вопросом: «С кем вы, „мастера культуры"?»

Очень многие подлинные мастера были ни с кем, куда-то «уходили», а марксистскую «точку зрения» считали в своем роде плодотворной, но узкой, сковывающей художника и т. д. и т. д. За ними, «туда же», не мастера, а самые посредственные писатели повторяли эти слова и еще добавляли другие — о самоценности личности, об уединении и отрешенности от повседневной жизни, которая одна только и позволяет создать высшие творения человеческого духа. И Горький назвал их «солитерами».

Уже исходный научный термин — солитер — был поэтическим тропом; от него ответвились и пошли другие тропы. А Горький применил его к людям, которые совершенно серьезно считают себя уникальными и бесценными бриллиантами, а на самом деле суть такие же паразиты, как черви определенного рода.

Черви слепые, как известно, и вообще играли важную роль в поэтике Горького. Теперь он снова говорил этим солитерам:

— А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, ни песни о вас не споют.

Так и получил термин «солитер» у Горького новое, третье или четвертое, огромное значение, которое отмечается теперь во всех словарях общенародного языка.

## БОРЗАЯ, BORZOI

Кроме «интеллидженсии», есть еще одно русское слово, которое значится в неприкосновенности даже в «Кратком Оксфордском словаре» английского языка, то есть среди самых употребительных английских слов. Это:

— **Borzoi**, сущ. (ж. р.) — русская овчарка, **borzoy**, прилагательное — стремительная, также сущ.

Оно значится и в «Словаре XX века» Чеймберса, и не так уже формально, с некоторой оценкой:

— **Borzoi** — порода собак, очень грациозных и красивых, по очертаниям напоминает большую **greyhound**,

но с мягкой кожей, размера оленьей охотничьей собаки. (Русск.)

И здесь, однако, нет многих переносных значений этого слова, которые так часто встречаются в английской и американской современной литературе. Только «greyhound» (то есть та же борзая, по-английски) напоминает о том, что соответствующее английское слово может применяться и метафорически. Greyhounds — так называются быстроходные, как борзые, океанские лайнеры.

Borzoy назывались также некоторые марки английских танков.

Но применение borzoi гораздо шире.

Одно из самых известных и в своем роде передовых английских книгоиздательств называется «Borzoi». Борзая — его торговая марка и девиз. Борзая — символ утонченности и тонкости в прямом и переносном смысле этого слова, некоторой также загадочности и «хорошей порочности».

— Разве она не шикарна! Ей не хватает только borzoi. (А. Миллер, «Все мои сыновья»)

Интонация у А. Миллера ироническая. Но верх шикарности у всех софистикейтед обозначается именно этим русским словом — borzoi. И у нас в свое время, в декадентской литературе, «борзая» играла такую же роль, какую она сейчас играет на Западе, у современных снобов. Салонные наши поэты иногда писали это русское слово даже латинскими буквами.

«Борзая» как непременная часть реквизита этих поэтов хорошо помещена в стихах одного из таких же, собственно, поэтов — Игоря Северянина:

Великолепные перья
Несуществующих птиц,
Греза поэта — пэри,
И с ней арапчонок Пти.
Мотор, дрожа и терзаясь,
Выстукивающий по таксе,
Розовая борзая
И выдуманная такса.

(«Кафе»)

И поэтому так многозначны и содержательны знаменитые строки Маяковского:

Стиль изыскан, как борзая,
сконапель ля поэзи...

Эти строки бьют по всему фронту: и по современным отечественным пижонам (или стилягам, по новейшему их обозначению), и по современным западным декадентам, и по нашим поэтам-декадентам в прошлом и настоящем, по всему мещанскому «сконапель» и по всему тому, что связано в нашем языке издавна с борзыми, «борзыми смельчаками в прозе и стихах» (Радищев), всевозможными «борзописцами», «человеком, к укрощению борзым» (Щедрин) и т. д. и т. д.

«Борзая», «borzoi» в истории поэтического языка — большое и бывалое слово.

## ОБЩЕЖИТИЕ

— Велми удобное к спасению общежитие. (Послание митроп. Даниила и др.)

«Общежитие» в церковном значении — очень старое слово.

А во второй половине XVIII века это был неологизм, созданный, по старой модели, переводчиками — для обозначения нового, отчетливо политического понятия.

— «Общежитие пчел, с государством гражданским сравненное», сочинение Иоанна Лакцентия, с латинского.

Из Парижа от 24 августа:

— Народное собрание все еще занимается первою главою нового Уложения, в котором истолкованы будут права человека в *общежительстве*... («Спб ведомости», 1789, № 74)

«Уложение», древнерусское политическое слово в смысле «Конституция», и тут же вновь образованный при помощи суффикса «-ство» новый политический термин.

У Карамзина, который был, как известно, очевидцем Французской революции:

— Кажется, будто он [французский народ] выдумал или для него выдумано общежитие: столь мила его обходительность, столь удивительны его тонкие соображения в искусстве жить с людьми. (Карамзин, «Письма русского путешественника», VI)

— Человек рожден к общежитию и дружбе... (Там же)

У него же:

Для бедных разумом
Жизнь самая бедна:
Лишь в общежитии
Мы им обогатились.

(«Протей»)

Передовая, даже революционная просветительская идея, хоть и окрашенная сентиментально.

Квириты храбрые полсветом обладали,
Но общежитию их греки обучали.

(В. Пушкин — Д. Дашкову)

Побежденные греки учили победителей общежитию— цивилизации. Это писалось в эпоху Священного Союза, после победы над революционной Францией...

«Общежитие» — термин просветительской идеологии и фразеологии.

— Собственность! священное право! душа общежития! Источник зако́нов, мать изобилия и довольства! (Ив. Пнин, «Опыт о просвещении»)

У Жуковского:

— Россия вступила ныне в период безмятежного приобретения всех сокровищ общежития... («Восп. о торжестве 1834 г.»)

У Радищева, в наставлении отца своим сыновьям: *«единожитие»* и *«общежитие»*.

«Правила единожития, елико то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности». «Общежитие» — *правила общественного поведения».* («Крестьцы»)

Пушкин:

Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством.

(«Евгений Онегин», 2—XI)

Это — об искусстве разговора за столом, table-talk, которым не владели соседи Онегина по деревне. А вот «общежительность»:

— Г. Лемонте утверждает, что и наш язык не столько от поэтов, сколько от прозаиков должен ожидать европейской своей *общежительности*. Русский переводчик оскорбился сим выражением, но если в подлиннике сказано civilisation européenne, то сочинитель чуть ли не прав... («О предисловии г. Лемонте»)

Пушкин готов поставить знак равенства между «цивилизацией» и «общежительностью», но не «общежитием». Это последнее слово уже к тому времени измельчало. «Правила общежития» означали уже большей частью общепринятые приличия, условности, «людскость». Пушкин образует «общежительность» — более широкий политический и философский термин — при помощи другого, очень важного суффикса «-ость».

У Герцена другое, бесконечно важное различение:

— Народное сознание... сырое произведение... удач и неудач *людского сожития*... («Лит. насл.», т. 51)

Это еще не «цивилизация», не «общежительность», а только «сожитие», которое ничем не обогащает.

Даже не «общежитие», которое оставалось для Герцена, несмотря ни на что, высоким словом:

— Революция указывала на блестящие идеалы, на широкую будущность и, наконец, на существующую Европу с ее наукой и искусством, с ее государственным строем и общежитием. (14—154)

Еще недавно передовое слово, почти лозунг в общественно-политической борьбе, «общежитие», «пройдя через множество предательских уст», очень низко пало. Куплеты Щепоткина, когда он стал начальником отделения в казенном месте:

Теперь головомытия
Сам стану учинять,
Без правил общежития
Пушить и распекать.

(Ф. Кони, «Петербургские квартиры»)

— Я не видывал человека, который бы так ловко соединял педагогику с общежитием. (С. Жихарев, «Записки студента», I)

Это была «педагогика» наблюдателя за образом мыслей офицеров и начальника тайной полиции, которая счастливо сочеталась у него с «общежитием», то есть вежливостью и даже особого рода чуткостью в обхождении.

В «Войне и мире» о Друбецком:

— Глаза Бориса, спокойно и твердо глядевшие на Ростова, были как будто застланы чем-то, как будто какая-то заслонка — *синие очки общежития* — была надета на них. Так казалось Ростову. (2—2—19)

Синие очки общежития! Одно из чудес Толстого.

Щедрин приканчивает это обманувшее слово:

— Общежитие без водки немыслимо. («Помпадуры и помпадурши» — «Зиждитель»)

Шевченко записывал в своем «Дневнике» (по-русски):

— в восторге от их общежития и мнимого гостеприимства.

Столь же мнимое «общежитие», как и гостеприимство (еще одно павшее слово).

Даль писал в «Напутном» к первому изданию «Пословиц русского народа»:

— По мере раздора сердца и думки, когда человек заумничается, речь эта [т. е. городская, в отличие от безыскусственной и прозрачной народной речи] принимает более искусственную постройку, в общежитии пошлеет, а в научном круге получает особое, условное значение. (1853)

Здесь, конечно, вся идейная программа Даля, которая получила впоследствии такое яркое выражение в его «Словаре». А «общежитие» означает у него, как видим, нечто раньше всего городское, заумничавшееся (софистикейтед!), далекое от почвы. В этом «общежитии» речь, конечно же, пошлеет.

В «Словаре», в 60-х годах, Даль подводит итоги развития этого слова в живом языке:

— Общежитель — монах, инок в общежитии, общежительстве, в монастыре, где монахи без собины содержатся все на счет обители. Студенческое общежитие. Общежитие, общественная, обиходная, гражданская жизнь и быт.

Как мелко и узко звучит у него пушкинская «общежительность»!

Есть уже «студенческое общежитие», но на первом месте монахи, о которых сообщается, что они живут на счет обители. А «общественная» и «гражданская» поставлены в один ряд с «обиходная». Значения раньше всего терминологические, а не, как некогда, политические и даже философские.

У «Толля» нет «общежития». Между тем именно в эти годы и среди самых близких Толлю «новых людей» возникают общежития людей «без собины».

— Слепцов решил начать с простого городского общежития и потом постепенно превращать его в настоящий фаланстер по Фурье. (Е. Жуковская, «Записки»)

Это были общежития, но Слепцов и его товарищи отвергают слово «общежитие» со всеми его (чаще всего нечистыми в языке противника) ассоциациями. Они избирают другое, смелое, одно из тех слов-программ, которые не оправдались, не могли оправдаться до Революции.

У народников «общежитие» сближается с «общиной», как исконной и справедливой формой общежития.

— Они, народники, считают, что у нас есть такие формы общежития, к которым именно и стремится Запад. И вот с этой точки зрения и говорят они: к чему эти излишние страдания и ломка, когда ячейка мировой формулы уже имеется у нас. (Гарин, «Студенты»)

Вместе с «общиной» разоблачена затем и эта «ячейка мировой формулы», в которую входило «общежитие».

В начале века широкий смысл этого слова почти совсем «задвинут». Другие слова воплощают теперь те понятия, которые с ним связывались. Бодуэн де Куртенэ в последних изданиях Даля добавляет только в качестве современного применения этого слова:

— Условная вежливость общежития.

Революция восстанавливает «общежитие» — и в самом широком значении этого слова.

— Избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусностей капиталистической эксплуатации, люди постепенно *привыкнут* к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правил общежития, к соблюдению их без насилия, без

принуждения, без подчинения, *без особого аппарата* для принуждения, который называется государством. (Ленин, 25—434)

На смену полицейски-классовому государству придет общежитие.

Это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий
жить единым
человечьим общежитьем.

(Маяковский, «Товарищу Нетте...»)

«Общежитие» в поистине мировом масштабе.

Но есть и «общежитие» в предметном значении.

— Нехорошо тогда называли эту казарму. Теперь это — «Общежитие имени Розы Люксембург». (И. Жига, «Думы рабочих»)

И оба эти «общежития» сталкиваются иногда очень драматически:

— Затешешься к какому-нибудь приятелю в общежитие, а там все до одного друзья детства...

— А эти грибки, эти каракатицы, живущие в темных углах нашей жизни, пожирают наши молодые силы и мутят свежую стихию нашего общежития своими ядовитыми соками... (Гладков, «Головоногий человек»)

Только в рабочем общежитии и можно почувствовать себя в новом нашем «общежитии».

Есть государственный закон: «Правила социалистического общежития». Высокие, но и строго деловые слова. Нарушение этих правил влечет за собой определенные юридические последствия.

Суд разбирает на основе этого закона так называемое бытовое дело.

— Значит, вы подтверждаете, — говорит судья, — что Настасья Вострякова, проживая в доме номер восемь, систематически нарушает правила социалистического общежития?

— Еще бы! Конечно, подтверждаю, — сразу же соглашается Добрынина. — *Как оно там называется по-су-*

*дейскому, — не знаю,* а попросту говоря: поедом ест... (Осин, «Алмазная грань»)

Для нее это «судейское» слово, а оно — слово-программа, и сила его в том, что оно имеет и очень широкий и предметный смысл и еще также терминологическое значение.

Слово все-таки хорошее, гордое и романтическое.

— Мама, я в Мурманск*им,* учусь на учительницу и живу в *общем житии...* (У Ел. Тагер, «Зимний берег»)

Прекрасная «народная этимология» — возвращение слова к его истокам.

Люблю бродить по вечерам
У закипавших общежитий...

(М. Исаковский, «У студенческих общежитий»)

...вы слыли первой красавицей
В общежитии начсостава.

(К. Симонов, «Иван да Марья»)

Эти последние стихи писались, впрочем, уже тогда, когда старое общежитие было только воспоминанием.

Вот еще одно воспоминание:

— Ты всегда жил в общежитии. Ты говорил: «Я не понимаю комнаты, в которой меньше десяти коек!» Когда тебе в 1924 году дали отдельную комнату — ты метался в ней. Ты хотел вышибить стекло, чтобы ветер пришел к тебе в соседи. Ты болтался без толку по кривым улицам города, чтобы только не идти домой, в пустую комнату. (Горбатов, «Мое поколение»)

Очень трудное привыкание к отдельной комнате!

Мы заблуждались, юный брат,
в своем наивном аскетизме,
и вскоре наш неверный взгляд
был опровергнут ходом жизни.
С тех пор прошло немало лет,
немало грянуло событий,
*истаял даже самый след*
*апологетов общежитий.*

(Я. Смеляков, «Строгая любовь»)

Уходит в прошлое не только рабочая казарма, но и старое общежитие с его «квадратурой круга», с его зна-

менитыми «комендантами» (еще одно много пережившее слово).

Остаются *воспоминания* о старом общежитии.

...Будто снова я девочка
Из комсомола,
Будто снова студенчество,
Через разлуку
Из своих общежитий
Протянуло мне руку...

(Ю. Друнина, «В закусочной»)

Остаются пережитки общежития.

— Когда Тоня вошла в комнату с кастрюлей, Игорь лежал на кровати, одна рука закинута за голову, другая, с карандашом, что-то чертила в воздухе...

— Та-ак... — строго сказала Тоня. — Привычки общежития. *Пережитки общежития в сознании людей.* (Гранин, «После свадьбы»)

— Ведет себя дома как в каком-то общежитии!.. (Ср. «Сентиментальный роман» Веры Пановой)

Но понятие не переименовано и не добавлено к старому слову такого дополнения, которое сразу говорило бы о том, что это уже не прежнее, а другое, супер-общежитие.

Л. Никулин рассказывал в книге «Время, пространство, движение» о товарище из Петросовета, б. студенте из Тулузы, большом почитателе Ремизова, Сологуба и Блока:

— Детищем этого товарища был «Отель Петросовета номер I», именно отель, а не гостиница или общежитие. (1—90)

*Гостиница* ему казалась слишком тривиальным словом, а *общежитие,* если иметь в виду реальные образцы, недостаточно высоким для его отеля.

Это было в первые годы Революции. А теперь сохраняется старое название даже в применении к новейшим, непохожим на прежние общежития отелям.

Это новая и очень хорошая форма обращения с бывалыми, еще недавно обоюдоострыми словами.

## БАЗАР

— На пестрые базары мусульман заглядывал... (У Островского в «Снегурочке», по старинным песням и былинам)

Люблю базарное волненье,
Скуфьи жидов, усы болгар.

(Пушкин, «Чиновник и поэт»)

...В деревне счастливых татар;
В то время русские охотно
Желали видеть их базар.

(Полежаев, «Чир-Юрт»)

— Б а з а р. *У персиан* рынок или место, на котором продавцы собираются для торга. (Ив. Ре-ф-ц, «Карманная книжка...», 1837)

Базар — пестрое, по-восточному яркое, шумное торжище.

От этого «собственного» значения обычным путем образуется обобщающее понятие базара как веселой, праздничной и бестолковой шумихи. Само название, непривычное, непонятное, стало быть, «шумное», делает этот перенос естественным и точным. Базар — и тот день, когда происходит это важное событие, и то место, где оно разворачивается. Деревня и маленький город *живут от базара к базару.*

— Слопавши в четверг изрядные мужицкие обозы, он [город] на всю остальную седьмицу погружался в дремотное состояние, сопел, урчал, позевывал, почесывался, облизывался и заспанным голосом восхвалял создателя. Вот почему в нем стояла такая тишина в те дни, когда не было базара. (А. Эртель, «Смена»)

Перед базаром — репетиция: п о д т о р ж ь е. Это очень значительное обстоятельство в дальнейшем развитии понятия «базар»...

Подторжье перед конским базаром:

— Сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами (это был конский базар) о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят:

— Что господь даст! Что господь даст! Он цены строит... (Бунин, «Подторжье»)

Происходит, таким образом, предварительный сговор о ценах, которые можно будет назначить и продиктовать на базаре покупателям. Это — *кулисы биржи.*

Но считается, что бог цены строит, хотя все посвященные хорошо знают, как именно они были построены.

«Бог цены строит», и даже опасно и страшно об этом говорить... Так в буржуазной политической экономии слышен и сегодня этот мотив: цены устанавливаются не только в зависимости от спроса и предложения и т. д., но и еще по каким-то непостижимым и высшим причинам.

Так и цена человека устанавливается каким-то образом на *житейском базаре.* Вся жизнь — базар.

«Базар житейской суеты» — очень распространенный в мещанской литературе штамп.

— Университету я предпочел базар житейской суеты...

Это у Г. Данилевского в романе, который носит такое же «роковое», «жестокое» название — «Девятый вал».

И этот же «житейский базар» — у Щедрина:

— То было время, когда мысль должна была оговариваться и лукавить, когда она тысячу раз должна была окунуться в помойных ямах житейского базара, чтобы выстрадать себе право хоть однажды, хоть на мгновенье, засиять над миром лучом надежды, лучом грядущего обновления. («Литераторы-обыватели»)

У Михельсона в его «Крылатых словах» весьма много примеров многозначительного применения слова «базар» из Б. Маркевича, В. Крестовского, К. Скальковского и своих собственных писаний, но нет, конечно, этого примера из Щедрина.

Восточное, «татарское» «базар» рано утверждается во всех больших европейских языках как обозначение чего-то экзотического, в своем роде эффектного. По этому образцу, из французского и английского, «базар» приобретает и в словоупотреблении нашей дворянской верхушки особое применение: «базар» означает на этом жаргоне благотворительные сборища и парады, чинные и строгие, но зато очень эффектные по составу участников и по их костюмам. Это высокое и «шикарное» слово.

И с большей жаждой дел прекрасных
Пойду, храня священный жар,
Опять на все я за несчастных —
*На бал, на раут, на базар.*

(Н. Павлов, «Благотворитель»)

Весьма характерно саркастическое, горькое снижение «базара» в этом его применении у очень светского по своему стилю царского премьера и романиста П. А. Валуева:

— Ради барона Гинцбурга принужден был заехать на базар в пользу нигилисток [т. е. слушательниц Высших женских курсов]. («Дневник», 1880)

Базар в пользу нигилисток! Вот до чего дошло! И нельзя не пойти, чтобы не портить отношений с бароном Гинцбургом.

То Валуев.

А Победоносцев не идет ни на какие компромиссы, которые, пожалуй, необходимы в высших интересах нового экономического развития России. Победоносцев в стиле, можно сказать, Савонаролы:

— Мессалина стояла, в свете электрического освещения, за одною из лавочек, артистически устроенных в великолепных залах большого дома, на одном из *так называемых Базаров благотворительности.* («Московский сборник»)

«Базар» по этим ассоциациям приобретает терминологическое значение в литературной коммерции: базарами назывались журналы, которые торговали самыми разными, но непременно изысканными и «любительскими» литературными товарами или самыми высокими образцами новейших парижских мод. Читатель из среднего сословия, мещанин, получает возможность побывать на недоступном ему светском базаре, заглянуть через эту щелочку в высший свет.

«Новый русский базар» — еженедельный иллюстрированный дамский журнал (основан в 1867 году); полный перевод, как объявлялось в проспекте, французского журнала «La mode de Paris».

«Новый русский базар» — *руководитель моды в России.* 24 экстренных приложения: «Hautes Nouveautés» (существовал до начала XX века) и др.

«Базар», «базарный» после всех этих превращений

получают новые социальные применения и прикрепления; базарный — то есть отвечающий вкусам и взглядам *нового* общественного героя.

— Пьет из ушата, а цедит горсточкой; а его подлокотники в трубы трубят и *печатают*. Это базар! (Лесков, «Полунощники»)

— Это дешевле, базарнее, а потому и более понятно.

Так писал Сухово-Кобылин об игре Прова Садовского в роли Расплюева.

Замечательное превращение базара — и слова и понятия — зарегистрировано у П. Боборыкина в «Китай-городе»:

— Зала [в ресторане «Славянский базар»], переделанная из трехэтажного базара... поражала... «своим простором, светом сверху, движеньем, архитектурными подробностями». (1—X; 1882)

Был трехэтажный базар — амбар; его переделали в «Славянский базар», который должен поражать и архитектурными подробностями, «излишествами», как сказали бы мы сегодня.

— Кончал базар купец [умер Лютов]. Странно: вчера был веселый, интересный... (Горький, «Жизнь Клима Самгина», IV)

Базар — в довольно прямом для Лютова смысле и весь вообще базар житейской суеты. Это русское «финита ля комедия».

А звучит это «кончал базар» совсем по-татарски.

...В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему *базарный вольнодумец и чудак,* старик гармонист Балашкин.

Но Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о русско-японской войне. (Бунин, «Деревня»)

Общественная фигура — базарный вольнодумец и чудак; о чем толковал тогда базар: базар — форум (а это латинское слово первоначально и означало рынок).

Поэтому базар, центр общественной жизни, должен играть и играет важную роль и в жизни языка. Ср. пушкинское: «Альфиери учился итальянскому языку на флорентийском базаре». Итальянскому — то есть народному, еще только утверждавшемуся в своих правах.

Уже очень многозначное слово, с большой и пестрой историей, оно получает и новые политические применения.

Ленин писал в статье «Конституционный базар» о Булыгинской думе (1905):

— Базар идет на славу. Расторговываются хорошо. Запрашивают хорошие господа из общества, запрашивают и прожженные господа из придворных. Все идет к тому, чтобы скинули с цены и те, и другие, а затем... по рукам, *пока рабочие и крестьяне не вмешались.*

...В переводе на классовый язык интересов и главного интереса — эксплуатации рабочих буржуазией — эта игра значит: давайте-ка, господа помещики и купцы, сторгуемся, поделимся по-доброму властью мирком да ладком. (8—323—324)

И о «базарном продукте», то есть о том, что может «пойти».

У Некрасова:

Эх! Придет ли времячко,
Когда — приди, желанное...
Когда мужик не Блюхера
И не Милорда глупого, —
Белинского и Гоголя
С базара понесет!

(«Кому...»)

В. И. Ленин в 1912 году:

— Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную торговлю — демократической дешевой брошюрой. Демократическая книжка стала *базарным* продуктом... Грязная, отвратительная, ожиревшая, самодовольная либеральная свинья... увидела *на деле* этот «народ», несущий с базара... письмо Белинского к Гоголю. (18—286)

Базарный продукт, важное экономическое понятие, по всем ассоциациям плохое слово; теперь демократическая брошюра стала базарным продуктом. Грандиозная историческая перекличка с Некрасовым. Отметим еще: у Некрасова — «Белинского и Гоголя»; у Ленина — «письмо Белинского к Гоголю», чрезвычайно серьезное уточнение.

В 1907 году — одно из самых неотразимых стихотворений раннего Блока:

...А здесь — какая-то свирель
Поет надрывно, жалко, тонко:
— Качай чужую колыбель,
— Ласкай немилого ребенка.
Я тоже — здесь. С моей судьбой,
Над лирой, гневной, как секира,
Такой приниженный и злой,
Торгуюсь на базарах мира...

(«Всю жизнь ждала...»)

Только после всего, что́ уже произошло с этим словом «базар», можно было так определить при его помощи главную свою страсть и программу.

«Базар» уже был, как мы видели, и воплощением житейской суеты, и блестящим благотворительным «базаром», и азартной игрой, и самой жизнью. Блок на этот раз не поднимает «падшее» слово; оно у него не «падшее», а по-новому точное и очень широкое одновременно, бушующее жизнью, как сказано в том же стихотворении. И оно, как равное, становится в один ряд с судьбой и лирой, и все эти слова получают новое знаменование.

После Революции «базар» — очень большое понятие, целый идейный комплекс. Базар — и плановое хозяйство, базар — и вольная торговля; базар — и натуральный обмен.

Эпоха войн и революций — и «идеология восточного базара» (У Л. Рейснер, «Афганистан»)

Но «базар» и в предметном своем значении совершенно преображается.

— Что такое вавилонные универсалы в зеркальных витринах и мраморных лестницах по сравнению с базаром республики в 1918 году! (Б. Лавренев, «Седьмой спутник»)

На базар вышел интеллигент, продает остатки своего барахла (он именно так злорадно называет когда-то ценные вещи своего обихода, теперь ненужные и, главное, непонятные новым покупателям). Здесь известный

во всем мире энергетик продает лапшинские спички — лапшинские, настоящие, добротные, как старый рубль и старая Россия (в «Кремлевских курантах» Н. Погодина), и т. д. и т. д.

Фадеев в Ярославле в 1927 году отмечал в своих записных книжках:

— ...А рядом базар, где *на деле* смыкается город с деревней. Как? Где те *индивидуальные* пути, по которым идет смычка? Они приехали сюда в город — не как труженики, а как *купцы*. Приехали они в *советский* город, на этот постоялый двор и трактир, и *хозяин* — все это, вероятно, такое же, как 30 и 50 лет тому назад? Сколько старых и новых влияний!

У Малышкина:

— Над базаром остановилось полымя от электрического фонаря. («Люди из захолустья»)

Глубоко волнует и Фадеева и Малышкина преображение базара, который был такой важной частью «уездного» быта и стал ареной смычки.

У С. Маршака:

На каланче пожарной
на площади базарной...

(«Пожар»)

И в новых переизданиях пояснение для детей: «раньше так бывало».

После всего, что произошло со словом «базар», писатель уже с особым удовольствием вспоминает строгие, точные и большей частью очень образные старые термины, связанные с этим словом.

— Среди них [кусты, травы] вставали скалы, редуты, гостиницы, базары из камней. (Н. Тихонов, «Бирюзовый полковник»)

— Бесчисленные белые птицы сорвались с птичьего базара. (М. Пришвин, «Колобок»)

— Записывали на пленку птичий базар: оператор подтаскивал аппаратуру, корреспондент крался с микрофоном, я вспугивал чаек. (Н. Михайлов, «Иду по меридиану»)

В районе бархан поднялась баш-буза,
И на глинку бедняцких пашен
Повел в набег *верблюжий базар*
Зеленый киргиз Мамашев...

(Сельвинский, «Улялаевщина»)

В каком-то «собственном», но главным образом в широком переносном смысле: верблюжий базар — одна из деталей всеобщей баш-бузы.

Затем базар получает свое место в системе планового хозяйства.

Лозунг:

— Боритесь за культуру базара!

Немыслимое прежде сочетание слов, один из оксюморонов Революции.

И вот снова пестрые базары, «базарное волненье», базар — пир и торжество нового изобилия.

Замечательное стихотворение Андрея Вознесенского:

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
Цветастая грубость!

Здесь праздники в будни.
Арбы и арбузы.
Девчонки — как бубны,
В браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег? —
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,
Торговки салатом,
Под стать баобабам,
В четыре обхвата!

Базары — пожары.
Здесь огненно, молодо
Пылают загаром
Не руки, а золото.

В них отблески масел
И вин золотых.
Да здравствует мастер,
Что выпишет их!

(«Грузинские базары»)

Великолепен лукавый зачин этого стихотворения!

«Долой Рафаэля!» — эти слова, как известно, уже прозвучали некогда, в ранней юности нашего общества, и предполагалось тогда, что это дерзко и мудро.

Теперь строго, и точно, и умно: в данном случае требуется не Рафаэль, а Рубенс — по специальности, и да здравствует мастер, который выпишет эти отблески масел и вин золотых.

Замечательно интересны применения этого слова у Маяковского.

— Каждого человека искусства впрягают в лямку тащащих труд на базары пользы. («Два Чехова»)

«Тащащих труд» — неблагозвучные, почти невыносимые слова, которые одни только и могут передать, что́ это в самом деле означает.

И тут же «базары пользы», такие же неприкрашенные, разоблаченные.

Все на площадь...
где мордой перекошенный, размалеванный
сажей
на царство базаров коронован шум.

(«Шумики, шумы и шумищи». Сб. «Дохлая луна», 1913)

По-футуристски. А «базар», «царство базаров» хороши уже тем, что там нет обычного благочиния и свинцового покоя; базар — площадь, и люди на базаре по крайней мере в своем натуральном виде.

Через много лет Маяковский «приезжает» в Америку из страны, где кончен базар житейской суеты... Он на «базаре», то есть на вернисаже какой-то выставки картин.

Конечно,
ученых
сюда
привел
теорий потоп?
Художников
какое-нибудь
великолепнейшее экольдебозар?
Ничего подобного!
Все сошлись,
чтоб
ходить на базар.

(«150 000 000»)

Эколь де бо-з-ар (ср. нашу «Академию наук и изящных художеств») и «базар» — сокрушительная, полная исторического юмора рифма.

«Весенний книжный базар».

Есть особая прелесть в том, чтобы назвать именно так нашу традиционную (уже традиционную!) весеннюю распродажу книг. Вспомним перекличку Ленина с Некрасовым по поводу книг на базаре.

Все значения этого старого тюркского слова хорошо живут и в наше время и создают прекрасную цепную реакцию.

## БАРАБАН

В передовой, патриотической литературе «барабан» — символ всего ненавистного, того, что надо разбить. Колокол, набат поднимут народ против барабана.

У Даля барабан:

— военно-музыкальное орудие: высокая обечайка и два дна из телячьей шкуры...

Затем многие иронические применения этого слова из народной речи:

— *За богатым черти в барабан бьют... Утки в дудки, тараканы в барабаны,* — о примере, подражании и др.

Здесь же, конечно, и «палки барабанные» — старое народное выражение.

Но и не отмечено то специальное применение и прикрепление, которое это слово уже получило тогда в обличительной литературе:

— Толкачи, из пустого в порожнее переливатели, да палки барабанные. (Тургенев, «Накануне»)

— Принимал отчаянно-суровый и сосредоточенно-запуганный вид зайца, который барабанит посреди фейерверка. (Тургенев, «Петушков»)

Фразеры, болтуны, а у Щедрина более точно: либералы.

Так и в Словаре ИАН 1848—1867 годов: «музыкальное орудие», затем терминологические значения; «палок барабанных», конечно, нет.

«Толль» тогда же совершенно неподражаемо определял значение этого слова:

— всем известный военный музыкальный инструмент, изобретен кимврами...

Всем известный, и дело, конечно, не в кимврах.

После этого у «Толля» вызывающе «объективная» и документальная разработка с нарочитыми архаизмами:

— барабанные бои суть различные лады ударений в барабан для сигналов: ...повестка, зоря, на молитву, генерал-марш, сбор, переправа, отбой, на штыки, поход, тревога.

Так это называется.

Курочкин переводит «из Беранже»:

Барабаны, полно! Прочь отсюда! Мимо
моего приюта мирной тишины!
Красноречье палок мне непостижимо:
в палочных порядках бедствие страны.

(«Барабаны»)

«Барабан», однако, получал и другие применения, будил и другие ассоциации.

— Иной бы рад запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на Ассамблею. («Арап Петра Великого»)

Это хороший, прогрессивный, так сказать, «нужный» барабанный бой.

Барабан — символ казенного могущества, подавления всякой вольности, и все же барабан часто мил Пуш-

кину как другой символ — символ русской военной доблести.

— Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. («Путешествие в Арзрум»)

Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.

(«Война»)

Незадолго до того, как вышел «Толль», барабан прозвучал очень гордо, на всю Россию, в приказе Корнилова:

— Раздался голос Корнилова: «Заколите барабанщика, который согласится бить позорный отбой...»

В 60-х годах стали девизом и эпиграфом ко многим, и притом важнейшим, выступлениям передовых писателей (Добролюбов, «Когда же придет настоящий день?» и др.) слова Гейне в переводе А. Плещеева:

Бей в барабан и не бойся,
Целуй маркитантку смелей!
В том смысл высочайший искусства,
В том смысл философии всей...

Потом еще не раз, и каждый раз по-новому, вплоть до наших дней, переводили эти бессмертные стихи. Все более уточнялся и применялся к историческим обстоятельствам основной мотив: главное — настоящие человеческие чувства и действия; в этом «Гегеля полный курс», вся доктрина (стихотворение Гейне называется «Доктрина»), вся настоящая теория (так называется это стихотворение в одном из новых переводов), — в противоположность всякой схоластике и мертвой «спекуляции».

«Барабан» означал действие, революционное действие.

Не было, однако, этого значения не только у Даля, но и у «Толля»: «Толлю» важнее всего было разоблачить «всем известный» барабан.

Словарь ИАН 1891 года приводил главным образом

высокие применения этого слова. Но был здесь и такой пример:

Жестокие тираны
Ударили в набат и барабаны...

(Ломоносов)

В новом выпуске «Академического словаря» в 1903 году, под словом «барабан» приведен был пример, взятый из купринского рассказа.

Чехов в письме поздравлял Куприна. Это ли не наивысший триумф писателя!

Пример из Куприна был такой:

— В разных местах длинной колонны глухо зарокотали барабаны... («Ночлег»)

А Горький писал впоследствии — о том же времени, о тех же барабанах:

— Злая трель барабана вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек. («В людях»)

— А вдруг, по зову трубы, ...с криками «ура», под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, ощетинившись штыками. (Там же)

Это казаки, усмирители и каратели.

Глухое рокотанье барабанов — и злая трель, зловещий бой барабанов.

«Барабан» — ненавистное слово.

Но это же слово становится очень рано боевым паролем всех недовольных в борьбе **против** «законного» барабанного порядка.

После победы Революции в течение какого-то времени это слово пытается заглушить все остальные, слишком мирные и потому неуместные теперь слова.

Бедноте бездольной бью в барабан я,
бью, огрубелый в бранных боях:
там тиран,
таран там,
рать там барабанная,
трон там — таратайка — мертвый прах...

(И. Филипченко, «Бой барабана», 1918)

Рви, барабан, пространство...

(В. Александровский, «Душа, кричи громче...», 1919)

Я предоставляю слово барабанам.

(А. Прокофьев, «Соревнование трех военных оркестров»)

Мы идем, а там, за чащей,
Сквозь белесость и туман,
Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан.

(Есенин, «Небесный барабанщик»)

— Мы, семинаристы-кружковцы, декламируя Уитмена: «Бей! Бей, барабан! Труба, труба, труби: идет Революция!» — тоже влились в ряды демонстрантов. (Ф. Панферов, «Недавнее прошлое»)

Барабанили, и притом делали это плохо:

— Мы воевали, мы устраивали первые начала нашей жизни, а если кто при этом и пел, и бил в барабан, то в барабан довольно плохой, в барабан дырявый, потому что и научиться он еще не мог как следует барабанить... (Луначарский, «Октябрьская революция и литература»)

В спорах с Маяковским Луначарский говорил, что он, Маяковский, часто исполняет «соло на барабане», — но делает это, в отличие от многих других поэтов, виртуозно. («О нашей поэзии»)

У Маяковского — замечательные превращения «барабана».

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»

(«Скрипка и немножко нервно»)

Это стихи 1914 года; «барабан» еще — чужая война и вражеский «порядок». Но барабан все-таки старше, мужественнее и убедительнее всех и всевозможных других голосов. Он покрывает «дамские голоса» и всевозможное пиликанье на всех других инструментах. Он великодушно *поддерживает* скрипку и очень к ней нежен. И отношение Маяковского к барабану все-таки хорошее.

В 1917 году:

Барабанит заря...

(«Человек»)

Революция первыми из всех голосов призывает на службу себе (да, да, службу, — скажет Маяковский) бас, и барабан, и барабанщиков:

На улицы, футуристы, барабанщики и поэты!

«Приказ по армии искусств»:

Барабан, рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был, чтоб гром.

— Наш бог — бег, сердце наш барабан. («Наш марш»)

— Сразу дать права гражданства *новому языку:* выкрику — вместо напева, грохоту барабана — вместо колыбельной песни. («Как делать стихи», 1929)

Сегодня эти слова уже звучат наивно, и программа эта никак не осуществилась. В 1914 году у Маяковского барабан все-таки не выдержал, а пошел на уступки скрипке; теперь, в пылу полемики с теми, кто все еще «пиликает» или поет не о том, барабан предъявляет немыслимые претензии.

Эта полемика получает очень яркое отражение и в самой обработке слова «барабан» — у Маяковского или, например, у Белого.

Вот два ряда смысловых ассоциаций, которые притягивают у них самим своим звучанием это слово:

Долдонит бебень барабана,
как пузо выпуклого жбана.

(А. Белый, «Первое свидание»)

Мимо баров и бань.
Бей, барабан! Барабан, барабань!
Были рабы. Нет раба!
Баарбей! Баарбань! Баарабан!

(Маяковский, «150 000 000»)

У Белого рядом с барабаном возникает, и на самом законном как будто основании, «бебень» — слово редкое (у Даля в этом смысле его нет), тесно связанное по смыслу с барабаном, но откровенно звукоподражательное и напоминающее только о вполне бессмысленном

овечьем «бе-бе» или других словах таких же бессмысленных.

Возникает у Белого, и также очень законно, но только по внешней ассоциации, выпуклый жбан с его пузом. Кто, зачем, по какому случаю бьет в барабан — неинтересно. Вся звуковая игра строится на тупых «б» и «п», к ним добавляется такое же «д», а неблагозвучное, беспокойное, взрывное «р», которое так громко звучит в «барабане», Белому здесь не пригодилось.

У Маяковского в «барабане» обнажается «раб», который затем тут же приканчивается: «Были рабы, нет раба». Главную роль играет «р»: в грохоте и громе барабанит зоря, барабан играет зорю, и все эти слова оказываются удивительно созвучными и по смыслу.

В ходе очень серьезной полемики, назло врагам, Маяковский поднимает это слово.

А эпигоны и приспособленцы уже скоро, без каких-либо личных затрат, без какой-либо внешней и внутренней борьбы, «туда же», склоняют это слово на все лады, очень лихо «расширяют» его знаменование.

— Майя. Барабаны эпохи. О, барабаны эпохи! Папа, какие это барабаны эпохи?..

Берест (*читает*). «Барабаны эпохи», стих для детей... Турянской». От такого барабана эпохи и у слона голова заболит. (Корнейчук, «Платон Кречет», II—1)

Это — новые «палки барабанные».

В «Улялаевщине» Сельвинского — футурист Барабанов. Фамилия-характеристика.

В 1923 году Ассоциация пролетарских писателей Петрограда «осознала», что миновал «период обнаженного пафоса и *барабанщины*», и зафиксировала это в соответствующей резолюции.

— Несколько лет подряд, *последовав завету Гейне,* мы оглушительно били в барабаны и лобызали маркитанток, а слова прятали внутрь себя глубоко, бережно, потаенно, как скупой рыцарь свои дукаты. А когда барабаны отгремели, принесли мы собранное домой, а мешок-то сразу и прорвался. Вот и сыплется золото неудержимой струей, звенит, хохочет и плачет, и все хочется сразу, чтобы все высказать, ни о чем не забыть, не упустить. (Б. Лавренев, «Небесный картуз», 3)

«После барабана» по-новому бесценно слово.

Теперь вдруг все почувствовали, что барабан, поми-

мо всего прочего, «очень неприятно действует на слуховые органы».

— Барабан, не более звучный, чем корыто, с усилием применился к такту музыки, но потом мужественно держал его, безжалостно разрубая тишину утра. (К. Федин, «Утро в Вяжном»)

— Палочки выбивают дробь в барабанную перепонку. (Ильф, «Записные книжки»)

Итак, самое правильное — как в «Доктрине» Гейне:

Оставь барабан ребятишкам.

(Перевод П. И. Вейнберга)

Но вот снова ненавистный барабан, самый ненавистный из мыслимых.

1939. Мюнхен, сговор с Гитлером.

По богемским городам
Что бормочет барабан?
Сдан—сдан—сдан...
По усопшим городам
Возвещает барабан:
«Вран! Вран! Вран!»
Завелся в Градчанском замке.

(Марина Цветаева, «Барабан»)

У нас в Великую Отечественную войну барабан и барабанщики уже не играли серьезной роли, и солдаты ласково окрестили этим безобидным и почти архаическим словом одного из своих славных боевых помощников — валкий и шумный вспомогательный самолет «У-2».

И. Эренбург недавно, подводя итоги:

— В 1907 году я жаждал стать барабанщиком и трубачом для того, чтобы написать в 1957 году: «в оркестре существуют не только трубы и барабаны».

Так было и в музыке.

Одно время, в очень «левых» произведениях, он заглушал все, пытался впервые в истории играть главную роль в симфоническом сочинении.

Затем был поставлен на место и в музыке, стал опять только одним из голосов оркестра.

Но, как всегда, хорошо слышны в этих новых литературных и музыкальных применениях этого слова отзвуки многих боевых эпизодов из его большой истории.

— Не разумей басса быти, когда толсто поет, но сего басса быти разумей, иже басовые поет ноты. (Дилецкий, «Идеа грамматики мусикийской», 1679)

Уже в XVII веке специалист считал необходимым предостеречь от обычного, по-видимому, смешения понятий: громкий (толстый) голос и бас, то есть голос низкий (во французском языке прилагательное женского рода), а также музыкальный инструмент низкого тона.

Но это «смешение понятий» продолжается непрерывно. В поэтическом языке «громкий», «мужественный», «твердый» и «бас» идут рядом и переплетаются.

Глинка отмечал в партитуре «Ивана Сусанина»:

— Иван Сусанин (бас) — характер важный.

Важный — значительный; такому характеру подобает бас.

Знаменитый гоголевский эпитет:

— Толстый бас шмеля. («Старосветские помещики»)

Потому что толсто и сердито поет.

Ну, мертвая! — крикнул малюточка басом.

(Некрасов, «Крестьянские дети»)

Басом — как настоящий мужчина, мужик.

Басов уважали и боялись даже в бурсе:

— Товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель,— уважало и обширных басов. (Помяловский, «Очерки бурсы»)

— Инспектор ненавидел Карася, говоря, что человек, обладающий рыканьем льва, должен иметь характер зверский; должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом... по натуре был настоящий зверь. (Там же) Ср. — В семинарии голос его развился до необъятного горлобасия. (Там же)

— Басить, — пишет Даль, — петь басом. — И тут же в скобках отмечает: — Басить, красоваться, см. баса.

А баса со всеми ее производными означает — красота, хорошество, пригожество и т. д. Здесь же, в этой группе, и баский, баской (см.) и рядом — басистый.

Сблизились по смысловому родству, по тому же смешению понятий «бас» и «баса», слова очень далекие по своему происхождению.

В старой теории музыки существовал термин «генерал-бас».

— Вчера неожиданно приехал угрюмый и строгий преподаватель генерал-баса, старик Геслер. (С. Жихарев, «Дневник студента»)

Это словосочетание обыгрывалось на все лады.

— Можно быть отличным генерал-басистом, не будучи ни генералом, ни басистом, и, наоборот, можно быть генералом и басистом, но не быть генерал-басистом.

Этот сытый, как бы с отрыжкой, генеральский «афоризм» приводит М. Михельсон в качестве «крылатого слова». А принадлежит он «трем звездочкам», то есть самому Михельсону или какому-нибудь салонному острослову из людей его круга...

Несчастный «оркестрант», скрипач Иван, в знаменитой «Будке» Глеба Успенского — о том же по-своему:

— Тепереча, например, труба, или опять генерал-бас — через них только рев поднимается на балу, ну к танцу он не трафит.

И у Глеба Успенского со ссылкой на «одного... приятеля»:

— Смотрит не то, чтобы серьезно, а как-то толсто, или, как выразился один мой приятель, «думает басом». («История одного моего приятеля»)

Это «думает басом» — поистине крылатое слово — навсегда вошло в язык и уже не ощущается как цитата.

Чехов писал сестре из Ниццы:

— Русские могут быть разве только басами... (1897)

Бас — как черта национального характера.

Маяковский в 1914 году:

— Не знаю, плакала ли бедная красота; не слышно дамского слабого голоса за убедительными нотами крупповского баса.

Подлый и отвратительный крупповский бас... Но и он убедителен, потому что требует достойного ответа и отклика, и тем хорош по крайней мере, что поглощает без остатка слабые дамские голоса. Бас — это настоящий противник.

В «Несколько слов о моей маме»:

Я скажу,<br>
раздвинув басом ветра вой...

Только басом можно перекричать вой ветра, помужествовать с грядущей бурей...

А. Белый так применял бас:

Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом.

Из сборника А. Белого «Золото в лазури». Маяковский читал этот сборник, когда сидел в Бутырках (у В. Перцова, «Маяковский»).

И вот наконец настоящий бас:

И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший,
над реями рея:
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».

(Маяковский, «Хорошо!»)

Буря басит — не осилить вовек.

(Там же)

Сама Революция как бы думает басом и басом сказала свое окончательное слово.

Все, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас.

(«Послание пролетарским поэтам»)

Маяковский отдавал людям Революции все самое дорогое, и не в последнюю очередь свой бас.

Борис Житков к ненавистным ему людям — неиск-

ренним, прикрывающимся цитатами, как иконами, «становился рогом»:

— Вот я ему и говорю басом. (Воспоминания В. Бианки)

Горький писал Л. Леонову после выхода его романа «Соть»:

— Анафемски хорош язык, такой «кондово»-русский, яркий, басовитый.

Любопытно, что Горький говорил так о языке и голосе Л. Леонова, который в эти же годы тосковал по «нежным словам».

А другие писатели, которые считали, что для «нежных слов» еще не настало (или никогда не настанет) время, «брали на бас» действительность во всех смыслах: «брать на бас» было *стилистической программой.*

У Л. Сейфуллиной:

— Я его разыграю по басам. («Выхваль»)

В этом рассказе герой — оперный певец и другие действующие лица причастны к музыке. «Разыграть по басам» приобрело здесь, таким образом, почти терминологическое значение, но на этой основе оно стало звучать еще более широко, и главный смысл все тот же: брать на бас.

— Но уж очень он примитивен. В любви он мне объяснялся так: «Слушайте, Цыганкова, какого черта вы одни живете? Выходите за меня замуж». И, представьте, это басом — почти кричит. Я даже испугалась. (А. Яковлев, «Огни в поле»)

Хочет взять басом.

Басовый стиль начинает казаться наивным и смешным.

М. Кольцов пишет об открытии Шатурской электростанции (1925):

— Можно, конечно, подражая другому из излюбленных нашими литераторами стилей, *описать все басом:* неуемной кондовой тоской и т. д. («Рождение первенца»).

Но сейчас, говорит Кольцов, так «описывают» только плохие и глупые литераторы.

В наши дни. У Г. Троепольского:

— Крикнул Егор Ефимыч густым басом, отлично идущим к нему... («Митрич»)

Еще недавно такое замечание — «отлично идущий к нему» — было бы совершенно излишним: если настоящий человек, то, конечно, бас. Теперь это счастливое совпадение — у него именно т о т голос.

— Земля вовремя породила на свет такое чудо, каким был Шаляпин. Великого лирика она наградила басовым инструментом. (А. Д. Попов, «Воспоминания и размышления», 7)

А вот бас не у т о г о человека.

Нагульнов говорил:

— В голосах тоже надо разбираться с политической точки зрения. Вот был, к примеру сказать, у нас в дивизии бас — на всю армию бас! Оказался стервой — переметнулся к врагам. Что же ты думаешь, он и теперь для меня бас? Черта лысого! Теперь он для меня фистула продажная, а не бас! (Шолохов, «Поднятая целина»)

Изменник не имеет п р а в а на бас.

## БЕЗЪЯЗЫКИЙ

В духовной литературе «безъязыкий» значило: «неспособный сотворить молитву» — то есть самый несчастный из всех человек. Такому человеку должны помогать ближние, и тем угоднее богу его молитва.

Это был издавна и *юридический* термин.

— Ежели мать умрет без языка или без завещания... («Русская правда», 32)

Без языка, то есть без свидетеля, который мог бы рассказать под присягой, какова была последняя воля умирающей.

«Безъязыкий» получает затем и другие, специальные и страшные, юридические применения: человек, у которого вырезали язык, чтобы он не мог взять обратно свои показания, данные под пыткой; человек, который не может сказать, откуда он пришел и произошел, беспрозванный или даже просто беспаспортный. Такие «безъязычные» легко читаются во многих сохранившихся до сих пор фамилиях (Непомнящий, Беспрозванный, Немых, Безъязычный и т. д.).

На основе этих терминов вырастает в языке важное обобщение: «безъязыкий» — то есть человек, которого

лишила языка не природа и не пытка, а сама жизнь. «Безъязыкий» — синоним безгласного, безответного, невегласа; это человек, который не способен ничего сказать о себе, о своих первейших нуждах, хотя язык у него на месте. («Без языка и колокол нем» — пог.)

«Народ безмолвствует» и — «народное красноречие» — обе эти формулы, дополняющие одна другую, принадлежат Пушкину. Народ, как бы безъязыкий, безмолвствует, хотя в своем внутреннем разговоре и тогда, когда он решается заговорить во весь голос (напр., в зазывах пугачевской коллегии), он необыкновенно, потрясающе красноречив!

Этот мотив во всех новых применениях пройдет через всю нашу литературу.

Народ безъязык, и он питает величайшее, оправданное всем его огромным историческим опытом недоверие к языку своих господ.

— Мы народ без языка, а из начальства свои на своего же доносить же не станут. (Достоевский, «Записки из Мертвого дома»)

Язык — для сговора своих со своими, язык — для доносов, орудие общения — только для врагов всех отверженных людей.

Но ведь не только здесь, в мертвом доме, всюду отверженные.

— Я бы тебе, друг ты мой, сказал вот как, эстолького вот не утаил бы, да *языка-то нету у нашего брата.* Вот что я скажу! Будто как по мыслям и выходит, а с языка-то не слезает. (Г. Успенский, «Наблюдения одного лентяя»)

Так было до самой Революции. Перед Революцией символисты и декаденты усердно «освежали» свой бессильный и усталый язык при помощи фольклора и народного красноречия, особенно самого древнего; но они же воспевали «немотство» и даже «безъязычность» как высшую мудрость.

А нововременец, мракобес и черносотенец Мих. Меньшиков оставил для истории и нечто вроде генеральной декларации по этому вопросу.

— Как хорошо было бы, — писал он, — если бы человечество вообще лишилось членораздельной речи. Множество теперешних словесных тонкостей исчезло бы

за их невыразимостью в вещах, а это свидетельствовало бы, может быть, об их ненужности.

И далее уже как философ и политик:

— Безграничное представление (в шопенгауэровском смысле) было бы стеснено, но зато сильно выиграла бы воля, которой в такой плачевной степени недостает нам... («Орошение земли и бумаги»)

Он выражался, как видим, по-современному, знал «все слова», а звал к полной безъязычности во имя воли, «динамизма» в фашистском, как сказали бы мы теперь, смысле этих слов.

Но попутно он довольно резонно говорил о ненужных словесных тонкостях многих писателей его времени.

Амфитеатров отвечал Меньшикову в фельетоне, который назывался очень выразительно: «Рай на земле».

Великие перемены совершились уже в окопах первой мировой войны. Мужик, надевший солдатскую шинель, становился уже в некоторой мере городским человеком; но городской язык предстал перед ним опять как нечто до последней степени враждебное: этот язык *командовал* в прямом смысле этого слова.

С. Федорченко записывала в своей бесценной книге «Народ на войне»:

— Со своим братом я слов сколько надобно имею. А тут немой. И не стыжусь я, а все боюсь, что не так услышат. Не понимают они простого человека. (64)

Они — офицеры, господа. Но дальше выясняется, что он безъязык и со своими, такими же мужиками, если они «не калуцкие», не земляки.

— Меня обидеть легко, язык у меня немой. Разве что кулаком говорить дозволяет. (101)

Но здесь же, на фронте, где сошлись люди из разных губерний и краев, мужик встретился и с другим городским человеком — рабочим, который находил с ним общий язык. И они, как известно, сговорились.

После Октября такой же солдат, уже понявший очень многое и самое главное, все еще долго удивлялся умению городских людей «аккуратно рассаживать губы по нужным словам». (Вс. Иванов, «Заповедник»)

— С е м е н *(вскакивает)*. Замолчи, язык! (*Замахивается.*) Дам вот. (А. Неверов, «Захарова смерть»)

Темный деревенский человек называл заезжего, городского человека «языком» — по решающему для него признаку и еще, почти как на войне, потому, что он пришел как бы с той стороны фронта. Семен подозревал в нем противника, с которым еще непременно придется встретиться в смертной схватке.

А у сибирского партизана, который был уже фактически большим политическим деятелем и полководцем, «каждая мысль выталкивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы». (Вс. Иванов, «Партизанские повести»)

Писатели с разных позиций, с разных точек зрения наблюдали борьбу безъязыких с языком и за язык.

У Артема Веселого в «Диком сердце»:

— Слова Гришка накалывал редко и нехотя, разговаривали за него руки, ноги, чмок, фырк, сып, марг, плевки: бразна? У-у-у... ц-ц-ц, черно. Пух-пух, та-та-та-та-та. Ммм. Общад, Гирцеванова, бам-бам. Зззз. Нини. Талалы-лалалы. Кугу? В станицу? Ку-ку! И многое другое.

Это — дикое сердце. И как нравилось, по-видимому, Артему Веселому такое заглавие, которое объясняет, мол, все в книге и вообще все на свете!

Иван Неретин в «Разливе» Фадеева тоже накалывал слова. Он только что пришел с войны, голова у него была «лужёный солдатский котелок», который умел варить «только прямые, грубые, топором тесанные и деловитые мысли».

Потом эта крестьянская деловитость в мыслях и словах становилась все более широкой и умной. И Фадеев с огромным личным увлечением следил за тем, как такие люди *открывали для себя язык.*

В «Поэме о топоре» Н. Погодина была сезонница, которая только что пришла в город из деревни. Она еще не имела даже личного имени в этой пьесе, называлась просто «вторая работница».

— В т о р а я р а б о т н и ц а. Будь ты проклят, язык!

Она проклинала язык, язык вообще. Но только потому, что он, видимо, страшно интересный и важный, — это она уже почувствовала! — все еще никак не дается ей в руки.

В противоположном лагере в это время тоже иногда проклинали язык — язык вообще — самые изысканные мастера языка. Они опять мечтали о всеобщей безъязычности, мечтали «развоплотиться» — только потому, что уже совсем другие люди повседневно и так наглядно воплощали в языке свой образ мысли и свою волю. И этот язык становился языком литературы и литературным языком.

Все шире разворачивалась культурная революция.

Это был поход против «безъязыкости» во всех смыслах этого огромного слова. Это был «поход на немь» — и в такой высокой и архаической форме он очень импонировал и В. Хлебникову:

— Напор славы единой и цельной на немь... Посолонь [то есть по солнцу] на немь.

Он верил, что немь будет распечатана, но так же глубоко верил, что ей на смену придет не что иное, как «зверье рычанье», честное и искреннее, а не язык.

И другие «смелые новаторы» надеялись, что безъязыкий народ получит наконец — не язык, а *зык,* который, мол, только и созвучен новой эпохе.

И еще другие, совсем уже немудрые, когда учили людей грамоте, приобщали их к главному, общему языку, «снисходительно умилялись».

— Снисходительная умиленность... всегда посещала ее, когда она чувствовала себя учителем этих безъязыких, слепых, «бескрылых» как она определяла, людей. (В. Герасимова, «День, идущий мимо»)

Это была деятельница все той же МОНЧ, о которой мы уже говорили.

Уже скоро культурная революция сделала непристойными, некультурными и, наконец, *смешными* все эти «зыки» и «мончи».

Культурная революция означала, не в последнюю очередь, крушение глубоко укоренившегося недоверия и даже высокомерия по отношению к *другим* языкам.

Известно, что «немцами» исстари называли не только германцев, но и вообще всех иностранцев, которые почему-то не знают единственно настоящего, то есть русского языка (ср., напр., жалобу в челобитной 1646 года

на *«английских немцев»*). Раз так, они — «немцы», безъязыкие вообще.

Вся передовая литература неизменно не только утверждала в народе его законную гордость своим великим языком, но и нещадно высмеивала невежественное высокомерие по отношению к другим языкам.

— Греки не могут по-нашему, они лопочут, как попало, говорят как будто слова, а что к чему — нельзя понять. (Горький, «В людях»)

Не то что не умеют, а просто и *не могут,* не под силу им говорить по-настоящему, по-русски. И сами не понимают, что к чему.

В «Виринее» Л. Сейфуллиной — о недавнем прошлом:

— Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названием нерусским, под башкирской шапкой ходила. Ак-гыр — белая лошадь. Белолошадовкой надо бы звать.

Пока Белолошадовка называлась Акгыровкой, она все равно что никак не называлась; не было порядка, вещи не имели хозяина. Разве «Акгыровка» способна владеть землей, держать ее в своей власти? В других языках слова бессильны.

В «Бронепоезде 14-69» Вс. Иванова Васька Окорок, человек большой души, очень сочувствует американцу:

— Не понимает по-русски, *вот бедность...*

С первых же дней и повседневно культурная революция ломает это глубокое убеждение, что в другом языке жизнь не может быть так же огромна и сложна, как в своем родном.

Замечательны все встречи Маяковского с этим словом, его очень различные исполнения этого слова, которые сделали даже его, в известном смысле, «словом Маяковского», его необыкновенно характерные «передачи» этого слова противнику.

«Облако в штанах», 1916 год, знаменитое:

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Улица безъязыкая, потому что *старая поэзия безъязыка,* уже ничего не говорит важного и дельного.

Когда наконец пришла Революция, она вызвала, конечно:

— удивление и страх безъязыких.

Они, а не народ, безъязыкие, потому что они не понимают языка Революции, единственного языка, который сто́ит понимать. И особенно это относится к языковедам.

Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.

(«Нашему юношеству»)

Вспомним еще раз иных растерявшихся, ставших вдруг безъязыкими языковедов или откровенно реакционных специалистов по русскому языку в первые годы после Октября. Они подчас вполне сознательно сгущали «тьму филологии» и знали, что делали.

Это уже, конечно, история. Но в самом этом сближении понятий — «кто был безъязык и гол» — прекрасно определен самый общий смысл всего исторического развития этого слова. Тот, кто был безъязык и гол, впервые овладевал языком и сразу же — языком невиданно высоким и точным, научным и философским. И сам язык нажил новые огромные богатства. Наступили времена философские, сама жизнь заговорила неслыханно высоким языком.

«Безъязыкий» — очень важное слово и в современном нашем языке. Теперь оно применяется уже, по преимуществу, к людям, которые вполне умеют «рассаживать губы по нужным словам», но не имеют, в сущности, своего языка.

Оно применяется по праву и ко многим писателям.

В свое время Горький писал, что Ремизов, например, хорошо знает язык, но этого мало для писателя. Это и сегодня можно сказать о довольно многих писателях.

Так и в этой книге мне было трудно найти примеры сколько-нибудь интересного исполнения слова у многих писателей, которые издали много книг и считаются даже изощренными стилистами.

Это слово применяется и к актерам.

— Актеры играли, как всегда, правдиво, и люди на сцене были живые, но, *пользуясь словечком Маяковского, безъязыкие,* несмотря на все богатство предложенного им автором (но неосвоенного) текста... (А. Дикий, «Повесть о театральной юности»)

А «текст» был пушкинский. Речь идет о «маленьких трагедиях» Пушкина. Вспомним еще раз гончаровское: главное из сценических условий — исполнение языка.

«Безъязыкий» утратило свое «собственное» значение, но слово это сегодня, как никогда, боевое и обоюдоострое.

## БЕСЕДА

В начале пути этого слова — обычный метонимический перенос смысла:

— Беседы дубовые, исподернутые бархатом. (На Буяне-острове, сб. К. Данилова) — На беседе-то сидел Купав-молодец. (Там же) — В чердаке была беседа — дорог рыбей зуб. (Там же) и т. д. Ср.: — красна и взором, и силою, и беседою. («Малый Хронограф») Ср.: — При всей беседе опозорила. (Сб. К. Данилова)

— *Вот почему* называются на севере эти длинные, во все дерево, скамейки в суземе беседками, что люди, отдыхая на них, начинают беседовать. (Пришвин, «Корабельная роща»)

— Сидит помор, «беседует» чинно и важно. (Пришвин, «Колобок»).

Беседа — и скамья, и разговор, и всё собрание беседующих.

«Беседа» рано становится и техническим словом, профессиональным термином проповедников.

— Всхотел бых изъоставити беседу... паче же акы изъврагу мне написати. («Житие св. Стефана Пермского»)

Изъоставити беседу, то есть монолог, который *пишется* заранее; никакие возражения, споры, «встречи» не предполагаются.

Но самые эти беседы-монологи бывали очень полемическими, боевыми в своем роде. В «Книге Бесед» протопоп Аввакум разворачивает свою программу:

— Беседа седьмая. *О старолюбцах и новолюбцах...* Беседа десятая. *О нанятых делателях.*

Беседы у Аввакума стали *памфлетами,* во всем современном смысле этого слова.

Но сам Аввакум то и дело перебивает себя таким образом:

— Много о том потонку беседовать, *едино рещи...*

«Беседовать», да еще «потонку», то есть подробно, — это звучит почти как «на бобах разводить» или рассусоливать. Слово уже испорчено *беседниками*-профессионалами, их благозаученными проповедями, нанятыми делателями официальной церкви, с которыми неистово воюет Аввакум. *Едино рещи* — скажем кратко и прямо, *не по-беседному.*

Беседа — понятие по преимуществу духовное; в мирской, светской поэзии оно переосмысливается на основе именно этого высокого и священного, основного своего значения.

И радость ангелов теперь
Твоя сладчайшая беседа...
...моя ж беседа — грусть...

(Капнист, «Бренность красоты»)

И в *духовных,* самых высоких беседах, на основе толкования тех или иных священных текстов, идет очень важный *общественно-политический спор* (вплоть до нашего времени). Но в большой общественно-политической борьбе, в дальнейшем, это духовное и архаическое слово уже не получает, не должно получать серьезного применения. «Беседа» противопоставляется настоящему «спору». В живой речи это слово прикрепляется к разговорам застольным (ср. др. пир-беседа), задушевным, многословным и более или менее душеспасительным.

«Беседа» становится обозначением содружеств, обществ, организаций, но только для *таких* мирных разговоров.

В журнале «Праздное время в пользу употребленное» (1759—1760) анонимный автор писал, что беседы бессодержательны и бесцельны, в особенности те, которые наполнены стонами и жалобами о таких делах, которых ни он, «беседчик», ни слушатель переменить не могут. (Статья «О беседах и книгах»)

Восьмой «вопрос» Фонвизина:

— Отчего в наших беседах слушать нечего?

Речь идет о журнале «Собеседник любителей российского слова» — 1783—1784 годы.

У Жуковского был замысел, который остался неосуществленным: «Беседиада». Ложноклассически, пародийно, и вдруг громко зазвучал в беседе «б е с».

«Тайные общества» назывались по-разному, иногда демонстративно архаически, потому что эти дворянские революционеры надеялись возродить древнюю русскую вольность. Но никогда они не назывались «беседами». Беседы по преимуществу занимались вопросами словесности, языка.

«Беседы любителей русского слова» (1810—1816) собирались в доме Державина.

Творец «Опасного соседа» [В. Л. Пушкин]
Достоин очень был того,
Хотя покойная Беседа
И не заметила его.

(Пушкин — Плетневу)

«Беседники» — так называл Карамзин членов шишковской «Беседы».

«Беседующий гражданин» — так назывался журнал «Общества друзей словесных наук»; Крылов в «Почте духов» обозвал его «Бредящим мещанином».

И. Аксаков в середине века подводит сатирический итог целой эпохе в истории русских «бесед»:

Мы любим к пышному обеду
Прибавить мудрую беседу.

(«Добро...»)

«Беседа» участвует по преимуществу в заглавиях реакционных, «тихих» и нравоучительных журналов и газет.

— Бурса вечно аскоченствует, убеждения ее носят на себе всегда несчастное клеймо «Домашней беседы» [Аскоченского], этой плевательницы нашей российской духовной литературы. («Очерки бурсы», 4)

В 70-х годах, в связи с национально-освободительным движением славян на Балканах и особой ролью, которую должна сыграть в этом движении могучая славянская Российская держава, возникают многочисленные «славянские беседы» — общественно-политические организации под покровительством царского правительства и самого царя. Возникают и различные духовно-нравственные «беседы» и «вольные религиозно-философские общества» такого же рода.

У Блока в «Возмездии»:

И на повестки и отчеты
«Духовно-нравственных бесед».

Повестки и даже отчеты, — как будто речь идет о серьезном деле. Блок уложил эти «беседы» в звонкие, иронические ямбы. И, собственно, весь смысл поэмы в том, что, когда наступит час Возмездия, эти люди с их «запросами» будут расплачиваться, не в последнюю очередь, и за это высокое пустословие «духовно-нравственных» и прочих бесед.

Однако в поэтике символистов даже и такая беседа без спора, предполагающая все же какое-то общение между людьми, противопоставляется «мудрому» одиночеству, разговору без слов.

Бывает час в преддверьи сна,
Когда беседа умолкает,
Нас тянет сердца глубина,
А голос собственный пугает.

(И. Анненский, «В открытые окна»)

Только тогда, без беседы, начинается нечто настоящее, единственно достойное искусства.

Этот мотив и сегодня пронизывает всю декадентскую теорию литературы и поэтику. В диалоге партнеры еще острее чувствуют свое одиночество, в этом высшее назначение диалогической формы, раньше всего в драме.

Получает новое, часто преувеличенное и кривое развитие очень старая форма внутреннего монолога. Это беседа с самим собой: собственно, не монолог, а диалог.

Хорошо назвала свою книгу воспоминаний о Бунине В. Муромцева-Бунина: «*Беседы с памятью*».

Была еще и другая беседа без настоящего общения с собеседником.

— Беседа его была весьма оригинальна: он отвечал, по-видимому, на все вопросы солдата, но, в сущности, не говорил ничего, и не совсем даже слышал солдатские речи. (Г. Успенский, «Прогулка»)

Это — беседа темного человека, который знает только свое и даже не надеется быть понятым. Это беседа безъязыкого: его голос собственный пугает.

Тоже внутренний монолог, — поневоле внутренний.

— Беседы, выпивки — сем, пересем, лишь бы день перевел. (Бунин, «Веселый двор»)

Это беседует во весь голос, но *ни о чем* мещанская, кулацкая, уездная Россия.

Ф. Гладков в своей эпопее об уже далеком прошлом, в «Лихой године», вспоминал:

— Мы с Кузярем задолго до часов — до обедни — прибегали в раскольничью моленную слушать так называемую «беседу» — чтение поучений и толкование их Яковом и его спор с некоторыми стариками, застывшими в своих древних «уставах» и, как дедушка Фома, не терпевшими «борзых» и «лукавых» мыслей. И мы ликовали с Кузярем, когда Яков «резал» этих стариков текстами из поучений.

— Приходи... во всяк день и во всяк час для мирбеседы. (Там же)

Так называемая «беседа» в кавычках звучит очень ярко, потому что «беседа» теперь уже, когда Ф. Гладков *вспоминает* об этом времени, — другое слово и термин живого современного языка, обозначение одного из видов нашей пропаганды и агитации; это другое слово, и оно уже имеет *свою,* очень драматическую историю.

Одно из самых бранных слов у Ленина-публициста — п р е д и к а, то есть проповедь, «беседа» либералов, катедер-социалистов, всевозможных соглашателей, фразеров и обманщиков.

В непрерывной полемике с этими противниками Ленин утверждает новую, особого рода беседу. Это — одна из форм разъяснительной и всегда наступательной работы партии; это — прямая противоположность древней «мир-беседе» и новейшей предике.

«Беседа с защитниками экономизма» (1901); «Беседа о «кадетоедстве» (1912) — один из самых беспощадных памфлетов Ленина.

И наряду с этим, тоже беспощадные, беседы *со своими:*

«Беседа с петербургскими большевиками» (1909), «Беседа с сотрудником «Известий ВЦИК» по поводу восстания левых эсеров» (1918).

Огромную роль в дальнейшем развитии «беседы» играет радио. Возникает новая беседа — беседа с миллионами людей одновременно, через эфир, вооруженным голосом. Эта «беседа» имеет свою поэтику, свою особую интимность и свои особые формы.

— *Прослушайте беседу...*

— *Автор беседы* — такой-то...

— *Мы передавали беседу...*

Уже существовало у нас некогда, как мы видели, слово *беседник,* то есть *«поучающий беседами»,* — конечно, нравоучительными и душеспасительными. Теперь снова сложилось почти такое же слово.

— *Беседчики — таким неуклюжим словом* назывались мы, молодые писатели, проводившие по плану Горького беседы с разными людьми нашей страны. (А. Бек. «ЛГ», 20/V 1959 г.)

— Каждый новый человек всегда немного смущал Игната, а тут еще корреспондент... Игнат виновато улыбнулся:

— Не знаю, сумею ли быть умным беседчиком. (В. Тендряков, «Тугой узел», 3)

Иногда новые «беседчики» еще напоминают старинного беседника, поучающего благозаученными беседами, а то и начетчика, толкующего тексты; беседа служит иногда и своеобразным эвфемизмом — заменяет слиш-

ком претенциозное «лекция»; «беседы» иногда напоминают самую ненавистную для Ленина «предику».

Это — агитацитика, по выражению М. Калинина, которое так нравилось Маяковскому.

Маяковский разговаривал, был разговорником.

Он несомненно демонстративно утверждал эти слова в борьбе не только со старой «беседой», «мир-беседой», но и с «беседчиками» и докладчиками, которые были для него прямой противоположностью настоящим разговору и разговорникам.

...одну политбеседу
Повторял:
— Не унывай.

(Твардовский, «Василий Теркин»)

«Беседы» уже играли очень боевую роль в политической публицистике. Беспощадные, чрезвычайно полемические по самому своему смыслу, они назывались, также очень полемически, тихим словом «беседа». А у Щедрина самые сильные его памфлеты назывались «недоконченными беседами». Его читатель — единственный человек, которого уважал всю жизнь Щедрин, — прекрасно понимал, почему они не докончены, почему разговор прекращается перед самым главным.

В нашу эпоху главный пафос беседы — в ее законченности.

Договаривайте! — учил Ленин.

## ИНТЕРЕС, ИНТЕРЕСЫ

Петр писал гвардии капитану князю Черкасскому, когда он отправлял этого последнего с военно-дипломатической миссией в Среднюю Азию:

— и чтоб он [хан хивинский] радел за то в наших Интересах. (1716)

С большой буквы.

Он наставлял почти одновременно «порутчика» Кожина — разведчика:

— в чем может быть интерес государства смотреть и описывать... (1716)

С малой.

Петр писал это слово с прописной буквы, когда учил князя Черкасского, как надо разговаривать с ханом хивинским; он писал это же слово со строчной в деловом разговоре с разведчиком.

Это было уже и широкое и специальное применение слова-понятия, которое вплоть до половины XIX века значило, в первую очередь, доходы, прибыли и, еще точнее, проценты, «рост», как по-французски.

— Интерес. 1) Польза, прибыль. 2) Участие, возбуждающее (так!) в ком. (Ив. Ре-ф-ц, «Карманная книжка...»)

Большое и малое значение переплетались.

«Интерес» выступает и в роли эвфемизма:

— Да это и указами за воровство не почитается, а *называется хищением казенного интереса.* (Н. Новиков в «Трутне»)

Впоследствии архаисты, а иногда и передовые люди настойчиво заменяли это французское слово в его широком значении русским «пользы» (во множественном числе):

— Ныне пользы их [то есть Наполеона и французского народа] некоторым образом разделены... Но тогда сие разделение польз их превратится в самую крепкую связь. (А. С. Шишков, «Краткие записки»)

— ...Любезной моей Украине, которой пользы столь тесно сопряжены с пользами исполинской России...

Это слова В. Н. Каразина, которые высечены на памятнике ему в Харькове.

Но не благодушное «пользы», а «интерес» и «интересы» с их уже большой многозначностью особенно привлекают передовую публицистику и сатиру.

— Люди, которых соединяет такой гнетущий интерес, как борьба за существование... (Щедрин о романе Решетникова «Где лучше»)

У Вас. Курочкина:

Я говорил: в наш век прогресса
Девиз и знамя наших дней
Не есть анархия идей,

А примиренье интереса
С святыми чувствами людей...

(«Сон на новый год», 1858)

Это звучало чрезвычайно саркастически («анархия идей») в те годы, когда «интерес» с производными уже очень уточнился в своем деловом значении, был уже ходовым и прозрачным словом в чиновничьей, купеческой и мещанской среде.

— Впрочем, дамы были вовсе не интересанки. (Гоголь, «МД»—8)

— 1-й чиновник. А дело-то интересное, денежное. (Островский, «Доходное место», III—3)

— Много домов было на имя жен, особенно если ими владели чиновники, занимавшие «интересные» места. (К. Скальковский, «Воспоминания молодости»)

— На интерес тоже не поддавалась, даже на очень крупный... (Достоевский, «Идиот», 1—4)

И т. д. и т. д.

Купеческие или мещанские возвышающие, подынтеллигентские обработки:

— Сам-то интересан, так вот ему и завидно, чтобы другим не доставалось. (Островский, «Свои собаки грызутся...»)

— Ужаснейший холоп, интересан... (Бунин, «В поле»)

И др.

Слово имело уже очень точный в своем роде, но и очень мелкий смысл, когда в Россию начала проникать марксистская политическая экономия и философия с ее новой, революционной терминологией.

Очень по-марксистски у Л. Толстого:

— Интересы его [Левина] были им [мужикам] не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. («Анна Каренина», 3—24)

Интересы получили новый, грандиозный смысл!

— Люди, — писал Ленин, — всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать *интересы* тех или иных классов. (19—7—8)

Вся марксистская наука, публицистика и вся партийная литература разыскивала интересы тех или иных классов в основе всей фразеологии этих классов, их словоупотребления и их поэтики.

Одно очень хорошо известное положение Ленина гласит:

— Буржуазия *предает* интересы свободы, родины, языка и нации, когда встает пред ней революционный пролетариат. (6—419)

Эти слова имели свое точное конкретно-историческое значение: речь шла о том, как буржуазия национально угнетенных народов (например, в лоскутной Австро-Венгрии) прекращала борьбу за национальные идеалы, в частности за права национального языка, когда пред ней вставал революционный пролетариат.

Но Ленин вводит здесь и бесконечно важное новое понятие:

— *Интересы языка.*

Язык имеет свои собственные интересы — то, что мы называем его внутренними законами. Буржуазия не давала ему развиваться по этим законам, и она была по-своему права, потому что эти законы чаще всего отражали чуждые и антагонистические ей, повстанческие движения народной жизни.

Уже до Революции очень различные и важные смыслы боролись в словах «интерес», «интересы».

Отметим здесь же, что очень большое слово «интересы» в русской марксистской литературе писалось всегда со строчной буквы и как бы даже боролось с «Интересами» с прописной, которые уводили это слово от его очень точного, хотя и безгранично широкого, смысла.

«Интересный человек», быть «интересным» — эти слова были связаны с «интересом», «интересами» в деловом значении этих слов (см. выше), но имели и другое, более широкое и высокое значение.

Николай I говорил декабристу Анненкову на допросе:

— Вы думаете, что вас расстреляют, что вы будете интересны, нет — я вас в крепости сгною...

Он говорил с Анненковым как дворянин с дворянином и употреблял слово, которое имело особый смысл между людьми общества и света.

Граф Пронский изъясняется с крестьянкой Маланьей:

— Какая интересная застенчивость!.. Невинность, не страшись меня, я не изверг и т. д... (Шаховской, «Новый Стерн»)

Интересный человек — «странный человек», недовольный и разочарованный. У Герцена в «Кто виноват?»:

— Глафире Львовне с первого взгляда понравился молодой человек; на это было много причин. Во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми глазами был *интересен.* (I—1)

«Интересен» у Герцена — курсивом: это — словечко.

— Для придания себе характера литературного и интересного «Утро» везде пишет «литтература» и *«интерессный».* (Добролюбов, 2)

Интересничает в самом написании слова.

Пьер говорил с своей, теперь привычной, улыбкой кроткой насмешки:

— Вообще, я заметил, что быть интересным человеком очень покойно — *я теперь интересный человек.* (Л. Толстой, «ВиМ», 4—2—18)

У Даля первое толкование: «корыстный». Второе: «занимательный, завлекательный, заманчивый или любопытный, возбуждающий участие; забавный».

И в точности такую же очередность значений дает «Толль», который обычно по всем важным вопросам не согласен с Далем.

Второе, высокое значение измельчало и расплылось. М. Михельсон приводит пример из К. Станюковича:

— Среди разных пошляков он действительно казался интересным, этот серьезный, замечательно красивый Марк со своим спокойно-ироническим взглядом больших черных глаз. («Откровение», 1—2)

Затем М. Михельсон пишет:

— см. Ирония, см. Пошляк...

Блок записывает в своем «Дневнике» 4 августа 1917 года, после июльских дней и за три месяца до Октября:

— Теперь здесь уже [в Петрограде], так сказать, «неинтересно» в смысле революции.

В смысле Революции — только это интересно или неинтересно.

И наряду с этим в политическом языке «интересы» —

строгий термин: концерны, монополии капиталистического мира.

— Д'Аннунцио, за которым стояли мощные капиталистические интересы [захват Фиуме в 1910 году]... («История дипломатии», 2—276)

«Перевод» с английского: **big interests**.

Очень различные «интересы» переплетаются, сталкиваются, воюют.

В советской литературе совершаются замечательное развитие и новые превращения слов этой группы:

— Дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице с кабаком в нижнем этаже. (Горький, «Детство»)

Интересный дом — хорошо знакомое в прошлом словосочетание, без кавычек, без подчеркивания: так говорилось тогда, так было естественно говорить.

Но еще в 1906 году во «Врагах» Горького очень глубокая тема связана со словом «интересный».

Яков Бардин, когда уходит на фабрику своего брата, к рабочим, непременно напивается.

— Яков. ...Не приношу, а посылаю за ней, и не иногда, а всегда. Ты же понимаешь, что без водки — я им неинтересен! (1—22)

Только тогда, когда он не в своем виде, он кажется им и самому себе интересным.

В «Человеке с ружьем» Н. Погодина, в новых исторических обстоятельствах, эта же тема получает новое замечательное и естественное развитие.

Солдат Шадрин говорит Чибисову:

— Интересный ты человек, а ведь не пьяный! (3)

Это — огромное открытие для Шадрина и миллионов таких, как он: люди в своем виде могут быть интересными! Никогда этого не бывало!

У Андрея Платонова:

— Люди, жертвовавшие копейку в расщелину кружки, делали это с интересом удовольствия, хотя сами знали, что это безвозвратный расход, а бог им едва ли поможет. («Нужная родина»)

Очень силен еще у людей интерес к вещам, бесполезность которых они сами хорошо сознают. На этом и построил всю свою стратегию и весь свой собственный

«интерес» лукавый и мудрый в своем роде герой этого рассказа.

Это, конечно, целая программа, и философия, и особое, платоновское утверждение этого слова. Есть и такой интерес к бесполезному!

И у Платонова же:

— Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об *интересе смерти.* («Происхождение мастера»)

Замечательные превращения пережили в нашу эпоху и «интересный человек» и «интересная жизнь».

Вот необычайно характерная, мне кажется, полемика об «интересной жизни» между покойным А. Лобановым и журналисткой Г. Юрасовой.

А. Лобанов писал:

— Основная задача режиссера заключается, по моему мнению, в том, чтобы воссоздать на сцене жизнь в ее наиболее остром, увлекательном звучании, погрузить зрителей в атмосферу *интересной жизни,* происходящей на сцене. («Работа над современным спектаклем»)

Казалось бы, очень ясно и до чего правильно!

Но Г. Юрасова сначала подчеркнула в этом отрывке слова «остром, увлекательном звучании» и «атмосферу интересной жизни» и написала: *подчеркнуто мною. — Г. Ю.* (Поистине, отдайте ей курсив! — как говорили в таких случаях Ильф и Петров.) А затем так изъяснилась:

— Это заявление таит в себе серьезную опасность. Поиски «интересной жизни» на сцене нередко становятся у А. Лобанова, как и у других режиссеров и актеров театра, самостоятельной задачей. Часто желание создать «интересную жизнь», придать явлению остроту, увлекательность приводит к неумеренным поискам внешней характеристики, к увлечению «жанром». («Советская культура», 18/VIII 1951 г.)

«Часто приводит»; часто слово «интересный» в применении к людям и к самой жизни имеет мелкий или даже плохой смысл. Так оно и есть. Но почему Г. Юрасова понимает это слово почти так, как понимает его Интересный парень в пьесе А. Володина «Фабричная девчонка»?

— Ж е н ь к а. Еще вопрос. Ты, Леля, помнится, гово-

рила, что настоящая любовь только в кино бывает, а в жизни этого нет. Как понять?

Л е л я. Это мое личное мнение.

Ж е н ь к а. А у нас личное с общественным не разделяется.

В разговор вмешивается персонаж, который так и обозначен в списке действующих лиц «Интересный парень» (без фамилии):

— И н т е р е с н ы й п а р е н ь. А что, неправда? В жизни у каждого свой интерес.

П е р в а я д е в у ш к а (*зло*). У тебя один интерес.

Очень боевые по самому своему смыслу, слова этой группы остаются и в наши дни очень многозначными, притягивают прямо противоположные ассоциации и подтексты.

## ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— Точка зрения — это или та точка, в которой предполагается глаз зрителя в перспективном рисунке, или точка пересечения перпендикуляра от глаза с плоскостью бумаги, на которой делается рисунок.

Так определял «Толль» в 60-х годах строгое математическое понятие «точка зрения» и не приводил никаких других, идеологических применений этого термина, хотя весь его словарь рассматривал все на свете с очень определенной «точки зрения».

«Точка зрения» в публицистике *одно* слово, боевое и революционное. Как только оно вступает в дело, кончается всякий догматизм, исчезают всякие абсолюты. «Точка зрения» — это уже мировоззрение.

А особая сила этого боевого слова именно в том, что при всех философских и политических применениях оно сохраняет и свой прямой, непреложный, *математический,* даже, точнее, геометрический смысл. *Где предполагается глаз зрителя?*

Естественно, что вокруг этого слова, как только оно вышло из сферы чистой математики, сразу же разгорелась острая политическая борьба. Дело идет о том, чтобы либо загнать его обратно в чистую математику, либо сделать его чисто речевым инструментом, служебным

словом, либо превратить его в словечко временное и несерьезное, заболтать его, либо утвердить его в *обоих,* тесно связанных между собой, значениях.

— Благодарю тебя, — пишет Пушкин Вяземскому, — за замечание о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны... (1825)

Писалось это незадолго до восстания на Сенатской площади. «Политическая точка» заслонила все остальное.

В учебном заведении, где воспитывался Андрей Иванович Тентетников, до какого-то времени начальником и преподавателем был человек необыкновенный, который «знал свойства русского человека», знал детей, *«умел двигать».*

— Но потом он умер и выписаны были новые преподаватели с *новыми взглядами и новыми углами и точками зрения.* Забросали слушателей множеством новых терминов и слов; показали они в своем изложении и логическую связь, и следование за новыми открытиями, и горячку собственного увлечения; но, увы! не было только жизни в самой науке. Мертвечиной отозвалась в устах их мертвая наука. («Мертвые души», 2—1)

Мертвечину принесли люди с новыми взглядами, новыми углами и точками зрения!

А самые эти слова — «взгляды», «углы» и «точки зрения» — звучат здесь как слишком знакомые и надоевшие, уже не оправдавшие себя и обманные.

Плохое (во всех смыслах) настроение и состояние Гоголя в тот период, когда он писал вторую часть «Мертвых душ», нагляднее всего, пожалуй, выказалось в таком его обращении с боевыми, дорогими для людей его эпохи словами: углы и точки зрения.

В те же годы («Современник», 1847) доктор Крупов у Герцена говорил:

— Во-первых, — истина, во-вторых, — точка зрения, в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только... («Д-р Крупов»)

Эти слова д-ра Крупова появились в печати только много позднее; в свое время чуткая цензура их вычеркнула как опасные. А д-р Крупов ведь сам себя перебивал, объяснял, что, собственно, еще очень многое можно было сказать *в связи с этим.*

В «Д-ре Крупове» есть и другое, еще более выразительное в этом смысле место. Вот главный вывод, к которому приходил д-р Крупов.

— Люди окружены целой атмосферой призрачной и одуряющей, всякой человек... с малых лет, при содействии родителей и семьи приобщается мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей среды (немецкие врачи называют эту болезнь der historische Standpunkt)...

«Врачи» называли это болезнью, надеялись, что это болезнь. Они по всему смыслу герценовского отрывка либо сами безумцы, либо сознательные подлецы.

У Щедрина:

— Таков единственный штандпункт, на котором стоит Сеничка. (14—43)

И Сеничка стоит на штандпункте! А слово все-таки хорошее.

Речь идет об исторической точке зрения, то есть такой, когда вещи рассматриваются в развитии. «Исторический» было уже тоже очень передовое и революционное понятие. Историческая точка зрения, — это уже целая философия, новое понимание действительности в прошлом и настоящем.

Потрясающий герценовский сарказм:

— Мы всегда думали, что для полного обсуживания картины надобно приглашать в числе знатоков одного слепого, который бы мог сказать, как *с точки зрения слепого* должно смотреть на нее. А потому нас обрадовало, что Ростовцев посадил автора лабазно-плантаторской книжки «Печатная правда» в свой Комитет по делам печати. (14—123)

Щедрин:

— Точка зрения, с которой глуповцы смотрят на мир, совершенно навозная. («История одного города»)

— С точки зрения государственной, лучше, если помпадур выбирает себе помпадуршу из низшего звания, ибо это содействует слиянию сословий. Но не всякий начальник способен возвыситься до государственной точки зрения... (II)

По-щедрински. Но само понятие «государственная точка зрения», конечно, не утрачивает своего великого значения и при таком невозможном его применении к тупоголовым и неукоснительным помпадурам.

Здесь уже дело не в цензуре; важно, что это понятие может выдержать любое, даже самое немыслимое испытание и остаться после всего «хорошим словом», по терминологии самого Щедрина. Это особого рода проверка на прочность, которая имеет такие замечательные традиции и в нашей и в иностранной большой литературе.

Историческая, государственная и еще другие точки зрения.

И у Щедрина же в ответ очень многим и уже совсем нашими словами:

— Смотреть на мир *с точки зрения пайка...* («Современная идиллия»)

Ср.: «с точки зрения авоськи».

У Даля, однако, эти уже многочисленные и важные применения не предъявлены и не разработаны. После определения предметного значения следуют очень яркие, как всегда, примеры такого применения. И почти такие же деловые переносные значения:

— С этой точки зрения, суждения, дело является в ином виде. На дело можно смотреть с разных точек.

«Точка зрения, суждения» — будто в равной мере применимы обе формы, будто «точки зрения» еще не срослись в одно слово (ср. выше у «Толля»).

И ничего к этому не добавил Бодуэн де Куртенэ, даже в том издании, которое вышло после революции 1905 года.

Разные точки зрения, и все относительно.

«Точка зрения» требует непременно определения или дополнения, в этом все дело. Но те, которые хотели бы унизить это слово или уже устали от него, отбрасывают какое бы то ни было определение. «Точка зрения», а там, дальше, уж непременно какое-нибудь мудрствование, какой-нибудь «изм», какая-нибудь мертвечина, антимония.

Убежденный противник или обыватель-скептик отдирает «точку зрения» от предмета, от «перспективного рисунка», чтобы его обессмыслить, и заключает «точку зрения» в кавычки: всякие там «точки зрения»...

«Задушевная исповедь». Нравственная быль. С вариациями на тему «точки зрения».

Это заглавие книги одного из характернейших «чу-

даков» своего времени, автора знаменитого французско-русского словаря Н. П. Макарова (ср. Б. Эйхенбаум, «Путь в бессмертие»).

«Точка зрения» у Достоевского:

— Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника. Но несмотря на *всевозможные точки зрения,* всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде, по возможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком... («Записки из Мертвого дома», I)

Всевозможные точки зрения не смеют затемнять единый и вечный нравственный закон. «Точка зрения» во множественном числе звучит довольно иронически.

Но вот Достоевский говорит о м е т о д е Николая Успенского:

— Большей частью г-н Успенский... вот как делает. Он приходит, например, на площадь и, даже не выбирая точку зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. («Дневник писателя»)

Здесь уже «точки зрения», в прямом и самом широком значении, звучат очень серьезно и важно. Смотря по точке зрения.

У Толстого «точка зрения» очень многообразно развертывает оба своих значения в их тесной и драгоценной связи:

— Я невольно старался найти точку зрения, с которой мне ее [набережную с туристами-англичанами] не было бы видно. («Люцерн»)

«Точка зрения» в самом прямом, математическом смысле этого слова, но это одновременно и такая точка зрения, при которой эти скучнейшие туристы не мешали бы хорошо видеть мир и то, что в нем в самом деле интересно, стоит видеть.

Толстой заболел, уехал на кумыс. Он пишет жене:

— Вот уже на это кумыс был хорош, чтобы заставить меня опуститься с той точки зрения, с которой я невольно, увлеченный своим делом, смотрел на все. Я теперь иначе смотрю. Я все то же думаю и чувствую, но я излечился от заблуждения, что другие люди могут и должны смотреть на все, как я. Я много перед тобой был виноват, душенька. (1881)

Это письмо Толстого говорит, конечно, об очень многом; в интересующей нас связи отметим только, что оба значения замечательно ярко и *важно* переплетаются и помогают друг другу. Вспомним, что Л. Толстой любил и хорошо знал математику.

У Бунина толстовец Каменский говорит:

— Современный человек отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. («На даче»)

Всякие «точки зрения» и пр. убивают сердечность. Знакомый и очень боевой даже в наше время мотив!

Уже после Октября Андрей Белый вспоминает и, конечно, по-своему оценивает «атмосферу» последних десятилетий перед Октябрем:

Судьба трагическая дышит
Атмосферическим дымком,
И в «Новом времени» о том
Демчинский знает, но не пишет:
«В сознаньи нашем кавардак:
Атмосферических явлений,
Свечений зорь нельзя никак
Понять *с научной точки зрений»*.

(«Первое свидание»)

Здесь все необыкновенно интересно, особенно если сравнить «Первое свидание» с другой поэмой о том же времени, об атмосфере и трагическом дыхании *того же* времени, — с «Возмездием» Блока. Интересно, в частности, и то, что «Демчинский знает, но не пишет»: он притворяется, что занимается будто бы метеорологией; речь идет о других движениях и сменах в атмосфере, в сознании людей.

Но особенно характерны чьи-то слова, что «все это» никак нельзя понять с научной точки зрений. Зрений — во множественном числе. Точка зрения может быть научной, то есть объективной и единой, но зрения у людей самые разные. Вот о чем многие забывают!

Это у Белого в его прекрасной поэме очень полемические слова, ответ многим и программа.

С точки зрения марксизма...

Это новая точка зрения на весь «перспективный рисунок» истории.

Россия выстрадала свой марксизм, по выражению Ленина. И самые слова эти «с точки зрения марксизма» выдержали самые яростные «надсмешки», оскорбления, диверсии.

С точки зрения марксизма — значит ли это у з к о  и л и  ш и р о к о смотреть на вещи?

Вся полемика с марксизмом и в прошлом, и в настоящем (если это сколько-нибудь серьезная полемика, а не брань) строится на том, что точка зрения марксизма — только одна из возможных, и не самая плодотворная. Эта «точка зрения» слишком обобщает, говорит и буржуазная семантическая философия. Она предлагает не «опускаться» до этой точки зрения.

В этой борьбе родилась знаменитая горьковская «кочка» и точка зрения.

— Есть кочка зрения и точка зрения. Это надобно различать. Известно, что кочки — особенность болота и что они остаются на месте осушаемых болот. С высоты кочки немного увидишь. Точка зрения — нечто иное: она образуется в результате наблюдения, сравнения, изучения литератором разнообразных явлений жизни. Чем шире социальный опыт литератора, тем выше его точка зрения, тем более широк его интеллектуальный кругозор, тем виднее ему, что с чем соприкасается на земле и каковы взаимодействия этих сближений и соприкосновений. («О кочке и точке»)

Ср. Писарев в полемике с Тургеневым:

— Вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем как в Вашем распоряжении находится настоящая каланча...

Утверждение единой, большой точки зрения в стране с разными укладами требовало разного подхода; вот еще слово «подход», тесно связанное с «точкой зрения», которое приобрело новые значения и стало очень важным.

— Не с этой точки зрения нужен здесь подход... (Г. Николаева, «Жатва»)

«Точка зрения», как и «подход», непрерывно обыгры-

ваются в языке обывателя, они же «украшают» самым нелепым образом подынтеллигентский, обезьяний язык.

— Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это, — возразил первый. — Если, конечно, посмотреть с точки зрения, то да — индустрия конкретно.

— Конкретно фактически, — строго поправил другой. (Зощенко, «Обезьяний язык»)

Почти по-епиходовски: — Конечно, если смотреть с точки зрения... (Чехов, «Вишневый сад», 3)

«Точка зрения» без дополнений и определений, вообще «точка зрения», то есть, в этом языке, сплошная претензия, усложнение простых вещей.

Ср. «Москва с точки зрения» — эстрадная программа. Предполагается: без лицемерия, без условностей, без антимоний, то есть с точки зрения честного обывателя. «Честное» обозрение... Вспомним еще раз И. Макарова.

И наряду с этим ёрническим, издевательским применением очень активное и точное в профессиональном языке:

—В другой раз он показал мне два полотна, на которых был изображен *один и тот же пейзаж с одной и той же точки зрения.* (Бакшеев, «Воспоминания о Левитане»)

«Точка зрения» приобретает необычайно важный профессиональный смысл — в кино.

— Кадр [«Петр I»] снимался, как говорят на профессиональном языке, «с точки зрения Меншикова»... Киноаппарат являлся как бы «глазом» Меншикова, а в кадре должно было запечатляться то, что мог увидеть Меншиков. (Н. К. Черкасов, «Записки»)

— Каждая точка зрения аппарата...

Это терминологическое значение как бы само собой (хотя бы в словах Н. Черкасова) расширяется, переходит в другую, самую широкую сферу уже на новых, неумолимо точных и конкретных основаниях.

И уже в самое последнее время «точка зрения» получает новые и небывалые применения в астронавтике и космонавтике:

— Новая точка зрения говорит, что расстояния до ближайших галактик примерно в два раза больше, чем считалось еще недавно. Новая точка зрения на цефеиды... (Из газет)

Как недавно было это!
Вкруг Луны она летела,
наша скорая ракета,
и грудным сопрано пела:
«Я лечу,
          лечу,
                    лечу!
С целью откровенья
оглядеть Луну хочу
с новых точек зренья».

(Васильев, «Лирическая шутка»)

Новая точка зрения — новое откровение в очень серьезном и деловом смысле этого слова. Точка зрения Юрия Гагарина на нашу землю.

Как всегда, важные специальные и технические применения очень укрепили центральное, философское значение этого слова.

А «точки зрения», «с точки зрения» — самые эти слова, почти служебные, уже гораздо реже применяются в живой разговорной речи, чем прежде. Известно, какая точка зрения на основные процессы в мире. Другое дело — точка зрения специалиста на такой-то и такой-то предмет.

## КЛАСС

В павловском списке слов, запрещенных к употреблению, и тех (это для нас особенно интересно в данном случае), которые должны отныне заменить каждое из этих нехороших или страшных слов:

— Запрещено «степень», — можно и надо «класс». *Степень* в высоком языке было уже к тому времени понятием по преимуществу политическим.

— Тогда подъехали к стенам два человека, некогда знаменитые *на степени мужей государственных*... (Карамзин, «ИГР», XII) и т. д.

— Под благополучным владением Екатерины Великия Россия вступила на *такий степень величества,* что все иностранные народы счастию ее завиствуют и удивляются. (Н. Новиков, «Опыт исторического словаря»)

«Степень», таким образом, имела уже свои ассоциации, неприятные для Павла. Слово получило мужской

род, что тоже говорило о его больших претензиях. А иностранное и еще по преимуществу терминологическое «класс» казалось ему более спокойным. Павел и не подозревал о грядущих судьбах этого слова!

«Класс» оставался по преимуществу термином административной и научной, но не политической систематики в ближайшие десятилетия после убийства Павла:

— 10 класса Александр Пушкин (подпись под письмом Николаю).

«Класс», по табели о рангах; как положено, впереди личного имени (а оно в данном случае: Александр Пушкин).

— Новый класс женщин — без сердца. (Лермонтов, «Княгиня Лиговская», 3)

Такой же «класс», как у Лермонтова же, «добрые малые» у военных (см. ниже).

Но у радищевца Попугаева:

— Предубеждение знатности, гордость породы и презрение к нисшим классам образуют дух дворянства и сеют *в гражданских классах* взаимную, так сказать, антипатию. («О публичном общественном воспитании и влиянии оного на политическое просвещение»)

В показаниях декабриста А. Бестужева Николаю:

— Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в *классе народа*...

Это уже революционное применение бюрократического термина, и притом уже, по-видимому, привычное для некоторых военных. «Класс народа» — в противоположность классу дворянства, которое как раз недавно, при Екатерине, впервые стало правительствующим классом по всей форме.

Такое понимание «класса» получает уже скоро дальнейшее, очень важное развитие.

Белинский пишет о Пушкине:

— Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса: короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но *принцип класса* для него— вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование. («Стихотворения Александра Пушкина»)

Никаких уточнений, переводов на современный нам язык не требуется. Недостает разве что «самокритики класса».

Позднее, в 1855 году, В. П. Боткин просил А. В. Дружинина не называть его имя в фельетонах «Спб ведомостей»:

— А то, находясь в значительных торговых делах, — я должен держать в строгости свое имя, в противном случае — это может произвести дурное впечатление на тот класс, с которым я связан по положению моему. (Письмо)

В. П. Боткин был во многом близок по своим взглядам к передовым людям того времени, хотя и принадлежал к купеческому классу. А его корреспондент А. В. Дружинин был воинствующий дворянин, идеолог своего класса, убежденный противник всех друзей В. Боткина.

В. Боткин критиковал свой же класс, но, так сказать, двурушничал — имя свое держал в строгости.

В данном случае интереснее всего то, что «класс» уже применяется очень точно, как деловое понятие.

И наряду с этим в статье «Куда девает Англия свои деньги», в журнале «Кругозор»: «...исключая необразованный и беспечный класс» (1876, № 7).

Речь идет именно о деклассированных, о люмпен-пролетариях, которые даже не облагаются налогами. Либеральный, «общедоступный», полубульварный «Кругозор» называет этот «класс» беспечным.

Это уже существующее в русском языке понятие получает грандиозное уточнение в теории Маркса. Впервые утверждается *новое* и ни с чем не сравнимое по своему значению понятие: классовая борьба.

Теория Маркса научила:

— ...видеть под покровом укоренившихся обычаев, политических интриг, мудреных законов, хитросплетенных учений — *классовую борьбу,* борьбу между всяческими видами имущих классов с массой неимущих, с *пролетариатом,* который стоит во главе всех неимущих. (Ленин, 4—190)

Борьба вокруг этих слов-понятий приобретает самые разнообразные, но всегда острейшие формы.

Одна из этих форм — сознательное игнорирование страшного слова или особого рода «перевод» его на русский язык.

У Даля:

— Класс, или лучше клас [!], м. [нем. Klasse, франц. — classe с лат. classis], отдел, раздел, отделение, разряд, порядок, круг однородного, степень; сословие. *Животное царство делится на классы, а классы на разряды, разряды же на роды, состоящие из видов. Чины в России распределены на 14 классов.* Ученики в заведениях делятся на *классы,* для облегчения преподаванья; как время ученья, так и самые учебные комнаты называются *классами.*

Далее в том же гнезде: «классный, классик, классический, классицизм, классифировать (классифицировать), классифированье (классифицированье)». Ср. «классификация».

Единственное толкование, которое имеет некоторое отношение к главному значению этого слова: сословие — очень тенденциозный, конечно, «перевод» на русский язык. А вообще говоря, только «животное царство» делится на классы. Люди — на сословия, животные — на классы.

И, конечно, нет классовой борьбы (в 70-е годы!).

Очень характерно и то написание с одним «с», которое предлагал Даль. В том же гнезде он сохраняет удвоение «с» в словах «классик» и «классификация» и т. д., но в этом случае ему хочется обрусить, усмирить, обротать это слово.

Даль приводит здесь же и перед «сословием» «степень». Теперь уже «степень» в женском роде была гораздо менее опасным словом, чем «класс». Она утратила свое политическое значение и звучание.

Так и в Словаре ИАН 1867 года:

— 1) Отделение. Классы растений, животных. 2) Собрание учеников... Класс математики... Распустить класс. 3) Время, определенное на учение. Классы начались... 4) Степень, чин гражданской службы. Магистры состоят в девятом классе.

В те же годы у «Толля»:

— Класс (лат.), 1) отделение римск. народа по

разделению Сервия Туллия, на основании дохода с поземельной собственности; 2) отделение предметов в науке и в собраниях предметов, относящихся к наукам; 3) собрание учеников в одной комнате или у одного учителя; 4) время, назначенное для учения; 5) степень, чин гражданской службы.

И здесь нет того значения, которое уже имело это слово, например, у декабристов и у Белинского. Здесь, однако, совершенно иная очередность смыслов. Первое значение относится не к животным, а к людям, хотя и к людям древнего Рима, и основано это разделение на доходе с поземельной собственности. Дело идет как-никак о социальном классе. А больше сказать, видимо, нельзя было по цензурным условиям.

Но уже скоро даже в официальных документах мы встречаем термин «торгово-промышленный класс». Так, на торгово-промышленном съезде в 1896 году в Нижнем-Новгороде член совета министерства финансов Кобеко заявлял: «Министерство финансов признало нужным ознакомиться со взглядами *представителей торгово-промышленного класса* по вопросам, наиболее их интересующим». Ср. также официальную «Объяснительную записку к проекту положения о выборных учреждениях торгово-промышленного класса» (начало века).

Не «купеческий», а «торгово-промышленный» класс, в полном соответствии с изменившейся общественной структурой. И такой класс, который имеет свои выборные учреждения, свое представительство в стране, где какие-либо мечтания об общественном представительстве объявлялись «бессмысленными» и пресекались неукоснительно, как крамола.

Бодуэн де Куртенэ так ничего и не прибавил к «классу» у Даля даже в издании после 1905 года, в относительно легких цензурных условиях, хотя он включил в это издание, как мы уже знаем, даже «партийные слова».

Но это слово было не «партийное» в его понимании — не узкое, временное, почти жаргонное, а совсем другое, которое лучше было не вводить в оборот.

В рабочем движении эти слова не раз пытались присвоить реформисты и ликвидаторы. Они требовали только «классовой», экономической, а не политической борьбы.

Ленин в полемике с ликвидаторами писал в 1912 году:

— Здесь гвоздь всего вопроса. Новой России еще нет. Она еще не построена. Должны ли рабочие вить себе «классовое» (на деле цеховое) гнездышко в той и такой России, которую строят Милюковы с Пуришкевичами, или рабочие должны сами, по-своему строить новую Россию вовсе без Пуришкевичей и вопреки Милюковым. («Беседа о «кадетоедстве», 18—270)

Ленин заключил это важнейшее слово в кавычки, — Ленин отбивает его у противника, не позволяет ему порочить это слово.

Эти понятия уже необходимы даже людям, сравнительно далеким от политической борьбы, необходимы при всяком большом осмыслении происходящего.

В день основания Московского Художественного театра, 14 июня 1898 года, Станиславский говорил:

— Не забывайте, что мы стремимся осветить темную жизнь *бедного класса,* дать им счастливые эстетические минуты среди той тьмы, которая покрыла их. («Статьи, речи...»)

К. С. Станиславский стремился воссоздать на сцене жизнь «во всей сложности мотивов исторических, этнографических, сословных» (он не употреблял тогда слова «классовых», но явно подразумевал прежде всего это). («Воспоминания Л. Я. Гуревич»)

«Это» подразумевалось.

И классическое ленинское определение «класса»:

— Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. (29—388)

После победы Революции вокруг этих слов разворачивается яростная борьба.

Противник пытается «разъяснить», опошлить, свести

к «простым» и низменным вещам это высокое и строгое обобщение, которое стало необыкновенно реальным и наглядным.

— Тамара Алексеевна [аристократка, обольстительная женщина]. Если дерутся два самца — *по-вашему, классы,* то женщина только довольна. Но тех [т. е. любовников старой формации] я уже знаю, а эти и т. д. (Дм. Чижевский, «Голгофа»).

А в «Роковых яйцах» Мих. Булгакова вся игра на двух значениях этого слова: класс социальный и класс в зоологической систематике.

Передовая литература страстно защищает *класс, классовую борьбу* от прямой или обходной атаки противника, утверждает эти строгие, научные слова-термины как источник самой *высокой поэзии.*

— Год [1919] найденных образов и трагедийных метафор, год любви и смерти, трепета восставших сердец, простых жертв, сладости раны и *высоты классовых чувств.* (Ю. Яновский, «Всадники»)

В начале октября того же незабываемого года подпольный (при Колчаке) Омский облаком постановил организовать большевистские ячейки по селам. Был издан декрет, в начале декрета излагались цели этой организации:

— 1. *Облегчить классовую борьбу,* которая неизбежна при социальной революции.

2. Найти надежную опору среди крестьянства, организовать его в ячейки и *если оно* [крестьянство], *изможденное в борьбе, будет духом падать, то находить источник жизни в ячейках* и, при поддержке их, в массах. (Ф. Архипов, «Война народная» — в сб. «За власть Советов»)

Источник жизни — в классовой борьбе, которую «облегчит» новая организация.

Люди из «низов» только еще овладевают этим словом, применяют и тут же переводят его на русский язык:

— Дармоед! *Классового пролетария* обижаешь! Меня, рабочего машиниста? Трудового крестьянина? (Л. Сейфуллина, «Выхваль»)

Бился
об Ленина
темный класс,
тек
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом
рос
Ленин.

(Маяковский, «Владимир Ильич Ленин»)

Не о Ленина, а об Ленина, как сказал бы *сам класс*...

С особым удовольствием повторяет, гвоздит Маяковский это слово, которое считалось непоэтическим.

В «Сергею Есенину» великий спор именно об этом:

Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.

Как почти всегда, здесь борьба на *два* фронта.

Очень грешны, виновны те «правильные» будто бы литературно-политические воспитатели Есенина, которые призывали его заменить богему «классом» из лозунгов или из Эрфуртской программы. А все дело в том, что Есенин, по известным причинам, так и не почувствовал, что класс не абстрактность, что он «выпить не дурак».

Первый противник для Маяковского в этом случае не менее серьезен, чем второй.

Идет и все более усиливается борьба из-за этого слова не только с противником, но и среди людей, принявших Революцию, и среди непосредственных участников Революции.

— Командир Беринг (*комиссару*). А зачем,

собственно, вы меня спрашиваете? *Вы же славитесь умением познавать тайны целых классов.* Впрочем, это так просто. Достаточно перелистать нашу литературу. (Вс. Вишневский, «Оптимистическая трагедия»)

Этот Беринг, человек чужого класса и с немецкой фамилией, которую особенно охотно давали белогвардейцам (ср. фон Штубе в «Разломе» Лавренева и др.), — этот Беринг, как известно, не предатель, а сделавший окончательно свой выбор, верный Революции военспец. Он сам своим примером показал, что совсем не просто разгадывать тайны целых классов. Его горькая ирония по адресу тех, кто слишком легко обращается с этими понятиями — класс, классовая борьба — оправдана.

У Н. Погодина в «Снеге»:

— Первый [актер на просцениуме]. Что это он спит? *Классовый враг, а спит...* Классовый враг никогда не спит. Это клевета на классового врага.

И здесь законная ирония над теми, кто слишком легко обращается с такими серьезными понятиями. Классовый враг не спит, но слова эти уже стали от неумеренного употребления штампом.

— Профессор Юрий Юльевич. Я залез с ними по самые уши в политику. Я принимал участие в *их классовой борьбе...* Что же будет дальше? Что же будет дальше?.. (Там же)

Они, студенты, участники ученой альпинистской экспедиции, тоже слишком легко и не к месту говорили о классовой борьбе даже между собой. Профессор добродушно иронизирует, а сам действительно уже залезает по уши в политику.

— Моя жена, шагавшая за мной по всем тем тропинкам, на которых я искал «человека», мешком висит на моих старых плечах теперь, когда я нашел не каких-то там отдельных людей, прекрасных, совершенных, поборников святой правды, а класс, ведущий за собой человечество. (А. Дроздов, «Обида» — «Записки учителя»)

«Класс» испугал жену этого учителя, и она, по всем признакам, была права, потому что гораздо горячей и интереснее то, что говорится в этой тираде об отдельных хороших людях, чем о классе...

Совершается самое великое из всех «превращений понятия в социалистической революции»: возникают *дру-*

*жественные классы,* неслыханное и «невозможное» сочетание слов, новый оксюморон. Классы, но дружественные!

И тем строже, после этого «превращения понятия» у нас, звучат в нашем языке все применения этого слова к классам, *воюющим* в капиталистическом мире. А правящие классы в этих странах очень хотели бы *запретить* самое это слово как «абстрактное», а на самом деле слишком реальное и грозное.

«Класс» и в скромном, терминологическом применении к школе имеет свою весьма содержательную историю.

Старые классы как символ всей старой школы могли вызывать только отвращение и возмущение в передовом лагере. Ленин в политическом языке часто применял выражения *классная дама* и *классная барышня,* и не было, кажется, у него более унижающего слова.

В конце прошлого века возникали и передовые школы, даже школы для рабочих, и они назывались иногда классами.

— Затевается нечто en grand, с народным театром, с помещением для воскресных классов, — писал Чехов.

Эти воскресные и другие «классы» не стали и не могли стать влиятельным общественным институтом, чем-то en grand, и это значение слова оставалось узким и специальным, требовало пояснений и дополнений.

В старых классах чаще всего учили плохо и «не тому», и между учителями и «классом» кипела вражда.

М. Пришвин писал уже в наше время — о прошлом:

— В слове «класс» ему сразу далось что-то очень хорошее, за что нужно стоять, и боже сохрани подвести. *А что учителя — враги классу, то это само собой понятно.* («Кащеева цепь» — «Коровья смерть»)

В ходе послереволюционного «школьного строительства» сначала страстно переименовывалось все, что могло напоминать о старой, ненавистной школе: группа, звено, даже отряд — вместо класса.

...Но вот возрождается класс в том же применении: такой-то класс семилетки или десятилетки. Это уже возможно, потому что старые ассоциации, связанные с этим словом, уже никого из школьников (а потом и их родите-

лей) не тревожат. Это стало и необходимым, потому что новые, сверхнаучные наименования в практике педологов и пр. уже были дискредитированы.

Отставленное было слово «класс» снова входит в официальную терминологию и в обиход.

Ушли старые школьные ассоциации, связанные с этим словом; но школьный *класс* встретился в языке с другим, огромным *классом.*

Комсомолка Евгения Руднева, впоследствии Герой Советского Союза, записывала 13 октября 1934 года:

— Как непривычно звучит слово — класс! Группа — лучше... (Дневник)

Сейчас это слово уже звучит вполне привычно; но в разговорном языке игра на многих его значениях, конечно, продолжается. И почти всегда участвует в этой игре и *третье,* тоже очень важное значение этого слова.

— Одновременно повышается *класс работы промышленности...* («Правда», 16/III 1949 г.)

— Это уже *другой класс точности.*

— Тот, кто видел *ежедневный класс Улановой,* знает, с каким упорством, дисциплиной, отрешенностью от всего внешнего работает она над каждым движением. (Ю. Файер, главный дирижер балета ГАБТ)

Уланова повышает свой класс точности в своем ежедневном «классе»...

И производные от слова в *этом* его значении:

— Спортсмены того или иного класса...

— Девушка — класс!

— Классно!

И т. д.

Эти обороты так привлекательны именно потому, что всегда ощутимы и другие, оттесненные в этих случаях на задний план, но непременно хорошо слышные значения этого огромного слова.

## ВРЕМЯ

«Свивая, славію, оба полы сего времени». — Сплетая хвалы на все стороны сего времени.

Так переводил Пушкин эту строчку из «Слова...» и тут же добавлял в скобках:

— Если не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь пышную хвалу. («Песнь о полку Игореве»)

И как часто в разговоре и о своем, и о прошлом, недавнем или далеком, времени пробивается ирония у самого Пушкина!

Понятна мне времен превратность...

(«Моя родословная»)

— Не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного... («Путешествие из Москвы в Петербург»)

— Жаль: тогдашнее время (1811) стоило наблюдения. («Рославлев»)

— В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в губернии. («Метель»)

— Покойный дядя его, бывший вице-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. («Египетские ночи»)

И т. д.

Все это иронические отклики и ответы на всевозможную пышную хвалу, «на все стороны», того или иного времени, на то, что люди называли «блистательным» или, в особом, своекорыстном смысле, «хорошим» временем.

— Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. («Рославлев»)

Возникает понятие «мысль времени», которую надо смело исполнить.

Не «гений» (ср. журнал Н. Греча «Гений времени») или «дух» времени — уже залитературенная и слишком затвердевшая речевая формула, а «мысль времени» — ведущая идея эпохи, как сказали бы мы сегодня (ср. «Предназначенье века» у Рылеева). Ирония — только по адресу тех, кто не постигает ее во всем ее «ужасе» (а это последнее слово под впечатлением Французской революции значило в высокой речи раньше всего — «террор»).

Вся история мнений передовых людей о своем и грядущем времени и, не в последнюю очередь, вся исто-

рия самомнений каждой эпохи проходит перед нами в бесконечных превращениях огромного слова-понятия «время», с прописной или строчной буквы.

В древней поэзии «время» — высокое и мистическое понятие: судьба, рок, чья-то воля, которая властно заявляет о себе всем, кто умеет слышать събытье (свершение) и глагол времен.

Это «время» — непременно и живое лицо. Оно действует и разговаривает, обращается к людям и к самому себе. Поэт так или иначе выражает свое отношение к этому лицу.

Высокое слово-образ получает и самые трезвые применения.

— Три года продолжалось *«время» Б. И. Морозова,* время лучшее, чем при Салтыковых, но все-таки темное... (У С. Соловьева)

«Время» временщиков.

— Заказать в Туле печать *с фигурою, изображающей Время,* и с надписью «оправдает»... (Тургенев, «Собственная господская контора») и т. д.

Номенклатурное обозначение, артикул товара.

И с возгласами без дела
наше время опошлело,
потеряло свой кредит.
Осердясь на невниманье,
чуть не сгибло уж в Неве!
Но потом нам в наказанье, —
вдруг *в газетное прозванье*
*превратилося в Москве.*

(Конрад Лилиеншвагер, то есть Добролюбов)

Название газеты Н. Ф. Павлова. Добролюбов обижен за самое слово, получившее такое применение, и оно само осердилось.

В советскую эпоху «время» — слово как никогда высокое, оно в высшей степени лицо, а отношения с этим словом как никогда короткие и непосредственные.

«Время — что семя: был бы дождик, оно себя окажет».

Время — главный лирический герой советской литературы. Это одно из «коммуниа», то есть, как определял Пушкин, предметов «не обыкновенных, а общих всем». Поэт должен завоевать право говорить об этом самом высоком и общем для всех предмете так, чтобы не быть смешным, чтобы не было стыдно перед товарищами по времени.

Отметим наиболее удачные или почему-либо интересные выходы к этому «предмету, общему всем».

Багрицкий — сыну:

Я знаю: ты с чистою кровью рожден,
Ты встал на пороге веселых времен.

(«Папиросный коробок»)

У В. Кина:

— Тысячи людей готовили революцию, работали для нее как бешеные, надеялись и умерли, ничего не дождавшись. Все это досталось им — Безайсу, Матвееву и другим, которые *родились вовремя.* («По ту сторону»)

Снимают сливки с целого столетия.

Есть и такой «товарищ по времени»:

— Прошу не забывать, что вы проживаете *на одном отрезке времени с Остапом Бендером.* (Ильф—Петров, «Золотой теленок», 23)

Остап по роду занятий должен знать, и хорошо знает, все важные слова эпохи.

В Революцию время удивительным образом себя оказало, и в литературе идет непрерывное разглядывание его «тела и давления» (Тургенев очень любил эти шекспировские слова: тело и давление времени).

Маяковский ведет непрерывный разговор со Временем. Только с ним он, собственно, и разговаривает. Но как разительно меняется смысл и стиль этого разговора от первых его дореволюционных стихов до послеоктябрьских! И с новой силой вспыхивают в его стихах почти все важнейшие поединки, которые происходили уже некогда из-за этого огромного слова.

«Мысли в призыв» (1914):

А слабым
смерть,
маркер времен,

ори:
«партия».

В «Я и Наполеон» (1915):

Мой крик в граните времени выбит.

В трагедии «Маяковский»:

Сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж.

В «Войне и мире» (1915—1916):

В старушье лицо твое
смеемся,
время! (V)

Но почти так смеялись в эти года над «временем» и даже бросали ему вызовы и другие поэты. А мятеж — у Маяковского — «криворотый».

Разговор со Временем после Октября:

Время часы капитала крало.

(«Владимир Ильич Ленин»)

(Ср.: «Юный герой Дмитрий... мог сказать им словами библии: отступилось время от них...» (Карамзин, «ИГР», 5)

Время — союзник или враг. Время — счастье, попутный ветер, который гонит вперед, к цели, тех, кто имеет право на историческое счастье; время беспощадно ко всем другим. У капитала оно даже крадет часы, во имя высшей справедливости. Оно очень пристрастно, и поэтому ему можно вполне довериться.

«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».

(«Хорошо!»)

Маяковский увековечил народную этимологию того названия, которое дало себе Временное правительство.

Оно назвало себя так в особом смысле и, так сказать, из скромности. «Народная этимология», утвержденная Маяковским, придала этим словам очень прямой смысл.

Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.

(«Домой!»)

В прошлом были замечательные, иногда потрясающие «стенанья», «веленья», «зовы» времени.

Глухие времени стенанья,
Пророчески прощальный глас.

(Тютчев, «Бессонница»)

И так доступна бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира!

(Фет, «Измучен жизнью...»)

А. Н. Островский писал в своем «Дневнике»:

— Батюшков, Жуковский, Пушкин с помощью времени и по его тайному и мудрому велению вразумили нас и научили ценить поэзию.

Островский в этой чудесной записи полемически поднимал страшно испорченное выражение «веления времени». Оно уже было главным образом на службе у охранителей и реакционеров. Он вырывает это слово из его ряда; он говорит о тайных велениях времени — непременно тайных, но таких, которые могут вразумить и научить.

Позднее, особенно у символистов, снова и снова глухие стенанья, веленья и зовы (больше всего «зовы») времени. Но это уже только почти пародийные перепевы большой идеалистической поэзии, и самые эти слова становятся литературным штампом.

У Маяковского не «веления» и «зовы», а «приказания». Да, да, приказания. Мы сами позволили времени давать нам приказания. И пусть времен комиссар нависает! Противник хотел считать, что время хотя и как будто бурно движется, но на самом деле оно идет в ни-

куда и даже, собственно, остановилось. В самых различных, подчас очень высоких, формах противник и у нас и за границей повторял, в сущности, идею Феклуши из «Грозы» Островского:

— А время-то за наши грехи все короче и короче делается. (3—1)

То же в «Не в свои...»:

— Это с ним бывает. Со временем бывает-с.

И, стало быть, все ближе к светопреставлению.

Затем возникают все новые концепции времени, основанные на новейших выводах науки. В литературе символистов и декадентов эти концепции, и в частности новейшая «теория относительности», совершенно непонятая, но очень точно в своем роде «примененная», получают характернейшее отражение в раздроблении самого понятия «время», в знаменитых символистских «множественных числах», которые разбивают все важнейшие общие понятия и категории и раньше всего — Время. «Время» завивалось в пустоту, хотя и очень «научную». Главный мотив: мы все ближе к светопреставлению.

«Время» часто завивалось в пустоту и в *революционном* лагере.

У «кузнецов» оно получило как бы навсегда большую букву; оно возвышалось немыслимо и обожествлялось.

Время — опытный кормчий —
Правит к высотам горящим...

(В. Александровский)

Не союзник, а грозный повелитель, который один только знает, а своим подчиненным не раскрывает тайны своих замыслов. Естественно, что личного отношения к такому времени и разговора с ним нет и не может быть.

«Шаги времени», «Поступь времени», «Гул времени» становились уже готовыми и почти обязательными метафорами.

Маяковский спорит и с противником и со своими. Он подталкивает время, «и без того уже довольно деятельное»: «Время, вперед!»

Вступление к поэме «Владимир Ильич Ленин»:

Время —
начинаю про Ленина рассказ...

Время
        потому,
                    что резкая тоска
стала ясною, осознанною болью...
Время,
        снова
                ленинские лозунги развихрь!..

В те годы много говорили о пафосе дистанции. И Маяковский в этом единственном случае остановился... Но вот уже само время приказывает.

Всегда, даже там, где Время не названо по имени, Маяковский разговаривает со Временем, и в этом разговоре у него возникают такие смелые образы, которые не раз смущали его современников.

Н. Асеев горячо защищал эти «невозможные» образы:

— Еще у Вальтер Скотта применяются такие смелые образы, как, например, «железный времени язык промолвил «три» над самым ухом ночи», что напоминает Маяковского: «Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо...»

Ср. у Белого:

Когда железным зубом время
Нам взрежет бархат вечной тьмы...

(«Дед»)

Разговор со Временем проходит и через всю поэзию Блока.

Так нам велит времен величье
И розоперстая судьба.

(«Ямбы»)

Это писалось тогда, когда «жизнь уже не жгла, чадила». Блок романтически утверждает величие времен, наперекор всем реальностям.

И тут же классическая (из «Илиады») Эос — заря с розовыми пальчиками. И она что-то велит и внушает. Розоперстая Эос не раз выходила на сцену в русской поэзии, но никогда еще в такой роли.

Что ж на прощанье ей скажу?..
— Лети, как пролетала, тая,

Ночь огневая, ночь былая...
Ты, время, память притуши,
А путь снежком запороши.

(«Седое утро»)

Товарищеская и личная просьба ко времени: не «дать забвение» и т. п., а только притушить память о невыносимых реальностях.

В стихах о «Прекрасной Даме», о «Незнакомке», в романтических драмах, всюду, прямо или в подтексте, высокое, несмотря ни на что, Время воюет с бессмертной пошлостью людской, а в «Возмездии» происходит уже окончательное выяснение отношений с этим же, главным его лирическим героем.

У Есенина:

Время — мельница с крылом —
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время — мельница с крылом.

(«Где ты, где ты, отчий дом...», 1917)

Имажинисты вполне могли считать эти стихи своими, и во всей их поэзии не было, пожалуй, более имажинистских стихов.

Но в этом же стихотворении Есенин и «продает», очень наглядно, имажинистов.

Время воплощено, оно, как говорили тогда, вещно; оно надежно входит в инвентарь села и отчего дома. Оно как будто центральный образ всего стихотворения.

Но не эти строчки, а другие здесь самые важные и трогательные.

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?

Ведет все стихотворение «дом» с его замечательными рифмами. Время, поставленное в самом начале, дает

ему новую и торжественную перспективу. Есенин часто уходил в историю, в даль времен, но только для того, чтобы оттуда, из этой дали, снова и снова разглядывать «отчий дом».

Он горячо полемизировал с теми поэтами, которые, как ему казалось, не понимали этого главного назначения Времени.

Почти тогда же, когда было написано стихотворение «Где ты, где ты, отчий дом...», Есенин говорил в другом стихотворении:

Привязало, осаднило слово
        Даль твоих времен.
Не в ветрах, а, знать, в томах тяжелых
        Прозвенит твой сон...

(«Проплясал, проплакал дождь весенний»)

Но тома тяжелые бесплодны, потому что они раньше всего уводят от «отчего дома», заслоняют «рощу золотую». Главное назначение Времени — убрать все ненужное, чтобы открылась роща золотая или, как некогда у Алексея Кольцова, золотая река:

Вспомни время свое,
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой.

(«Что ты спишь...»)

У Федина:

— Это скончался не только человек, это скончалось время, неотрывная часть тебя самого [в душный день 18 июня 1936 года, когда скончался Горький].

У Пришвина:

— Из далеких-далеких времен доносились в шуме деревьев звуки охотничьих рожков, и лай гончих, и топот копыт. Ветер зашумел, замолчали прежние времена. («Птичье кладбище»)

Замолчали прежние времена — у Пришвина; а они у него, всегда и неотступно, что-то говорили, и нашептывали, и инсинуировали (именно так!).

И у Пришвина же:

— В иных случаях человек может перевести на свою скорость и *само* геологическое время. («Мой очерк»)

Этот случай настал, и в своих «очерках» Пришвин именно это и делал, переводил на свою скорость само геологическое время.

И времен водоворот
Можешь видеть глазом.

(Н. Тихонов, «Грузинская весна»)

Действие происходит в горах, у вершин. Слова имеют как бы прямой смысл. Не риторика (ср. у Александровского: высоты горящие, к которым «правит время»).

Ср. у Бунина то же («В горах»):

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
Нет в мире разных душ, и времени в нем нет...

Российское и новое время.

— В двенадцати часах езды от столицы российской империи стоит на голубом граните скал иностранный город [Гельсингфорс], и время в нем не российское. Российское время медленно, неверно и томительно. Оно бредет в будущее, — ленивое, неверное, петербургской трехцветной палкой подгоняемое российское время, — и кажется, что оно всегда чешет затылок в тупом раздумье: «Куды гонят?» И никто не знает, куда его гонят, тысячелетнее российское время. (Л. Соболев, «Капитальный ремонт»)

— Старыми словами теперь не скажешь. Старые-то под время подведены. А теперь времени не видать. Теперь кипит. Еще что уварится, пока время отстоится. (С. Федорченко, «Народ на войне»).

— О, как могуче выросло время! (Малышкин)

— Водолаз Нильсон. Время было — десять баллов. Ураган. (Федин, «Похищение Европы»)

— Если сопоставить дремучее времище России с метеорным полетом нынешних минуток, — почти чудесным представляется такое предельное повышение его емкости. Как будто кто-то могучей рукой раздвинул матема-

тические своды времени. (Леонов, «Правда», 18/XII 1949 г.)

— Кляча времени заменена подлинной машиной времени. (И. Рябов, «Правда», 1/I 1949 г.)

Я видел, как преображала
Любовь живое существо,
Я видел Время, что бежало
От вздумавших убить его...

(Л. Мартынов, «Я понял»)

Не время для нас, для страны — времена,
Века из веков озаренные.
В четвертый десяток вступает страна,
Октябрьской бурей рожденная.

(Твардовский, «Молодость страны»)

Лет сорок, не менее, липкам —
И после невольного вздоха:
— Ах, времечко-время, — с улыбкой
Промолвил прохожий, — эпоха.

(Твардовский, «В канун годовщины»)

— Пословица говорит, что время на дуду не идет. Да, на дуду оно, конечно, не идет, но на призывной зов трубы, возвещающей о победе, оно двигается довольно явственно. (Вс. Иванов)

Новое время — это словосочетание, которое столько «применялось» и вкривь и вкось и столько раз чудовищно профанировалось, — получает строгий, окончательный и очень высокий смысл.

— Мы вылетели сегодня из Читы на «ТУ-114» и *прилетели вчера в Москву.* Машина съела разницу между нашим и московским временем. (Рассказ пассажира в аэропорту Внуково)

— Если бы мы летели не по 56-й параллели, а, скажем, по 76-й или выше, то мы прилетели бы даже раньше, чем вылетели (конечно, по местному времени). Время для нас двинулось бы в обратную сторону. Наш самолет на такой широте летит быстрее, чем вращается земной шар. Человек становится сильнее даже времени! (А. Казанцев, «Море мечты». «Правда», 4/XI 1959 г.)

Новое и долгожданное время, которое несет с собой новую поэзию.

О время, время новое!
Ты тоже в песне скажешься,
Но как?

(Некрасов)

Волгин («Пролог» Чернышевского) записывал в своем дневнике:

— Придет серьезное время. Когда?

Это именно тот случай, когда так называемый эзоповский язык вносил в дело важную точность. Серьезное время — время долгожданного переворота в народной жизни; но только такое время и можно называть серьезным...

И вот оно пришло.

— ...Вдали Кремлевские куранты начинают играть «Интернационал».

Ленин (*с глубокой радостью*). Слышите... а? Играют... Это великое дело, товарищи... Когда сбудется все, о чем мы теперь лишь мечтаем, из-за чего спорим, мучаемся, они будут отсчитывать новое время... (Н. Погодин, «Кремлевские куранты»)

## АТОМ

«Атом» — одно из самых замечательных по своей судьбе слов.

Новая, необычайно бурная его жизнь начинается именно тогда, когда слово «атом» (неделимое) по своей этимологии оказывается уже совершенно не соответствующим действительности.

Это был научный неологизм, термин, созданный материалистами древности для обозначения нового, «обнимающего весь мир» понятия.

Естественно, что оно получает уже тогда самое широкое применение во всех областях знания, даже в *теории языка.*

Демокрит учил, что грамматическое предложение есть не что иное, как механическое сплетение имен: оно «складывается из них точно так же, как имя из букв, а вещь из атомов».

Затем, уже в новое время и в другом научном значении, это слово с боями входит в международную научную терминологию как обозначение особой теории строения вещества и как символ научного осмысления мира, передового научного мировоззрения.

Атомизм против томизма, то есть передовое научное мировоззрение против всевозможных религиозно-схоластических систем, томизма во всех его видах (по имени Фомы Аквината, творца такой системы).

И борьба эта продолжается, как известно, до наших дней.

Академический словарь XVIII века определял атом вполне нейтрально и не давал каких-либо применений:

— Атом — самая маленькая пылька.

Эта «пылька» получает весьма содержательные толкования и «применения» в литературе. Она — арена острейших идейных боев.

— Русская литература создается из «зарождающихся атомов каких-то новых стихий...» (Гоголь, статья для пушкинского «Современника», черновик)

— Из пенящегося брожения столбовых атомов, тянущихся кривыми линиями и завитками к трону и власти, Лопухин был выхвачен своей встречей с Новиковым... (Предисловие Искандера (Герцена) к «Запискам» Лопухина)

— Отступило ли оскорбленное меньшинство в сторону, составило ли тот первый punctum saliens (точка выступа), по которому притекут родные атомы, рассеянные теперь в неопределенном искании и брожении? (14—243)

Мечта Герцена: оскорбленные атомы почувствуют наконец свое родство и объединятся в большом общем действии.

— Германия в то время вся распадалась на *атомы:* каждый хлопотал о человеке вообще, т. е. в сущности о своей собственной личности. (Тургенев, «Фауст» Гёте в переводе М. Вронченко»)

Ср. «общественный атомизм» (Энгельс). А хлопоты каждого из атомов о «человеке» вообще бесплодны и своекорыстны, хоть они и облечены в пышную идеалистическую форму.

У Достоевского:

— Ибо нищ, и наг, и атом в коловращении людей... («Идиот», 2—2)

Это в порядке «самоумаления», как объясняет князю сам Лебедев, но и не без некоторого щегольства умным словом: и мы, дескать, наслышаны...

— Весь обидный комизм человеческих противоречий исчезает, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума. («Братья Карамазовы» — «Pro u contra»).

Это говорит Иван Карамазов, а его Черт в «споре» с ним гениально развивает его же мысль.

— У нас там все теперь помутилось, и все от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну, тогда все кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да черт знает что еще, — так у нас и поджали хвосты. («Братья Карамазовы», IV — «Иван и Черт»)

Только новое развитие древней теории атома, другие измерения и другая математика могли и должны были в самом деле испугать чертей.

«Атом» уже участвовал активно в идейной борьбе и полемике. Очень интересные «встречи» в словарях.

Толкование Даля:

— Атом — вещество в крайних пределах делимости своей, незримая пылинка, из каких будто бы составлены все тела, всякое вещество, как бы из песчинок. Неизмеримая, беспомощно малая пылинка, ничтожное количество...

Научный смысл этого термина Даль, как видим, подвергает сомнению («будто бы»); а единственное переносное значение — беспомощная, ничтожная пылинка. Уже не так объективно, как в Академическом словаре XVIII века; для Даля «атом» — сомнительное слово в высшем его смысле и плохое — в живой речи.

В Словаре ИАН 1847—1867 годов:

— Атом. В физике: тело, которое, по причине его малости, не может быть разделено.

Указана и причина.

У «Толля», конечно, все обстоит прямо противоположным образом:

— Атом (греч. нераздробимый) — малейшая частица тела, по предположению, не допускающая деления.

Сомнению подвергается («по предположению») то, что атом не допускает деления...

Литературных «применений» у «Толля» нет и не должно быть; к тому же они могли бы только запутать этот сложный вопрос.

Но есть в этом «Словаре для справок» очень темпераментное и далеко идущее «применение».

— Народ есть сумма неделимых; поэтому явления в природе имеют свое основание в природе неделимых...

Атом, может быть, и допускает деление, а люди неделимы. Но при всех условиях все явления в мире неделимых имеют свое непреложное материалистическое основание.

В Словаре ИАН 1891 года:

— Атом. Филос. Стар. Мельчайшая, неделимая частица материи.

«Стар.» — то есть уже не научный термин. И отнесен он к философии, а не к физике и естествознанию. Но без каких-либо колебаний: неделимая.

И все новые литературные применения.

В пьесе Треплева — по тем образцам, которые ему, видимо, особенно импонировали:

— Нина (*читает монолог*). Отец вечной материи, дьявол, каждое мгновенье в вас [болотных огнях] производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. (Чехов, «Чайка»)

Новые, строгие научные понятия: обмен атомов и непрерывные изменения в природе. Но это, по смыслу пьесы Треплева, не вносит никакой ясности в извечный хаос вселенной.

Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут богом — жизнью, красотою.

(Бунин, «Джордано Бруно»)

В эти же годы все успешнее пробивает себе дорогу в борьбе с идеализмом во всех областях знания и искусства передовая материалистическая философия и наука. Еще никому не удалось расщепить атом, но его разрушимость и одновременно неисчерпаемость — опора всего нового мировоззрения.

— Разрушимость атома, неисчерпаемость его, измен-

чивость всех форм материи и ее движения всегда были опорой диалектического материализма. (В. И. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм», 14—268)

Всегда были!

А в бесконечных спорах с «индивидуализмом», в лекциях о судьбах русской интеллигенции Луначарский неизменно разъясняет:

— Индивидуум, т. е. неделимый, это совершенно то же, что по-гречески атом.

Важно научно разъяснить самое это слово.

Основное исходное положение диалектического материализма еще не было доказано экспериментально и тем более практически, но мечтатели уже «применяют» энергию атомного распада и оценивают его результаты для блага всех людей.

— Вокруг нас — неисчерпаемые запасы новой энергии атомного распада. Когда ею овладеют, настанет весна земли, материки покроются райскими садами, словом, будет дьявольски хорошо. (Ал. Толстой, «Гиперболоид инженера Гарина», 1923)

— Изобретение это представляет собой род сильного взрывчатого вещества, где использована субатомная энергия. Имя вещества — Илитол. (С. Бобров. Спецификация Илитола. *Прозроман ускоренного типа.* 1923)

И вот атом открыт.

У Пришвина:

— Миллионы лет были на земле атомы и работали тайно, пока, наконец, их не открыли. Так что они, конечно, были и были очень давно, и мы их не сделали, не сотворили, а только открыли.

А можно ли такое открыть, чего не было? Можно, только это называется не открыть, а сотворить. (1950)

27 июня 1954 года первая атомная электростанция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов.

— Итак, дойдя как будто до вершины победного развития, атомизм, как таковой, то есть как учение о неделимых и неразрушимых элементарных частицах, в сущности оказался побежденным: он заменился теорией строения вещества из частиц, изменяющихся, превращаемых и исчезающих. (С. Вавилов, 1950)

— По повышению власти над природой, которое оно

[открытие атомной энергии] несет человеку, его можно сравнить с открытием использования огня на заре человечества, — писал в 1956 году президент АН А. Н. Несмеянов.

Тогда началась и новая необычайная жизнь этого слова.

Оно создает неслыханные производные, получает различные, «рычащие» друг на друга применения.

Атомоход — и атомная бомба. Атомиум (на Брюссельской выставке) — и «предатомное прожигание жизни». Атомники — и атомщики. Атомиздат, специализированное издательство литературы об атоме, — и «атомная меланхолия» какого-нибудь Сальвадора Дали. Чудовищный глагол «атомизировать»...

— Капитан Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен и в природе наступил бы золотой век. Сейчас, после открытия атомной энергии, это можно сделать. (К. Паустовский, «Золотая роза»)

Окупится богато нам
Все, что рукой мы тронули.
Клянусь разъятым атомом
И всеми электронами!

(Л. Мартынов, «Я вас люблю»)

«Добрый атом» (заглавие очерков Д. Данина о мирном применении атомной энергии) вступает в великую борьбу со злым атомом.

— Атомная мания становится все более распространенным явлением... [в США]. Даже для детей здесь придумана «атомная азбука»: А — первая буква слова «атом», Б — первая буква слова «бомба» («Пирл-Харбор атомного века». «Правда», 1/I 1951 г.)

— Нефтяники, оружейники и прочие атомники. (И. Эренбург, «Закон природы». «Правда», 1/V 1947 г.)

— «Атомизация» германского государства. (Е. Тарле, «Известия», 23/III 1947 г.)

— «Атомная дипломатия».

Себя зовет он демократом,
но ты, читатель, не забудь

оставить в слове только атом
и остальное зачеркнуть.

(Маршак)

...От своих щедрот
пихают кукиш атомной бомбы
голодной Европе в рот.

(Сурков, «Возвысьте голос, честные люди ...»)

Мечты у нас прекрасно-человечьи,
мы новых подвигов готовим ряд.
А с нами говорят на атомном наречьи,
о нашем истребленье говорят.

(Исаковский)

Есть посильнее вещество
теперь в твоем краю...
Не буду называть его...
баюшки-баю.

(Долматовский, «Твоя сила»)

Слово во втором применении настолько страшно, что лучше не называть его в колыбельной...

Первое применение этого слова должно стать единственным...

## ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ СЛОВА

Щедрин писал в «Письмах к тетеньке»:

— Не успели простодушные люди наахаться вволю, как «хорошее слово», перейдя через множество предательских уст и согласованное с целой массой хищнических аппетитов, уже истрепалось, выпачкалось и провоняло. Так что, слушая современные уличные толки по поводу этого слова, не без испуга спрашиваешь себя: *куда же девался первоначальный смысл?* (6)

Перед Революцией уже исчез, казалось, бесследно в русском литературном языке первоначальный смысл многих самых драгоценных слов. Это признавали и самые передовые деятели русской культуры, продолжатели революционно-демократической, щедринской традиции, и самые консервативные и реакционные писатели.

Мережковский по-своему выяснял *причины* «упадка языка»: он считал главными виновниками Писарева, который «ввел иронический, почти разговорный прием», и, как на смех, именно Щедрина «с его эзоповским языком». Но самый факт упадка не подлежал для него никакому сомнению.

Даже Суворин писал в предисловии к своему переводу «Тайн души» Метерлинка, что литературный язык облечен в мундир и мундир этот уже почти его задушил.

Бальмонт слышал в «языке современных людей»

Стук ссыпаемых в яму костей,
Подражательность слов,
Точно эхо молвы,
Точно ропот болотной травы.

У Гумилева:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в евангельи от Иоанна
Сказано, что слово — это бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

(«Слово»)

И чтобы преодолеть эту мертвенность и подражательность, они «возвращались к истокам».

Илья Эренбург писал уже после Октября, в 1920 году, о Вячеславе Иванове:

— Прекрасны все извороты речи: язык будней и язык литургий. Поплывем же на сей раз вверх, против течения, к истокам слова, от Маяковского к «размышлениям» и одам Ломоносова. Там не замутнена пришлыми ручьями галлицизмов, ясна и светла вода, и еще дальше уйдем под землю, где таятся невспыхнувшие ключи корней непроросшего слова. Пренебрегая широкими вратами, туда ушел Вячеслав Иванов и принес несметные богатства, одарив нас словами необычайными и высокими, трижды заслужив тяжелый, как порфир, титул «Вячеслава Великолепного»... («Портреты современных поэтов», 1923)

Самое замечательное в том, что эти слова, которые «откапывал» (буквально) Вячеслав Иванов, были действительно великолепны и плодотворны — среди изолгавшихся и бесконечно опустившихся слов «языка современных людей». Это «возвращение» даже изобличало каким-то образом подлую современность, всеобщее «падение».

Но, конечно, это было совершенно мертвое великолепие и совсем не то возвращение к первоначальным смыслам, о котором мечтал Щедрин. Это могло быть, по самому смыслу вещей, только литературным приемом; нового в этом не было и не могло быть. А сам писатель либо утверждал, что нового вообще не бывает, либо приглашал вместе с ним поражаться страшной и

вечно бесплодной борьбе различных смыслов в слове и языке.

«Возвращение к истокам» и «восстановление первоначальных смыслов» проповедует и *сейчас* реакция на Западе.

Вот почему в нашем «возвращении к истокам», «возвращении вперед» особенно наглядно проступает принципиальная новизна нашего языкового развития.

Слова получают все новые значения и применения; происходит непрерывная селекция лучших смыслов многозначного слова; меняются его вес, его калибры, его высокое или низкое звучание, в соответствии с нашими, все новыми представлениями о стилистической мере; слова вступают в новые отношения с другими, «близкими», однокоренными; непрерывно создается новая поэтическая синонимика.

Но в основе этих всех движений — восстановление первоначальных смыслов; это *главный семантический сдвиг.*

Мы видели это возвращение первоначального смысла и «восторга первоначального» и в «архаизмах», и в неологизмах, и во внутренних передвижениях слов из одной лексической группы в другую, и в новом образе действия слов.

Вот еще биографии некоторых слов, в которых это движение сказалось наиболее наглядно. Здесь нет резких семантических сдвигов; после многих превращений слово «только» приблизилось, на новых основаниях, к первоначальному, очень поумневшему смыслу, стало «сиять заново».

## ТОВАРИЩ

Денис Давыдов писал о Ермолове:

— Немногие смели называть солдат «товарищами». А он обращение «товарищи» применял даже в приказах.

Ермолов воскрешал древнее, но еще живое в народном сознании и очень опасное для «Петербурга» значение этого слова.

> Солетайтесь, орлы сизокрылые,
> вы, братцы-товарищи...

В народной песне, пишет по этому поводу академик А. С. Соболевский, орлы — товарищи-разбойники.

У этих «орлов-разбойников» первый товарищ — нож и топор; нож-засапожник и топор крестьянской революции, так и назывался: товарищ.

У Шевченко в русской и украинской традиции:

Ой, наточу «товарища»,
в голенище спрячу
да пойду искать по свету
правды да удачи.

— Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, — не было таких товарищей. (Гоголь, «Тарас Бульба»)

Уже в начале XVII века «товарищ» означал вполне отчетливо: боевой и политический соратник. (Ср. «Пожарский с товарищи» в окружных грамотах первого и второго отполчения и т. д.)

Ермолов дразнил этим словом «Петербург» и самого себя, играл опасным оружием, но знал, что при помощи этого слова непременно найдет дорогу к сердцу солдата.

— В полку все было известно: кто был поручик, кто ротмистр, кто хороший человек, кто дурной человек, а главное — товарищ. (Л. Толстой, «ВиМ», 2—2—215)

Это слово солдатское. Оно имело и многие совсем другие применения. Но боевое значение этого слова своеобразно участвует почти в каждом другом применении.

В «Повести о Фроле Скобееве»:

— И Аннушка легла со Фролом Скобеевым, а сама рекла: лутче сей девицы не избрала себе спать в товарищи. И веселилась чрез всю ночь телесными забавами.

Крутая и полная юмора народная эротика; но несомненно, что она избрала боевого, а не какого-нибудь иного товарища для телесных забав.

— Волдырев. Я ее очень люблю и уверен, что буду женат без товарищей. (Я. Княжнин, «Сбитенщик»)

Так говорит сластолюбивый и немощный старик купец, опекун юной Паши, с убийственной фамилией-характеристикой. Конечно, он останется в дураках, его место займет настоящий, боевой «товарищ».

Это слово уже, видимо, стало и словечком («совместник», «друг дома» — ср. у Даля «ладо» в этом же значении).

«Товарищ» был и обозначением определенного *литературного жанра.*

В 1764 году появились два тома сборника «Товарищ разумной и замысловатой, или собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных мужей древнего и нынешнего веков». Составитель — Петр Семенов. Были и многие другие «товарищи» такого рода — сборники ловких, смелых, остроумных *хороших слов.*

Во всех случаях это вооружение, которое позволяет дать интересный и скорый ответ.

«Товарищ» имеет и *коммерческое* значение.

«Зритель» Крылова, сам по себе очень боевой и полемический, печатался в «Типографии г. Крылова с товарищи». Товарищ — компаньон, «и К°».

«Товарищ» — и «петербургское» слово, *административный, судейский термин.*

Воеводский товарищ, товарищ министра, потом товарищ прокурора, товарищ—чиновник.

— Со вступлением моим на гражданскую службу я будто вступил в другой мир... Здесь... эгоизм господствует во всей силе... Товарищи не уступают кокеткам: каждый хочет исключительно прельстить своего начальника, хотя бы то было за счет другого. (И. И. Дмитриев, «Взгляд на мою жизнь»)

Они эгоисты, готовые съесть друг друга, а называются товарищами.

Хорошо слышен у архаиста Дмитриева первоначальный смысл этого слова. Он, как всегда, обнаруживает падение нравов и понятий и протестует против незаконного применения хорошего слова.

Позднее:

— Бобырев состоит на службе в качестве товарища кого-то или чего-то... (Щедрин, «Тени»)

Кого или чего именно — уже не существенно, он так или иначе соучастник в каких-то темных предприятиях. И это Бобырев, который так хотел быть чистым и передовым человеком, товарищем.

Слово низко пало, но оно имеет уже и новый смысл.

— Убеждения Бабурина не могут дольше оставаться под спудом. Есть товарищи, от которых теперь невозможно отстать. (Тургенев, «Пунин и Бабурин»)

«Товарищи» звучат здесь у Тургенева как уже ходовое новое слово, слово новых людей.

У Огарева:

Теперь товарищ мне иной дух отрицанья —
Не тот насмешник черствый и больной,
Но тот всесильный дух движенья и созданья,
Тот вечно юный, новый и живой.

(Н. Огарев, «Монологи», IV)

Чернышевский считал «Монологи» Огарева «прекрасными стихами». Здесь целая философская и политическая и очень боевая программа; здесь — страстная полемика. Товарищ — иная идея.

Слово приобретает снова боевой смысл.

Даль, однако, в эти годы в гнезде «товарищ» записал, как живое и современное, только одно более или менее идейное и политическое значение: «соучастник в чем-либо; клеврет, собрат». Плохое «клеврет» стоит в одном ряду с «собратом». А Бодуэн де Куртенэ ничего к этому не добавил и после 1905 года.

Все остальные значения у Даля терминологические.

Коммерческие применения разработаны особенно подробно и ярко.

— Торговый дом с товарищи, такой-то с товарищи, фирма, звание дома; товарищество — братство или артельщина двух или многих людей, союз на известное дело, общество, компания. Товарищество торговое, страховое, заводское и пр. Товарищество на доле, где всякий участвует, по мере внесенного пая.

Итак, «союз на известное дело» значит — коммерческое дело раньше всего. Примеры братства и артельщины: товарищество страховое и т. п.

А ермоловского и тем более огаревского и тургеневского значений среди живых нет.

Так и в Словаре ИАН 1847—1867 годов.

— Товарищ. 1) Находящийся в одном с кем-либо обществе, участвующий в делах или занятиях другого.

Товарищ по службе. Товарищ в учении. *Банкир или купец с товарищи,* зн. банкир или купец со вкладчиками или участниками в торгу. 2) Помощник, сотрудник. Товарищ министра. Товарищ герольдмейстера. (!)

В те же годы у «Толля» под «Товарищество» сказано:

— То же, что сообщество, ассоциация (см. это слово). А под словом «ассоциация»:

— Ассоциация (лат.) — товарищество, свободное соединение капитала или труда для достижения какой-либо цели. Экономическое значение ассоциации преимущественно исследовано социалистами и признано политической экономией, как самое верное орудие массы в борьбе с привилегиею богатства и знатности, для выхода из настоящего тяжелого положения. См. Гильдебрандт, «Историч. обозр. политико-эк. систем» (1848—1861); Ф. Тернер, «О рабочем классе и мерах к обеспечению его благосостояния»; Феоктистов, «О рабочих стачках в Лондоне» («Русский вестник», 1861); Рошера, «Начала народного хозяйства» (М., 1860).

Это — в «Настольном словаре для справок». Хорошо видно, что составители этого словаря прямо-таки придрались к случаю, чтобы высказать свои соображения о самом верном орудии массы «для выхода из настоящего тяжелого положения». Высказано это в качестве толкования иностранного слова «ассоциация», но ведь это «то же», что и товарищество. Очень характерный и, можно сказать, революционный перевод на русский язык иностранного политического термина. Здесь же, для справок, и новейшая литература по этому вопросу.

Еще одно общественное выступление «Толля» в его словаре, в «святое время» 60-х годов.

Затем слова этой группы получают все новые политические применения.

«Товарищ» и «товарищество» побывали у народников, общинников. Здесь «община» и должна была стать товариществом, которое решало все назревшие общественные вопросы на основе исконной русской формы особого братства... А их противники разъяснили, что община уже давно не товарищество, а фискальная организация, «компания».

— Купили его [имение] не всеми деревнями, а компанией, товариществом. Ваши депутаты, да прочие, у кого деньжонки есть, вот это и есть товарищи... (Г. Успенский, «Грехи тяжкие», VI)

Эти слова пытаются присвоить и либералы (газета «Товарищ» профессора Ходского и др.) и особенно кооператоры и экономисты, страховики и т. д.

Это и одно из слов верхушечного, светского жаргона.

— Да ты сам его знаешь. Он с твоим отцом товарищи. Il donne dans le spiritisme [он увлекается спиритизмом] (Л. Толстой, «Воскресение», 2—14)

Товарищи по спиритизму.

...Было подписано: «любящий тебя старший товарищ».

— Дурак! — не мог удержаться и не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него, т. е. несмотря на то, что... считал себя очень важным человеком и думал если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем. (Там же, 1—58)

А доктор Шелестов, герой чеховского рассказа «Интриги», предвидел, что при обсуждении «инцидента 2 октября» на собрании общества врачей на него непременно обрушатся «товарищи».

«Товарищи» здесь коллеги, и, конечно, «передовые» по своим взглядам, а потому называющие себя «товарищами». Они, конечно, будут «травить» его, Шелестова (негодяя и черносотенца), как это принято у «товарищей»... Шелестов и слово «товарищи» произносит особым образом, с нерусским «р».

Перед Революцией это уже слово боевое, страстно унижаемое противником и поэтому вдвойне дорогое революционерам.

У Горького:

— А вас как звать, товарищ?

Мать всегда смешило и трогало это слово, обращенное к ней... («Мать»)

В 1910 году Короленко приехал к Толстому в Ясную Поляну. Он рассказывает о своей жизни: то он в ссылке в Пермской губернии, то «послан дальше», в Якутскую область, то он в Америке... то в Лондоне, то с тросточкой в руках, пешком, с одним «товарищем». (Короленко все

говорит: «с товарищем», «мои товарищи», что отчасти рисует его мировоззрение...) (В. Булгаков, «Толстой...»)

«Товарищ» рисует мировоззрение.

После Октября весь мир разделился на товарищей — и других. Назвать товарищем — значит принять в новое общество.

Надо
обвязать
и жизнь мужчин и женщин
словом,
нас объединяющим:
«Товарищи».

(Маяковский, «Любовь»)

Товарищ жизнь...

(Маяковский, «Во весь голос»)

Ваше слово,
товарищ маузер...

(Маяковский, «Левый марш»)

Это слово объединяющее и противопоставляющее.

Оно ненавистно противнику, как никакое другое.

Б. князь С. М. Волконский, когда изучал новое развитие «бывшего русского языка», особое внимание уделял слову «товарищ». Он очень рано определил, что поскольку это слово стало универсальной формой обращения, оно «вылущено и выпотрошено».

Но превращения этого слова и опасности, которые ему в самом деле угрожают, были совсем не такими, какими рисовал их себе б. князь Волконский.

— *Атамановцы пороли кооператоров за то, что они в обращениях друг к другу писали «уважаемый товарищ».* (П. Дорохов, «Колчаковщина», 127—128)

— Нету теперь товарищей. Были, да сплыли. Мы не товарищи, а станичники. Езжай, да *этим словом больше не ругайся,* а то всыпют. (Л. Сейфуллина, «Путники»)

Так говорит белый казак эсеру Литовцеву. Литовцев чуть было по ошибке не заплатил головой за это слово, которое *ему самому ненавистно.*

В годы гражданской войны по этому слову, по тому, *как оно произносится,* распознавали людей того или другого лагеря; противник «за это слово» порол и расстреливал советских людей.

Иногда страдали «невинно» и кооператоры (см. выше), которые придавали этому слову совсем другое значение или пытались прикрыться этим же многозначным словом: понимай, как хочешь. Оно долго было пугающим и «страшным» для больших социальных групп:

— Товарищи казаки!..

Петро увидел, как *казаки, пораженные непривычным в их обиходе словом,* переглядываются, подмигивают друг другу обещающе и взволнованно. (Шолохов, «Тихий Дон», VI—12)

— Старики сидели в одном углу, а молодые в другом, ближе к окнам и к комитетскому председателю.

— Какое дело, товарищи? — спросил он.

И особенно четко сказал — «товарищи». Слово это было непривычное, но так уже вошло в обиход, что *старики говорили всегда «православные», а молодые в отличку от них «товарищи».* (Л. Гумилевский, «Старики», 1918)

Опознавательное и определяющее слово. Но самое значительное совершается тогда, когда человек самоопределяется при помощи этого слова, *сам объявляет себя товарищем* в новом сообществе.

В раннем стихотворении Блока:

Я зову тебя, смертный товарищ!

(«Молитвы», 3)

Товарищ — по общей для всех, роковой судьбе.

В «Балаганчике»:

Пьеро.

Ах, как светла — та, что ушла
(*Звенящий товарищ ее увел*).

В условном романтическом ряду «товарищ» с аллитерацией на «щ» — звенящий.

И вот в «Скифах» 1918 года:

Пока не поздно — старый меч в ножны.
Товарищи! Мы станем — братья...

Уже можно сказать «братья», очень высокое и столько раз обманывавшее, потому что обращено это слово к реальнейшему и уже победившему «товарищи»!

У М. Пришвина в «Кащеевой цепи»:

— *Слово «товарищ» было для него как перебегающая искра мировой катастрофы.* (6)

Обиходное — и мировое слово.

Народный сказ о «товарище» и «господине»:

— В самое утро Советское к Ленину приехали гости других держав. Они приняли на смех это слово «товарищ». «Это — детское слово. Надо: «Господин такой-то». Ленин созвал собрание. Велел принести весы. На одну чашку положили слово «товарищ», на другую — «господин». Дак «товарищ»-то о пол брякнуло. Тяжелее золота. (Б. Шергин, «У песенных рек»)

Лучистее взгляды, смелее улыбки,
и кажется: майским сиянием зыбким
вся жизнь озарилась до дна.
— Товарищ,
мы — сила, мы — воля одна.
Товарищ!
*То новое имя людей.*

(Дм. Семеновский, «Товарищ», 1917)

— И с теплым удивлением почувствовал, как для самого себя странно легко и значительно прозвенело до сих пор тяжкое и с трудом выговаривавшееся слово «товарищ». (Б. Лавренев, «Седьмой спутник»)

Так говорит герой Лавренева, старый генерал, когда он уже позволил и себе назваться товарищем.

Умирает, истерзанный белобандитами, партиец-продработник Стальмахов.

— С тоской смотрел он в глаза Климину и шептал серыми губами:

— Холодно... Вот и смерть, видно, пришла... Товарищ мой, товарищ... товарищ... — твердил он, и видно было, что дороже этого слова не было у него никакого другого. (Ю. Либединский, «Неделя»)

Командир отряда сказал Виталию:

— Товарищ Бонивур! (Когда Топорков обращался к кому-нибудь, называя товарищем, это значило, что раз-

говор предстоит официальный.) (Д. Нагишкин, «Сердце Бонивура»)

«Бумажка», очень деловая и тоже «официальная», 1919 года:

— В военно-революционный штаб
Шиткинского фронта.

При сем препровождаю оперативные сводки Главного штаба советских войск Северо-восточного фронта от 14 и 17 сего ноября, песню о бое под Усть-Кутом и песню героям, погибшим под Усть-Кутом.

Главнокомандующий Зверев.
Товарищ по поручению Вимба

(Сб. «Фронтовая поэзия», XI)

«При сем», оперативная сводка и песни — вместе. Сам Вимба, составивший эту бумажку, скорее всего тоже герой.

Он — «товарищ по поручению», универсальный, по-видимому, помощник главнокомандующего.

...Такие обозначения уже скоро уходят. Все уточняется — что именно делает, куда поставлен, «распределен» или даже на чем именно «сидит» этот товарищ. «Товарищ по поручению» — уже просто неграмотно...

«Товарищ» — общепринятая форма обращения; раз так, то слово, по всем правилам, должно оболтаться и измельчать (ср. у С. Волконского и у Дж. Уикли). Это и совершается в какой-то мере; но сама жизнь то и дело воскрешает его *полемичность* или напоминает о его полемичности.

У Зощенко:

— «Товарищи, — говорит, — молочные братья! Да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишки человеку и пожрать не позволяют». («Рабочий костюм»)

Очень серьезное обстоятельство, хоть и представленное в пародийной форме. Товарищи уже не разрешают товарищу приходить в общественное место в неприличном виде.

В романе В. Кина:

— Товарищ? Да, конечно, товарищ — большое слово, старое, как земля, *может быть, лучшее из всех, что выдуманы людьми.* Но вот он не мог прийти к Безайсу... («По ту сторону»)

Он остановил это уже очень привычное слово, форму обращения, разглядывает и выслушивает его.

Два очень различных, конечно, даже противоположных напоминания о том, что общепринятое слово имеет, собственно, и другое значение.

И главное напоминание: товарищи за рубежом; то, что означает это слово для них в своей национальной или русской форме, потому что слово «товарищ» знают уже во всем мире.

Вот что сообщала «Правда», когда в Москву приехали премьер-министр и министр иностранных дел Франции — социалисты:

— В заключение корреспондент [иностранный] задал министру иностранных дел [то есть г. Пино — социалисту] вопрос, который он сам назвал вопросом личного характера:

— На банкетах, где вы присутствовали, вас охотно называли «товарищ Пино». Не ставит ли это вас в неудобное положение?

На это Кристиан Пино сказал:

— Отнюдь нет. Это не стесняет меня, тем более что еще во время деятельности в ВКТ вне зависимости от того, были ли это коммунисты, или социалисты, или кто-либо другой, мы называли друг друга «товарищ», потому что мы все участвовали в рабочем движении. Мы можем соглашаться или не соглашаться друг с другом, но слово «товарищ» — это слово, являющееся символом сотрудничества и дружбы и не имеющее политического значения». («Правда», 23/V 1956 г.)

С этим последним замечанием никак нельзя согласиться, да и сам К. Пино указывает здесь же, что «мы называли друг друга «товарищ», потому что мы все участвовали в рабочем движении».

Но так или иначе слово это и сейчас вызывает споры, «надсмешки», ехидства. Сама жизнь не позволяет забыть, что это слово полемическое и поэтому никак не омертвело, не «вылущено» и не «выпотрошено».

Обычная форма обращения то и дело раскрывает свое первоначальное, огромное содержание.

## ДРУГ, ДРУГ ДРУГА, ДРУЖБА

Две строчки Батюшкова:

Наследственным добром свои насытя взоры,
Такие завели друг с другом разговоры...

(«Странствователь и домосед»)

Пушкин писал по поводу этих строчек:

— *они* тут необходимы. Друг с другом — наречие, а не имена существительные. («Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова»)

Имена существительные «друг», «друзья» здесь ни при чем. Герои Батюшкова никак не друзья.

Друг — от «другий», «другой», то есть второй человек рядом с тобой, ближний, которого надо любить, как самого себя, — это древнее, высокое и доброе слово уже пало!

— В друге стрела что в пне, а в себе что в сердце... (По сб. В. Аникина)

Еще одна древняя пословица:

— Вдруг не станешь друг.

«Вдруг», то есть сразу. Это наречие, речевой оборот, который почти утратил свою былую связь с «другом». Народная пословица восстанавливала эту связь только для того, чтобы подчеркнуть, что эти слова уже очень далеко разошлись.

А «другдружный» в Минеях (март, 20) означало прямо и точно — междоусобный, и это был единственный смысл слова «другдружный».

Честные люди, идеалисты пытаются восстановить и уточнить это слово, его первоначальный смысл. Одно из самых ярких таких уточнений, и притом уточнение политическое, в словах Стародума у Фонвизина.

— Стародум. Я друг честных людей. («Недоросль», 4—6)

Это и политическая, и литературная полемика: ответ и правителям дворянской монархии, и писателям сентиментальной школы, которые придавали этому же слову всеобщий и беспредметный смысл:

Все творение дружится
на земле и на водах.

(Карамзин, «Песнь мира»)

Дружатся баре-помещики с поселянами и т. д.

В комедии Грибоедова и Катенина — пародия на этот и другие такие же штампы сентиментально-элегического («куку») стиля:

Дружись, о друг, с мечтой,
Таинственный покой
Сопутствует нам с ней;
И грация — печаль,
И сумрачная даль.
И т. д.

(«Студент», речь Беневоленского)

В романсе того же времени:

В мире все изображает
Роскошь нежныя любви:
Дружка дружку догоняет...
Бабочки, в полях резвясь;
И цветки верхи склоняют,
Друг по другу семенясь.
И т. д.

Легко видеть, что и здесь наречие пытается стать именем существительным.

Грамматическое разъяснение Пушкина на полях «Странствователя и домоседа» Батюшкова имело, таким образом, очень широкий смысл!

Почти всегда полемичны применения слов этой группы у самого Пушкина.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный позор.
...Здесь барство дикое, без чувства, без закона...

(«Деревня», 1819)

«Друг человечества» — этим и такими же словами просветителей играл еще недавно и сам император Александр I. Император даже приказал «благодарить Пушкина за добрые чувства», выраженные в этом стихотворении.

Но только половина «Деревни», до тех слов, которые

приведены выше, была напечатана в 1826 году, уже при Николае. А «замечания» друга человечества распространялись только в списках, как и другие запрещенные пушкинские стихи.

Друг на́ друга словесники идут,
Друг друга режут и друг друга губят...

(«Домик в Коломне»)

Специально обозначенное ударение в служебных словах «друг на́ друга» — и друг друга режут, губят.

Это уже существительные.

— Эти люди никогда не скажут дружба — не прибавя: сие благородное чувство, коего благородный пламень... («О прозе»)

В настоящей прозе «дружба» не потерпит таких прибавлений.

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

(«Дружба»)

Это было написано в 1826 году, после разгрома декабристов. Крушение всего самого дорогого и всех самых важных слов.

Своими «друзьями 14 декабря» Николай Павлович называл декабристов. В послании «Друзьям» 1828 года Пушкин защищал свое право слагать царю свободную хвалу («Нет, я не льстец...»).

Николай был «совершенно доволен» этим стихотворением, но не пожелал, как сообщил Пушкину Бенкендорф, чтобы оно было напечатано. В последних трех четверостишиях этого послания Пушкин излагает, как известно, целую политическую программу ограничения самодержавия и утверждает от обратного «дух мятежный», как «голос нежный самой природы».

Заглавие этого послания звучало, конечно, очень полемически.

В дипломатическом языке «дружба» имела издавна свой технический смысл.

Петр писал в наставлении князю Черкасскому:

— Не мочно бы его [хана бухарского], хотя и не в подданство (ежели того нельзя сделать), но в дружбу привести таким же манером (то есть как хана хивинского), ибо и там також ханы бедствуют от подданных. (1716)

«Дружба», в которую приводят (тоже технический термин), если нельзя привести в подданство.

И другая дружба между народами, дружба народов (этого словосочетания нет в языке вплоть до Октября) — в послании Пушкина Мицкевичу:

Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.

У Полежаева:

Мирной чеченец, кабардинец,
Кумык, лезгин, кой-субилинец,
И персиянка, и еврей,
Забыв вражду своих обрядов,
Пестрели здесь, как у друзей,
Красою праздничных нарядов...

(«Чир-Юрт»)

Борьба честного, «стародумовского» смысла этого слова с другими, лицемерными, корыстными, «техническими» раскрывается необычайно ярко у писателей обоих лагерей.

Не найдется, что ль, у нас иного
друга Пугачева,
Чтобы крепкой грудью встал он смело
за святое дело.

(В. Курочкин, «Долго нас помещики душили...»)

Друг Пугачев и другой (время требует другого), новый Пугачев.

— Словом, друзьями в руссовском смысле мы едва ли когда-нибудь будем: но каждый из нас будет любить другого, радоваться его успехам. (Тургенев — Толстому)

Бесподобная развязка в многолетней драме дружбы-вражды Тургенева и Толстого!

— И мы, говоря по-светски, подружились... (Н. Ф. Павлов, «Именины»)

Жаргонное словечко: вспомним еще раз: «сделались приятелями (сказать языком большого света) искренними...»

— А дружба, ты знаешь, второе провидение...

Это слова мудрого Адуева-старшего в «Обыкновенной истории» Гончарова, уже в самом начале романа (1—2), это эпиграф. «Дружба» — «покровительства позор», «рука». Это подмигивающее слово.

— Дружество, попойки, картеж.

Это слова слуги Кречинского Федора о его барине и его образе жизни. Известно, какое и для чего «дружество».

— Силичь, ндруг. (Сухово-Кобылин, «Смерть Тарелкина»)

Слово даже соответственно оркеструется. По самому смыслу вещей оно должно произноситься несколько в нос, многозначительно.

У Горького в «Деле Артамоновых»:

— Степа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов — вези нас в вертеп неприступный! Все допускаю. (3)

Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников.

В нашу эпоху все слова этой группы переживают поразительные превращения, и старые конфликты значений получают новые основания.

— Нестрашный (*думает вслух*). Как же это произошло? Жили-жили, строили дома, города, фабрики, церкви и оказались чужие всем! И даже — друг другу. (Горький, «Достигаев и другие», 3)

Чужие — друг другу — слова столкнулись и открыли герою Горького самое главное. «Другдружное» опять значит междоусобное, как в Минеях и пр.

В новом обществе есть еще классы, но дружественные — впервые возникает это «немыслимое» сочетание слов.

«*Дружба*» — слово нежное. Речь идет именно о дружбе, но самого этого слова «железные люди» стесняются.

К. Симонов вспоминает через четверть века:

Да, недаром вы четверть века
И любили и знали этого
Неречистого человека,
Говорившего слово «нужно»,
Только — если уж до зарезу,
Говорившего слово «дружба»,
Только — если уж как железо...

(«Иван да Марья»)

Эти люди тоже «никогда не скажут дружба, не прибавя» что-нибудь... Прибавят уже, конечно, не «сие священное чувство», но непременно добавят какие-нибудь другие слова.

Очень саркастически у А. Безыменского в «Выстреле»:

— Друг! Революцию приять — не значит стать ее приятелем.

И в ответ, очень полемически, утверждение этого слова во всей его нежности у Есенина:

Был вечер задумчиво чудный,
Как дружья улыбка в лице.

(«Анна Снегина»)

Другое, позднейшее утверждение, но с уточнением, как бы оправданием и обоснованием:

— Между ними зарождалась та лучшая из дружб, та дружба-соратничество, которая на всю жизнь связывает людей, увлеченных одним и тем же делом... (Г. Николаева, «Жатва»)

У Андрея Платонова:

— И двое людей начинают жить, прижавшись в жалобе друг к другу, отчуждаясь от других. («Нужная родина»)

«Друг к другу» стали опять существительными. Но эта дружба, основанная на жалобе, непременно отчуждающая от всех других (а то какая же это дружба!).

Прямая противоположность той дружбе, о которой говорила Г. Николаева.

У Павленко Воропаев говорил:

— Верно, друг, чужих нет, все родственники. («Счастье»)

Он увлекся, конечно. Так-таки все родственники? Почти как у Карамзина: «все творение дружится на земле и на водах».

Слово применяется и вкривь и вкось. «Общество друзей кремации» (Ильф — Петров, «Золотой теленок») и т. д. и т. д.

Но в боях и при непременной помощи сатиры оно постепенно восстанавливает свою «важную» нежность. Уже мужчине не стыдно сказать так, как говорил Тимошин В. Овечкина:

— Тимошин. Только что ты сказал здесь чудесные слова: друг для друга. Все, что делают советские люди, — все друг для друга. («Настя Колоскова»)

Не стыдно — после всего, что произошло с этими словами. Они служебные, формальные (ср. по-украински: *один одного,* а не друг друга; по-украински *другий* раньше всего второй), — но и слова с *возвратившимся* смыслом и значением имен существительных.

— И повсюду гордо звучит на разных языках простое и всем понятное слово — Друг! — Дружа! — Драугас! — Драугс! («Правда», 7/VII 1953 г.)

Для этого есть очень реальное, предметное основание: эта ГЭС, построенная совместно («вдруг») тремя республиками в с. Дрисвяты, дает ток нескольким районам трех республик: БССР, Лит. ССР и Латв. ССР.

Но «оказалось» необыкновенно кстати, что и слова, обозначающие это понятие, созвучны, почти однозвучны на четырех, очень различных языках; оказалось, что и слова — дружны.

Возникает небывалое понятие *производственной дружбы.*

— С письмом к строителям и металлургам Рустави о производственной дружбе обратился начальник 5-го участка одной из шахт треста «Минбулуголь» т. Нашинашвили... (Газета «Культура и жизнь», 20/II 1949 г.)

Общепринятый деловой термин; производственная дружба в качестве одного из второстепенных членов предложения.

Эти красивые слова от слишком частого и часто несерьезного применения уже в значительной мере утратили свою силу. Но в основе этого применения лежит

очень реальное основание: дружба — соратничество, дружба встречников в самом деле двигает все производство.

Возникают новые, еще небывалые, но уже оправданные всем ходом вещей словосочетания: дружба народов и — особенно характерно — дружба языков.

«Чувство семьи единой» Павло Тычины посвящено дружбе народов, д р у ж б е я з ы к о в.

Мова! Чужá — звучить мені як рідна,
бо то не просто мова, звуки,
не словникові холодини —
в них чути труд, і піт, і муки,
чуття єдиної родини...

Важно отметить, что дружба возникает не только между языками социалистических наций; уже можно говорить о дружбе языков всех народов, потому что и в капиталистических странах хозяином языка остается народ. Речь «маленьких людей» во всех странах, несмотря на «железные занавесы» и пр., сближается на основе общего для всех стремления: восстановить первоначальное, честное значение всех хороших слов-понятий. Даже *заимствование* друг у друга, учение, учеба друг у друга (имена существительные) получают другой смысл.

Неру говорил недавно:

— Чтобы лучше знать друг друга... необходимо вести прямое общение, а т р е т и й я з ы к, как средство связи двух наших великих народов, вряд ли надолго приемлем. («Правда», 14/XII 1955 г.)

«Друг друга» надо понимать здесь в самом прямом смысле этих слов.

Л. Леонов начинает кампанию «В защиту Друга». Друг — зеленые насаждения.

Еще недавно эти слова казались бы слишком благодушными и нежными. Еще недавно Л. Леонов должен был утверждать право на нежные слова (ср. «Заметку о Есенине», которую мы уже не раз вспоминали в этой книге); требовалось почти отчаянное мужество для такого утверждения нежных слов. Что до лозунга «В защиту Друга», то противники Л. Леонова непременно сказали

бы, что это из «Задушевного слова» или из Лидии Чарской.

Теперь «В защиту Друга» звучит очень точно. Есть и здесь полемика, но очень деловая. Речь идет о целесообразности или нецелесообразности порубок леса в тех или иных условиях и т. д. Леонов, как известно, выступил «В защиту Друга» и в своем романе «Русский лес», и по этим важным вопросам возникла очень серьезная полемика.

Но самое применение слова в этом первоначальном смысле никого не удивило и не остановило.

Отметим еще, что по своему звучанию «друг», как и «дружба» слова довольно жесткие. Есть замечательный рассказ кн. Вяземского о том, как спрашивали заезжего итальянца, не знавшего по-русски, что могло бы и должно означать слово «друг». Он отвечал:

— что-нибудь жесткое, суровое, может быть, и бранное...

Но у нас эти слова прекрасно звучат, и кажется, что звуковая оболочка хорошо соответствует значению и назначению слова. Как всегда, смысл, значение делает музыку слова.

## МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

«Литературная газета» писала к 150-летию Пушкина:

— Вместе с Пушкиным в нашу литературу входили новые герои — «маленький человек» в лице станционного смотрителя... (1949)

Но Пушкин не знал и, вероятно, не принял бы этого выражения.

Не знал его и автор «Шинели», из которой вышла, по классической, очень испорченной впоследствии формуле, вся передовая русская литература. Не знал, хотя, может быть, и принял бы это выражение.

Но оно при Гоголе уже существовало и, самое замечательное, применялось именно по-гоголевски и под впечатлением гоголевских образов.

Белинский писал в статье о «Горе от ума»:

— Сделайся наш городничий генералом — и когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя не имеющим чести быть знакомым с ге-

нералом, не поклонится ему или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!.. Тогда из комедии могла бы выйти трагедия для маленького человека. (1—72, по венгер. изданию)

Сначала маленький человек без кавычек. Человек и к нему эпитет — маленький.

Затем Белинский разглядывает этот эпитет, и выясняется, что «маленький» — понятие очень сложное. Маленький человек может иметь большие претензии — большие, но невысокие: он сам хочет быть генералом.

И, наконец, появляется «маленький человек» в кавычках, как одно слово, как стилистическое сращение. Мы присутствуем при рождении или по крайней мере утверждении столь знаменитого впоследствии «маленького человека».

Слово уже существовало, но его не приняли ни Тургенев, ни Некрасов, ни Толстой, ни даже Достоевский...

Нет этих двух слов как стилистического сращения, как одного слова у Даля.

Нет у него и *меньшего брата,* важного и очень распространенного в литературе и публицистике его времени термина, который должен был обозначать тоже маленького человека; его великодушно «поднимает» старший — дворянин и купец. Даль не встретил в живом, главным образом разговорном, языке народа этого фальшивого слова. Не знает Даль и «червяка» в этом значении.

*Маленький человек* появляется снова у Глеба Успенского: «Из записок маленького человека». И без кавычек! Это не словечко, это всем известная социальная категория. Новое, но сразу очень понятное выражение.

Известно, что маленький человек здесь почти исключительно замордованный нуждой и всевозможными унижениями чиновник, маленький и в интеллектуальном отношении. Маленький человек — почти синоним жалкого и мелкого человечка, раба, червяка. Маленький — мелкий.

— Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. (Чехов, «Корреспондент»)

Это в своем роде бунт. Корреспондент осмелился сказать своим благодетелям купцам, что и у него есть душа, и притом не вредная и даже, может быть, не маленькая. Но этот «бунтарь», конечно, ничтожество, человек мо-

рально и политически неопрятный, и самый его бунт нечист. Он человек маленький, а не маленький человек.

У Горького эти слова получают новое движение:

Маленькие жалкие людишки
Ходят по земле моей отчизны,
Ходят и уныло ищут места,
Где бы можно спрятаться от жизни.

(«Дачники»)

Речь идет, как известно, не о несчастных мелких чиновниках и не о деклассированных, а о материально обеспеченных людях, имеющих «положение».

Горький отдает эти слова обывателю-интеллигенту. Он по-новому применяет их и одновременно как бы запрещает называть так «маленьких людей» из литературы прошлого. Он восстает, можно сказать, и против «Шинели», то есть против того, что связывала с гоголевской «Шинелью» либеральная публицистика и критика.

А Влас Дорошевич уже играет на многозначности этого слова:

— «Горе и радость маленького человека» (Посвящается гг. родителям). (ПСС,1—3)

«Маленький человек» — гимназистик Иванов Павел, о котором мало думают гг. родители. Он в самом деле маленький. Но очень интересно т а к его назвать, потому что слово уже тянет за собой огромный хвост ассоциаций.

Революция не для Акакиев Акакиевичей!

Очень характерная тирада против старого, провалившегося гуманизма этого рода и сочувствия «маленьким людям» — У Валерии Герасимовой:

— Наш прямой и сознательный враг использует ряд «общечеловеческих» заповедей в качестве очень удобного и острого оружия... Использует не без умного расчета на то, что именно этим путем поведет за собой слабонервное и забитое стадо всех этих «страдальцев» и «страдалиц»... И ведет, ведет за собой всех этих Акакиев Акакиевичей в измусоленных интеллигентским словоблудием «шинелях», всех этих девиц, что тщетно мечтают увидеть «небо в алмазах», и т. д. (Повесть «Жалость»)

Лихо сбрасывал идеологически выдержанный герой Валерии Герасимовой всех этих страдальцев и страдалиц, вместе с чеховскими девицами, на историческую свалку.

А Ленин, неумолимо точный в определениях, уже *поднимал* это новое выражение: «маленький человек»!

Ленин писал в 1920 г. в «Детской болезни «левизны» в коммунизме» по поводу статьи товарища В. Галлахера, тогда еще молодого члена «шотландского Рабочего Совета» в Глазго, в газете «Дредноут рабочих»:

— Автор письма полон благороднейшей пролетарской (понятной и близкой, однако, не только для пролетариев, но и для всех трудящихся, для всех «маленьких людей», если употребить немецкое выражение) ненависти к буржуазным «классовым политикам». (31—61)

«Маленькие люди», если употребить немецкое выражение...

В разоренной после Версаля Германии утвердилось это новое (и очень старое) выражение в особом смысле, и возникает новая литература о «маленьком человеке». Ленин поднимает это расплывчатое, нечетное с точки зрения марксиста слово.

Важно еще и еще раз напомнить, что дело идет не только о пролетариях, а о всех «обиженных» (как выражался Пугачев) маленьких людях, о благе подавляющего большинства человечества.

Одно из важнейших произведений в литературе о маленьком человеке — роман Ганса Фаллады так и называется: «Маленький человек, что же дальше?»

В романе Э. Ремарка «Три товарища» (1939):

— на бегах, у тотализатора суетились «маленькие люди» — ремесленники, рабочие, мелкие чиновники, было несколько проституток и сутенеров.

«Маленькие люди» в кавычках, проститутки и сутенеры выделены, — а то ведь и они не раз попадали в эту категорию.

Очень по-разному, но непрерывно говорит о «маленьких людях» вся прогрессивная западная литература.

Уже скоро это немецкое выражение получает во всех странах самые различные и *противоположные* политические применения.

«Маленький человек» становится важнейшим поня-

тием и в социальной демагогии фашизма (у Гитлера) и, после военного разгрома фашизма, — в повседневной социальной демагогии капитализма и реформизма.

Забота о «маленьком человеке», реже о «простом человеке» — потому что это уже сравнительно более точное выражение — лозунг и всех более или менее демократических политических деятелей капиталистических стран. «Маленький человек» непременно участвовал во всех программных выступлениях Ф. Д. Рузвельта (ср. его же очень удачное: *Забытый человек)*.

В «Правде» (27/II 1954 г.) мы читали:

— В предсмертном письме, которое лежало около тела президента Варгаса, говорилось, что оппозиция в Бразилии и международные силы мешали Варгасу в его стремлении помочь «маленькому человеку Бразилии» улучшить его жизнь.

У нас это «немецкое выражение», которое так просто и хорошо переводится и на русский язык и вовсе не кажется переводом, получило в последующие годы свое весьма интересное развитие.

Есть и у нас маленькие, просто маленькие люди, недостойные своего времени, «исторического отрезка времени».

Очень строго у Ильфа — Петрова:

— Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки «полпред». («Золотой теленок»)

Маленькие — и никаких оксюморонов!

Но вот горьковский оксюморон, который имел очень серьезные (иногда печальные) последствия в истории современного нашего литературного языка.

В 1927 году Горький писал:

— К этому маленькому, но великому человеку обращаюсь я с искренним приветом...

Была, конечно, особая радость для Горького заговорить с н о в а о совсем других уже маленьких людях.

Затем уже начали обыгрывать на все лады этот

оксюморон «маленькие великие». Хорошо слышен этот мотив в произведениях некоторых наших писателей.

Это не соответствует действительности. В живой речи наших дней очень много шутливых, лукавых или гордых самоуничижений. Но никто всерьез не относит себя к маленьким людям.

Не будет сказано обидных,
Неверных слов на этот раз,
История сказать не даст:
Нет для нее простых, невидных,
Нет маленьких людей у нас.

(А. Яшин, «Чудеса»)

Остается ленинское применение этого слова к маленьким людям капиталистического мира в первоначальном смысле этого немецкого выражения.

## ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ДОБРЫЙ МАЛЫЙ

«Добрые люди» были долгое время юридическим термином. Так назывались заслуживающие доверия люди, которые одни только и могли быть полномочными свидетелями. «Добрые люди» означало непременно богатые, «житые» и пр., потому что только такие люди способны отвечать за свои слова, не безответственны. По позднейшей терминологии это цензовики.

Но хорошо слышно в этом термине и первоначальное его значение. Очень многие поговорки и присловия открывают это разительное несоответствие.

— От добрых людей мир погибает...

— Добёр топор до бревна: как поцелует— бревну смерть...

Но это еще только горькое и саркастическое размышление о всеобщей порче нравов и людей. У Я. Княжнина применительно к новым обстоятельствам эта мысль получает другое и замечательное движение:

— Добрый человек — смирный, не делающий другому зла; и так такая доброта есть и в собаке, которая не кусается. («Опыт толкового словаря»)

Чаще всего добрыми людьми назывались злодеи. Но пусть даже не делающий другому зла! И такие смирные ничего не стоят с точки зрения истинных борцов за

добро, за общее благо. Княжнин идет, так сказать, по линии наибольшего сопротивления.

У Фонвизина эта атака против смирных, добрых людей, хотя бы и не делающих зла, еще сильнее и политически точнее. И государь не должен быть только смирным!

В «Рассуждении о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей»:

— Узаконение быть добрыми не подходит ни под какую главу Устава о благочинии. Тщетно было бы вырезывать его на досках... Государь повинен отвечать ему [государству] не только за дурное, которое соделал, но и за добро, коего не сделал. (Так называемое «Завещание Панина», написанное Фонвизиным по «мыслям» Панина в качестве наставления для будущего императора Павла)

Писалось это в 1782 году, еще до Французской революции, но под влиянием французских просветителей.

Но не только в публицистике, в прямой политической речи, но и в речи героев комедий и басен Фонвизина «добрый человек» звучит очень лукаво, со всякими «применениями».

— Простакова. Нас ничему не учили. Бывало, добрые люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу... («Недоросль», 3—5)

Чей ум постигнуть мог
число его доброт,
пучину благости, величия, щедрот?

(«Лисица-кознодей»)

«Добрый человек», он же и кознодей в маске какого-нибудь животного, — непременный герой сатирической басни.

У очень умного, как писал о нем Пушкин, И. И. Дмитриева:

— А ты один... умел сберечь большое стадо!
— Царь! — отвечал пастух. — Тут хитростей не надо:
я выбрал добрых псов.

(Басня «Царь и два пастуха»)

Утверждается важное понятие «доброго пса», то есть мудро выбранного царем государственного деятеля, доброго, но твердого и решительного и с большими полномочиями. Только такой пес и с такими полномочиями может сберечь большое стадо, все общество, народ.

И когда тот же Дмитриев был назначен министром юстиции, какой-то «забавник» пустил по городу стишки, в которых было сказано:

— Так будь же добр и ты, когда попал в собаки. (У П. Вяземского в «Старой записной книжке»)

У Пушкина отметим одно по крайней мере необычайно важное в этой связи применение слова «добро».

...Думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Одни условные слова.

(«Евгений Онегин», черновики к гл. 2)

Только передовая молодежь пыталась придать им (или возвратить) прямой смысл. За это и прозвали таких молодых людей «педантами». Другие «добрые малые» — не педанты.

Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом...
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?..

(«Евгений Онегин», 8—8)

Просто добрый малый, как целый свет. Но Пушкин же пишет Бестужеву о Чацком:

— Пылкий, благородный и добрый малой. (ПСС, XIII—138)

Хорошее слово.

— Князь. Я, *как говорят военные, в полном смысле* добрый малый. (Лермонтов, «Два брата»)

Но у Лермонтова же — и не кто иной, как Печорин, — признает, что это жаргонное слово незаконно в таких случаях и в первую очередь не годится для него самого:

— Есть минуты, когда я понимаю вампира... А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия. («Княжна Мэри»)

Вокруг «добрых малых» разыгрываются очень серьезные политические поединки.

«Добрый малый» — повеса, пустой человек. Но в комедии Загоскина, которая так и называется «Добрый малый» (1819), это слово передается одному из тех «модных умников» с несоразмерными претензиями, которые считают себя почему-то вправе обсуждать и осуждать общество. По Загоскину и Чацкий — добрый малый: как у Пушкина, но в плохом смысле этого слова.

То — Загоскин, реакционер. Но в кружке Белинского «добрый малый» тоже самое ненавистное понятие... Это в общественном смысле — ничтожество и, притом, самое вредное ничтожество. Чацкий — никак не добрый малый.

В позднейшей публицистике это — приблизительно — желтоперчаточник или белоподкладочник и т. д.

У Кольцова уже прямая атака на «добрых людей»:

— Люди добрые — не соседи мне, — говорит «Удалец».

По всему смыслу этого стихотворения, пора пойти всей громадой против «людей добрых», и пойти скорее всего с топорами крестьянской революции... Необычайно точно сказалась в этих строках многовековая крестьянская ненависть к «добрым людям», — не говоря уже о прямых злодеях.

У Даля в его «Картинах русского быта»:

— Он был добрый малый и хороший товарищ, как называют *иногда* людей этих, *пока они еще молоды.*

У Григоровича:

— Ему охотно прощали его эксцентрические выходки... в сущности, он вполне заслуживал название доброго малого, всегда был готов услужить, принять участие в попойке, поставить карту... («Мой дядя Бандурин»)

Еще жив первоначальный смысл, но сколько потребовалось даже Григоровичу оговорок, ограничений!

У Л. Толстого в «Крейцеровой сонате»:

— Товарищ брата, студент, весельчак, так называемый *добрый малый, т. е. самый большой негодяй...* (4)

Уточнено до конца ненавистное слово, которое перестало даже быть двусмысленным. Оно только плохое.

Передовая литература беспощадно распинает «людей добрых» и «добрых людей». Это главная страсть рево-

люционных демократов, потому что добро невозможно без оскорбления зла.

Но в начале этой формулы Чернышевского стоит «добро». И в истории общественной борьбы вокруг этих слов-понятий не менее интересны, чем всевозможные, подчас грандиозные издевательства над этими обесчещенными понятиями, примеры упрямого утверждения этих уже плохих слов в их первоначальном и самом естественном значении.

Щедрин, который сам называл себя «бытописателем волшебных превращений слова», как будто «кончает» слово «добро», как и все другие хорошие слова:

— Были слова (добро, истина, красота, любовь), которые производили чарующее действие, которые он готов был повторять бесчисленное множество раз и слушая которые он бывал бесконечно счастлив. Если бы от него потребовали наполнить эти слова содержанием, он удивился бы — до того они представлялись ему несомненными и обязательными, до того прельщал самый звук их. («Имя-рек»)

Оказывается все же, что, независимо от этого героя, то, что эти слова могут и должны означать «по самому звуку», что более всего *естественно* для них означать, остается навсегда драгоценным и ждет воплощения.

У Даля:

— Добрый человек — *хвала двусмысленная: не видно, есть ли воля и ум.*

Примеры чрезвычайно энергично развивают эту же мысль:

— От добрых людей мир погибает, от потворщиков. И надолба добрый человек.

И только одно утешение:

— На свете не без добрых людей.

Это одно из самых поразительных выступлений Даля в его словаре. Раньше всего — воля и ум. Губят мир потворщики.

В Словаре ИАН 1847—1867 годов синонимы «доброго»:

— благонамеренный, честный, благородный; рачительный, попечительный, исправный в должности... Пример:

— На него можно положиться — он человек добрый.

У «Толля» нет «добрых людей»: для справок по всем

отраслям знания они, конечно, бесполезны. Есть, однако, один термин, связанный с этим понятием и весьма характерный:

— Добрый христианин — особый род груш, кислых и крепких, полосатых, оне идут и в торговлю и в прок...

Вот все, что можно сказать о добрых христианах, если говорить по-деловому.

М. Михельсон пишет:

— Добрый малый (— добра мало) иноск. — недостаточно быть только добрым (общая неопределенная похвала за неимением другой). У соседа добрейшая корова, только молока она не дает. Добры люди — говорится при обращении за советом, с просьбой о помощи.

Особого рода «юмор» Михельсона и его, по-видимому, каламбурная «этимология»: добра мало.

Слово безнадежно пало: оно в лучшем случае «жалкое».

Князь Мышкин у Достоевского после всего ставит в пример людям работягу осла.

— А я все-таки стою за осла: осел добрый и полезный человек. («Идиот»)

Есть особого рода *гуманизм* в том, что работяга осел или лошадь и верная собака называются человеком. Это применение встречается, и не раз, и в советской литературе.

Но важнее всего это «все-таки»: стремление возродить, утвердить снова это совершенно испорченное слово — добрые люди.

В эти же годы Чехов пишет цинику Суворину:

— Во всех делах я был старшиной [присяжных заседателей]. Вот мое заключение... 2) Добрые люди в нашей среде имеют громадный авторитет, независимо от того, дворяне они или мужики, образованные или необразованные. (1894)

Совершенно очевидная здесь горячая полемичность Чехова. Все-таки, все-таки! Что бы ни говорил А. Суворин и все другие. А речь идет о «добрых людях» почти в юридическом смысле: достойные доверия, допущенные к разбору дел. И все-таки!

Революция застает это слово уже разоблаченным, так что разоблачать его уже не стоит. Ленин спорил,

главным образом, не с «добрыми людьми», а с *так называемыми порядочными людьми* русской либеральной интеллигенции или даже «революционной демократии».

Но Революция принимает и другую эстафету: стремление *все-таки* по-новому утвердить это слово.

Неустанно утверждает доброту людей и даже добрых людей Горький в рассказах о прошлом и особенно о настоящем. Он прикончил, можно сказать, таких порядочных людей из либеральной интеллигенции, как, например, «добряк» Басов в «Дачниках». Но он же очень полемически утверждает эти слова в другом применении.

— Я все-таки спросил его [Смурого]:

— Зачем вы пугаете всех, ведь вы — добрый?

Против ожидания он не рассердился.

— Это я только к тебе добрый.

Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво:

— А, пожалуй, я ко всем добрый. Только не показываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте... и затопчут. Иди, принеси пива. («В людях», V)

— Мне хочется быть добрым, нужным для людей.

— Иди-ко на «Добрый», там посудника надо. («В людях»)

«Добрый» — название парохода, одно из ласковых и благолепных названий, которые совершенно необходимы в таких случаях, по *коммерческим* причинам и обычаям.

Но главный вывод из всего и после всего:

— Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и широк пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно произрастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой. («Детство»)

Опять «все-таки» — основа горьковского гуманизма.

— Из пухлых уст цветущего «добряка» [Басова в «Дачниках»], этого благожелательного эволюциониста, так и льются гнусные сплетни, инсинуации. (А. Луначарский, «Отклики жизни»)

Все-таки не в нем дело; произрастает яркое, здоровое и творческое!

Вся дальнейшая борьба за подлинный гуманизм связана с утверждением все-таки добра, доброты, добрых

людей и даже «людей добрых», хотя это последнее выражение было еще недавно совсем ненавистным.

Впрочем, и все слова этой группы были еще недавно в лучшем случае «жалкими словами», которые не могли импонировать ни одному серьезному человеку, а не то что общественному деятелю.

Летом ставится ставка
на всевышнего господа бога,
а зимою — надежда на «добрых людей».

(Исаковский, «Поэма ухода»)

«Добрые люди» — в древних, крестьянских кавычках.

— [Лютый приказчик] сбежал. Так его с той поры на наших заводах и не видали. Крепко, видно, запрятался, а может, попал в руки добрым людям — свернули башку. (П. Бажов, «Малахитовая шкатулка»)

Добрые люди без кавычек свернули башку заедателю-кровососу из «добрых людей». Потому-то они и добрые.

Но вот у Фадеева:

— Я разделяю такие слабости, как доброта, чувствительность. Люди очень ценят эти качества... Люди не догадываются, что два десятка злодеев не в состоянии причинить столько зла, как один добрый человек. («Последний из удэге», 11—146)

Слабости! И поэтому сразу же напоминание о том, как много зла может причинить один добрый человек (и без кавычек, в самом деле добрый человек).

— Путь добра — бесконечно более кровавый и жестокий, чем путь зла, — в этом теперь пришлось убедиться всем. (А. Толстой, «Милосердия!», 1918)

А после такого беспощадного выяснения отношений с этими словами уже можно утверждать их во всей их силе. И Фадеев, собственно, только то и делал, что восстанавливал самые опасные для трезвого политика слова, даже такие, как жалость, милосердие и, конечно, добро. Это была его главная «слабость» и — доблесть.

Осторожно, но педантически восстанавливается в нашу эпоху это слово — «добрые люди».

Устояли в труднейших испытаниях и «люди доброй воли».

Когда это выражение из литературы перешло в политику, стало политическим термином, оно, естественно, было встречено с величайшим недоверием простыми людьми, подлинными людьми доброй воли. Оно и должно было стать еще одним словом-мошенником — по замыслу тех, кто его пустил в политический обиход.

Но люди доброй воли *пожелали,* как это все чаще теперь бывает, *придать хорошим словам хороший смысл.*

— Объявление военным преступником того правительства, которое первое применит атомное оружие, является настолько широкой платформой, что она способна объединить многие сотни миллионов людей доброй воли...

И слова эти стали серьезными и важными, хотя вовсе не так было задумано теми, кто когда-то пустил их в оборот.

## ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В значении, близком к современному, это слово утверждается впервые в 40-х годах XIX века.

Киреевский в «Обозрении Русской словесности 1829 г.» в альманахе «Денница» признал «Пушкина, поэта действительности, за представителя третьей эпохи литературы XIX столетия». Пушкин в заметке «Денница» приводит эти слова Киреевского о себе как будто сочувственно. Но слова «действительность» нет в произведениях самого Пушкина. А у Киреевского «действительность» звучит еще как отглагольное существительное.

Другие слова выражали так или иначе это понятие.

Мой друг, *существенность* бедна:
Играй в душе твоей мечтами.

(Карамзин, «К бедному поэту»)

Ср. знаменитое:

Ах! Не всё нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных,
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов...

(Карамзин, «Илья Муромец»)

— Воображение его восторжествовало над существенностью. (Пушкин, «Арап Петра Великого»)

— В том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных виденьях первосонья. («Капитанская дочка»)

У Лермонтова:

— Тщетные усилия представить себе в лучшем виде печальную существенность... («Княгиня Лиговская»)

— Не идеальное, а существенное. (С. Бегичев, «Семейство Холмских», I; 1832)

И т. д.

Н. И. Надеждин в своей полемике против романтизма, в стремлении придать большую историчность и философичность литературной критике выдвигает и утверждает *«вещественность»*.

— У Шеллинга смысл «задыхался» в невещественной пустоте обонпол вещественности. («Молва», 1832)

Это должно было звучать более «определительно», более трезво, более по-русски и «разночинно», чем «существенность». Есть несомненная полемичность и в том, что рядом с вещественностью поставлено народное областное «обонпол» (по обе стороны).

Вещественность уже ближе к «действительности» Белинского, для которого Надеждин был в известной мере «образователем» (по определению Чернышевского).

А «действительность» была еще только производным от прилагательного «действительный» и означала качество и состояние.

— Мимо характеров скучных, противных, поражающих своей действительностью. (Гоголь, «Мертвые души», 7)

— Тут [у Лермонтова] видно больше углубленья в действительность жизни... (Гоголь, 8—402)

— Одни вовсе не признают действительности такой личности, как Волохов. (Гончаров, предисловие к «Обрыву»)

И т. д.

Натуральная школа утверждает в литературе действительную (реальную) жизнь, действительные характеры. Но слово это — «действительность» — в нашем смысле еще не существует.

«Действительность» возникает как новое и революционное понятие в 40-х годах и становится очень скоро

обобщением, философским понятием и общественно-политическим лозунгом.

— О, как отвратительна действительность! Что она против мечты! (Гоголь, «Невский проспект»)

— Действительность — вот лозунг и последнее слово современного мира. (Белинский, «Речь о критике»)

— Поэзия проста, она не чуждается обыкновенных предметов действительности. (Белинский, «Сочинения Александра Пушкина»)

— У всякого младенчествующего народа... жизнь всегда враждует с действительностью. (Белинский, «Арабески Гоголя»)

И наконец:

— Слово «действительность» сделалось для меня равнозначительно слову «бог». (Белинский, «Письма»)

— «Действительность» в противоположность «призрачности». (Белинский, статья о «Горе от ума»)

Демонстративная активность и всеобщность нового понятия «действительность» вызывают необычайно острую идейную борьбу вокруг этого слова. По своему драматизму история этого слова может сравниться разве только с историей самого слова «борьба».

Бесчисленные снижения этого слова; коварные сближения его с другими словами, которые будто бы означают то же самое (например, пошлость, обыденность); заключение его в кавычки — все направлено к тому, чтобы убить его активность, расшатать его окончательность («последнее слово современного мира»), превратить его в очередное словечко очередных «новых людей», еще один «изм» («-ость» в нашем языке играет почти ту же роль).

Отметим только некоторые, особо выразительные его применения — в том и другом общественном лагере.

Станкевич в письме Белинскому из-за границы советовал ему смотреть в синее небо — образ бесконечного, — чтобы не впасть в «*кухонную действительность*».

А. Григорьев писал:

— То был особый мир, особая жизнь. Непохожая на эту действительность, жизнь мечты и воображения, странная жизнь, *по своему могущественному влиянию столь же действительная, как сама так называемая действительность.* («Мои нравств. и лит-ные скитальчества»)

Григорьев пытается подорвать самый важный признак нового понятия: его активность. Мечта у него тоже действительность — не отражение объективной действительности, активно преображенной сознанием, а вторая и равноценная, даже более ценная (для искусства во всяком случае) действительность.

На этих позициях стоит и сегодня вся идеалистическая философия, наука и литература на Западе.

И у Щедрина две действительности, но это различение прямо противоположного смысла.

— Это... не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той *другой действительности,* которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень-очень пристальному наблюдению... Повторяю: *карикатуры нет... кроме той, которую представляет сама действительность.* («Помпадуры и помпадурши»)

Действительность — то, что кажется действительностью, — есть только карикатура подлинной, решающей действительности, которая «любит» прятаться за обыденным фактом. Это щедринское различение, конечно, только еще более утверждает «хорошее слово» «действительность».

А борьба Щедрина с «обыденными» и глупыми фактами, которые только скрывают подлинную действительность, сохраняет свое огромное значение и в последующее время и в наши дни.

Толкование Даля:

— Действительность — состояние действительного во всех значениях, все то, что есть, существует, состоит на деле, не вымышлено.

В Словаре ИАН 1847—1867 годов первое значение такое же, как у Даля: «состояние действительного»; второе: «точность, подлинность», и единственный фразеологический пример: «в действительности этого происшествия нельзя сомневаться».

«Действительность» для этого словаря еще только отглагольное существительное.

В те же годы определение «Толля»:

— В противоположность идеалу, действительностью называется совокупность несовершенных отношений, в которых находится человек.

«Война словарей» в самой яркой форме!

Даль прямо выступает в этом случае не только против всего передового лагеря и против Щедрина в особенности, но и против Аполлона Григорьева.

А. Григорьев выдвигал понятие «ярыжной действительности», которая как-никак очень далека от действительности официальной и казенной. Он отказывался признать ее разумной только потому, что она действительность, и говорил о действительности мечты другой, странной, но столь же реальной жизни.

Даль не хочет знать нового развития этого слова-понятия и борьбы значений в этом слове. Он дает только бедную дефиницию и утверждает, стало быть, что народ в своей живой речи только так, без дальних хитростей, понимает это слово. А славный «Толль» в двух с половиной строках сумел сказать очень многое о боевом значении этого слова.

Особенно замечательно «несовершенство отношений». «Толль» ставил цензуру в трудное положение: даже церковь признает, что человеческие отношения далеки от совершенства в христианском смысле этих слов.

Этот горячий диалог продолжается затем в самых различных и бурных формах. Естественно, что в том или ином осмыслении этого слова, исполнении этого слова, даже в обращении с этим словом ярче всего раскрываются думы и характеры героев.

— С детским недоумением глядел я в этот новый, не фантастический, действительный мир. Под *словом «действительность»* многие понимают слово «пошлость». Может быть, оно и так. Но я должен сознаться, что первое *появление действительности* передо мной потрясло меня глубоко, испугало, поразило меня. (Тургенев, «Андрей Колосов»)

Действительность в кавычках и без них. Это в рассказе от первого лица, «небольшого человечка», того самого, который считал, что спорить о чем-либо бесполезно, потому что уже давно известны всем мнения каждого, а переубедить кого-либо невозможно... Этот герой уже знает «действительность» как особый термин, который вызвал острую борьбу; знает, что это слово уже сумели опошлить. Но есть и другая, печальная и реальная действительность. Он сопоставляет эту действительность со сном, который «некоторым образом возобнов-

ляет душу, приводит ее к первобытной простоте и естественности».

Так говорит «небольшой человечек».

У Л. Толстого:

— Это была действительность, это было *больше, чем действительность:* это было *действительность и воспоминание.* («Альберт»)

Не сон, а воспоминание. Все это уже было когда-то...

— Мать... когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, *спасалась от действительности* в мире безумия. (Л. Толстой, «ВиМ», 4—4—2)

Это развитие понятия «действительность» будет вызывать страстные споры. А «спасалась от действительности» — эта толстовская формула 1868 года будет звучать впоследствии очень современно — в другом значении (эскейпизм и пр.).

Термин, который только недавно и с боями вошел в язык, уже применяется как обычное и даже слишком знакомое слово и уже пересматривается.

Хорошо знает этот термин и Степан Верховенский у Достоевского в «Бесах». В эпилоге, когда Верховенский в своем последнем странствовании сел в телегу, он говорит:

— Эта «действительная жизнь» имеет в себе нечто характерное...

Эта «действительная жизнь» уже образована, по всем признакам, от н о в о й «д е й с т в и т е л ь н о с т и». Ерническая перелицовка большого, важного для столь многих слова.

Достоевский с особой охотой возвращает это философское понятие к корню самого слова, делает его опять отглагольным существительным, чтобы тут же столкнуть его с уже «затвердевшим» существительным «действительность».

— Действительность ощущения все-таки несколько смущала его. Что же в самом деле делать с действительностью? («Идиот», 2—5)

Сознательные, нагнетающие и поистине угнетающие тавтологии. Они утверждают первоначальное значение этого слова, от которого никак и никуда нельзя уйти. С действительностью непременно надо что-то делать, но что же, в самом деле, с ней делать?

Сухово-Кобылин:

— Мне хотелось, даже в смысле аффирмации, удержать за моими пьесами столько и Действительности, и Диалектике любезное число *Три.* (К читателю, перед «Смертью Тарелкина»)

Действительность, как и Диалектика, с большой буквы. А это «Три» курсивом — самая печальная триада: возвращение к началу, то есть, по Сухово-Кобылину, полная безысходность.

Здесь же «аффирмация», то есть утверждение, но и самоутверждение.

В «Заветных мыслях» Менделеева разоблачаются предвзятые суждения не только идеализма, но и материализма — идеалистического материализма того времени. Выступление Менделеева в защиту реализма имеет огромное значение и для истории я з ы к а и с л о в а.

— Реализм стремится выразить собой действительность с возможною для людей объективностью, то есть по здравому смыслу, без окраски предвзятыми суждениями... и вот такой-то реализм лежит в основе всего естествознания, а от него и во всей совокупности *развития современных мыслей.* (Гл. 1. Вступление; 1903)

Это уже и ответ всей *современной* буржуазной семантической философии.

Реализм отражает действительность с возможной для людей объективностью и лежит в основе всего развития современных мыслей, а стало быть и языка. Словоупотребление так или иначе соответствует действительности. Но раз так, то бесцельно и просто смешно пытаться отменить те или иные опасные понятия, как это предлагают сделать, для блага человечества, сегодняшние философы-семантики. И невозможно насильственно придавать словам-понятиям те или иные угодные и удобные кому-то значения: слова все равно будут отражать более или менее точно (всегда «не совсем точно», как указывал Маркс) не что иное, а действительность.

Спор принимает все новые формы, но в основе своей это все тот же спор о том, что есть настоящая действительность. Уже требуется укрепление и утверждение этого слова.

— Окружающая действительность. (Г. Успенский, «Промчался»)

Сказано без полемики и без столь обычных для Глеба Успенского кавычек. Известно, какая это действитель-

ность; известно, что она только карикатура на подлинную действительность. Но она о к р у ж а е т, и от нее никуда не уйдешь. С ней надо что-то делать!

Другое дело— в речи «тайного советника» у Чехова:

— Ей-богу, это мило, — пробормотал он, разглядывая нас, как манекенов. — Это, именно, и есть жизнь. Такою, в сущности, и должна быть действительность. («Тайный советник»)

Это сказано уже в высшей степени полемически и саркастически. «Тайный советник» смотрит в корень вещей («в сущности») и находит, совершенно как Верховенский у Достоевского, в действительности «нечто характерное».

Очень интересно в этой связи письмо И. Горбунова-Посадова, руководителя издательства «Посредник», Чехову в тот же период:

— Назвать сборник [рассказов Чехова] нам хотелось бы «Действительность»... (1893)

Но Чехов не принял этого предложения. Он считал, по-видимому, такое название нескромным.

Символисты, туда же, много говорили о действительности, но такой, которая реальнее всех реальностей (de realibus ad realiora).

Они считали себя реалистами в высшем смысле этого слова.

Замечательное место в «Мелком бесе» Ф. Сологуба:

— Мало-по-малу вся действительность заволакивалась перед ним дымкой противных и злых иллюзий.

Сама действительность противна и зла, но иллюзии Передонова *еще более* противны и злы. И это — восхождение от реальностей к более реальному, но какое безысходное! Бессилие иллюзий, которые идут от такой действительности. Значение этого реалистического романа символиста Ф. Сологуба, отмеченное и всей марксистской критикой (Воровский и др.), в том и заключалось, что Сологуб лишал передоновых права на какие-либо иллюзии и мечты.

Замечательно, что есть здесь слово «дымка», нежное и поэтическое. И оно тут же, рядом, растоптано.

Очень важный эпизод во всем этом вековом споре — декларация Леонида Андреева в письме Вл. И. Немировичу-Данченко:

— Я ненавистник голого символа и голой бесстыжей действительности.

Это, конечно, целая программа, и очень непростая. Андреев не отрекается от символизма, но он ненавистник голого символа. В лучших своих, реалистических вещах он в самом деле поднимался до настоящих обобщений, символов, по его терминологии. Но действительность — бесстыжая... Это было исторически верно, если говорить об официальной действительности. А другой действительности Л. Андреев не знал и не хотел знать. Только *отражать* эту бесстыжую действительность без идеала другой действительности в душе в самом деле было бы бесплодным занятием, неинтересно.

Ленинская теория отражения устанавливает вторичность сознания как отражения объективной действительности и с особой силой подчеркивает активность сознания при этом отражении.

— Искусство не требует признания его произведений за действительность, — выписывает Ленин из «Лекций о сущности религии» Фейербаха.

Это — одно из важнейших положений марксистско-ленинской эстетики. Произведение искусства — активно преображенное сознанием отражение действительности, а не сама действительность.

Так и теория, как бы верно она ни отражала закономерности действительности, сама по себе сера. Несколько раз вспоминает Ленин слова Мефистофеля из «Фауста» Гёте:

— Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни. («Письма о тактике», 1917, 24—26)

Нельзя не отметить здесь попутно, что есть в самой этой строчке у Гёте еще одно столкновение слов: не только сера и — зелено, зелено *золотое* дерево жизни.

Ленин применил эти слова в «Письмах о тактике»:

— Игнорировать, забывать этот факт значило бы уподобляться тем «старым большевикам», которые не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно *заученную* формулу, вместо *изучения* своеобразия новой, живой действительности... Жизнь ввела ее из царства формул в царство действи-

тельности, облекла ее плотью и кровью, конкретизировала и *тем самым* видоизменила... Марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты *действительности,* а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня... (24—25, 26)

Не раз это кардинальное положение Ленина страшно мешало вульгаризаторам и серым теоретикам.

У «левых» новаторов искусства, в вульгарной социологии, в литературных спорах активность сознания при отражении объективной действительности очень часто «опускалась», затушевывалась или прямо отрицалась.

Ср. лозунг «новаторов» театра:

— Непреображенная действительность на театре.

А все дело в преображении.

Слово с открытым русским корнем, оно редко употреблялось в народной речи, обламывалось по-всякому, как очень трудное, воспринималось почти как иностранное.

Сейчас оно уже в качестве философского понятия и одновременно чрезвычайно активного обиходного слова все шире входит в народное употребление.

И снова вспыхивают настоящие поединки из-за «действительности».

Вячеслав Иванов писал в тех же «Зимних сонетах» 1920 года, о которых уже упоминалось:

Обманчива явлений череда.
Где морок? Где существенность? О, боже!

Это не действительность, убеждал себя Вяч. Иванов, а морок. И очень понадобилась ему карамзинская «существенность». Вот оно, точное и мудрое слово!

В нашей литературе происходит все новое, очень индивидуальное в каждом случае, *узнавание* этого уже старого и боевого слова со всеми его ассоциациями.

Горький, как всегда, пристально рассматривает и это слово, и, сталкивая действительность с вымыслами, он уже «вымыслы» заключает в кавычки (ср. у Даля: действительность — «то, что не вымышлено»).

— Люди уже научились претворять свои фантазии-вымыслы в действительность, и было бы преступно стремиться погасить в детях это свойство человека — творческое свойство. («Еще о грамотности»)

Горький очень настойчиво вводит понятие *интерес к действительности* — и равнодушие к действительности, а раньше всего — *понимание действительности.*

— Молодежь плохо понимает действительность, как будто она, стремясь «выскочить в люди», уже совершенно выскочила из действительности... Интерес к действительности у начинающих явно понижен. («О начинающих писателях»)

Но особенно характерно вмешательство Горького по поводу слов *«ближе к действительности».*

Этот лозунг от частого и часто неумного применения уже терял силу и значение, становился только каким-то знакомым «звучанием».

— У нас *все кричат: ближе к действительности,* ближе!.. А ведь Съезд Советов — это есть одно из очень ярких отражений новой действительности, комсомол же — действительность, и очень хорошая! Вредительство — тоже действительность, чрезвычайно поучительная ее гнусностью. — Товарищи! Держи ухо остро! Гляди в оба! — учит она. И надобно знать, что настоящее имя нашей действительности — революция, и что она, все быстрее развиваясь, легко обгоняет задумчивых людей, оставляет их позади себя. («Ударники в литературе»)

Горький дал новое движение этому лозунгу. Горький создал замечательную формулу, афоризм «действительность будущего», которая уже давно вошла в язык, перестала быть цитатой. Все творчество Горького и до того, как совершилась Революция, было пронизано и вдохновлялось верой в эту действительность будущего. Сейчас эти слова получили очень точный и наглядный для всех смысл.

У Шолохова, очень романтического реалиста, действительность все время борется со сказкой и сновидениями.

— Григорий с такой слепящей яркостью, как никогда в действительности, видел пушистые кольца ее волос (ими играл ветер), кольца белой косынки. («Тихий Дон», 6—21)

— В этом состоянии временного ухода от действительности пробыл он [Бунчук] четыре дня. (Там же, 5—26)

— Григорий, испытывая радостную освобожденность, отрыв от действительности и раздумий... (Там же, 6—41)

«Действительность» непрерывно борется у Шолохова с другими словами (в этом новая прелесть этого слова) и вступает с ними в очень своеобразные связи.

Особенно интересен здесь «уход от действительности».

«Уход от действительности», «отрыв от действительности» — эти слова уже звучали в то время, когда Шолохов писал свой «Тихий Дон», почти как «ближе к современности»; это были слова газетного и внутрилитературного жаргона, терявшие всякое значение.

У Шолохова эти же слова вырваны из привычного семантического контекста и свободно заиграли по-новому. Освобожденность и отрыв от действительности — вся душевная драма Григория Мелехова раскрывается в столкновении этих знакомых двух слов на -ость, которые оба означают у Шолохова не только важные понятия, но и особое душевное состояние.

Очень личное в каждом случае отношение к этому слову открывает ярче, чем что-либо, стиль и язык каждого писателя в его решающих особенностях.

У Блока:

— Действительность проходила в красном свете.

У Брюсова признание:

Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века.

Затем:

Мы взброшены в невероятность.

(«Инвектива»)

Весь пафос в том, чтобы поверить в эту невероятность, понять, что она — действительность.

У Малышкина через все его творчество проходит как главный мотив:

— *Все было на самом деле.*

Этому трудно поверить, но это — действительность. И самое слово «действительность» у него уже почти не упоминается, потому что только об этой новой и чудесной, почти невероятной объективной действительности все время идет речь...

Огромна по своему значению и эволюция важной формулы *«соответствие действительности»*.

Она становилась уже стертым, служебным словом, юридическим термином и канцелярским штампом.

В нашу эпоху она приобретает и новый философский смысл: речь идет уже о соответствии главным и решающим, а не каким-либо иным тенденциям развития, о соответствии действительности будущего (забегание вперед). И этот трудный смысл получает очень точное практическое применение.

Вот очень характерное в этом отношении заявление героя рассказа Г. Троепольского:

— Председатель наш не соответствует действительности. Настоящего надо выбирать. («Соседи»)

Вполне реальный председатель не действителен, потому что уже не соответствует действительности. Герой Троепольского не принимает его в действительность!.. (Ср. у Щедрина.)

## ТОСКА

— Как солью сытым не быть, так горя тоской не избыть, думами его не размыкать.

Это очень древнее изречение — из песни о Яр-хмеле. Как и многие другие языческие песни, она осталась как бы навсегда в народной памяти. Она жила и у ревнителей древлего православного благочестия, у раскольников (ср. в романах Мельникова-Печерского). Но «горя тоской не избыть» — этот л о з у н г хорошо служил и народной, крестьянской революции. Революция отрицала тоску. Не только безотчетную тоску ввысь, горé, но и тоску по воле, — если это только тоска, а не борьба, война за волю.

«Тоска» имела и предметное, терминологическое значение — в народной медицине.

— Нелепы и смердящи изригании харкотин, тоска и омрачение душевное и тягость телесная. (Перевод хроники Георгия Амартола)

— От гнетишныя боли, от тоски... (А. Югов, «Александр Невский» — по древним памятникам) и др.

От этой «тоски» пошло и «тошно» и «тошнота» в строгом ученом значении.

«Тоска» — это было и слово «врачей»-заклинателей, знахарей и колдунов:

— Взыдет Филат. Окна откроет. Двери растворит. Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — воскликнул он с внезапной силой и грозной властью.

— Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои места! (Бунин, «Суходол»)

Отворить двери и уже тем самым отворить и изгнать тоску (так растворялись царские врата в церкви, чтобы помочь роженице разродиться и плоду выйти на свободу).

Но главное — сокровенное, страшное слово произнесено вслух, и не раз. Тоска названа по имени, раскрыта, отворена и, стало быть, уже не страшна. Побеждено страшное слово.

И в настоящей медицине «отворяли» тоску и охотно применяли это слово к определенному физиологическому состоянию, которое имело и свои более строгие и научные обозначения.

— Жена моя решилась принять и другое лекарство, какой бы тоски это ни стоило... (1777)

Так пишет Фонвизин сестре из-за границы, где врачи называли это по-другому. Фонвизин предпочитает называть это так, как говорят в народе.

— Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. (Никитенко, «Дневник», 1831)

В тоске потому, что — холера.

И прямая очная ставка двух значений этого слова у Гончарова:

— Не говорят о тоске и взаимных страданиях, а если и говорят, так о тоске в ногах или в другом месте. («Обыкновенная история», II—4)

Русские медики, которые предпочитали выражаться по-русски и в своей науке (а таких было довольно много и до И. П. Павлова), сохранили это слово и применяли его очень настойчиво.

В 1902 году Лев Толстой опасно заболел. Чехов, врач, писал тогда своим друзьям:

— Он заболел вдруг, вечером. Началась грудная жаба, перебои сердечные, тоска. (Письма)

Ср.:

— Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень. (Бунин, «Суходол»)

Тоска — как бы там еще это ни называлось в медицине.

В середине XVIII века «тоска» встречается в нашем языке с новым тогда заимствованием с Запада — «меланхолией».

И это новое иностранное, высокое, а потом уже и чисто литературное понятие утверждается на основе квазинаучного, физиологического и медицинского понятия: мелан-холия, черная печень, расстройство того органа, от которого, по тогдашним научным представлениям, более всего зависят жизнечувствие и настроение (ср. юмор, то есть жидкость — внутренние секреции, от которых также зависит все наше жизнечувствие).

Карамзин сопоставляет «меланхолию» с «тоской», вводит очень важное для него различение:

О, меланхолия! Нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья.

(«Меланхолия», 1800)

Меланхолия выше тоски. В отличие от тоски, при помощи которой горя не избыть, меланхолия как раз избывает горе и приносит утехи наслаждения в самой тоске и скорби. Этот нежнейший перелив становится лейтмотивом и девизом целого течения в поэзии и в искусстве.

У Пушкина очень редко встречается «тоска» — не только «меланхолия», слово его литературных противников, но и «тоска». И никогда она не беспредметная и не безотчетная.

Стеснилась грудь ее тоской...

...Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить.

(«Евгений Онегин», 3—161)

«Тоска» с точным дополнением.

У Лермонтова:

Есть сумерки души во цвете лет,
Меж радостью и горем полусвет:
Жмет сердце безотчетная тоска;
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.

(«Джюлио»)

Ср. в «Литвинке»:

Она [душа] сама собою стеснена,
жизнь ненавистна ей и смерть страшна.

Хорошо слышны здесь угнетающие звуковые повторы «тс», «ст»: тоска, ненавистна, смерть, страшна; особенно в «Литвинке»: стеснена, ненавистна, смерть, страшна...

Это не меланхолия, в которой есть наслаждение, и не элегическая грусть («ку-ку»), а тоска, стеснение, тиски.

Переполнена «тоской» поэзия Кольцова. Это крестьянская тоска по главному своему смыслу (тоска по земле и воде) и даже по поэтической традиции: «тоска» у Кольцова выступает чаще всего с постоянными эпитетами или парными словами из былины и народной песни.

Запала в грудь любовь-тоска,
Нейдет с души тяжелый вздох.

(«Пора любви»)

Когда с вами делишь грусть-тоску.

(«Разлука»)

Что взгляну, то вздохну, затоскуюся,
И зальются глаза горьким горем слез.

(«Кольцо»)

Обращение к соловью:

Прощебечь нежно ей про мою тоску.

(«Соловей»)

Но вот в стихотворении, посвященном Белинскому:

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,

Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас...

(«Расчет с жизнью»)

Итог: «все это» — бесплодная тоска. Горя тоской не избыть.

Еще более точно и определительно:

Гой ты, сила пододонная!
От тебя я службы требую:
Дай мне волю, волю прежнюю,
А душой тебе я кланяюсь.

Называется это стихотворение «Тоска по воле». «Гой ты» — из былины, а затем уже очень прямой революционный призыв.

Тоска безотчетная, неизъяснимая (и в этом, мол, вся ее прелесть для поэзии) и тоска, которая сама жаждет определения, тоска с направлением. Эти два мотива спорят в литературе вплоть до Революции, иногда переплетаясь и мешаясь.

— Поза и фраза — и тоска пустоты. (Тургенев, «Стук...»)

Тоска вырывается из печального ряда. После «позы» и «фразы» замечательное тире! Тоска, так сказать, нужная: неудовлетворенность пустой (а не какой-нибудь другой) жизнью.

У Тютчева почти нет «тоски»! Тревога, томление, вещие голоса, которые «нудят» (это высокое слово!), — но не тоска.

У Даля нет «горя тоской не избыть», нет «тоски по воле», нет «тоски» с постоянными эпитетами из былин (ср. у Кольцова); нет — это уже удивительно — «медицинского» значения этого слова, хотя оно и тогда и много спустя жило именно в народном словоупотреблении.

Толкование этого слова у Даля:

— Тоска, ж. (теснить?), стесненье духа, томление души, мучительная грусть; душевная тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца [одно из тех народных, не принятых в литературе слов, которые Даль пропагандирует], скорбь.

Из примеров народного употребления этого слова у Даля особо интересны:

— *Хлеба ни куска, везде тоска* (прибав. *а хлеба край, и под елью рай). «Красиво, да животу тоскливо».*

Под «тоснутися» у Даля спор со Словарем Академии. Там — тщиться, стараться; Даль: «кажется, вернее — тосковать по чем-либо, тоскливо, ревниво искать чего-нибудь». И пример из летописи: *«тосняшется умрети за Русскую землю».*

Есть у Даля «тоска по родине», которая «обращается иногда в телесную болезнь, с изнурительною лихорадкою».

Эта же «тоска по родине» описана и разъяснена у «Толля» в высшей степени материалистически:

— Тоска по родине (ностальгия), так назыв. продолжительное меланхолическое состояние духа, вызываемое сильным, но неудовлетворяющимся желанием видеть родину или другое любимое место, особенно гористые страны. К меланхолии присоединяется недостаток аппетита, запор, исхудание, и, если это продолжается, следствием бывает умопомешательство, чахотка. Состояние это часто встречается у солдат, савояров и лиц, насильно отторгнутых от прежнего их местопребывания. Особенно сильна т. по р. у горцев.

Очень поэтическое слово «ностальгия», и под ним беспощадно: исхудание, чахотка и даже — запор.

Другой «тоски» у «Толля», как в словаре нефилологическом, нет и не должно быть.

Совершенно неподражаемо о «тоске по родине» — у Михельсона:

— Тоска по родине (иноск.) — безотчетное, болезненное стремление к чему-либо (намек на такое же чувство швейцарцев — тоскующих по родине)...[!!]

Швейцарцы, как известно, поставляли наемных солдат всем государям и служили, в самом прямом смысле этих слов, всем богам; «швейцарцы» — уже значило раньше всего наемник и человек без родины (и еще — швейцар!). Но, сражаясь за чужое и неправое дело, они, по Михельсону, тосковали по родине. И от них будто бы и пошло это слово — «тоска по родине».

Весьма интересны и михельсоновские «крылатые слова», связанные с тоской по родине.

Из Марлинского:

— Здесь простосердечный баран, эта четвероногая идиллия, выражает блеяньем тоску по родине... («Испытание», 2)

См. Идиллия. [!]

Из прозы Даля:

— Иосиф, всю жизнь проведший в домах по Невскому проспекту... выглянувши на соседнюю площадь, оробел... им овладела тоска по родине... и он воротился на проспект. («Невский проспект»)

Родина — Невский проспект.

А других примеров тоски по родине у Михельсона нет.

Замечательное новое движение получает это слово у Толстого:

— Это осуществление показало Вронскому ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания... он скоро почувствовал, что в душе его поднялось желание желаний — тоска. (V—8)

Тоска как неудовлетворенность второй степени, *после* осуществления желаний.

У Чехова очень много «тоски».

Сейчас уже нет необходимости доказывать, что никогда он не был «певцом тоски», всегда борол ее и ненавидел. Приписали ему это звание люди, очень далекие от него по своим стремлениям и по своей тоске.

Много «тоски» у Чехова, но почти всегда она имеет очень точные причины и основания. Наиболее выразителен в этом отношении тот знаменитый рассказ, который так и называется «Тоска», с эпиграфом: «Кому повем печаль мою?» Тоска извозчика Ионы Потапова имела, как известно, достаточные основания.

У Гарина:

— В движении, на ходу не чувствуешь как-то этой тоски смерти... («Детство Темы»)

«Тоска» имеет свое дополнение, весьма убедительное. Другая, хотя и тоже смертная, «тоска» у Федора Сологуба:

— О смертная тоска, оглашающая поля и веси, широкие родные просторы. («Мелкий бес», XIV)

Стершаяся уже «смертная тоска», фразеологический оборот, стала опять смертной в прямом смысле слова, и она оглашает, голосит, как над покойником.

Очень характерно, что уже до Революции возникает очень полемическое — в борьбе с всевозможными злоупотреблениями «тоской» — понятие: хорошая тоска.

Мамин-Сибиряк пишет о пейзажах художников-передвижников:

— Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально русскую хорошую тоску на севере.

Очень характерно и то, что столкнулись Сологуб и Мамин-Сибиряк на одном и том же месте: тот же русский северный пейзаж навевает Сологубу смертную, а Мамину — хорошую тоску.

Революция развенчала, должна была развенчать тоску: горя тоской не избыть!

В литературе первых лет Революции «тоска» допускается только с какими-нибудь оправданиями, и обычно рядом с ней стоит и ее тут же диалектически «снимает» то или иное беспощадное, железное слово.

Но «тоска» очень нелегко «снимается».

Н. Ляшко, один из зачинателей так называемой «пролетарской литературы», вспоминал уже в советскую эпоху, как начинали они свой путь в прошлом.

— Писатель-рабочий чаще всего начинал с провозглашения лозунгов, с выявления требований веры, тоски и ненависти своего класса, трудящихся в целом.

Есть здесь и вера и тоска, но они «четко» оправданы и требованиями, и ненавистью, и классом, и даже научным словом «выявление». Но интересно, что есть здесь все же и тоска. Рабочие знали и просто-напросто тоску.

Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною,
осознанною болью.

(«Владимир Ильич Ленин»)

Особый, единственный случай.

Тоска стала осознанной болью, и только потому уже можно и должно рассказать о том дне, когда большевики несли на плечах тело Ленина и плакали.

Но совершенно очевидно, что резкая тоска здесь не «снята».

Революция должна разделаться с тоской, особенно со старой, крестьянской, соломенной.

Здесь у каждой стены
Приютилась нужда и усталость,
В каждой щели шуршит
Тараканья тоска.

(Исаковский, «Поэма ухода»)

Уходит не только бесчестность и подлость, но и безысходная тараканья тоска хуторской России.

Гонит ветер по холодным лужам
Желтую осеннюю тоску.

(Исаковский, «В глуши»)

Это я, оратай безымянный,
Сеял хлеб с тоскою пополам.

(Исаковский, «Песня о Революции»)

И в углу прокуренном Нардома,
Сбросив груз соломенной тоски,
Вечером доклад из Совнаркома
Слушали, столпившись, мужики.

(Исаковский, «Радиомост»)

Эта соломенная крестьянская тоска — раньше всего туман, который мешает видеть самое главное, хочет застить солнце:

Если бы весь этот пар от дыханья
Сжать горизонту в тиски —
Встал бы туман человечьей тоски,
Солнце одурманя.

(Сельвинский, «Улялаевщина»)

У Хлебникова:

Я воин, отданный мечу,
И снова тоск гремящих полн.

(«Любавица»)

Снова, но «тоска» уже во множественном числе, она гремит, и это тоска воина.

«Сбросив груз соломенной тоски» — так оно и есть. Но вот уже многие «бодрячки» слишком легко сбросили этот груз, взбодрили бесчисленные повестушки и частушки, которые должны уверить нас, что никакой тоски у настоящих людей никогда не было, и нет, и не может быть.

И не менее яростно, чем с тоской, надо бороться с «бодрой трелью», которая разливается в этих новых песнях. Тогда возникает тоска по тоске, по «хорошей тоске».

— Хорошая, нужная нам тоска о настоящем человеке... (Б. Вадецкий, «Повести военных лет»)

Но и это уже как бы «бодрая трель» наоборот. Есть здесь неосторожное обращение с очень застенчивым словом, и поэтому эта строчка звучит как сплошная стилистическая ошибка. А заодно испорчено и другое важное слово Революции — «нужный».

Слово это, «тоска», уже переживает кризис. Но сама действительность то и дело напоминает о его полемичности. Послушайте, как серьезно обстоит дело с этим словом-понятием за рубежом.

В романе английского писателя-коммуниста Джека Линдсея:

— Коммунисты, — говорил Колин, — не признают Ангст, метафизической тоски, которая лежит в основе нашего переживания. («Весна, которую предали»)

Сколько книг написано об этой Ангст, которая должна объяснить и, стало быть, оправдать все на свете! И гитлеровцы иногда говорили о своей Ангст. Хорошо помню одно рассуждение об Ангст — душевной стесненности, которая сама, мол, вызывает стремление расширить для Германии «жизненное пространство». Это была статья, написанная очень пышно, по-шпенглеровски, и подписана: доктор, кажется, Нейшлер, но во всяком случае — Доктор...

А напечатана она была в дни войны в газете эсэсов «Дас шварце Кор».

«Тоска» и сегодня очень полемическое, боевое, хотя и застенчивое слово. А иногда и веселое слово.

У Исаковского:

До восемнадцатой тоски
В нее влюблялися ребята.

(«Политпросвет»)

Лихой фразеологический оборот, веселое слово.

Но тоска здесь, конечно, самая настоящая.

## ЛИРИКА

В 1908 году вышла первым изданием «Теория словесности» А. Шалыгина. Она сразу же завоевала симпатии передового учительства и, вероятно, поэтому не получила так называемого одобрения Ученого комитета Министерства народного просвещения для гимназий и учебных заведений ведомства императрицы Марии.

Корней Чуковский написал тогда в блестящем фельетоне, что Ученый комитет МНП учреждение очень полезное: если он запрещает, мы уже знаем, что появился наконец учебник талантливый и умный.

Так оно и было в этом случае.

Учебник А. Шалыгина был замечательной для своего времени книгой; эту теорию словесности нельзя и сейчас читать без волнения. Чуть ли не впервые в школьном учебнике определения и толкования основных понятий науки о литературе не оскорбляли эти понятия. Примеры Шалыгина были почти все очень хороши сами по себе, а главное, очень наглядно не укладывались в эти определения, не подчинялись им до конца — что, собственно, и надо было доказать раньше всего в настоящей теории словесности.

В четвертом издании, уже в начале первой мировой войны, книга А. Шалыгина получила наконец «одобрение» Ученого комитета, после довольно долгой и бурной полемики А. Шалыгина с В. Сиповским и другими. В пятом издании 1916 года А. Шалыгин после указания о том, что его учебник «одобрен» в четвертом издании, сделал лукавое дополнение: «печатается без отступлений от первого издания». Так что непонятно, мол, зачем было ждать четвертого издания.

Этот эпизод из далекого прошлого очень хорошо показывает, мне кажется, какая серьезная общественно-политическая полемика может и *должна* возникать вокруг учебника теории словесности. Это дело очень важное и всех касается.

Но этот эпизод интересен еще в одном отношении.

Шалыгин дал в этой книге среди прочего краткий обзор огромной истории слов и понятий «лирика», «лирическое творчество». Оказывалось, конечно, что прежние определения страшно расплывчаты и неопределительны. А внутренний пафос всей книги Шалыгина был в логической точности, по его выражению.

Но вот какое свое собственное определение «лирического творчества» давал в конце концов сам Шалыгин:

— Лирическое творчество есть излияние души.

За этим следовала точка, а не какое-нибудь лирическое многоточие.

Шалыгин знал, конечно, что «излияние души» страшно испорченное слово, которое побывало уже у всевозможных маниловых. И с тем большим, по-видимому, удовольствием, кому-то назло, он утверждал опять «излияние души» в качестве самого логически точного и новейшего определения «лирического творчества».

Это было в 1916 году, накануне Революции.

На каждом большом историческом перевале, когда «новые люди» чувствовали необходимость «условиться поопределительнее» о значении важнейших слов-понятий, они опять и опять с особым пристрастием проверяли и прослушивали эти слова: «лирика», «лиризм», «лирическое творчество». В этом и сказывался ярче всего «лиризм эпохи», по выражению Герцена:

— Скептическая потерянность Лермонтова составляет лиризм этой эпохи. (14—157)

Герцен первый применил тогда это столь понятное и знакомое нам теперь *сочетание слов* «лиризм эпохи».

Белинский писал по поводу лирики Пушкина: «Лирика есть по преимуществу чувствование и размышление». («Стихотворения Александра Пушкина»)

За чувствованием сразу «и размышление», и притом «размышление» в пушкинском исполнении этого слова:

Меж ими все рождало споры
И к размышлению вело.

Споры, которые ведут к размышлениям. Хорошо слышно «р а з» в этом размышлении. Спор с собой и с другими, раз-мышление, а не какое-нибудь, как еще недавно, размышление о божьем величии, медитация с резиньяцией с собой наедине (ср. Размышление — и рефлексия у Белинского). Без такого размышления нет и лирики.

Такое «размышление», по Пушкину и Белинскому, отметим попутно, гораздо лучше, чем вошедшее у нас с некоторых пор в моду «раздумье», которое как раз и напоминает немного медитацию с резиньяцией.

— В таланте великом, — писал Белинский о Лермонтове, развивая ту же мысль, — избыток внутреннего, субъективного элемента есть признак гуманности. Не бойтесь этого направления: оно не обманет вас, не введет в заблуждение. Великий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об общем, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество. И поэтому в его грусти всякий узнает свою грусть, в его душе всякий узнает свою и видит в нем не только поэта, но и человека, брата своего по человечеству.

Речь идет, конечно, о лирике в первую очередь (избыток внутреннего, субъективного элемента, о себе самом, о своем «я»), хоть она и не названа здесь по имени. И рядом с ней «направление».

«Направление» — это слово тогда еще не приобрело то значение весьма определенной политической тенденции, которое стало позднее центральным его значением. Это еще у Белинского по преимуществу литературное направление. Но «направление» уже и тогда, в кружке Белинского, боевое слово. И этого «направления» в литературе, и в лирике в особенности, не надо бояться!

Но боялись больше всего «лирики» как литературного направления именно *передовые* писатели и сатирики.

После выхода в свет сборника «Мечты и звуки», который не имел успеха, Некрасов писал М. Семевскому:

— Отказался писать лирические и вообще нежные произведения в стихах...

И вообще нежные.

Очень характерная тирада именно об этом, то есть о том, как бы не впасть в лиризм, у «очеркиста» Левитова:

— Такие картины не настолько редки у нас, чтоб я не мог сказать про них правдивого слова, и сказал бы, если б не боялся упреков в лиризме, без которого я решительно не могу не поклоняться светлому лику природы — единственному совершенству на всей земле. («Московские комнаты снебилью», 1860)

Замечательное утверждение лиризма от обратного — у писателя, который ищет раньше всего документальности, факта и воспроизводит даже «снебилью» в своем очерке, потому что именно так выражаются эти дикари.

Он очень боится упреков в лиризме, хотя и не может без лирики.

И ярче всего о том же у А. К. Толстого:

Лиризм, на все способный,
Знать, у меня в крови;
О, Нестор преподобный,
Меня ты вдохнови.
Поуспокой мне совесть,
Мое усердье зря,
И дай мою мне повесть
Окончить не хитря.

(«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»)

Лиризм на все способен — особенно же в казенных, будто бы нехитрых, но насквозь лживых рассказах из отечественной истории, в школьных учебниках Устрялова и т. п. и в лубочных «народных» изданиях. Этот лиризм — враг номер один всей сатирической и обличительной литературы.

Больше всех должен бы, казалось, бояться такого лиризма Щедрин. Но у него, как всегда, когда дело идет о «хороших словах», которые слишком «согласованы с хищническими аппетитами», но сами по себе остаются хорошими, положение меняется кардинально.

— Как ни усиливаются они [литературные будочники] возвыситься до ругательного лиризма... однако и сквозь лай, и сквозь сантиментальничанье все-таки сочится одна нота — нота пошлого, напускного глумления. («Литературные будочники»)

Лай, сантиментальничанье, а лиризм, хотя бы и ругательный, им не по силам. Щедрин не отдает им это хорошее слово.

«Лиризм» — литературное направление; лиризм, лирический — технический термин, обозначение определенного жанра («Общелирические мужские песни», сборник Лопатина, и мн. др.); «лиризм» — технический термин и профессиональное слово актера, художников, адвокатов.

— Щепкин, несмотря на поразительные, необыкновенно верные черты своей игры, еще как будто говорит иное для публики, еще позволяет себе некоторую форсировку, впрочем, для того, может быть, чтобы яснее дать понять, что́ он сам так глубоко и верно понимает; одним словом, *допускает еще лирику* в своей игре... (А. Григорьев)

— Щепкин *допускает еще лирику* в своей игре. Садовский весь отдан роли. (Воспоминания Соловьева, режиссера Малого театра)

Это значило, по-видимому, что Щепкин еще выказывал и свое отношение к образу, а Садовский будто бы умел совсем отрешиться от себя. Так или иначе лирика, то есть субъективность, противопоставлялась более современной и научной объективности.

Впоследствии летописец МХАТ Н. Е. Эфрос вспоминал, что считалось передовым в 1898 году, когда создался этот театр:

— Отказ от «лиризма», как тогда говорили теоретики сценического искусства, т. е. нарастание объективности. («МХАТ 1898—1923»)

Тогда же (1897) В. А. Гольцев похвалил пейзажи Левитана. Левитан пишет Гольцеву:

— Захватить лирикой и живописью Вас, стоящего на стороне идейного искусства, а может быть, простите, даже тенденциозного, признак того, что работы эти в самом деле достаточно сильны. Как хорошо Вы цитируете лермонтовские стихи: «с вечерними огнями печальных деревень»... (И. Левитан, «Письма, документы, воспоминания»)

В. Гольцев в роли непробойного сторонника, простите, тенденциозного искусства... Благодарность Гольцеву за то, что и он иногда вспоминает лермонтовские стихи...

Все это довольно курьезно, но для нас здесь интереснее всего то, что «лирика» и «живопись» стоят рядом и в самом профессиональном применении.

В те же годы А. Ф. Кони писал в своих «Советах лекторам», то есть в практическом руководстве для судеб-

ных по преимуществу ораторов, молодых «кандидатов на судебные должности»:

— § 17. Лирика допустима, но ее должно быть мало (тем она ценнее). Лирика должна быть искренней.

Допустима, но в меру, и т. д. Так писал человек безупречного вкуса, сам выдающийся художник. Но в данном случае он все эти слова, даже слово «искренний», применяет очень профессионально.

И в этом был, конечно, свой лиризм.

Эти специальные применения и присвоения слова, как всегда, не отменяют, а, наоборот, еще более усиливают первоначальное его значение. Спор значений в словах «лирика», «лиризм», «лирическое творчество» получает очень характерное отражение в словарях. Я имею в виду не специальные словари терминов поэтики, а общие толковые и справочные словари, где речь идет о значении и роли слова в общенародном языке.

Но раньше всего надо сказать хоть немного о таком словаре, который был, собственно, не словарем, а памфлетом в форме словаря.

В 1845—1846 годах вышел (и сразу же был конфискован) знаменитый «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кирилловым» — при ближайшем участии и под редакцией М. В. Буташевича-Петрашевского. Чрезвычайно жаль, что невозможно привести здесь полностью очень большие и совершенно бесподобные статьи этого словаря о двух иностранных словах (а они уже давно были тогда не иностранными): «лиризм» и «лирическое творчество».

Приведем хотя бы выдержки, ничего не выделяя, чтобы не останавливать автора в его поистине мочаловские минуты.

— Лиризм — слабость, свойственная многим бездарным стихотворцам, сообщать в своих произведениях чувства, не имеющие интереса ни для кого, кроме автора и лиц, ему близких. Хорошо еще, если поэт так дорог публике, что она интересуется всеми частностями его жизни и личных отношений. Но большей частью подобные выходки свойственны людям мелким... По неизмеримому самолюбию, а иногда по ложному понятию об

искусстве, которое в настоящем своем значении никак не должно быть чуждо общих идей и интересов, они решаются на публичную откровенность и никак не допускают мысли, чтобы читатели могли сказать по выслушании их исповеди: «какое нам дело до всего этого; все эти подробности очень далеки от того, что нас занимает».

Лиризм встречается также и в произведениях прозаических, где он еще несноснее...

В обширном смысле слова лиризмом можно назвать и вообще слабость говорить всякому о себе, навязывать другим свои личные интересы...

Лиризмом, в частности, называют вышеописанную слабость в произведениях поэзии эпической и драматической, когда автор, вместо того чтобы рассказывать то, за что взялся, занимает читателя отступлениями, относящимися не к предмету рассказа, а к его собственному миру, или, вместо того чтобы влагать в уста своих героев речи, приличные их характеру и положениям, заставляет их говорить то, что хотел бы выразить он сам.

Лирическая поэзия. К этому разряду относятся те произведения поэзии, которых содержание заключается в мысли и чувстве самого поэта, облеченных в художественную форму. Из этого следует, что содержание литературного произведения тем более, чем возвышеннее личный характер поэта. Но жестоко ошибаются те, которые думают, что лирический поэт для того, чтобы быть занимательным в своих излияниях, должен отличаться от обыкновенных людей необыкновенностью (иначе, странностью) своих чувств и мыслей. Защитники этого нелепого и устарелого мнения говорят, что в противном случае он не выходит из разряда людей пошлых. Но на это можно сказать, что поэт все-таки человек и что по тому самому, выражая мысли и чувства не общие всем людям, находящимся на известной степени образованности, он явно обманывает себя и других, т. е. пишет о том, чего не понимает сам ни умом, ни сердцем...

Мучимый неудовлетворенным самолюбием, раздраженный неуспехом своего шарлатанства, он скажет нам: «толпа не понимает поэта». Но на подобные выходки должно ответить тем, что поэт отличается от обыкновенных людей не сущностью своих чувств, а высокой степенью их силы и способностью выражать их так осяза-

тельно и сильно, что мы не можем не узнать в них собственных чувств своих в полном, могущественном их развитии.

Из всего этого следует, что задача лирического поэта состоит в художественном выражении мыслей и чувств, общих если не всему человечеству или обществу, то по крайней мере людям, стоящим на известной степени цивилизации. («Карманный словарь...» Н. Кириллова)

Легко видеть, что мысль Белинского получила здесь не только необыкновенно бурное и задорное выражение, но и другую оркестровку. Не понадобились слова «гуманность», «субъективный», «брат по человечеству». Попутно изничтожается модное слово (или словечко) «странный»; упоминаются неоднократно «нелепые и устарелые мнения»; очень твердо формулируется задача лирического поэта, которая должна неумолимо логически вытекать («из всего этого следует...») из этого страстного монолога против шарлатанов.

Но раньше всего: лиризм — это слабость.

В других словарях всё, конечно, гораздо строже и академичнее, но и здесь почти всюду слышится полемика.

У Даля в 1864—1867 годах есть «лирик, или лирический поэт»; пример — «лирическая поэзия противополагается эпической и заключает в себе: оды, гимны, песни, где господствует не действие, а чувство». Есть «лиризм»: «лирический дух, направление; возвышенное, вдохновенное песнопение».

«Направление», но не такое, как у Белинского, и не такое, каким оно уже было в те годы (60-е!). «Лиризм» — но не в герценовском драгоценном сочетании с «эпохой» и «временем».

А «лирики» вообще нет — ни как термина поэтики, ни как профессионального слова актеров, ораторов и живописцев. В словаре «живого языка» ей будто бы нет места.

Нет «лирики» и в Словаре ИАН в издании 1868 года (перепечатано без изменений по изданию 1847 года), то есть в те же годы.

Есть «лирик» — «сочинитель лирических стихотворений». Есть «лирический» — «относящийся к стихотворе-

ниям, которых пение сопровождалось игрою на лире, как-то: к одам, гимнам, песням и проч. *Лирическая поэзия»*.

До смешного устаревшее и для того времени определение.

У «Толля»:

— Лирика, или лирическая поэзия, род поэзии, задача коей непосредственное выражение чувствований. Возвышенный характер, по содержанию и по форме, л. имеет в гимнах, одах, дифирамбах; более спокойный в элегиях, дух. и светских песнях и в лирич. произведениях дидактического характера.

Итак, у «Толля» и лирика раньше всего имеет задачу (ср. выше в «Карманном словаре...»), и задача эта бывает дидактической, то есть активной и серьезной. Слово «духовных» сокращено, а «светских» написано полностью.

У Михельсона в «Крылатых словах» в соответствии с его профилем широко разработан только «лирический беспорядок».

Но есть и «лиризм» вот с каким только применением:

— Впасть в лиризм.

В Словаре 2-го отделения ИАН, в том его выпуске, который был сдан в набор в 1916 году, а закончен печатанием в 1928 году, в качестве одного из примеров к «лирику» приводился такой пример из Полонского:

— Но куда тебе в герои!/Ты не наш — ты теоретик./ Лирик, но второстепенный... («Письма к музе», 1)

Это слова Бульдога — так называл Полонский Щедрина, который в 1871 году напечатал очень гневную рецензию на лирику Полонского.

Весьма выразительный эпизод общественно-политической полемики 70-х годов! Не здесь место говорить об этом подробно, но вот какие слова следовали у Бульдога за «лириком»:

— Классик, либерал, эстетик.

Полонский об этом умолчал; он очень хотел думать, что Бульдог все валит в одну кучу (ср. выше слова Щедрина о лирике будочников). Лирик — это раньше всего самый ненавистный Бульдогу либерал.

...А «лиризма» в герценовском применении не было в этом словаре.

Но вот опять герценовский лиризм — эпохи, положения, ситуации.

У Чехова:

— Красота чувствовалась и в угрюмой тишине. Кириллов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения. («Враги»)

Лиризм положения — как сказал бы уже готовым словом посторонний объективный наблюдатель. Кириллов и его жена знали, что так это называется, но положение для них было в самом деле полно лиризма.

...Слова этой группы уже снижались, даже совсем растаптывались, по хорошим и плохим побуждениям, снова возвышались и утверждались, получали профессиональные, технические — и очень широкие, «обширные» применения.

И после всего этого передовой учитель словесности А. Шалыгин предлагал в качестве самого верного и, так сказать, «без дураков» определения лирики — излияние души.

В советскую эпоху задачи лирики пересматриваются с величайшим пристрастием. Так и слова этой группы переживают новые, очень серьезные, иногда смертельные, испытания, отражающие в высшей степени необыкновенный «лиризм эпохи».

Это тема большой и важной книги, которая еще не написана. Уже много и хорошо об этом сказано в вышедшей наконец «Истории советской литературы». В этом очерке можно отметить только некоторые, особенно интересные эпизоды, сцены «выяснения отношений» с этими словами.

Делись со мною тем, что знаешь,
И благодарен буду я.
Но ты мне душу предлагаешь:
На кой мне черт душа твоя!

Эти строчки из лермонтовской эпиграммы могли бы служить эпиграфом ко всей ранней советской лирике.

Начинается с того, что надо послать к черту излияния чужих и неинтересных душ, а то и свои собственные излияния в недавнем прошлом.

Блок хорошо знал то время и хорошо помнил себя в то время.

В предисловии к сборнику «Лирические драмы» в 1908 году он писал:

— Лирика не принадлежит к тем областям художественного творчества, которые учат жизни. В лирике закрепляются переживания души, в наше время по необходимости уединенной... (По изд. 1935 г., XI—91)

А посему он просил тогда не беспокоиться тех, кто ждет от лирики помощи в жизни, кто не согласен, что в это время настоящая жизнь только в уединении. Не для них его «лирические драмы», как и вообще все его творчество...

В первые же дни Революции Блок писал в «Дневниках»:

— Не только выше для меня «звание человека», чем звание поэта, но источником доброй половины моих тем служит ненависть к лирике, родной и близкой мне стихии.

Ненависть к лирике как источник главной темы. Но самое слово «лирика» Блок не дает в обиду. Великолепно не сведены концы с концами.

Так и у Маяковского. Он страстно снижает все слова этой группы, совсем как будто их растаптывает, — но только для того, чтобы по-щедрински отбить их у противника. Из очень многих приведем только один, особо интересный, как мне кажется, пример:

Душу
разъедает
бездельник
лирик!

(«На учет каждую мелочишку»)

В свое время Белинский даже у своего противника Аполлона Григорьева находил «блёстки дельной поэзии». «Дельный» было одно из самых драгоценных слов в его «кружке». И Белинский рыцарски отдавал это слово противнику, потому что были и у него, Григорьева, такие дельные блестки.

А противник Маяковского был раньше всего бездельник во всех смыслах и применениях этого слова, и

бездельничает он в такое время, когда надо брать на учет каждую мелочишку.

У Гастева и других была «лирика железа» и т. п. (см. «Историю советской литературы»). Можно, конечно, разъяснить, что то были увлечения, благородные и вполне естественные в определенный период. Но это было глупо и в тот период. Слова — упрямая вещь. Они идут не на всякое сочетание.

Никакой «лирики железа» никогда не было у Маяковского.

В 1927 году у Горького в статье под демонстративно деловым заглавием — «О том, как надобно писать для журнала «Наши достижения»:

— Но не следует действовать лирикой там, где нужны факты в простом и точном изображении. В изображении трудовых процессов лирика звучит у всех фальшиво — и это потому, что труд никогда не лиричен, а в существе своем он — эпика, он — преодоление различных сопротивлений инерции.

Так писал тогда Горький, который столько раз говорил о поэзии труда, Горький, который сохранил для нас слова Ленина, сказанные Лениным в 1918 году:

— Нужна лирика, нужен Чехов, нужна правда.

Конечно, Горький говорил в таком стиле о лирике именно потому, что уже была гастевская «лирика железа» (даже не труда, а железа) и слова эти уже применялись и вкривь и вкось.

В разговорной речи дело совсем упрощается. «Лирика» — слово бранное, оно звучит почти так же, как «переживания», «беллетристика» (см.) и тому подобные недостойные настоящего человека слова.

— Приготовлено на чистой сливочной лирике... («Записные книжки» Ильфа)

— Довольно лирики, поговорим серьезно...

И даже:

— Поговорим начистоту, по душам, без лирики.

Если начистоту, то без лирики...

Это разговорная, нестрогая речь, но еще хуже, пожалуй, обстояло дело в высоком, строгом, беспощадно научном языке формалистской теории литературы. Здесь «лирика» в единственном числе, непрерывно меняющаяся, но единая в своей основе стихия, совсем исчезает. Теперь заговорили о *лириках* каждого из литературных

рядов. С особым увлечением изучали переходы лирик из ряда в ряд, строили лирики в ряды и т. д.

Был очень наглядный пафос, свой лиризм в этом бездушном разборе разных лирик. Разбирая, например, лирику Лермонтова, исследователь больше всего старался показать, что сам-то он нисколько не задет и уж во всяком случае избавит нас от собственных излияний души.

Происходят всевозможные расставания и прощания с лирикой, необычайные метаморфозы «лирического отступления» (и «лирического наступления»). Столько их было, что нет никакой возможности привести здесь хотя бы самые яркие примеры; сошлемся опять на «Историю советской литературы», тома 1 и 2. Отметим только, что это была поистине высокая комедия, основанная на неузнавании лирики. Ни за что не хотят лирики признаться себе в том, что они лирики. А лирика, Чехов, правда, были нужны как никогда.

Все это теперь далеко позади.

Революция восстановила все без исключения хорошие слова, то есть слова неисчерпанные, способные жить по-новому, орудия хорошей мысли и хорошей борьбы.

Труднее, чем какое-либо другое, но восстановило себя во всех своих правах и слово «лирика» и его производные. Долго и упорно разбирался «вопрос» о субъективной или еще какой-то лирике, — будто и еще какая-то возможна. Затем и этот «вопрос» упал сам собой ввиду полной его бессмысленности.

Оказалось, что можно принять без каких-либо поправок, даже стилистических, чудесные слова Белинского о великом поэте, который, говоря о себе самом, о своем «я», говорит об общем, ибо в его натуре живет все, чем живет человечество.

В этом определении Белинского совершенно убедительна, «необходима и достаточна», как говорят математики, не только общая мысль, вполне на месте и все понадобившиеся Белинскому в этом случае слова: душа, сам, свое «я», грусть, узнавание, брат по человечеству...

Все эти слова давно уже отбиты у противника.

Звучит несколько наивно, но не вызывает серьезных

возражений даже шалыгинское «излияние души». Смотря какая душа! Пусть «излияние» или самоутверждение и самовыражение, если это душа, которой стоит самовыражаться. Строчка из лермонтовской эпиграммы попрежнему стоит у входа в лирику, как самый верный страж.

Все стало на место. Но вот недавно вспыхнули споры о «лирике» и «физике»...

Спор этот, основанный на чистом недоразумении, уже умер как будто естественной смертью. И не сто́ило бы к этому возвращаться, если б не два обстоятельства.

Очень интересно, во-первых, что в этом случае происходила опять комедия неузнавания. Противники упорно притворялись, что они не понимают, что означают слова «лирика» и «физика».

Совершенно очевидно, что в тех строчках Б. Слуцкого, с которых все как будто началось, было выражено только, справедливо и остроумно, сожаление, что лирика почему-то в последнее время не дает сердцу таких великих потрясений, какие приносит нам ежедневно «физика».

А противники прямо-таки придрались к случаю, чтобы снова занять свои места, вспомнить старое и снова поговорить о лирике. В этом была уже, по-видимому, серьезная потребность.

Но происходила не только эта высокая комедия. Обнаружилось, что, хотя мы уже очень хорошо, на старой основе и по-новому, уточнили это слово-понятие «лирика», требуется еще одно уточнение.

В речах «физиков» слышалась огромная и вполне справедливая гордость точностью науки и ее языка. Зависть к этой точности звучала так или иначе и в речах всех более или менее умных «лириков».

И никто, кажется, не вспомнил слова Льва Толстого именно об этом; слова, которые представляли собой как бы итог всех его размышлений об искусстве:

— Как ни страшно это сказать, а художество требует еще гораздо больше точности, précision, чем науки.

С того времени положение для художества, и лирики в первую очередь, страшно усложнилось, потому что новый класс точности в науке принес потрясающие, гомерические, космические, несравненно поэтические резуль-

таты. А лирика должна превзойти и *такую* науку в точности! Такова сейчас задача лирики.

Но только это уточнение необходимо внести сейчас в старое определение лирики после всего, что произошло с этим словом.

## ВДОХНОВЕНИЕ

В начале XIX века это слово еще считалось нововведением, и притом одним из тех, которые особенно возмущали архаистов.

И. И. Дмитриев писал об этом слове осудительно, но еще сравнительно спокойно:

— вдохновлять — нововведенное слово, по-старому: вдыхать, одушевлять... (1813)

Изобретение этого слова он приписывал Н. Полевому.

А для Греча это было как бы личное оскорбление.

— Юродивые исчадия прихоти, безвкусия и новшества вторгаются в наш язык, ниспровергают его уставы, оскорбляют слух и здравый вкус: вдохновить, вдохновитель, вдохновительный. («Чтения», I—1)

И далее следовало довольно большое рассуждение о том, почему эти слова невозможны в русском языке...

В той же тираде Н. Греч говорит и о другом новом слове, тоже возмутительном, хоть оно и приписывается гениальному писателю (Бестужеву), «видопись», которое входило в язык одновременно с «вдохновением».

Но «видопись» не удержалась, а «вдохновение», «вдохновлять», «вдохновитель» утвердились навсегда.

Самое замечательное: если *сегодня* попытаться как бы впервые услышать это слово — вдохновение,— отбросив все его ассоциации и чудесные стихи, с ним связанные, то окажется, что слово это «само по себе» не очень удачно, тяжеловато, непрозрачно, корень застроен и затемнен.

Однако это новое, сложное и искусственное слово звучало, например, уже у Державина поразительно свободно и легко, не как новое, а как самое естественное и необходимое:

Как твое нам вдохновенье
Восхитительно, Любовь...

— Поистине, вдохновение есть один источник всех.. лирических принадлежностей, душа всех ее [лирической поэзии] красот и достоинств: всё, всё и самое сладкогласие от него происходит, — даже вкус, хотя дает ему дружеские свои советы... вдохновение, вдохновение, повторяю, а не что иное, наполняет душу лирика огнем небесным... («Рассуждение о лирической поэзии или оде...»)

Даже хочется повторить: вдохновение, вдохновение... И нет такого впечатления, что Державин вводит и утверждает новое слово, — это всегда чувствуется, даже если неологизм брошен как будто очень небрежно, скороговоркой. У Державина «вдохновение» — всем понятное и «общее всем» понятие, всегда существовавшее. Он его уже даже пересматривает.

Как всегда, решает исполнение языка.

У Жуковского:

Опять ты здесь, мой благодатный Гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, мечта, к душе моей.
Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений,
Минувшего мне жизнию повей...

(Посвящение к балладе «Двенадцать спящих дев» — из Гёте, пролог к «Фаусту», 1810)

Как будто всегда существовавшее слово, с прекрасными, давно уже ожидавшими его рифмами.

— Как вылетает искра из кремня от удара стали, так и мысль и слово вылетают из души от удара вдохновения... (Жуковский, «Заметки о философическом языке», 1845)

В этих же чудесных заметках Жуковский писал, что «всякое счастливое новое слово, сильно и живо изображающее новую мысль, есть такое же откровение, как и сама мысль, есть событие в области мысли, можно сказать, и в области гражданской жизни». А совершается это событие в результате «удара вдохновения». И самое это слово «вдохновение» не останавливает, не задерживает, оно ударяет.

У Пушкина «вдохновение», можно сказать, издевается над всеми обвинениями Греча: «юродивое исчадие безвкусицы» и т. д.

Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе...

(«Жуковскому»)

Но где же вы, минуты упоенья,
Неизъяснимый сердца жар,
Одушевленный труд и слезы вдохновенья!

(«Дельвигу», 1817)

Где рыскает в горах таинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой...

(«Кавказский пленник». Посвящение)

Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

(«В начале жизни школу помню я...»)

Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, —
Но Доу дал ему такое выраженье...

(«Полководец»)

И знаменитое:

— Что такое *сила* в поэзии? Сила в изобретеньи, в расположении плана, в слоге ли?

*Свобода*? в слове, в расположении, — но какая же свобода в слоге Ломоносова и какого плана требовать в торжественной оде?

*Вдохновение*? есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных.

— Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом... («Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»)

*Не смешивать с восторгом*! Через всю нашу поэзию пройдет затем этот великий спор. Отметим только несколько примеров все нового отношения к слову

«вдохновение», которое отразило так или иначе позицию поэта в этом споре.

Кюхельбекер в своем дневнике:

— Большая часть [стих-ий Пушкина]... слишком остроумны, слишком обдуманы, отделаны и расчитаны для эффекта, а потому (по моему мнению) в них нет... вдохновения. Зато есть другие менее блестящие, но мне особенно любезные... (19/V 1835 г.)

Курьезное рассуждение о стихах Пушкина последнего периода... Но интересна мысль Кюхельбекера: где остроумие, там нет вдохновения.

Нельзя не отметить здесь, что Пушкин иначе судил об остроумии: «NB Остроумием называем мы не шуточки, столь любезные нашим веселым критикам, но способность сближать понятия и выводитъ из них новые и правильные заключения» (второй том «Истории руского народа» Н. Полевого). А такая способность означает, конечно, вдохновение, самое настоящее и самое плодотворное. И более того: нет вдохновения без остроумия.

Очень важное разъяснение Баратынского:

Глупцы не чужды вдохновенья.

Но это у них, видимо, именно «восторг».

У Лермонтова:

— Как поэт, в минуту вдохновенного страданья, бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их... («Вадим», 1—8)

У Гоголя:

— И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в священный ужас и блистанье главы. («Мертвые души»)

У раннего Белинского горячо утверждается страдательность художника (ср. у Лермонтова) в минуту вдохновения, которое, однако, названо «откровением»:

— Я убежден, что поэзия есть бессознательное выражение творящего духа и что, следовательно, поэт в минуту творчества есть существо более страдательное, нежели действующее, и его произведение есть уловленное видение, представшее ему в светлую минуту откровения свыше, следовательно, оно не может быть выдумкою его ума, сознательным произведением его воли... («Дроздов, «Опыт системы»)

Начинается эта тирада со слов: «Я убежден». Он явственно спорит. Что бы ни говорили, а поэзия есть бессознательное выражение творящего духа, и к этому выводу он пришел после самых *трезвых* размышлений.

У А. К. Толстого:

Мой трезвый ум открыт для сильных
вдохновений,
Сосредоточен, я живу в себе самом,
И старая мечта зовет толпы видений,
Как зажигательным рождая их стеклом...

(«Когда природа...»)

«Трезвый» и «вдохновения» (во множественном числе) демонстративно поставлены рядом. Определяется даже как бы механика этого процесса: вдохновение отворяет, выпускает на волю, освобождает старые мечты...

Но вдохновение остается вдохновением.

У Тургенева:

— Под наитием этого вдохновения...

Наитие, а не трезвость. Но само это слово «наитие» приобрело необычную переходность.

Даль должен подвести итоги уже очень многообразному развитию этого слова. Но от слова «вдохновение» он отсылает нас к гнезду «вдыхать» — точно не стало еще «вдохновение» самостоятельным словом.

В гнезде «вдыхать» под «вдохновить, вдохновлять кого» — безупречное, исчерпывающее даже сегодня толкование:

— воодушевлять, оживлять, восхищать, воспламенять, пробуждать духом и делать способным к высшим проявлениям духовных сил...

И самое «вдохновение» (среднего рода):

— Действие того, кто вдохновляет; духовное внушение, состояние вдохновенного; высшее духовное состояние и настроение; восторженность, сосредоточение и необычайное проявление умственных сил, наитие, внушение, ниспосланное свыше.

В качестве одного из важнейших синонимов есть и восторженность, хотя Пушкин очень просил не смешивать эти понятия.

В Словаре ИАН 1847— 1867 годов:

— 1) Ниспосланное свыше внушение. Пророки и апостолы пророчествовали и проповедовали по вдохновению Божию. 2) Восторженное состояние умственных сил...

Опять «восторг» и без остроумия.

У «Толля» совсем нет «вдохновения», хотя в предисловии было обещано дать объяснения «всех главных основных терминов... искусства, художества и ремесла». «Вдохновение» для «Толля» не было в те годы таким главным и основным, полезным термином.

Слово затем становится ходовым, мельчает либо время от времени применяется и вкривь и вкось.

В начале века Владимир Соловьев издевается над «вдохновением» декадентов:

— гри-де-перлевое, вер-де-мерное и фель-мортное вдохновение.

Чужие, взятые напрокат оттенки и образы жемчужно-серого, зеленой морской воды и мертвых листьев. Никакого собственного и настоящего вдохновения нет у этих поэтов.

В 1910 году, в разгар «оргии субъективизма», Ан. Бурнакин писал:

— «Накатило-накатило», — вот лозунг современных вдохновений. И мне кажется, что эта одержимость — чисто внешнего происхождения, что она — биржевой ажиотаж, неудержимая погоня за «высоким курсом». («Трагические антитезы»)

Замечательна история утверждения этого слова-понятия в советскую эпоху.

Блок:

Прошло одно — идет другое,
Проходит пестрый ряд картин.
Не замедляй, художник: вдвое
Заплатишь ты за миг один
Чувствительного промедленья,
И если в этот миг тебя
Грозит покинуть вдохновенье —
Пеняй на самого себя!

Тебе единым на потребу
Да будет — пристальность твоя.

(«Возмездие», 1)

Блок записал в своих записных книжках, когда закончил «Двенадцать»:

— Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь... Сегодня я — гений.

Так писал Блок, а в литературной критике и в публицистике это слово обходили, если не распинали его открыто как идеалистическое и несерьезное.

В «Литературной энциклопедии» этого слова совсем не было. См. «Творческий процесс». До буквы «Т» эта энциклопедия вульгарной социологии не дошла, но можно не сомневаться, что там была бы дана только история человеческих заблуждений, связанных с этим понятием — вдохновение.

Не любили этого слова и формалисты. Важно, как «сделана» вещь, какую литературную форму она пародирует, какой младший род канонизирует. Для «вдохновения» не остается места.

Не признавали его и конструктивисты.

В «Декларации прав поэта» И. Сельвинского сказано об этом с потрясающей «четкостью»:

...Но только легенду о вдохновеньи
Классовым энтузиазмом зовем...

В эти же годы Станиславский завершает свою «Систему» — науку о вдохновении, по его же определению. Речь идет о тех средствах и приемах, которые помогут быстрому соображению понятий, помогут вызвать особое творческое состояние, встретить вдохновение.

Ср. «Организация вдохновения» у Маяковского (записи П. Лавута).

Наука о вдохновении, организации вдохновения — новые великолепные оксюмороны, невозможные прежде сочетания слов. В печати и литературе с особой охотой и в самой вызывающей форме говорят теперь о вдохновении применительно к тем профессиям, которые еще недавно считались нетворческими: вдохновенный инженер, конструктор и т. д.

Это, конечно, в высшей степени справедливо. Вспомним еще раз пушкинское: «вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии». Но оно нужно и в поэзии. А об этом не принято было говорить, — разве только с оговорками и особыми на этот случай оправданиями.

И лишь сравнительно недавно оговорки и оправдания отпали и сразу же показались необыкновенно глупыми.

«Вдохновение» стало опять совершенно необходимым словом, особенно дорогим после всего того, что оно пережило.

Так, на заре просторных зимних дней,
Под сенью замерзающих растений,
Нам предстают свободней и полней
Живые силы наших вдохновений...

(Н. Заболоцкий, «Еще заря...»)

Я люблю этот сумрак восторга,
Эту краткую ночь вдохновенья,
Человеческий шорох травы,
Вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

(Н. Заболоцкий, «Гроза»)

Все сызнова — и все на пустыре,
и все на той же розовой заре,
на гибнущей, огромной и дрожащей,
и эти угловатые дома,
и взлеты вдохновенья и ума,
и рощ нагих младенческие чащи...

(О. Берггольц)

Который в мире час?
Час вдохновенья.
Горчайший час,
сладчайший час...

(Симон Чиковани, перевод Е. Евтушенко)

Большое, непроносное слово.

Но вот недавно Вера Инбер опубликовала свои статьи

о вдохновении, о мастерстве в книге, которая так и называлась «Вдохновение и мастерство». Среди них была и запись беседы, которую В. Инбер провела с писателями в Ленинграде 19 мая 1944 года, вскоре после снятия блокады, на тему «Что такое вдохновение?».

Эта книга вызвала среди прочих критический отклик Виктора Шкловского. Совершенно справедливо, мне кажется, возражал В. Шкловский против того понимания вдохновения, которое утверждала в своей книге Вера Инбер.

— Вдохновение — не способ писать, а способ понимать и принимать действительность, рассказывать о ней взволнованно и горячо, слушать музыку времени, как это делал В. Г. Белинский. А поэтесса Вера Инбер, — писал В. Шкловский, — ...понимает под этим умение приводить себя в состояние, наиболее пригодное для работы... (Газета «Литература и жизнь»)

Так и в стихах молодого поэта Владимира Семенова, которые были напечатаны недавно в «Литературной газете»:

Я знаю,
как рождается оно,
и каждому могу сказать об этом.
Кто трудится,
тому немудрено
всю жизнь владеть
простым его секретом.
Резец обычный —
вот вам образец.
Он холоден,
но вы его берете —
теплеет.
Раскаляется резец —
холодным не бывает он в работе.

(«Вдохновение»)

Вот и все.

Нет здесь той «радости», о которой так говорит Б. Шергин:

— Сегодня с утра ладил крыльцо рубать, да боюсь, несоразмерно будет — *радости что-то нету.* (Б. Шергин — о «художниках повседневной жизни на берегах пресветлого Гандвика — Белого моря»).

Это и не «наитие», о котором так говорит П. Бажов:

— Что это? Высшая степень искусства или то, что зовется наитием? Отвергаете такой термин? Ну, ваше дело, а оно все-таки у Чехова было. (3—311)

Это и не знаменитая бажовская же живинка, которая означает именно вдохновенье.

— А потому, что ты книзу глядел, — на то, значит, что сделано, а как кверху поглядел, как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, *впереди мастерства бежит* и *человека за собой тянет*. Так-то, друг! («Живинка в деле»)

Это, оказывается, «простой секрет», который поэт почему-то готов открыть каждому (а до сих пор поэты страшно с т е с н я л и с ь открывать его кому бы то ни было)... И секрет этот обеспечивает только не холодное, а теплое отношение к работе.

Если это сознательное снижение высокого слова, то В. Семенов очень опоздал: сегодня нет уже никакого полемического пафоса в таком разоблачении большого и священного слова, сейчас уже неприлично портить такое слово.

Это неловкое слово с боями входило в язык, отвергалось не только архаистами, но, в определенные периоды, и передовыми людьми, по самым лучшим побуждениям. Но осталось в языке как совершенно необходимое и, главное, осталось самим собой — первоначальный его смысл не изменился. И сегодня нечего добавить к пушкинскому определению.

## БЕССМЕРТИЕ, БЕССМЕРТНЫЙ

И шутками себе такими
*Венец бессмертия* снискал.

(«Венец бессмертия»)

Это очень верная и точная эпитафия всему творчеству Державина, предложенная самим Державиным.

Он жив до сих пор, бессмертен только в тех стихах, когда в самом высоком лирическом полете «шутит», то есть видит обе стороны вещей, проявляет свое замечательное чувство юмора, как сказали бы мы теперь, «гнет на колено» самые сакраментальные понятия.

Бессмертие — одно из таких священных, страшных понятий, с которыми шутил Державин.

Внутренняя «шутка» окрыляет все самые замечательные исполнения этого слова в нашей поэзии.

Ей [богине фантазии] дал он те вымыслы,
Те сны благотворные,
Которыми в области
Олимпа надзвездного,
С амврозией, с нектаром,
Под час утешается
Он *в скуке бессмертия...*

Пушкин:

Конечно, дух бессмертен мой.

(«Таврида»)

Предательское «конечно»!

И уже явственно скептически в «Анджело»:

Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одна другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа.

(II—V)

Доказывать это страдальцу было, во всяком случае, лицемерием, как определила там же Изабела...

Пушкин — Гоголю:

— Пойду сегодня же назидать Уварова и кстати о смерти Телеграфа, поговорю и о Вашей. От сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, Его ожидающему. Авось уладим. (13/V 1834 г.)

Бессмертие, ожидающее Уварова, когда-то товарища Пушкина, теперь министра народного просвещения, душителя всего живого в России. И Его с большой буквы.

«В альбом Илличевскому», лицейскому товарищу:

Предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

Это и есть в шуточной альбомной записи настоящее кредо Пушкина.

Вяземский — А. И. Тургеневу:

— Будь я влюблен, как ты думаешь, верь я бессмертию души, быть может, не сказал бы тебе на радость:

> Душа, не умирая,
> Вне жизни будет жить бессмертием любви...

(Письма)

У Лермонтова в «Вадиме»:

— И если б наши души не были бессмертны, то она [любовь] сделала бы их бессмертными.

Это — в авторской речи; «если бы не были» — почти такое же предательское, как пушкинское «конечно». Бессмертие души — официальный тезис церкви и государства, и уже поэтому он лицемерен и смешон.

Гоголь рассказывает П. Плетневу:

— Как только Голохвастов [исп. обязанности президента Московского цензурного комитета] услышал название «Мертвые души», он закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна. Мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертия». (1842)

Гоголь, в отличие от Пушкина и Лермонтова, относится очень серьезно к этим словам — бессмертие души. Но слова Голохвастова о бессмертии души беспредельно его возмущали. Бессмертие души Голохвастова!

В дальнейшей литературно-политической полемике этот мотив играет огромную роль. Передовая публицистика отвергает «бессмертие» в любом, даже самом возвышенном и очищенном, смысле, потому что это слово уже испорчено, уже обманывает.

— Личное бессмертие мне необходимо, — пишет снова и снова Т. Н. Грановский в полемике с Белинским.

«Мне» — в высоком, конечно, смысле; без этого тезиса нет и не может быть всей его концепции, всей его системы философии и эстетики.

Именно поэтому Белинский отвергает всяческое бессмертие.

Щедрин:

— Но если бы и действительно глотание Kraenchen в соединении с ослиным молоком способно было дать

бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. (14—65)

Чернышевский:

— Если бы красота в действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эстетики, она надоела бы, опротивела бы нам. (ПСС, 10—2)

Присвоенное эстетиками и уже очень испорченное полемическое словечко «бессмертие» — в кавычках. Есть другое, вечно изменяющееся бессмертие красоты.

Диалог Даль — «Толль»:

У Даля:

— Бессмертие средн. рода, бессмертность жен. р., непричастность смерти, принадлежность, свойство, качество неумирающего, вечно сущего, живущего; жизнь духовная, бесконечная, независимая от плоти. Всегдашняя или продолжительная память о человеке на земле, по заслугам или делам его.

И никаких примеров из живого словоупотребления или из литературной истории этого слова.

У «Толля» всего три строчки:

— Бессмертие означает нескончаемую, вечную жизнь души человеческой, по разрушении ее тела, сопровождаемую сознанием своего бытия.

Вступает — довольно неожиданно — понятие сознания своего бытия как важнейший признак бессмертия!

Полемика продолжается.

У Тургенева в «Накануне»:

— О, боже! — думала Елена, — зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы! или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды? Зачем это успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? (33)

Прочное, неизменное как важнейший признак и смысл бессмертной красоты. Это «надоело бы» Чернышевскому; для Елены и для Тургенева это сильнее всего, сильнее, чем все политические идеалы Инсарова. Но и это ничего не стоит без «сознания своего бытия», по «Толлю».

— Личное бессмертие *мне* необходимо, — говорил Т. Н. Грановский.

У Достоевского это *мне* получает новое движение:

— Я объявляю, что любовь к человечеству — даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой. («Дневник писателя»)

«Я объявляю» — очень торжественно. И в самом деле, это генеральное выяснение отношений между двумя мировоззрениями, вершина спора, который проходит через всю нашу литературу.

Л. Толстой редко называет вслух это слово.

— Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся, — мы все скоро узнаем. («Хозяин и работник»)

А Сухово-Кобылин «шутит» с этим словом, и не подержавински:

— Тарелкин. Хочу, чтобы эта бессмертная смерть мне не стоила медной полушки, — так и будет. («Смерть Тарелкина», 1—3)

Чехов пишет Гольцеву в 1900 г.:

— Я начиная с 17 января (день именин и возведение в бессмертный чин) был болен и даже подумывал, как бы мне не обмануть тех, кто выбрал меня в «бессмертные» [то есть почетным академиком].

И это, конечно, очень терпкая шутка. Как известно, уже вскоре Чехов должен был сложить с себя звание «бессмертного», а через четыре года он, бессмертный, скончался.

Игорь Северянин чирикает (как сказать иначе!):

С черной розою в черной фетэрке,
Ты — бессмертница, ты — всемирница.

(«Кокетта»)

В те же годы стихи Бунина:

Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.
Но стократ счастливей тот, чей прах
Веру в жизнь бессмертную вселяет
И цветет легендами в веках.

(«Гробница...»)

Он возвращается к истокам слова, будто никто никогда не шутил с ним и не превращал его в полемическое

словечко или в салонную игрушку. Но сила этого высокого утверждения именно в том, что эти слова уже много раз подвергались всякого рода «утверждениям» и обыгрываниям.

У него же в «Жизни Арсеньева»:

— Бессмертные творят, смертные производят себе подобных. (Из «Пира» Платона)

Замечательны превращения слова-понятия «бессмертие» в социалистической Революции.

Оно, конечно, «обмирщилось», очистилось и освободилось от старого груза. Но продолжается, идет все время борьба с этим «старым грузом», и только самые несерьезные писатели притворялись, что никакого положительного смысла в этих словах уже совсем нет, что это другие и новые слова.

Отношение к этому слову, самый стиль обращения с ним очень ярко менялся в ходе Революции.

«Бессмертие», «бессмертный» получают неслыханные применения:

Орточекой разметнулась бессмертная ночь.

(Прокофьев, «Начало диктатуры»)

Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

(Тихонов, «Мы разучились...»)

— Бессмертие тех отпылавших, в тифозной и голодной горячке отбредивших лет. (Л. Рейснер, «Фронт»)

Отсюда четыре часа самолетом
до красных районов Китая,
где с боем проходит
над смертью бездарной
суровое братство народа
и рвутся в бессмертье
тропой легендарной
знамена шестого похода.

(А. Гитович, «Костра красноватого клочья»)

Никогда не снижал эти слова несравненный мастер всяческих снижений Маяковский! Он неизменно вызывал на бой «старый груз» в этих словах; все его применения этих слов в новых, немыслимых прежде связях всегда очень полемичны. Ему нечего было бы и делать с этими словами, если бы они не тащили за собой старый груз.

Выправьте
                в энкапеэс
                                на бессмертье билет.

(«Разговор с фининспектором...»)

Бессмертье так же реально, серьезно, непреложно, как билет, как энкапеэс.

Есть и прямая, литературная и очень полемическая перекличка в этих строках Маяковского. Ср. у Н. Гумилева:

Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет...

(«Заблудившийся трамвай»)

Маяковский, конечно, хорошо знал эти строчки Гумилева.

Другой билет на бессмертие:

Пусть
        смерть товарища
                        сегодня
                                подчеркнет
бессмертье
                дела коммунизма.

(«Воровский»)

Если бы не было «старого груза», разве засияло бы так заново это слово в таком применении!

Более ста лет назад архаист Ив. Ив. Дмитриев писал:

— Поэзия воспевает доблести обреченных к бессмертию. («Взгляд...»)

Обреченные к чему-то высокому, к подвигу, — обычное в высоком стиле сочетание слов. Это — почти кли-

ше, которое только потом стало почти невозможным, почти оксюмороном.

И вот в «Цементе» Гладкова, в начале наших 30-х годов, в разговоре советских людей:

— Меня душит будущее, Чумалов: наше бессмертие — слишком тяжелая ноша. (12)

Это звучит почти как «обречен к бессмертию» — и очень точно в новом высоком стиле.

И говорит это не усталый, или колеблющийся, или маловер и не слишком «монументальный» герой современности; так говорит передовой человек: да, конечно, бессмертие, мы к этому обречены, и в этом счастье, но это тяжелая ноша, если говорить прямо.

В этой древней традиции у советского поэта С. Маркова:

Петр — Берингу:

— Но сердце не могу согреть я.
Исчезло все — костер и снег, —
И неизбежного бессмертья
Страшится бренный человек.

(«Смерть Беринга»)

Продолжаются почти все старые споры о бессмертии и о самом этом слове.

— Там, где нет перемен и в старом все остается по-старому мертвым костяком, легче всего видеть бессмертие, да, пожалуй, это самый понятный для всех и правдивый образ бессмертия: мертвые бессмертные костяные рога. (М. Пришвин, «Колобок», 12)

Это — по Грановскому, Тургеневу, Достоевскому. Основное условие бессмертия — оно неподвижное и неизменное.

А в политической полемике звучит и сегодня как последний аргумент, который выдвигал Курбский в полемике с Грозным:

— Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас?

И сегодня противник не только в папских энцикликах напоминает раньше всего, что все мы в равной мере «бессмертны».

Спор продолжается, и в постоянной полемике с противником, — особенно охотно, пожалуй, по вопросу о

том, кто бессмертнее, — утверждает себя снова «бессмертие» в нашем поэтическом языке.

Сначала оно утверждалось только в чрезвычайно трезвом и строгом смысле.

— В повестку дня необходимо во всей полноте поставить вопрос о реализации личного бессмертия. (Манифест группы биокосмистов — А. Святогор, П. Иваницкий и др. Сб. «Биокосмизм», 1921, № 1).

Во всей полноте!

Более серьезно, но с извинениями и очень трезвыми обоснованиями:

— Творец бессмертен, потому что его сущность в созданных им вещах, делах, в творениях. (Ал. Толстой, 13—136).

— Не будь катушек, созданных его, Бачурина, самостоятельной творческой мыслью, я бы вовсе не знал ничего о человеке с такой фамилией... Может быть, и довольно Бачурину такого бессмертия, — пусть себе поскрипывает и катается туда-сюда. (И. Катаев, «Бессмертие»)

Затем предлагались многие другие оправдания и обоснования, которые могли бы позволить произнести это сбивчивое, но необходимое поэту слово.

И. Сельвинский четко уславливается с читателем:

Бессмертья нет. Но жизнь полным-полна,
когда бессмертью отдана она...

(«Сонет»)

А. Адалис:

А бессмертья нам не надо,
потому что смерти — нет!

С. Кирсанов еще совсем недавно:

Хочу я жить
не час,
а без конца, сверхсметно,
как человек,
как часть
материи бессмертной.

(«Ленинградская тетрадь»)

...Но все более наглядно меняется и стиль и смысл разговора «по этому вопросу» с читателем.

Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием. О, суеверья наши!

(Н. Заболоцкий, «Метаморфозы»)

То, что должно называть бессмертием.

Кем я был?..
И когда я говорю стихами —
От кого в них голос и дыханье?
Этот голос — от прабабки-тучи,
Эти вздохи — от травы горючей!
Кем я буду?..
Кем бы я ни стал и кем бы не был, —
Вечен мир под этим вечным небом.

(Д. Кедрин, «Бессмертие»)

В годы войны:

Как будто в чем-то виноваты,
купаясь в ливнях и в пыли,
уже бессмертные солдаты
на раскаленный запад шли.

(И. Бауков. «В дни боев»

Я видел свое превосходство
над прусскою спесью во всем...
И в том, что мы просто живучей
и просто бессмертнее их.

(Недогонов, «Когда ученик в «мессершмитте»...)

В годы войны только это слово оказывалось сколько-нибудь равновеликим событиям и чувствам. Не испрашивая ни у кого теоретического разрешения, «бессмертие» снова властно и торжественно вошло в наш поэтический язык.

Вот самое современное по мысли и стилю, наиболее соответствующее действительности, прекрасное стихотворение М. Светлова:

И, к будущему выходя навстречу,
Я прошлого не скидываю с плеч.
Жизнь — не река, она — противоречье,
Она, как речь, должна предостеречь...
Не мелочью плати своей Отчизне,
В ногах ее не путайся в пути
И на коротком перегоне жизни
Бессмертие поэта обрети.

(«Бессмертие»)

Как это далеко от еще недавнего «преодоления» смерти и бессмертия во многих образцах нашей прозы и поэзии (особенно в так называемой мотыльковой поэзии).

Не снят, к счастью, «старый груз» с этого слова. И только в наглядном для всех единоборстве поэта с этим грузом возникают все новые и все более яркие образы бессмертия.

## ДУША

«Душа» еще недавно принадлежала к числу тех слов, которые Ленин называл «словами-мошенниками»...

Слово высокое, священное и одновременно — ходовое, как пятак, по выражению Горького. Оно служило всем богам и тем успешнее обманывало людей, что сохраняло всегда в народном сознании обаяние хорошего в своей основе, важного для всех слова.

В духовной поэзии душа томилась, жаждала освободиться от плотской оболочки и соединиться с богом.

— Душа моя яко безводная Тебе... (Псалтырь, 120—6)

Эта строчка из Псалтыря в древнем русском переводе замечательна не только по своей поэтической силе, но и по своей очень характерной конструкции. *«Безводная Тебе»* — пропущены важные звенья логической цепи, круто сближаются и сопрягаются целые миры образов (душа без Тебя — пустыня, она жаждет, как пустыня, живой воды и т. д.).

Это — обычное в древней поэзии *прямление.* Но и в дальнейшем развитии высокой поэтической речи, вплоть до наших дней, *душа,* как увидим ниже, требует именно

такого, крутого и смелого развертывания поэтической и политической мысли.

— Един же изрони жемчюжну душу из храбра тела чрес злато ожерелие («один он изронил жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье», — в переводе Н. К. Гудзия).

В этих знаменитых строках поразительно свободное, мирское, необычайно трезвое обращение со словом «душа». И самая эта трезвость, точность и предметность рассказа о том, *как именно* изронил герой свою душу, придают и эпитету к душе — «жемчужный» — смысл очень точный, наглядный и очень широкий одновременно.

Есть *полемика* с соловьями старого времени и в этом новом сопряжении понятий.

В позднейшей поэзии древний, вечный мотив стремления души куда-то ввысь, горé («Долу очи иметь, а душею горе» — «Поучение Владимира Мономаха» и др.) непрерывно и многообразно уточняется: душа рвется не к богу, а к божеству, к божественной или уже не божественной Природе (с большой или с малой буквы), к беспредельности.

Капнист:

Но, душу скрыть от всех умея,
И ею, вне себя владея,
Внутри себя не мог владеть.

(«Ода на надежду»)

Дальнейшее, очень важное политическое и философское уточнение этой мысли — у Фонвизина:

— Несчастно тело, над коим властвует душа безрассудная, которая чувствам, своим истинным министрам, или вовсе вверяется, или ни в чем не доверяет. («Рассуждение об истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления...»)

Так возникает понятие *души безрассудной*, которая противопоставляется душе умной, осердеченному разуму, как скажет впоследствии Герцен.

Фонвизин объявляет чувства «истинными министрами души»: он требует доверия к чувствам, но одновременно и контроля над ними. Это — фонвизинское разъяснение известного философского положения: ничего нет в разу-

ме такого, что не было ранее в чувствах; это — утверждение и политического понятия «министр» в значении разумного и подконтрольного (обязательно!) советника; это новое различение и сличение уже многих смыслов слова «душа». Тирада Фонвизина вводит нас в круг идей русских просветителей.

У Жуковского:

Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья —
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена...

(«Невыразимое»)

«Пленительная сладость» этих стихов сохраняет всю свою силу и сегодня. Это — новое, романтическое преображение древней традиции («безводная Тебе»).

«Душа» у Жуковского очень высокое и поэтическое слово. Но вот Жуковский шутит с этим же словом:

Бродит, я чувствую, в темном Дедале по близости пуза
Честный отшельник — душа; она в своем заточеньи
Все отразила прельщенья, бесов победила! и душиста добротой!
(Так говорит об ней Николай Карамзин, наш историк.)

(«Протокол 20-го арзамасского заседания»)

И еще:

Пред судилище Миноса
Собралися для допроса,
Подле Стиксовых брегов,
Души грозные скотов.

(«Долбинские стихотворения», 1815)

Свободное, веселое, со многими «личностями» и лукавыми, пародийными применениями, невозможными сближениями высоких и деловых слов чрезвычайно полемическое обращение с этим сакраментальным словом у того же автора «Невыразимого»!

И «шутка», юмор, как всегда, только возвышает исходное слово.

Так и у Державина:

Я б душу не вертел рулеткой...

(«На умеренность»)

Священное слово «душа» демонстративно, «скандально» соединяется с рулеткой. Самый смысл этого заявления, однако, весьма серьезен и полемичен: он не вертел душу, как иные.

У просветителя Ивана Пнина прямое продолжение и развитие важной мысли Фонвизина:

Другую душу получаю
И человека петь готов.

(«Человек»)

Он готов петь человека, но только после того, как получил другую душу — не безрассудную, а разумную, вступившую в новые отношения с чувствами-министрами.

«Душа» очень рано получает и специальные, политические применения.

— Новгородские послы целовали крест новгородскою душею. (У Карамзина по летописи)

Целовали крест честно, истово, но и независимо, посвоему.

— Не токмо свою едину душу, но и всех прародителей души погубил еси. (Грозный — Курбскому)

По всему смыслу этой тирады Грозного, не только душу предков, но и самое понятие «душа», основу всего христианского мировоззрения и всего мироздания, погубил Курбский. Он посягнул на самое великое понятие!

— Филарет и Голицын, знаменитые страдальцы, написали к Жолкевскому [военному руководителю польских интервентов в Смутное время]: вспомни крестное целование; вспомни душу! (Карамзин, «ИГР», 12)

Они взывали и к общехристианским и к особым, католическим заботам Жолкевского о спасении его души.

«Душа», таким образом, служит самым различным политическим задачам, служит даже тактическим средством в политической борьбе. Но всегда в основе такого использования этого слова лежит другой его смысл, более широкий, священный для всех и неизменно живой в народном сознании.

— Дмитрий Донской велел воинам очистить душу накануне рокового дня. (Карамзин, «ИГР», 12)

В пушкинском применении раскрываются и чудесно объединяются, в конечном счете, самые различные значения этого уже многозначного слова. «Душа» у Пушкина — это тема особого и очень увлекательного исследования. Мы можем привести здесь только немногие примеры.

Пушкин выписывает для себя из сборника народных песен И. Киреевского самое важное и интересное. Среди этих выписок:

Много, много у княгини-души,
много роду, много племени,
только нету у княгини души,
нету ее родной матушки.

Народное, полное юмора исполнение этого слова в его двух по крайней мере значениях.

Пушкин «К Жуковскому»:

И молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела.

Высокое новое словообразование, одно из очень немногих у Пушкина, — «молнийной»; и «возвышенная душа», — хорошее в применении к Жуковскому, но, вообще говоря, уже подозрительное сочетание слов.

Особенно интересно применение слова «душа» у Пушкина в его знаменитом определении драмы:

— Драма стала заведывать страстями и душою человеческой. («О народной драме»)

Пушкин сетовал, что «ученость, политика и филосо-

фия еще по-русски не изъяснялись»; он придавал особое значение точности и строгости «формулировки», как сказали бы мы сейчас, во всем, что касалось важнейших понятий поэтики и философии. Но «заведывать страстями и душою» — это для Пушкина самая точная и научная формулировка в данном случае.

Вот политическое применение:

Привычка — душа держав.

(«Анджело»)

Вот «душа» в отчетливо декабристском смысле:

Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно-свободной?

(«Краев чужих...»)

«Благородная душа» (ср. «возвышенная душа») в этом смысле, неотделимая от свободы, — боевое слово и даже пароль, шибболет его друзей декабристов. Но одновременно, *«всё вместе»,* как писал в таких случаях Пушкин, она только здесь и восстанавливала весь свой первоначальный смысл.

И так во всех случаях, даже при очень точном конкретно-историческом применении этого слова.

«Душа» была для Пушкина одним из «коммуниа», т. е. предметов, «не обыкновенных, а общих всем». И предметы эти были *трагические.*

У Лермонтова в предисловии к «Журналу Печорина»:

— История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...

*История души,* в отличие от нескромной исповеди (например, «Исповеди» Руссо — см. там же), — это новое, очень важное, романтическое и объективное понятие, которое оставит большой след в страстной общественно-политической полемике вокруг этого слова.

Есть сумерки души, несчастья след,
Когда ни мрака в ней, ни света нет.

Она сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна ей и смерть страшна.

(«Литвинка»)

Это в «Литвинке», но «сумерки души» есть и в «Джюлио» и в некоторых других произведениях Лермонтова. Это новое сочетание слов, видимо, ему нравилось. И затем уже много раз перепевались и применялись очень по-разному эти лермонтовские «сумерки души».

В «Вадиме»:

— [Ольга] имела сильную душу, которая не заботилась о неизбежном, а, по крайней мере... жила — пока жизнь светла. (13)

— И если б наши души не были бессмертны, то она [любовь] сделала бы их бессмертными. (Там же)

*Сильная душа* тем и сильна, что не боится неизбежного и сумерек. Здесь та же игра со словом «бессмертие души».

«Душа телесна!» — всех ты уверяешь смело:
Я соглашусь, любовию дыша:
Твое прекраснейшее тело
Не что иное, как душа.

(«Мадригал»)

Озорное, шуточное разъяснение отношений между телом и душой (а это был большой философский вопрос). Но легко видеть, что о б а слова в результате этой схватки устояли во всем своем блеске, даже еще похорошели.

«Душа собою стеснена», «сумерки души» — эти мотивы и даже эти слова получают затем самое разнообразное применение и развитие:

Не ищет вчуже утешенья
Душа, богатая собой.

(Веневитинов)

Кто, кто мне силу дал сносить
Труды и глад, и непогоду, —
И силу — в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?

(К. Батюшков, «Надежда»)

Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей...

(Баратынский, «Болящий дух...»)

У Рылеева и у декабристов:

Весь мир как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон...
Вонми смирению души...
И дух от тела разреши.

(«Мне тошно здесь...»)

В «Новосибирской светописи» Одоевского:

— На устах душа кипит и теснится в слово красное...

Этот мотив, в самых разнообразных формах, пройдет затем через всю нашу литературу: душа теснится в слово. Но у Одоевского слово, которое кипит в душе, — красное; не только прекрасное, ловкое, хватское, золотое, но и мятежное, революционное, красное уже почти в *нашем* смысле.

У А. Кольцова:

Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Просит жизни другой.

(«Русская песня»)

Уже довольно «определительно», как скажут вскоре революционные демократы.

Особое значение в истории этого слова имеет столкновение привычного правового и учетного термина «крепостная душа», «ревизская душа» — с первоначальным смыслом этого слова. Сопоставление этих смыслов создает естественнейший сарказм:

Сто душ имеешь ты, поверю, за собой;
да это и когда я мнил опровергать?
Назвав тебя «бедняк», хотел лишь я сказать,
что нет в тебе одной.

(В. Попугаев, 1801)

Кто ловит душу, кто шесть тысяч душ.

(Лермонтов, «Сашка»)

Там можно жить, не обижая
Ни божьих, ни ревижских душ.

(Некрасов, «Тишина», 4)

— Имение в 200 душ или, как он выражался с тех пор, как размежевался с крестьянами..., — в две тысячи десятин. (Тургенев, «Отцы и дети», 1)

Красавицу в пятнадцать лет
С умом, душою и душами...

(Тютчев, «Послание к Шереметеву»)

У Гоголя столкновение этого термина с исходным высоким словом становится основой грандиозного обобщения — «Мертвые души».

В письме Гоголя к Плетневу есть потрясающий рассказ о том, как это превращение понятий возмутило молодого и мудрого в своем роде карьериста цензора Крылова:

— Что ни говорите, — сказал молодой цензор Крылов, побывавший недавно за границей, — цена два с полтиной, которую Чичиков дает за душу, возмущает душу. Хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но *всё же это душа, душа человеческая.* Да после этого ни один иностранец к нам не приедет! (1842)

Молодой цензор защищает честь России перед Западом, защищает Россию от Гоголя, защищает душу человеческую... Гоголь здесь поистине «возводит шельму в перл творения», по его же выражению... Кажется, что Гоголь сделал этого Крылова даже умнее, чем он был в действительности.

Гоголь знал и другие применения этого уже очень многозначного слова:

— Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдин объясняет так: это душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует немедленно смерть... («Старосветские помещики»)

Это «душа зовет» или, еще круче, «зовет!» (известно, кто́ зовет) звучало не раз и очень громко и патетически в нашей литературе. И не только «простолюдин», но

и самые мудрые герои литературы вновь и вновь объясняли при помощи этого «зовет!» все на свете.

Вокруг «души» разворачивается затем необычайно острая идейная борьба. Здесь «всё вместе»: и возвращение мистического смысла; и дальнейшее уточнение вопроса, куда рвется душа; и новые, научные термины, возникшие на основе этого понятия, в частности «душа» в статистике — передовой и даже революционной тогда по своему назначению науке; и новые философские «теории о душе».

Вот спор о ж и з н и  д у ш и как предмете искусства — в «Обыкновенной истории» Гончарова:

— Для резца неуловима... эта игра не высказываемых языком движений души... всех этих мимолетных молний, вырывающихся из *концентрической души.*

Концентрическая душа — по новейшей терминологии.

У раннего Белинского:

— Мистика человеческого сердца, человеческой души, участь человека, все ее отношения к народной жизни для романа — богатый предмет. (II—33)

Мистика человеческой души.

И решающее в истории этого слова определение Чернышевского:

— Графа Толстого занимают всего более психический процесс, его формы, его законы, *диалектика души, чтобы выразиться определительным термином.*

Вместо «концентрической души», которая еще недавно звучала очень научно, вместо «мистики души», которая еще недавно звучала очень возвышенно и интересно даже для Белинского, — диалектика души, со специальным примечанием, что это вот наконец определительный термин.

Борьба за все более неумолимую «определительность» терминов, даже в сфере «мимолетных молний», идет во всей передовой публицистике. «Диалектика души» должна зачеркнуть все другие философские и риторические дефиниции этого понятия, вроде того, например, которое приводит в своих воспоминаниях Д. Н. Свербеев.

— Андрей Михайлович Брянцев, ученик Вольфа, соученик Канта, давал такую дефиницию души:

*«Душа есть безусловное условие всякого условия...»*

И против этой новой определительности в такой области, которая до́лжна оставаться навсегда неопределенной, выступает злее, чем кто-либо (как всегда!), Аполлон Григорьев:

— Мой приятель... как недюжинно-умный человек понял вполне ярыжно-глубокую и вместе глубоко-ярыжную мысль Гегеля, что в деле мысли важен только процесс и что процесс есть только безжизненный труп, покинутый живой душой — тенденцией. («Мои... скитальчества», IV)

Здесь уже выражены, и притом замечательно ярко, глубоко ярыжным языком, те возражения против диалектики, которые должен будет разбивать позднее Ленин; те возражения, которые и сейчас (более новых нет) звучат во всей идеалистической философии, и в семантической буржуазной философии в частности и особенно. Для диалектиков, мол, только *тенденция* — живая душа, а душа, как таковая, и даже истина, сама по себе истина, их не интересует...

В обиходном словоупотреблении «душа» все более опускается.

Белинский писал:

— Этот Рейхенбах есть то, что немцы называют прекрасной душой (Schöne Seele). У нас пытались некогда ввести это понятие под странным словом «прекраснодушие», которое только насмешило всех... Слова «прекрасная душа» имели у немцев, как и у всех добрых людей, то благородное и похвальное значение, которое имеют до сих пор у нас; но теперь они у немцев употребляются как выражение чего-то комического, смешного... Выражение «прекрасная душа» чрез диалектическое развитие во времени получило у немцев значение чего-то доброго, теплого, но вместе с тем детского, бессильного, фразерского и смешного. («Аббадона»)

Прекраснодушие, весьма интересное слово, которое имело свою историю, образовалось как необходимое уже снижение слов «душа», «душевность», «задушевность» и др.

Возникают и многие другие снижения этого уже захватанного и обесчещенного слова.

«Не душою худ, а просто плут», — эта народная поговорка чрезвычайно нравилась Гоголю, и этот ход мыс-

ли лежит в основе всей литературы «гоголевского направления».

В сатире «Искры» человек с душой — лицемер и ханжа; «Человек с душой» — так называется одно из самых язвительных стихотворений В. Курочкина.

Щедрин особенно охотно и страстно развивает этот мотив, он, «бытописатель волшебных превращений слова», запрещает плутам разговаривать о душе. Одно из любимых щедринских снижений этого рода — душедрянствовать. После многих «душевных выемок» либерал стал душедрянствовать.

У Даля слова, как известно, расположены по гнездам, и это имело для него большое принципиальное и философское значение. «Душа», однако, у Даля отделена от «духа». И по этому случаю сделано специальное и чрезвычайное разъяснение (кажется, единственное разъяснение такого рода в его словаре):

— Дух и душа отделены здесь в разные статьи только для удобства приискания производных.

Слово это, душа, в самом деле потребовало много места — четыре с половиной столбца. Пришлось сделать особые подразделения и внутри этого отделенного от «духа» слова.

Даль различает смысл общий, более тесный и теснейший:

— Душа ж, бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею; в общем значении человек с духом и телом.

В более тесном:

— человек без плоти, бестелесный, по смерти своей.

В смысле же теснейшем:

— жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа, и в этом смысле говорится, что и у животных есть душа.

И здесь же:

— Говоря душа в знач. человека, разумеют иногда людей обоего пола, либо только мужского, душу ревизскую, что собственно означает человека податного состояния. Душа — также душевные и духовные качества человека, совесть, внутр. чувство и пр. Душа есть бесплотное тело духа; в этом значении дух выше души.

А затем прекрасная далевская разработка применений и превращений этого чрезвычайного слова в живом языке.

В Словаре ИАН 1847—1867 годов первое определение такое же, как у Даля, по канонической церковной формуле, и примеры из Евангелия; второе:

— церк. Дух, влиянный в теле животного; жизнь.

А примеры только фразеологические — общепринятые обороты речи, в которых участвует это слово.

«Толль» осторожно пропагандирует материалистическое понимание души:

— Душа, присущая в человеч. теле сила чувствительная, мыслительная и желательная; принимается за силу нетелесной деятельности... Материализм рассматривает так наз. душевные деятельности не как самостоятельные силы, но как преходящие явления от чувственных предметов... Вопрос об отношении д. к телу весьма запутан, ибо та и другое оказывают друг на друга беспрерывное влияние. Ныне принимают, что разл. душевные деятельности не составляют особых способностей, но подлежат таким же общим определ. законам, как и жизнь внешнего мира.

В самых серьезных случаях «Толль» ссылается на материалистов древности, но потом как бы забывает о них или заставляет их утверждать именно то, что ныне «принимается» в толлевском кругу...

Полемика продолжается.

У Эртеля:

— Грудь... подоплёка... люд православный... душа и т. п. В сущности-то, пожалуй, глупые даже слова, но так уж повелось, что в патриотических салонах эти слова присуждены изображать настоящий русский патриотизм. («Гарденины», 2—7)

Слово зачислено в ряд плохих слов славянофилов («подоплека»), оно среди «тому подобных». Но сколько здесь «в сущности», «пожалуй», «видно», «даже»! Страшно поднять руку на такое слово!

У Глеба Успенского «хозяин-сибиряк» весьма высокомерно говорит о «российских», то есть о переселенцах из «России»:

— Как российский встретился — нет с ним разгово-

ру, окроме как «земля, земля, земля» да «душа, душа, душа». Только и всего и никаких слов у него нет больше. («Не знаешь, где найдешь»)

Известно, почему переселенец говорит раньше всего о земле. Но уже второе слово у «российских» — душа, несерьезное слово, по мнению этого чалдона.

У Гарина-Михайловского в «Гимназистах» молодой учитель, западник и прогрессист Леонид Николаевич снова «выясняет отношения» между умом и душой и свои отношения к самому этому слову «душа»:

—... воспитание и образование... Я не разделяю этих понятий, обыкновенно относимых — одно к душе, другое к уму: душу надо понять тем же умом, и только достаточно развитой ум поймет, что этой душе нужно, чтобы эта душа была действительно душа, а не кусок старой подошвы... (Гл. 20)

Это — дальнейшее развитие идеи просветителей, затем революционных демократов. Но особенно замечательна полемическая и политическая страстность этой его речи (на литературном вечере в пользу заболевшего студента-революционера). Хорошо слышно, что это и ответ тем, кто уже своекорыстно испортил хорошее слово и увел душу от ума.

В политической борьбе «душа» уже стала «словом-мошенником».

Она остается и словом-соблазнителем, иногда необычайно искусным, в идеалистической поэзии.

Вершина этого развития — у Тютчева:

Душа моя — элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных.

(«Душа моя...»)

И знаменитое:

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги, —
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

(«О, вещая...»)

Вся идеалистическая поэзия после Тютчева уже только и говорит о душе на пороге двойного бытия, но не с такой, конечно, непревзойденной силой!

«Двойное бытие души» становится в той или иной форме и основой тех новейших «философских теорий о душе», которые, по слову Ленина, должен был первым делом отбросить научный психолог. Новая материалистическая наука психологии начинается с борьбы против «души» — против «обособителей психического», по терминологии И. Сеченова, против «душистов», по терминологии И. Павлова. «Он, этот научный психолог, — писал Ленин, — отбросил философские теории о душе и прямо взялся за изучение материального субстрата психических явлений». (1—127)

Главный и единственный метод идеалистической психологии в то время (как, впрочем, и сейчас) — интроспекция, то есть рассматривание и постижение своего собственного душевного опыта. Интроспекция также единственный — и притом «научный»! — метод идеалистической литературы, последнее слово идеалистической поэзии.

Не кто иной, как А. С. Суворин, выпускает в конце прошлого века в своем переводе и со своим программным предисловием пьесу Метерлинка «Внутреннее» («**L'Intérieur**») под заглавием «*Тайны души*». В предисловии он ругает русских символистов и декадентов, но противопоставляет им символистов западных, в первую очередь Метерлинка, которые принесли, мол, в затхлую европейскую литературу новое, свежее и научное слово о тайнах души.

В высшем обществе даже старинные «магнетизм», «месмеризм», «спиритизм» и т. п. приобретают теперь новые и «научные» формы интроспекции. Вспомним, что Круглосветлов, который вызывает «народившиеся души» («Плоды просвещения» Л. Толстого), был как-никак профессор, и, вероятно, «передовой».

Наши символисты и декаденты непрерывно играют «душой». Они ведут свое происхождение от Жуковского («Невыразимое»), Баратынского («Переселение душ»), от Тютчева и Достоевского. И поэтому они снова и снова говорят о «невыразимом», снова «душат душу» и уже совершенно пародийно рассматривают свой внутренний душевный опыт.

Но главную роль в этой литературе играет уже даже не душа, а полудушка, один из многих чертиков, населяющих душу. У Ремизова душа попадает окончательно в плен нечистиков и полудушек, по огромной, замечательно разработанной у него и драгоценной для филологов номенклатуре. Андрей Белый демонстративно рифмует *душу* главным образом с *кликушей,* а рифма, по его же теориям, непременно означает родство согласных вступить в такую связь понятий.

Федор Сологуб в «Мелком бесе» обнажает грязную, преступную и безумную душу-суетилку добровольного агента полиции, учителя словесности Передонова.

В предисловии он отвечал тем критикам (может быть, воображаемым), которые доказывали, что Сологуб в этом романе рассматривает свой собственный душевный опыт, занимается, так сказать, интроспекцией. «Все анекдотическое бытовое и психологическое в моем романе, — писал Ф. Сологуб, — основано на очень точных наблюдениях, и я имел для моего романа достаточно «натуры» вокруг себя». Это было, конечно, правдой.

В те же годы Елизавета Киевна в своем салоне союза «борьбы с бытом» (Алексей Толстой, роман «Сестры», 1914) зазывала каждого нового «интересного человека» к себе, и «начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах», причем она выпытывала, не ощущает ли в своей душе ее собеседник «самопровокации».

Это было уже самое новое, тоже «научное», но, кажется, и последнее перед Революцией словечко о душе, которое немедленно подхватила чуткая ко всему самоновейшему Елизавета Киевна.

И в эти же годы символист Блок страстно возвышал это павшее слово.

Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?

В замечательном письме к А. Арсенашвили:

— То чудесное сплетение противоречивых чувств и воль, которое носит имя *человеческой* души, именно

оттого носит это *радостное* (да, несмотря на всю «дрянь», в которой мы сидим) *имя,* что оно все обращено более к будущему, чем к прошедшему; к прошедшему тоже, но поскольку в прошедшем заложено будущее. Человек есть будущее. Пока есть в нас кровь и юность, будем веровать будущему. (8 марта 1912 г.)

Несмотря на всю «дрянь», в которой мы сидим («дрянь» в кавычках явственно заменяет другое, еще более грубое и непечатное слово), Блок верит, что земля вернет восторг души первоначальный.

Уже после Революции вышла в Москве книжка К. Бальмонта «Только любовь». Там было сказано:

Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа.

Незадолго до того Максимилиан Волошин предъявил душе тот ультиматум, о котором мы уже вспоминали:

В эти дни
Душа полна одним искушением —
Развоплотиться.

*(Сб. «Анно мунди ардентис» — «В год, когда мир пылал», 1916)*

Борьба с идеалистическими «теориями о душе», очень мало преобразовавшимися за семьдесят лет, продолжается и сейчас, после Революции. Но в общенародном словоупотреблении «душа» снова стала необходимым и как никогда высоким словом, и отношение к нему впервые в истории стало вполне чистым.

Замечательные слова солдата еще в окопах, после Революции:

— А время особое, за тысячу лет такого не бывало, что неимущий хозяином надо всем. Коли и *на такое душа твоя не играет,* так не быть тебе живу, хоть ты и глазом хлопаешь да зубом лопаешь. (С. Федорченко, «Народ на войне», II)

Горький во всем своем творчестве неуклонно отбивал у противника это великое слово.

Он писал уже после Революции:

— От церкви до балагана — характернейшая траектория полета русской души. (Письмо С. Сергееву-Ценскому)

И всегда он очень внимательно разглядывает весь исторический путь этого слова, его траекторию, его строение, его внутренние тяготения.

Солдат Африкан читает Псалтырь (может быть, ту чудесную строчку, о которой речь была выше, — «Душа моя яко безводная Тебе»):

— Непонятно оно, а чувствуешь, что это слово для души. («Дело с застежками»)

— Душа — дух, — говорю я, но она презрительно кричит:

— У татарина-то? Дурак! («В людях»)

И вот генеральное выяснение отношений с этим громадным словом:

— Душа — десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно и ласково, поганя душу, — это бьет меня по сердцу. Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости... Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашивал его — что такое душа? — он отвечал:

— Дух, дыханье божье...

Мне мало этого, я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:

— О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое... («В людях», XI)

«Это дело закрытое», но у Горького, у его героев оно именно и раскрывается впервые с непревзойденной силой и точностью:

— Сознание великой роли рабочего *сливает всех рабочих мира в одну душу...* («Мать»)

В очерке «В. И. Ленин»:

— Я знал и знаю не мало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу

за крылья», насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат. (Первая редакция)

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за **крылья»?**

Горький охотно и часто применяет это слово и в обычном смысле, в идиоматических его единствах с другими словами, как ходовое слово, но и в этом применении оно приобретает у него всегда новую силу, потому что всегда озарено первоначальным, еще только оттесненным на задний план главным смыслом.

— Старик ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа. («Мои университеты»)

— Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

— Милый — для души! Тепло душе с вами. (Там же)

— Правду надобно выбирать по душе... (Там же)

Герои Горького из людей уходящих классов непрерывно играют этим словом, как играют они всеми хорошими словами. Играет им Клим Самгин, для которого вообще «нет слов дорогих» (и это самая точная, гениальная, горьковская его характеристика!). Черносотенец Губин в трагический для него момент только и может, что повторить старую игру с этим словом:

— Чу, орут: душа, души... Душат друг друга речами. («Достигаев и другие»)

Друг друга!

Не то Егор Булычов. Он кощун по главной своей склонности, а это значит, что он очень хорошо понимает силу самых священных слов и знает, н а д  ч е м смеяться, ч т о́ унижать.

— Смолоду много бито, граблено, под старость надо душа́ спасать... («Егор Булычов», 2)

Он ставит это слово в «раскольничьем» падеже, выдвигает, даже в о з в е л и ч и в а е т этого своего противника; уже не ёрничает, а борется с ним страстно и безнадежно.

Можно сказать без преувеличения, что поэтика Горького открывается перед нами наиболее точно и ярко в его применениях слова «душа», его особом обращении с этим словом...

Вся советская литература при Горьком и после Горького утверждает бесконечно многообразными путями это слово. И с новой силой, и по-новому, обнажаются живые столкновения в этом слове.

Маяковский-футурист в «Войне и мире»:

О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!

(Ч. V)

Довольно обычное в то время раздробление большого слова-понятия «душа» на множества, даже бесчисленные. Есть здесь и другие приметы того времени, но здесь же оказывается, что душа может и должна сиять, что когда-нибудь сама жизнь, а лучше всего Революция, заставит сиять заново это слово, как это и случилось довольно скоро.

Там же, в прологе:

Не разбрызгав,
душу
сумел,
сумел донесть...

Это — главная задача поэта.

Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.

(«Поэт-рабочий»)

В «Мистерии-буфф», уже после Октября, человек из будущего объявляет свою миссию:

Пришел раздуть
душ горны я.

Затем повседневная полемика, драка из-за души.

— А где ж душа?!
Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж?
Одна публицистика!!

(«Владимир Ильич Ленин»)

Так говорит «бездельник-лирик»; он-то будто бы поет о душе, о вечных ценностях. Теперь душа — в публицистике, в том, что вы называете публицистикой, отвечает Маяковский.

Обыватель, мещанин, приспособленец хочет отдохнуть душой от всего, всего.

Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.

(«Люблю»)

И тем ярче сияет это слово, когда есть наконец право говорить в самом деле о душе:

или вон
из тела пролетарскую душу.

(«Хорошо!»)

...как будто
душу
тащил из-под фраз.

(«Владимир Ильич Ленин»)

Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.

(«Про это», II)

Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи...

(«Облако в штанах»)

По старым поэтикам это «гипербола». Маяковский утверждает гиперболу на новом основании, на новом праве. Это точная гипербола, это лирический восторг, души восторг первоначальный, верный действительности. Без этого восторга не было бы точности.

Писалось это тогда, когда слово «душа» уже почти

аннексировали, как говорил в таких случаях Маяковский, другие и чужие люди, а передовым оно было ненавистно.

Письмо журналистки Ярославцевой мужу-партийцу:

— Ты не любишь чувствительных слов, ты боишься всего, что касается *сентиментальной старушки души.* (Л. Сейфуллина, «Гибель»)

Идет очень своеобразное у каждого писателя отбивание этого слова у противника.

— Еще в древние времена мира, когда Вселенская Воля скрывала свое лицо от обитателей планет, бывали случаи мировых катастроф, когда планетные судороги душ их обитателей кривили плавную линию величественно описанных орбит. (Н. Асеев, «Расстрелянная земля»)

Масштаб не мировой в обычном тогда смысле, а вселенский, космический — и притом научный. Вот в каком случае только и разрешается говорить о душе.

И у него же ответ уставшим от таких огромных и всегда научных масштабов:

— Конечно, городской шум, механизированные души, обостренность чувств — все это справедливо, но... все-таки я не хотел бы жить у Спаса на Куличках в Пречистенской тишине. (Н. Асеев, «Москва»)

Спас на Куличках и пр. — это очень точный ответ в полемике с теми, кто теперь необыкновенно возлюбил такие слова и все, что с ними связано (например, Б. Пильняк). Там, на Куличках, искали забвения и оплакивали «русскую душу» и «русского бога».

У нас
(«над могилкою русской души»)
с избытком грустят перевальцы.

(Исаковский, «Шуба»)

«Над могилкою русской души» — в скобках и в кавычках: это строка из стихотворения Ник. Зарудина; она очень напоминала знакомые слова из программ и платформ разных групп. И не только перевальцев, — во всей литературе борьба мировоззрений, настроений особенно ярко обнаруживается именно в том или ином обращении к душе и с душой, в том или ином исполнении этого слова.

У Всеволода Иванова:

— Спаленнолицые и спаленнодушие. («Дитё»)

— Он добр и высокопоставлен душой. («Хм»)

— А коли не поймет он [пленный американец] нашу душу, вот тогда и кокнуть... («Бронепоезд 14-69»)

— Старик [об американце]. Опять и душа у тебя чужой земли. (Там же)

Вс. Иванов очень долго и с прекрасной силой рассказывал о том, как *не понимали* происходящее его герои. И у него же:

— Сейчас необходимо иметь отвагу и сказать простое и в то же время торжественное слово, и это слово должно быть таким, чтобы каждый из трех понял его и одинаково тронулся душой. («Источник Взывающего»)

Это — важнейшее движение в поэзии Всеволода Иванова: поиски слова простого и торжественного, и понятного, и такого, чтобы каждый непременно тронулся душой.

У А. Малышкина:

— Это воля больших просторов, отчетливых просторов мужественной души.

Душа выходит на просторы (любимое слово этого писателя!). Но в борьбе с противником, который *туда же лезет,* в душу, еще необходимо уточнить: мужественная душа, отчетливые просторы.

Особенно характерно здесь у этого романтика слово «отчетливые»!

Очень интересно здесь и то крутое прямление всего строя речи, которого как бы само требует это слово «душа». Знаменитые, огромные малышкинские родительные падежи!

И наряду с этим замечательное в своем роде рассуждение Якова Саввича в рассказе Андрея Платонова:

— Яков Саввич ждал, когда ему попадется что-нибудь бесполезное и загадочное, но тем более необходимое человеческой душе и, стало быть, самое доходное. («Нужная родина»)

Это у Якова Саввича целая философия. Он давно и хорошо знает по опыту, что душа рвется именно к бесполезному и загадочному и что люди готовы даже платить за эти утехи (ср. «интерес удовольствия»). На этом строит весь свой план Яков Саввич. Он верит в старое значение слова.

Еще долго, вплоть до наших дней, идет многообразная борьба с этим словом.

К. С. Станиславский писал в приветствии Первому съезду советских писателей, что главная задача советского писателя — «показ души нового человека». М. Н. Кедров убеждал Зинаиду Сергеевну, сестру К. С., редактировавшую это приветствие: «Душа — фигуральное выражение». Но Станиславский ни за что не отдавал «душу»; она была ему необходима в его науке о вдохновении.

— Придумайте равноценное слово, я с радостью возьму... («Театральное наследство». Воспоминания Б. Зона)

Но «равноценного» нет!

(Ср. у него же о театре: фабрика человеческих душ.)

·

В «Дневниках» М. Пришвина последних лет его жизни (1946—1950) есть замечательная запись:

— За ужином за мой столик сели две девушки.

— Почему в ваших книгах задушевность? Вы человека любите? — спрашивает девушка.

— Нет, — ответил я, — люблю не человека, а язык, держусь близости речи, а кто близок к речи, тот близок к душе человека. («Дорога к другу» — «Поговорил с женщинами»)

Пришвин молча отклонил уже очень испорченное слово «задушевность». Но и о душе он говорит не прямо: по дороге к ней он поставил *речь*, высшее отражение души. Отгородился от души речью.

Слово уже очистилось, и вот уже открытое, давно не звучавшее в нашей поэзии благословение душе с ее отблесками, без всяких извинений, оговорок и уточнений:

Благословляю чистый, чудный,
Душа, твой отблеск заревой.
Мы чище стали в жизни трудной,
Сильнее в жизни горевой...

Это — в стихотворении поэта нового поколения Революции, безвременно умершего С. Гудзенко.

И если вправду говорить о чуде,
Так нет, оно — вот эти малыши,
Провидцы эти, Будущие люди,
Чьи непомерны прихоти души.

(В. Тушнова, «О непомерных прихотях души»)

И вот вместе с «наивным читателем» поднимает перчатку К. Федин:

— Хотя мне и наивному читателю скажут: душа поэта — это пошло. Пусть.

Я говорю от имени наивного читателя: я верю во вдохновение, верю в душу... («Писатель, искусство, время»)

Очень истовая декларация, почти клятва. И заодно утверждается «наивный читатель», даже самое слово «наивность», столь ненавистное всем софистикейтед.

Горький писал Макаренко:

— Хорошую Вы себе «душу» нажили, отлично, умело она любит и ненавидит.

«Душа» в кавычках! У Горького, который уже давно сам утвердил это слово и навечно вывел его из кавычек...

Есть, видимо, особая радость в том, чтобы напомнить себе и другим, как еще недавно криво и обманно звучало это великое слово.

— Какое наслаждение, когда слово не погибнет, разовьется! — писал в свое время Герцен.

* * *

— В русском языке, — писал Сумароков, — гордая вещь получает гордое имя. Нежная — нежное имя...

Но только потому, по Сумарокову, что русский язык молод, «близок от своего происхождения». Напротив того — в языках, «отдаленных от своего происхождения». Эти языки с течением времени обрастают ложью.

Автор памфлета «Оставшееся после покойного NN рассуждение об опасности и вреде, о пользах и выгодах от французского языка», который вышел в Москве в 1817 году, так описывал постепенно *нравственное падение* французского языка:

— За 400 лет был он еще деревенским мужичком,

оляповат... За 200 лет он поправился, поприоделся, из крестьянина сделался уже городовым купцом, а в сии сто лет и в первую гильдию записался. Но сего не довольно: он спознал большой свет, а у большого света стал в знати. Сперва много сделал он хорошего, когда существовали Сорбонна и подобные ей изрядные училища и *хорошие еще нравы.* В последние 50 лет, а в особенности лет за 25 [т. е. с начала Революции] уже крайне избаловался, сделался вертляв, вместе почтителен и вместе едок и горд, политикант крайний, пролазлив, любострастен и Циник, обманчив, презирающ другими, все осуждающий у других, несносный себялюбец, одного себя выхваляющий и, начиная с Вольтера, по сию пору восстал на всё: старое портит и губит, а нового хорошего не видно: стал горами качать, а честолюбие его столь шибко захрептело, что полетел на небеса к огненному солнцеву дому, подобно Фаэтону. Он сделался безбожен и стал распространять безбожие; он стал первым действующим орудием повсюдного головокружения и необычайно злых замыслов, от века неслыханных. Одним словом, по Якобинцам он сделался совсем диаволическим, адским языком, за Злобою которого ни один какой-нибудь другой не мог успевать...

Такая участь угрожала, по мнению NN, и языку российскому, если он пойдет по тому же пути.

Но еще не поздно! — думал NN. В его время Российский язык сохранял еще будто бы полное простодушие и прямо́ту, существовала будто бы полная гармония между названием и вещью.

NN очень боялся, что русский язык станет когда-нибудь *модным:*

— Еврейский, греческий, латино-греческий были, так сказать, модные языки... Настанет само по себе время, когда другой какой-нибудь язык превозможет, и дай бог, чтоб не русский, ибо все модные языки испытали над собой кранкен.

«Покойный NN» рассуждал о языке как о живом, хорошо знакомом своем противнике; не о языке собственно, а о тех людях, которые задавали тон в языке, расставляли в нем свои акце̂нты, утверждали в нем *свои* значения важнейших слов.

В «Путешествии...» Радищева отец в наставлении своим сыновьям говорил:

— Аглинский язык, а потом латинский, старался я вам известнее сделать других, ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всех правлениях нужным. («Крестьцы»)

Это — прямо противоположная политическая позиция... Но в том и другом случае предполагается, что сам язык, то есть *общепринятое словоупотребление,* может научить либо «головокружению», либо «твердым понятиям, во всех правлениях нужным».

Пушкин, само собой разумеется, горячо сочувствовал радищевскому «отцу» и так же, как и он, мечтал об упругом духе вольности в изображении речи; высоко ценил он и язык самого Радищева, этого «нововводителя в душе». Пушкин был, конечно, прямым противником архаиста NN.

Но в «вопросах языка» Пушкин не поддержал и радищевского «отца»!

В знаменитой заметке о Малербе и Ронсаре, которых так скоро забыли, Пушкин писал:

— Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о механизме языка, наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления.

Мало ли кто как употребляет! И весь «кранкен» от этого.

Стендаль писал в те же годы в статье «Об опасностях, угрожающих Итальянскому языку, или Рассуждение для друга, не уверенного в вопросах языка»:

— Если мы хотим, насколько возможно, отдалить старость и смерть какого-нибудь языка, необходим, повидимому, трибунал, неумолимый судья способа выражения мысли, *как можно менее обращающий внимания на самую мысль.*

Мало ли какие мысли вкладывали в слова влиятельные в свое время люди, хозяева «общепринятого» языка!

— В противном случае вся молодежь, — продолжал Стендаль, — все люди, наделенные воображением, сочтут более легким и приятным для мелкого авторского самолюбия изобретать знаки, чем дать себе труд изучать знаки, употребляемые народом, к которому они имеют честь принадлежать. Таковы изменения, ежедневно совершающиеся в живых языках: некоторые из них полез-

ны, очень немногие необходимы, а большая часть вызвана непостоянством. (по русскому изданию — т. IX, стр. 141)

Пушкин и Стендаль выступали за строгую, неумолимую нормативность в языке. «Истинная жизнь слова, не зависящая от употребления» у Пушкина и «неумолимый судья способа выражения мыслей, как можно менее обращающий внимания на самую мысль» у Стендаля — это не только заостренные ответы очень реальным противникам в общественно-политической полемике того времени; это и поистине боевое утверждение нового понимания языка, как общенародного достояния; языка, который должен называть вещи своими и самыми лучшими именами, независимо от его своекорыстного «употребления» в определенном «обществе», очень далеком от народа. Само это «общество» временно, а язык, то есть народ, вечен.

Но и народное употребление не есть высший закон.

— Не вовсе себя порабощай однако же употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить, — писал Ломоносов. («О качествах стихотворца рассуждение»)

Пушкин не раз критиковал Ломоносова как стихотворца, но всегда очень высоко ценил его как новатора в поэтике и в поэтике языка. Этот призыв не порабощать себя даже народному употреблению был, несомненно, очень по душе и Пушкину. Речь идет о «внутренних законах языка», как сказали бы мы сейчас; это и есть высшие и непреложные для каждого писателя законы.

Довольно естественно, что «общество» пыталось придать *даже этим словам* Пушкина и Стендаля свои «мысли», свое прямо противоположное значение.

Ссылаясь на эти слова Пушкина и на Стендаля, вопреки очевидному конкретно-историческому и самому широкому их смыслу, реакция — и у нас в свое время и сейчас на Западе — пыталась закрепить навечно, под видом «исконных и первоначальных», самые мелкие, и подлые, и очень временные «мысли», которые придавали словам люди определенного класса и круга.

Она утверждала эти значения в академических словарях или даже административными, полицейскими «актами» и «разъяснениями».

Особенно усердствовало в этом направлении так называемое «правительство Виши» во Франции: Петэн «перевоспитывал» французов при помощи языка. По его указанию Академия исключила из французского языка все опасные слова-понятия.

И сейчас Французская академия так же, как и «большая», «ведущая» литература и пресса, иногда утверждает самые низкие смыслы слов в качестве единственных или по крайней мере первых.

Но все эти попытки управлять языком всегда оставались бесплодными. Даже в капиталистических странах настоящим хозяином языка всегда был и остается народ.

И у нас до Революции, как можно было видеть почти в каждом жизнеописании слова, реакция настойчиво выдвигала плохие значения слов в качестве единственно правильных, и Академия утверждала в языке свои «мысли». И у нас не прекращался конфликт между общепринятым в «хорошем обществе» и народным словоупотреблением; и у нас иногда *передовые* писатели в борьбе с реакцией порабощали себя, очень неосмотрительно, народному словоупотреблению.

После Октября начинается великое исправление языка. Отбиваются у противника и восстанавливаются во всем своем новом великолепии все хорошие, то есть плодотворные, слова. Каждое такое слово, которое побывало у противника, прошло через кавычки и, наконец, отбросило кавычки, вдвойне драгоценно. Такие бывалые слова теперь главные и ведущие.

Пересматривается и *народное* словоупотребление. Партия и правительство утверждают в общенародном литературном языке все самые плодотворные, ранее «не принятые» или даже отреченные слова и речевые обороты народа, который только в своем языке и был свободен в продолжение многих веков.

Но так же твердо *разоблачаются* печальные заклинения смыслов, ложные ассоциации, слишком нежные слова для преступных вещей и слишком гордые для низких, необоснованные претензии многих слов — в народном словоупотреблении.

Можно ли управлять языком?

В прошлом реакционеры всегда хотели считать, что это возможно, и очень усердно в этом упражнялись.

А передовые деятели нашей культуры всегда считали, что это, к счастью, совершенно невозможно, и уже рано могли ссылаться на большой и чрезвычайно убедительный исторический опыт.

К счастью — потому, что народ в своем языке был несравненно честнее, смелее и талантливее, чем те люди, которые пытались управлять языком и его улучшать. Эти люди на каждом шагу предавали и должны были предавать самые кровные «интересы языка». Надзор над языком мог и должен был только сковать развитие языка по его внутренним законам.

Революция привела в действие внутренние творческие силы народа и внутренние законы его языка; она лишила какой-либо власти тех, кто пытался закрепить свои временные и корыстные мысли в словах общенародного языка. Она управляет жизнью и языком, и впервые в истории управление языком стало, раньше всего, серьезным и бесконечно плодотворным делом.

Мы уже видели, как должны были уйти из общенародного языка многие криводушные, вульгарные, мелкие слова — только потому, что на них вовремя накричали. Но и сама жизнь, вся работа партии и государства непрерывно уточняет язык. При всех своих очевидных недостатках наша разговорная речь и язык наших газет и книг сейчас строже, умнее, экономнее, чем когда-либо. Хорошо сказал А. Прокофьев:

Таков закон моей страны,  
Ее крутая речь,  
Мы все обязаны ее,  
Высокую, беречь.

*Стилистическая мера* стала более высокой, чем когда-либо.

Идет непрерывная критика языка, который всегда «не совсем точно» выражает новую мысль. Идет вечная борьба за все новую, поэтическую точность.

Но никогда еще не действовали с такой свободной силой самые драгоценные в этой борьбе внутренние законы языка.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

*Боровой Лев Яковлевич*

ПУТЬ СЛОВА

М., «Советский писатель», 1963. 748 стр.

Редактор *Л. А. Шубин*
Художник *Е. М. Галинский*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *И. М. Минская*
Корректоры *Т. И. Воронцова*, *Л. Н. Морозова* и *Л. К. Фарисеева*

*

Сдано в набор 20/VII 1962 г.
Подписано к печати 29/IV 1963 г.
А09166. Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 23 3/8 (38,33).
Уч.-изд. л. 36,35. Тираж 10 000 экз. Заказ 851.
Цена 1 р. 60 к.

*

Издательство „Советсикй писатель"
Москва К-9, Б, Гнездниковский пер., 10.

Московская типография № 3 «Искра революции».
Мосгорсовнархоза

*Издательство просит читателя дать отзыв
как о содержании книги, так и об оформлении ее,
указав свой точный адрес, профессию и возраст.
Библиотечных работников издательство просит
организовать учет спроса на книгу
и сбор читательских отзывов.
Все материалы направлять по адресу:
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10,
издательство «Советский писатель».*

1 р. 60 к.